

Бенедикт Сарнов

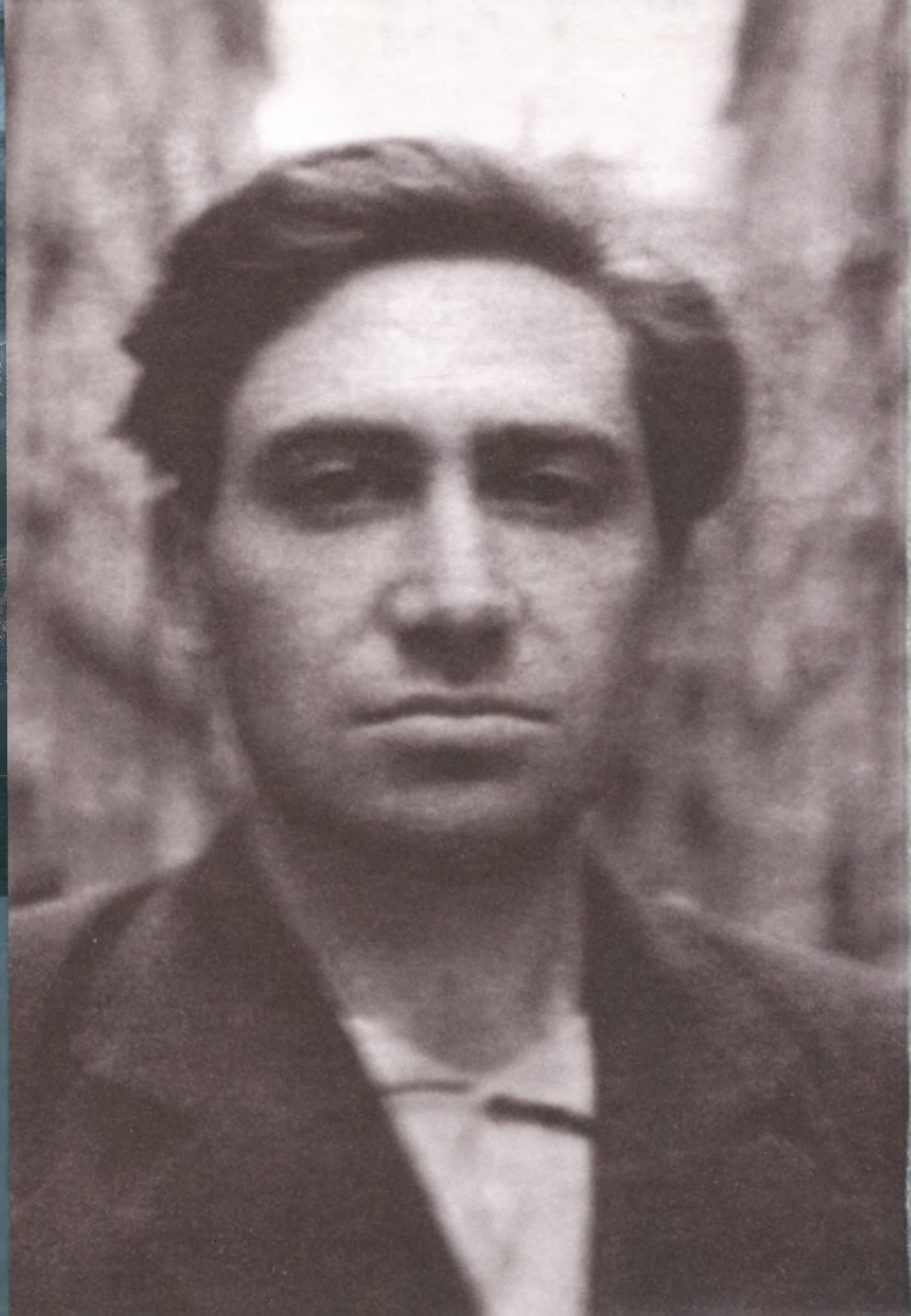
СКУКИ НЕ БЫЛО

Бенедикт
САРНОВ

**Скуки
не было**

*Первая книга
воспоминаний*





Бенедикт
САРНОВ

*Скуки
не было*

*Первая книга
воспоминаний*

МОСКВА • АГРАФ • 2004

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-49
С20

Художник *В. Кортаева*



Информационный спонсор –
радиостанция «Эхо Москвы»

С20 Сарнов, Бенедикт Михайлович.

Скуки не было: Первая книга воспоминаний, 1937–1953 /
Бенедикт Сарнов. – М.: Аграф, 2004. – 704 с., [32] с. ил. –
ISBN 5-7784-0292-9

Книгу своих воспоминаний Бенедикт Сарнов озаглавил строкой из стихотворения Бориса Слуцкого, в котором поэт говорит, что всего с лихвой было в его жизни: приходилось недосыпать, недоедать, испытывать нужду в самом необходимом, «но скуки не было».

Назвав так свою книгу, автор обозначил не только тему и сюжет ее, но и свой подход, свой ключ к осознанию и освещению описываемых фактов и переживаемых событий.

Начало первой книги воспоминаний Б. Сарнова можно датировать 1937 годом (автору десять лет), а конец ее 1953-м (смерть Сталина). Во второй книге, работу над которой автор сейчас заканчивает, повествование будет доведено до наших дней.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-49

Один восточный мудрец всегда просил в своих молитвах Аллаха, чтобы тот милостиво избавил его от жизни в интересное время. Поскольку мы не мудрецы, Бог нас от этого не избавил, и мы живем в интересное время. Во всяком случае, оно не позволяет нам терять к нему интерес.

Альбер Камю

Всякое прошлое само по себе сюжетно.

Борис Эйхенбаум

ОТ АВТОРА

Я долго не разрешал себе братья за эту книгу.

Кто я такой, чтобы писать мемуары?

Рядом были судьбы друзей. Они воевали. Некоторые из них прошли через сталинские лагеря. Вот им – было что вспомнить! Но даже и они не спешили делиться с читателями воспоминаниями о прожитой жизни.

А потом я подумал: я жил в потрясающее время! Был современником событий, с которыми мало что могло сравниться в мировой истории. И я был не просто свидетелем. Это время мяло меня, ломало, формовало по образу и подобию своему.

Впечатленьями жизнь не бедна, как было сказано в одном стихотворении Ярослава Смелякова. И хотя мне не досталось пережить и сотой доли того, что пришлось испытать автору этого стихотворения, моя жизнь тоже была не бедна впечатлениями. Ведь все то, о чем сказал другой поэт, другой мой современник – Борис Слуцкий – напрямую касалось и меня тоже. Я имею в виду не самое знаменитое его стихотворение, в котором он говорит, что всего с лихвой было в его жизни: приходилось недосыпать, недоедать, испытывать нужду в самом необходимом. «Но скуки не было». Эта строчка рефреном замыкает каждое четверостишие, из которых состоит стихотворение, каждую его строфу:

Газет холодное вранье,
статей напыщенный обман –
и то читали, как роман.
Но скуки не было.

Ведь все это, подумал я, было и со мной тоже. Не «при мне», а именно **со мной**.

Немногими этими строчками поэт сказал не только про свою, но и про мою, про нашу общую жизнь.

Вот поэтому-то я и решился все-таки сесть за эту книгу. И поэтому решил назвать ее так, как назвал.

НАЧАЛО БЫЛО ТАК ДАЛЁКО...

С самого раннего детства, возможно, лет с пяти-шести, я знал, что, когда вырасту, обязательно стану писателем.

Джордж Оруэлл

1

Когда мне стукнуло десять лет, кто-то подарил мне на день рождения необычайной красоты общую тетрадь – «в линейку». Гладкая, глянцевая бумага, кожаный переплет. Конечно, не из настоящей кожи. Наверное, из какого-нибудь заменителя – но тогда я этих тонкостей не понимал и искренне считал этот переплет кожаным.

Я в эту тетрадь просто влюбился. Спрятал ее в самый дальний ящик. Иногда вынимал, любовался, любовно поглаживал переплет – и снова прятал. Даже запах ее был мне мил.

Надо сказать, что я с детства питал какую-то странную, необъяснимую любовь к тетрадям, блокнотам, записным книжкам – вообще к бумаге. Радовался, когда – случалось – в школе нам выдавали тетрадки (купить их тогда было не так-то просто, поэтому нам их выдавали – по счету) с гладенькой, глянцевитой бумагой. И от души ненавидел обычные наши тетради, в которых бумага была серая, шероховатая, с какими-то даже мелкими щепочками и другими грязноватыми вкраплениями в ее бумажную ткань. (Это осталось у меня на всю жизнь. Я не коллекционер, даже не библиофил: в книге превыше всего ценю текст, а не то, как она издана. Но любимую книгу, напечатанную на плохой бумаге, до сих пор воспринимаю как личное оскорбление.)

В сравнении с теми будничными нашими школьными тетрадками подаренная мне «кожаная» толстая тетрадь казалась мне – да и на самом деле была – совершенно немислимой роскошью. И я долго не мог решить, что мне с нею делать. Осквернить ее глянцевые страницы своими каракулями казалось мне чуть ли не святотатством. Так и хранилась она у меня довольно долго – девственно чистая, неприкасаемая.

Но в один прекрасный день я вдруг решился. Открыл ее и начал писать. Разумеется, роман. Ни больше ни меньше.

О чем был этот роман, я уже, признаться, даже и не помню. Что-то про пиратов. Какая-то дикая смесь из «Острова сокровищ» и приключений жюльверновского Айртона.

Роман я, конечно, не дописал, а оскверненная, безнадежно испорченная тетрадь потеряла в моих глазах всю свою ценность и вскоре затерялась.

2

Но желание писать не пропало.

Его не убила даже начавшаяся спустя три года война.

Сочинять романы я, правда, больше уже не пытался. Если не считать того, что в 42-м, в эвакуации, вдвоем с моим тогдашним дружкой Глебом Селяниным мы вдруг решили продолжить «Евгения Онегина». Было нам тогда уже лет по пятнадцать. Оба мы, как водится в этом возрасте, писали стихи. И обоих нас заворожила онегинская строфа. Не столько даже сама строфа, сколько вдруг обнаружившаяся у нас обоих способность сравнительно легко воспроизводить ее.

Перенеся действующих лиц пушкинского романа в наше время, ничуть не заботясь о сколько-нибудь логичном развитии сюжета, а только упиваясь этим нехитрым своим умением, мы сочиняли в день по десять-пятнадцать строф, стремясь лишь к одной единственной цели: чтобы по количеству строк наш «Онегин» не уступал пушкинскому. Двигал нашими перьями, таким образом, не потный вал вдохновения, а чисто спортивный азарт.

Без особого труда сочинив восемь (точь-в-точь как у Пушкина) глав, мы к этой своей затее тотчас же охладели. И увлеклись чем-то другим.

Что там мы нагородили в этих восьми главах – хоть убей, не помню. Запомнилось почему-то только, что, умертвив Ольгиного жениха – улана, мы выдали ее за милиционера. Как только я вспомнил это, так сразу же из каких-то самых глубоких провалов памяти вдруг выскочило начало строфы, в которой мы представляли этого нового героя читателю:

Его зовут Андрей Коляскин.
Он пунктуален, как часы.
Из серой милицейской каски
На вас глядят его усы.

Только эти четыре строчки и сохранились в моей памяти из всего нашего «романа в стихах». Но и по ним видно, что сочиняли мы его, как говорится, без всякого умственного напряжения. Любая глупость сразу зарифмовывалась, и чем эта глупость была глупее, тем легче давалось нам уже привычное чередование рифм – перекрестных, парных, кольцевых – в той строгой последовательности, которую нам диктовала пленившая нас онегинская строфа.

Для Глеба спортивный угар этих месяцев прошел бесследно. (После школы он поступил в театральное училище и стал актером.) А я, кажется, именно тогда впервые понял, кем хотел бы стать в будущей, взрослой своей жизни.

Втайне от Глеба я стал сочинять какие-то стихи (все той же онегинской строфой) уже не в шутку, а всерьез. Сочинял я их старательно, никуда не спеша, поэтому были они не в пример мастеровитее тех, что мы сочиняли вдвоем с Глебом. Но и не в пример скучнее. Те, что мы сочиняли вместе в ежедневных приступах нашего азартного глупого веселья, при всей своей глупости были живыми. А эти – мертвыми.

Тут проявился едва ли не главный закон художественного творчества, блестяще сформулированный моим учителем Виктором Борисовичем Шкловским. Однажды, разговаривая со мной на эти темы, он кинул со своей «улыбкой Будды» – этак небрежно, словно какую-нибудь банальность:

– Главное – не надо стараться!

И я сразу вспомнил те давние, детские мои старания.

И еще мне вспомнилось, как с тем же Глебом мы, подражая

нашему любимому Маяковскому, стали сочинять – наперегонки – всякие рифмованные рекламы. До знаменитого шедевра Владимира Владимировича – «Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старости лет!» – нам, конечно, было не подняться. А кроме того: ну какие товары могли мы рекламировать в то голодное военное время? Разве только яичный порошок...

Но мы вышли из положения: сочиняли рекламы кинофильмов.

Я пыхтел, рубил строки под Маяковского, старательно избретал сложные, каламбурные рифмы. Но – хоть убей! – не могу припомнить ни одного тогдашнего моего шедевра. А Глеб – посмеиваясь, озорничая, как бы даже и не всерьез, в каком-то внезапном приступе веселого вдохновения – вдруг выдавал:

Кто не плакал в платки полосатые,
Посмотрев «Без вины виноватые»!

И мы оба закатывались в счастливом смехе.

Тогда я вряд ли мог бы объяснить, чем так восхитил нас этот неприятный экспромт. А восхитил он нас своей произвольной, непринужденной иронией. И еще тем, что направлена эта ирония была в разные стороны: была тут и издевка над сентиментальной киномелодрамой, над зрителями, обрыдавшими знаменитую патетическую реплику ее героя («Я пью за матерей, которые бросают своих детей!»). Другой же мишенью этой иронии было само идиотское наше занятие – ну и, конечно, тот, кто вдохновил нас на это, кому изо всех сил мы стремились подражать. Нарочитая, подчеркнутая несерьезность Глебовой «рекламы» фильма «Без вины виноватые» довольно прямо давала понять, что Владимиру Владимировичу вряд ли стоило тратить на всю эту ерунду «золотые россыпи» своего поэтического дара.

Вряд ли и сам Глеб все это тогда понимал. Но все это было, было в том его двустийшии, я это не придумал.

Начав вспоминать эти наши детские стихотворные шалости, я был уверен, что кроме тех дурацких четырех строк про Андрея Коляскина, память моя больше ничего из них не сохранила. И вдруг вспомнил, как мы прочли – сейчас уже не помню, где, может быть, в какой-нибудь школьной хрестоматии – ис-

торию про Пушкина, который, закончив «Бориса Годунова», бегал у себя в Михайловском в одной ночной сорочке по горнице и кричал: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»

Прочли – и восхитились! И тут же, с ходу, превратили ее в рефрен мгновенно, без всяких усилий сочиненных нами куплетов.

Тотчас же и сами эти – казалось, напрочь забытые мною – куплеты всплыли в моей памяти, словно сочиняли мы их не полвека назад, а – вчера.

Всплыли, правда, не все, а лишь самые яркие: песня была длинная.

Конечно, упоминались в ней и литературные заслуги Пушкина. Примерно вот так:

Это не простая ведь работа,
Чтоб на языке родных осин
Переплюнуть сэра Вальтер Скотта.
Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!

Но в основном мы славили Пушкина за то, каким молодцом он был не в литературе, а в жизни:

Первую красавицу России
В жены взять сумел лишь он один.
Не было другой такой красивой.
Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!

И в застолье мог он отличиться,
Не пьянея от шампанских вин.
И за честь жены сумел вступиться.
Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!

Он нам свой – от пяток до макушки!
То и дело слышим:

– Гражданин!
А платить за вас кто будет? Пушкин?
Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!

Да, прав, прав был Виктор Борисович! Главное – не надо стараться!

Не зная еще этого мудрого совета (да и позже, узнав, я далеко не сразу оценил всю его глубину и серьезность), я продолжал стараться. И – втайне от Глеба – исписал своими старательными мертворожденными строфами целую тетрадку, которую бережно хранил. Но – не сохранил. Тетрадь вскоре куда-то исчезла – как сквозь землю провалилась.

Как потом выяснилось, у меня ее стащил Глеб. И когда мы с ним потом разъехались – я в Москву, он – в Ленинград, он долго еще донимал меня, приводя в письмах длинные цитаты из той моей заветной тетради. Разумеется, не отказывая себе в удовольствии глумиться над каждой строчкой.

Стыдно мне было ужасно. Но от занятий стихотворством это меня не отвратило: я стал только более тщательно прятать от посторонних глаз все мои дальнейшие опыты в стихах и прозе. А закончив школу, не раздумывая решил поступать на русское отделение филфака МГУ.

Все экзамены я сдал легко. И меня приняли. Но не на русское отделение, а на классическое.

Была осень 45-го года. Только что кончилась война. И все фронтовики шли вне конкурса. Так мне объяснили, почему на русском отделении для меня не нашлось места.

Перспектива изучать античную литературу меня не привлекала, и я пришел на факультет забирать документы.

– Вы совершаете большую ошибку, – сказал мне старичок профессор, принимавший у меня экзамен по русской литературе и искренне мне сочувствовавший. – Я понимаю, вы любите русскую литературу. Наверное, и сами что-то там пописываете...

Я покраснел.

– Но ведь все это от вас никуда не уйдет, – продолжал он. – Пробовать свои силы на этой ниве вы все равно будете. Получится из вас профессиональный литератор – слава богу! Но ведь это еще бабушка надвое сказала. А закончите классическое отделение – станете тонким специалистом...

Он долго еще уговаривал меня не спешить, не горячиться, подумать. Но я слушал его вполуха. Никаким тонким специалистом я становиться не хотел, тем более что специальность, которую сулило мне классическое отделение, прочно ассоциировалась у меня с чеховским человеком в футляре.

Документы свои я все-таки забрал, хотя и весьма слабо себе представлял, что буду с ними делать. Приемные экзамены всюду уже закончились.

Мысленно прорабатывая и один за другим отбрасывая разные – не слишком веселые – варианты будущей моей судьбы, я вдруг наткнулся однажды на газетное объявление, которое, если бы верил в Бога, наверняка счел бы указанием свыше. Литературный институт имени А.М. Горького при Союзе советских писателей объявлял набор студентов. Институт – сообщалось там – имеет целью дать высшее филологическое образование молодым писателям, уже проявившим себя в литературе. Имеются факультеты: прозы, поэзии, критики. Желающие принять участие в конкурсе должны представить свои произведения не позднее...

Как и во всех творческих вузах, экзамены в Литинституте начинались на месяц позже, чем в МГУ, и представить свои произведения до указанного в объявлении срока я бы успел. Если бы, конечно, эти произведения у меня были. Но то-то и горе, что никаких произведений, во всяком случае таких, которые не стыдно было бы послать на конкурс, – ни в стихах, ни в прозе – у меня в наличии не имелось. Не подавать же на конкурс «Евгения Онегина», которого два года назад, веселясь, сочиняли мы с Глебом. Да он у меня и не сохранился – тот наш «роман в стихах». Затерялся где-то, так же как мой первый – детский – роман о пиратах.

Имелись, конечно, какие-то стишки. И даже какие-то прозаические отрывки, которые можно было выдать за главы будущей – еще не написанной – повести. Но дают ли они основания считать меня молодым писателем, уже проявившим себя в литературе? Это было в высшей степени сомнительно. А действовать надо было наверняка.

И вот, решив действовать наверняка, я за две оставшиеся в моем распоряжении недели накатал длинную заумную статью «Пушкин и Маяковский». Доказывалось в ней, разумеется, что Маяковский вовсе не был антагонистом Пушкина, а напротив, творчески продолжил пушкинские традиции. Смелость

этого сопоставления так поразила членов приемной комиссии, что я был принят **безусловно**, как сказали моему отцу, которого я, отчаянно трусая, попросил заглянуть по дороге на работу в Дом Герцена на Тверском бульваре и узнать, как обстоят мои дела. На вопрос отца, что означает слово «безусловно», ему объяснили, что меня не просто допустили к экзаменам, а уже зачислили. То есть я уже принят, независимо от того, сдам или не сдам экзамены.

Таких – принятых безусловно – как потом выяснилось, у нас на курсе было трое: Гендряков, Бондарев и я, несчастный.

А несчастен я был потому, что мне совсем не хотелось быть критиком. Тем более что критиком на нашем курсе был только я. Все остальные числились либо прозаиками, либо поэтами.

Но в этом моем несчастье, как тут же выяснилось, заключалось и некоторое мое преимущество.

Вопреки прочитанному мною газетному объявлению, никаких факультетов – прозы, поэзии и критики – в нашем институте не было. Просто ребят, сочинявших стихи и мнивших себя поэтами, записывали в какой-нибудь поэтический семинар – к Сельвинскому или Луговскому. Желавших стать прозаиками определяли в семинар к Федину, или к Паустовскому, или к Гладкову. Критических же семинаров у нас тогда еще не было (они появились позже). Поэтому я – единственный критик не только на нашем курсе, но и чуть ли не во всем институте – мог на законном основании посещать **любой** семинар. В отличие от всех моих однокашников, мне не надо было шустрить, домогаясь, чтобы меня записали к Федину, а не к Гладкову. Я мог сам, по собственной воле, выбрать для себя того руководителя семинара, к которому лежала моя душа.

Душа моя лежала к Паустовскому. И я стал ходить на его семинары. Но хотя ходил я на эти семинары на вполне законном основании, чувствовал себя там самозванцем. И вовсе не потому, что все «семинаристы» официально числились прозаиками, а на мне лежало клеймо критика.

Природа этого моего «самозванства» была другая.

На одном из первых семинарских занятий (первых, разумеется, только для нас, новичков) Константин Георгиевич попросил каждого из нас написать что-то вроде автобиографии. Не такой, разумеется, какую пишут для отдела кадров, а – художественной. Задача состояла в том, чтобы заглянуть в себя и понять, что именно – когда, в какой момент жизни – пробудило у автора стремление стать писателем. Вовсе не обязательно при этом, – сказал Константин Георгиевич, – описывать всю свою жизнь. Можно описать всего лишь один какой-нибудь эпизод, случай. Но это должен быть именно тот эпизод, именно тот случай, который толкнул вас к перу и бумаге.

– В моей жизни, – сказал он, – таким эпизодом была история, которую я описал в рассказе «Местечко Кобрин».

Я этот рассказ читал и хорошо его помнил. В нем описывалась жуткая история про то, как толпа изголодавшихся беженцев, кинувшихся к открытым дымящимся котлам, в которых варилась какая-то похлебка, раздавила, насмерть растоптала оказавшегося на ее пути маленького мальчика. Мальчик и его двенадцатилетняя сестренка отстали от родителей, потерялись. Солдаты, в числе которых был и автор рассказа, пригрели осиротевших детей. Один из них, взяв мальчика за руку, повел его к походной кухне, чтобы накормить. И вот тут-то и ринулась на них эта обезумевшая от голода, ничего кроме котлов с дымящимся варевом перед собою не видящая толпа.

Всем моим сокурсникам нетрудно было выполнить задание Паустовского. Все они прошли войну. У каждого в памяти было, наверно, немало таких же страшных, может быть, даже еще более страшных картин. Мозг каждого был до предела насыщен, даже перенасыщен такими впечатлениями. И отвязаться от них, избыть их можно было только одним способом: попытаться излить их на бумаге. Именно вот это неодолимое стремление и толкнуло их к перу, именно оно и вызвало желание писать художественную прозу, именно оно и привело их в этот институт, на этот семинар.

И так, наверно, бывает всегда. Именно так, только так, – думал я, – люди и становятся писателями.

Борис Зайцев, заметивший (и отметивший) Паустовского

из своего парижского далёка, сказал о нем, что всеми своими книгами этот писатель словно бы хочет сказать:

Ну, вы там занимаетесь устройством человечества, а ведь есть и получше вещи, чудесные озера, удивительные леса, лесничество, умные старики из народа, мальчишки, всем интересующиеся, иногда фантазеры и поэты, есть ведь благоухание трав и лугов, какой-то страшный челн, проросший цветами, древний мерин, которого жалеет конюх Петя.

Бориса Зайцева я тогда, конечно, не читал. Даже о таком и не слышал. (Да этот его портрет Паустовского тогда еще даже и не был написан.) Но писателя Паустовского уже тогда я видел и представлял себе именно вот так, как изобразил его в этих немногих словах старый русский писатель, кончавший свою жизнь в эмиграции.

И вот оказалось, что даже Паустовский – этот тонкий пейзажист и нежный лирик, – оказалось, что и он тоже желание стать писателем впервые испытал оттого, что мозг его был перенасыщен кровавыми и страшными впечатлениями еще той, Первой мировой войны.

Оказывается, его тоже, как и всех моих тогдашних друзей-фронтовиков, распирало. Как и они, он тоже хотел освободиться от переполнявших его впечатлений. А кроме того – об этом тоже прямо было сказано в том его рассказе, – он, всеми своими книгами говоривший, что есть на свете вещи получше, чем «устройство человечества», захотел стать писателем, потому что верил в силу слова. Верил, что словом писателя вернее, чем каким-нибудь другим способом, можно изменить, улучшить, очеловечить наш жестокий и страшный мир.

А я?

Я хотел быть писателем просто потому, что мне хотелось писать. И никакой другой, более серьезной причины, объясняющей это мое желание, я назвать не мог. И никакого случая, никакого эпизода, который я мог бы представить как первый толчок, вызвавший у меня это желание, в моей небогатой событиями жизни тоже не было.

Не рассказывать же о том, как в детстве мне подарили ко-

жаную тетрадь и как я долго мучился, не зная, на что ее употребить.

Хотя, собственно, почему бы и нет?

Признался же Джордж Оруэлл в своем эссе, написанном как раз на эту тему, так прямо и озаглавленном – «Почему я пишу», что с самого раннего детства – лет с пяти-шести – знал, что когда вырастет, обязательно станет писателем. И объяснил это тем, что рос одиноким ребенком и одиночество это «выработало свойственную таким детям привычку сочинять разные истории и разговаривать с воображаемыми собеседниками».

Нечто похожее я, наверно, мог бы написать и о себе.

Был в семинаре у Паустовского еще один студент с биографией, похожей на мою, – Макс Бременер. (Мы с ним потом подружились.) Как и я, он тоже пришел в институт со школьной скамьи. Как и мне, ему тоже не о чем было писать, кроме как о своем детстве. Тем не менее Паустовский к нему благоволил. А много лет спустя в письме Константина Георгиевича, отправленном из какого-то Дома творчества (то ли из Переделкина, то ли из Ялты), я прочел такую фразу:

Здесь живет сорок человек. Тридцать девять – члены Союза писателей – не писатели. И один не член Союза писателей – писатель. Макс Бременер.

Вот ведь понял же Константин Георгиевич, что Макс, напечатывший тогда лишь два-три коротеньких рассказа, – писатель. А те тридцать девять членов Союза писателей, наверняка написавшие и издавшие немало увесистых томов, – не писатели.

Наверно, я бы тоже – не хуже Макса – мог написать о своем детстве.

Но что я мог о нем написать?

Я был комнатным, книжным мальчиком. Все мои сверстники только и ждали того блаженного часа, когда родители разрешат им выйти из дому погулять. Загнать их с улицы домой было нелегко. Ближе к вечеру изо всех окон нашего многооконного дома неслись материнские голоса:

– Але-ша! Сейчас же домой!

– Женя-а! А уроки кто будет делать? Пушкин?

У моих родителей этих проблем не было. Со мной у них были совсем другие, противоположные трудности: меня невозможно было выгнать из дому на улицу. На постоянные приставания отца, интересующегося, почему я вечно торчу в четырех стенах с книгой в руках, я отвечал, что во дворе меня мальчишки дразнят, на что отец реагировал всегда одной и той же неизменной репликой:

– Почему меня никто не дразнит?

Вот обо всем об этом мне бы и вспомнить, выполняя задание Константина Георгиевича.

Но это я сейчас так думаю. Тогда такая мысль мне в голову прийти не могла.

4

Маяковский, которого я тогда любил и о котором написал первую в своей жизни статью, так объяснял, чем настоящий поэт или писатель отличается от ненастоящего:

Человек, впервые формулировавший, что «два и два четыре», — великий математик, даже если он получил эту истину из складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали неизмеримо большие вещи, например, паровоз с паровозом, все эти люди — не математики.

Это остроумное замечание Маяковского, высказанное им в его статье «Как делать стихи», я, конечно, знал. И оно тогда, помню, очень мне нравилось. Но истинный смысл этого простейшего соображения тогда до меня не дошел.

Что касается математиков, оно, может, и так. А вот в литературе... Тут — нам это внушали, и мы в это твердо верили — складыванием окурков ничего путного не добьешься. Тут надлежит складывать именно паровозы с паровозами. А еще лучше — домны с домнами, мартеновские цеха — с мартеновскими цехами, армии с армиями, фронты с фронтами. И величина (не только величина, но и величие) писателя как раз и опре-

деляется величиной (и величием тоже) тех явлений и предметов, из которых он «складывает» свой художественный мир. Недаром же величайшим из великих справедливо считается автор «Войны и мира», где и Наполеон, и Кутузов, и Бородино, и пожар Москвы, и прочие грандиозные события отечественной – да и мировой – истории.

А ведь я уже тогда читал (и запомнил) в воспоминаниях Короленко о Чехове:

– Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот...

Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь – это оказалась пепельница, поставил ее передо мною и сказал:

– Хотите – завтра будет рассказ... Заглавие «Пепельница».

И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм...

В той чеховской пепельнице как раз и тлели те самые четыре окурка, которые Антону Павловичу с успехом заменяли предписанные нам паровозы, домны и мартеновские печи.

Помню, я тогда позавидовал Чехову. Позавидовал не таланту его, не силе его художественного воображения, а тому, что в его время можно было черпать свои сюжеты откуда угодно. Хоть из пепельницы. В наше время это было уже невозможно. Это я воспринял как данность. Как непреложную истину, не подлежащую обсуждению.

Твердое убеждение, что, прежде чем сесть за письменный стол, писатель должен долго и упорно «изучать жизнь», долго меня не покидало. И справедливости ради надо признать, что в этом повинны не только официальные тогдашние наши учителя – теоретики и практики соцреализма, но и те наши «боги и педагоги», которым мы не могли не верить.

Вот, например, Бабель. В сентябре 1933-го, вернувшись в Москву из довольно длительного путешествия по Европе (Франция, Бельгия, Италия, Германия, Польша), он делился впечатлениями об этой поездке с коллегами и друзьями. Его

спросили: есть ли сейчас в эмигрантской литературе какие-нибудь талантливые писатели, кроме стариков – Бунина, Куприна, Зайцева, Шмелева?

– Да, – ответил он. – Появился новый писатель – Сирин, сын Набокова. Он очень талантлив. Но писать ему не о чем.

Это Набокову-то! Уже к тому времени написавшему «Защиту Лужина» и «Подвиг»... Это ему-то не о чем писать!

По-видимому, мысль, что целью художественного самовыражения может стать стремление человека разобраться с самим собой, со своей собственной душой, понять и выразить то, что творится у него «там, внутри», – эта простая и сегодня уже не просто очевидная, а банальная мысль – не приходила в голову даже Бабелю.

Так надо ли удивляться, что я, вчерашний школьник, одержимый странным, мне самому не совсем понятным желанием стать писателем, стыдился признаться, что нет у меня за душой ничего, что могло бы это мое желание объяснить и оправдать?

Надо ли удивляться, что я сразу поверил в то, что у меня (во всяком случае – пока!) нет никаких серьезных оснований даже пытаться, как это тогда у нас говорилось, «перейти на прозу».

Ну а кроме того (может быть, не «кроме», а как раз вот именно поэтому), все мои тайные, тщательно от всех скрываемые попытки писать так называемую художественную прозу мне самому решительно не нравились. Нравилась мне тогда совсем другая проза. Я был влюблен в Хемингуэя, восхищался «Детством Люверс» Пастернака. Но о том, чтобы писать как они, даже о том, чтобы подражать этим своим любимцам, не смел даже и мечтать.

5

Писателю, даже начинающему (может быть, начинающему даже больше, чем опытному, зрелому), необходима **энергия заблуждения**. Выражение это принадлежит Л.Н. Толстому, который вкладывал в него свой, особый, вероятно, более глубокий смысл. Я же имею в виду нечто очень простое, даже примитивное: в момент творчества писатель должен быть уверен, что создает (и безусловно создаст!) нечто совершенно замеча-

тельное! На другой день, перечитав написанное накануне, он может содрогнуться от отвращения. Потому что, в отличие от графоманов, которым никогда не перестает нравиться то, что они пишут, в каждом настоящем писателе сидит злой и беспощадный критик.

Этот критик сидел и во мне. Но на мое несчастье вся злость и беспощадность, вся высокомерная брезгливость этого сидящего во мне критика моих собственных творений включалась не на следующий день, а – сразу. И та энергия заблуждения, которая пусть в самых малых дозах, но была все-таки и мне отпущена природой, – мгновенно улетучивалась, исчезала.

Была и еще одна причина, из-за которой я тогда так и не «перешел на прозу».

Начальник военной кафедры нашего института полковник Львов-Иванов прославился своим выступлением на собрании, где произнес фразу, ставшую потом легендарной.

Речь шла о безалаберности нашей студенческой вольницы, об отсутствии не то что военной, а вообще какой бы то ни было дисциплины. И вот, перечисляя факты грубейшего нарушения этой самой дисциплины, полковник сказал:

– Дан звонок на лекции. Захожу в мужское общежитие. Сидит Мандель. Без штанов. Пишет стихи. Захожу в женское общежитие. Та же картина...

Увы, бравый полковник был прав. Мандель (Н. Коржавин) был, конечно, высочайшим, недостижимым образцом безалаберности. Но он был не одинок. Все мои друзья-однокашники, замороженные с избытком отпущенной им энергией заблуждения, постоянно что-то такое творили. Кто – стихи, кто – прозу. Естественно, им было не до лекций. А ведь у нас помимо лекций были еще и всевозможные спецкурсы. Скажем, спецкурс по Пушкину, который читал нам Сергей Михайлович Бонди. Или спецкурс по теории стиха (тот же Бонди).

На лекции многие тоже норовили не пойти, сберегая отпущенное на них время для сочинения романа или поэмы. Но пропуск лекции всегда был чреват скандалом – вызовом в учебную часть, другими неприятностями. Спецкурсы же были факультативными. Ходить на них было не обязательно.

Никто бы и не ходил. Но не хотелось обижать очаровательного, заражающего пылкой влюбленностью в свой предмет Сергея Михайловича. С этой целью всякий раз выделялась группа из трех-четырех энтузиастов, которые должны были на занятиях у Бонди, как это у нас тогда называлось, «изображать толпу». Отбор энтузиастов совершался, разумеется, в добровольно-принудительном порядке. Кое-кто ворчал, пытаясь уклониться от этой сомнительной роли. Другие, вздохнув, соглашались.

И тут вдруг обнаружился чудака, который на эту роль соглашался очень охотно. Не в добровольно-принудительном, а в самом что ни на есть добровольном порядке.

Чудаком этим был я.

Во-первых, на спецкурсах у Бонди мне было интересно. А во-вторых, у меня возникла потребность, вооружившись полученными мною на этих спецкурсах знаниями, вернуться к моей статье «Пушкин и Маяковский». Попробовать написать ее всерьез – уже не для того, чтобы произвести впечатление на членов приемной комиссии, а чтобы постараться и в самом деле что-то там интересное выяснить (может быть, даже открыть?). Тут, как ни странно, явившаяся вдруг энергия заблуждения почему-то меня не оставляла. И большую статью о Пушкине я в конце концов написал. (Потом даже и напечатал.) Никаких открытий в ней, разумеется, не было. Но мне-то тогда казалось, что были...

Так вот и вышло, что прозаиком я не стал. Стал – вернее, остался – критиком.

Не могу сказать, чтобы это меня радовало. Положение литературного критика у нас, да еще в те времена, когда я начинал, было не из приятных. Роль критика была довольно-таки жалкой и даже унижительной. Я уж не говорю о том, что тогда она была еще и весьма опасной. Сохранить в этой роли не то что независимость, а даже простое человеческое достоинство – было нелегко. (Когда дойдет черед, я расскажу об этом подробнее.) Но всего этого я тогда еще не сознавал. Как все молодые литераторы, я упивался созерцанием своей фамилии, время от времени (не слишком часто) появлявшейся на

страницах «Литературной газеты» под какой-нибудь жалкой рецензушкой.

Были и другие мелкие радости.

Но мысль, что все-таки напрасно я отказался от своей мечты стать прозаиком, меня не покидала. Временами у меня даже возникало сосущее тоскливое чувство, что я упустил в жизни какой-то важный шанс. Выражаясь высокопарно, зарыл в землю какие-то свои таланты.

Тогда я еще не понимал, что писатель от неписателя отличается совсем не тем, что писатель пишет: «Он сказал» – «Она сказала», – а критик, литературовед, эссеист обходится без диалогов, пейзажей и прочих неперемennых атрибутов так называемой художественной прозы.

Художник – это человек, которому есть что сказать людям.

Но художник никогда не говорит прямо и просто...

Вместо того чтобы сказать «я не хочу ехать в ссылку», он говорит:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

О том, что он думает, художник сообщает с помощью примеров: луны, женской улыбки, истории несчастной любви, Ивана IV, хорошего или еще не оправдавшего надежд председателя месткома...

Так объяснил, что такое художник и чем он отличается от нехудожника, мой друг Аркадий Викторович Белинков в своей книге про Юрия Олешу.

Объяснил, по-моему, очень хорошо. Наглядно, просто и точно.

Но если это так, почему художник (человек, которому есть что сказать людям) не может сообщить о том, что он думает, с помощью совсем других примеров? Скажем, с помощью чужих стихотворных строк, даже все равно каких – гениальных или бездарных...

Эта простая мысль пришла в голову не только мне, но и Валентину Катаеву, которого вряд ли можно заподозрить в недостатке художественного дарования. Вот как написал он об этом в своем романе «Алмазный мой венец»:

Вероятно, читатель с неудовольствием заметил, что я злоупотребляю цитатами. Но дело в том, что я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира, как леса, горы, моря, облака, звезды, реки, города, восходы, закаты, исторические события, страсти и так далее, то есть тем материалом, который писатель употребляет для постройки своих произведений.

И – еще раньше, в повести «Трава забвенья»:

Я описываю природу – звезды, лес, мороз, море, горы, ветер, разных людей. Это все мои краски. Но разве литература, поэзия, созданная гением человека, не является частью природы? Почему же я не могу пользоваться ею, ее светящимися красками, тем более что звезды мне еще нужно воплотить в слово, обработать, а стихи гениальных сумасшедших поэтов уже воплощены, готовы – бери их как часть вечной природы и вставляй в свою свободную прозу.

Светящиеся краски! Но ведь это же можно сказать не только о стихах «гениальных сумасшедших поэтов». Ведь мысли, ослепительные идеи философов, теологов, историков – это тоже светящиеся краски!

А потом: ведь краски могут быть не только светлыми, но и темными. И безобразные, бездарные строки, и мысли людей, с которыми я не согласен, мысли, представляющиеся мне нелепыми, даже отвратительными, но отражающие (иногда очень рельефно) реальность чуждого и даже враждебного мне миропонимания, – это ведь тоже краски, которыми можно пользоваться!

Так, может быть, мое постоянное стремление сочетать, сводить в некую единую постройку причудливый набор всех этих ярких, иногда резко контрастирующих друг с другом кра-

сок, – может быть, это не изъян, не ущербность, не отсутствие художественного дара, а просто **мой способ рисовать?**

Но это я сейчас так думаю. Вернее, **позволяю себе** – и то без особой уверенности – так думать. А тогда...

Тогда я отчаянно завидовал писателям, которые выражали то, что они хотели выразить, описывая луну, женскую улыбку, историю несчастной любви и даже хорошего или, напротив, не оправдавшего надежд председателя месткома.

Жизнь писателя представлялась мне сплошным праздником. Какое будущее ждет каждого, ступившего на этот неверный путь, мне не снилось и в самом страшном сне. Знать бы заранее...

Об этом написано стихотворение Пастернака, строкой из которого я озаглавил начало этих своих записок:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес...

Но это – неправда. Если бы его не то что заранее предупредили, «что так бывает», но даже если бы в каком-нибудь фантастическом кинотеатре ему прокрутили всю его последующую жизнь с ее трагическим финалом, «от шуток с этой подоплекой» он все равно – ни за что, ни при какой погоде, ни под каким смертельным давлением – не отказался бы. Сказал же он, умирая, жене, что ему совсем не жаль расставаться с жизнью – жаль только одного: что не придется больше писать.

6

Да, сладка эта отравка.

Все, кто ее отведал, клянут ее почем зря. Но отказаться от нее уже не в силах, как морфинист не в силах отказаться от ежедневной порции морфия.

Вот Блок искренне советует влюбившейся в него пятнадцатилетней девочке предпочесть ему «простого человека, который любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и небе». Потому что он – «слишком занят собой». Ведь он – «сочинитель, человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка».

О том же твердит влюбленной в него Нине Заречной и чеховский Григорин:

– День и ночь одолевает меня одна неотвязная мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую... О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится!.. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь...

Это – не художественный образ, не метафора, даже не гиперболола: писатель на самом деле **съедает свою жизнь**.

Но не в меньшей, а может быть, даже и в большей мере это относится и к писателю, погруженному в призрачный мир книжных образов и стихотворных строчек. Живешь какой-то странной, выморочной жизнью. Ходишь, не замечая ничего и никого вокруг, и знакомые, мимо которых ты проходишь, не здороваясь с ними, говорят о тебе, что ты высокомерен или – еще того хуже – дурно воспитан.

Вот и сейчас, только еще начав эту книгу, еще не погрузившись в нее целиком, я хожу – точь-в-точь как чеховский Григорин – и твержу про себя: не забыть про Бабеля и Набокова, и про Пастернака, и про окурки у Маяковского, и про чеховскую пепельницу...

Но Тригорин – тот хоть глядел на облака, знал, что такое запах гелиотропа, умел отличить его от других запахов. А я... Что я знаю, кроме рифмованных и нерифмованных строк о земле и о небе – этого «вороха скверных цитат», без которых я почему-то не могу обойтись и избытком которых меня попрекают самые близкие мои друзья и самые доброжелательные мои читатели.

Есть, конечно, и у меня свои маленькие радости.

Радостно, когда ничего не клеилось, все слова подворачивались какие-то тусклые, бледные, неживые, и вдруг – что-то случилось... И, как сказано у Гоголя, стало видно во все концы света... И слова пошли – те самые, необходимые, единственные, которыми только и можно сказать то, что ты хотел выразить.

Радостно, когда один образ вдруг тянет за собой другой и оба они – иногда даже неожиданно для тебя – срастаются в единое и прочное целое: вот, например, как окурки Маяковского неожиданно для меня самого оказались у меня в чеховской пепельнице.

Но особенно радостно, когда тебя вдруг выворачивает куда-то совсем в сторону от заранее сложившегося замысла. Когда вдруг чувствуешь, что – нежданно-негаданно – ступил на целину, и тебе открывается совсем не то, ради чего ты сядил сегодня за стол, а что-то совсем новое, неизвестное, о чем еще секунду назад ты и не помышлял, и даже не догадывался, что именно оно-то и станет для тебя самым главным, самым важным из всего, что ты собирался – нет, даже не собирался, а только вот сейчас понял, что именно это тебе и надо было сказать.

Но у писателя, пишущего «про жизнь», этих радостей, я думаю, все-таки больше. Что ни говори, а «отнимать аромат у живого цветка» все-таки сладостнее, чем извлекать этот аромат из стихов и прозы пусть даже самых гениальных прозаиков и поэтов.

Я говорю об этом так уверенно, потому что однажды (если говорить точно, даже не однажды, а – дважды) и мне тоже повезло испытать то, что испытывает художник, который лепит свой мир не из чужих образов и стихотворных строк, а из реальных, живых, своих собственных жизненных впечатлений.

Вот как это произошло.

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

Я бедствовал. У нас родился сын.
Борис Пастернак

1

В 1955 году в моей жизни случились два важных события: у меня родился сын и я устроился на работу.

Сразу лезут в голову знаменитые строки Пастернака:

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.

Я даже не удержался от соблазна поставить одну из них эпиграфом к этой главе, хотя к моему случаю двустипшие это не очень подходит.

Если даже мне и было свойственно то, что Пастернак, говоря о себе, назвал ребячествами, то я эти свои ребячества готов был бросить давно – еще четыре года тому назад, как только кончил институт. Но о том, чтобы устроиться на какую-нибудь штатную работу, я не мог тогда даже и мечтать. А тут даже и искать не пришлось: меня **пригласили**.

Мой отец утверждал, что главной причиной этого неслышанного везенья было рождение сына. Появился на свет новый человек, которого надо было кормить, растить и все такое прочее. И высшие силы – там, наверху, следящие за тем, чтобы все было правильно в этом мире, – распорядились найти для меня какие-то средства пропитания.

На самом деле, конечно, причина была другая: умер Сталин, началось медленное таяние ледника, под тяжестью которого мы жили... Мое объяснение выглядит, конечно, суше и прозаичнее. Но оно, как мне кажется, ближе к истине. Впрочем, дело не в объяснениях, а в сути. Суть же заключалась в том, что я, вчера еще отвечавший на письма детей в «Пионерской правде» – по десять копеек за ответ – и считавший этот мизерный и непрочный заработок величайшим благом, стал **заведующим отделом художественной литературы журнала «Пионер»**.

У меня был отдельный кабинет – и телефон, по которому мне звонили самые разные люди, в том числе и те, до которых раньше мне было не дотянуться. Всем им я был нужен. Все они обращались ко мне с просьбами. Кто-то хлопотал за талантливого молодого человека, пишущего стихи, и молил напечатать хоть одно, хоть самое маленькое его стихотвореньице. Кто-то – за старушку, которая отыскала и перевела на русский язык неизвестный, никогда прежде не печатавшийся в России рассказ Марка Твена (или Джека Лондона, или Конан Дойля).

Но самым приятным в моем новом положении было то, что иногда – не очень, правда, часто, но все-таки и не так чтобы уж очень редко – я получал такие редакционные задания, о которых раньше не мог даже и мечтать. Собственно, я даже не получал, а сам придумывал их для себя, сам давал себе эти восхитительные задания.

Работа критика связана с заказом. Писатель сам выбирает себе тему и сюжет зарождающегося в нем будущего его рассказа или романа. Критику тему и сюжет его будущей статьи – а нередко даже и книги – заказывает редакция.

Повести, романы и стихотворные сборники, рецензии на которые я время от времени публиковал в «Литературной газете» и «Новом мире», выбирал не я. Мне предлагала их редакция.

Темы и сюжеты первых моих книг тоже были мне заданы, заказаны редакцией. И даже когда тему и сюжет можно было выбрать, выбирались они все-таки из того, что тебе предлагалось. Конечно, возможность выбора тоже была величайшим благом. Именно благодаря этой возможности первую свою книгу я написал об авторе любимой мною в детстве «Респуб-

лики Шкид» – Л. Пантелеева, а не, скажем, о Прилежаевой. Другую – о Маршаке, а не о Долматовском или Ошанине. Но когда я выбрал – из того, что мне предлагалось, – Пантелеева, гораздо больше хотелось мне тогда написать о Гайдаре. А когда мне был заказан Маршак, тянуло меня к Пастернаку и Цветаевой.

В «Пионере» передо мной – впервые в моей жизни – открылась восхитительная возможность самому определять темы и сюжеты будущих моих писаний. Захотел написать о Лермонтове – пожалуйста! О Джеке Лондоне? О Диккенсе? – Отлично!

На первых порах, предлагая тему для очередного своего очерка, я привязывал ее к какому-нибудь юбилею. Но вскоре обнаглел настолько, что никакими круглыми и даже некруглыми датами себя уже не связывал. Любое мое предложение приветствовалось. Выражаясь современным языком, я обрел режим наибольшего благоприятствования.

Режим этот распространялся не только на выбор тем и сюжетов. В прежней моей жизни для всех, даже заказных моих писаний я должен был урывать какие-то считанные часы или даже минуты от основного моего рабочего времени, отведенного на зарабатывание денег. (Зарабатывал я их в основном ответами на графоманские рукописи, на те самые детские письма из «Пионерской правды» – по 10 копеек за письмо, о которых уже упоминал.)

Теперь все было иначе.

Выразив желание написать в очередной номер какой-нибудь очерк, я брал себе для этой цели – разумеется, с соизволения начальства – несколько свободных (так называемых творческих) дней, которые – целиком – предназначались для сочинения этого самого задуманного мною очерка. Обременять себя мыслями о зарабатывании денег в эти дни уже не было никакой необходимости, поскольку тут действовал священный принцип: солдат спит, служба идет. Солдат, однако, не спал. Он, как теперь говорят, ловил кайф: получал удовольствие от открывшейся ему блаженной возможности свободно распоряжаться своим временем, то есть тратить это время именно на то, на что ему как раз больше всего и хотелось его тратить.

Удовольствие это слегка омрачали условия тогдашнего нашего бытия. И прежде всего, конечно, как пронизательно отметил это еще неведомый нам тогда булгаковский Воланд, – проклятый квартирный вопрос.

Когда я женился, жить нам с женой, естественно, было негде, кроме как у родителей. Отец мой по этому поводу высказался так:

– Разве я сторонник брака по расчету? Разве я против брака по любви? Но неужели нельзя было полюбить девушку с квартирой?

Никакого другого выхода, однако, не было, и мы поселились в родительской комнате. За шкафом.

Комната была хорошая. В коммуналке, конечно. Но – в самом центре Москвы, около Елисеевского магазина. Как нам тогда казалось, большая (18 квадратных метров). Но был у нее один существенный недостаток. Она была продолговатая, вытянутая в длину. А окна, как на грех, располагались в торцевой, короткой стене. Поэтому перегородить ее было невозможно: получилось бы два длинных узких коридора.

Короче говоря, решили мы эту комнату менять.

О том, чтобы сменять ее на две, хоть и небольшие, мы, разумеется, не смели даже и мечтать. Мечта наша была гораздо скромнее: найти более или менее равноценную, но такую, которую можно было бы перегородить, сделав из нее две.

Описание всех наших мытарств и приключений, порожденных этим скромным намерением, могло бы стать основой для пухлого романа в духе натуральной школы. Поэтому подробно останавливаться на этом сюжете я не буду. Ограничусь тем, что кратко изложу только один крохотный эпизод.

Перебрав тьму предлагавшихся нам разнообразных, но, увы, совершенно нас не устраивавших вариантов, мы наконец набрали на тот, который показался нам прямо-таки идеальным. Это было как раз то, о чем мы мечтали. Комната того же размера, что и наша, в том же районе, и не в развалюхе какой-нибудь, а в хорошем доходном доме, с внушительным подъез-

дом, высокими потолками, просторной кухней. И соседей вроде не так уж много: всего шесть семей. Главное же ее достоинство заключалось в том, что окна (такие же два окна, как у нас) располагались в ней по длинной стене. Так что, если бы ее перегородить, получились бы две – хоть и маленькие, но уютенькие, квадратненькие, светленькие – комнатки.

Счастливые, мы с женой объявили, что комната эта нам подходит. Уходя, уже в дверях, я сказал:

– Смешно, конечно, спрашивать, есть ли в вашей квартире ванная. В таком доме, как ваш...

И вдруг я вижу, что владельцы комнаты как-то замялись.

– Ванная у нас, конечно, есть, – после долгой паузы ответил наконец глава семьи. – Но во время войны в нее вселился прокурор. С семьей. И до сих пор там живет.

– Но вы не волнуйтесь, – перебила его жена. – Он – прокурор! Ему обязательно что-нибудь дадут. Как только они выедут, ванная будет!

Мы, конечно, не сомневались, что рано или поздно прокурору наверняка предоставят какую-нибудь другую жилплощадь, более достойную его высокого чина и звания. Но перспектива иметь в квартире вместо ванной прокурора, да еще с семьей, нас не прельстила. Обмен не состоялся, и мы с женой так и остались жить в родительской комнате – за шкафом.

В эту же комнату мы привезли из роддома и только что появившегося на свет нашего сына.

Новая жизнь, в которую мы нырнули с головой после этого события, могла бы стать сюжетом для еще более пухлого романа. А если учесть сложные отношения между свекровью и невесткой, постоянно ведущими глубоко принципиальные споры о том, кто из них лучше сумеет выкупить ребенка и правильно запеленать его, учесть также, что каждая из них апеллировала ко мне и к отцу, призывая нас стать арбитрами в этих громких спорах, учитывая также некоторые особенности моего характера, из-за которых я не желал, да и не умел занять мало-мальски твердую позицию, а неизменно стремился призвать ссорящихся к консенсусу, за что обеими воюющими сторонами был заклеямен язвительным прозвищем «Адвокат», –

учитывая все эти, а также многие другие психологические нюансы, роман этот, будь он написан, мог бы стать шедевром уже не натуральной, а психологической прозы, с некоторым даже уклоном в достоевщину.

Никогда нельзя было предвидеть, в какую минуту и по какому поводу вдруг вспыхнет пожар.

Начаться он мог с какой-нибудь вполне миролюбивой реплики – неважно чьей.

– Как вам нравится? – словно бы про себя роняет вдруг свекровь. – Оказывается, я плохо чищу картошку!

– Если картошку чистят хорошо, – немедленно парирует невестка, – никаких черных точек на ней не остается. Она чистая, белая.

– Миша! Ты слышишь, что она говорит? Даже ее родная мать сказала, что все, кто ее знают, говорят, что с ней жить нельзя. А меня на старости лет лишили собственного угла, и я должна все это выносить!

– Вы из меня дуру не делайте! – вспыхивает невестка. – Не делайте из меня дуру! Это вы первая затеяли этот разговор!

– Да! Потому что нечего меня учить, как чистить картошку. Картошку я, слава богу, чищу хорошо! Вот, смотрите, я ее почистила, и она белая, а сейчас она будет вариться, и на ней появятся черные глазки.

– Не могут появиться эти глазки, если вы картошку почистили хорошо. Вот, смотрите, я беру картошку. Вот она, картошка. Вот! Чищу ее. Видите? Никаких глазков, никаких черных точек. И вот я ставлю ее варить. Сейчас вы увидите, появятся на ней глазки или не появятся. Ставим физический эксперимент. Сейчас вы все увидите!

– Ну, так чистить картошку! Конечно, когда от картофелины остается ровно половина!.. Не-ет! Я так не делаю... Я сказала сыну! Как только он привел ее в мой дом, я сразу ему сказала: она тебя разорит!..

Из каждой такой схватки они выходили бодрые, обновленные, помолодевшие, что дало повод моему отцу однажды заметить: «Они обе останутся живы!» – намекая тем самым, что нам с ним это вряд ли удастся.

Чтобы хоть немного разрядить обстановку, мы с отцом по-

шли на отчаянный шаг: решили купить телевизор. Это было для нас тогда совершенно непозволительной роскошью, но мы надеялись, что столь мощное отвлекающее средство хотя бы по вечерам внесет в наш дом покой и умиротворение.

Но – не тут-то было.

Сидим мы, бывало, у крохотного экранчика, слегка увеличенного линзой (было тогда такое кошмарное устройство, о котором сейчас даже и вспомнить страшно) и с интересом следим, как грибоедовская Софья с невинным видом морочит голову отцу, отводя его подозрения от Молчалина, с которым только что рассталась.

– Вот мерзавка! – страстно осуждает ее моя мать.

– Почему мерзавка? – немедленно вступает в дискуссию моя жена. – Она борется за свое счастье!

Слово за слово, и – пошло-поехало.

Сложный подтекст этих дискуссий был очевиден. «Такая же мерзавка, как ты, которая вот такими же лживыми приемчиками женила на себе моего мальчика», – давала понять невестке свекровь. И невестке не оставалось ничего другого, как тут же кинуться в бой, защищая совсем ей не симпатичную Софью. Плевать ей было на эту Софью. Не в Софье тут совсем было дело!

С каждым днем наша жизнь становилась все невыносимее.

Но тут нам пофартило.

3

Ближайшая наша соседка Марья Романовна – владелица смежной с нами крохотной комнатухи, женщина весьма пожилая, а по моим тогдашним понятиям даже старая, вдруг неожиданно-негаданно вышла замуж. Со своим будущим мужем Сергеем Всеволодовичем она познакомилась на кладбище. И роман будущих супругов сперва заключался в том, что каждый день они отправлялись вдвоем на какое-нибудь из московских кладбищ – каждый раз на другое – и тихо гуляли там меж могилами, читая надписи на памятниках и беседуя о бренности всего сущего.

С этим Сергеем Всеволодовичем, кстати, у меня случился однажды такой – весьма примечательный, слегка даже потрясший меня – разговор.

– Бенедикт Михайлович, – спросил он. – Вы случайно не слышали про такого писателя – Бунина?

Я, признаться, даже не сразу понял, что речь идет о том самом, настоящем Бунине, Иване Алексеевиче. А поняв, что именно о нем, ответил:

– Еще бы!

– Может, и про жену его, Веру Николаевну Муромцеву, тоже приходилось что-нибудь слышать? – поинтересовался Сергей Всеволодович.

Я сказал, что да, конечно, приходилось.

Таинственно оглядевшись по сторонам и убедившись, что в комнате мы одни, Сергей Всеволодович наклонился к самому моему уху и прошептал:

– Это моя сестра.

Вот с этим-то братом (может быть, не родным, а двоюродным) Веры Николаевны Муромцевой и завела роман наша не шибко интеллигентная соседка.

К счастью для нас, этот платонический роман вскоре вошел в следующую фазу: любовники поженились, и Марья Романовна переехала к Сергею Всеволодовичу куда-то на Арбат, а комнату свою согласилась за сравнительно небольшую плату сдавать нам. Правда, с условием, что жить в ней будем только мы с женой, а ребенок наш чтобы даже не переступал порога ее хоромов. Условие это (как показало будущее, весьма предусмотрительное), очень скоро было нами нарушено: родители изнемогали от бешеной активности нашего первенца, и мы время от времени, чтобы дать им хоть небольшую передышку, забирали его к себе. Следов его пребывания в запретной зоне скрыть было невозможно. Он постоянно тянулся к самым разнообразным предметам, привлекавшим его внимание: к иконе, к висящей под ней лампадке, к старинным флаконам из-под духов, которых у Марьи Романовны было множество и которыми она почему-то очень дорожила, к старинным фарфоровым пасхальным яйцам... Увы, далеко не все они в результате уце-

лели. Да и те, что уцелели, довольно-таки сильно пострадали. Поэтому счастье наше длилось недолго: по прошествии полугода Марья Романовна разорвала наш контракт, и мы вновь оказались у разбитого корыта.

Но история, которую я начал рассказывать, случилась, когда контракт еще действовал. По утрам, когда жена уходила на работу, пока родители еще не успевали прийти в совершенное отчаяние от активности моего отпрыска и потребовать срочного моего вмешательства в воспитательный процесс, комнатка Марьи Романовны превращалась в мой рабочий кабинет.

Там-то я и сочинял, уединяясь, свои очерки о Лермонтове, Диккенсе, Джеке Лондоне и Марке Твене.

И вот однажды я затеял написать такой же очерк про Александра Дюма.

Идея эта, как и все предыдущие мои идеи, не вызвала возражений. Выговорив себе под это дело право не приходить на работу целых пять дней (вместе с субботой и воскресеньем это была неделя) и предвкушая кайф самой высокой пробы, я уединился в своем кабинетике, заправил в каретку своей новенькой «Эрики» лист чистой бумаги и – задумался.

4

О чем писать, я представлял себе довольно ясно.

Интересна была и родословная, и биография Дюма-пэра. (Книга «Три Дюма» тогда уже была переведена, и я мог ее использовать.) Но главная моя цель, конечно, состояла в том, чтобы объяснить, в чем состоит обаяние знаменитых романов Дюма, показать, что же именно обеспечило этим романам такую долгую жизнь и такую любовь читателей, какой не удостоились многие, куда более чтимые сочинения многих, куда более почтенных его литературных собратьев.

Трудность, как всегда в таких случаях, состояла в том, что все это надо было сообщить моему малолетнему читателю в какой-то завлекательной форме. И тут я вспомнил, как впервые в жизни читал «Три мушкетера»... Воспоминания об этих блаженных мгновениях нахлынули на меня, и я начал писать.

Не знаю, сколько прошло времени – может быть, полчаса, может быть, час. И вдруг, остановившись, я сообразил, что на весь очерк я мог отвести, скажем, пять, от силы семь страниц. А я, израсходовав из этих будущих семи уже почти три, до Дюма еще даже и не добрался. И тут до меня дошло, что пишу я совсем не то, что собирался написать: не очерк, не юбилейную заметку, не статью (хотя бы даже и «не совсем статью», по-скольку для детей). Понял, что пишу – вернее, что у меня пишется, словно бы сам собой сочиняется, складывается, рождается – **рассказ**.

Странное дело! Еще минуту назад я не знал, что пишу рассказ. А теперь, уже зная это – вернее, уже догадавшись об этом, – я все еще не знал, не догадывался, о чем он будет – этот мой рассказ. Не знал даже, какая у меня напишется следующая фраза.

Это странное состояние, впервые овладевшее мною, вероятно, и подразумевал Пушкин, когда написал, что, начав сочинять своего «Онегина», уже даже приступив к работе над ним, «даль свободного романа» он «сквозь магический кристалл еще неясно различал».

Вот и я тоже лишь «неясно различал», какие события развернутся в начатом мною рассказе. Как будто не от меня это зависело. Как будто кто-то диктовал мне или транслировал откуда-то слово за словом, строку за строкой, фразу за фразой.

Пушкинский «магический кристалл», который всегда казался мне не более чем красивой поэтической фигурой, вдруг оказался вполне реальным предметом, и я вдруг оказался обладателем этого волшебного кристалла. Он упал на меня как снег на голову, прямо с неба, каким-то чудом дался мне в руки, и, глядя сквозь него в туманную даль своего рассказа, я чувствовал то же волнение, которое испытывал вот в такие же счастливые минуты и сам Александр Сергеевич.

Может быть – и даже скорее всего! – то, что я сейчас пишу (подумал я тогда), вернее, то, что у меня сейчас пишется, – это совершеннейшая ерунда, самая что ни на есть настоящая графомания. Но магический кристалл у меня – настоящий. Тот самый. Пушкинский. И чем бы все это ни кончилось, вот этих счастливых минут, когда я был обладателем этого пушкинского кристалла, у меня уже никто не отнимет.

Раньше, бывало, когда я сидел в той же комнатухе Марьи Романовны и сочинял какую-нибудь очередную свою статью – про Джека Лондона или Конан Дойля, – стоило только мне услышать женские голоса за стеной, обсуждающие что-то на слегка повышенных тонах, как я (недаром же мне дали эту презрительную кличку – «Адвокат») тотчас же бросал работу и летел туда, в родительскую комнату или на кухню, чтобы погасить начинающийся пожар.

Сейчас я просто не замечал, не слышал этих голосов. А если и слышал – не обращал на них внимания. Я словно бы жил в какой-то другой реальности – той, которая создавалась мною самим и, похоже, независимо от моей воли.

Оторвался я от машинки с тем же ощущением, с каким прерывают свою трапезу обжоры, старающиеся следовать предписаниям врачей, настоятельно рекомендующих вставать из-за стола с непреодоленным чувством голода. Это чувство голода не покидало меня до следующего утра. А наутро все началось сначала.

И так продолжалось все пять моих свободных дней. К исходу пятого дня рассказ был закончен. Впереди у меня было еще целых два дня, на протяжении которых я мог наслаждаться законной – и заслуженной – праздностью. Но никогда еще суббота и воскресенье не были для меня такими тягостными. Я томился в ожидании, когда же этот проклятый уик-энд кончится и я наконец смогу отнести свой рассказ в редакцию и услышать, что мне там про него скажут.

5

В редакции рассказ понравился. Его сразу поставили в номер, и спустя положенный срок, разумеется, показавшийся мне невыносимо долгим, он был напечатан. Этому предшествовали разные мелкие радости и огорчения. Радостно было слышать, что к моему рассказу заказаны рисунки. Это было для меня совсем новое, неведомое мне прежде переживание. Печатавшиеся в «Пионере» очерки мои и статьи тоже иллюстрировались, иногда очень даже неплохо. Мой очерк о Багрицком, например, появился с прелестными, найденными и отоб-

ранными мною рисунками самого поэта. Но тут – впервые в моей жизни – иллюстрации к написанному мною тексту были специально заказаны художнику. И, как мне сказали, очень хорошему художнику. Это была радость. Огорчением же стало то, что моих героев художник нарисовал совсем не такими, какими они мне представлялись.

Но все это были, конечно, пустяки в сравнении с главной радостью: первый в моей жизни рассказ был напечатан, и – мало того! – он нравился.

Он понравился даже одному детгизовскому редактору, который сам позвонил мне и сказал, что если я напишу еще несколько рассказов «такого уровня», из них легко составит книжка, которую они с удовольствием издадут. Он даже предложил сразу же заключить со мной договор.

Договор заключать я не стал, потому что не знал, напишу ли когда-нибудь не только несколько, а еще хоть один такой рассказ. Ведь это же зависело не от моего желания, а от того, накатит или не накатит на меня еще хоть раз это наваждение, упадет или не упадет опять, как с неба, прямо ко мне в руки этот самый магический кристалл.

Так прошло, наверное, полгода. А может, год. И вдруг – опять накатило.

Теперь я уже с самого начала знал, что пишу не что-нибудь, а именно рассказ. И даже что-то такое там «неясно различал» в его туманной дали. Но, как и в первый раз, не было у меня ни плана, ни даже более или менее внятного замысла. Закончив ежедневную порцию – какие-то сидящие внутри меня часы вдруг говорили мне, что на сегодня хватит, – я очень смутно представлял себе, куда меня поведет завтра.

Как и в тот раз, я вставал из-за стола, не опустошив себя до конца. Дно моего колодца никогда не оставалось сухим. Но я чувствовал, что влаги там уже мало. А назавтра колодец каким-то чудесным образом снова наполнялся, и ведро мое не шаркало по дну, а легко и свободно зачерпывало накопившуюся за ночь влагу.

Интересно тут было еще вот что.

Как я уже говорил, у меня в ту пору были очень определенные представления о том, какой должна быть настоящая проза.

И раньше, на наших семинарских занятиях, я по мере сил старался эти свои представления реализовать.

Помню, однажды Константин Георгиевич дал нам задание: описать Москву. Не всю Москву, конечно, а – свою Москву. Какой-нибудь свой, особенно тобой любимый московский уголок. Или даже какой-нибудь один твой московский день.

Выполняя это задание, я лез вон из кожи, чтобы моя зарисовка была не хуже (хотелось даже, чтобы оказалась лучше), чем у моих друзей прозаиков. Заботился не только о том, чтобы нарисованная мною картинка была зримой, осязаемой, но думал еще и о звучании каждой фразы, стараясь определенным образом «инструментировать» ее.

Одну из этих старательно инструментированных фраз я помню даже и сейчас. Вот она:

Бесшумно шурша шинами, прошелестел по асфальту темно-вишневым «шевроле».

Увы, на эту мою замечательную фразу никто не обратил внимания. А Константин Георгиевич, после того как все наши зарисовки были нами прочитаны, говоря обо мне, почему-то отметил совсем другую фразу, которая мне казалась «проходной», самой что ни на есть заурядной. В ней я зачем-то – сейчас, хоть убей, не помню, зачем – сообщал, как, сидя на лавочке на Тверском бульваре, от нечего делать наступил ногой на лужу, затянутую тонким ледком, и долго, внимательно глядел, как мой след медленно заполняется водой.

Заглянув в свой блокнот, Константин Георгиевич прочел вслух эту мою ничем не примечательную фразу, улыбнулся и сказал: «А вот это – хорошо!» Словно все остальное в той моей зарисовке было из рук вон плохо.

Что было хорошего в этой моей почему-то понравившейся ему фразе, я тогда решительно не понимал. Но чем была плоха та, которой я так гордился, кажется, уже начал понимать.

Вспомнил я все это не для того, чтобы рассказать, как менялись мои эстетические представления и художественные вкусы, а чтобы отметить одну странность.

Странность эта заключалась в том, что, сочиняя те два своих рассказа, я ни разу даже и не вспомнил ни о своих тогдашних литературных кумирах – Хемингуэе или Пастернаке, ни об уроках Паустовского, ни о своих собственных (в то время, наверно, уже каких-то других) представлениях о том, какой должна быть настоящая проза.

Писал, ни о чем таком даже и не думая. Писал – как писалось.

6

Второй свой рассказ я нес в редакцию уже без всякого трепета. Втайне я даже предвкушал настоящий триумф.

Триумф – не триумф, но журнальному начальству он тоже понравился. И его тоже сразу поставили в номер и даже набрали.

Но по каким-то не совсем мне понятным причинам на этот раз все шло не так гладко. Возникла какая-то заминка. Вдруг – ни с того ни с сего – из номера его вынули и перенесли в следующий. Потом – стороной – я узнал, что его послали членам редколлегии.

Членов редколлегии – кроме главного редактора, его зама и ответственного секретаря, с которыми я общался ежедневно, – у нас было два: Вениамин Александрович Каверин и Владимир Иванович Орлов. Ни того, ни другого я тогда еще ни разу в жизни не видел. И никаких рукописей до этого случая, насколько мне было известно, им ни разу не посылали: все всегда решалось без них. А тут вдруг почему-то решили послать...

Послали, впрочем, как потом выяснилось, только Орлову. И в этом был определенный умысел.

Каверин на самой заре хрущевской оттепели заявил себя решительным сторонником уже наступивших, а также только еще предвкушаемых перемен. Он даже забегал несколько вперед, торопил эти перемены, проявляя при этом некоторое, как считалось у нас в редакции, легкомыслие. «Вениамина Александровича часто заносит», – с милой своей улыбкой говорила Наталья Владимировна Ильина, наш главный редактор. Имелось при этом в виду, что заносит его в одну сторону, а именно – в ту, сделать решительный шаг в которую наша Наталья Владимировна смертельно боялась.

Осуждать ее за это, как я теперь понимаю, не следовало. Много чего повидала она на своем веку, совершая разнообразные крутые зигзаги вместе с генеральной линией партии. Всей кожей – а лучше сказать, поротой задницей, как выразился однажды А.Н. Толстой, – она чужала, что этот новый поворот – ненадолго, что доверяться этим новым веяниям ни в ком случае нельзя. В этой уверенности ее чуть ли не ежедневно укрепляла атмосфера, царящая в ЦК ВЛКСМ, органом которого наш журнал считался.

Что же касается другого члена нашей редколлегии – Владимира Ивановича Орлова, то его, в отличие от Вениамина Александровича, никуда не заносило.

По образованию он был, если не ошибаюсь, физик. А по роду занятий – карьерист. Карьеру начал делать еще в сталинские времена и делал ее весьма успешно. При Хрущеве довольно долго был главным редактором газеты «Советская культура».

В последние годы своей жизни, находясь уже на заслуженном отдыхе, он часто и подолгу жила в Малеевке.

Это был полный, даже несколько рыхлый господин с пресыщенным лицом римского патриция. Весьма пожилой. Пожалуй, даже старый. Он обычно сидел в кресле – в вестибюле – в окружении молодых женщин, которые глядели ему в рот. А он что-то такое им вкручивал.

Мне стало интересно: чем этот потрепанный господин так привлекает к себе юные женские сердца? И вот однажды, проходя мимо, я нарочно замедлил шаги и прислушался. Он говорил о том, какое благотворное действие оказывает близость молодых женщин на стареющего и даже совсем дряхлого мужчину. И привел классический пример: царю Соломону, когда он был уже чуть ли не при смерти, подкладывали в постель юных девиц. И хотя царь вроде уже не мог извлечь из общения с ними решительно никакого удовольствия, близость их юных тел производила необыкновенное оздоравливающее действие на его старческий организм, даже на деятельность его слабеющего мозга.

– Жаль, – не удержался я, – что это замечательное средство не применили к Сталину. Может быть, если бы и ему догада-

лись подкладывать на ночь молодых девушек, его мозг тоже стал бы лучше работать.

Орлов мрачно на меня поглядел и, помедлив, злобно ответил:

– Хрущеву надо было их подкладывать.

Не нашел более остроумного ответа.

Это меня удивило: человек он был ума острого.

Однажды – там же, в Малеевке – ему дали газету, в которой появилась даже по тем временам какая-то особенно гнусная антисемитская статья.

Он долго, внимательно читал ее. Дочитал до конца. Аккуратно сложил газету и задумчиво сказал:

– Да-а... Давно я таких статей не читал.

Подумал и добавил:

– И не писал.

Но все это было – много позже. А в те времена, когда Владимир Иванович был членом редколлегии журнала «Пионер» и ему послали на отзыв мой злополучный рассказ, государственная карьера его только-только вступила в самую первую свою фазу. Но тот безошибочный чиновничий нюх, который и обеспечил ему все его последующие карьерные взлеты, внушал ему твердую уверенность, что вся эта модная болтовня насчет ленинских норм и культа личности развеется, пройдет как с белых яблонь дым. Краска сотрется, а свиная кожа останется. И вот поэтому-то его никак не могло занести в ту сторону, куда так часто заносило Вениамина Александровича Каверина. Если и занесло бы – то скорее в противоположную.

О моем рассказе, как сообщила мне – с улыбкой и недоумевающим пожатием плеч – Наталья Владимировна, Владимир Иванович высказался весьма изысканно, обнаружив при этом недожиданную для физика гуманитарную эрудицию. Он сказал, что рассказ этот – не что иное, как новая, чуть более современная модификация «Зависти» Юрия Олеши. В детском, как он слегка пренебрежительно выразился, варианте.

Печатать рассказ он, разумеется, не рекомендовал.

В «Пионере» его тогда так и не напечатали. Но тот детгизовский редактор, который хотел заключить со мной договор

на книжку, все приставал ко мне, не написал ли я какой-нибудь новый рассказ. И я признался, что да, написал. И дал ему прочесть. И он, прочитав, решительно сказал, что теперь уже основа книги, безусловно, есть, что другие рассказы непременно вскоре у меня появятся – не могут не появиться! – и что хватит мне валять дурака, надо немедленно, пока еще есть такая возможность, подписать с его издательством договор на эту будущую мою книжку.

На этот раз я спорить не стал. Во-первых, уж очень хотелось опубликовать так и оставшийся в рукописи мой детский вариант «Зависти». А во-вторых, я поверил, что за вторым рассказом, глядишь, и впрямь последует третий, а за ним – четвертый. Если случилось так, что на меня снова, уже во второй раз, вдруг **накатило**, так почему бы не случиться и третьему, и четвертому, и пятому разу?

7

Но не только четвертого и пятого, а даже и третьего раза не случилось. Чудо так больше и не повторилось. Ни разу. Не только тогда, но и на протяжении всей моей – теперь уже довольно долгой – жизни.

Случалось мне писать и не только критические статьи. Сочинял пьесы, киносценарии, пародии, однажды даже написал фантастическую повесть для детей и напечатал ее в том же «Пионере». Но это все было – другое. Это все – **я писал**. А в тех двух случаях – **само писалось**.

Сроки моего договора с Детгизом тем временем уже подходили к критической точке. Детгизовский мой редактор меня торопил: он никак не мог взять в толк, что мешало мне сочинить еще два-три рассказа, чтобы книжку можно было наконец заслать в производство. В сущности, он был прав. Тогдашней моей литературной сноровки наверняка хватило бы, чтобы слепить какую-нибудь школьную повесть или парочку-другую рассказов на приемлемом для издательства уровне. Но я почему-то не мог этого сделать. То есть не «почему-то» – я совершенно точно знал почему. Испытав уже дважды то блаженное

чувство, которое поэты и писатели искони зовут вдохновением, убедившись, что это самое вдохновение – не блеф, не красивая выдумка, что оно существует на самом деле, я наивно считал всякий другой способ создания художественных произведений профанацией. Я не хотел заниматься подделками. Поэты и писатели, сочинявшие свои так называемые произведения «без божества, без вдохновенья», представлялись мне даже не самозванцами, а фальшивомонетчиками. А быть фальшивомонетчиком я не хотел. Слишком много их было тогда вокруг – в том числе и среди авторов нашего журнала. От души их презирая, прочно усвоив по отношению к ним насмешливо-пренебрежительный тон, мог ли я даже помыслить о том, чтобы пополнить собою их ряды?

Наверно, это была ошибка. И дело совсем не в том, что никто, в том числе и мой детгизовский редактор, скорее всего даже и не заметил бы разницы между первыми двумя моими рассказами, написанными «по вдохновению», и другими, которые я написал бы (если бы я их написал), овладев писательским ремеслом.

Ошибкой была моя уверенность, что настоящие писатели – те, которых я любил и высоко ценил, – все свои, по крайней мере все лучшие свои вещи создавали в некоем трансе, который Пушкин называл состоянием «пиитического восторга».

Когда Катенин написал Грибоедову, что в его комедии «дарования больше, чем искусства», Грибоедов довольно-таки выскомерно ответил: «Искусство только в том и состоит, чтобы подделываться под дарование».

Ответ замечательный и, в сущности, справедливый. И ведь никто – даже из самых великих, кому уж чего другого, но дарования было не занимать, – все-таки не обходился без этого умения «подделываться под дарование».

Не могу удержаться, чтобы не привести тут одно замечательное признание бесконечно мною любимого Михаила Михайловича Зощенко. Вот что сказал он однажды в беседе с молодыми, начинающими литераторами:

Всю свою литературную работу я делю на две категории, на две системы. То есть у меня есть два способа работы.

Один способ — когда имеется вдохновение, когда я пишу творческим напряжением. Тогда работа идет легко, быстро и без помарок. Причем весь план, вся композиция вещи складываются сами по себе.

Второй способ — когда нет вдохновения. В этом случае я пишу техническим навыком. При этом способе я сам продельваю то, что обычно продельвается подсознательно: сам прорабатываю план сюжета, сам соразмеряю части и, слово за слово, делаю рассказ...

И все 10 лет моей литературной работы свелись именно к тому, чтобы научиться той высокой технике, при которой качество продукции все время держится приблизительно на одинаковом уровне. Это позволяет мне не зависеть от вдохновения и не ждать его.

Кто знает? Может быть, если бы и я тоже пытался писать художественную прозу «без вдохновения» и делал это все чаще и чаще, то и вдохновение, глядишь, снова посетило бы меня разок-другой.

А может быть, моя творческая потенция была так мала, что даже и в этом случае вдохновение так и не озарило бы больше мою бедную жизнь.

Одно могу сказать: ничто не сравнится с тем охватившим меня два раза в жизни блаженным состоянием души. И чего бы я только ни дал за то, чтобы оно хоть на миг снова ко мне вернулось! Я и за эту книгу-то, которую сейчас пишу, взялся, может быть, только потому, что надеялся хоть под конец жизни, под занавес, еще раз погрузиться в этот сладкий угар.

8

Вернусь, однако, к моему детгизовскому редактору, который так и не дождался от меня еще нескольких рассказов, без которых книжка не могла состояться. Чтобы не ставить меня перед позорной необходимостью расторжения договора, он предложил мне дополнить те два рассказа несколькими литературными очерками. В аннотации, предваряющей сборник, они — приличия ради — были названы **рассказами о писателях и книгах**.

В то время я работал уже не в «Пионере», а в «Литературной газете». И довольно часто печатал там разные свои статьи.

То есть стал уже самым что ни на есть настоящим критиком. Не то чтобы очень известным, но, во всяком случае, уже не начинающим и даже не молодым (последнее определение в советской печати обозначало не возраст, а меру успеха). И вот тут-то и вышла в свет эта моя детгизовская книжка.

Мы (весь наш отдел литературы) собрались по этому случаю в самой большой из наших редакционных комнат. Передо мной лежала довольно высокая стопка свеженьких, пахнущих переплетным клеєм и типографской краской книжечек. Сделав очередную дарственную надпись, я вручал экземпляр за экземпляром друзьям и сослуживцам. Надписи я старался делать шуточные, чтобы никто не подумал, что к этому своему странному дебюту отношусь с преувеличенной серьезностью. Некоторые из этих надписей были, как мне казалось, довольно остроумными: их встречали одобрительным смешком. Но ни один, даже самый остроумный из этих моих экспромтов не имел такого успеха, как первые строки аннотации, которые углядел и тут же, веселясь, зачитал вслух Валя Непомнящий.

– Бенедикт Михайлович Сарнов, – прочитал он, – родился в 1927 году в Москве. В 1951 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького при Союзе писателей СССР. Литературную работу начал как критик...

Раздался дружный хохот.

Вместе со всеми смеялся, конечно, и я тоже. Поскольку, как и все мои друзья, уже не сомневался, что литературную работу я не только начал, но, скорее всего, и кончу как критик. И эта книжка, аннотация к которой сулила мне какие-то иные, куда более заманчивые перспективы, так и останется в моей жизни лишь коротким, случайным эпизодом.

Те – единственные мои – два рассказа вы сможете сейчас прочесть.

Я решил включить их в эту книгу не потому, что они кажутся мне такими уж замечательными. И даже не потому, что они могут заменить не написанные мною главы о моем детстве. (Как выяснится из дальнейшего – не могут.)

Почему же я все-таки решился на этот сомнительный шаг (еще бы не сомнительный – ведь написал я их, как-никак, сорок лет назад!), вы узнаете после того, как их прочтете.

КАК Я УЧИЛСЯ МУЗЫКЕ

Я не давался музыке. Я знал,
что музыка моя – совсем другая.

Борис Слуцкий

1

В детстве я часто думал: как это несправедливо устроено, что человек может быть только самим собой!

Вот я, например. Неужели я так всю жизнь и буду Борькой Сазоновым?

А как здорово было бы, если б я мог хоть немножечко побыть кем-нибудь другим! Сегодня, например, Спартаком. Завтра – Александром Невским. А потом перенестись в XIX век и стать Пушкиным, или Дубровским, или еще кем-нибудь.

Я завидовал артистам. Мне казалось, что профессию эту люди придумали нарочно, чтобы обмануть природу, устроившую так, что человек должен всю жизнь пробыть самим собой. Ведь может Черкасов быть то царевичем Алексеем, то профессором Полежаевым, то длинным и смешным Паганелем.

Больше всего на свете я хотел бы стать артистом. Но чтобы стать артистом, нужен талант. А у меня таланта нет, это я знал совершенно точно.

– Талант – это труд, – не раз говорила моей маме Эмма Эмануиловна, моя учительница музыки. – Все великие артисты были великими тружениками. А ваш Боря не любит и не умеет трудиться. По правде говоря, я вообще не знаю, любит ли он что-нибудь.

– Он любит читать, – с надеждой говорила моя мама.

Эмма Эммануиловна презрительно усмехалась, и ее голова с пышной, как парик, седой шевелюрой и величественным горбатым носом становилась похожей на профиль какого-то великого музыканта.

– Глотать книжки, – презрительно говорила она, – это самое легкое занятие. Лежать на диване и глотать книжки до одурения – это может каждый болван.

Втайне мама, может быть, и не соглашалась с тем, что я болван, но в спор с Эммой Эммануиловной не вступала. То, что я учусь музыке, было для нее источником великой гордости.

– Ответь мне, Боря, – часто спрашивала меня Эмма Эммануиловна, – ты хочешь заниматься музыкой?

Я с тоской смотрел куда-то в сторону и отвечал:

– Мама хочет.

Это была сущая правда. Я учиться музыке не хотел. Хотела мама.

– Совершенно неважно, что ты никогда не будешь музыкантом, – говорила мне мама. – Вот я врач, но я всю жизнь жалею, что у моих родителей не было возможности учить меня музыке. Ведь это так приятно – уметь играть для себя!

Я не понимал, зачем мне для себя уметь играть упражнения и гаммы. Мысль, что на рояле можно играть что-нибудь другое, даже не приходила мне в голову.

Каждый день, вернувшись из школы и пообедав, я должен был брать ноты и идти к нашим соседям Волковым, у которых стоял рояль и целый день никого не было дома, кроме старушки Марьи Никифоровны. Мама просила Марью Никифоровну следить за тем, чтобы я ежедневно играл не меньше часа.

Я подходил к роялю и не торопясь начинал устанавливать черный вертящийся стульчик. Я вывинчивал его круглое сиденье чуть не до отказа и садился, примериваясь.

Почти всегда оказывалось, что стул слишком высок. Тогда я так же неспешно начинал вертеть его в обратную сторону.

Наконец стул был отрегулирован, и я усаживался.

В черной полированной поверхности рояля отражалось мое лицо, чудовищно вытянутое, удлиненное, с оттопыренными ушами и полуоткрытым ртом.

Смотреть на это лицо было смешно и интересно.

Вдоволь насмотревшись, я ставил перед собой ноты и тупо начинал играть до-мажорную гамму, прислушиваясь к звонкам телефона в коридоре.

Каждую минуту с работы могла позвонить мама.

– Играет, – вполголоса говорила в трубку Марья Никифоровна. – Да как сказать... Часу не прошло, а полчаса верных.

После такого разговора я чувствовал себя спокойнее, तो ропливо «отрабатывал» оставшиеся мне полчаса, говорил старушке, спасибо, и убегал.

Так бы, наверное, все это и продолжалось, если бы я вскоре не сделал необыкновенно важное для меня открытие, сразу превратившее эти ежедневные унылые, томительные часы в счастливые, бешено мчащиеся мгновения.

Случилось это так.

Мой одноклассник Шурка Малышев дал мне почитать пухлую, растрепанную книгу. На старой газете, заменявшей ей обложку, чернильным карандашом было старательно выведено: «Дюма. Три мушкетера».

Шурка уверял, что книг лучше этой просто нет на свете. В книге было страниц семьсот. А дал он мне ее только на один день.

Я читал ее все шесть уроков. Я сидел за своей партией, изрезанной перочинным ножом и разукрашенной лиловыми чернильными потеками. Книга лежала на коленях. Иногда кто-нибудь вслух произносил мою фамилию. Я как во сне отвечал что-то про земноводных или про равнобедренные треугольники и снова возвращался к захватывающей истории о том, как молодой задиристый гасконец отправился в дальний путь на поиски счастья. Только и было у него – горячее гасконское солнце над головой, горячая гасконская пыль на ботфортах да старая отцовская шпага. Но ни один человек во всей Франции, будь это даже сам король, не мог безнаказанно оскорбить его насмешливым словом или насмешливым взглядом.

Придя домой, я, не отрывая глаз от страниц, наскоро проглотил оставленный мамой обед и с ужасом вспомнил, что надо идти к Волковым играть проклятые гаммы.

У меня не хватило мужества не пойти. Но оставить книгу дома я не мог. Я взял ее с собой.

Устанавливая на пюпитре ноты, я с ненавистью поглядывал на Марию Никифоровну – единственного соглядатая моих ежедневных мучений. И вдруг я увидел, что она не обращает на меня никакого внимания.

Я воровато поставил книгу на пюпитр и в то же мгновение перенесся в веселый город Париж, где меня ждали интриги кардинала Ришелье и коварной Миледи.

– Начнем, пожалуй, – сказал д’Артаньян, и восемь шпаг сверкнуло в воздухе.

Комната огласилась унылыми звуками до-мажорной гаммы. Но в моих ушах звучала другая музыка:

– Над чем вы смеетесь, сударь? Скажите вслух, и мы посмеемся вместе!..

В этот день я понял, что старушка соседка ничегошеньки не смыслит в том, *что* я играю и как играю. Выполняя мамин наказ, она только взглядывает время от времени на часы, чтобы я, упаси господи, не кончил свой урок на десять минут раньше.

Это и было открытие, круто изменившее мою жизнь.

С этого дня соседка в разговорах с мамой не могла нахвалиться мною. Еще бы! Я стал отдавать музыке все свое свободное время.

Каждый день я ставил на пюпитр рояля новую книгу. Пальцы мои, привыкшие к безучастной, бессмысленной своей работе, терпеливо барабанили злополучную до-мажорную гамму, а я в это время на всех парусах мчался в Лондон, спасая жизнь и честь королевы Франции, скакал по прерии на диком мустанге и пил обжигающий горло ямайский ром в шумных матросских тавернах.

Я больше не завидовал Черкасову. Зачем? За одну только неделю я успел побыть д’Артаньяном и Робинзоном, Гулливером и Томом Сойером, Тилем Уленшпигелем и Саней Григорьевым, героем каверинских «Двух капитанов».

Я не преувеличиваю. Я не просто воображал себя Робинзоном. Я действительно был им.

Когда я сейчас пытаюсь вспомнить, о чем я думал и что чувствовал, вставая утром, торопливо съедая завтрак и убегая в школу, ничто не оживает в моей памяти. Но до сих пор я не

забыл того чувства, с которым я, Робинзон, впервые увидел след голой человеческой ноги на песке моего острова. Сердце вдруг подпрыгнуло и упало, как бывает, когда летишь в лифте вниз с высокого этажа. Я отчетливо помню, с каким чувством я, Саня Григорьев, перечитывал старые, забытые письма. Помню, как похолодели руки и слабый ветер догадки шевельнул волосы у меня на голове: «Это о нем, о капитане Татаринове, Катькином отце». Но лучше всего я помню себя Джимом Хокинсом, юнгой Джимом из «Острова сокровищ» Стивенсона; карту старого Флинта, черную метку и попугая, который хрипло кричал: «Пиастры! Пиастры! Пиастры!» – я помню лучше, чем свои учебники и альбомы с марками, лучше, чем нашего кота Мурзика.

Я жил словно под водой.

Иногда чей-нибудь голос выводил меня из этого сонного состояния:

– Внимательней, Сазонов! Если угол равен шестидесяти градусам...

– Боря, ты опять сегодня ел холодную котлету?

Я глядел на спрашивающих бессмысленными глазами человека, только что вынырнувшего из воды, невнятно мычал что-нибудь в ответ и снова погружался обратно, в свое подводное царство.

2

В школе я сидел на одной парте с Лидкой Баталовой.

Лидка была особенная, совсем не похожая на остальных наших девчонок. Может быть, нам это только казалось, потому что с другими девчонками мы учились шесть лет – с первого класса, а Лидка пришла к нам прямо в шестой в середине учебного года.

Я очень хорошо помню, как она первый раз пришла в наш шестой «В». Она была в лыжных брюках, длинная, пожалуй, длиннее всех наших мальчишек. И она сразу показалась нам очень красивой.

Почти все девчонки в нашем классе были белобрысые. Только у Нины Ворониной и Маши Айзенберг были длинные

черные косы. У Лидки волосы были не черные, но и не светлые. Я еще подумал тогда, что вот такие волосы и называют, наверное, красивым, пушистым словом «каштановые».

– Вот это да! – сказал о новой девчонке Левка Островский, смуглый красавец с темным, налезавшим на глаза чубом. – Не то что наши кислятины.

И он сразу подошел к Лидке и заговорил с ней о катке, о коньках, о лыжах. Я слышал, как они чему-то смеялись вместе. Потом Лидка громко сказала:

– Нет, Лева, у меня гаги.

У меня зануло сердце оттого, что она говорит с Левкой так, как будто всю жизнь просидела с ним на одной парте, а не только что впервые его увидела.

Я не разговаривал с Лидкой. Я даже не смотрел в ее сторону, делая вид, что она меня совершенно не интересует. Но мысленно я сразу, с того самого дня, как впервые ее увидел, сделал ее своим верным товарищем, спутником и участником всех моих приключений.

Когда я был Диком Шелтоном из «Черной стрелы», она была Джоанной Седли. Переодетая в мальчишескую одежду, рискуя жизнью, она пробиралась пустынными темными залами старого замка, чтобы вместе со мной встретить моего смертельного врага. Тесно прижавшись друг к другу, мы с ней ждали убийцу, идущего по тайному ходу. Я чувствовал, как дрожит ее тонкая рука, сжимающая кинжал, слышал, как бьется ее сердце.

Она была Катей, той самой Катей, за которой я, Саня Григорьев, поехал в Энск; той самой Катей, с которой я ходил на каток, где мы долго катались, взявшись за руки, и шел снег, и нам было хорошо.

О том, что можно и в самом деле пойти с Лидкой на каток, я и не помышлял. Мысль, что Лидка может пойти со мной на каток, как она ходила с Левкой Островским, Шуркой Мальшевым и с другими ребятами из нашего класса, – одна только эта мысль привела меня в такое смущение, что я потом долго старался даже не вспоминать о ней.

Однажды наш математик и классный руководитель Матвей Матвеевич, которого мы с легкой руки старшекласников зва-

ли Синус, уже не в первый раз обнаружив, что я весь урок напролет читаю какую-то книгу, сказал, как всегда негромко, слегка растягивая слова:

– У меня к тебе просьба, Сазонов. Собери свои книжки и пересядь к Баталовой, на первую парту.

Мне сразу стало жарко. Мое лицо горело, как будто невидимые лилипуты кололи его тысячами малюсеньких иголочек. Проклятый Синус! Лучше бы он выгнал меня из класса, лучше бы что угодно написал в моем дневнике, велел вызвать родителей, только бы не сажал меня за одну парту с Лидкой!

Но делать было нечего. Потный от смущения, ни на кого не глядя, уверенный, что весь класс в этот момент смотрит только на меня, я плюхнулся на Лидкину парту.

Лидка с любопытством поглядела на книгу, которую отнял у меня Синус, и, как мне показалось, в ту же секунду забыла о моем существовании.

Так мы и сидели с тех пор с Лидкой на одной парте, не обращая друг на друга никакого внимания. Я изо всех сил старался придать себе непринужденный и независимый вид. Я не отворачивался от Лидки, когда она смотрела в мою сторону. Наоборот, я время от времени сам нарочно смотрел на нее пустым, невидящим взглядом, желая показать, что никак не выделяю ее из всех: пожалуйста, могу посмотреть на Синуса, могу на Левку, на Шурку Малышева, могу на доску, могу и на тебя.

Что касается Лидки, то она, по-моему, не обращала на меня внимания вполне искренне. Я бы ничуть не удивился, если бы выяснилось, что она даже не помнит моего имени.

Но она помнила, и скоро я об этом узнал.

3

Это случилось в тот день, когда к нам в школу привезли рояль. Его внесли трое такелажников на широких брезентовых лямках. Казалось невероятным, что такую махину могут тащить эти три невысоких, худых, на вид не очень сильных человека.

Рояль поставили в зале, где мы каждый день строились на

линейку. И сразу же из зала в коридор понеслись оглушительные звуки «собачьего вальса».

Все перемены в тот день наш класс проводил около рояля. Его обступили со всех сторон, толкаясь, протискиваясь поближе, умоляюще обращались к Левке Островскому, силой захватившему монополию на исполнение «собачьего вальса»:

– Лёв, теперь я, дай я, а? Лёв, ну, Лёвка же!..

Левка, вдоволь насытившись музыкой, уступил место другому счастливцу. Не умеющие играть «собачий вальс» быстро научились, и скоро я был единственным человеком из нашего класса, еще не испробовавшим новую игрушку.

Меня рояль не интересовал. Я был сыт музыкой по горло. Я пошел в зал просто потому, что туда пошли все. И потому, что туда пошла Лидка.

Я стоял ближе к двери, поэтому я первым увидел бежавшего по длинному коридору нашего школьного завхоза Мухачева.

– Это что? – кричал он, вбегая в зал и проталкиваясь к роялю. – Сейчас же отсюда! Не для вас привезено!

«Собачий вальс» оборвался. Все стали нехотя расходиться. Но тут к Мухачеву подскочила Лидка:

– Как это – не для нас? А для кого же?

Вот такое же лицо у нее было, когда она выступала от нашей школы на встрече испанских детей. Она сказала тогда замечательную речь, а потом расплакалась и убежала. Тогда я вместе со всеми ребятами смеялся и говорил, что с девчонками всегда так: вечно они режут в самых неподходящих случаях. Но когда я подумал, что Лидка и сейчас, как тогда, вдруг разрешится перед Мухачевым, у меня забилося сердце, будто это не она, а я кричал завхозу в лицо.

– Как это не для нас? Мы советские дети! Тут все для нас!

– Я и не говорю, что не советские, – растерялся Мухачев. – Да ведь рояль не для того, чтобы на нем ногами играть.

Но Лидка не унималась:

– Мы не ногами. У нас есть ребята, которые занимаются настоящей музыкой... Борис, – вдруг властно сказала она, – сыграй нам что-нибудь!..

Я даже не сразу понял, что это она мне. А когда понял, было уже поздно. Ребята расступились и пропустили меня к роя-

лю. Левка Островский, видя мое замешательство, быстро показал мне кулак. Надо было выручать класс. Я сел за рояль и ударил по клавишам.

Я играл единственную вещь, которую умел играть без нот. Она называлась «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы». Этот веселый крестьянин представлялся мне деревянным человечком, вроде Буратино, с застывшим смеющимся ртом до ушей. Мне казалось, что ему еще больше, чем мне, надоело бесконечное число раз весело возвращаться с работы.

Я играл без нот, но страничка с нотами «Веселого крестьянина» словно стояла у меня перед глазами. Я помнил ее всю, до мельчайших подробностей, с карандашными пометками, сделанными рукой Эммы Эммануиловны: «Д.с.п.», «П.р». Это значило: «До сих пор», «Правой рукой». Я разучивал злополучного «Крестьянина» долго, сначала правой рукой, потом левой, потом двумя руками вместе. Прошло, наверно, не меньше двух лет, пока я смог сыграть его обеими руками от начала до конца. На самом верху нотной странички, после заглавия, написанного по-старинному, с твердым знаком – «Крестьянинъ», стояло два слова: «Бодро, уверенно».

Я старался играть бодро и уверенно, не забывая при этом считать про себя: «Раз-и, два-и, три-и, четыре-и. Раз-и, два-и, три-и, четыре-и...»

Когда я кончил, все посмотрели на Мухачева.

– Д-да, это музыка настоящая, не то что... – неуверенно сказал он и ушел.

Но ребята, по-видимому, не разделяли этого мнения. Подождав, пока Мухачев уйдет, меня стали просить:

– А теперь, правда, сыграй что-нибудь.

– «Три танкиста» знаешь?

– Нет, лучше «Тучи над городом встали».

Но я не умел играть ни «Три танкиста», ни «Тучи над городом встали». Я вообще не умел играть ничего, кроме гамм, упражнений и проклятого «Веселого крестьянина, возвращающегося с работы».

Общее мнение выразила Лидка:

– Эх, ты, сколько учился – и ничего играть не умеешь!..

После этого позора у меня не оставалось никаких сомнений

в том, что Лидка меня презирает. Еще бы! Если я и мог быть хоть чем-то ей интересен, так только своим умением играть на рояле. И вот... Конечно, она должна меня презирать.

Но мысль о том, что Лидка меня презирает, не причиняла мне страданий. Я был счастлив со своими книгами. Я вполне удовлетворялся тем, что в моем воображении Лидка – она же Джоанна Седли и Катя Татарина – восхищалась мною – Диком Шелтоном и Саней Григорьевым.

Так, наверное, я и продолжал бы жить в своем подводном царстве, если бы не один совсем пустяковый случай.

4

В «Центральном», в «Паласе», в «Востоккино» – почти во всех московских кинотеатрах шел новый звуковой художественный фильм «Остров сокровищ».

Не знаю, как сейчас, но в ту пору, когда мне и моим сверстникам было одиннадцать-двенадцать лет, каждая новая кинокартина была огромным событием в нашей жизни.

Картина шла сначала в центре, потом постепенно вытеснялась другой, переходила на окраины и совсем сходила с экрана. Но если она полюбилась нам, мы долго еще повторяли запомнившиеся нам словечки и выражения ее героев.

Ну а когда картина забывалась совсем, оставались песни.

Песни жили долго. Сначала они были неотделимы от героев, вместе с которыми родились. Но одни герои сменялись другими, и песни начинали жить отдельной, самостоятельной жизнью. Мы пели на пионерских сборах или в лагере у костра:

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет!
Кто весел, тот смеется!
Кто хочет, тот добьется!
Кто ищет, тот всегда найдет!

Мы забыли о том, что это песенка Роберта из фильма «Дети капитана Гранта». Уже давно это была наша, пионерская песня...

Об «Острове сокровищ» в нашем классе заговорили сразу, как только фильм вышел на экран.

Первым принес весть о новой картине Димочка Полоцк.

Димочка был самым дурашливым мальчишкой в нашем классе. С тихим упрямством он изводил родителей, учителей и своих соседей по парте: дольше пяти дней рядом с ним никто не сидел. Мы хорошо знали Димочкиного отца. Он был председателем родительского комитета, мы звали его Папа-Полоцк. Папа-Полоцк был невысокий плотный человек. Они с Димочкой были очень похожи. Только у Димочки были слегка выпуклые светлые глаза, в которых постоянно светилось сумасшедшее желание во что бы то ни стало поражать окружающих какими-нибудь неожиданными поступками. А у папы-Полоцка глаза были маленькие, усталые и грустные.

Папа-Полоцк работал администратором в «Востоккино», и не было ничего удивительного в том, что Димочка посмотрел «Остров сокровищ» раньше нас всех. Он всегда все картины смотрел первым.

К Димочкиным отзывам о картинах мы относились с некоторым недоверием. Часто, посмотрев новый фильм, который потом надолго становился нашим любимым фильмом, Димочка говорил равнодушно:

– Картина успеха иметь не будет. Не кассовая картина...

Но на этот раз даже Димочка пришел потрясенный.

На все наши расспросы он отвечал только одним словом:

– Мировая.

Он сидел на своей парте непривычно кроткий, никого не задевал, только когда наша географичка Татьяна Львовна озабоченно спросила: «Что-то сегодня Полоцка не слышно, он не заболел ли?» – Димочка скорчил пьяную рожу и заплетающим языком произнес:

– Рому...

На другой день картину посмотрели Шурка Малышев и Левка Островский. Оба они пришли в школу совершенно ошалелые. Перед уроками Шурка повязал глаз какой-то черной тряпкой и дико носился по классу, распевая песню:

Притель, веселей разворачивай парус!
Йо-хо-хо! Веселись как черт!
Одних убило пулями, других сгубила старость,
Йо-хо-хо! Все равно – за борт!

Он явно воображал себя одноглазым пиратом Билли Бонсом.

Левка вел себя спокойнее. Он сидел неподвижно на задней парте, бессмысленно глядел в потолок и только время от времени выкрикивал тонким, дребезжащим голосом:

– Когда я служил под знаменами герцога Кумберлендского!..

Было ясно, что и в его мозгу продолжают жить потрясшие его образы.

Больше терпеть было невозможно.

Мы быстро собрали деньги. Но пока мы галдели и спорили, кому бежать за билетами, в класс вошел Синус – начался урок.

Пришлось ждать большой перемены.

Когда прозвенел звонок на большую перемену, все столпились около нашей парты и в один голос стали доказывать, что за билетами должна бежать Лидка.

– Ты опоздаешь – тебе все равно ничего не будет: Синус тебя любит... – убеждали ее.

Лидка идти не отказывалась. Она только сказала:

– Я бы сбегала, да мне одной не хочется. Девочки, кто со мной?

И тут неожиданно у меня вырвалось:

– Я...

– Хо, лыцарь! – гримасничая, сказал Димочка Полоцк.

Не знаю, может быть, если бы не эти насмешливые слова, Лидка и не взяла бы меня себе в спутники. Но тут Лидка посмотрела на Димочку уничтожающим взглядом, схватила меня за руку и властно сказала:

– Пошли!

Сбегая по лестнице, Лидка крикнула мне:

– Мы без пальто: так быстрее!..

Я сделал вид, что это было для меня чем-то само собой разумеющимся. На самом деле я даже не представлял себе, как это в марте можно выйти на улицу без пальто.

Шел редкий мокрый снег. Он таял под ногами, превращаясь в грязно-желтую кашицу. Дворники соскребали его с тротуаров.

Проходным двором мы выбежали на улицу, и только тут Лидка заметила, что все еще держит меня за руку. Она ужасно смутилась и быстро разжала ладонь.

Я сделал вид, что ничего не заметил, но мне почему-то вдруг стало легко и радостно.

Красивая легковая машина плавно развернулась и проплыла мимо меня, почти коснувшись моего лица мокрой лакированной дверцей. Лидка быстро схватила меня за руку и оттащила в сторону:

– Сумасшедший!

Близко-близко, у самого моего лица были ее мокрые от снега брови и большие испуганные глаза.

– Ладно, побежали, а то опоздаем! – сказал я и подумал, что Лидка сейчас снова смутится и отпустит мою руку.

Но она не отпустила. Так, взявшись за руки, мы и вернулись в школу.

Затаив дыхание, с бешено колотящимися сердцами прошли мы по опустевшим, тихим коридорам и остановились у двери нашего класса.

Было ясно, что урок идет уже давно.

Я хотел сказать Лидке, что нам все равно попадет от Синуса и что лучше теперь дожидаться конца урока. Но она, не отпуская моей руки, постучалась и смело распахнула дверь.

– Матвей Матвеевич, можно? – Лидка сказала это таким невинным голосом, как будто это был не конец урока, а начало, как будто мы с ней опоздали минуты на две, не больше.

– Сазонов? Баталова? В чем дело? Где вы были? – озадаченно спросил Синус.

Я выступил вперед и хотел что-то сказать, но Лидка не дала мне и рта раскрыть.

– Матвей Матвеевич, мы были у врача: у нас болела голова, – сказала она, глядя на Синуса широко открытыми, честными глазами.

Синус помолчал и, как всегда растягивая слова, медленно сказал:

– Это было бы правдоподобно в том случае, если бы у вас и Сазонова была одна голова. Садитесь.

Класс грохнул. И хотя смеялись и надо мной, я тоже смеялся вместе со всеми. Легкое, радостное чувство, охватившее меня на улице, не проходило. Наоборот, оно еще усилилось, оттого что Синус объединил своей шуткой меня и Лидку и оттого что класс смеялся над нами обоими – надо мной и над нею.

Забыв о том, что я сижу на первой парте, прямо под носом у Синуса, я показал классу билеты, зажатые в кулаке, и подмигнул.

– Купили... Достали... Принесли... – прошелестело по партам.

Я был счастлив. Впервые в жизни я чувствовал себя центром всеобщего внимания. Я казался себе героем, вожакom и любимчиком класса – не хуже Левки Островского или Димочки Полоцка.

В таком приподнятом, возбужденном состоянии я вернулся из школы домой.

Открывая мне дверь, мама сказала:

– Скорее раздевайся, мой руки. У нас гости.

Гости! Будь это всего на несколько дней или даже на один только день раньше, как обрадовало бы меня это слово! Я любил, когда к нам приходили гости. Кто бы ни приходил, все равно. Сидеть за столом, накрытым шуршащей белой скатертью, и ждать, пока на тарелку тебе положат что-нибудь вкусное, – это было куда приятнее, чем самому разогревать себе обед и потом съесть его в одиночестве. Я любил пить чай вместе с гостями, слушать их веселый смех, их бесконечные, не всегда понятные взрослые разговоры. Потом я уходил за шкаф, ложился на диван и погружался в какую-нибудь книгу. На меня никто не обращал внимания. Иногда только до меня доносился приглушенный мамин голос:

– Просто не знаю, что мне делать с этим ребенком! Он буквально глотает книги...

Гости отвечали что-нибудь вроде:

– А наш-то хоть бы книгу взял в руки! Только и знает гонять на коньках целый день...

Я ждал этой неизменной фразы. Я знал, что после нее ме-

ня сразу оставят в покое, не будут спрашивать, какие у меня отметки, и не заставят заниматься ненавистой музыкой, и не погонят спать, едва только большие бронзовые часы на буфете пробьют десять.

Но на этот раз известие, что у нас гости, оставило меня глубоко равнодушным. Пообедав, я ушел к себе за шкаф, забрался с ногами на диван и стал ждать, когда часы пробьют пять: мы с ребятами договорились встретиться у кино в полшестого.

Вот часы зашипели – они всегда слегка шипели перед тем, как начать бить, – и я стал считать: «Бом-м... бом-м... бом-м... бом!»

Четыре! Еще полтора часа!

– А где Боря? – это спросил кто-то из гостей.

Вполголоса, чтобы я не услышал, мама сказала:

– Я просто опасаюсь за его психику. Читает запоем...

«Ничего она не опасается! Ей нравится, что я читаю запоем, и нравится хвастаться этим», – подумал я с внезапной злостью.

Я представил себе, как через полчаса часы пробьют один раз: «Бом-м!» А потом надо будет ждать еще целых полчаса, пока они пробьют пять.

Кино начинается в шесть.

Мне вдруг стало неумоготу сидеть и слушать бесконечные разговоры взрослых, похожие на уже много раз слышанные разговоры родителей с другими, а может быть, и с этими же самыми гостями.

Я встал, ни на кого не глядя прошел в коридор, снял с вешалки свое пальто и выскочил на лестницу.

Я уже был на втором этаже, когда до меня донесся мамин голос:

– Боря, ты куда?

– В кино! У нас экскурсия!

– Шарф! Не забудь надеть шарф! – крикнула мне вдогонку мама, и дверь наверху с шумом захлопнулась.

С той же непонятной злостью я вынул из кармана пальто шарф, скомкал его и тут же, на лестнице, запихал за батарею.

На улице шел легкий, пушистый снежок. Он уже не таял,

как утром, а, тихо и бесшумно кружась, ложился на мостовую, на тротуары, на шапки и воротники прохожих.

Под часами на Пушкинской неподвижно стоял человек, весь с ног до головы запорошенный снегом. На часах было десять минут пятого. Спешить было некуда. Я дошел до кино, постоял у кассы и тихо побрел в сторону школы. Мне почему-то стало до слез жалко самого себя. И вдруг – это было как чудо – я увидел Лидку. Она медленно шла мне навстречу. Шла тем же тротуаром, что и я, тем самым тротуаром, которым сегодня утром мы шли с ней вдвоем.

Увидев меня, Лидка засмеялась. Я тоже засмеялся.

– Ты чего так рано?

– А ты?

И мы снова засмеялись.

Я не помню, о чем мы говорили, слоняясь по тихим заснеженным московским переулкам. Помню только, что утреннее легкое и радостное чувство мгновенно вернулось ко мне, едва только я увидел Лидку.

Кажется, мы говорили о Синусе. О том, что он совсем не строгий, только притворяется строгим. И о том, что к нему удивительно подходит его прозвище – Синус.

– Такой длинный, худой, ну Синус и Синус, – сказала Лидка.

– А ты знаешь, что такое синус? – спросил я.

Нет, она не знала, что такое синус, и я не знал.

– Что-нибудь математическое, вроде гипотенузы, – предположила Лидка, – только гипотенуза – женщина, злая и скучная. А Синус добрый.

И мы снова засмеялись глупым, счастливым смехом.

Мне казалось, что прошло совсем немного времени, что минут десять, не больше, мы вот так ходим и разговариваем о пустяках. Но когда мы подошли к кинотеатру, все ребята уже были в сборе. Они ничуть не удивились, что мы с Лидкой пришли вдвоем, и это тоже было мне почему-то приятно.

Фойе было полно народу. С трудом протиснувшись к стене, мы стали у окна. Лидка расстегнула пальто и присела на подоконник. Здесь, при ярком электрическом свете, она показалась мне совсем новой. Я сначала даже не понял почему. А потом догадался: я привык ее видеть в лыжных брюках. А сейчас

она была в платье и в туфлях. Это делало ее новой, необычно взрослой и не похожей на себя.

Лидка сидела на подоконнике и, прищурившись, разглядывала двух девчонок, стоявших около эстрады. Это были девчонки из нашей школы, я тоже знал их. Они были старшеклассницы и не обращали на нас никакого внимания. Но Лидка разглядывала их высокомерно, каждую в отдельности, как будто она была не младше их, а старше или, по крайней мере, училась с ними в одном классе.

Я хотел посмеяться над тем, как Лидка корчит из себя взрослую. Но как раз в это время строгие билетерши распахнули двери в зал, и весь народ из фойе хлынул туда.

Вот ярко-белые огни люстр стали желтыми, потом красными и совсем погасли. Сладко замерло сердце, как всегда, когда предвкушалось что-то очень хорошее.

Медленно появились на экране знакомые слова: «Остров сокровищ».

5

Я очень хорошо помню, что сначала картина совсем не понравилась мне.

Еще бы! Ведь я привык к тому, что Джим Хокинс – это я.

Это я жил в старом трактире «Адмирал Бенбоу». Это я первый увидел страшного Билли Бонса. Это я, сидя в бочке, подслушал разговор одноногого Джона Сильвера и его друзей – разговор, из которого стало ясно, что почти весь экипаж «Испаньолы» – одна пиратская шайка.

Я был юнгой Джимом. Так было всегда, сколько бы раз я ни перечитывал «Остров сокровищ» Стивенсона. А тут, в картине, вообще не было никакого Джима Хокинса.

Все остальное было почти так же, как в книге: и старый Билли Бонс, и попугай. И одноногий Сильвер был точь-в-точь таким, каким я его представлял себе. Не было только юнги Джима. Вместо него была какая-то девчонка Дженни. Она была влюблена в доктора Ливси. Она тайком от всех переделалась в мальчишеское платье и поступила юнгой на «Испаньолу». Это она сидела в бочке и подслушивала разговоры пиратов. Она, а не я.

Конечно, все это не могло мне понравиться.

Но вот Дженни осталась на корабле одна-одинешенька со старым морским волком; вот с пистолетом в зубах она лезет по вантам. Черт возьми! Эта девчонка была неплохим юнгой. Неприятно ни один из пиратов, кроме пронизывающего Сильвера, не догадался, что она девчонка. Да, она была отличным парнем. И уж конечно, она была похожа на Джоанну Седли и на Катю Татаринуву куда больше, чем Лидка, которая с такой легкостью променяла лыжные брюки на обыкновенное девчачье платье.

Я вспомнил, как Лидка в фойе разглядывала десятиклассниц, и вдруг поймал себя на мысли, что она уже не кажется мне особенной, не похожей на других девчонок.

Но тут же я снова забыл про Лидку. События на экране разворачивались стремительно. В бою с пиратами ранили доктора Ливси. Ничего подобного в книге не было, но теперь мне было на это наплевать. Ранили доктора Ливси, из-за которого девушка Дженни стала юнгой Джимом.

Дженни пела песню:

Я на подвиг тебя провожала,
Над страной гремела гроза.
Я тебя провожала,
Но слезы сдержала,
И были сухими глаза...

... С того дня прошло много лет. Много разных событий случилось за это время в моей жизни. Я успел полюбить музыку. Я прочел множество чудных стихов. Но никакая музыка, никакие стихи никогда в жизни не волновали меня так, как тогда взволновала эта простая песенка.

Я не воображал себя раненым доктором Ливси. Я был юнгой Джимом и не мог быть никем другим. А раз юнга Джима в картине не было – значит, для меня в ней уже не оставалось места. Нет, я не был доктором Ливси. Но как я завидовал ему, что у него есть такая храбрая, такая чудная девушка Дженни!

Картина кончилась. Мы возвращались домой.

Каждый вслух переживал то, что больше всего потрясло его воображение:

– Как она его из пистолета...

– Нет, как этот подошел к нему – и р-раз!

Лидка сказала:

– А по-моему, глупо. Уж если кино называется «Остров со-
кровищ», все должно быть как в книге. Ведь правда, Боря?

Я не ответил. Я не принимал участия в этом разговоре. Со мною творилось что-то странное. Какая-то непонятная тоска сжала мне сердце.

Первый раз в своей жизни я не хотел быть ни Диком Шелтоном, ни Саней Григорьевым, ни Джимом Хокинсом. Я хотел быть самим собой, Борькой Сазоновым. И чтобы мне, Борьке Сазонову, а не какому-то там доктору Ливси, пела Дженни свою песню:

Ты в жаркое дело
Спокойно и смело
Иди, не боясь ничего.
Если ранили друга,
Сумеет подруга
Врагам отомстить за него...

На другой день утром, уходя на работу, мама сказала мне:

– Что-то ты сегодня какой-то кислый. Голова не болит? Посиди-ка денек дома. Лучше лишний час позанимаешься музыкой.

Я собрал ноты и пошел к Волковым играть до-мажорную гамму.

Я открыл рояль, достал ноты и поставил на пюпитр нарочно приготовленную на этот случай «Собаку Баскервилей». Шурка Мальшев, который позавчера дал мне ее на два дня, уверял, что лучшей книги просто нет на свете.

И вдруг я понял, чего мне хочется. Забыв о нотах, о «Собаке Баскервилей» и о до-мажорной гамме, я стал быстро-быстро одной правой рукой подбирать мелодию:

Там, где кони по трупам шагают,
Там, где землю окрасила кровь...

Я не хотел больше читать. Я хотел играть. Теперь я знал, что это значит – играть для себя.

Я беспомощно тыкал пальцами в клавиши и счастливо улыбнулся, когда из вороха беспорядочных звуков вылупилась мелодия и в пустой комнате зазвучала простая песенка Дженни:

Я в дело любое
Готова с тобою
Идти, не боясь ничего.
Если ранили друга,
Перевяжет подруга
Горячие раны его...

ТРУДНАЯ ВЕСНА

Где вы, где вы? В какие походы
Вы ушли из моих городов?..
Комиссары двадцатого года,
Я вас помню с тридцатых годов.

Н. Коржавин

Когда началась война и мы переехали жить в этот маленький уральский город, я сказал всем в школе, что меня зовут Феликс. Дома меня по-прежнему звали Борей. Мама не знала, что я решил стать Феликсом. Она узнала это только в конце года, когда мне нужно было получить свидетельство об окончании семилетки и пришлось доказывать, что Феликс Сазонов и Борис Сазонов – это одно и то же.

– Ну для чего тебе это понадобилось? – устало сказала она. – Большой парень, и вдруг... Такая внезапная вспышка глупости.

Наверное, это и в самом деле была глупость. Но не внезапная.

1

Мне никогда не нравилось мое имя. И вовсе не потому, что в школе чуть ли не с первого класса меня дразнили «Борис, председатель дохлых крыс!» или «Борис Годунов, объелся блинов!».

Оно не нравилось мне совсем по другой причине.

Я хотел, чтобы меня звали как-нибудь пореволюционное. Ну, хоть как Кимку Ершова – Ким. Ким – это сокращенно значит «Коммунистический Интернационал Молодежи». Или как

Владика Стучевского – Владлен: «Владимир Ленин». У нас в школе, да и во дворе, даже у девчонок были такие имена. Вот, например, Ленка Морозова. Ее полностью зовут не Елена, а Лени́на, в честь Ленина. Энку Левитину зовут Энергия. А имя Рэмки Данилиной – Рэма – означает: «Революция – электрификация мира».

Конечно, были у нас и другие ребята, с обыкновенными именами. Но ни одно имя не казалось мне таким дореволюционным, старорежимным, как мое.

Особенно обидно стало мне после того, как я побывал в гостях у Фельки Кононенко.

Фелька учился не в нашем классе, а в параллельном, шестом «Б». Домой он меня к себе позвал играть в шахматы: я играл лучше всех в нашем классе, а Фелька был чемпионом в своем.

– Пошли прямо сейчас? – предложил он мне как-то после уроков. – А то можно к тебе. Только мне тогда надо будет домой позвонить, чтоб не ждали.

Мне никому не нужно было звонить, дома меня никто не ждал, и мы решили идти к нему.

Фелька жил в большом сером доме в Гнезниковском переулке. Этот дом знала вся Москва. Тогда в Москве еще не было высотных зданий, и этот сумрачный десятиэтажный дом считался небоскребом. Старые москвичи называли его «Дом Нирензее», по имени его давнишнего владельца. Мальчишки говорили о нем – «Дом с крышей», потому что у этого дома была замечательная, огороженная специальной оградой и выложенная каменными плитками крыша, на которую все мы лазили играть в волейбол и смотреть на простершуюся внизу Москву.

С тех пор мне не раз приходилось бывать в этом доме. Сейчас в нем находится учреждение, в которое я часто хожу по делам. И нынешние москвичи чаще всего называют дом именем этого учреждения. Но я и теперь, когда думаю об этом старом московском доме, называю его про себя «Дом Фельки Кононенко».

С трудом открыв тяжелую, тугую дверь, мы вошли в прохладный вестибюль и в лифте поднялись на девятый этаж. Это был совсем не такой лифт, как в нашем доме. Для того чтобы

подняться в нем, нужно было не нажимать кнопку, а быстро крутануть такое блестящее медное колесо с ручкой, похожее на штурвал корабля.

На девятом этаже мы долго шли по пустынному широкому коридору. Наконец Фелька остановился перед дверью, встал на цыпочки и, дотянувшись, нажал кнопку звонка. Он нажал кнопку и не отпускал ее долго-долго.

– Брось, соседи заругают, – сказал я.

– А у нас нет никаких соседей, – сказал Фелька.

И тут как раз дверь открылась. Ее открыла широколицая высокая девушка. Она и в самом деле не стала ругать нас. Только дернула Фельку за чуб и сказала:

– Вытирай ноги.

– Это Нина, моя сестра, – сказал мне Фелька.

Мы быстро вытерли ноги и вошли в большую светлую комнату с одним, во всю стену, огромным окном.

Нина сказала:

– Мальчики, вы, наверное, голодные? Будем обедать или пождем папу?

– Нет, – сказал Фелька, – мы будем играть в шахматы.

– Играйте, – сказала Нина. – Только, пожалуйста, без фука.

– С фуком – это в шашки, – сказал я.

Фелька и Нина засмеялись.

– Это она нарочно, – объяснил Фелька. – Это давно, когда мы еще маленькие были, мы с ней любили в шашки играть. И всегда шумели очень, орали, ссорились: «Чур, с фуком! Чур, без фука!» Вот однажды отец нам сказал: «Больше без моего разрешения вы шашки в руки не возьмете». Мы – просить: «Пап, разреши, разреши!» А он говорит: «Ладно, играйте, только, пожалуйста, без фука». Ну вот, с тех пор у нас все так говорят дома: «Без фука». Значит, не орать, без крика то есть...

Первую партию мы сыграли вничью. Вторую я твердо решил выиграть.

Фелька сидел прямо на столе, кусал ноготь и думал. Он думал уже довольно долго. Мне стало скучно ждать, пока он делает ход, и я стал глядеть на стены. Прямо передо мной, над столом, висела большая фотография. В огромной пустой ком-

нате, вернее, даже не в комнате, а в каком-то зале, где много-много окон, стоят рядом два человека. Один – в шинели внакидку, в фуражке, с худым изможденным лицом и острой бородкой. Я сразу узнал его: Дзержинский. Другой тоже в фуражке и в короткой кожаной куртке, совсем молодой, с таким же, как у Фельки, широким, курносым лицом.

– Это Дзержинский? – спросил я. – А с ним кто?

– С ним? – переспросил Фелька, не отрываясь от доски. (Через несколько ходов его ждал верный мат.) – С ним? Это папа...

– Твой? – У меня сразу пересохло в горле.

– Ну да, – Фелька наконец сделал ход. – Он с ним работал. Поэтому меня и назвали Феликсом. Феликс Эдмундович умер в двадцать шестом году. Как раз когда я родился... Ходи, что же ты...

Я сделал ход и сразу зевнул ладью. Наверняка выигранная партия теперь была безнадежна. Но я уже не думал о шахматах. Я думал о другом.

Я родился не в двадцать шестом, а в двадцать седьмом году. Но это неважно. Мне тоже могли дать это ослепительное и грозное, как само слово «революция», имя.

Но мой отец никогда не работал с Дзержинским. Он работал...

Вот так всегда! Всякий раз, когда мне приходилось отвечать на вопрос, где работает мой отец, я краснел, заикался и не знал, что ответить.

Все наши ребята хвастались отцами. С нарочитой небрежностью произносили они звучные, иногда короткие и простые, а чаще длинные и малопонятные слова:

– Мой батя работает на «Шарикоподшипнике».

– А мой отец в Цэсэу...

– А мой в Главпуре РККА!

Не каждый из нас знал, что Главпур РККА – это значит «Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Да и те, кто знал, наверно, не очень ясно представляли себе, что это такое – «Главное политическое управление». Но все мы понимали, что люди, работающие в учреждении с таким названием, делают что-то очень важное. Не просто важное, а важное для революции.

Тогда все измерялось этой мерой. Если человеку хотели сказать, что его поступок не имеет решительно никакого значения, ему говорили: «Революция от этого не пострадает».

А разве пострадала бы революция, если бы ушел с работы мой папа?

Он был преподавателем консерватории. Это слово – «консерватория» – казалось мне таким же противным и старорежимным, как мое имя.

У нас дома на стене тоже висели фотографии. Но это были совсем другие фотографии, не похожие на ту, что я видел у Фельки. На одной из них отец был снят в очень твердом, подпирающем шею крахмальном воротничке и в галстук бабочкой. На другой – в высокой фуражке с кокардой и с блестящим козырьком. В таких фуражках до революции ходили студенты консерватории.

Я стыдился профессии отца. Мне казалось унижительным и глупым, что большой, взрослый мужчина, вместо того чтобы быть военным, моряком или летчиком, занимается таким не настоящим, не мужским делом. Вот почему, когда ребята спрашивали меня про отца, я не знал, что ответить. Мне казалось, что если я скажу им правду, они подумают, что папа вроде нашего учителя пения Клавдия Ивановича, которого мы изводили злорадной дразнилкой:

До ре ми фа соль ля си,
Клавдий Иваныч, не форси!
Если будешь ты форсить,
Мы не станем голосить!..

Хотя на самом деле отец ничуть не был похож на худенького, красноногого Клавдия Ивановича.

2

В тот вечер я долго смотрел на отца. Смотрел, как бегают по нотным линейкам его остро отточенный карандаш.

Вот он задумался на секунду, быстро-быстро нарисовал четыре точки, приделал к ним хвостики и соединил их общей черточкой. Потом посидел, подумал, взял ластик и стер. Опять быстро-быстро забегал его карандаш.

– Пап... Ведь ты был на фронте?

– М-м?

– Ты ведь был на фронте, пап? У тебя, наверное, есть где-нибудь старые фронтовые фотографии?

– Фотографии? Должны быть. Посмотри в столе.

Я залез в ящик отцовского письменного стола и достал толстую пачку бумаг, пожелтевших, стершихся на сгибе.

«Императорское Русское Музыкальное Общество, – прочел я на одной. – Дано сие мещанину...»

– Пап, ты разве мещанин?

Отец, поглощенный своим дурацким занятием, не отозвался.

Я стал рыться в столе дальше и наконец наткнулся на фотографии. Они были совсем не интересные, не фронтовые. На табуретке сидит здоровенный толстомордый парень в начищенных до блеска сапогах. Рядом с ним стоит такая же здоровая, наверное, очень краснощекая девушка. На обороте крупными каракулями написано: «На память Николаю Петровичу от Афанасия и Веры».

– Пап, это кто? Это же не на фронте, а ты говорил, что здесь фронтовые...

Отец оторвался от нотного листка, взглянул на фотографию и улыбнулся:

– Это мой денщик со своей невестой.

– Денщик? – я был поражен. – У тебя был денщик?

Но отец уже снова чертил карандашом свои закорючки.

Я бы, конечно, так скоро не оставил его в покое, но тут мне на глаза попала еще одна фотография. Да, уж тут не могло быть никаких сомнений – это была настоящая, фронтовая! У сломанного дощатого забора стоят трое военных. Один из них – отец. Все они в фуражках – круглые маленькие кокарды, на плечах – погоны.

С ужасом, не веря, что это может оказаться правдой, я спросил:

– Па, ты был белый?

– Что?! – отец поднял голову от нотного листка. – Что за чушь ты городишь?

– А почему тогда погоны?

– Ну, ей-богу! Ты ведь не маленький. Должен знать. Это бы-

ло еще в империалистическую. Я служил в старой армии. Тогда все носили погоны...

– Но ты был офицер? У тебя был денщик, значит, ты был офицер!

– У меня была музыкантская команда, я был капельмейстером. Если тебе так нравится, можешь считать, что я был офицером...

Нет, мне это совсем не нравилось! Только этого мне не хватало – чтобы мой отец оказался золотопогонником, офицером царской армии! «Что за черт! – думал я чуть не со слезами. – У всех отцы как отцы, а тут...»

– Пап, а потом, когда революция... Ты тоже был капельмейстером?

Отец рассердился:

– Ну сколько можно, Боря! Взял фотографии, играй, пожалуйста, только, ради бога, не гуди над ухом!

«Играйте, только, пожалуйста, без фука!» – почему-то вспомнилось мне. У меня вдруг защемило сердце. Бывают же такие счастливые люди, у которых фотографии вождей висят, как у других фотографии родственников и знакомых, у которых отцы, приходя домой, снимают скрипящие, пахнущие кожей ремни и играют с сыновьями в шахматы, и разговаривают с ними как со взрослыми, и говорят свои, особенные, не похожие на другие слова: «Играйте, только, пожалуйста, без фука...»

3

«Скорей бы вырасти! – думал я. – Уж я не буду таким чудачком, как отец. Во-первых, я обязательно отпущу усы».

Мы с ребятами часто говорили о том, какие усы мы будем носить, когда вырастем: короткие, как у Папанина, или пышные, с закрученными, торчащими вверх концами, как у Чапаева. О том, чтобы обходиться вовсе без усов, не могло быть и речи. Это было бы просто глупо.

Отец усов не носил. Это тоже казалось мне непонятным, ничем не объяснимым чудачеством.

Однажды, глядя, как отец бреется перед зеркалом, я попросил:

– Пап, не сбривай усы. Пусть будут...

– Да? И какого цвета будут эти усы? – невозмутимо отозвался он.

– Черные, – сказал я, не соображая, куда он клонит.

– Черные – это бы еще куда ни шло... У меня они были б рыжие...

Я понимал, конечно, что отец шутит. Но даже шуточный этот ответ показывал, что в глубине души он и сам знает, насколько лучше было бы ему с усами.

Да, усы для человека – не последнее дело. Но если говорить серьезно, не только возможность отпустить усы заставляла меня хотеть как можно скорее стать взрослым.

Как и все наши ребята, я очень боялся, что не успею вырасти до начала войны.

Я всегда завидовал тем, кто родился раньше меня, кому повезло захватить хоть краешком детства Гражданскую войну. Я изводил расспросами всех взрослых, я добивался от них ясного и прямого ответа: обязательно будет война или может случиться, что я проживу всю свою жизнь, а войны так и не будет. Это было бы просто несправедливо. Хватит с нас того, что мы по малолетству не были в Испании. Я не сомневался, что будь я и все наши ребята чуть постарше, генералу Франко вряд ли удалось бы задушить Испанскую Республику.

О том, что война началась, мы с мамой узнали не сразу.

В то лето мы с ней жили в маленькой деревушке на берегу Волги, в пяти часах езды от Москвы. Мама работала врачом в доме отдыха имени Коминтерна, находящемся поблизости, а я целыми днями торчал на реке, купался до судорог, жарился на солнце.

Каждое воскресенье из Москвы приезжал отец. Он привозил мне то пластинки для «Фотокора», то камеру для волейбольного мяча, и всегда – напоминание о том, что где-то неподалеку продолжается обычная московская жизнь, со звонками трамваев и гудками автомобилей, с пыльными московскими дворами, где ребята играют в лапту, с радужными лужицами бензина в мягком, плавящемся от зноя асфальте.

На мои расспросы о Москве отец неизменно отвечал, что в Москве плохо: пыльно и душно. Потом он ложился на рас-

кладушку и через несколько минут засыпал, накрыв голову газетой.

Я ждал, что так будет и в это воскресенье.

День начался как обычно. Время тянулось медленно-медленно. Казалось, утро никогда не кончится. Я успел уже четыре раза сбегать на Волгу искупаться и то и дело забегал в дом глянуть на ходики, не пора ли идти встречать отца. Наконец маленькая стрелка подошла к двенадцати. Из «Коминтерна» пришла мама, и мы пошли с ней на станцию.

Я первый увидел отца и сразу понял, что в Москве что-то случилось. У него было точь-в-точь такое лицо, как в тот день, когда умер дядя Костя. У дяди Кости было больное сердце. Он купался в ванной, и с ним случился приступ. Когда папа узнал, что дядя Костя внезапно умер, он ходил по комнате вот с таким же растерянным лицом и говорил: «Как глупо... Тьфу ты, черт! Как глупо...»

Увидев меня и маму, отец соскочил на платформу, не дожидаясь, пока поезд замедлит ход.

Я был уверен, что папа подойдет ко мне: я стоял ближе. Но он, даже не глядя на меня, подошел к маме, взял ее за руку и, растерянно улыбувшись, сказал:

– Я ничего не знал утром. Собрался и выехал. Только в поезде мне сказали...

– Что – не знал? – испуганно спросила мама. – Коля, что случилось?!

Он посмотрел на маму так, словно был в чем-то виноват перед ней, и сказал:

– Война...

Услыхав это слово, я мгновенно забыл обо всем, что волновало меня секунду назад. Вот оно! Наконец-то!

Я не понимал, почему плачет мама, почему не радуется отец.

Я радовался. И вместе с тем – странное дело! – с той минуты, как я узнал про войну, где-то внутри меня, должно быть, в самом сердце, поселилось какое-то непонятное тошнотворное чувство тревоги.

Радость моя была искренней, неподдельной. Случилось наконец самое главное, то, к чему мы все время готовились, чего так долго ждали!

Я вспомнил, как перед отъездом поспорил с Владькой Стучевским на три новенькие кассеты для «Фотокора», начнется в этом году война или нет. Владька говорил, что обязательно начнется. Я и сам так думал, но поспорил наоборот. Я всегда, если очень хотел чего-нибудь, спорил наоборот: не сбудется по-моему, так хоть спор выиграю, все-таки утешение.

«Здорово! – думал я. – Кассеты проспорил, и черт с ними! Зато война!»

А противная тошнота в сердце почему-то не проходила.

4

В тот день, когда началась война, вся жизнь словно переломилась пополам. Теперь дни катились друг за другом как в кино, и каждый день приносил что-нибудь новое, и эта новая, стремительно меняющаяся жизнь была совсем не похожа на ту, прежнюю, медленную, с песчаными волжскими плесами, пластинками для «Фотокора», волейболом и лаптой. Все это осталось где-то далеко-далеко, как будто это было не вчера, а много лет назад.

Отец в тот же день уехал обратно в Москву, а мы с мамой остались. Я теперь целые дни проводил в опустевшем доме отдыха. Радиоузел почему-то не работал, и там ходили самые невероятные слухи – одни говорили, что наши взяли Кенигсберг и Варшаву, другие утверждали, что мы вот-вот подойдем к Берлину.

Я жил в те дни только этими слухами.

Я не сомневался в правдивости каждого из них. Меня только удивляло, что никто не говорит о самом главном: ведь в Германии, наверно, уже произошла революция. А если это так, почему тогда Красная Армия продолжает наступать на Берлин?

То, что в Германии революция уже произошла или произойдет со дня на день, не вызывало у меня никаких сомнений.

Раньше, когда война еще не началась, мы с ребятами у нас во дворе часто говорили о том, как все будет, когда она начнется.

В одном из этих разговоров Женька Иваницкий, самый умный и начитанный из нас, как дважды два доказал нам, что как

только какая-нибудь капиталистическая страна посмеет напасть на СССР, в ней сразу вспыхнет революция, потому что народ этой страны не допустит, чтобы его правительство воевало с международным отечеством трудящихся. И тогда, безусловно, произойдет мировая революция.

Я был уверен, что именно так все и будет. Эта моя уверенность не поколебалась даже тогда, когда мы с мамой вернулись в Москву и узнали, что немцы захватили Литву, Латвию, Эстонию, почти всю Западную Украину и Западную Белоруссию.

– До старой границы решено допустить, не иначе. Такой план. А там остановим, – сказал наш сосед дядя Федя.

– Не похоже... – задумчиво ответил отец. – На план что-то не похоже...

Они сидели над моей школьной «Политической картой СССР».

Дядя Федя сказал:

– Не для того рабочий класс брал в свои руки власть!..

– Ах, оставьте, пожалуйста! При чем тут рабочий класс! – раздраженно заговорил другой наш сосед, Осип Маркович.

Про него отец, смеясь, рассказывал нам, что во время первой учебной тревоги (мы с мамой тогда еще были на Волге) он вбежал к нам в комнату в одном белье и сдавленным шепотом, точно боясь, что его могут подслушать, сказал: «Началось!»

– При чем тут рабочий класс? – разозлился Осип Маркович. – Вы знаете, сколько у них дивизий, какая техника?

Дядя Федя посмотрел на Осипа Марковича и жестко сказал:

– При том рабочий класс, что техника без людей мертва...

Осип Маркович зло усмехнулся и едва заметным движением головы показал отцу на дядю Федю, словно приглашая его вместе с ним посмеяться над упрямой дяди Фединой глупостью.

Как я ненавидел его в эту минуту! И как обидно мне было, что он считает отца своим единомышленником! Пусть дядя Федя не знает, сколько у немцев дивизий, но ведь он сказал правду! Немецкие рабочие не станут стрелять в наших! Они обязательно сделают у себя революцию. Не сразу, так через месяц.

Я ждал, что вот отсц встанет и скажет все это Осипу Марковичу, и тогда последнее слово останется за дядей Федей,

за нами. Но отец остался сидеть на месте, как будто ничего не случилось. Он только еще раз посмотрел задумчиво на карту и, словно отвечая каким-то своим мыслям, невпопад пробормотал непонятные, но почему-то запомнившиеся мне слова:

– Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...

5

Отец записался в ополчение и через три дня уехал. Когда он перед самым отъездом забежал домой проститься с нами, лицо у него было уже не растерянное и не грустное, но и не веселое.

Я был рад, что отец уезжает на фронт. И все-таки это было не вполне то, чего бы мне хотелось.

Во-первых, отец был не кадровым, а ополченцем. Это, конечно, был минус. Правда, с другой стороны, это значило, что он ушел на фронт добровольно. Но все-таки лучше было бы, если б он был не ополченцем, а кадровым командиром. Тогда у него было бы, самое меньшее, три кубика в петличке, а может быть, даже и шпала.

Ну а кроме того, по моим понятиям, отец, уезжая на фронт, должен был поговорить со мной как мужчина с женщиной. Он должен был сказать мне, чтобы я заботился о маме и бабушке. Так всегда говорят сыновьям, уходя на войну, я знаю.

Я представил себе, как отец Фельки Кононенко прощался со своим сыном. Фелькиного отца я ни разу в жизни не видел, только вот тогда, на фотографии. Но я представил себе его отъезд так, как будто все это происходило на моих глазах.

Вот он сидит дома за столом, пьет чай, шутит, смеется. Он совсем молодой, почти такой же, как на фотографии, только на висках у него виднеется седина и у глаз собираются веселые морщинки. Вот он взглядывает на часы, и лицо его мгновенно становится серьезным.

«Девятнадцать ноль-ноль. Мне пора», – говорит он и встает.

Фелька и Нина встают тоже. Они не спорят, не просят его подождать еще хоть минуточку. Они знают, что нет ничего на свете точнее и непреложнее военного приказа.

«Ну, сын, – говорит отец Фельке и кладет руку ему на плечо, – теперь ты главный мужчина в доме. Помни об этом».

Он не целует Фельку. Мужчины обходятся без поцелуев. Как равному он жмет ему на прощанье руку...

Мой отец ничего этого не сделал. Он долго о чем-то вполголоса разговаривал с мамой. Потом они несколько раз быстро-быстро поцеловались. Потом он нагнулся, поцеловал меня в глаз, сказал:

– Ну, будь умницей.

Как будто мне пять лет, а не четырнадцать! И ушел.

Да, с отцом мне не повезло.

Зато с мамой все вышло отлично.

Маму вызвали в военкомат и аттестовали. Ей присвоили звание «военврач второго ранга» (это две шпалы, как у майора). И дали срочное назначение в Житомирский эвакогоспиталь.

Когда мама сказала, что ей разрешили взять с собой семью, радости моей не было границ. Еще бы! Значит, я поеду с ней в Житомир! Житомир – это где-то на Украине. Это почти самый фронт. Я сам слышал по радио сводку, в которой говорилось: «Идут бои на Житомирском направлении».

Бабушка ехать отказывалась. Она говорила маме, что не дело это – все бросить и ехать бог знает куда, что она хочет умереть в своем родном доме и еще что-то в этом же роде.

Я не стал слушать всю эту ерунду. Я побежал к ребятам. Меня распирало. Я должен был с кем-то поделиться неожиданно свалившейся на меня радостью.

Во дворе было пустынно. Только у самой подворотни со скучающим видом прогуливался Женька Иваницкий. Женька – это был именно тот человек, уважение которого мне хотелось бы завоевать в первую очередь. Я подошел к нему и сказал:

– Уезжаем...

Женька равнодушно спросил:

– Эвакуируетесь?

Небрежно, как будто в этом не было ничего особенного, я сказал:

– Мать мобилизовали. На фронт едет. А я с ней, – и, не удержавшись, добавил: – Ей майора дали...

– Ну да, – сказал Женька, – маме дали майора, папе полковника, а тебе маршальскую звезду.

– Дурак! – обиделся я. – Получено специальное разрешение! Военный комиссар так матери и сказал: «Если не на кого оставить, берите семью с собой». Едем в Житомир. В четыреста тридцать первый госпиталь. Слышал по радио? Бои на Житомирском направлении...

– Ну, госпиталь... Это в тылу где-нибудь.

– В современной войне тыл в любую минуту может оказаться фронтом, – повторил я фразу, слышанную от Осипа Марковича.

Женька посмотрел на меня, кажется, с уважением.

– Слушай, – сказал он вдруг. – Я давно хотел тебе предложить. Тебе и вообще всем ребятам. Женщины тут тащат продукты. По десять раз. Туда и обратно с кошелками, туда и обратно... Панику сеют... Затруднения создают... Надо нам у подворотни пикет поставить.

– Какой пикет? – спросил я.

Я смутно помнил, что пикет – это что-то связанное с забастовками.

– «Какой пикет!» – разозлился Женька. – Не понимаешь какой? Стать здесь и не пускать всех, кто второй раз с кошелкой. По три человека. Каждые четыре часа сменяться.

Идея показалась мне великолепной.

Через пять минут я, Женька и Ленка Морозова, та самая, которую звали Лени́на, а не Елена, стояли пикетом около подворотни.

Первая нарушительница, которую мы задержали, была моя бабушка.

Строго говоря, бабушка не была нарушительницей. Уговор был задерживать только тех, кто будет замечен дважды, а она возвращалась из магазина первый раз. Ребята даже и не думали ее останавливать. Но я сказал:

– Там что у тебя в кошелке? Сахар? А ну, неси обратно! Дома две пачки рафинада в буфете лежат, я сам видел!

Бабушка оторопело спросила:

– Куда ж мне теперь с ним?

– А вы попросите поменять на что-нибудь другое, вам обменяют, – посоветовала Лена.

Бабушка, ни слова не говоря, ушла и минут через десять вернулась. Проходя мимо нас, она суетливо раскрыла кошелку и показала нам: вместо сахара там теперь был пакет с какой-то крупой и бутылка подсолнечного масла.

Второй нарушительницей оказалась дяди Федина жена – тетья Груша. Во дворе ее все звали Тимофеевна.

Тимофеевна, ничего не подозревая, шла своей быстренькой, семенящей походкой. Подойдя к нам, она даже огрызнулась:

– Ну, чего проход загородили? Ай вам другого места не нашлось?

Женька вышел вперед и сказал:

– Назад, гражданка! Вы второй раз с кошелкой.

Тимофеевна от неожиданности сначала даже не стала возражать. Она остановилась и сказала жалобно:

– Ах ты господи... Что ж теперь делать?

Но потом ей, видимо, наш пикет показался не очень авторитетным.

– Ишь чего выдумали! К себе домой не пускают! А ну!..

Но мы были непреклонны.

Тогда Тимофеевна переменила тактику.

– Борюшка, – сказала она мне, – в другой раз я не пойду... А сейчас уж пусти ты меня, ради Христа...

– Как вам не стыдно! – сказал я. – У вас муж член партии, а вы сеете панику... Создаете затруднения.

Вот тут уж Тимофеевна взъерилась по-настоящему.

– Да пропадите вы все пропадом! – закричала она визгливым, плачущим голосом, выхватила из кошелки какой-то пакет и бросила его нам под ноги. Пакет разорвался, и из него посыпались макаронны.

Я был уверен, что если она не постыдится рассказать обо всем дяде Феде, он, конечно, будет на нашей стороне. Но вышло иначе.

Вечером дядя Федя зашел к моей маме и сказал ей, что у Тимофеевны тридцать пять лет трудового стажа и что я еще молод, чтобы срамить ее на весь двор.

– Кто им позволил создавать эти, понимаете, заградительные отряды? Кто им дал указание, я вас спрашиваю? Ах, никто не давал? А вы знаете, как это называется?

Мама засмеялась, и тогда дядя Федя разозлился еще больше:
– Вы не смейтесь, пожалуйста! Авангардизм чистой воды. Я вам как член партии это говорю!

Тут мама престала смеяться и сказала:

– Не знаю, Федор Игнатьевич, я человек беспартийный, может, я и не права. Только мне кажется, что никакого авангардизма тут нет. Если вы считаете, что ребята ошиблись, поговорите сами с Борей. Поговорите с ним как член партии с пионером. Я думаю, вас он скорее послушается.

Дядя Федя сказал, что он этого так не оставит, но разговаривать со мной не стал. Наверное, понял свою ошибку. А может быть, просто не успел, потому что через два дня я, мама и бабушка уехали из Москвы.

6

Я был так поглощен делами нашего пикета и тем, что мама будет теперь носить командирскую форму и две шпалы в петличке, что даже не очень расстроился, когда узнал, что Житомирский госпиталь находится не в Житомире, а в маленьком городке на Северном Урале. Его туда эвакуировали. Поэтому он и назывался эвакуогоспиталем. А может быть, потому, что туда, на Северный Урал, в глубокий тыл, будут эвакуировать тяжелораненых бойцов.

Всю дорогу бабушка изводила меня разговорами о сахаре.

– Это разве теперь дети? – начинала она всякий раз, когда удавалось достать кипяток. – У людей все как у людей! Кто внакладку, кто вприкуску... Одни мы вприглядку пьем! Две пачки у него дома рафинаду... Надолго их хватило, этих твоих двух пачек? Вот и пей теперь пустой кипяток...

Если не считать этих приставаний, в дороге мне все очень нравилось. Нравилось, что мы едем не в обыкновенном поезде, а в товарных вагонах, которые взрослые почему-то называли «теплушки». Нравилось, что останавливаемся не на станциях, а просто где-нибудь в поле и стоим часа три, а то и больше. За три часа можно много успеть. Если б не мама и бабушка, конечно.

На каждой остановке у нас происходил примерно такой разговор:

– Боря, ты куда?

– Там костер, картошку пекут...

– Нечего тебе туда ходить! Еще отстанешь от эшелона, где мы тебя тогда найдем?

Это я-то отстану!.. Лучше бы о себе побеспокоились. Я в крайнем случае могу и на ходу в последний вагон запрыгнуть.

Но больше всего мне нравилось, что мы едем, и едем вот уже шесть дней, а конца нашему путешествию не видно.

И все-таки, когда мы наконец приехали, я обрадовался.

Этот город был совсем не похож на те города, в которых мне приходилось бывать раньше. Даже имя у него было чудное, не похожее на обыкновенное. Он назывался Надеждинский завод. Как будто весь город состоял только из завода.

Вообще-то говоря, так оно и было.

Но в первый день меня поразило и бросилось мне в глаза совсем другое.

Мы приехали вечером. Мама оставила меня и бабушку на вокзале с вещами, а сама куда-то ушла и долго не возвращалась. Потом она вернулась, держа в руках какую-то бумажку.

К нам подошел веселый старик в ватнике и в брезентовых рукавицах.

– Ну как, поехали? – спросил он, как будто уже давно сговорился с нами и только ждал, когда мы наконец будем готовы.

– Поехали, – сказала мама, близоруко вглядываясь в бумажку. – Улица Сакко и Ванцетти, четырнадцать...

Старик беспомощно заморгал.

– Это, надо быть, третья линия будет, – загадочно сказал он, покидал наши вещи в телегу, и мы тронулись.

Третья линия оказалась улицей Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Когда выяснилось, что мы приехали не туда, старик ничуть не растерялся. Скорее даже, наоборот, обрадовался.

– Стало, наша будет аккурат седьмая, – радостно уверял он.

Проездив еще немного по городу, мы наконец добрались до улицы Сакко и Ванцетти и разыскали предназначавшуюся нам комнату.

Мама и бабушка стали устраиваться, разбирать вещи. Меня на время оставили в покое.

Я вышел на улицу и огляделся.

Это была очень ровная и довольно широкая улица с одинаковыми двухэтажными деревянными домами.

Внезапно темный край неба осветился яркой вспышкой. Пламя задрожало и погасло, оставив медленно угасающую, неровную огненную черту.

– Ой, что это?! – крикнул я.

– Шлак вылили, – спокойно сказал за моей спиной чей-то голос.

– А-а-а, – протянул я понимающе, как будто знал, что такое шлак и для чего его выливали.

Огненная река вспыхнула в последний раз, стала темно-багровой и погасла, на этот раз уже совсем. Сразу потемнело, хотя в окнах домов по-прежнему горел свет.

Здесь не было затемнения, и в окнах горел свет, и оконные стекла не были заклеены крест-накрест полосками газетной бумаги.

Я оглянулся.

Рядом со мной стоял щупленький, низкорослый мальчишка.

– Ты в каком классе? – спросил я просто так, чтобы что-нибудь сказать.

– В седьмой пойду, – сказал он.

Я удивился. Значит, мы с ним в одном классе. А на вид можно было подумать, что он в пятом, от силы в шестом.

– Ты в девятой школе будешь учиться? – спросил он.

Я сказал, что не знаю. Тогда он предложил:

– Айда завтра в девятую записываться.

– Айда! – сказал я. – А далеко?

– Не-е, близко... Сразу за Белой Речкой. Километра четыре, не боле. Зато там все наши ребята будут. Раньше я во вторую ходил – туда теперь раненых полбжили, в госпитале мест не хватает. А в двадцать пятой ре́монт.

Он говорил «полбжили» и «ре́монт». Я даже не сразу понял, что это за штука такая – «ре́монт»...

Утром мама мне сказала:

– Боря, ты, наверное, забыл? Сегодня первое сентября. Я узнавала, тут недалеко от нас школа номер шестнадцать. Очень хорошая школа, лучшая в городе. Я по пути зайду и запишу тебя...

– Ничего я не забыл! – буркнул я. – И не надо меня записывать. Я уже договорился, я в девятой школе буду учиться. Там все наши ребята.

– Какие ребята? – удивилась мама. – Ты же все равно никого не знаешь... И это, наверное, где-нибудь у черта на куличках...

– Нет, мама, я уже знаю, я вчера познакомился. Это совсем близко, прямо за Белой Речкой...

– Ну, в девятой так в девятой, – сказала мама. – Вот твоя метрика и справка о переходе в седьмой класс. Только смотри, обязательно сделай это сегодня, слышишь, Боря?

– Слышу, – сказал я, – обязательно сделаю.

Вчерашний мальчишка уже слонялся по улице, ожидая меня. Утром, при свете, оказалось, что он рыжий. У него были рыжие волосы, белые брови и короткие белые ресницы. Звали его Петька, Петька Ивичев.

Всю дорогу он рассказывал мне про белореченских ребят, которые издавна враждуют с городскими и, возможно, даже сегодня устроят нам засаду. Я уже стал было раскаиваться, что так легкомысленно согласился идти записываться в эту чертову девятую школу. К тому же я и не подозревал, что четыре километра – это так далеко.

Во дворе школы толпилось человек пятнадцать ребят. Увидев нас, один из них закричал:

– Петух! Рыжий Петух пришел!

Это, безусловно, относилось к Петьке. Петька сразу же растворился в толпе, и я остался один.

– Колян! – закричал в это время тот же мальчишка. – Ура, ребята! Чапай идет!

В калитку вразвалочку входил невысокий, плотный паренек с черным чубом, налезавшим на глаза. Без сомнения, это и

был Чапай. Появление его было встречено громкими, радостными выкриками.

На меня никто не обращал внимания.

В другом конце двора, у забора, толпились девочки. Там тоже радостным визгом встречали знакомых, смеялись, тормозили друг друга. А чуть поодаль, почти у самых школьных дверей, независимо стояли трое ребят, по-видимому, знакомых друг с другом, но, так же как я, не знающих здесь никого. Особенно бросился мне в глаза один из них. Это был здоровенный парень, неуклюжий и сутулый. Маленькими хитроватыми глазками он снисходительно наблюдал всю эту сутолоку мальчишечьих и девчоночьих встреч, словно большой, добродушный пес, лениво следящий за возней расшалившихся щенков.

Я подошел к этим троице и молча стал рядом с ними.

Скоро дверь школы отворилась, и все, толкаясь, повалили внутрь.

В маленьком, тесном классе за столом сидела полная женщина в очках.

– Марья Алексеевна, завуч... – шепнул мне опять оказавшийся около меня Петька.

Марья Алексеевна встала и вышла из-за стола.

– Тихо, тихо, не толпитесь, – заговорила она. – Здравствуйте... Здравствуй, Ивичев, здравствуй... Стань-ка в сторонку, милый, ты не прозрачный... Я хочу на новеньких поглядеть...

Ребята стали по стенке. Те, кто был в шапках, сняли их и держали в руках.

– Рассаживайтесь, рассаживайтесь по партам! – сказала Марья Алексеевна.

Все быстро расселись.

Только тот здоровенный сутулый парень, на которого я еще раньше обратил внимание, не сел.

– Можно спросить? – сказал он неторопливо. – Мы сами с Украины... Приехали сюда с хоспиталем. Документов у нас нет.

– Так-так, – сказала Марья Алексеевна, – эвакуированные? Все трое кивнули.

– И ни у кого нет документов?

– Ни у кого нету. Школа у нас сгорела... – оправдываясь, ска-

зал худенький мальчик с грустными черными глазами. Он был в опрятной темной курточке, в узких, чуть коротковатых брюках и в огромных, взрослых, наверное отцовских, ботинках. – Ни у кого нету, – повторил он еще раз все тем же извиняющимся тоном.

– Так-так, – еще раз сказала Марья Алексеевна. – Ну ничего... Никаких документов вам здесь и не нужно. Просто вы мне сейчас немного о себе расскажете... Как вас зовут, где вы жили. И все. И никаких документов...

Она села за стол, обмакнула перо в чернильницу и приготовилась записывать.

– Борц, – сказал увалень с маленькими медвежьими глазками. – Борц Григорий Захарович...

Он рассказал, что они жили в Житомире, что отец его работал в «Заготзерне», а теперь неизвестно, где он, а мать работает медсестрой в госпитале.

Худенького мальчика, который рассказывал про то, как сгорела школа, звали Витя Черненко. Он приехал с дядей и тетей. Родителей у него не было.

Записав все про него, Марья Алексеевна посмотрела на меня.

– А ты, – сказала она, – тоже эвакуированный?

Я кивнул.

Я не вполне был уверен, могу ли я считать себя эвакуированным. Но теперь, после того как я кивнул, мне уже неудобно было признаться, что в кармане у меня лежит новенькая, словно вчера выданная метрика и справка о том, что я успешно перешел в седьмой класс 635-й школы Свердловского района города Москвы. Сказать, что у меня есть документы, – это значило признаться в том, что у меня школа не сгорела, что я никогда не был под бомбежкой и вообще, что называется, не нюхал пороха.

– Сазонов... – сказал я хрипло. – Моя фамилия Сазонов...

И вдруг я понял, что могу сейчас сказать про себя все, что захочу, и мне поверят, и запишут в классный журнал, и так это и останется... Могу сказать, что у меня тоже нет ни папы, ни мамы. Могу сказать, что я жил не в Москве, а в Житомире, что перешел не в седьмой, а в восьмой класс. Ведь на мне это не

написано. Вот Петька Ивичев перешел в седьмой, а я сначала подумал, что он в пятом...

У меня даже дух захватило.

– Так-так, – сказала Марья Алексеевна, – Сазонов... Имя?

И тут я сказал:

– Феликс...

Марья Алексеевна, видно, не расслышала.

– Как? – переспросила она.

– Феликс, – твердо повторил я.

Парень, которого все называли «Чапай», усмехнулся, открыв ослепительно белые зубы и, приложив руку к уху, сказал громко, на весь класс:

– Как? Как? Хве... А дальше?

– Чапаев, не паясничай! – строго сказала Марья Алексеевна.

Я удивился, услышав, что она всерьез назвала этого парня с чубом Чапаевым. Я думал, это его так ребята прозвали, а оказывается, у него просто фамилия была такая – Чапаев.

У нас в Москве не всякого могли назвать этим именем. Это надо было заслужить. В каждом дворе был свой Чапай и в каждой школе тоже. Чапай – это значило самый отчаянный, самый храбрый, всеми мальчишками признанный вожак и любимец.

– Чапаев, не паясничай! – сказала Марья Алексеевна. – И не показывай свою некультурность. Замечательное имя, очень красивое. – И, заглянув в свои записи, она раздельно произнесла: – Фе-ликс...

Как только я понял, что чубатый Колян на самом деле все не Чапай, что Чапаев – это просто его фамилия, он сразу померк в моих глазах. Мне стало легко и весело.

– Меня называли так, – сказал я небрежно, – в честь Феликса Дзержинского. Мой отец работал с Дзержинским. Феликс Эдмундович умер как раз когда я родился. Поэтому мне дали такое имя – Феликс. То есть я родился через год. Но это неважно.

Я победоносно оглянулся на Кольку Чапаева и на других ребят. Но ни на кого это, кажется, не произвело особого впечатления.

Марья Алексеевна сказала:

– Как же, как же... Феликс Эдмундович Дзержинский был одним из выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства. Вот пусть нам кто-нибудь сейчас напомнит, какую важнейшую государственную комиссию возглавлял Дзержинский в первые годы советской власти.

У всех сразу стали скучные лица, как на уроке. Только Борц с видимым удовольствием встал и ответил полным ответом:

– Можно я скажу? В первые годы советской власти Феликс Эдмундович Дзержинский был председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией...

– Так-так... – сказала Марья Алексеевна, – очень хорошо. Теперь так... Кто учился во второй школе, поднимите руки...

Напряжение сразу исчезло. Все облегченно задвигались, стали хлопать крышками парт, тянуть руки прямо к носу Марьи Алексеевны, галдеть и переговариваться.

Обо мне забыли.

8

Письмо пришло утром.

Мама, как обычно, очень рано ушла в госпиталь на дежурство. Я собрался идти в школу и ушел бы, если б не Петька, который помахал мне из окна и крикнул:

– Эй, дожди меня!

Я взобрался на засыпанную снегом поленницу, подложил свой портфель и уселся там, дожидаясь, пока соберется Петька.

Во двор вышла бабушка. Увидев меня, она сказала:

– С ума сошел – на снегу сидеть? Ну-ка слезь сейчас же! Погляди лучше, вот письмо пришло, не от отца ли...

Только тогда я заметил, что в руке у нее конверт.

Конверт был без марки, с длинным прямоугольным штемпелем. Помню, первое чувство, с которым я заглянул в него, было разочарование. Сначала мне показалось, что конверт пустой. Во всяком случае, никакого письма в нем не было. Только длинненькая белая бумажка, на которой бледными лиловыми буквами было написано, что тов. Сазонов Н.П. пал смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками...

... Что я сказал бабушке, и когда пришла мама, и кто показал письмо ей, ничего этого я не помню.

Помню только, я все время старался думать, что это какая-то ошибка. Мало ли на свете Сазоновых. Отец жив, кончится война, и он приедет сюда, за нами, и мы все вместе поедem в Москву.

Но ничего у меня не получалось.

Тоскливая, ноющая боль, поселившаяся где-то внутри меня, как магнитом притягивала все мои мысли.

Начинал ли я думать о Кольке Чапаеве, который бросил школу и ушел работать на завод, или о нашем учителе литературы, смешном старике с огромным фиолетовым носом, мне сразу вспоминалось, что Кольке пришлось бросить школу, потому что отца у него взяли в армию, а новый учитель литературы пришел к нам в середине года, потому что наш любимец Георгий Алексеевич уже месяц как воевал под Москвой. Там же, где папа.

Обои на стене, газета на подоконнике, старая наша вилка, которую мы привезли с собой из Москвы, и другая вилка, со сломанным черенком, которую бабушка одолжила у соседей, – все, что ни попадалось мне на глаза, все напоминало мне о папе: папа не любил обоев, он говорил, что от них клопы; папа любил спать летом на улице, накрыв лицо газетой; папа ел этой вилкой, а этой вилкой он никогда не ел...

Тогда я стал нарочно думать о нем. О том, как до войны я ходил с ним в зоопарк или в кино. Стал вспоминать старые, давнишние наши разговоры.

Особенно отчетливо запомнился мне почему-то один такой разговор.

Это было вечером, в один из обыкновенных довоенных вечеров. Мама ходила из комнаты в кухню и из кухни в комнату, гремела посудой. Папа сидел на диване и читал газету, а я, по обыкновению, приставал к нему с расспросами о той, старой войне, в которой он когда-то участвовал.

– Пап, – спросил я, – а ты стрелял?

– Нет, сынок, не стрелял, только палочкой махал...

– Какой палочкой?

– Своей, капельмейстерской, дирижерской.

– И совсем не стрелял? Ни одного разочка?

Отец задумался и вдруг оторвался от газеты:

– Один разочек был. До сих пор вспомнить страшно...

Он встал, прошелся по комнате и опять надолго замолчал, словно забыл про меня.

– Ну! – требовательно сказал я.

И он начал рассказывать:

– Наша часть заняла Жлобин. Маленький городишко... Я остановился на квартире у врача. Квартира большая, а в ней только трое: врач, его жена и красавица-дочь...

– Ну уж, красавица... – это сказала мама.

– Я тебе говорю, Маша... Кра-са-вица! – весело сказал отец.

– Ну? – нетерпеливо сказал я.

– Ну и вот, – продолжал отец, – вечером эта красавица стала спрашивать у меня, вот совсем как ты, – сказал он мне, но посмотрел при этом почему-то на маму, – умею ли я стрелять, да заряжен ли у меня револьвер... Ну, я возьми и скажи: «Хотите, я вам покажу?» Она говорит: «Покажите!» Да... Стала у печки. Там у них в столовой такая белая кафельная печь была, большая. Стала и говорит: «Стреляйте!» И смеется... Я глянул: в барабане всего три патрона. Сейчас ударит вхолостую, а следующий выстрел уже будет настоящий. Ну, прицелился я в нее, и словно толкнул меня кто – не могу! Даже холостым не могу стрелять в живого человека... Поднял руку чуть повыше и спустил курок...

Отец замолчал и посмотрел на маму.

– Ну?! – еще раз сказал я.

– Ка-ак тут бабахнуло! От печки только осколки посыпались. Красавица стоит белая, как та печь, я весь дрожу... Оказывается, что произошло: когда на курок нажимаешь, барабан поворачивается и подает следующий патрон. А я про это забыл...

– И всё? – спросил я.

– А тебе мало? Ни за что ни про что чуть человека не убил.

– Ну-у, – сказал я разочарованно, – это не считается... А где теперь эта девушка?

Я плохо помню, что мне ответил тогда папа. Кажется, сказал:

– Ну, мало ли где теперь может быть эта девушка! Столько лет прошло...

Во всяком случае, мне тогда и в голову не пришло, что девушка, которую он чуть не убил, – моя мама.

А теперь, вспомнив этот давний разговор, я сразу посмотрел на маму. Она стояла около печки. У нас была тогда такая круглая черная печка в комнате. Мама стояла около этой печки, и лицо у нее было белое-белое. «Как та печь», – вспомнилось мне.

– Мам! – сказал я. – Помнишь, давно, до войны еще, папа рассказывал, как он нечаянно выстрелил в девушку. Это он тогда в тебя?..

Мама быстро вышла из комнаты. Я побежал за ней. Она вышла в кухню, опустилась на низенькую скамеечку, машинально зачерпнула кружкой воду из ведра и стала пить.

– Мам, – сказал я, – ну не надо...

Мама посмотрела на меня, закусив губу. «Сейчас заплачет!» – испуганно подумал я. Не знаю, почему я так боялся ее слез. Может быть, мне казалось, что если мама не плачет, значит, все еще не так плохо? Не знаю...

Я стоял перед ней, изо всех сил сжимая ее руку, и бестолково повторял одно и то же:

– Не надо, мам... Прошу тебя, ну не надо...

9

Кончался учебный год.

Я принес маме табель, в котором уже были проставлены годовые отметки. Она взяла его в руки, посмотрела и сказала:

– Ничего не понимаю... Какой Феликс?.. Борис, это твой табель?..

Я даже не сразу понял, о чем она. Так много времени прошло и столько событий случилось за это время, что я совсем забыл про свое новое имя.

В школе к нему давно уже все привыкли, перестали обращать внимание на его необычность. Толстую белобрысую верзилу с задней парты – Малю Попову – звали Амалией. Меня звали Феликсом. Мало ли бывает на свете разных имен?

Учителя обычно называли нас по фамилиям. Для них я был просто Сазонов. Только Иван Сидорович, наш новый учитель по литературе, наткнувшись в классном журнале на мое имя, сказал:

– Феликс! От-то да! Удружили родители... Сейчас такое имя редкость! А раньше, бывало, еще и не то встретишь. Ведь как бывало: сумели ублажить попа – наречет младенца как положено, даст имя человеческое. Обидели батюшку, мало поставили на крестины – он такое имечко в святцах разыщет, и не выговоришь...

Труднее всего было бы, наверное, привыкнуть к новому имени мне самому. Но мне привыкать не пришлось. Ребята с легкой руки Петьки Ивичева, который стал своим человеком у нас дома, звали меня Борей. То, что мальчика, носящего трудное и малопонятное имя Феликс, в обыденной жизни зовут Борькой, казалось им таким же естественным, как то, что всех Александров зовут Сашками или Шурками, а всех Николаев – Кольками...

Короче говоря, я и сам давно уже забыл о том, что стал Феликсом...

– Какая дикая фантазия! – сказала мама, когда я ей во всем признался. – Какая нелепая, дурацкая выдумка! И почему именно Феликс?

Мне не хотелось объяснять, почему. Да если бы и хотелось, я, наверное, не смог бы это сделать.

– Вот что, Боря, – сказала мама. – Эту глупую историю надо как-то кончать. На днях ты получишь свидетельство об окончании семи классов. Как ты себе представляешь, там тоже будет стоять какое-то чужое имя? Пойми, ведь это документ! Первый в твоей жизни настоящий, серьезный документ, который ты сам заработал. Это итог семи лет твоей жизни. И вдруг там будет написано, что ты – это не ты... Завтра же пойди и расскажи обо всем завучу!

Я молчал.

Я вдруг отчетливо увидел: фотография, два человека стоят рядом, и солнечные блики лежат на полу. На одном – шинель внакидку, у него худое изможденное лицо, острая бородка. Другой очень молод, он в кожаной куртке, в фуражке со звездой.

Фелька Кононенко сидит на столе, покусывая ноготь и обдумывая ход. «Да, – говорит он, – это отец рядом с Дзержинским... Поэтому меня и назвали Феликсом...»

Имя Феликс звучало тогда для меня почти так же, как самое главное слово на земле – «революция». А революция, думал я, – это праздник. Это солнце, сверкающее в медных трубах духового оркестра, это красные флаги...

Мне казалось, что если бы меня звали Феликсом, я бы тоже жил совсем в другом мире – в том большом, веселом и праздничном мире, в котором живут все настоящие революционеры.

Как давно это было! Каким маленьким и глупым я был тогда!

Но пойти и сказать Марье Алексеевне, что на самом деле я не Феликс, – этого я тоже не мог. Это значило отказаться от чего-то неизмеримо большего, чем имя. Тогда я не понимал, от чего. Теперь понимаю. Это было для меня все равно что перейти в другое гражданство.

– Не дури, Борька, ты уже не маленький! – сказала мама. – Завтра же пойдешь к завучу. Ну, договорились?

Я молчал.

Мама запустила пальцы мне в волосы, притянула голову к себе, посмотрела мне прямо в глаза.

– Глупый, – сказала она. – Совсем еще глупый...

10

На другой день в школе я, конечно, вспомнил бы об этом разговоре, если бы не выпускной вечер.

Наша школа была семилеткой. Если бы я кончил седьмой класс в Москве, это значило бы, что я перешел в восьмой. Только и всего. А здесь все было совсем иначе. Седьмой класс был самым старшим, последним.

Многие наши ребята вовсе не собирались учиться в восьмом классе. Некоторые уходили в техникум. Другие вообще бросали учебу.

– Работать пойдем, – говорили они, – хватит, выучились!

– А куда? – спрашивал я изумленно.

Они отвечали:

– В завод...

Отвечали так, как будто это было чем-то само собой разумеющимся.

Раньше мне и в голову не приходило, что, окончив седьмой класс, можно вообще перестать учиться в школе.

Школой измерялась вся моя жизнь. Я никогда не говорил о себе: «Это было, когда мне было одиннадцать лет». Я говорил: «Это было, когда я был в пятом классе».

Жизнь делилась на учебный год и каникулы. Каникулы означали конец учебного года и переход из одного класса в другой...

Все это было незыблемым, как порядок мироздания.

И вдруг оказалось, что этот порядок может быть изменен. Я сам могу его изменить. Стоит мне только захотеть. Захочу – пойду в восьмой класс, захочу – пойду в техникум. А захочу – вообще не буду учиться.

Так приятно было думать: «Надо решать».

В глубине души я, правда, не сомневался, что ничего решать мне не придется. Все произойдет само собой и так или иначе кончится тем, что я пойду в восьмой класс: бросить школу и мама не позволит, и вообще... Нет, я не собирался воспользоваться внезапно открывшейся мне возможностью. Но меня волновало, что такая возможность есть. Все-таки я не просто перешел из класса в класс – я кончил школу! Через три дня состоится выпускной вечер. Марья Алексеевна даже обещала, что у нас на вечере, возможно, будет ситро. Почти довоенная роскошь! Но даже если б не ситро, одних этих слов – «выпускной вечер» – было достаточно, чтобы я забыл обо всем на свете.

Неудивительно, что я не сразу вспомнил про свой неприятный разговор с мамой.

А тут еще прошел слух, что Марья Алексеевна запретила устраивать на выпускном вечере танцы. Нам, мальчишкам, конечно, было плевать на это. Но девчонки подняли страшный визг. Они требовали, чтобы классный организатор пошел к завучу и спросил, почему нельзя, чтобы были танцы!

Классным организатором у нас был Борц.

В Москве я привык к тому, что звание это не дает избранному никаких прав и не накладывает на него решительно никаких обязанностей. У нас обычно классным организатором

выбирали самую тихую девочку, отличницу. Аккуратным, красивым почерком она составляла списки отсутствующих на уроке, и к этому, пожалуй, сводилась вся ее деятельность.

Когда на собрании в классные организаторы выдвинули Борца, я подумал, что он откажется. По моим понятиям, этого требовали приличия. Но Борц был откровенно рад и даже не пытался этого скрыть. Польщенно улыбаясь, он сказал:

– Ладно... Только, чур, слушаться!..

Его слушались. «Борц велел» – это было законом. Зато и он всегда был заодно с классом, даже если рисковал получить за это нагоняй.

Но тут Борц вдруг заупрямился. Идти к завучу и спрашивать, будут ли на нашем вечере танцы, он не хотел ни под каким видом.

– Хучь будут, хучь нет, – твердил он, – не пойду!

Но девочки не успокаивались. Они сначала орали, потом стали умолять Борца, а когда и это не помогло, у них у всех стали такие жалкие, несчастные лица, что я не выдержал.

– Ну вас к черту! – сказал я. – Я пойду!

В учительской было тихо и непривычно пусто. На диване сидел Иван Сидорович и с сердитым, обиженным лицом читал газету. Он даже не поднял головы, когда я вошел, и пока я раздумывал, нужно ли поздороваться с ним или лучше незаметно пройти мимо, из соседней комнаты донесся голос, от которого я вздрогнул.

– Я понимаю, что эта глупость доставит вам много забот, но что ж поделаешь... – услышал я.

Никаких сомнений: это был голос моей мамы.

Я стал за шкаф с учебными пособиями, чтобы Иван Сидорович не мог меня увидеть, и прислушался. Говорили обо мне.

– Мало ли что может случиться, – сказала мама, – госпиталь могут неожиданно перевести в другой город, и тогда в восьмом классе Боре придется учиться уже не здесь...

– Ну конечно, – сказала Марья Алексеевна, – я и представить себе не могла... Разве можно угадать все, что они в состоянии выдумать! Он такой серьезный...

К Ивану Сидоровичу, видимо, кто-то подсел, потому что он вдруг громко сказал:

– От бисова душа!

И стал ругать Черчилля за то, что он долго не открывает второй фронт. Из-за Черчилля я прослушал, что говорила обо мне маме Марья Алексеевна.

Иван Сидорович ненадолго замолчал, и я услышал, как мама сказала:

– После разговора с ним я поняла, что он сам ни за что этого не сделает. Мальчишки в этом возрасте так самолюбивы!

– Да, – сказала Марья Алексеевна, – переходный возраст самый трудный.

Тут Иван Сидорович снова стал объяснять кому-то, что англичане всегда любили загребать жар чужими руками. Когда он замолчал, мама и Марья Алексеевна говорили уже о каких-то совершенно неинтересных и не касающихся меня вещах: об умении управлять своей фантазией, о сдерживающих центрах и еще какую-то ерунду о переходном возрасте.

Все это они говорили уже в дверях кабинета Марьи Алексеевны, буквально в двух шагах от меня. Я видел, как мама близоруко щурится. Потом она протянула Марье Алексеевне руку и улыбнулась, и сразу стало видно, что у нее сбоку не хватает двух зубов.

Когда она улыбнулась, острое чувство жалости к ней вдруг пронзило меня.

Раньше я бы сгорел со стыда от одной только мысли, что мама может прийти в школу и разговаривать обо мне, как о маленьком. Я не мог бы после этого посмотреть Марье Алексеевне в глаза.

А теперь – странное дело! – мне было решительно все равно, что подумает обо мне Марья Алексеевна и вообще кто бы то ни было.

«Не пойду я в восьмой класс, – вдруг твердо решил я. – И в техникум не пойду. Пойду работать на завод, как Колька Чапаев, как другие ребята. Получу зарплату и дам маме, и пусть она себе вставит золотые зубы...»

Через три дня, на выпускном вечере нашего класса, Марья Алексеевна вручала нам свидетельства об окончании школы.

Все было очень торжественно. На сцене нашего маленького школьного зала сидели все учителя, директор школы и еще какие-то незнакомые нам люди. Марья Алексеевна, улыбающаяся, в новом нарядном платье, называла имя и фамилию. Тот, кого выкликали, поднимался на сцену. Его поздравляли, говорили ему разные торжественные слова и давали свидетельство.

– Борц Григорий! – громко выкрикнула Марья Алексеевна.

Борц, красный от смущения, встал и подошел к столу. Марья Алексеевна стала что-то говорить ему, радостно улыбаясь.

Я представил себе, как дойдет очередь до меня и она так же громко, на весь зал, крикнет:

«Сазонов Борис!»

И, радостно улыбаясь, объявит:

«Вы думали, Сазонова зовут Феликс? Я тоже так думала! Но недавно выяснилось, что Сазонов нас обманул. Оказывается, все это была его фантазия...»

«Ну и пусть!» – подумал я и приготовился к самому худшему. И все-таки, когда очередь дошла до меня, сердце у меня ёкнуло.

– Сазонов Борис! – сказала Марья Алексеевна.

«Сейчас начнется! – пронеслось у меня в голове. – Сейчас все так и вытаращат глаза. Почему Борис? Какой такой Борис?»

Держа свидетельство в обеих руках, с напряженным, застывшим лицом, ни на кого не глядя, я прошел в самый конец зала и плюхнулся на стул рядом с Борцем.

– Дай помазать! – сказал Борц и потрогал мое свидетельство пальцем.

– Знаешь что!... – зло сказал я. И вдруг осекся.

Я ждал насмешек. Самые безобидные слова в тот момент я принял бы за издевку. Но у Борца было такое бесхитрое и простодушное лицо, что я вдруг сразу поверил, что в словах его нет ничего, кроме простого любопытства.

Я поднял голову и поглядел на ребят.

Одни слушали, что говорила в этот момент Марья Алексеевна, другие, как мы с Борцем, бережно разглядывали только что полученные новенькие свидетельства.

Никто ничего не заметил.

Феликс Сазонов перестал существовать. Он пропал, растаял, рассыпался, растворился в воздухе. И никто этого не заметил.

Я был так поглощен случившимся, что не сразу понял, почему все вдруг встали и гурьбой двинулись в учительскую. Марья Алексеевна тоже не сразу это поняла. Она оборвала на середине длинную, торжественную фразу и уже не радостным, а обычным учительским голосом громко спросила:

– Что? В чем дело?

Все вразнобой закричали:

– Сообщение... Важное сообщение...

Только тут я сообразил: радио! Кто-то услышал позывные! Сейчас по радио передадут важное сообщение.

Когда я добежал до учительской, туда уже было не пробиться. Сзади меня, запыхавшись, шла Марья Алексеевна. Она осталась стоять в дверях, а я с трудом протиснулся внутрь. Борц, увидев, что я пытаюсь пробраться вперед и не могу, раздвинул толпу ребят, взял меня за плечи и поставил перед собой, прямо напротив нашего старенького школьного репродуктора. Его ручищи так и остались у меня на печках. Стоять было неудобно и жарко, но я бы ни за что не согласился, чтобы Борц убрал руки. Мне казалось, что он нарочно положил руки мне на плечи, чтобы показать, что считает меня товарищем, своим парнем.

Вот в последний раз прозвенели позывные, и знакомый голос Левитана сказал:

– От Советского Информбюро...

Я представил себе, как сейчас этот торжественный и печальный голос скажет: «После продолжительных, ожесточенных боев наши войска оставили город...»

Наверное, не я один так подумал. Мы все привыкли к этой фразе. Она почти не менялась. Менялись названия городов. В тот день на очереди был Воронеж.

Но тут голос Левитана внезапно утратил свой торжественно-печальный тон. Спокойно, как будто в этом не было ничего особенного, он сказал:

– Налет советских самолетов на Кенигсберг. На днях большая группа наших самолетов в сложных метеорологических условиях бомбардировала военно-промышленные объекты города Кенигсберга в Восточной Пруссии. В результате бомбардировки в городе возникло тридцать восемь очагов пожара, из них семнадцать пожаров в центре города...

Я осторожно оглянулся.

На всех лицах застыло одно выражение. Это было и напряженное внимание, и удивление, и робкая, недоверчивая радость, смесь радости и страха, что радость может оказаться преждевременной.

Я подумал, что и у меня сейчас, наверное, точь-в-точь такое же лицо.

– Четырнадцать пожаров, возникшие на юго-западной окраине города, – гремел голос Левитана, – сопровождалась десятью взрывами. Семь очагов пожара и три сильных взрыва возникло на северо-западной окраине города...

Я вдруг вспомнил, как в самом начале войны прошел слух, что наши взяли Кенигсберг. Я не сомневался тогда, что это правда. Неужели это было так недавно? И неужели тогда уже была война? Не может быть! Это было тыщу лет назад, еще в той, прежней, довоенной жизни...

Теперь все было другое. Немцы были в Киеве, в Крыму и на Кавказе. Они были в той маленькой волжской деревушке, в которой мы с мамой жили, когда началась война.

И вот наши бомбят Кенигсберг! Это казалось чудом. Если бы я не слышал это только что сам по радио, ни за что бы не поверил!

– Все наши самолеты вернулись на свои базы, – сказал Левитан.

Передача важного сообщения была окончена.

Мы стояли и молчали.

УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ

О Ленине мы узнавали от Сталина, о Марксе мы узнавали от Ленина и Сталина, о Дюринге мы узнавали из «Анти-Дюринга».

Эрнст Неизвестный

1

Борька Сазонов – это, конечно, я. (Недаром даже инициалы – первые буквы его имени и фамилии – совпадают с моими). И в то же время это – не совсем я. (Я ведь не зря предупреждал, что заменить не написанные мною главы воспоминаний о моем детстве эти два рассказа не смогут.)

Дело это в литературе самое обыкновенное. Можно даже сказать, что это – правило, не знающее никаких исключений. Литературный персонаж никогда не бывает тождествен своему прототипу. Даже Николенька Иртенъев – герой «Детства и отрочества» Л.Н. Толстого – это не совсем Толстой. А ведь во всей мировой литературе, я думаю, днем с огнем не сыщешь второго такого беспощадного самоаналитика, как Лев Николаевич.

Угол отклонения, неизбежно возникающий даже в самых правдивых автобиографических книгах, может быть не слишком велик. Но может достигь и девяноста градусов, а в иных случаях даже приблизиться и к ста восьмидесяти.

Вот, например, на всю жизнь врезавшаяся мне в память сцена из знаменитого романа Валентина Катаева «Белеет парус одинокий» (кстати, одной из любимейших книг моего детства):

... Из толпы выбежала большая, усатая, накрест перевязанная двумя платками женщина с багрово-синими щеками... Она широко, по-мужски, расставила толстые ноги в белых войлочных чулках и погрозила дому кулаком.

— А, жидовские морды! — закричала она пронзительным, привóзным голосом. — Попрятались? Ничего, мы вас сейчас найдем!..

Где-то внизу бацнул в стекло первый камень. И тогда шквал обрушился на дом. На тротуар полетели стекла. Загремело листовое железо сорванной вывески. Раздался треск разбиваемых дверей и ящиков...

На лестнице слышался гулкий, грубый шум голосов и сапог, десятикратно усиленный в коробке парадного хода. Отец трясущимися пальцами, но необыкновенно быстро, застегнулся на все пуговицы и бросился к двери...

— Папочка! — закричал Петя и бросился за отцом.

Прямой и легкий, с остановившимся лицом, в черном сюртуке, отец, гремя манжетами, быстро бежал вниз по лестнице.

Навстречу ему, широко расставляя ноги, тяжело лезла женщина в белых войлочных чулках. Ее рука в нитяных перчатках с отрезанными пальцами крепко держала увесистый голыш... За ней поднимались потные молодцы в синих суконных картузах чернобакалейщиков.

— Милостивые государи! — неуместно выкрикнул отец высокоименным фальцетом, и шея его густо побагровела. — Кто дал вам право врывать в чужие дома?.. Я не позволю!..

Женщина переложила камень из правой руки в левую и, не глядя на отца, дала ему изо всех сил кулаком в ухо.

Отец покачнулся, но ему не позволили упасть: чья-то красная веснушчатая рука взяла его за шелковый лацкан сюртука и рванула вперед. Старое сукно затрещало и полезло.

— Не бейте его, это наш папа! — не своим голосом закричал Петя, обливаясь слезами. — Вы не имеете права! Дураки!..

Петя видел сочащуюся царापину на носу отца. Видел его близорукие глаза, полные слез, — пенсне сбили, его растрепанные семинарские волосы, развалившиеся надвое.

Невыносимая боль охватила сердце мальчика. В эту минуту он готов был умереть, лишь бы папу больше не смели трогать.

– У, зверь! Скоты! Животные! – сквозь зубы стонал отец, пятась от погромщиков...

Маленький Петя Бачей – это, конечно, не кто иной, как сам автор романа. (Бачей – девичья фамилия матери Валентина Петровича Катаева.) И есть все основания предполагать, что сцена эта – не выдумана, что в ней отразились подлинные детские впечатления маленького Вали Катаева, оказавшегося свидетелем разразившегося тогда в Одессе еврейского погрома. Быть может, и чувства, охватившие сердце маленького Пети, – боль и негодование, ужас и гадливая ненависть к погромщикам – тоже не были вымышленными, сочиненными. Может быть, в душе писателя, создававшего эту сцену, на миг ожило, всколыхнулось все, что он на самом деле чувствовал тогда, в 1905-м...

Но несколькими годами позже (19 ноября 1911 года) тот же Валя Катаев, которому было тогда четырнадцать лет, опубликовал на страницах «Одесского вестника» – органа Одесского губернского Союза русского народа – такое стихотворение:

И племя Иуды не дремлет,
Шатает основы твои,
Народному стону не внимлет
И чтит лишь законы свои.
Так что ж! Неужели же силы,
Чтоб снять этот тягостный гнет,
Чтоб сгинули все юдофилы,
Россия в себе не найдет?

А спустя два года (27 января 1913 года) на страницах того же «Одесского вестника» – еще и такое:

ПРИВЕТ СОЮЗУ РУССКОГО НАРОДА
В ДЕНЬ СЕМИЛЕТИЯ ЕГО

Привет тебе, привет,
Привет, Союз родимый.
Ты твердою рукой
Поток неударжимый,

Поток народных смут
Сдержал. И тяжкий путь
Готовила судьба
Сынам твоим бесстрашным,
Но твердо ты стоял
Пред натиском ужасным,
Храня в душе священный идеал...
Взошла для нас заря.
Колени преклоняя
И в любящей душе
Молитву сотворяя:
Храни, Господь, Россию и царя.

Видит Бог, я припомнил тут эти два стихотвореньца Валентина Катаева, обозначившие самые первые его шаги на литературном поприще, совсем не для того, чтобы уличить автора романа «Белеет парус одинокий» в лицемерии и лжи.

Не сомневаюсь, что воссоздавая (вспоминая, а может быть, и воображая) в 1936 году картину погрома, разразившегося в Одессе тридцать лет назад, в дни его детства, он был искренен. А что касается его стихов, напечатанных в «Одесском вестнике», то они как раз вряд ли были такими уж искренними. Скорее были подсказаны политической конъюнктурой «дело Бейлиса» и, разумеется, страстным желанием – любой ценой! – напечататься, увидеть свое имя на страницах настоящей (все равно – какой) газеты.

Так-то оно так.

Но стишки эти, я думаю, в какой-то мере все-таки отражают атмосферу, царящую в семье юного поэта. Во всяком случае, прочитав их, трудно поверить в достоверность такого, например, ночного разговора, который ведут отец и тетка маленького Пети Бачея:

– Боже мой, Боже мой, страшно подумать, до чего дошла несчастная Россия! Бездарные генералы, бездарные министры, бездарный царь...

– Ради бога, Татьяна Ивановна. Услышат дети!

– И прекрасно, если услышат. Пусть знают, в какой стране они живут. Потом нам же скажут спасибо. Пусть знают, что у

них царь – дурак и пьяница, кроме того, еще и битый бамбуковой палкой по голове. Выродок! А лучшие люди страны, самые честные, самые образованные, самые умные, гниют по тюрьмам, по каторгам...

Легко представить себе, как реагировали бы люди, ведущие по ночам такие разговоры, доведись им прочесть на страницах черносотенного листка приведенные выше стихи их любимого сына и племянника. Да и самому сыну **такого** отца и племяннику **такой** тетки вряд ли пришло бы в голову посылать в откровенно черносотенную газету откровенно черносотенные стихи, пусть даже и сочиненные из чисто конъюнктурных соображений.

Как ни крути, а угол отклонения тут виден ясно. При желании его можно даже довольно точно вычислить, измерить. Поскольку выражается он не только в эпизодах, которые можно толковать и так и эдак, но и в некоторых вполне конкретных подробностях, деталях, в чисто анкетных обстоятельствах и фактах, в которых «вилка» между биографической реальностью прототипа и его художественным отражением может быть установлена с абсолютной, математической точностью.

В повести «Белеет парус одинокий» отец Пети Бачея («либеральный господин», как называет его учитель закона Божьего в Петиной гимназии) – «преподаватель ремесленных училищ из школы десятников». А из другой – тоже автобиографической – книги Валентина Катаева («Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона»), увидевшей свет тридцать шесть лет спустя после появления романа «Белеет парус одинокий», мы узнаем, что отец маленького Вали Катаева вовсе не был преподавателем ремесленного училища. А был он, как там сказано, учителем в епархиальном училище, а по совместительству – в юнкерском.

Тут дело не только в том, что упоминание об этой – в общем-то, вполне невинной – подробности в романе «Белеет парус одинокий» было по тем временам нежелательно. Но назвав Петиного отца преподавателем епархиального – или юнкерского – училища, Катаев не только не укрепил бы, но даже слегка разрушил бы создаваемый им образ «либерального господи-

на», чуждого и даже враждебного касте чиновников в крахмальных манишках и синих мундирах с орденами и золотыми пуговицами. А превратив своего отца в преподавателя ремесленного училища, он как бы даже приблизил его к пролетариату.

Еще более существенная метаморфоза произошла с дедом Валентина Катаева – отцом его матери. В романе «Белеет парус одинокий» мальчик просит бабушку прислать ему мундир покойного ее мужа (его прельщают пуговицы с орлами, которые должны красоваться на том мундире): «Ведь покойный-то дедушка, мамин папа, был майор!»

Из книги «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» мы узнали, что дед Валентина Петровича – «мамин папа – Иван Елисеевич Бачей» был не майором, а **генералом**. В 1972 году об этом не только можно было упоминать, этим можно было уже даже гордиться.

Повторю еще раз: все это я вспомнил совсем не для того, чтобы разоблачить, «вывести на чистую воду» писателя Валентина Катаева. Этот **угол отклонения** – явление в литературе самое обычное. И даже неизбежное.

Литературоведов, стремящихся с точностью до самого малого градуса вычислить величину такого угла, часто попрекают. Говорят, что занятие это (лезть в чужие тайны, копаться в чужом белье) не совсем приличное. А главное – совершенно зряшное. Вот, мол, перед вами текст, его и изучайте. В тексте есть все, остальное – от лукавого.

На самом деле, однако, стремление понять, в какую сторону, как далеко, а главное, с какой целью, с каким тайным умыслом отклонился автор от реальности, создавая свое автобиографическое или лирическое полотно, далеко не бессмысленно. Вычислив этот самый угол отклонения, сплошь и рядом можно проникнуть в такие глубины художественного текста, до которых иным способом, пожалуй, и не добраться.

Все это можно было бы показать на примере того же Катаева. (А можно, скажем, и на примере «Записок из мертвого дома» Ф.М. Достоевского.)

Но я пишу не о Катаеве и не о Достоевском, а о себе.

Когда мне пришло в голову включить в эту книгу те давние мои два рассказа, более всего меня тут привлекала – теперь в этом уже можно признаться – возможность определить, вычислить вот этот самый угол отклонения. Понять и увидеть разницу между моим Борькой Сазоновым и мною – тем мною, каким я тогда был.

Но сделать это я хотел совсем не для того, для чего это делают литературоведы, а с другой, скорее даже с противоположной целью.

Для литературоведа в этом случае, как я уже сказал, важна открывающаяся перед ним возможность лучше понять текст. Для меня же тут главное – вспомнить, понять, **вытащить из себя все, что осталось за пределами текста.**

2

«Каждый день, – почему-то написалось у меня в первом рассказе, – вернувшись из школы и пообедав, я должен был брать ноты и идти к нашим соседям Волковым, у которых стоял рояль...»

На самом деле, чтобы отрабатывать мою ежедневную музыкальную каторгу, ни к каким соседям мне ходить было не надо: у нас было свое пианино.

Когда мой рассказ был напечатан и я дал его прочесть отцу, тот, помню, был очень удивлен и, кажется, даже обижен этой дурацкой, по его мнению, выдумкой. Тот факт, что у нас было свое пианино – и не какой-нибудь там «Красный Октябрь», а «Бекштейн», – был предметом величайшей его гордости. И он никак не мог взять в толк, почему обладания «Бекштейном» надо было стыдиться.

Другое отклонение от реальности тогдашнего нашего бытия его, однако, не удивило. Во всяком случае, не вызвало у него никаких возражений. А состояло это отклонение в том, что если бы моя мама звонила с работы по телефону, чтобы справиться, прошел ли час, как я сел за пианино, то справлялась бы она об этом не у старушки-соседки, а у нашей домработницы Наташи. Но и у Наташи ей справляться об этом было не нужно, потому что, в отличие от матери моего героя, моя ма-

ма нигде не работала. Так было не всегда – в разные годы это бывало по-разному, но в описываемое мною время она числилась, как это тогда называлось, домашней хозяйкой.

Какими соображениями я руководствовался, заменив домработницу соседкой и определив нигде в то время не служившую маму на службу, объяснять не надо. Собственно, никаких соображений на этот счет у меня не было: как и все остальное, это **написалось само**. Но почему написалось именно так, а не иначе, понять нетрудно. У большинства моих сверстников не было никаких домработниц (равно как и «Бекштейнов»), и матери у них у всех по утрам убегали на работу, так что им самим приходилось разогревать оставленный для них обед или, если им заниматься этим было лень, есть его холодным.

Видимо, сочиняя свой рассказ, я ощущал себя – того себя, каким на самом деле был, – белой вороной и инстинктивно стремился к тому, чтобы мой герой был «как все», не слишком выделялся из общей массы.

И мой отец по этому поводу не высказал никакого недоумения, видимо, потому что в глубине души понимал, что тут уж ничего не поделаешь – **так надо**.

Еще одна, совсем смешная подробность вспомнилась мне сейчас, когда я перечитывал этот свой старый рассказ.

Папа-Полоцк, упомянутый там мною, – лицо вполне реальное. Был он, правда, не администратором в «Востоккино», а какой-то шишкой в каком-то важном советском учреждении. Но вспомнил я сейчас о нем совсем по другой причине.

Этот Папа-Полоцк был постоянной мишенью для всевозможных наших шуток, как правило, довольно дурацких. Одну из них я хорошо помню, потому что она была не одноразовой, а постоянной. Знаменитую тогдашнюю песню «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет...» мы переделали на свой лад и пели ее так:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И Папа-Полоцк в бой нас поведет.

В рассказ эта глумливая песенка не вошла, хотя, казалось бы, там ей было самое место.

Можно, конечно, объяснить это тем, что автор просто испугался, что тень глумления, нацеленного на несчастного Папу-Полоцка, каким-то краем ляжет и на священное имя вождя. Но в то время, когда сочинялся этот рассказ, имя Сталина уже не было священным. Да и вычеркнуть эту пустяковую деталь, если бы редактору она показалась сомнительной, никогда было бы не поздно.

Оказалась бы она вычеркнутой, изъятой, – все было бы просто и понятно. Но вся штука в том, что она сама, самым естественным образом в тот рассказ почему-то не вписалась.

Тогда мне и в голову не пришло бы задуматься, почему. Сейчас я это понимаю.

Тимур Гайдар в своей книге об отце («Голиков Аркадий из Арзамаса. Документы. Воспоминания. Размышления») поделился таким своим наблюдением:

Не сразу заметил я, а когда заметил, то бросился проверять и убедился, что ни в одном из произведений Аркадия Гайдара не упомянут Сталин. Да что там повести и рассказы! Вы не встретите это имя ни в одном его очерке, ни в одной корреспонденции, ни в одном из публичных выступлений, ни в одном из личных писем ни в двадцатых годах, ни в тридцатых, ни когда получал орден и благодарил, ни в очерках с фронта в сорок первом...

Суть этого замечания далеко не исчерпывается констатацией того очевидного факта, что Гайдар, в отличие от многих своих современников, не оскоромился, сумел уберечь себя от неизбежного в те годы прославления кровавого диктатора.

В связи с этим своим наблюдением Тимур вспоминает знаменитый диалог Наполеона с Лапласом. Император спросил астронома, какую роль тот отводит в своей космогонической теории Господу Богу.

Лаплас ответил: «Моя концепция в идее Бога не нуждается».

Вот точно так же, замечает по этому поводу Тимур, и мир, созданный писателем Аркадием Гайдаром, не нуждался в Сталине.

Я бы выразился даже резче. Мир Гайдара, его «концепция вселенной» не просто не нуждалась в Сталине: в этом мире, в этой «Стране Гайдара», как я назвал ее однажды (и не раз еще буду называть), **Сталину не было места.**

Вот такой же, очищенный от скверны, тщательно профильтрованный мир, очевидно, жил и во мне, когда вылуплялся, выкристаллизовывался в моем сознании (или подсознании?) тот мой рассказ.

Еще в большей мере это относится ко второму рассказу – к «Трудной весне». Не потому даже, что угол отклонения там больше, чем в первом. Не величина, а сам характер этого отклонения дает гораздо больше пищи для размышлений.

3

Мама и в самом деле в войну – в эвакуации – работала в госпитале. По специальности она была стоматологом, а война вынудила ее стать хирургом. Челюстные ранения, которыми она занималась, требовали особого, изощренного мастерства, и врачебная квалификация ее за эти военные годы сильно выросла. Ей действительно не раз предлагали аттестоваться. Согласившись, она сразу стала бы получать офицерский паек, что было в те времена немислимым благом. Но она всякий раз как-то отбивалась от этих предложений. Тогда я не догадывался, почему. Потом это выяснилось: став «военнообязанной», она должна была бы следовать за госпиталем во всех его перемещениях, и могло выйти так, что ей пришлось бы расстаться с «ребенком». «Ребенку», когда это предложение было ей сделано в последний раз, было уже близко к шестнадцати, и он вот-вот и сам должен был стать военнообязанным. Но о том, чтобы расстаться со мной, мать не могла и помыслить. На все уговоры отвечала отказом, и так до конца своей работы в госпитале и оставалась вольнонаемной.

Еще хуже обстояло дело с моим отцом.

Его поведение совсем уже не умещалось в том дистиллиро-

ванном, очищенном от всякой скверны мире, в котором разворачивалось действие второго моего рассказа.

Больше чем за год до начала войны – в феврале 1940-го – ему перевалило за пятьдесят, то есть военнообязанным он уже не был. Но некоторые его сверстники в то время уходили – кто в ополчение, кто – на рытье окопов. А он – метался, что ни день принимал какое-нибудь новое решение, а наутро от него отказывался, потому что не в силах был отлепиться от семьи – жены и все того же «ребенка». Окончательное решение наконец было принято: жена и ребенок отправлялись в эвакуацию, куда-то на Урал, а он оставался в Москве. На постоянные наши вопросы: «А как же ты?», «А что же будет с тобой?» – он отвечал: «Там видно будет».

И вот настал день и час нашего отъезда.

Погрузив нас в теплушку и дождавшись отправления неимоверно длинного состава, отец, уже совсем закончив процедуру прощания, шел за поездом, медленно набиравшим скорость, и выкрикивал какие-то последние напутствия. И вдруг – в самый последний момент – махнув рукой, на довольно уже быстром ходу вскочил в вагон и решительно объявил нам, что едет с нами.

Сперва, кажется, речь шла о том, что он сойдет на первой же остановке. Потом – что доедет с нами до Казани. Потом – что проводит нас до Свердловска, поможет устроиться и только после этого вернется обратно, в Москву.

Но ни из Казани, ни из Свердловска, ни из Серова, куда нас отправили, когда выяснилось, что Свердловск набит беженцами до отказа, он так в Москву и не вернулся. Остался с нами.

В Серове, где мы наконец осели, он устроился на работу в тот же госпиталь, в котором работала мать. Но работа матери, хоть и была она вольнонаемной, была безусловно нужна, даже необходима. Занятия же отца были какие-то странные. Похоже было, что он даже сам их выдумал и каким-то чудом ухитрился убедить госпитальное начальство в их нужности. Состояли эти его занятия в том, что он устраивал для раненых бойцов концерты, какие-то самодеятельные спектакли, в которых сам, вовсе не будучи актером, играл главные роли. В концертах он тоже выступал, как правило, совсем не в той роли, в ка-

кой был профессионалом. (Скрипку раненые слушали не очень охотно, гораздо больше им был по душе баян.) Он охотно брал на себя роль конференсье, читал какие-то юмористические рассказы, играл в коротеньких скетчах и водевилях, которые сам же и ставил...

Ну сами посудите, мог ли я вставить в свой рассказ **такого отца?**

Ведь как и в первом моем рассказе, здесь я тоже инстинктивно стремился к тому, чтобы мой герой был – **как все**. А у всех моих сверстников – во всяком случае, почти у всех – отцы тогда были на фронте...

Это отклонение от автобиографической правды, конечно, пустяком уже не было. Но оно не противоречило логике и правде жизни. Скорее наоборот: оно как раз и было продиктовано (так, во всяком случае, мне тогда казалось) логикой и правдой жизни.

Но главное отклонение от того, что было на самом деле, – то, на котором, собственно, и держался, строился весь рассказ, – было уже совсем иного свойства.

4

В школу я тогда действительно – впервые в жизни – записался сам. И все это было в точности так, как об этом написано в рассказе. И действительно – тоже как в рассказе – по какому-то внезапному озарению объявил там, что меня зовут Феликсом. И целый год откликался на это – не свое, придуманное – имя.

Но причина этого – и в самом деле довольно странного – поступка была совсем иная. Она была проще, но в то же время и сложнее той, которая толкнула на это моего героя.

Чуть ли не с самого раннего детства мне дико ~~не~~ нравилось мое имя. Не нравилось по очень простой причине: оно было необычное. У всех имена были – как имена. И только у меня одного – не имя, а черт знает что такое. Еще до войны, в шестом, кажется, классе, на уроке истории (мы проходили тогда историю Средних веков) выяснилось, что был там у них какой-

то римский папа по имени Бенедикт. Известие это вызвало в классе бурное веселье – все оборачивались в мою сторону, тыкали в меня пальцами, хохотали.

Но это, в конце концов, еще можно было стерпеть. В этом даже была своя привлекательная сторона: я вдруг – хоть и ненадолго – стал центром всеобщего внимания.

Хуже было с моим уменьшительным именем.

Все вокруг были Женьками, Вальками, Гришками, Петьками, Саньками, Кольками, Васьками. Мое же уменьшительное имя звучало бы совершенно ужасно: «Беня». Такое имя, как выражался – правда, совсем по другим поводам – один мой знакомый, просто противно было взять в рот. А уж слышать его обращенным к себе – это было совсем невыносимо.

К счастью, этим именем меня никто никогда не звал.

В школе мои сверстники окликали меня моим домашним, тоже довольно причудливым именем – Биля. По рассказу родителей, я сам так окрестил себя, когда еще не умел разговаривать: однажды, проходя мимо зеркала и глянув на свое отражение, выговорил что-то похожее. С тех пор и пошло: Биля, Билька...

В московской моей школе к этому моему странному имени давно все привыкли. Но здесь, в новой, чужой школе, в этом новом, чужом городе произнести это дурацкое имя? Нет! Это было невозможно!

Но почему, скрыв свое настоящее имя, я решил назваться именно Феликсом?

Тут – целая история.

Маму мою звали Мария Филипповна. (Соседка – тетя Варя – звала ее «Филипьевна».) Не только мама, но и все мамины сестры, тетки мои, были Филипповны, и единственный мамин брат был тоже Филиппович.

Но деда моего – их отца – на самом деле звали не Филиппом. У него было другое, еврейское имя: Фишель.

Дед умер рано – я его не помню. Но помню, что смерть его от мамы долго скрывали. И помню тот день, когда ей об этом сказали: помню вдруг помертвевшее, перевернутое ее лицо.

По какому-то еврейскому суеверию (а может, и не суеве-

рию, а суровому религиозному закону), когда умирает близкий человек, надо – по возможности как можно скорее – дать его имя только что родившемуся младенцу. Чтобы жизнь покинувшего сей мир продолжалась в новой, только что народившейся жизни. (Кстати, и меня назвали Бенедиктом, потому что незадолго до моего рождения трагически погиб любимый мамин дядя, младший брат ее отца.)

Но когда умер дед, как на грех, ни у кого в большой маминной семье никто не родился и никакого пополнения семейства в ближайшее время не предвиделось.

Мама очень сокрушалась по этому поводу. Особенно мне запомнились постоянные ее разговоры, в которых фигурировал неродившийся мой младший брат, которого – если бы он родился – она в память деда назвала бы Феликсом. Почему именно Феликсом? Ей-богу, не знаю. Твердо могу сказать только одно: Феликс Дзержинский тут был решительно ни при чем. От имени деда важно было сохранить хотя бы первую букву, а имя Феликс, наверно, нравилось ей больше, чем Филипп или, скажем, Федор.

Когда дед умер, мне было лет пять, не больше. Но с годами разговоры на эту тему не только не утихали, а даже усиливались. Чем больше времени проходило, тем больше было у матери оснований сокрушаться: вот, мол, уже сколько лет прошло со дня смерти ее отца, а замены ему на этой земле все нет и не предвидится.

Забегая вперед, могу сказать, что замены этой ей пришлось ждать еще долго. Лишь двадцать лет спустя после смерти деда, когда родился мой сын, мы с женой назвали его Феликсом. Не потому, что нас так уж волновали эти еврейские суеверия: дело объяснялось много проще.

Когда я робко намекнул отцу о своих матримониальных намерениях, он рассказал мне такую байку. К еврею-портному приходит сын и говорит: «Папа, я хочу жениться». Портной (он в это время занят тем, что кроит какой-то там лапсердак) мелом рисует на сукне подобие женской фигуры и говорит: «Вот твоя жена. На что вы будете жить? И где?» Не дождав-шись от сына более или менее вразумительного ответа, он тщательно стирает рукавом нарисованную фигуру. Все. Вопрос исчерпан. Нет больше никакой жены.

Как и сын того мифического портного, я хорошо понял смысл этой притчи. А посему, когда мы с моей будущей женой, несмотря на то что жить нам было негде и не на что, все-таки решили расписаться, сделали это тайно от родителей. Узнали они об этом лишь полгода спустя, когда деваться нам было уже некуда.

Этот наш тайный брак оскорбил их до глубины души. Честно говоря, мы даже и не предполагали, что их обида будет так глубока. Как персонаж знаменитого рассказа Зоценко, думали: «А-а, ерунда!» Но оказалось, что для них это – совсем не ерунда. И вот, чтобы хоть как-то загладить перед ними эту не прощенную нашу вину, мы и назвали сына Феликсом.

Но если быть уж совсем честным, я решил назвать его так еще и в память о той давней, детской моей причуде, о том коротком – и в то же время таком долгим – годе, когда я сам – на время – стал Феликсом. И тут – опять-таки, если уж быть совсем-совсем честным, – я должен признаться, что версия, которой я объяснил в рассказе тайные пружины этого моего странного поступка, тоже не была высосана мною из пальца.

5

Перефразируя знаменитую реплику Антуана де Сент-Экзюпери – «Я родом из страны моего детства», – я мог бы сказать о себе: «Я родом из Страны Гайдара».

Я родился в Москве, 4 января 1927 года, то есть спустя всего десять лет после революции: по нынешним моим понятиям срок совершенно ничтожный. А во времена моего детства до-революционная жизнь казалась мне такой же чужой и далекой, как какие-нибудь Пунические войны, о которых нам рассказывали на уроках истории.

Как я уже говорил, я рос домашним, книжным мальчиком. Жизнь московского двора, в котором протекало мое детство, мало меня задевала. Истинная моя жизнь проходила в СТРАНЕ ГАЙДАРА.

Я жил в той стране, дышал ее воздухом, когда он еще не рассеялся, когда эта страна еще не успела стать планетой без ат-

мосферы. И хотя я назвал эту страну именем создавшего ее писателя, как бы намекая тем самым на то, что в действительности такой страны не существовало, на самом деле она – была. Во всяком случае, – это уж не подлежит никакому сомнению, – безусловно были, реально существовали те, из кого состояло народонаселение этой исчезнувшей страны:

Мы были новой страной,
Еще не признанной, но сущей.
Гражданской сказочной войной
Она ворвалась в мир грядущий.

Что мы услышали от мам?
Все то, что прочие? Едва ли...
Другие песни спели нам,
Другие сказки рассказали.
(Наум Коржавин)

Мир яблоком, созревшим на оконце,
Казался нам... На выпуклых боках –
Где Родина – там красный цвет от солнца,
А остальное – зелено пока...
(Николай Майоров)

Мы, лобастые мальчики
невиданной революции...
(Павел Коган)

Только советская нация будет
и только советской расы люди...
(Михаил Кульчицкий)

Авторы этих строк (и других, похожих – цитировать можно до бесконечности) старше меня – кто на два, кто на три года, а кто и больше. И происхождение, и судьбы у них разные. Но каждому из них я мог бы сказать, как киплингowski Маугли: «Мы с тобой одной крови». Потому что все они – как и я – родом из Страны Гайдара.

Эту Страну не случайно населяют люди с необычными, нерусскими, какими-то **вненациональными** именами: Тимур,

Бумбараш, Иртыш, Чук, Гек, Алька, Гейка, Натка... (Именно «Натка», а не «Наталья».)

Жители «Страны Гайдара» – потомки и наследники людей, навсегда порвавших со своим прошлым.

Один гайдаровский герой в 1919 году, прежде чем уйти сражаться «за светлое царство социализма», выкинул из дома иконы и назвал свою белобрысую дочку Маньку – Всемирой. А другой гайдаровский герой не стал дожидаться, пока ему дадут новое имя. Он сам перекрестил себя:

– Послушай, ты, – помолчав немного, спросил командир, – как тебя зовут?

– Иртыш, – подсказал мальчик.

– Постой, почему же это Иртыш? Тебя как будто бы Иванов звали... Ванькой...

– То поп назвал, – усмехнулся мальчишка. – А теперь не надо. Ванька! И название какое-то сопленосое. Иртыш лучше...

Назвав себя Феликсом, я, в сущности, поступил так же, как гайдаровский Ванька-Иртыш. Так что в некотором отношении этот мой поступок можно считать даже и плагиатом.

Владимир Иванович Орлов, при всем своем незаурядном уме и немалой эрудиции, все-таки промахнулся. К психологическим терзаниям «Зависти» Юрия Олеша, хотя бы в детском их варианте, тот мой рассказ не имел ни малейшего отношения. Он был о другом.

Это был рассказ о том, как мальчик уходит из Страны Гайдара, в которой он жил. Навсегда расстается с этой своей Швамбранией.

И тут надо сказать, что острое собачье чутье Владимира Ивановича Орлова все-таки его не обмануло. Олеша с его «Завистью» тут, пожалуй, и впрямь был ни при чем. Но аромат крамолы, исходивший от этого моего сочинения, Владимир Иванович учуял правильно. Тут он не ошибся.

Этот свой рассказ я сочинял в 1957 году.

Только что отгремел XX съезд с потрясшим мир «закрытым», но тут же сделавшимся открытым докладом Хрущева. Лифт с гробом Сталина, до этого медленно опускавшийся с

этажа на этаж, в одночасье рухнул вниз, словно вдруг перерезали, перерубили удерживавшие его стальные тросы. И с неожиданной силой вспыхнул интерес к революции, к Гражданской войне – к тем «досталинским» временам, когда алое знамя Великого Октября еще не было запятнано кровавыми сталинскими преступлениями.

Поэтам, захваченным этим «свежим ветром перемен», Октябрь семнадцатого года и Гражданская война опять стали представляться в романтическом свете.

С неожиданной силой эта тема зазвучала тогда в стихах самых разных авторов.

У кого-то – туманным ностальгическим вздохом:

Помню
Недвижные лифты
В неотопляемых зданьях
И бледноватые шрифты
В огненно-пылких изданьях...
(Леонид Мартынов)

У кого-то – впрямую, как откровенная декларация, почти как вызов:

Я все равно паду на той,
На той единственной Гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
Склонятся молча надо мной.
(Булат Окуджава)

А у кого-то уже и с ноткой некоторого сомнения – а было ли это на самом деле или только привиделось, примечталось?

Где вы, где вы? В какие походы
Вы ушли из моих городов?
Комиссары двадцатого года,
Я вас помню с тридцатых годов.

Вы вели меня, люди стальные,
Отгоняли любую беду,

Хоть вы были совсем не такие,
Как бывали в двадцатом году.

(Н. Коржавин)

Коржавин – проницательнее других: он уже знает (во всяком случае, догадывается), что эти романтические «комиссары в пыльных шлемах» в действительности были «совсем не такие», какими они ему представлялись. Но романтический ореол, окружающий этих героев «той единственной Гражданской», и для него тоже еще сохраняет свое обаяние, всю свою чарующую силу.

Но где же тут крамола?

Разве это было запрещено – любить революцию? Госкковать по романтике первых революционных лет?

Какая, к черту, крамола! Скорее уж клятва в верности существующему строю, очистившемуся от скверны сталинизма и возвратившемуся к «ленинским нормам».

Тогда, однако, все это воспринималось иначе. И с наибольшей прямоотой это тогдашнее – общее наше – восприятие выразил наименее даровитый из всех процитированных мною поэтов:

Без коммунизма нам не жить.
Что реки молока и меда?
Но нам вовеки не забыть
Костров семнадцатого года.

Мы можем мерзнуть до костей,
Травой кормиться, дымом греться,
Забыть и кровлю, и постель,
Как делали красногвардейцы.

Мы можем все перенести –
И оскорбления, и обиды,
И все оставить на пути,
Но одного – вовек не выдать.

И мы укроем от погонь,
И пронесем сквозь непогоду,
И сохраним его – огонь,
Огонь семнадцатого года.

(Григорий Левин)

То, что человек, несущий в сердце своем «огонь семнадцатого года», должен укрывать его «от погонь» и проносить «сквозь непогоду», – это ведь, в сущности, означало, что в стране произошел контрреволюционный переворот. Термидор, как постоянно твердил об этом мой друг Аркадий Белинков.

Тем же ощущением (если не тем же сознанием) были пронизаны и цитируемые мною стихи Леонида Мартынова, Булата, Эмки Манделя (Коржавина).

Эмка решительнее, чем наш общий с ним институтский товарищ Гриша Левин (и даже – чем Булат), обрубал пуповину, связывавшую его с нашей общей «исторической родиной» – Страной Гайдара.

В сущности, то же делал и я своим рассказом «Трудная весна», написанным, кстати, за два года до Эмкиных «Комиссаров».

Даже главный наш контрреволюционер и антисоветчик – Александр Исаевич Солженицын – на заре своей литературной деятельности сочинял то ли роман, то ли повесть под заглавием «Люби революцию!» и просил жену (в письмах с фронта) покупать книги Маркса, Энгельса, Ленина, выражая опасение, что вскоре они могут оказаться под запретом.

Я моложе Александра Исаевича на девять лет. Но и для меня тоже рубежом, обозначившим разрыв страны с ее революционным прошлым, стала война.

Но на самом деле не только война обозначила тот рубеж, тот слом эпох.

На самом деле мой разрыв со «Страной Гайдара» был глубже. И произошел он не в сорок третьем, и не в сорок втором, и даже не в сорок первом году, а раньше. Гораздо раньше.

6

О самом раннем детском моем сознании я не сумею сказать лучше, чем это сделал мой почти сверстник (он всего двумя годами был старше меня) – Евгений Винокуров:

Сейчас поверят в это разве –
Лет двадцать пять тому назад,

Что политически я развит,
Мне выдал справку детский сад...

Меня и нынче брат мой дразнит,
Он этой справки не забыл...
Но политически я развит
Действительно в те годы был!

Я с глубочайшим интересом
Журнал «Прожектор» раскрывал.
Я кулака с тупым обрезом,
Улегшись на пол, рисовал.

Я, помню, не жалел под праздник
Ни черной туши, ни белил,
Весь мир на белых и на красных
Безоговорочно делил.

Задорный, тощий, низкий ростом,
Я весело маршировал,
И в каждом человеке толстом
Буржуя я подозревал.

Я знал про домны Приазовья
И что опять бастует Рим.
И я к друзьям пылал любовью
И был к врагам непримирим!

Что касается меня, то я никаких справок из детского сада не получал. (В детском саду провел всего лишь один день. Помню только, что в столовой во время обеда, ни с того ни с сего, хватил ложкой по лбу сидевшую напротив меня девочку, после чего долго ревел. Родители сжалились и забрали меня оттуда.) Но прав на такую справку у меня было, я думаю, не меньше, чем у Винокурова. Все мы тогда были политически развиты, и начиналось это развитие чуть ли не с пеленок.

Ранняя моя политическая развитость вела меня не только к тому, что «я к друзьям пылал любовью и был к врагам непримирим». Она заставляла меня жадно интересоваться всем, что происходит в мире. Узнать все это можно было только из

газет. А в газетах было разное, в том числе и то, что никак не укладывалось не только в детсадовский вариант Страны Гайдара, изображенный в стихотворении Винокурова, но и в слегка усложненный, школьный вариант того же гайдаровского мифа.

Как я уже говорил, гайдаровская вселенная не нуждалась в Сталине, подобно тому как система мироздания, построенная Лапласом, не нуждалась в идее Бога. Ясный и стройный мир Гайдара не мог вместить в себя Сталина. Сталину – не только тому кровавому маньяку и садисту, каким он открылся нам позже, но даже облагороженному и романтизированному Сталину тогдашних советских песен и газетных статей, в ясном и стройном мире Гайдара не было места. Этот идеализированный Сталин был мудр и непогрешим. Но даже оставаясь мудрым, непогрешимым и неизменно правым, он грубо попирал священные для нас устои Страны Гайдара, одним взмахом своей легендарной трубки рушил колонны и своды, на которых держался весь наш, казавшийся нам незыблемым, гайдаровский мир.

Вчера еще мы пылали любовью к интербригадовцам и испанским республиканцам и всей душой ненавидели Гитлера и Муссолини, и вдруг – фотография в «Правде», где Молотов рядом с Гитлером, а улыбающийся Сталин – рядом с Риббентропом. И по воскресеньям в Леонтьевском переулке, в двух шагах от моего дома, на здании германского посольства вывешивается красный флаг, в середине которого белый круг и черная паучья свастика, от одного вида которой ужас и ненависть леденят мне спину. Вчера еще слово «офицер» означало – золотопогонник, враг. И вот уже этой позорной кличкой, как ни в чем не бывало, именуют наших краскомов, красных командиров. И красноармейцев потихоньку начинают называть старорежимным словом «солдат», исподволь готовя страну (мы еще пока об этом не догадываемся) к тому шоковому для нас, выходцев из Страны Гайдара, моменту, когда на всю нашу «непобедимую и легендарную» наденут погоны. Еще вчера мы пылали любовью к Разину и Пугачеву и ненавистью к царским генералам, верным слугам ненавистного нам царского режима.

И вот нас уже учат любить генералиссимуса Суворова – того самого, который привез Пугачева в Москву в железной клетке. Что было делать? Разлюбить Пугачева и полюбить Суворова? Или ухитриться каким-то образом одновременно любить и того и другого?

Некоторые из нас сравнительно легко приспособивались к этой мгновенной смене парадигм. Легко и естественно, порой даже не замечая случившейся перемены. И уж во всяком случае, не осознавая, что эта перемена – такая личная, интимная, кажущаяся следствием какого-то незаметного внутреннего роста, – на самом деле была внушена нам извне, запланирована в некоем идеологическом «Госплане», в еще неведомом нам тогда оруэлловском Министерстве Правды.

7

10 декабря 1939 года московская школьница Нина Костерина побывала в Третьяковской галерее, на выставке русской исторической живописи. На другой день она записала у себя в дневнике:

Вчера, когда я после осмотра выставки шла домой через центр, по Красной площади, мимо Кремля, Лобного места, храма Василия Блаженного, – я вдруг почувствовала какую-то глубокую внутреннюю связь с теми картинами, которые были на выставке. Я – русская. Вначале испугалась – не шовинистические ли струны загудели во мне? Нет, я чужда шовинизму, но в то же время я – русская. Я смотрела на изумительные скульптуры Петра и Грозного Антокольского, и чувство гордости овладело мной – это люди русские. А Репина – «Запорожцы»? А «Русские в Альпах» Коцебу?! А Айвазовский – «Чесменский бой», Суриков – «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни» – это русская история, история моих предков...

Запись очень личная. В подлинности и искренности чувства, охватившего мою (тоже – почти) сверстницу, у меня нет и тени сомнения. Но остановись Нина перед скульптурами Петра и Ивана всего какими-нибудь пятью годами раньше, эти же

самые скульптуры вызвали бы у нее совсем иные чувства. Вряд ли она подумала бы с гордостью – «это люди русские». Глядя на «Утро стрелецкой казни», скорее всего вспомнила бы, с какой жестокостью подавляли цари народные восстания. Увидав репинских «Бурлаков на Волге», с горечью подумала бы о том, как угнетали буржуи рабочий класс в проклятое царское время, а также, наверно, вспомнила бы о несчастных китайских кули, жизнь которых и сейчас так же тяжела и ужасна, как в репинские времена жизнь бурлаков.

Так было бы, остановись Нина перед этими картинами и скульптурами в 1928-м, и в 1932-м, и даже в 1935-м. А вот в 1939-м те же картины вызвали у нее совсем другие чувства и совсем другие мысли.

Нина чувствует, что это новое ее сознание находится в некотором противоречии с прежним, таким еще недавним. Но чувство это – мимолетно: «Вначале испугалась – не шовинистические ли струны загудели во мне?» Что-то в этом новом, вдруг возникшем у нее чувстве, все-таки ее смущает. Но смущение это какое-то неясное, смутное. И она на нем не задерживается – сразу его от себя отбрасывает: «Нет, я чужда шовинизму...»

А между тем испугалась она не зря.

Наш сосед по коммуналке – Иван Иванович Рошин, старый большевик, бравший в семнадцатом Зимний, потерявший на Гражданской ногу, окончивший потом не то ком-, не то промакадемию, а теперь возглавлявший какой-то важный главк (то ли «Главсоль», то ли «Главхлеб», а может быть, как иронизировал по этому поводу мой отец, – «Главспички»). Соль этой его иронии состояла в том, что раньше, при царе-батюшке, никаких «Главспичек» не было, а спички были. И зажигались они легко, с первой попытки. Теперь же, когда «Главспички» есть, коробок спичек купить не так-то просто. А если это и удастся, то загорается эта советская спичка в лучшем случае лишь с третьей попытки: у одной ломается палочка, у другой отлетает головка, и только третья, если повезет, может быть, даст слабое, ненадежное, мгновенно гаснущее пламя), – так вот, этот Иван Иванович в 1945 году, когда Сталин произнес свой

знаменитый тост за русский народ, счастлив был беспредельно. И ликования своего по этому поводу не скрывал. Подумав (точь-в-точь как Нина Костерина), уж не шовинистические ли струны вдруг загудели в сердце старого большевика, я спросил его, чему он так радуется. И даже, кажется, пробормотал что-то в том духе, что воевали ведь все, а не только русские. Зачем же, мол, противопоставлять один народ всем другим народам многонационального нашего отечества?

Иван Иванович вздохнул, но не горько, а как-то облегченно, улыбнулся еще раз своей счастливой улыбкой и сказал:

– Эх, Билюша!.. Знал бы ты, как мы жили!.. Ведь я двадцать лет боялся сказать, что я русский!..

Насчет двадцати лет это он, положим, преувеличил. Задолго до того знаменитого тоста можно было уже не бояться. Но социальный опыт у Ивана Ивановича был не такой, как у меня. И не такой, как у Нины Костериной.

И в 39-м, и уж тем более в 41-м он мог, конечно, сказать, что он русский. Вполне мог. Но – боялся. И даже когда давно можно было уже не бояться, – все-таки робел. Робел, как Иван Бровкин у Алексея Николаевича Толстого, – не умом, а порою задницей.

В отличие от меня и моей почти сверстницы Нины, Иван Иванович хорошо помнил времена, когда слово «русский» было чуть ли не синонимом слова «белогвардеец». На политическом жаргоне его молодости слова – «Я – русский» звучали примерно так же, как если бы он сказал: «Я – за единую и неделимую Россию». А произнести вслух **такое** в те времена мог разве что какой-нибудь деникинский офицер.

К моему соседу Ивану Ивановичу и моим разговорам с ним я не раз еще буду возвращаться, потому что разговоры эти играли весьма важную роль в тогдашней моей жизни. А сейчас я вспомнил про ту его реакцию на знаменитый сталинский тост, чтобы понятней было, как на самом деле огромна была та перемена в сознании моей сверстницы Нины Костериной, которой сама Нина, как это видно из ее дневниковой записи, особого значения не придавала, даже смысла ее по-настоящему не осознала.

Произошла же с ней эта перемена потому, что в 1934 году появились так называемые «Критические заметки» Сталина, Кирова и Жданова к проекту школьного учебника истории СССР. И хотя опубликованы они были только в 1936-м, но уже 15 мая 1934-го на основе этих заметок было принято специальное постановление ЦК. А чуть позже по инициативе того же Сталина резкой критике была подвергнута пьеса Демьяна Бедного «Богатыри» – за издевательское отношение к великому историческому прошлому России.

Это и было началом того великого поворота, итогом которого стал тост Сталина за великий русский народ.

Реакцию взрослых на эту критику Демьяна я помню смутно. (Как-никак, мне было тогда всего девять лет.) Но все-таки – помню. А запомнилась она мне потому, что в разговорах друзей и приятелей отца, обсуждавших этот внезапный поворот колеса истории, кажется, впервые почувствовались мною первые симптомы той недоумевающей растерянности и тревоги, с какой несколькими годами позже был встречен пакт Сталина с Гитлером.

Может быть, именно потому, что друзьями и приятелями отца, к разговорам которых я прислушивался, критика Демьяна однозначно оценивалась как резкий крен в сторону великодержавного шовинизма, а может быть, потому что я глубже, чем Нина Костерина, был погружен в мир Страны Гайдара, прочнее, чем она, увяз там, – но, так или иначе, мною, в отличие от Нины, этот «поворот всем вдруг» был воспринят гораздо болезненнее, чем ею. Это, пожалуй, была первая серьезная травма, нанесенная моему «гайдаровскому» сознанию.

Принять эту перемену с той естественностью и легкостью, с какой приняла ее Нина, я не мог. Это было бы предательством по отношению к моему «гайдаровскому» гражданству, изменой моей «гайдаровской» присяге («Только советская нация будет, и только советской расы люди»).

При этом я тогда уже довольно ясно сознавал, что на это предательство меня толкал – ОН. Ведь это именно ОН приказал размазать по стенке Демьяновых «Богатырей».

Да, в мире Гайдара Сталину места не было. Но в жизни, которая была вокруг, Сталин был. И место его в этой жизни бы-

ло не просто велико: все в этой жизни – решительно все! – зависело от него, определялось им, совершалось по его воле.

Это-то я тогда уже понимал.

Герой моего рассказа, мой двойник Борька Сазонов, рассказывая о том, как он узнал, что началась война, вспоминает:

Я первый увидел отца и сразу понял, что в Москве что-то случилось. У него было точь-в-точь такое лицо, как в тот день, когда умер дядя Костя. У дяди Кости было больное сердце. Он купался в ванной, и с ним случился приступ. Когда папа узнал, что дядя Костя внезапно умер, он ходил по комнате вот с таким же растерянным лицом и говорил: «Как глупо... Тьфу ты, черт! Как глупо...»

Увидав меня и маму, отец соскочил на платформу, не дожидаясь, пока поезд замедлит ход...

Я был уверен, что папа подойдет ко мне: я стоял ближе. Но он, даже не глядя на меня, подошел к маме, взял ее за руку и, растерянно улыбнувшись, сказал:

– Я ничего не знал утром. Собрался и выехал. Только в поезде мне сказали...

– Что – не знал? – испуганно спросила мама. – Коля, что случилось?!

Он посмотрел на маму так, словно был в чем-то виноват перед ней, и сказал:

– Война...

В действительности все было почти так, как в рассказе. Вот такое – перевернутое, ошеломленное и растерянное – лицо отца я действительно уже видел однажды. Но случилось это совсем при других обстоятельствах.

Утром, за завтраком, развернув, по обыкновению, свежую газету, он прочел в ней какое-то короткое сообщение, и вот тут-то и появилось на его лице то самое выражение, в точности описать которое я не берусь: маловато у меня для этого художественного дара.

Уронив газету на стол, он пробормотал:

– Значит, он все-таки убил их...

– Кто убил? Кого? – спросил я.

Но отец словно даже и не слышал моего вопроса. Аккуратно сложив газету, он встал из-за стола и вышел из комнаты. В тот день он, кажется, так и не позавтракал.

Мне было девять лет. Но я, как уже не раз тут было сказано, был политически развит. Я заглянул в забытую отцом на столе газету, легко нашел поразившее его сообщение и сразу все понял.

Это был август 1936 года. Только что закончился так называемый «Процесс шестнадцати», на котором Каменев и Зиновьев были приговорены к расстрелу. Газетное сообщение заключала стереотипная, хорошо знакомая фраза: «Приговор приведен в исполнение».

Не могу сейчас с точностью сказать – сразу или после некоторых размышлений – но я хорошо понял, что поразило отца в этом коротком газетном сообщении.

Расстрел Каменева и Зиновьева сам по себе вряд ли мог так его потрясти. Это было мне ясно хотя бы из одной давней истории, которую он однажды мне (скорее все-таки не мне, а при мне) рассказал.

Гражданская война застала его в Ялте...

Но прежде чем пересказать здесь эту его историю, надо сказать несколько слов о том, кем он был, мой отец.

Был он, как и его отец, мой дед, – музыкантом. Но дед был самоучкой: играл на скрипке в «еврейском оркестре». (Такой оркестр упоминается в пьесе Чехова «Вишневый сад», и о таком же оркестре в какой-то повести Замятина говорится: «Какой это оркестр? Два жида в три ряда».)

Но отец, в отличие от деда, был уже настоящим музыкантом, профессионалом: окончил Одесскую консерваторию по классу скрипки. Мальчишкой уехал он из родного местечка, добрался до Одессы, поступил в школу при консерватории, потом в консерваторию. Зарабатывал, играя в ресторанах. И – учился. С последнего курса (в 1916-м году), выдав диплом об окончании, его мобилизовали и отправили на фронт, где он был, разумеется, капельмейстером. Сохранилась фотография, где он в папахе с кокардой, опираясь на саблю, сидит во главе своей музыкантской команды. (Фотография эта сильно волновала мое детское воображение.)

В Ялте, при Врангеле, пришлось ему вернуться к занятиям своей голодной юности: он сколотил и возглавил маленький оркестр, подвизавшийся в одном из самых роскошных ялтинских ресторанов.

И вот однажды, когда ресторан был битком набит самой разношерстной публикой (дело шло уже к ночи), какой-то сильно подвыпивший врангелевский офицер потребовал, чтобы оркестр сыграл «Боже, царя храни...». Кого-то из сидящих в зале ресторана это возмутило. (Среди врангелевцев были ведь не только монархисты, но и сторонники Учредительного собрания, может быть, даже и эсеры.) Завязалась драка. Кто-то выстрелил в люстру.

Не дожидаясь развязки, отец взял в руки свою скрипочку, мигнул братьям-музыкантам, и они все дружно покинули залу.

Рассказывая мне об этом, отец не скрывал, что, хотя играть «Боже, царя храни...» ему, безусловно, не хотелось, увел он своих музыкантов совсем не потому, что пожелал таким образом выразить свою гражданскую позицию. Просто не шибко радовала его перспектива оказаться в эпицентре столь бурного скандала: ведь и пристрелить могли...

Инцидент этот как-то там рассосался. Жизнь продолжалась. А спустя какое-то время в город вошли красные. И тогда один из отцовских оркестрантов шепнул ему:

– Ты, Миша, не должен ни о чем беспокоиться. Я сказал кому надо, что ты – свой. Сообщил, как ты повел себя, когда тот золотопогонник потребовал, чтобы мы играли «Боже, царя храни...».

Отец понял, кем был этот его оркестрант, и мысленно возблагодарил судьбу за то, что случай помог ему предстать в столь выгодном свете перед новыми хозяевами жизни.

Новые же хозяева тем временем издали указ, согласно которому все офицеры, служившие в рядах белой армии, должны были зарегистрироваться. Тем из них, кто не был замешан в особо злостных преступлениях против народа, новая власть клятвенно обещала сохранить не только жизнь, но и свободу.

И тогда другой оркестрант попросил у отца как у человека, отчасти как бы даже близкого этой новой власти, дружеского совета. У него – сын. Юноша, совсем мальчишка. То ли

прапорщик, то ли подпоручик. Служил он у Врангеля без году неделю. И вообще раньше он никогда военным не был, до всей этой заварухи был студентом, ну, просто засосало его в эту воронку. Так вот, регистрироваться ему? Или, может, лучше затаиться? Пересидеть? Авань как-нибудь пронесет нелегкая...

Отец подумал и посоветовал зарегистрироваться. А то, не дай бог, узнают... Кто-нибудь донесет – еще хуже будет...

Но хуже того, что случилось, ничего быть не могло.

Мальчик честно пошел и зарегистрировался. И был расстрелян. Вместе с десятками тысяч других офицеров (кто говорит, что их было тридцать тысяч, а кто – что семьдесят), отказавшихся эвакуироваться с остатками армии Врангеля. Это был тот самый знаменитый расстрел, приказ о котором издали две бешеные собаки, вершившие суд и расправу тогда в Крыму, – Бела Кун и Землячка.

Теперь, я думаю, вам понятно, что я имел в виду, говоря, что убийство Каменева и Зиновьева само по себе, вряд ли могло моего отца потрясти. После того, что случилось тогда на его глазах и к чему он невольно оказался даже причастен, расстрел двух вчерашних вождей, которых он лично не знал, которым даже и не симпатизировал (скорее, наоборот), вряд ли мог стать для него такой сильной душевной травмой.

Потрясло его совсем другое.

Вскоре после убийства Кирова было объявлено, что Каменев и Зиновьев каким-то боком оказались причастны к этому преступлению. Не прямо, а как-то косвенно. Их оппозиционная деятельность сомкнулась с вражеской деятельностью каких-то белогвардейских диверсионных групп. Так что объективно они были вроде как сообщниками этих – якобы убивших Кирова – белогвардейцев.

В январе 1935 года их судили и приговорили Зиновьева к десяти, а Каменева к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Дело, казалось бы, было закончено. Точка поставлена.

Но полтора года спустя, в августе тридцать шестого, состоялся новый судебный процесс, на котором якобы выяснились какие-то новые обстоятельства, и был объявлен новый приго-

вор. Тот самый, который произвел такое сильное впечатление на моего отца.

Не смерть Каменева и Зиновьева, до которых, в сущности, ему не было никакого дела, поразила его. Его порастил Сталин. Поразила жестокая, злобная мстительность человека, в руках которого была судьба страны и жизнь каждого ее обитателя.

Обо всем этом ясно говорила запомнившаяся мне фраза отца:

– Значит, он все-таки решил убить их.

Все дело было именно в этом «он решил». Мог, значит, решить так, а мог – иначе. И никакой суд, никакие вновь открывшиеся обстоятельства тут были ни при чем.

В тот миг мне стало ясно, что ни в какую вину Каменева и Зиновьева, ни в какую их причастность к убийству Кирова отец не верил ни на грош. И сам о том не подозревая, внушил это неверие и мне.

Во всяком случае, два года спустя, когда судили Бухарина и Рыкова, я уже твердо знал, что председатель Совнаркома Рыков, конечно же, не был шпионом и диверсантом. И «любимец партии» Бухарин, книгу которого «Азбука коммунизма» постоянно читал наш сосед Иван Иванович, тоже, конечно, не был – не мог быть! – агентом иностранных разведок.

Раскрывая утром свежую газету, я жадно вчитывался в печатавшиеся там каждый день судебные отчеты «по делу антисоветского правотроцкистского блока». (Мне было всего одиннадцать лет, но – не забывайте! – я ведь был политически развит.) Эти отчеты я глотал как самый увлекательный детектив. Но искал я в них (и находил!) только ляпы, только проколы, только те места, где скрипящая, плохо смазанная машина государственного правосудия давала какой-нибудь очередной сбой.

Вот генеральному прокурору Вышинскому пришлось прервать допрос профессора Плетнева: старик признавал свою вину, но как-то так, что сразу – даже из этих, сквозь множество фильтров пропущенных стенограмм – ясно было, что и обвинения прокурора, и признания обвиняемого, что все это – **липа**.

А в другой раз подсудимый Крестинский – так тот и вовсе

не признал себя виновным. И только на следующий день – первым, еще до начала допроса – поспешил сделать заявление, в котором казенными, пустыми, не вызывающими сомнения в их лживости фразами объяснял суду, что вчерашнее его непризнание своей вины было сделано по причине какого-то странного затмения ума. И оставалось только гадать: что же там с ним сделали за эти сутки? Загипнотизировали? Или вкололи какое-нибудь никому неведомое лекарство? Или – была и такая версия – человек, сделавший на другой день это свое лживое заявление, на самом деле был уже не Крестинский, а загримированный под Крестинского двойник?

Я понимаю: этот мой рассказ может вызвать недоверие. Что же это выходит? Умнейшие люди мира – все эти Ромены Ролланы, Фейхтвангеры, Бернарды Шоу (не говоря уже о вождах зарубежных коммунистических партий) – не понимали, что перед ними разыгрывают грандиозный, насквозь лживый спектакль, а самый что ни на есть обыкновенный одиннадцатилетний московский мальчишка – понимал?

Тем не менее все было именно так.

8

Да, я точно знал, что Каменев и Зиновьев не убивали Кирова, а Бухарин и Рыков не были иностранными шпионами.

Непонятно в этом загадочном деле мне было только одно: почему все они признались в чудовищных преступлениях, которых на самом деле не совершали? Что там с ними делали? Какими средствами добились такого поразительного эффекта?

Эта – главная – тайна московских процессов долго волновала меня и моих сверстников. Мы придумывали самые разные объяснения. Выдвигались версии – одна другой изощреннее. Самой правдоподобной представлялась нам (уколы и гипнотизеры были отброшены почти сразу) версия так называемых ложных процессов. Подследственный, допустим, подписал все свои ложные признания в надежде, что на открытом процессе он встанет и скажет вслух всю правду. Но при первой же такой попытке выяснилось, что это был не суд, а – генераль-

ная репетиция. В зале – заранее подготовленная, проверенная публика, в ложах – не иностранные корреспонденты, а переодетые чекисты. Они гогочут, улюлюкают, так долго лелеемый замысел обвиняемого проваливается если не при первой, так после второй или третьей отчаянной попытки. Сорвавшись на нескольких таких ложных процессах, подсудимый в конце концов понимает, что никакого выхода из этого тупика у него нет, и – сдаётся.

Были и другие, еще более изощренные версии. Но все они, если вдуматься, исходили из представлений, внушенных нам нашим «гайдаровским» сознанием.

Ведь в чем, в сущности, состояла вся эта так называемая **тайна?**

В том, что признавались во всех этих несуществующих своих винах не хлипкие какие-нибудь интеллигенты, не жалкие обыватели, которых сравнительно легко можно было запугать. Самым поразительным тут было то, что признавались старые, закаленные в классовых битвах, негибимые революционеры, прошедшие царские тюрьмы и каторгу. Ведь все это было хорошо им знакомо: томительные жандармские допросы, карцеры, пытки. Через все это они прошли. А тут вдруг сплеховали?

Нет, положительно тут была какая-то тайна.

Тайну эту пытались разгадать многие. Одно время наиболее близкой к истине мне казалась версия Артура Кестлера, пытавшегося подобрать к ней ключи из области психологии, отчасти фрейдистского толка, отчасти в духе Федора Михайловича Достоевского.

Но ближе всех к истине подошел живший в то время в эмиграции старый русский театровед и театральный деятель Николай Николаевич Евреинов.

В 1939 году он написал пьесу «Шаги Немезиды. Драматическая хроника в 6-ти картинах, из партийной жизни СССР (1936 – 1938 гг.)». Действующими лицами там были чуть ли не все персонажи, так или иначе «задействованные» в больших московских процессах: Зиновьев, Каменев, Рыков, Бухарин, Сталин, Ягода, Ежов, Радек, Вышинский...

Пьеса, по правде говоря, была довольно слабенькая. Много

в ней было и всякой неправдоподобной чепухи. Но один крохотный эпизод, точнее – диалог, а еще точнее – короткий обмен репликами, произвел на меня довольно сильное впечатление. Именно он-то и показался мне (это было, разумеется, когда я был уже далеко не юношей) наибольшим приближением к истине.

Бухарин, Рыков, Радек и другие фигуранты будущего судебного процесса, только узнавшие о приговоре над Каменевым и Зиновьевым, мучаются все той же проклятой загадкой. Входит Ягода.

Рыков (и другие, обступая Ягоду): Ну, Генрих, не томи: говори начистоту, почему они сознались на суде и сами присудили себя к расстрелу?..

Бухарин: Что, вы их и вправду там пытаете, на Лубянке?..

Ягода: Ох, братцы! Подождите, не галдите все разом! Дайте сперва очухаться!..

Бухарин: Нет, серьезно! Каким способом добиваются в ваших подвалах признания даже в том, в чем люди не виноваты?

Рыков: Ясное дело – пытаются. Иначе не объяснишь!

Ягода: Ах, товарищи, о каких пытках вы говорите? Смешно прямо слушать!.. Если человек, скажем, курит по сто папирос в день или (смотрит на Рыкова) равнодушен к алкоголю, то оставьте их на сутки без табаку и «Рыковки» и увидите, на что они будут способны! (Общий смех.)

Ну как, по-вашему, могли мы принять такую версию все-рвез? Какие-нибудь там заскорузлые обыватели над этой шуткой Ягоды, быть может, и призадумались бы. И даже, пожалуй, пришли к выводу, что есть в ней, в этой шутке, немалая доля правды. Но мы, выросшие в Стране Гайдара, даже и представить себе не могли, чтобы ларчик так просто открывался.

Председатель Коминтерна Зиновьев признается, что он иностранный шпион, только потому, что его лишат любимых папирос? Предсовнаркома Рыков признает себя вредителем только из-за того, что ему отказали в ежедневной рюмке «Рыковки», к которой он пристрастился? Смешно!..

В 38-м году были первые выборы в Верховный Совет СССР, проходившие по новой, недавно принятой сталинской конституции. Родители взяли меня с собой. Обставлено все было очень торжественно. Играл духовой оркестр. Пол на избирательном участке устилали ковровые дорожки. Всюду цветы, много цветов. На стенах – транспаранты, лозунги: «Голосуйте за блок коммунистов и беспартийных!» Плакаты с портретами кандидатов в депутаты.

Все было как на Первое мая или Седьмое ноября – главные наши праздники. И лица у людей были праздничные.

Это потом, позже, вся эта предвыборная и выборная канитель стала рутинной тошнилровкой. В 60-м, когда мы взяли с собой на избирательный участок нашего пятилетнего сына (не с кем было его оставить), он спросил у меня, куда мы идем. Я объяснил, что на выборы. Он спросил, кого мы будем выбирать. Я, кивнув на плакатик, где красовалась упитанная будка нашего кандидата, сказал:

– Вот этого дядю.

– А вы можете выбрать кого-нибудь другого? – спросил он.

Не вдаваясь в сложные рассуждения об оригинальной советской избирательной системе, я коротко ответил, что нет, не можем. И тогда мой ребенок, точь-в-точь как мальчик из андерсеновской сказки, задал следующий, безукоризненно логичный вопрос:

– Почему же тогда это называется «выборы»?

Мне в мои одиннадцать (заметьте – не пять, а одиннадцать!) лет этот простой вопрос в голову не пришел. Я был охвачен радостным праздничным возбуждением. Не забывайте, все это было **впервые**. Не только в моей жизни, а вообще впервые – первые демократические советские выборы, равные, без всяких там лишенцев, а главное – тайные.

Это поразило меня больше всего.

Не слово (его я слышал и раньше), даже не понятие, а его материальная реализация: **кабины**. Роскошные, занавешенные бархатными портьерами кабины, где каждый избиратель мог уединиться, чтобы – как это гарантировала ему самая свободная в мире сталинская конституция – в полной тайне исполнить свой гражданский долг: прого-

лосовать за блок коммунистов и беспартийных. Или – против.

Но кто же станет голосовать против? Неужели такие найдутся?

А если не найдутся, так зачем же тогда эти кабины?

Я недолго мучился над этой загадкой. Мне сразу пришло в голову, что кабины эти устроены **нарочно**. Для того чтобы выявить не только всех голосующих против, но даже и колеблющихся, сомневающихся.

Я даже подумал, что там, в этих кабинах, есть какие-то специальные устройства, регистрирующие всех этих скрытых и даже потенциальных врагов советской власти. Может быть, фотоаппараты, запечатлевающие их лица. Или другие какие-нибудь приборы, благодаря которым их можно будет потом опознать – по почерку или по отпечаткам пальцев.

А если даже никаких таких приборов и аппаратов там нет, то за каждым, кто осмелится войти в такую кабину (у настоящего советского человека такая потребность не может даже и возникнуть!), наверняка будет установлена слежка. И всех их потом арестуют.

Ей-богу, я не вру. Разве только чуть упрощаю: ход моих мыслей был, может быть, не так последователен и логичен, как в этом сегодняшнем, довольно-таки неуклюжем моем изложении. Но самая суть моей реакции на эти поразившие мое воображение кабины была именно такова.

История эта свидетельствует о том, что в свои одиннадцать лет я уже довольно хорошо понимал, в каком царстве-государстве живу.

А в четырнадцать я это понимал уже совсем ясно.

Помню, перед самой войной (мне было тогда именно четырнадцать) я прочел роман Фейхтвангера «Изгнание». Эпиграфом ко второй части этого романа был 66-й сонет Шекспира.

Так я узнал этот сонет впервые.

Позже я читал и перечитывал его много раз, в самых разных переводах – Маршака, Пастернака, Бенедиктова и многих других поэтов, старых и новых, знаменитых и никому не изве-

стных. Но самое сильное впечатление он произвел на меня именно тогда. Может быть, поэтому тот перевод (О. Румера) и сейчас мне кажется едва ли не лучшим:

Я смерть зову, глядеть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе;
Как топчется доверье чистых душ,
Как целомудрию грозят позором,
Как почести мерзавцам воздают,
Как сила никнет перед наглым взором,
Как всюду в жизни торжествует плут,
Как над искусством произвол глумится,
Как правит недомыслие умом,
Как в лапах Зла мучительно томится
Все то, что называем мы Добром.

Но поразил меня тогда этот перевод не поэтическими своими достоинствами, а прямо-таки потрясающим совпадением всего того, о чем в нем говорилось, с окружающей меня реальностью. Вряд ли я так уж хорошо осознавал тогда всю полноту этого совпадения. Ведь то, что «над искусством произвол глумится», тогда меня еще мало волновало. И о целомудрии, которому «грозят позором», я тоже не задумывался. Но о том, «как топчется доверье чистых душ», кое-что уже знал. И строка о почестях, которые «мерзавцам воздают», не была для меня абстракцией: она сразу наполнилась живым и вполне конкретным смыслом.

Может быть, я сейчас и преувеличиваю степень моего тогдашнего понимания всех этих, как потом стали у нас говорить, аллюзий. Но как бы то ни было, стихи эти меня тогда поразили до глубины души. Поразили настолько, что я даже переписал их в какую-то свою тетрадку.

Сорок лет спустя я узнал, что точно так же они тогда поразили еще одного московского мальчика, моего сверстника, – Гену Файбусовича. (Теперь он известный писатель – Борис Хазанов.) Гена прочел этот шекспировский сонет в той же книге Фейхтвангера. И тоже был потрясен совпадением нари-

сованной в нем картины с окружающей его реальностью. И тоже переписал его в какую-то свою тетрадку.

Но у меня дело на том и кончилось. А в судьбе Гены этот его поступок сыграл впоследствии весьма важную роль.

Когда несколько лет спустя Гену арестовали, в его бумагах – при обыске – нашли и этот сонет. И в числе прочих изъятых рукописей инкриминировали его арестованному как **прямую антисоветчину**.

Когда Гена рассказал мне об этом, я, естественно, посмеялся над тупостью и невежеством советских следователей, принявших стихи, написанные великим англичанином четыреста лет тому назад, за сочинение московского школьника.

Но Гена пожал плечами и сказал:

– В сущности, они были правы.

Да, конечно, они были правы. Ведь его – как и меня – эти строки поразили именно тем, что они совпадали с тем, что видели мы вокруг – не в далекой шекспировской Англии, а в родной нашей советской, как это тогда говорилось, действительности.

А только что я купил – и прочел – замечательную книгу. Называется она – «Я все сбиваюсь на литературу...». Автор – Юлий Даниэль. Под заглавием – поясняющий подзаголовок: «Письма из заключения». И состоит эта книга действительно из писем, которые знаменитый диссидент 60-х годов писал родным и близким из лагеря строгого режима, где он отсидел согласно приговору – от звонка до звонка – ровным счетом пять лет.

Юлика я хорошо знал. Но прочитав эту огромную (в ней около девятисот страниц) книгу, я словно познакомился с ним заново. Книга эта открыла мне (бумага ведь ничего не может утаить), что Юлик был не просто славным и добрым парнем, каким я его знал. Он был – звучит высокопарно, но других слов не нахожу, – человеком высокой души. Как плохо, – казнил я себя, читая эти письма, – мы знаем людей, живущих бок о бок с нами.

Но это – совсем другая, особая тема. И к ней я наверняка еще не раз буду возвращаться.

А сейчас я коснулся ее лишь для того, чтобы привести небольшой отрывок из одного Юлькиного письма:

Когда я впервые (летом 66-го) попал в «угловой домик»¹, у меня там оказался сосед. Он стал расспрашивать меня о моей профессии, разговор перешел на стихи вообще, и он сказал, что читал одну книгу (название не помнит) какого-то заграничного писателя (имени не помнит), о музыканте, который бежал из своей страны в чужую (откуда? куда? – забыл), и что там в середине книги, на чистой странице, между частями («Как это называется?» – «Эпиграф». – «Во-во») был «стих». И он стал читать наизусть: «Зову я смерть...» – и до конца. Книга, которую он читал, – «Изгнание» Фейхтвангера.

История – согласитесь! – замечательная.

Но тут возникает такой интересный вопрос. А как он – Юлик Даниэль – все-таки догадался, что книга, которую читал тот его сосед по «угловому домику», – «Изгнание» Фейхтвангера?

А очень просто!

Сам, наверное, тоже в свое время сделал стойку на той же странице того же романа.

Вернусь, однако, к себе и к Гене Файбусовичу, который сказал, что чекисты, инкриминировавшие ему 66-й сонет как явную антисоветчину, в сущности, были правы.

И в самом деле: кому, как не злостным антисоветчиком, жизнь «в нашей юной прекрасной стране» могла представляться такой, какой она была изображена в этом старом шекспировском сонете?

Так-то оно так.

И тем не менее, став уже вполне откровенными и даже злостными «антисоветчиками» (даже не уверен, должен ли я обрамлять это слово ироническими кавычками), мы **продолжали жить в Стране Гайдара.**

¹ «Угловым домиком» Юлик называет ШИЗО – штрафной изолятор, попросту говоря – карцер.

Вот как Гена Файбусович (ставший уже Борисом Хазановым) рассказывает, каковы были владеющие им мысли и чувства в те времена, когда он решил вдруг переписать в свою тетрадь поразившие его строки шестьдесят шестого шекспировского сонета:

Я жил чудной, магической жизнью подростка, которую я не в силах сейчас описать. Глухое татарское село, больница, где работала моя мать, с общим корпусом, как две капли воды похожим на флигель, где находилась палата номер шесть, холмы, поросшие лесом, река, сугробы, сани, звон почтового колокольчика, милиционер в форменной шинели и лаптях, деревенский базар, все впечатления никогда не виданной мною «почвы» перемешались в моей душе с образами книг, с «Разбойниками» и «Заговором Фиеско», с Фаустом, в котором больше всего меня поразили не приключения с Маргаритой, а таинственная обстановка средневековой кельи, знак Макрокосма и дүхи, с Герценом, со стихами Блока... В то же время совершилось во мне то, что можно было бы назвать «кризисом веры».

Кризис заключался в том, что я перестал верить в советскую власть... Точнее, я перестал верить в то, чему учили, что говорили о политике, о революции и социалистическом строе. Например, рассказывалось о том, что в 1940 году прибалтийские республики добровольно вошли в состав СССР, а я в школе на перемене в яростном споре доказывал кому-то из одноклассников, что мы просто-напросто захватили Литву, Латвию и Эстонию, воспользовавшись их незащищенностью. Рассказывалось о счастливой колхозной деревне, а я видел, что люди не могут говорить о колхозе без ненависти и насмешки... Каждый день я открывал что-нибудь новое; каждый день падал какой-нибудь очередной глиняный идол. Так повалились одна за другой «первая в мире страна», «власть трудящихся», «дружба народов», «закон, по которому все мы равны»; рухнул, разбившись вдребезги, и сам великий вождь и учитель, и только Ленин все еще оставался невредим, точно был вырублен из прочного известняка, а не слеплен, как все прочие, из алебастр-

ра... Как и подобает мыслящему человеку, я вел дневник, в котором начертал, когда мне было 16 лет, мысль, казавшуюся мне необыкновенно оригинальной, о том, что «у нас здесь, в СССР, – фашизм!». Я рассуждал о том, что если бы Ленин был жив, то был бы наверняка объявлен врагом народа и расстрелян, вроде того как у Достоевского Великий инквизитор собирается сжечь Христа, действуя от его же имени.

Я был в то время, пожалуй, инфантильнее Гены. Во всяком случае, «Легенду о Великом инквизиторе» Достоевского тогда еще не читал, поэтому таких сложных ассоциаций у меня не возникало. Но мысль о фашистском перевороте, выскажи ее кто-нибудь при мне, вряд ли меня шокировала бы, хотя сформулировать эту мысль так прямо я бы, наверно, не осмелился. (Даже наедине с собой, а не то что в дневнике, который мог попасть и в чужие руки.) Слово «переворот» в голове мелькало. Но вместо слова «фашистский» для обозначения того же понятия я пользовался другими словами из тогдашнего политического жаргона: «перерождение», «термидор».

Гораздо дальше, чем я, продвинулся Гена и в некоторых других своих открытиях. «Первая в мире страна», «Власть трудящихся» – все эти, как он говорит, глиняные идола в моем сознании еще не рухнули, не рассыпались в прах. Как-никак, думал я, у нас все национализировано, заводы и фабрики принадлежат народу, а не капиталистам... Какие-то иллюзии сохранялись и насчет Литвы, Латвии и Эстонии (об этом я потом еще расскажу).

Да, Гена в свои шестнадцать лет был, безусловно, умнее меня.

Но даже и он этот свой «кризис веры», как явствует из приведенного мною отрывка, осознавал, осмыслял, не выходя за пределы «гайдаровской» системы мироздания. Просто у него вся эта «гайдаровская» вселенная оказалась перевернутой, поставленной с ног на голову.

В том гайдаровском мире, как уже было сказано, «другие песни спели нам, другие сказки рассказали». Эти песни, естественно, казались нам самыми лучшими песнями в мире:

Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках.

«А много нашего советского народа вырастает», — прислушиваясь к песне, подумала Натка.

Песня эта, которую растроганно слушает героиня гайдаровской «Военной тайны» комсомолка Натка, была из числа самых наших любимых. И самыми любимыми, вызывавшими даже легкий озноб, мороз по коже (а иногда даже и комок какой-то подступал к горлу), были в ней такие строки:

Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных,
Мы с вами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах!

Так вот, тот кризис (даже не кризис, а крах) веры, о котором рассказал Гена в своем, процитированном мною, автобиографическом наброске, **эту песню не отменял**. Товарищи наши, как и в той песне, сидели в «тюрьмах, в застенках холодных». А то обстоятельство, что это были не германские и не итальянские тюрьмы, где тюремщиками были фашисты, а наша родная Лубянка, сути дела совершенно не меняло, поскольку «в стране произошел фашистский переворот».

Но это относится к содержанию, к смыслу той песни (точнее, к прямому смыслу припомнившихся мною двух ее строк). А ведь помимо смысла, помимо «текста слов» было в этих любимых наших песнях еще и что-то другое, заставлявшее вздрагивать наши сердца. Мелодия? Да, конечно, и мелодия тоже. Но и не только мелодия. Что-то еще, неуловимое, трудно определимое. Быть может, воздух того времени, когда Страна, в которой мы жили, еще не успела стать **планетой без атмосферы**.

В романе Василия Аксенова «Остров Крым» есть одна замечательная, на первый взгляд не слишком существенная, даже совсем не существенная, а на самом деле очень многозначительная подробность. Отец главного героя романа Арсений

Лучников-старший, «один из немногих оставшихся участников Ледяного Похода», а ныне – один из самых влиятельных людей на «острове», миллионер-коннозаводчик, которому сулят даже должность Председателя Временной Думы, то есть практически крымского президента, «лет десять назад, когда бурно разрослись в Восточном Крыму его конные заводы», выстроил себе прямо под скальными стенами Пилы-Горы роскошную виллу. Не виллу даже, а гигантскую резиденцию. И назвал ее – «Каховка». Эту странную причуду старика автор объясняет так:

Резиденция Лучникова-старшего называлась «Каховкой» неспроста. Как раз десять лет назад Андрей привез из очередной поездки в Москву несколько грампластинок. Отец снисходительно слушал советские песни, как вдруг вскочил, пораженный одной из них.

Каховка, Каховка – родная винтовка...
Горячая пуля, лети!

.....

Гремела атака, и пули звенели,
И ровно строчил пулемет...
И девушка наша проходит в шинели,
Горящей Каховкой идет...

.....

Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались,
Как нас обнимала гроза?
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались
Ее голубые глаза...

Отец прослушал песню несколько раз, потом некоторое время сидел молча и только тогда уже высказался:

– Стихи, сказать по чести, не вполне грамотные, но, как ни странно, эта комсомольская романтика напоминает мне собственную юность и наш юнкерский батальон. Ведь я дрался в этой самой Каховке... И девушка наша Верочка, княжна Волконская, шла в шинели... по горящей Каховке...

Прелюбопытным образом советская «Каховка» стала любимой песней старого врэвакуанта. Лучников-младший, ко-

нечно же, с удовольствием подарил отцу пластинку... Арсений Николаевич сделал магнитную запись и послал в Париж, тамошним батальонам: «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались...» Из Парижа тоже пришли восторженные отзывы. Тогда и назвал старый Лучников свой новый дом на Сюрю-Кая «Каховкой»...

Таким вот чудесным образом светловские комсомольцы стали юнкерами, их девушка «в походной шинели» обрела черты княжны Верочки Волконской, а сама знаменитая советская песня предстала перед нами неким подобием шлягера, обретшего популярность как раз вот в эти самые времена аксеновского «Острова Крыма»: «Раздайте патроны, поручик Голицын! Корнет Оболенский, налейте вина!»

Аксенов был едва ли не первым, кто стал оттуда, из новой, эмигрантской своей жизни – по «Голосу Америки» или по «Свободе» – приучать нас к новому, давно забытому, отчасти даже комическому в тогдашних наших жизненных обстоятельствах обращению – «господа». По всем тогдашним его высказываниям, да и по тому же «Острову Крыму» яснее ясного было видно, что он полностью расплевался со всем своим советским прошлым. Без тени сожаления он перечеркнул, напрочь вычеркнул из своей жизни все, что связывало его с прежним, советским его бытием.

Все – кроме «Каховки».

С «Каховкой» он расстаться не пожелал.

Или – не смог.

В девяносто пятом мы с ним вместе были в Самаре. Там проходила какая-то научная конференция по проблемам эмигрантской литературы. Мы приехали туда вчетвером: Аксенов, Войнович, известный немецкий славист Вольфганг Казак и я. Для местных властей конференция эта, как видно, была весьма важным событием, и принимали нас по высшему разряду. Организовали даже прогулку по Волге на маленьком теплоходике, щедро нагруженном яствами и напитками, – традиция, сохранившаяся еще со старых, обкомовских времен. Впрочем, целью этой поездки был не только пикник. Профессор Казак

где-то тут, неподалеку, под Самарой, в 1945-м году провел несколько месяцев в лагере для военнопленных. Ему хотелось полвека спустя вновь посетить эти места.

И вот плывем мы на этом теплоходике, наслаждаемся прекрасной речной прогулкой, и вдруг – уж не помню, как это началось, – кто-то из нас (не могу поручиться, что Вася, но скорее всего именно он) затянул:

По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год...

Все дружно подхватили:

Среди зноя и пыли
Мы с Буденным ходили
На рысях на большие дела.
По курганам горбатым,
По речным перекатам
Наша громкая слава прошла.

Сперва пели вроде как не всерьез. Даже как бы с некоторой насмешечкой. Но постепенно вошли во вкус, об иронии забыли и закончили весело, браво, я бы даже сказал – с полной душевной отдачей:

На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки.
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.

Потом спели «По долинам и по взгорьям»:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед,
Чтобы с боем взять Приморье –
Белой армии оплот...

Потом – «Каховку». Потом – «Орленка». Потом – совсем грустную, но тоже любимую:

И упал он у ног вороного коня,
И закрыл свои карие очи.
Ты, конек вороной,
Передай дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.

И надо было видеть, какой кайф (невольнo перешел на аксеновскую лексику) получал от всего этого Вася. Он просто млеет от наслаждения.

Это так меня удивило, что я не удержался и, воспользовавшись короткой паузой, спросил: неужели он и в самом деле сохранил в душе любовь к этим старым песням?

Закрыв глаза и покачивая головой («нет-нет», как Ван Клиберн за роялем), он ответил одним словом:

– Обожаю!

Вопрос, конечно, можно было и не задавать: все было видно, как говорится, невооруженным глазом.

Одной только ностальгией по стране своего детства это не объяснить. Тем более что Вася, если и был тоже родом из Страны Гайдара, по логике вещей должен был гораздо раньше, чем я, и гораздо решительнее перерезать пуповину, связывающую его с этой его «исторической родиной»: арест отца, арест матери, полузэковское магаданское детство...

Некоторый свет на эту загадку проливает любопытное наблюдение Георгия Федотова:

Перебираешь одну за другой черты, которые мы привыкли связывать с русской душевностью, и не находишь их в новом человеке... Мы привыкли думать, что русский человек добр. Во всяком случае, что он умеет жалеть...

Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни и из русского сердца... Дружным хором ругательств провожают в тюрьму, а то и в могилу поскользнувшихся, павших, готовы сами отправить на смерть товарища, чтобы занять его место. Жалость для них бранное слово, христианский

пережиток. «Злость» — ценное качество, которое стараются в себе развить. При таких условиях им нетрудно быть веселыми. Чужие страдания не отравляют веселья, и новые советские песни, вероятно, не звучат совершенно фальшиво в СССР: «И нигде на свете не умеют как у нас смеяться и любить...»

Последнее наблюдение полностью соответствует действительности. И можно только подивиться, что это сумел почувствовать из своего эмигрантского далёка человек, уже давно (с 1922 года) живущий в Париже и отнюдь не склонный, как это видно даже из приведенного текста, к идеализации советского образа жизни.

Да, в стране повального страха, чудовищного, тотального террора все эти ликующие, до краев наполненные радостью и счастьем слова и мелодии («Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...», «Только в нашей стране дети брови не хмурят, только в нашей стране песни радуют слух...» и т. п.), не звучали тогда фальшиво. Но причина этого загадочного явления была отнюдь не в тотальном ожесточении нации. Проницательно разглядев очень существенную черту мироощущения людей новой, «советской» нации, Федотов не смог найти ей правильное объяснение.

В рассказах людей, прошедших войну, часто повторяется один и тот же мотив. Глядя на поле боя, где лежат тела убитых, человек ловит себя на мысли, что мертвыми людьми он ощущает только своих. Убитые немцы для него вроде как и не люди, потому что они — за пределами его круга внимания (термин Станиславского).

Вот так же и поражавшие Федотова новые русские (советские) люди, распевая: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» — не чувствовали чудовищной фальши этих слов не потому, что были злыми и жестокими, равно как и не потому, что не подозревали о существовании лагерей и тюрем, где мучились и страдали миллионы их соотечественников, но лишь по той единственной причине, что все эти муки и страдания (о которых они, конечно же, знали: как не знать, если списки расстрелянных печатались в газетах) были за пределами их круга внимания.

То есть они как бы и были в поле их зрения, а некоторые из тех, кто с энтузиазмом распевал эти радостные, ликующие песни, даже и сами (или их родители) стали жертвами сталинского террора. Но это было – **другое**. Это были параллельные, совершенно не соприкасающиеся друг с другом миры. И загадочным, необъяснимым тут было только одно: каким образом ухитрялись мы жить одновременно в этих двух не пересекающихся, не сообщающихся друг с другом мирах.

10

В начале 60-х мой друг Эмка Мандель (Н. Коржавин) познакомил меня с замечательной женщиной – Ольгой Львовной Слиозберг. Она была лет на двадцать нас старше, отбыла к тому времени свои семнадцать лет тюрьмы, лагеря и ссылки (там, в ссылке, в Караганде, они с Эмкой и подружились).

Тюремные и лагерные ее рассказы произвели на меня тогда сильное впечатление.

Особенно один из них.

В тюрьме она сблизилась с одной совсем простой, неграмотной женщиной, обвинявшейся, естественно, в троцкизме. И вот однажды эта женщина обратилась к ней за советом. Дошло до нее с воли письмо от дочки. Дочке исполнилось пятнадцать лет, и ей предстояло вступать в комсомол. И она просила мать, чтобы та написала ей: правда ли, что она троцкистка, что злоумышляла против нашей страны, против товарища Сталина. Если правда, она проклянет ее и вступит в комсомол. Если же мать честно напишет ей, что ни в чем не виновата, то вступать в комсомол она ни за что не станет. Девочка признавалась, что ей, конечно, очень страшно думать, что при таком повороте она сразу станет изгоем. (Выражала она это, конечно, другими словами, но мысль была именно такая.) И все-таки, – писала она матери, – лучше бы мне узнать, что никакая ты не троцкистка, не враг народа.

Получив это письмо, мать девочки проревела всю ночь. А наутро попросила Ольгу Львовну написать дочери от ее имени, что все, в чем ее обвиняют, – правда. «Так прямо и напиши, – сказала она. – Вступай, доченька, с чистым сердцем всту-

пай. У тебя перед комсомолом никакой вины нет, а за мать ты не ответчица. Сам товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает».

Ольга Львовна изо всех сил старалась уговорить ее не возводить на себя напраслину, не признаваться в несуществующей вине. Но та твердо стояла на своем.

– Ей жить, – сказала она. – Легкое ли это дело – девчонке знать, что мать сидит ни за что? Нет, пусть уж лучше думает, что я троцкистка.

Эта история особенно сильно меня зацепила еще и потому, что как раз в то время я задумал и даже начал уже писать книгу о Гайдаре. И мне подумалось, что Гайдар повел себя совершенно так же, как мать этой девочки. Он – так же как она – сознательно решил не говорить нам в своих книгах всю известную ему правду о той жизни, которой жила страна. И даже лгать. Но это была ложь во спасение. Совсем как эта оклеветавшая себя простая женщина, он хотел заслонить нас, защитить от знания, которое могло бы расшатать, расколоть светлый мир нашего детства. А может быть, даже и превратить нас во врагов.

Я тогда – сразу же – сказал Ольге Львовне об этом. И спросил у нее, не позволит ли она мне использовать в моей книге о Гайдаре этот ее рассказ.

Она сказала:

– Нет, я бы не хотела хоть каким-то боком в этом участвовать. Я люблю Гайдара, и мне больно, что вы хотите его разоблачать.

Разоблачать Гайдара я, конечно, не собирался: я хотел его понять. Отчасти даже оправдать. Но это уже совсем другая тема. А историю, рассказанную мне Ольгой Львовной, я вспомнил сейчас потому, что она проливает очень яркий свет на ту искаженную, уродливую реальность, в которой складывалось, формировалось мое детское сознание.

И девочка, написавшая матери в тюрьму это письмо, и мать, ответившая ей, были – **нормальные люди**. Обе они понимали, или лучше сказать, чувствовали, что самое страшное для нормальной человеческой психики – это расколотое, раздвоенное сознание. То, что впоследствии Оруэлл в своей знаменитой книге назовет **двоемыслием**.

Эмка Мандель однажды блестяще сформулировал это короткой, экспромтом родившейся в каком-то споре репликой: «Плюрализм в одной голове – это шизофрения». Это была не острота, не просто звонкая фраза или изящный фехтовальный прием. Это был точный медицинский диагноз.

Увы, этот диагноз касался нас всех. У всех у нас – во всяком случае, у большинства из нас – было именно вот такое «шизофреническое», двойное сознание.

Не избежал, кстати говоря, «плюрализма в одной голове» и сам автор этой блестящей формулы.

Незаурядный ум, а может быть, не ум, а мудрость поэтического дара открыла ему глаза гораздо раньше, чем мне. То, что я смутно чувствовал, о чем лишь догадывался, он не только осознал, но и очень рано сформулировал:

Гуляли, целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.
Давил на кнопку, не стесняясь, палец,
И вдруг по нервам прыгала волна...
Звонок урчал... И люди просыпались,
И вскрикивали женщины со сна...
.....
А южный ветер навевает смелость.
Я шел, бродил и не писал дневник.
А в голове крутилось и вертелось
От множества революционных книг.
И я готов был встать за это грудью,
И я поверить не умел никак,
Когда насквозь неискренние люди
Нам говорили речи о врагах...
Романтика, растоптанная ими,
Знамена запыленные – кругом...
И я бродил в акациях, как в дыме.
И мне тогда хотелось быть врагом.

Желание «быть врагом» для человека, которому так ясно открылась истина о происходящем вокруг, было естественным. Никакой иной реакции тут, казалось бы, не могло и быть. Ес-

ли, как сформулировал это для себя в шестнадцать лет мой сверстник Гена Файбусович, «у нас в стране – фашизм», – ничего другого нам не оставалось. Если и не стать врагом в полном смысле этого слова, со всеми вытекающими последствиями, – так по крайней мере осознать, что вся эта окружающая тебя советская реальность, с этими насквозь неискренними людьми, твердящими со всех трибун о мнимых, несуществующих врагах, в самой основе своей тебе **враждебна**.

Но автор процитированных стихов не в силах сделать это:

Иначе писать не могу и не стану я.
Но только скажу, что несчастная мать.
А может, пойти и поднять восстание?
Но против кого его поднимать?

Вот он – вопрос вопросов. **Против кого поднимать восстание?** Против единственной в мире страны победившего социализма?

Нет, это невозможно!

И сразу овладевает им сознание своего (нашего общего) гамлетовского бессилия:

Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь...

Мы не будем увенчаны,
И в кибитках, снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

Не потому мы не сможем (не захотим) поднять восстание, что мы ничтожнее, трусливее тех, кто сто двадцать лет тому назад вышли на Сенатскую площадь, а совсем по другой причине. Потому что тот мир, против которого надо было бы поднять восстание, не только не враждебен, но даже и не чужд нам.

Нет, он не может, не в силах ощутить себя врагом этого ми-

ра, кровинкой которого он привык себя ощущать. И тогда остается только один выход: оправдать всю его несправедную, кровавую жестокость. И даже не только оправдать, но и – воспеть ее, восславить. Как сказано об этом в знаменитой книге Джорджа Оруэлла – **полюбить Старшего Брата**:

Я все на свете видел наизнанку
И пугался в московских тупиках.
А между тем стояло на Лубянке
Готическое здание Чека.

Оно стояло и на мир смотрело,
Храня свои суровые черты.
О, сколько в нем подписано расстрелов
Во имя человеческой мечты...

И в наших днях, лавирующих, веских,
Петляющих, – где вера нелегка,
Оно осталось полюсом советским –
Готическое здание Чека.

И если с ног прошедшего останки
Меня сшибут, – то на одних руках
Я приползу на красную Лубянку
И отыщу там здание Чека.

Приползет, очевидно, чтобы самодонестись. Чтобы сказать, как иронически говорил о себе Юрий Карлович Олеша (но, в отличие от него, без тени иронии): **«Я – не наш!»**

Это была уже самая настоящая истерика. Но истерика как раз и говорила яснее ясного, что веру, которую так не хотелось ему утратить, спасти можно было только вот таким, сверхъестественным, **нечеловеческим** усилием.

Первопричиной этой истерика было естественное для нормального, психически здорового человека стремление **убежать от шизофрении**.

11

Я, в отличие от Эмки, никаких таких попыток никогда не предпринимал. Хотя «шизофренией» этой был болен с самого

раннего детства. Точно определить, когда именно впервые проявился у меня явный симптом этой болезни, я, наверно, не смогу. Сейчас мне кажется, что этот «плюрализм в одной голове» был свойствен мне изначально. Чуть ли не от рождения.

Ну вот, например, такое, как мне сейчас кажется, самое раннее воспоминание.

Мне лет восемь. Мы с отцом выходим из вагона дачного поезда (паровичка, электричек тогда еще не было) на перрон московского вокзала. Рядом идет какой-то дядька, на которого я обратил внимание еще раньше, в вагоне. У него высокий лоб, большие роговые очки, за стеклами которых блестят умные, насмешливые глаза. Обратил я на него внимание, потому что он был очень похож на Ботвинника. Я сперва даже подумал: уж не сам ли это Ботвинник? Он тянул за руку мальчишку примерно моего возраста. Нет, наверно, все-таки мальчишка этот был чуть младше, чем я. Во всяком случае, вел он себя как дошкольник: поминутно озирался, считал ворон и плелся за отцом еле-еле, так что тому приходилось чуть ли не насильно тащить его за собой.

– А ну, поживее! – подбодрил его «Ботвинник». – Не отставай! Знаешь, что сказал один умный человек? Отсталых бьют!

Реплика эта меня поразила.

Я, как вы уже знаете, политически был развит, и поэтому прекрасно знал, что сказал это – не кто иной, как Сталин. Изумило же меня то, что этот лобастый дядька в очках назвал Сталина умным человеком.

Всем классом мы дружно смеялись над глупенькой нашей одноклассницей, которая на вопрос учителя, знает ли она, кто такой Сталин, простодушно ответила: «У буржуев – царь. А у нас – Сталин». В отличие от этой глупой девчонки, все мы прекрасно знали, кто такой Сталин. Вождь мирового пролетариата, Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), гений всех времён и народов... При желании я мог бы припомнить еще много таких определений, и ни одно из них не показалось бы мне незаслуженным, неправомерным. Но определение «умный человек» в приложении к Сталину я воспринял как совершенно неуместное, неправильное, никак к нему не относящееся.

Умным человеком можно было назвать вот этого, похоже-

го на Ботвинника, высоколобого дядьку в очках. Конечно, и самого Ботвинника. (Не будь он умным, разве сумел бы он стать чемпионом СССР по шахматам?) Умным человеком, наверно, был и мой папа, и некоторые (не все, конечно) его друзья, приходившие иногда к нам в гости. Но Сталин? Нет, к нему это определение решительно не подходило.

Вероятно, определение «умный человек» в тогдашнем моем понимании этого слова могло быть отнесено к ученому, профессору, врачу, шахматисту. То есть – к интеллигенту. Сталин же в его сапогах и полувоенном кителе, о котором мой отец пренебрежительно говорил, что в нем пристало ходить в уборную, а не встречаться с иностранными дипломатами, к сословию интеллигентов явно не принадлежал.

Тут, конечно, напрашивался естественный вопрос. И если бы я всеми этими своими недоумениями с кем-нибудь (ну вот, хоть с этим очкастым, похожим на Ботвинника) поделился, мне этот вопрос, конечно, сразу же задали бы. «Подумай, ну что такое ты говоришь! – возразил бы мне, наверно, этот самый «Ботвинник». – Да разве неумный человек мог бы стоять во главе такого великого государства?»

Но меня этот вопрос ничуть бы не озадачил. Я прекрасно знал, как мог бы на это ответить.

Я сказал бы, что руководить государством Сталина назначили вовсе не потому, что он умный человек, а потому, что ТАК НАДО. Так же, например, как руководить «Главсолью» или «Главспичками» назначили не моего папу, а Ивана Ивановича Рощина. Назначили, потому что он – коммунист. Из того, что Иван Иванович член партии, а мой папа беспартийный, конечно, еще не следует, что в производстве соли или спичек он понимает больше, чем мой папа. Но разве дело в этом? У него – заслуги. Он брал Зимний, участвовал в Гражданской войне, потерял на этой войне ногу. Он, безусловно, имеет право быть начальником «Главсоли».

Точно так же обстояло дело и с какой-то грузинкой, назначенной директором музыкальной школы, в которой работал отец. Она, как он утверждал (и тут ему, безусловно, можно было верить), в музыке – ни уха ни рыла. Но ее «бросили» на эту работу («Лучше бы ее бросили на дрова», – сардонически го-

ворил отец), потому что она была коммунисткой. (Отец, правда, намекал, что не последнюю роль тут играло то обстоятельство, что она была грузинкой, то есть принадлежала к той же нации, что и Сталин. Но в это я не очень-то верил.)

На все руководящие должности в стране назначали членов правящей партии – коммунистов. А Сталин был Генеральным секретарем этой партии, ее вождем. Вот поэтому, – а вовсе не потому, что он был умнее других, – он и был назначен на свою должность. Поэтому он и руководит нашим государством.

Год спустя. Мне уже девять лет. Мы с отцом сидим у репродуктора и ждем. Сейчас будет выступать Сталин – делать свой доклад «О проекте конституции». Ожидание томит меня. Мне не терпится поскорее услышать Сталина. И вот наконец торжественно объявляют, что слово предоставляется... Да, да, ему. Товарищу Сталину. Сейчас мы услышим его живой голос, его неповторимый, так умиляющий всех нас грузинский акцент.

Зал где-то там, далеко, – так, во всяком случае, слышится это мне по нашему репродуктору, сквозь все помехи, все потрескивания эфира – взрывается овацией. Она длится долго, неправдоподобно долго. Но в конце концов идет на убыль. Сейчас наконец мы услышим Сталина.

Не тут-то было.

Какой-то тонкий, неестественно тонкий голос пронзительно выкрикивает: «Родному!.. Любимому!.. Всех времен и народов!..» И зал снова взрывается овацией. И так – не один раз, и не два, не три, не четыре, а – много, много раз. Вот, кажется, энтузиазм неистовствующих в том далеком зале уже выдохся... Звякнула пробка графина, слышно, как в стакан льется вода. Он пьет. Сейчас наконец начнет говорить...

Снова кто-то выкрикивает очередной лозунг, и овации опять нарастают, достигают пика, опять постепенно стихают – до следующего, уже, наверно, десятого или пятнадцатого выкрика и нового взрыва «бурных аплодисментов, переходящих в овацию», как завтра будет об этом написано во всех газетах.

Я прекрасно понимаю (во всяком случае, чувствую), что вся эта бесконечно затянувшаяся сцена – насквозь искусственна. Что вовсе не неистовая любовь к вождю движет и теми, кто

выкрикивает лозунги, и теми, кто отвечает на них очередным взрывом оваций. В основе происходящего – заранее написанный и тщательно отрепетированный сценарий. В какой-то момент мне даже начинает казаться, что это не живые люди там сидят и аплодируют и выкрикивают лозунги, что это действует какая-то машина, какой-то умело сконструированный и хорошо отлаженный механизм.

Но странное дело! Мысль, что вся эта невероятно долгая, искусственная, насквозь фальшивая сцена отвратительна, что лучше – и для самого Сталина лучше! – было бы обойтись без нее, эта естественная и, казалось бы, неизбежная в этих обстоятельствах мысль мне почему-то в голову не приходит. Утомительно слушать так долго всю эту тягомотину. Мне скучно. Я устал. Я даже начинаю злиться на устроителей этого балагана. Но при этом ни тени сомнений не возникает у меня в том, что **ТАК НАДО**.

Да, очевидно, все это делается из каких-то высших, мне недоступных, но безусловно важных соображений. Очевидно, иначе нельзя.

Еще одно воспоминание.

1938 год. Мне одиннадцать лет. Я сижу в зале кинотеатра и смотрю фильм «Ленин в 18-м году». Фильм мне нравится. Мало сказать нравится – я влюблен в этот фильм. Я смотрю его, наверно, уже в третий или в четвертый раз. И в четвертый раз я с такой же силой, как в первый, ненавижу Бухарина, который направил чекистов в сторону, противоположную той, куда поехал Ленин. И так же, как в первый, готов растерзать стрелявшую в Ленина Фанни Каплан.

Но дальше следует сцена, которая – тоже уже в четвертый раз – вызывает у меня совсем иное, более сложное чувство.

Раненый Ленин говорит врачу:

– Доктор! Вы коммунист?.. Вы обязаны сказать мне правду. Если рана смертельная, надо немедленно вызвать Сталина.

И вот тут ощущение, что все в жизни было в точности так, как на экране, покидает меня. Мне становится как-то неловко. Да что там – неловко. Это слишком слабо сказано. Мне **стыдно** слушать эту заведомую ложь.

Впоследствии, уже взрослым, вспоминая это свое чувство,

я постепенно уверил себя, что это была реакция на художественную фальшь. Будто бы тонким, безошибочным своим художественным чутьем я уловил эстетическую недостоверность этой сцены – этаким маленьким Станиславским, самостоятельно родивший хрестоматийную реплику великого режиссера: «Не верю!»

На самом деле мой тонкий художественный вкус тут был решительно ни при чем. Я просто знал, совершенно точно знал, что Ленин не мог произнести этих слов. Мне это было ясно как дважды два: о ком угодно мог он вспомнить в тот критический момент – о Троцком, о Зиновьеве, о Бухарине, но только не о Сталине.

Как уже не раз было сказано, я был политически развит. Но этим ранним своим политическим развитием я был обязан не только школе и пионерской организации и не только газетам и журналу «Прожектор». Главным источником моего раннего политического развития были разговоры отца с нашим соседом Иваном Ивановичем, которые они вели постоянно – иногда спохватываясь, что разговоры эти не для моих ушей, но чаще забывая об этом. А у меня ушики были на макушке. И я с жадностью ловил каждое их слово. Особенно то, которое производилось понизив голос, почти шепотом.

Отец и Иван Иванович представляли два противоположных взгляда на нашу жизнь – два лагеря, два полюса. Это проявлялось во всем. Даже в том, что Иван Иванович выписывал «Правду», а отец – «Известия».

Знаменитый проект Козьмы Пруткова «О введении единомыслия в России» уже давно перестал быть утопией и действовал в полную свою силу. Поэтому разницы между «Правдой» и «Известиями» не было, в сущности, никакой. «Правда» имела даже некоторые несомненные преимущества: она выходила ежедневно, без выходных, а у «Известий» по понедельникам был выходной. Но несмотря на это и все другие преимущества «Правды», отец упорно выписывал «Известия»: этим он как бы демонстративно подчеркивал свою политическую позицию – не коммуниста, а беспартийного интеллигента.

До открытого противостояния политических взглядов разговоры отца с Иваном Ивановичем, разумеется, не доходили.

Но в подтексте каждой их беседы всегда была полемика. И всегда на одну и ту же тему. Отец нападал на советскую власть, Иван Иванович ее защищал.

Вот, например, обсуждается только что появившееся постановление ЦК и Совнаркома о недостатках школьного образования. (Это было то самое постановление, по поводу которого был написан знаменитый фельетон Ильфа и Петрова, где из разговора папы с сыном выяснялось, что о Екатерине Второй современный школьник знал лишь то, что она – «продукт развития буржуазных отношений», но понятия не имел, какую она занимала должность.)

Постановление означало возврат от всех дурацких большевистских экспериментов со школьным образованием – назад, к старой русской гимназии.

Папа выражал по этом поводу полное удовлетворение. Иван Иванович тоже (не мог же он выступать против постановления ЦК). Но папа этим не ограничивался. Он развивал тему:

– Где же они раньше были? – спрашивал он. – Ведь давно же всем ясно было, что все эти Дальтон-планы и прочая чепуха только калечат детей!

Иван Иванович в таких случаях обычно отвечал:

– На ошибках учимся.

– Пф! – фыркал папа. – Мы с вами идем и видим – впереди столб. Натыкаемся лбом на этот столб, набиваем себе шишку, останавливаемся и глубокомысленно говорим: «На ошибках учимся». Но позвольте! Ведь и я видел этот столб! И вы! Почему же **они** его не видели?

На этот ехидный выпад Иван Иванович отвечал, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Все эти рассуждения отца он называл куцыми, обывательскими. Иногда даже мелкобуржуазными. Но со мной – в отсутствие отца, постоянного его оппонента, – он и сам нередко вел такие же обывательские речи.

Спрошу я его, бывало, о положении рабочего класса и трудового крестьянства в дореволюционной России. Он – для порядка – ответит казенными газетными фразами, что положение это было неизменно тяжелое. А потом вдруг унесется мыс-

лями куда-то вдаль, улыбнется размягченной блаженной улыбкой и вздохнет:

– Эх, Билюша!.. Знал бы ты, как все было просто... Ветчину эту, колбасу, которую сейчас днем с огнем не сыскать, тогда никто и не брал. Называли: «собачья радость»... За пятак возьмешь стопку водки, а закусывай – сколько влезет. Бесплатно. Никто закуски этой не взвешивал и не считал...

У них с отцом вообще было много общего.

Оба они не признавали безопасных бритв с трудно доставаемыми лезвиями. Оба ловко и быстро брились по-солдатски так называемой опасной, к которой мне строжайшим образом запрещалось даже прикасаться.

Впрочем, бритва – это пустяки. Главным, что сближало отца с Иваном Ивановичем, было то, что оба они жили до революции. «При старом режиме», как говорил отец, или «при Николашке», как говорил Иван Иванович, или «в мирное время», как говорили они оба.

Для меня вся мировая история начиналась в 1917 году. Все, что было до этой даты, я воспринимал как времена доисторические. А они в то доисторическое «мирное» время – уже жили. И даже были тогда уже взрослыми людьми. И поэтому знали про ту доисторическую жизнь что-то такое, чего нельзя было узнать ни из каких книг. Только вот из этих их разговоров.

И вот из этих их разговоров как-то так выходило, что до революции жизнь была лучше, чем сейчас. Во всяком случае, проще, естественнее, **нормальнее** теперешней.

Иван Иванович, правда, проговорившись, быстро спохватывался. Размягченная ностальгическая улыбка сменялась суровым, важным, «партийным» выражением. Лицо его словно бы озарялось светом некоего высшего знания, полученного им – там, в его ком- или промакадемии.

– Зато, – говорил он, строго поднимая палец, – у нас не было химической промышленности. А теперь у нас есть химическая промышленность.

Но была одна тема, при малейшем приближении к которой Иван Иванович и отец сразу становились единомышленниками.

Этой темой был Сталин.

Нет-нет! О том, что сказал потом про Сталина в своем знаменитом докладе Хрущев, а тем более обо всем, что знаем мы про Сталина сегодня, они тогда не говорили. Речь шла совсем о другом...

Сравнительно недавно я читал воспоминания актрисы Е. Тяпкиной о Николае Эрдмане. И один рассказанный там эпизод вдруг сразу, как вспышкой молнии, высветил в моей памяти те давние их разговоры.

В 1925-м году Мейерхольд поставил первую эрдмановскую пьесу – «Мандат». (Тяпкина играла в ней Настю.) И вот однажды на репетиции произошел такой случай. Показывая матери и сестре свой фальшивый, им же самим сострепанный «мандат», ошалевший от собственной смелости Гулячкин (его играл Эраст Гарин) в экстазе выкрикивал:

– Копия сего послана товарищу Чичерину!

Реплика эта была эффектная – под занавес (ею заканчивалось второе действие комедии). А в устах Гарина она прозвучала так, что Мейерхольд смутился. Он сказал:

– Товарищи, все-таки Чичерин такое лицо... Неудобно!..
Надо кого-нибудь помельче.

И предложил заменить Чичерина Сталиным.

Прочитав это, я вдруг вспомнил, как Иван Иванович в ответ на жадные мои расспросы рассказывал мне, что вблизи («вот как тебя») видел всех вождей – и Ленина, и Троцкого, и Каменева, и Зиновьева.

– А этого-то, нынешнего хозяина, сколько раз видел! – закончил он свой рассказ.

И надо было слышать, сколько пренебрежения было в этой реплике, чтобы почувствовать, какой мелюзгой в сравнении с теми, «настоящими вождями» был в его глазах этот «нынешний хозяин».

Отец в разговорах с Иваном Ивановичем не раз повторял, что до смерти Ленина он имени Сталина вообще не слышал. Иван Иванович возражал, но как-то вяло. Потом они долго о чем-то шушукались, и из этого шепотка однажды вылупилась хорошо запомнившаяся мне фраза: «Повар сей любит острые блюда». Отец вскользь заметил, что Ленин выразился именно так, а не иначе, потому что в старой армии поварами, как пра-

вило, были грузины. И тут меня озарило, что фразу эту Ленин сказал про Сталина. А в другой раз из этого их шушуканья выплыло слово «завещание». Потом оно стало мелькать в их разговорах все чаще, и спустя какое-то время до меня дошло, что речь шла о каком-то завещании Ленина, которое зачитывали на Пятнадцатом партийном съезде, на котором Иван Иванович был делегатом. Потом это завещание куда-то делось. Во всяком случае, от партии и от народа его скрыли. А говорилось там, что Сталин груб и поэтому не должен занимать пост Генерального секретаря.

Все это я постепенно сложил из их реплик, подслушанных в разное время, как в раннем детстве складывал, бывало, из своих детских кубиков цельную картинку.

Так или иначе, картинка сложилась довольно ясная. И вот поэтому-то я и не мог – никак не мог! – поверить, что Ленин считал Сталина своим единственным и законным наследником.

Я понимал, что из Сталина искусственно делают вождя. Понимал даже, что все эти выкрикиваемые пронзительными голосами здравицы в его честь, портреты, искусственно подогреваемые многочасовые овации и даже самая знаменитая, чуть ли не ежедневно повторяемая фраза – «Сталин – это Ленин сегодня», – что вся эта вакханалия как раз потому-то и нужна, что настоящих, законных прав на то, чтобы называться «Лениным сегодня», у Сталина как раз и не было. Но самым интересным и самым необъяснимым в тогдашних моих представлениях было то, что, зная и понимая все это, я ни разу, ни на секунду не усомнился в том, что ТАК НАДО.

Больше того! Как я уже говорил, читая печатавшиеся в газетах отчеты о больших московских процессах, я твердо знал, что ни Каменев с Зиновьевым, ни Бухарин с Рыковым, конечно же, не были предателями, за деньги продавшимися иностранным разведкам. Но в необходимости самих этих судебных процессов и суровых приговоров при этом не сомневался. Да, конечно, они не были теми чудовищами, которыми их изображали. Но они были против Сталина. Они были его врагами. Может быть, даже и в самом деле не прочь были бы отстра-

нить его от власти, выполняя то самое завещание Ленина. Но – законно или незаконно, а так уж случилось, что Сталин – это Ленин сегодня. И поэтому выступать против Сталина – это значит бороться с советской властью, вредить советской власти, быть врагами советской власти. А с врагами, как сказал тот же Сталин, мы будем поступать по-вражески. Ничего не поделаешь: ТАК НАДО.

Вспоминая себя одиннадцатилетнего, и двенадцатилетнего, и четырнадцатилетнего, и даже шестнадцатилетнего, я теперь и сам с трудом понимаю, как все это могло уживаться в моем сознании, не разрушив, не разодрав, не взорвав всю тогдашнюю мою систему координат, всю мою ориентацию в мире. Насколько умнее – нет, дело не в том, что умнее, – насколько нормальнее меня был мой сверстник Гена, который довел свои сомнения до логического конца и пришел к выводу, что у нас в стране фашизм, и Ленин, будь он жив, сидел бы в тюрьме вместе с Троцким, Зиновьевым, Бухариным и другими своими соратниками.

Обретя эту новую, гораздо более ясную и стройную систему координат, я мог бы с тем же волнением, что и прежде, слушать свою любимую песню – «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных...».

Впрочем, нет! Все равно не мог бы. Слова – «Мы с вами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах» – и в этом случае звучали бы фальшиво: ведь те, кого бы я в этом случае считал своими товарищами, ни при какой погоде уже не могли бы оказаться вместе с нами, в наших первомайских колоннах. Да и разве мыслимое это дело – быть заодно и с жертвой и с палачом? Не отречься от тех, кого объявили врагами, и в то же время не разорвать и свою связь с теми, кто призывал «поступать с ними по-вражески»? Такой «плюрализм в одной голове» был бы уже не метафорической, а самой что ни на есть настоящей, доподлинной шизофренией.

Хотя, что значит – **был бы?** **Был!** Без всякого сослагательного наклонения.

Мне рассказывали, что Зинаида Николаевна Пастернак (жена Бориса Леонидовича) с восторгом говорила, что ее дети больше всех людей на свете любят Сталина, а потом уже – ее, Гарика (первого ее мужа, Генриха Нейгауза) и Борю. И ей совсем не казалось диким и ничуть ее не оскорбляло, что в иерархии сердечных привязанностей ее маленьких сыновей Сталин безоговорочно занимает первое место, и только на втором и третьем идут родители.

Замечательное высказывание это говорит о многом. И свидетельствует оно отнюдь не только о некоторой – скажем так – умственной ограниченности его автора. Скорее наоборот: оно свидетельствует о том, что душа Зинаиды Николаевны была очень чутким барометром (или сейсмографом, уж не знаю, название какого прибора тут более уместно). Жена великого нашего поэта очень верно почувствовала (и сформулировала) основу основ сталинской системы ценностей.

Сталин, как известно, учился в духовной семинарии и следовательно хорошо знал известную формулу Христа, записанную в Евангелии от Матфея: **«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня... Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее».**

Я не берусь судить о том, какой смысл вкладывал в эти слова Спаситель (или записавший их евангелист), но Сталин в эту свою претензию (а она у него, безусловно, была: тут, пожалуй, уместно вспомнить, что в газетах победоносного 45-го года Сталина неоднократно именовали Спасителем – с большой буквы) вкладывал смысл очень определенный. Он имел в виду, что любить его больше, чем отца и мать, – недостаточно. Надо еще быть готовым **предать отца и мать**. Совершивший такое предательство «ради Него» не только не потеряет душу свою, но, напротив, сбережет ее.

Высшей формой понимания – принятия в душу свою – этой сталинской претензии и самым лучшим ответом на нее был **Подвиг Павлика Морозова**.

«Подвиг» этот (хоть он и именовался подвигом, то есть

чем-то исключительным, из ряда вон выходящим) ни в коем случае не следует рассматривать как явление уникальное и даже редкое: это был **образец поведения для всех**.

Когда я работал в «Пионере», позвонил мне однажды Лев Эммануилович Разгон и сказал:

– Не сердитесь, пожалуйста! Я послал к вам одну женщину. Она пишет рассказы... Рассказы, между нами говоря, довольно слабые. Но я вас прошу: будьте с нею поласковее. Если не сможете ничего отобрать, так хоть откажите ей как-нибудь помягче: она, бедняга, только-только вернулась. Отсидела двадцать лет...

Двадцать лет! Это произвело на меня впечатление.

Оттуда возвращались тогда многие. Но максимальный и чаще всего мелькавший в разговорах на эту тему срок отсидки определялся цифрой семнадцать. Сам Лев Эммануилович тоже отсидел ровно семнадцать лет. А тут – двадцать!

Естественно, я ожидал, что по этой рекомендации Разгона ко мне явится изможденная, быть может, даже дряхлая старуха.

Явилась, однако, весьма привлекательная молодая женщина. Молодая даже по тогдашним моим понятиям.

– Сколько же вам было, когда вас... Когда вы... И как вы ухитрились загреметь на целых двадцать лет? – не удержался я от вопроса.

И она рассказала такую историю.

Дело было в 1934 году (а не в тридцать седьмом, как у всех: отсюда и двадцать лет вместо семнадцати). Ей было девятнадцать лет, она была, как говорили тогда, на пионерской работе. Попросту говоря, была пионервожатой. Пописывала разные очерки и статейки, печаталась иногда в «Пионерской правде». То есть – была уже как бы на виду. И вот в награду за все эти ее комсомольско-пионерские заслуги послали ее на лето пионервожатой в знаменитый пионерский лагерь «Артек».

Работа эта ей нравилась, детей она любила, легко и хорошо с ними ладила, поскольку и сама была ненамного старше своих питомцев.

Но однажды произошел такой случай.

Созвал всех вожатых к себе в кабинет начальник лагеря и сделал им такое сообщение.

– Завтра, – сказал он, – к нам прибывает партия детей, повторивших подвиг Павлика Морозова. И мы должны устроить им торжественную встречу.

Все приняли это как должное. А если кто и удивился, то виду не подал, понимая, что возражать тут не приходится. Не смолчала только она – моя рассказчица.

– Понимаю! – прервал я ее рассказ. – Вы не удержались, наговорили им сорок бочек арестантов, сказали, как это чудовищно, когда сын доносит на родного отца, а общество не только поощряет доноительство, но даже объявляет это подвигом...

– Нет, – покачала она головой. – Ничего подобного я им тогда не сказала. Да по правде говоря, я тогда так и не думала. Я сказала всего лишь, что дети эти, конечно, герои: они действительно совершили подвиг, поступили как подобает настоящим пионерам, верным ленинцам. Но все-таки, сказала я, донести на родного отца или на родную мать – не просто. Для нормального ребенка это огромная душевная травма. Поэтому, сказала я, мне кажется, что не следует устраивать этим детям торжественную встречу. Да и вообще не стоит им напоминать об этом их подвиге. Надо просто принять их в наш коллектив и сказать всем нашим ребятам, чтобы они были к ним повнимательнее, чтобы ни в коем случае не заводили никаких разговоров на эту деликатную тему, ни о чем таком их не расспрашивали...

Ей, конечно, дали суровый отпор. Начальник лагеря сказал, что выступление ее по существу является антипартийным, что его даже следовало бы рассматривать как вылазку классового врага. Но зная ее как хорошего работника, настоящую комсомолку, преданную делу партии Ленина-Сталина, он считает возможным на первый раз ограничиться замечанием.

Тем бы, наверно, дело и кончилось. Но упрямая девчонка на этом не успокоилась.

Под впечатлением услышанного она сочинила рассказ о мальчике, который донес на своего отца, а когда отца арестовали, промучившись несколько дней угрызениями совести, не выдержал, кинулся в озеро – и утонул.

Мало того. Сочинив этот рассказ, она прочла его своим пиотцам на пионерском костре.

Ну, и тут, конечно, уже ничто не могло ее спасти.

Судьба этой несчастной женщины, конечно, тоже меня впечатлила. Но более всего тогда поразило меня в ее рассказе, что детей, повторивших подвиг Павлика Морозова, было так много.

В тот день, который сыграл столь роковую роль в ее судьбе, их прибыла в Артек целая партия. Человек, наверное, тридцать или даже сорок. Но ведь были и другие дни. И Артек был хотя и главным, но все же не единственным пионерским лагерем в Советском Союзе. Прикинув мысленно, сколько же детей, повторивших подвиг Павлика Морозова, могло оказаться во всей нашей необъятной стране, я пришел в ужас.

На самом деле, однако, ужасаться надо было не этим поразившим меня цифрам.

Ужасаться надо было тому, что чуть ли не все население нашей страны состояло из Павликов Морозовых. Все мы в той или иной степени были Павликами Морозовыми.

Взять хотя бы вот эту несчастную девочку, про которую рассказала мне Ольга Львовна Слиозберг.

Ей смертельно не хотелось становиться Павликом Морозовым. Она честно написала матери, что лучше бы все-таки оказалось, что та никогда не была троцкисткой. Пусть уж лучше она окажется изгоем в этой стране, только бы не пришлось ей отречься от своей матери, предавать ее. Но если все-таки окажется, что мать – троцкистка, что ее арестовали не зря... Тогда... Что ж! Тогда никакого другого выхода у нее уже не будет. Тогда, не раздумывая, она откажется от матери и останется со всей страной, с партией, с комсомолом, с товарищем Сталиным.

А Александр Трифонович Твардовский даже и колебаться не стал. Сразу отказался от родителей, когда их выслали, хоть и твердо знал, что никаким кулаком его отец никогда не был. И – мало того! – убедил себя в том, что Тот, Главный его Отец, отправляя на медленную мученическую смерть с миллионами других ни в чем не повинных крестьян и его родителей, БЫЛ

ПРАВ. Прав той самой своей, «нележкой временами, крутой и властной правотой».

В сущности, каждый из нас стоял перед этим страшным выбором – предать или не предать родного отца.

Знаменитая сталинская формула – «Сын за отца не отвечает» – казалась тогда верхом великодушия. Она вполне всех устроила бы, если бы не была чистейшей воды лицемерием. Повторяя ее как заклятие, в глубине души все мы прекрасно знали, что при случае ответим за все: и за отца, и за двоюродную бабушку, и даже за то, что нам приснилось однажды в каком-нибудь странном и нелепом сне, который и сам Зигмунд Фрейд не исхитрился бы расшифровать.

Двойственность этой формулы и всю чудовищность протекающей из нее психологической коллизии с предельной наглядностью обнажил Илья Ильф в одном раннем своем рассказе:

Иногда мне снится, что я сын раввина. Меня охватывает испуг. Что же мне теперь делать, мне, сыну служителя одного из древнейших религиозных культов?

Как это случилось? Ведь мои предки не все были раввинами. Вот, например, прадед. Он был гробовщиком. Гробовщики считаются кустарями. Не кривя душой, можно поведать комиссии по чистке, что я правнук кустаря.

— Да, да, — скажут в комиссии, — но это прадед. А отец? Чей вы сын?

Я сын раввина.

— Он уже не раввин, — говорю я жалобно. — Он уже снял..

Что он снял? Рясу? Нет, раввины не снимают рясы. Это священники снимают рясу. Что же он снял?..

Я поеду домой, к отцу, к раввину, который что-то снял. Я потребую от него объяснений. Будет крупный разговор..

В том-то вся и штука, что знаменитая сталинская формула была не только лицемерна. Она отражала самую суть тех исключительных обстоятельств, в которые нас загнали, в которых нам приходилось жить. Истинный смысл формулы заклю-

чался в том, что каждый должен был в любой момент быть готовым к тому, чтобы отречься от отца, от всех своих связей, от своего собственного прошлого, и лишь тогда, став в каком-то смысле идеальным членом этого удивительного общества, он получит право надеяться, что общество, быть может, посмотрит сквозь пальцы на эти разорванные, но все же когда-то ведь существовавшие связи.

Формула «Сын за отца не отвечает» вполне устроила бы нас, если бы с нами играли честно. Если бы декларируемое в ней великодушие было истинным, а не фальшивым. Мы не понимали тогда, что формула эта безнравственна в самом своем существе. Потому что на самом деле СЫН ЗА ОТЦА ОТВЕЧАЕТ. Только нравственный урод, недочеловек, ублюдок может искренно, от души стремиться к тому, чтобы НЕ ОТВЕЧАТЬ за своего отца. Нормальному человеку такое насилие над собой – не под силу.

Блудный сын возвращается домой. Блудный сын в толстовке и людоедском галстуке возвращается к отцу. Стуча каблуками, он вбегает по лестнице из вареного мрамора на четвертый этаж... Сын не видел отца десять лет. Он забыл о предстоящем крупном разговоре и целует отца в усы, пахнущие порохом и селитрой.

Отец тревожно спрашивает:

– Тебе надо умыться? Пройди в ванную.

В ванной темно, как десять лет назад, когда вылетевшие стекла заменили листом фанеры. Ничего в отцовской квартире не изменилось за десять лет.

В темноте я подымаю руку кверху (там была полка и лежало мыло в эмалированной лоханочке), и рука находит мыло.

Зажмурив глаза, я могу пройти по всей квартире, не зацепившись за мебель. Память уберезет меня от столкновения со стулом или самоварным столиком. Закрыв глаза и лавируя, я могу пройти в столовую, взять налево и сказать:

– Я стою перед комодом. Он покрыт полотняной дорожкой. На нем зеркало, голубой фарфоровый подсвечник и фотография моего брата...

Отец стоит рядом со мной, поправляя пороховые усы...

Такого отца надо презирать. Но я чувствую, что люблю его...
Позор, я люблю раввина!

Сердце советского гражданина, гражданина, верящего в строительство социализма, трепещет от любви к раввину, к бывшему орудию культа. Как могло это произойти? Яблочко, яблочко, скажи мне, с кем ты знакомо, и я скажу, кто тебя съест...

И съели бы. Со всеми потрохами.

Да, дело шло о жизни и смерти – ни больше ни меньше. И тем не менее, все решилось сразу, в один миг: сын почувствовал, что у него неостановится сил отмежеваться от родного отца. Он только воскликнул с безнадежностью отчаяния:

– Зачем, зачем ты был раввином?

И тут (такое, увы, могло быть только во сне) все вдруг разъяснилось самым счастливым образом.

– Я никогда не был раввином, – удивленно ответил отец. – Тебе это приснилось. Я бухгалтер, я герой труда...

Приснится же, в самом деле, такая чушь человеку!

Сон кончается мотоциклетными взрывами и пальбой. Я просыпаюсь радостный и возбужденный. Как хорошо быть любящим сыном, как приятно любить отца, если он бухгалтер, если он пролетарий умственного труда, а не раввин.

К сожалению, не всем советским гражданам, даже свято верящим в строительство социализма, в отцы достались пролетарии умственного труда. Некоторым не повезло: их родители действительно были раввинами. Или попами. Или дьяконами. Или просто имели несчастье петь когда-то в церковном хоре. И с невезучими детьми этих недалёковидных родителей все то, что с героем рассказа Ильфа случилось во сне, происходило наяву. Я уж не говорю о том, что и от пролетариев умственного – да и не только умственного – труда тоже приходилось отречься, если случалось им попасть в кровавую сталинскую мясорубку. А кто был от этого застрахован?

Нет, не зря, совсем не зря Зинаида Николаевна Пастернак говорила, что ее дети Сталина любят больше, чем ее и Борю.

Сыновья Зинаиды Николаевны (старшие; младший, Ленечка, родился в 1937 году, поэтому в середине тридцатых любить Сталина еще не мог) были моими сверстниками. Но я не могу себе представить, чтобы моя мама – не говоря уже об отце – сказала про меня такую глупость.

О любви к Сталину у нас вообще не было речи. Хотя...

Когда я был совсем маленьким и давился манной кашей или супом, а мать хотела впахнуть в меня еще хоть несколько ложек, она, бывало, говорила:

– Ну, еще одну... За папу... А эту – за маму... Теперь за бабушку... За Еву (это была младшая, самая любимая моя тетка)... А теперь – за Сталина... Нет-нет, еще одну, последнюю – за Ворошилова... Ну, ладно, самую-самую последнюю – за Калинина...

Выплюнуть кашу, которую мне предлагалось съесть за Сталина или Ворошилова, я не отваживался и, преодолевая отвращение, проглатывал и пятую, и шестую ложку. Но даже если считать, что в этом проявлялась моя любовь к Сталину и Ворошилову, следует все-таки признать, что Сталин и Ворошилов в маминой иерархии семейных авторитетов занимали все-таки не первое и второе, а в лучшем случае пятое и шестое место.

Из этого, однако, не следует, что всенародный психоз обошел меня стороной.

Я тоже рос (и не только рос, но и вырос) Павликом Морозовым.

Вспомните душевные терзания моего двойника – Борьки Сазонова:

... Мой отец никогда не работал с Дзержинским. Он работал...

Вот так всегда! Всякий раз, когда мне приходилось отвечать на вопрос, где работает мой отец, я краснел, заикался и не знал, что ответить.

Все наши ребята хвастались отцами. С нарочитой небрежностью произносили они звучные, иногда короткие и простые, а чаще длинные и малопонятные слова:

– Мой батя работает на «Шарикоподшипнике».

- А мой отец в Цэсэу...
- А мой в Главпуре РККА!

Не каждый из нас знал, что Главпур РККА — это значит «Главное политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Да и те, кто знал, наверное, не очень ясно представляли себе, что это такое — «Главное политическое управление». Но все мы понимали, что люди, работающие в учреждении с таким названием, делают что-то очень важное. Не просто важное, а важное для революции.

Тогда все измерялось этой мерой. Если человеку хотели сказать, что его поступок не имеет решительно никакого значения, ему говорили: «Революция от этого не пострадает». А разве пострадала бы революция, если бы ушел с работы мой папа?

Он был преподавателем консерватории. Это слово — «консерватория» — казалось мне таким же противным и старорежимным, как мое имя.

У нас дома на стене тоже висели фотографии. Но это были совсем другие фотографии, не похожие на ту, что я видел у Фельки. На одной из них отец был снят в очень твердом, подпирающем шею крахмальном воротничке и в галстуке бабочкой. На другой — в высокой фуражке с кокардой с блестящим козырьком. В таких фуражках до революции ходили студенты консерватории.

Я стыдился профессии отца. Мне казалось унижительным и глупым, что большой, взрослый мужчина, вместо того чтобы быть военным, моряком или летчиком, занимается таким не настоящим, не мужским делом.

Это был первый, еще очень робкий, но все-таки шаг к тому, чтобы мой герой стал Павликом Морозовым.

Пока еще он отца ни в чем плохом не подозревает. Он только стыдится его и — втайне — мечтает о том, чтобы у него был другой папа. То есть он уже предал отца — пока еще не на деле, а только в сердце своем.

Но за первым шагом следует второй:

Я стал рыться в столе и наткнулся на фотографии. Они были совсем не интересные, не фронтовые. На табуретке сидит здоровенный толстомордый парень в начищенных до блеска сапогах.

Рядом с ним стоит такая же здоровая, наверное, очень краснощекая, девушка. На обороте очень крупными каракулями написано: «На память Николаю Петровичу от Афанасия и Веры».

— Пап, это кто? Это же не на фронте, а ты говорил, что здесь фронтовые...

Отец оторвался от нотного листка, взглянул на фотографию и улыбнулся:

— Это мой денщик со своей невестой.

— Денщик? — Я был поражен. — У тебя был денщик?..

Я бы, конечно, так скоро не оставил его в покое, но тут мне на глаза попала еще одна фотография. Да, уж тут не могло быть никаких сомнений — это была настоящая, фронтовая! У сломанного дощатого забора стоят трое военных. Один из них — отец. У всех на фуражках — круглые маленькие кокарды, на плечах — погоны.

С ужасом, не веря, что это может оказаться правдой, я спросил:

— Па, ты был белый?

— Что?! — Отец поднял голову от нотного листка. — Что за чушь ты городишь?

— А почему погоны?

— Ну ей-богу! Ты ведь не маленький. Должен знать. Это было еще в империалистическую. Я служил в старой армии. Тогда все носили погоны...

— Но ты был офицер? У тебя был денщик, значит, ты был офицер!..

Тут до «подвига Павлика Морозова» совсем уже недалеко.

Справедливости ради надо сказать, что, в отличие от своего героя, я никогда не завидовал ребятам, отцы которых работали на «Шарикоподшипнике», в ЦСУ или Главпуре РККА. И никакого Феликса Кононенко, отец которого работал с Держинским, в моей жизни тоже не было. И никогда в жизни я не подозревал моего отца в том, что он был «белый». Все это я выдумал. Выдумал, наверно, как раз для того, чтобы показать, как близок был мой герой к Павлику Морозову.

Стало быть, я тут ни при чем?

Да, вроде — ни при чем. Хотя... Выдумать-то я это выдумал,

но все-таки не высосал из пальца. Что-то такое во мне все-таки было. Какую-то крохотную искорку, еле-еле тлевшую в детской моей душонке, я в себе обнаружил и – расшевелил, раздул ее, претворив в эту выдуманную сцену.

Нет, все-таки я таким не был. До откровенного предательства, даже такого крохотного, на которое оказался способен мой герой, я все-таки не дошел.

Но значит ли это, что я был умнее и лучше моего героя?

Умнее – может быть. Своего Борьку Сазонова я и в самом деле – сознательно или неосознанно – в сравнении с собой сильно оглупил.

Но лучше?

Нет, на самом деле я был хуже, гораздо хуже своего героя.

Ведь он свое маленькое предательство совершил в детстве. И тогда же, в детстве, изжил, задушил в себе Павлика Морозова.

А я, сам того не подозревая, оказался Павликом Морозовым уже будучи вполне взрослым человеком, – когда сочинял вот эти самые свои рассказы.

Герой рассказа Ильфа даже во сне не смог отмежеваться от своего отца. А почему? Что ему помешало?

Ему помешала память. Память сердца, которая, как известно, сильнее печальной памяти рассудка.

Ему помешало то, что рука его **сама** знала, где находится эмалированная лоханочка, в которой лежало мыло. И то, что, закрыв глаза, он мог бы пройти по старой отцовской квартире, безошибочно сказав, что вот сейчас он стоит перед комодом, покрытым полотняной дорожкой. А на комодe – зеркало, голубой фарфоровый подсвечник и фотография...

Но ведь и я, когда писал свои рассказы, тоже мог бы, закрыв глаза, вспомнить комнату моего детства. Пианино, на котором стояли старинные бронзовые часы с фигуркой крестьянского мальчика, сидящего на бронзовой лошадке. Он сидел на ней боком, свесив ноги, и я любил глядеть на его маленькие бронзовые ступни.левой рукой он обнимал маленький снопик бронзовых колосьев, а правой придерживал лежащее на коленях бронзовое птичье гнездо с крохотными яичками. На корпусе – слева – из бронзовых завитушек высывалась крохотная рогатинка, на которой висел медный ключик: им – точно

раз в две недели – отец заводил часы. Делать это надо было медленно, совершая ровно десять полных оборотов, чтобы, не дай бог, не лопнула пружина.

Перед часами – гуськом – шли друг за другом семь маленьких мраморных слоников – один другого меньше. Слева и справа от часов стояли две узкие стеклянные вазы, в которые мама иногда ставила цветы (особенно запомнилась почему-то ветка мимозы). А перед вазами – в рамочках – фотографии. На одной – я, совсем маленький, годовалый. На другой – дед, которого я живьем ни разу не видел, с усами и бородкой, как у французского короля Генриха Четвертого, – тот самый дед, в честь которого меня назвали бы Феликсом, если бы я родился на шесть лет позже...

Но моя «память сердца» не помешала мне в одно мгновение, легко и просто отречься от всех этих аксессуаров моего детства и выдумать, будто мой герой (то есть – я) уходил терзать свою домажорную гамму к соседям, потому что у них (в отличие от нас!) был рояль.

Впрочем, это мелкое предательство было совершеннейшим пустяком по сравнению с изменой, совершенной мною во втором моем рассказе.

Я постыдился описать моего отца таким, каким он был. Я предал его, сочинив себе другого отца, который, провожая нас в эвакуацию, не прыгнул в последний момент в теплушку, чтобы уехать с нами, а, отправив нас, ушел в ополчение и погиб.

Не знаю, не помню, что я думал тогда об этом, и думал ли вообще. Но совершенно очевидно, что где-то в глубине своего сознания (или подсознания) я верил, что не найти в себе сил расстаться со мною и с мамой, не смочь бросить нас одних на произвол непонятной военной судьбы – было **неправильно**. А записаться в ополчение и бессмысленно, без всякой пользы погибнуть в первые же месяцы войны или попасть в плен вместе с миллионами окруженцев, загубленных наложившим в штаны величайшим полководцем всех времен и народов, – вот это было бы **правильно**.

Вот и выходит, что и я тоже был одним из тех, кто – пусть не на деле, а только в сердце своем – но все-таки **повторил подвиг Павлика Морозова**.

ХОДИТ ПТИЧКА ВЕСЕЛО...

Живем мы весело сегодня,
А завтра будет веселей.

Советская песня 30-х годов

1

В Литературном институте, где я учился, преподаватели были самые разные. Были среди них блестящие университетские профессора, ученые мирового класса – такие, как Валентин Фердинандович Асмус, Сергей Михайлович Бонди, Сергей Иванович Радциг, Александр Александрович Реформатский... Были персонажи совершенно реликтовые, неведомо как сохранившиеся в многочисленных советских чистках.

Одной из самых колоритных фигур среди этих последних был Сергей Константинович Шамбинаго: он читал нам фольклор и древнюю русскую литературу. Это был тучный, очень старый, даже дряхлый, как нам тогда казалось, человек. На кафедре он восседал в академической ермолке. Плечи его всегда были прикрыты каким-то ветхим пледом.

Удивил он нас сразу, на первой же своей лекции. Она была посвящена краткому обзору всех школ и направлений русской фольклористики. Заканчивался этот перечень изложением основных принципов исторической школы. А последняя реплика профессора была такая:

– Поскольку ученики мои, братья Соколовы, теперь марксисты, то выходит, что глава исторической школы сейчас я.

Чтобы вот так вот прямо, во всеуслышание объявить себя

отказавшимся примкнуть к великому учению, в то время надо было быть либо человеком редкостного мужества, либо – окончательно выжившим из ума. Мы склонились к последнему объяснению. Дальнейшее, более близкое наше знакомство с Сергеем Константиновичем это предположение как будто бы подтвердило.

Однажды во время одной из его лекций (каждый из нас занимался чем-то своим: кто сочинял стихи, кто читал какую-нибудь книгу, кто – сладко дремал) вдруг раздался выстрел.

Все встрепенулись.

Шамбинаго тем же спокойным тоном, с той же интонацией, с которой он только что говорил про храброго Мстислава, «иже зарѣза Редедю предъ пълкы Касожьскими», произнес:

– Кто-нибудь, пойдите и узнайте, что произошло.

Кто-то из студентов радостно подхватился, выскочил из аудитории, быстро вернулся и доложил:

– Володя Львов застрелился! Из учебной винтовки! От несчастной любви!

Забегая вперед, тут надо сказать, что Володя Львов тогда не застрелился, а только ранил себя, даже своими ногами дошел до машины «скорой помощи». И девушка, из-за которой он пытался покончить с собой, потрясенная этим его поступком, вышла за него замуж. Из института его, правда, исключили: за поступок, несовместимый с высоким званием советского студента.

Но в тот момент, когда мы услышали, что Володя Львов застрелился, никто всего этого еще не знал. И все мы, естественно, подумали, что попытка самоубийства удалась, что застрелился Володя насмерть. И реагировали соответственно.

Но Шамбинаго выслушал эту информацию совершенно невозмутимо. И тем же тоном, каким только что читал нам лекцию, – произнес:

– Алексей Александрович Шахматов в молодые годы без памяти влюбился в дочь Ивана Александровича Бодуэна де Куртене. Ну-с... Соответственно, сделал ей предложение руки и сердца. Она ему, изволите ли видеть, отказала. Он же не только не застрелился, но написал совершенно замечательную работу «Вводная часть к учению о предложении», ставшую впо-

ледствии главой его книги «Синтаксис русского языка». Всем вам советую следовать этому примеру, а не то вырастете оболтусами а la Алексис Толстой.

По правде говоря, последняя перспектива нас устраивала гораздо больше, чем почтенный пример А.А. Шахматова. Необыкновенным талантом Алексея Николаевича Толстого все мы искренне восхищались. По какой причине старик Шамбинаго считал его оболтусом, не догадывались. Как не догадывались и о том, что это определение нравственных качеств только что почившего классика на самом деле было еще сравнительно мягким. Мы просто сочли эту реплику нашего профессора очередной чудаческой выходкой славного, но уже окончательно выжившего из ума старика.

Потом, кстати, выяснилось, что неприязнь старого профессора к Алексею Николаевичу Толстому была вызвана причинами сугубо личного свойства. Алексей Николаевич, как оказалось, однажды публично осрамил его, высказавшись о нем в таком духе:

– А этого старика, – будто бы сказал он про Сергея Константиновича, – надо утопить в мужской уборной на станции Жмеринка.

И после короткой паузы (большой был шутник) добавил:

– После сам же будет благодарить.

Профессор Шамбинаго был, конечно, чудачком. Но монстром он не был.

А были среди наших преподавателей и совершенные монстры, даже нас, невежд, поражавшие вопиющей своей неграмотностью.

Безусловным лидером среди последних был заведующий кафедрой военного дела полковник Львов-Иванов. Многие его словесные перлы стали нашей институтской легендой, передававшейся из поколения в поколение. Один из них (о Манделе, который сидит без штанов и пишет стихи в мужском общежитии, а в женском – «та же картина») уже промелькнул на этих страницах. Еще более знаменитым было такое его заявление, вызвавшее бурное веселье мужской и смущенное хихиканье женской части нашего студенческого коллектива:

– Предупреждаю! Студентки, не удовлетворившие на-

чальника кафедры военного дела, к экзаменам допущены не будут.

Полковник, впрочем, был человек славный. Редкостной доброты и даже, я бы сказал, редкостного по тем временам душевного благородства. Чего не скажешь о некоторых других наших преподавателях, словесные перлы которых тоже записывались и со смехом повторялись институтскими остряками.

Особенно славились такими перлами профессора, преподававшие нам «науку наук».

Старый большевик Ветошкин, читавший курс основ марксизма-ленинизма, на первом же занятии ошеломил нас сообщением, что марксизм не появился на свет в готовом виде, как Венера из головы Юпитера. Имелась в виду, понятное дело, не Венера, а – Минерва. Но разбираться в тонкостях античной мифологии нашему лектору было не с руки. У него были совсем другие, куда более важные заботы: надо было постоянно следить за быстро меняющейся картиной истории ВКП(б), которую он нам преподавал.

Помню, сдавая ему зачет и рассказывая о том, как в партии дебатировался знаменитый вопрос о явке Ленина на суд, я брякнул, что за явку голосовали Каменев и Зиновьев.

– Каменев, Каменев, – поправляя меня, буркнул Ветошкин.

– Ну да, Каменев и Зиновьев, – повторил я, не понимая, чем я ему не угодил: эти два деятеля всегда поминались у нас парой, как сиамские близнецы.

– Каменев, Каменев, – снова недовольно буркнул Ветошкин. Но как-то неуверенно буркнул, словно бы про себя. И какая-то странная страдальческая гримаса исказила в этот миг его лицо.

Лишь много лет спустя я понял, где тут была зарыта собака. В отличие от меня, Ветошкин знал, что Зиновьев, прятаящийся вместе с Лениным в шалаше, никак не мог в то время выступать за явку Ленина на суд. Но прямо сказать мне об этом несчастный профессор боялся: а черт его знает, какая нынче на этот счет установка? Может, недотепа-студент лучше знает, почему нынче ходят эти мертвые души? Пролить свет истины на мое невежество он не посмел, но нечаянный мой поклев на Зиновьева был для него – как фальшивый звук для музыканта.

Еще более колоритной фигурой был профессор Шестаков, читавший нам курс истмата и диамата. На любой его лекции можно было отметить не менее десятка разных комических словесных оборотов, каждый из которых мог соперничать с самыми яркими перлами полковника Львова-Иванова.

– Среди жителей Полинезии, – задумчиво и даже с некоторым изумлением сказал он однажды, – считаются вполне допустимыми такие аморальные поступки, как, например, людоедство.

При этом он очень хотел выглядеть человеком не только цивилизованным, но даже и не чуждым каких-то художественных, литературных интересов. Как-то раз во время лекции, прогуливаясь между рядами, он взял из рук одного студента томик Пастернака, который тот увлеченно читал, заглянул в него, и тут же весьма находчиво вставил в свою лекцию стихотворную цитату:

– Вот так, – сказал он, – выражаясь словами поэта, образ входит в образ, и предмет сечет предмет...

Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма профессор Леонтьев, в отличие от этих своих коллег, был человек грамотный. Речь его удручала своей унылой правильностью, не оживлялась ни единым ляпом, и на лекциях его мы тосковали: записывать за ним было нечего.

• Но одно его замечательное высказывание я все-таки запомнил.

Шла знаменитая кампания по борьбе с космополитизмом.

Профессор Леонтьев важно восседал на председательском месте за столом президиума, а вокруг бушевал самый что ни на есть доподлинный суд Линча.

– В президиум поступила записка, – вдруг возгласил профессор, – в которой утверждается, будто под видом борьбы с космополитизмом наша партия ведет борьбу с евреями.

Зал притих. В том, что дело обстоит именно так, никто не сомневался. Отрицать это было трудно. Однако и признать справедливым такое клеветническое утверждение было невозможно. Все с интересом ждали, как профессор вывернется из этой, им же самим созданной тупиковой ситуации. (Если даже такая записка и в самом деле была послана в президиум собра-

ния, отвечать на нее было совсем не обязательно: никто не тянул профессора за язык, не заставлял зачитывать ее вслух.)

Убедившись, что аудитория готова внимать его объяснениям, профессор начал той самой классической фразой, к которой прибегал обычно в таких случаях во время своих лекций:

– Товарищ Сталин нас учит...

И, раскрыв специально принесенный из дому сталинский том, он торжественно прочел заранее заготовленную цитату:

– «Советский народ ненавидит немецко-фашистских захватчиков не за то, что они немцы, а за то, что они принесли на нашу землю неисчислимые бедствия и страдания».

И, назидательно подняв вверх указательный палец, заключил:

– Вот так же, товарищи, обстоит дело и с евреями.

2

Это была присказка. Сказка, как водится, впереди. Но некоторые персонажи, помянутые в этой присказке, и в самой сказке будут играть немалую роль. В особенности этот самый Леонтьев.

Не могу утверждать, что именно ему принадлежала в ней роль главного злодея, да и в развитии центрального ее сюжета роль его была, быть может, не так уж и велика. Но началось все именно с него. Точнее – с зачета по основам марксизма-ленинизма, который я должен был ему сдать – и не сдал.

В то утро, наскоро позавтракав и убегая в институт, я второпях надел рубашку наизнанку. С того дня я стал суеверным. Насчет других дурных примет (черной кошки, разбитого зеркала) я еще сохраняю толику скепсиса, но в то, что рубашка, надетая наизнанку, неизбежно влечет за собой крупные неприятности, а может быть даже и большую беду, верю твердо. Потому что с этой дурной приметы, которой в тот роковой день я не придавал никакого значения, начались едва ли не самые крупные мои жизненные потрясения и передраги.

Итак, махнув рукой на дурную примету, я примчался в институт и одним из первых сунул нос в аудиторию, где за сто-

лом вместо милого, добродушного, либерального Ветошкина восседал сам завкафедрой – профессор Леонтьев.

Это, впрочем, ничуть меня не смутило. Зачета я не боялся.

Я не боялся его по многим причинам.

Во-первых, все наши профессора были до чрезвычайности либеральны. У меня на этот счет был уже кое-какой опыт.

Первый наш студенческий экзамен мы сдавали уже известному вам Сергею Константиновичу Шамбинаго.

Нас было четверо: неразлучные тогда Бондарев и Бакланов, Гриша Поженян и я. Экзамена этого все мы очень боялись и, чтобы победить свой страх, не стали дожидаться официально назначенного дня, а решили пойти навстречу этому суровому испытанию, встретить его, так сказать, грудью. Договорившись по телефону и заручившись согласием профессора проэкзаменовать нас досрочно, мы отправились к нему домой.

Трое из нашей четверки пришли в институт с войны, и только я один – прямо из школы. Поэтому я среди друзей считался эрудитом. Как я уже сказал, представления наши о древней русской литературе были весьма туманны, и на военном совете было принято такое решение: как только по ходу экзамена кто-нибудь из нас начнет плавать, я (как самый насвистанный) сразу задам профессору какой-нибудь хитроумный вопрос и таким образом отвлеку его внимание от бедственного положения товарища.

И вот мы пришли.

Не успели мы войти и толком поздороваться, как я получил от кого-то из друзей резкий удар локтем в бок. Намек я понял: ребята жутко трусили и мне предлагалось вопрос мой задать сразу же, немедленно, чтобы заранее, еще до экзамена расположить к нам профессора, по возможности смягчить его суровость.

Не придумав ничего лучшего, я сказал:

– У нас к вам вопрос, Сергей Константинович. Какой перевод «Слова о полку Игореве» вы считаете лучшим?

– Мой! – яростно рявкнул старик.

Усадил нас рядком на диван и долго объяснял, чем именно

все другие переводы «Слова» уступают его, единственно верному переложению и толкованию великого памятника древней русской письменности.

Тогда это показалось нам несколько странным и даже слегка нескромным, но вскоре к таким чудачествам наших профессоров мы привыкли. Вот, например, директор нашего института Федор Васильевич Гладков, который вел у нас семинар прозы, не уставал всякий раз напоминать нам, что подлинным основоположником социалистического реализма был именно он, а никак не Горький.

Закончив свои разъяснения насчет того, какой перевод «Слова» следует считать лучшим, Шамбинаго выстроил нас в шеренгу, прошелся перед нами и бодро спросил:

– На войне все были?

Я хотел было заикнуться, что не все, но, не успев и слова вымолвить, получил еще один – довольно сильный – удар локтем в бок. После чего мы хором гаркнули:

– Все!

– Все раненые?

Мы снова гаркнули:

– Все!

– Раны к погоде болят? – последовал вопрос.

Так же хором мы ответили:

– Болят!

– Ну, ладно. Давайте ваши зачетки, – сказал профессор. И, усевшись за стол, медленным старческим почерком вывел нам всем по пятерке.

Впоследствии выяснилось, что поведение старика Шамбинаго было не личным его чудачеством, а своего рода системой.

Почти все мои однокашники по Литинституту прошли войну. Там, понятное дело, им было не до книг. Да и то, что пришлось им прочесть до войны, в школьные годы, тоже порядком выветрилось из их голов. А чтобы сдать экзамены – и по античной литературе, и по новой западной, да и по классической русской тоже, – прочесть надо было тьму книг. О многих из них мы даже и не слыхивали. А до классической формулировки родившегося в более поздние времена анекдота про

чукчу («Чукча не читатель, чукча – писатель») никто из нас тогда еще не додумался.

Сдавали мы экзамены поэтому, пользуясь краткими устными пересказами содержания великих книг.

Перед экзаменом, бывало, кто-нибудь подходил к более начитанному товарищу и говорил:

– «Мадам Бовари»... Только быстро... в двух словах...

И более начитанный вкратце излагал сюжет классической книги.

Самым начитанным у нас считался Володя Кривенченко по прозвищу «Секс». Никто даже уже и не помнил его настоящего имени, так все его и звали: «Секс Кривенченко».

Про него даже придумали, что он – «Секс Первый» – король страны, именуемой «Сексляндией». Самый великий писатель этой страны был – «Шекспир». Главное растение, произрастающее в ней, – «сексаул». Национальный музыкальный инструмент – «сексафон». И так далее...

Прозвища же этого Кривенченко удостоился совсем не потому, что был он какой-нибудь там сексуальный гигант, или – боже упаси! – сексуальный маньяк. Просто, когда кто-нибудь перед экзаменом подбегал к нему со словами:

– «Ромео и Джульетту»... только быстро...

Он лениво спрашивал:

– Тебе с сексом? Или без секса?

Многие, конечно, предпочли бы услышать пересказ знаменитой шекспировской драмы «с сексом». Но, находясь в остром цейтноте, соглашались и на усеченный вариант.

Профессора наши к вопиющему нашему невежеству относились снисходительно. Смотрели на него сквозь пальцы.

Самым большим либералом считался Валентин Фердинандович Асмус, читавший нам историю философии и логику.

Поэт Виктор Гончаров, умудрившийся проучиться в Литинституте то ли восемь, то ли девять лет (никак не мог сдать госэкзамены), о Валентине Фердинандовиче высказался однажды так:

– Асмус – это философ!.. Гуманист!.. Меньше тройки никогда не поставит!

Но были профессора даже еще более либеральные. О сле-

пом профессоре Бочкареве, читавшем нам историю государства Российского от Гостомысла, ходил, например, такой анекдот.

– Скажите-ка мне, голубчик, – спрашивал он будто бы у студента, – вокруг какого города в тринадцатом веке стали объединяться русские княжества? Ну, ну... Ведь вы же знаете... Вы не можете этого не знать... Ну?... Мо... Мос... Правильно, Москва... Ну, давайте вашу зачетку, голубчик.

Спустя полвека, читая дневники Всеволода Вячеславовича Иванова, я наткнулся там на упоминание о профессоре Бочкареве:

1943 год. 4 февраля. Четверг.

Вечером приходил проф. Бочкарев, слепой, старый, с узкими плечами, в черном костюме и грязной рубашке. У него длинный, грязный нос, обветшалая седая борода, – говорит он, не слушая вас. Я, например, пытался вставить что-то от себя в беседу, – он делал паузу, а затем продолжал свое. К концу разговора я понял – отчего это. Три дня тому назад он получил известие о смерти сына – сержанта 35 лет, убитого на фронте. Старик, конечно, весь в этой смерти, она свила в нем свое гнездо прочно. И рассказывая о себе, он как бы перекликается с сыном. Я должен написать о нем в «Учительскую газету». Он выразил желание прийти ко мне. По глупости своей, я полагал, что он читал меня. Но, конечно, он не читал, да и вообще кроме газет и научных книг ему ничего не читают. Во всяком случае, он ни слова не сказал о беллетристике. Правда, он ничего не говорил об искусстве. Это – узкий специалист, и притом специалист-популяризатор. И вместе с тем в нем есть что-то, я бы сказал, тупо-благородное, вроде того как бывают тупо-благородны и красивы глупые борзые собаки.

Я помогал в передней надеть ему шубу – с меховой подкладкой. Он сказал:

– Между прочим, эта шуба принадлежала Петру Кропоткину. Он мой дед. Я получил ее по наследству. – И быстро проговорил: – Не трудитесь, Всеволод Вячеславович, не трудитесь.

Я сказал:

– Помилуйте. Я помогаю не только вам, но еще и держу шубу Кропоткина. Двойное удовольствие.

Уходя, он добавил, что прадеды его Н. Карамзин и партизан Дохтуров. У них в семействе хранится бокал с надписью о 1812 годе.

(Всеволод Иванов. Дневники. М., 2001. С. 255)

Знал бы я, что этот нелепый, впавший в детство слепой старик – внук Кропоткина и правнук Карамзина, может быть, смотрел бы на него совсем другими глазами?

Да нет, вряд ли.

Имена Кропоткина и даже Карамзина тогда мне мало что говорили. Да и не в знаменитых именах тут было дело. Сама мысль, что серьезный человек может гордиться своими предками, представлялась мне тогда смешным предрассудком. В лучшем случае – простительной слабостью, как у Пушкина. С восторгом повторял я знаменитую реплику наполеоновского маршала, который на вопрос какого-то дворянчика – «А кто ваши предки?» – гордо ответил:

– Я сам предок!

Нет, скорее всего, славная родословная профессора Бочкарева, даже если бы она была мне известна, не заслонила бы тех анекдотов, которые про него рассказывали. Тем более, что анекдоты эти вовсе даже и не казались мне анекдотами. В анекдотический рассказ о том, как он принимал экзамены, легко можно было поверить: такое происходило у нас на каждом шагу.

Вот вам – на первый случай – уже не анекдот, а эпизод, которому я сам был свидетелем.

Гриша Поженян сдавал экзамен по западной литературе. Принимала экзамен милая и довольно молодая дама по фамилии Симонян. (Много лет спустя мы узнали, что в юности она принадлежала к кружку самых близких друзей Солженицына – в юные, студенческие его годы.) Выпало Гришке отвечать про Анатоля Франса. И даже не про Анатоля Франса вообще, а про какой-то определенный период творчества знаменитого французского писателя.

Франса Гришка как раз читал. Но более или менее отчетли-

во помнился ему один только его рассказ – «Кренкебиль», который он почему-то называл «Керкенбиль». Изложению содержания этого рассказа он и посвятил свой ответ. Симонян терпеливо его выслушала, а затем устало сказала:

– Ну хорошо. Это вы знаете. Но вы ничего не сказали о том периоде творчества Анатоля Франса, о котором я вас спрашивала. Не буду вас мучить, ответьте только на один вопрос: какое произведение писателя является переломным для этого периода?

Гриша, не задумываясь, ответил:

– Рассказ «Керкенбиль».

Симонян вздохнула.

– Ну хорошо, – сказала она. – Давайте вашу зачетку. Но на всякий случай запомните, пожалуйста, что переломным для этого периода творчества Франса был роман «На белом камне».

– А я считаю, – не терпящим никаких возражений тоном парировал Поженян, – что переломным в творчестве Франса был рассказ «Керкенбиль».

Симонян поняла всю беспочвенность своих претензий, и на этом дискуссия закончилась. Последнее слово осталось за Поженяном.

Кое-кого из профессоров невежество «писателей», не стремящихся становиться «читателями», все-таки угнетало.

Особенно хорошо запомнилась всем нам душераздирающая сцена, главным героем которой был Саша Межиров. Был он в то время уже довольно знаменитым молодым поэтом, и знаменитость эта даже выплеснулась далеко за пределы нашего института. Тем не менее он был еще студентом, и, как всем нам, ему приходилось сдавать экзамены.

И вот сдавал он экзамен по античной литературе Сергею Ивановичу Радцигу. Сергей Иванович был либерал из либералов, и сдать ему древнюю греческую литературу не составляло труда. Но Саша Межиров древней греческой литературой в те поры не интересовался. У него были тогда совсем иные интересы. И он, что называется, – **поплыл**. Сергей же Иванович, вовсе не желая его топить, а напротив, стараясь не дать ему утонуть и даже помочь выплыть, кинул ему такой спасательный круг:

– Хорошо, голубчик, ответьте мне, пожалуйста, только на один вопрос, и я вас отпущу. Скажите: что было изображено на щите Ахилла?

Задавая этот вопрос, Сергей Иванович был уверен, что уж на него-то легко ответит каждый. Но Саша, увы, и тут оказался не на высоте. Он молчал, как убитый.

И тут Сергей Иванович не выдержал.

– Поэт Межиров! – воскликнул он. – Как же вы можете жить, не зная, что было изображено на щите Ахилла?!

И он разрыдался. Не как-нибудь там фигурально, а самым натуральным образом. Настоящие, взаправдашные слезы текли по его розовым щечкам и белой профессорской – клинышком – бороде.

Тут надо сказать, что впоследствии Саша Межиров стал одним из самых образованных литераторов своего поколения. Думаю, что не ошибусь даже, сказав, что одним из самых образованных членов Союза советских писателей. Последнее, впрочем, было не так уж трудно. Александр Трифонович Твардовский, сказавший, что члены этой организации составляют две неравные группы: одна из них – безусловно меньшая – состоит из тех, кто читал «Капитанскую дочку», другая же – гораздо бльшая – из тех, кто эту пушкинскую повесть никогда не читал, – был не очень далек от истины.

Но это – так, к слову...

История про то, как Саша Межиров довел до слез профессора Раддига, стала одной из самых знаменитых наших литинститутских легенд. Но в моей памяти она оставила особенно глубокий след, потому что однажды и со мной тоже произошло нечто очень на нее похожее.

Сдавал я экзамен по русской литературе XIX века. Экзаменовал меня Ульрих Рихардович Фогт. Благосклонно выслушав мой рассказ о творчестве Гоголя, он спросил:

– А книгу Андрея Белого о Гоголе вам читать не приходилось?

Я ответил, что нет, к сожалению, не приходилось.

– Может быть, какие-нибудь другие книги Андрея Белого вы читали?

Нет, и других книг этого писателя я тогда, конечно, не читал.

Это, наверно, легко сошло бы мне с рук, если бы я ограничился кратким ответом. Но черт меня дернул, признавшись, что нет, не читал, сверх того еще и брякнуть:

– Он ведь не входит в программу.

И тут Фогт не выдержал. Лицо его болезненно сморщилось, и он сказал:

– В программу!.. Не входит в программу!.. Боже мой!.. И это говорит человек, желающий стать писателем!

3

Но все это было позже. Гораздо позже. А на первом курсе – за спинами своих друзей-фронтовиков – я постепенно обрел довольно наглую уверенность, что нет на свете такого экзамена или зачета, который я бы не сдал, – какими бы скудными и даже жалкими ни были мои знания по сдаваемому предмету.

Ну а кроме того, было у меня еще одно соображение, которое окончательно укрепило мою убежденность, что никакими неприятностями предстоящий зачет по основам марксизма-ленинизма мне не грозит.

Зачет, думал я, это ведь не экзамен. Тут только два варианта: сдал – не сдал. Чтобы сдать, достаточно ответить на тройку. Ну а уж на тройку-то я отвечу с закрытыми глазами!

Эта моя легкомысленная уверенность проистекала из очень простого расклада. В билете (так объяснили мне уже сдававшие) – два вопроса. Первый – по так называемым первоисточникам. А второй – по истории партии. Первоисточники я знал хорошо. Даже с некоторым превышением. В то время я увлекался философией, с интересом читал не только «Материализм и эмпириокритицизм», но даже и ленинские «Философские тетради». Какой бы вопрос по первоисточникам мне ни достался, уж тут я блесну, – думал я. Ну а если даже, отвечая на второй вопрос, буду плавать, – не беда. Тройку-то я все равно заслужу. А для зачета больше и не надо.

Первая часть этого проекта осуществилась полностью. Мне

досталось именно то, о чем я мечтал, и я действительно блеснул эрудицией. Леонтьев благосклонно кивал головой, не дал договорить до конца, сказав, что эту тему я знаю блестяще, и попросил перейти ко второму вопросу. Ну, и тут я, конечно, поплыл.

Историей партии я заинтересовался несколько позже. С жадностью читал протоколы партийных съездов. (У Ивана Ивановича они были все до одного: пылились на этажерке, неразрезанные.) И каждый такой протокол я глотал, как детективный роман. Еще бы! В каждом ведь раскручивался очередной виток великой исторической драмы. И в каждом таком витке обнаруживались все новые и новые захватывающие дух подробности. Из одного протокола я, например, узнавал, что в яростной оппозиции к Сталину была Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина. В другом наткнулся на ошеломляющие речи Троцкого и Каменева, в которых постоянно мелькали не только ссылки на утаенное ленинское завещание, но даже и прямые цитаты из этого завещания.

Да, то было захватывающее чтение.

Но все это было потом. Года два спустя. А в тот день, когда я сдавал свой первый зачет по марксизму-ленинизму, история партии для меня была – что темный лес. Не то чтобы я поленился прочесть «Краткий курс». Нет, я его, конечно, читал. Но из этого «курса» никак нельзя было понять, чем один партийный съезд отличался от другого. Все они на что-то там нацеливали, а какой нацеливал на коллективизацию, какой на индустриализацию – поди, запомни...

Короче говоря, отвечая на второй вопрос, я позорно провалился.

– К сожалению, зачет принять я у вас не могу, – сказал Леонтьев.

Я был потрясен. По моим твердо усвоенным школьным понятиям, если я на первый вопрос ответил на пятерку, а на второй, положим, даже на двойку, так уж тройка-то во всяком случае выходила. Но тут, по-видимому, действовали какие-то другие, неведомые мне, не школьные законы. Это показалось мне чудовищной несправедливостью, что я тут же и выложил экзаменатору:

– Ведь вы же сами только что сказали, что по первоисточникам я вам ответил блестяще!

– А «Краткий курс истории ВКП(б)» – это, между прочим, тоже первоисточник, – жестко оборвал меня Леонтьев.

– Вы схоласт! – кинул я ему в ответ и с высоко поднятой головой покинул поле сражения.

Победителем, однако, я себя при этом не чувствовал. Понимал, что эта выходка так просто мне с рук не сойдет. Но я даже и не подозревал, какая вокруг этого вскоре заварится каша.

Фразу профессора Леонтьева насчет того, что «Краткий курс» – это тоже первоисточник, я воспринял как проявление скучного профессорского педантизма: разве можно было сравнить этот унылый примитивный учебник с такими вершинами философской мысли, как «Коммунистический манифест», «Тезисы о Фейербахе», «Анти-Дюринг» и «Диалектика природы»? Я воспринял эту его реплику примерно так же, как воспринимал рассказы старшекурсников о причудах профессора Поспелова, который неукоснительно требовал, чтобы, отвечая ему, положим, про «Анну Каренину», студент непременно сообщил, в каком году, и в каком журнале, и в каких именно номерах этого журнала печатался знаменитый толстовский роман.

На самом же деле реплика профессора Леонтьева несла в себе совершенно иной, неизмеримо более глубокий – **политический** смысл.

При выходе в свет «Краткого курса» было объявлено, что книга эта создавалась специальной Комиссией ЦК ВКП(б), то есть неким безымянным авторским коллективом. В этом был определенный смысл. Все предыдущие учебники, написанные разными авторами (Емельяном Ярославским, например, или еще кем-нибудь и подписанные их именами) тем самым раз и навсегда отменялись как субъективные, а значит, ошибочные. А этот новый, безымянный труд, на котором стоит гриф высшего партийного ареопага, является истиной в самой последней инстанции. Последней не в том смысле, что завтра может появиться какой-нибудь новый, дополненный или исправленный вариант. Нет, это была не последняя, а **окончательная** истина. То есть не подлежащая уже ника-

ким, даже самым мельчайшим, самым микроскопическим уточнениям.

Отсутствие имени автора было возведено таким образом в некий принцип. В этой безымянности книги была едва ли не главная ее сила.

Исключение было сделано только для одной – четвертой – ее главы: «О диалектическом и историческом материализме». О ней сразу стало известно, что написал ее лично товарищ Сталин. И глава эта, естественно, тотчас же была объявлена вершиной марксистской философской мысли.

Но как раз в то самое время, когда я сдавал профессору Леонтьеву свой злополучный зачет, в печати стала мелькать другая формула. Упомянув «Краткий курс», его вдруг стали именовать «гениальным трудом товарища Сталина». То есть «товарищ Сталин» – пока еще не совсем официально, поскольку на обложке и титуле книги вместо имени автора по-прежнему значилась безликая «Комиссия ЦК ВКП(б)», – уже был объявлен автором не только четвертой главы, но и **всей книги**. А это автоматически означало, что книга эта по своему значению никак не ниже, а может быть даже и выше (поскольку это самое последнее слово марксистской мысли) и «Коммунистического манифеста», и «Диалектики природы», и «Анти-Дюринга», и «Материализма и эмпириокритицизма».

Вот какой глубинный смысл имела брошенная мне профессором Леонтьевым реплика насчет того, что «Краткий курс» – это тоже первоисточник.

Так что каша, я думаю, после той моей выходки все равно бы заварилась. Но, будучи порядочным балбесом, я в эту, только еще начинавшую завариваться кашу, кое-что еще и добавил. Подлил, так сказать, масла в огонь.

Собственно, был я даже не балбесом, а той самой глупенькой птичкой, о беспечном поведении которой некогда был сложен известный стишок:

Ходит птичка вселю
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий.

Проваленный зачет надо было – уж не помню, в какой срок, но довольно быстро – пересдать. Понимая, что после моего хамства Леонтьев нарочно будет меня «сыпать», – может быть, даже, проявив особое коварство, захочет посрамить меня и на том плацдарме, где я чувствовал себя вполне уверенно, – я на этот раз решил готовиться серьезно. И вот однажды, в процессе этой подготовки, шел я по институтскому коридору, еле удерживая в руках объемистую стопу толстенных томов Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. У подоконника, где толпились обычно наши поэты, читавшие, отчаянно завывая, друг другу самые свежие, только что родившиеся свои шедевры, мое появление встретили веселым смехом. (Вы только поглядите, мол, на этого зубрилу, первого ученика.) Поддавшись этому веселью, я поднял повыше обременяющие меня тома классиков и, сделав вид, будто совсем изнемогаю под их тяжестью, брякнул:

– Вот, понаписали на мою голову, а мне теперь все это учить!

Девичий голос в ответ хихикнул. Кто-то из ребят коротко хохотнул. Я пошел дальше, неся свой груз, и на миг встретил глазами чей-то внимательный несмеющийся взгляд.

Но никакое дурное предчувствие в тот момент не кольнуло меня. И даже в самом страшном сне не приснилось бы мне тогда, как вскоре отольется мне эта моя беспечная дурацкая фраза.

4

Недавно мне позвонил корреспондент «Известий» и попросил ответить на вопрос: «Что вы считаете самой большой авантюрой в вашей творческой карьере?»

Мысленно перебрав самые разнообразные обстоятельства моей долгой жизни в литературе, я в конце концов остановился на таком ответе:

– То, что при советской власти я решил стать литературным критиком.

Когда газета вышла в свет, выяснилось, что я с этим своим ответом оказался в очень интересной и весьма почтенной

компании. На тот же вопрос отвечали – блистательная опереточная дива Татьяна Шмыга, знаменитый актер и певец Вахтанг Кикабидзе, главный режиссер Ленкома Марк Захаров, Юлий Ким и, наконец, – «Рашид, авантюрист-профессионал с Даниловского рынка».

Все ответы моих коллег – непрофессиональных авантюристов – были хороши. Но ответ «авантюриста-профессионала» был просто очарователен:

Авантюра, я знаю, – нехорошее слово, не люблю. Хотя, если с другой стороны посмотреть, вся жизнь авантюра, да? А в моем деле какое может быть творчество – из ничего сделать миллион. Дешево купить – дорого продать. Это авантюра?.. Это не авантюра, это торговля, камерсия... Не знаю, какой ишак сказал – деньги не пахнут... Кинзой пахнут, укропом пахнут, реханом... А самый, может, и небольшой, но умный авантюра, когда мой брат Тофик просит за пучок две тысячи, а я рядом – полторы. Берут у меня, хорошо берут! Потом Тофика зеленень тихо-тихо перекаладываем ко мне, пока все не продадим.

Рашид этим простодушным своим рассказом, конечно, всех нас положил на лопатки. И не потому даже, что любителю никогда не победить профессионала, а по той простой причине, что он не старался ответить остроумно, а рассказал все – как есть. Чистую правду.

Впрочем, друзья, позвонившие мне в тот день, чтобы поздравить меня с тем, что я попал в такую замечательную компанию, мой ответ тоже хвалили. За краткость, которая, как известно, сестра таланта. Ну, и за остроумие тоже.

Между тем я – совсем как Рашид – даже и не думал острить. Я, как и он, сказал чистую правду. То, что в 1946 году я решил стать профессиональным литератором, было даже не авантюрой. Это было чистой воды безумием.

Не могу не вспомнить тут прямо относящийся к этой теме рассказ моего друга Шурика Воронеля.

Когда я с ним познакомился (это было в начале 60-х), он произвел на меня впечатление прирожденного ученого-естест-

венника. Он был влюблен в свое призвание физика-экспериментатора, суть которого, как он мне объяснил, состояла в том, чтобы задавать вопросы природе. И этому своему призванию он был верен. Верен настолько, что не только себе, но и коллегам – сотрудникам, ученикам – не позволял ни на миг изменять ему ради других склонностей и увлечений, какими бы почтенными эти склонности и увлечения ни были.

Одному молодому физику, увлекшемуся самиздатом и правозащитной деятельностью, он даже сказал:

– Вы должны решить для себя, кем вы хотите быть: ученым или профессиональным революционером. Два эти рода деятельности несовместимы. Наука требует человека целиком.

Сам он, однако, этому принципу не последовал. В какой-то момент стал «профессиональным революционером» и даже начал издавать подпольный журнал «Евреи в СССР», из которого потом вырос и поныне выходящий в Иерусалиме журнал «22». (Шурик и сейчас его главный редактор.) Позже он написал несколько книг и множество статей на темы философские, исторические и даже литературоведческие.

Но тогда до всего этого было еще далеко. Тогда он был – повторю еще раз – преуспевающим физиком-экспериментатором, перед которым только-только открылись весьма заманчивые научные перспективы: он был приглашен тогда на какую-то очень интересную и престижную работу в Дубну и не на шутку этой работой был увлечен. И тем не менее, уже тогда мне показалось, что в физике ему как-то тесно. В разговорах наших – а разговаривали мы часами и, если бы это было возможно, вели бы наши бесконечные разговоры сутками, не прерываясь даже для ночного сна, – доминировали темы сугубо гуманитарного свойства.

Это было так для меня удивительно, что однажды, не удержавшись, я сказал ему:

– Признайтесь, ведь по главным, самым тайным своим душевным склонностям вы совсем не естественник! Типичный гуманитарий: историк, философ. И как это только вас угораздило стать физиком?

Вопрос, разумеется, был риторический. И я ожидал, что Шурик в ответ только улыбнется своей милой застенчивой

улыбкой. Риторический вопрос ведь потому и называется риторическим, что не требует ответа.

Но Шурик на этот мой риторический вопрос ответил. В ответ на него он рассказал мне такую историю.

В девятом классе, сколотив группу единомышленников, он стал выпускать с ними рукописный журнал. Журнал был скорее литературный, но отчасти и политический. Хотя – какая там могла быть у них политика! Ну, писали, что комсомол стал организацией не столько идейной, сколько формальной. Что нужна какая-то другая молодежная организация, в которую принимались бы только ребята, по-настоящему одушевленные великой идеей переустройства мира. Настоящие, пламенные революционеры... И хотя все эти идеи в основе своей вполне укладывались в официальную идеологию, – во всяком случае, никак ей не противостояли, напротив, хотели ее оживить, влить в ее омертвелую плоть толику молодой, свежей крови, – деятельностью молодых романтиков заинтересовались в «Министерстве Любви». И всех их, разумеется, забрали.

Было следствие, после которого их отправили – к счастью, не в лагерь, а в детскую исправительную колонию.

Там, само собой, тоже было не сладко. Но на эту тему Шурик в своем рассказе особенно распространяться не стал. Он только сказал, что пробыл в той колонии сравнительно недолго: чуть меньше года. А потом вернулся в свой девятый класс.

А когда он учился уже не в девятом, а в последнем, десятом классе, его маму неожиданно вызвали в «Министерство Любви». И там с нею провел беседу очень милый и, – как ни странно, – на редкость доброжелательный полковник. Он спросил, как поживает ее сын, как он учится, какие у него интересы, какие планы после окончания школы: куда намерен он поступать.

Мама Шурика ответила, что настроение у сына хорошее. Все свои ошибки и заблуждения он полностью осознал. Учитя хорошо. Из всех школьных предметов больше всего любит историю и поступать собирается на истфак.

– Так вот, – сказал ей на это полковник. – Мой вам совет: употребите все ваше влияние и во что бы то ни стало убедите сына поступать не на истфак, а на какой-нибудь естественный

факультет. Пусть займется химией. Или физикой. Только – ни в коем случае – не историей, не философией и – упаси господи! – не литературой. А иначе он обязательно к нам вернется. Вы меня поняли?

Мама Шурика очень хорошо его поняла. И употребила все свое влияние. И – что самое удивительное – Шурик внял совету полковника. (При его характере он вполне мог и заартачиться. Но тут, видно, сыграл свою роль опыт, полученный в исправительной колонии: попасть снова в учреждение, подведомственное «Министерству Любви», ему совсем не хотелось.)

Так он стал физиком. Что, впрочем, не уберегло его от новых встреч с сотрудниками этого славного Министерства.

Но тут уж дело было не в профессии, а – в характере.

У меня характер не такой крутой, как у Шурика. В «профессиональные революционеры» я никогда не лез. Но, как сказал однажды Асеев Маяковскому, «в строчках я, кажется, редко сойду». А это тоже было опасно. Не меньше, чем в XIX веке выходить на Сенатскую площадь.

К сожалению (а может, к счастью?), мне в моей юности не повстречался полковник, который предупредил бы меня – или моих родителей, – куда может меня привести так опрометчиво выбранная мною жизненная стезя.

Впрочем, будь я хоть немного поумнее (или повзрослее), я мог бы и сам об этом догадаться.

Едва я, вчерашний школьник, робко переступил порог Литературного института, в котором мне предстояло учиться пять лет, как жизнь тотчас же преподала мне свой первый урок.

Урок был весьма внушительный.

В первый же день всех нас – студентов и преподавателей, желторотых первокурсников и начинающих лысеть аспирантов – согнали в актовЫй зал на торжественное собрание. Оно было посвящено только что грянувшему – как гром среди ясного неба – постановлению ЦК «О журналах «Звезда» и «Ленинград». В зале царила душливая атмосфера погрома. От слов, летевших в зал из президиума – всех этих жутких,

пахнущих тюрьмой и лагерем слов – «бдительность», «безыдейность», «литературный подонок» (про Зощенко), «полумонахиня, полублудница» (про Ахматову) – меня должно было бросать то в жар, то в холод. Но, опьяненный своим первым жизненным успехом (меня ведь приняли в ТАКОЙ институт, и приняли БЕЗУСЛОВНО!), я воспринимал все это примерно так же, как зощенковская жена отнеслась к смерти любимого мужа: «А, думает, ерунда...»

Глупенькая птичка сделала свой первый шаг по тропинке бедствий.

Но это общеинститутское собрание было мероприятием официальным. Его можно было понять как некий неизбежный, но все-таки чисто формальный поклон в сторону государственной литературной политики. Поклонились, перекрестились, отбарабанили все полагающиеся слова и лозунги, и – жизнь возвращается на круги своя. Живем дальше!

Жизнь, однако, – на сей раз уже не общегосударственная, а наша, локальная, институтская жизнь, – не замедлила вскоре преподать мне свой второй урок.

Это был «Вечер одного стихотворения». Такие вечера, как мне объяснили, тут устраивали постоянно. Это была давняя институтская традиция.

В каждом таком вечере обычно принимали участие все институтские поэты. А их у нас была – тьма. И каждый подымался на кафедру – а может, правильнее сказать на трибуну – и читал какое-нибудь одно свое стихотворение.

Костя Левин на трибуну не поднялся. Он встал с нею рядом.

Все наши ребята-фронтовики ходили тогда еще в стареньких гимнастерках, в потертых своих офицерских кителях. Но Костя был в штатском: в хорошо выглаженных серых брюках, в таком же аккуратном сером пиджаке.

– Нас хоронила артиллерия, – негромко сказал он. И в зале сразу стало очень тихо.

Это было название.

Все стихотворение я, конечно, не запомнил. Но некоторые строки и сейчас, полвека спустя, помню дословно, словно услышал их только вчера:

Она выламывалась жерлами,
Но мы не верили ей дружно
Всеми обрубленными нервами
В натруженных руках медслужбы.

Мы доверяли только морфию,
По самой крайней мере – бромю.
А те из нас, что были мертвыми, –
Земле, и никому другому.

Стихи эти ошеломили меня. Они резко выделялись на фоне всех других, читавшихся в тот вечер. Но не столько этими «батальными» картинами, сколько тем, что последовало за ними:

Тут всё еще ползут, минируют
И принимают контрудары.
А там – уже иллюминируют,
Набрасывают мемуары...

И там, вдали от зоны гибельной,
Циклюют и воцат паркеты.
Большой театр квадригой вздыбленной
Следит салютную ракету.

И там, по мановенью Файеров,
Взлетают стаи Лепешинских,
И фары плавят плечи фраеров
И шубки женские в пушинках.

Особенно резко впечатались в память строки об одном из тех, кого «хоронила артиллерия», случайно выжившем и явившемся из своего фронтового ада в эту сверкающую салютами, праздничную Москву:

Кому-то он мешал в троллейбусе
Искусственной ногой своею...

Боже! Что тут началось!

Приговор был вынесен сразу: «Противопоставление фронта тылу». Противопоставление, понятное дело, совершенно недопустимое и даже кощунственное.

Костю за это стихотворение топтали так долго и с таким садистским сладострастием, что в конце концов переломали-таки ему спинной хребет. Со стихами он «завязал». (Так, во всяком случае, отвечал на не слишком деликатные вопросы всех, кто интересовался его новыми творческими достижениями.)

С грехом пополам закончив институт, он стал литконсультантом. Так литконсультантом и прожил всю свою жизнь, ни разу даже не попытавшись опубликовать хоть одно какое-нибудь свое стихотворение. Долго и мучительно болел. Перенес тяжелую операцию. И – умер.

В 1988 году стараниями друзей удалось собрать и издать крохотную книжицу его стихотворений. Но она промелькнула как-то незаметно. Хотя стихотворение «Нас хоронила артиллерия» там тоже было, оно даже открывало книгу, но и оно как-то потускнело, поблекло. Словно печатный станок, облизав его свинцовым своим языком, лишил его бывшего магнетизма.

На самом деле виноват был, конечно, не печатный станок. Все объяснялось куда как проще: замордованный автор долго мучил, терзал это свое создание. Что-то там в нем менял, передельывал, дописывал. (Под печатной редакцией стоят две даты: 1946, 1981.) В результате этой «доработки» родилась, например, такая – заключающая стихотворение – строфа, в которой поэт сообщает нам о мыслях своего героя-фронтовика, пришедшего к Кремлевской стене:

И знал солдат, равны для Родины
Те, что заглотаны войною,
И те, что тут лежат, схоронены
В самой стене и под стеною.

Очевидно, чтобы уже ни малейших сомнений не оставалось у читателя насчет того, что фронт и тыл в той великой войне **были едины**.

Рассказывая про Костю, я опять нарушил последовательность повествования, заглянул в эпилог истории, начавшейся полвека назад. Но короткое начало этой истории не было ее

прологом. Оно вобрало в себя весь ее сюжет – с завязкой, кульминацией и развязкой. По существу, все не только началось, но и кончилось в тот самый вечер. Это был СУД ЛИНЧА, завершившийся убийством поэта. И убийство это происходило НА МОИХ ГЛАЗАХ.

Казалось бы, уж это-то должно было хоть чему-то меня научить!

Нет, не научило.

Так уж устроена человеческая психика, что когда на твоих глазах порют – или даже убивают – кого-то другого, ты наивно веришь, что тебя это не касается, что авось пронесет, с тобой все будет не так, иначе. Учиться, как видно, мы можем только на своей, а не на чужой заднице. И пока жареный петух не клюнет тебя как следует своим стальным клювом...

В молодости не веришь даже в то, что когда-нибудь умрешь. Знаешь это, так сказать, теоретически. Но – как замечательно выразился один поэт – «не верит тело».

Я знал поименно десятки литераторов, которые канули в бездну, исчезли. Их имена вычеркнули из каталогов библиотек. А их самих – из жизни.

Но я почему-то был уверен, что меня это не коснется. Умом понимал, в какое пекло лезу. Но в то, что и я могу пропасть, как они, – не верил. Не верило тело.

А жизнь меж тем уже готовила для меня свой третий урок. На этот раз жареный петух нацелил свой стальной клюв прямо и непосредственно в мою задницу. Но птичка продолжала весело бежать по той же тропинке, ни о чем не подозревая, навстречу уже изготовившемуся для атаки этому самому жареному петуху.

5

Висевший на мне зачет я вскоре пересдал, и наступила наконец блаженная, каждому учившемуся человеку – что школьнику, что студенту – знакомая послеэкзаменационная легкость.

Благополучное окончание первой в нашей жизни студенческой сессии наша четверка решила отметить.

Четверка – Бондарев, Бакланов, Поженян и я – сбилась с того самого, первого нашего досрочного экзамена на дому у профессора Шамбинаго.

Одновременно с нашей сложилась и другая четверка, в которую входили Солоухин, Тендряков, Шуртаков и Годенко. Сбившиеся в ту, вторую, четверку были люди солидные, прочно нацеленные на отличные, только отличные показатели. Сдав какой-нибудь экзамен на троечку, они тут же стремились его пересдать, стараясь повысить неприглядную оценку хотя бы на один балл. Это, впрочем, диктовалось суровой необходимостью: закончивших сессию с тройками лишали стипендии. Но Солоухину, а в особенности Шуртакову и Годенко, почему-то нужны были только пятерки. За профессором, поставившим им четверку, они ходили буквально по пятам и долго канючили, чтобы он принял экзамен вторично. Профессор, как правило, соглашался. Но отличник боевой и политической подготовки, упорно домогавшийся пересдачи, нередко и после второй попытки оставался со своей четверкой, а иногда даже и с тройкой. Для этих случаев у нас была припасена готовая ироническая формула: о неудачнике говорили, что он «подтвердил свои знания».

Готовились мы к экзаменам и зачетам в институте. Одну какую-нибудь пустовавшую аудиторию занимала наша четверка, а соседнюю – другая. Приустав от обилия знаний, не вмещавшихся в бедных наших головах, мы объявляли перекур. Иногда во время какого-нибудь очередного перекура отправлялись навестить соседей.

Первое, что сразу бросалось нам в глаза, едва только открывали мы дверь соседней аудитории и переступали ее порог, – была счастливая, белозубая – во весь рот! – улыбка Володи Тендрякова. Внезапный наш визит сулил ему по крайней мере десять минут блаженного отдыха от осточертевшей зубрежки, и он не в силах был скрыть свою детскую радость школьника, дождавшегося наконец звонка с урока на перемену.

Особенно Володю угнетало «Введение в языкознание».

После того как Александр Александрович Реформатский с безукоризненной математической точностью продемонстрировал нам, что слова «начало» и «конец» проистекают из од-

ного корня, Володя окончательно отказался от всяких попыток проникнуть в дебри этой загадочной науки.

Непростые отношения сложились у него и с диаматом. Однажды, помню, профессор Шестаков, о котором я уже рассказывал, поручил ему сделать на семинаре по диамату и истмату, которые он вел, какой-то доклад. Он долго объяснял Володе, с какой стороны надо браться за выбранную тему, диктовал список литературы, которую необходимо изучить и законспектировать, подробно отмечал страницы, на которые следует обратить особое внимание. И вдруг взгляд его поймал выражение Володиного лица, и что-то в этом выражении прервало и резко изменило ход его философской мысли.

– Только у меня к вам будет одна просьба, – подняв указательный палец, проникновенно обратился он к будущему докладчику. – Вы, пожалуйста, придите!

И тут мы увидели, что профессор Шестаков вовсе не так глуп, как это нам казалось. А иначе разве сумел бы он так точно угадать гениальную мысль, вдруг осенившую Тендряка: просто-напросто взять, да и не явиться на семинар в день, назначенный для его доклада. Чтобы угадать это гениально простое и далеко не стандартное решение, да еще в тот самый миг, когда оно пришло потенциальному докладчику в голову, – согласитесь, надо было быть очень даже проницательным человеком.

Да, философом наш профессор Шестаков был никудашным. Но психологом он оказался весьма недюжинным. А впрочем, может быть, – и даже скорее всего! – Володя Тендряк был не первым в его жизни студентом, которому в сходной ситуации пришло в голову такое же радикальное и такое же нестандартное решение.

Сейчас я уже не помню, чем там закончилась у Тендряка вся эта история с докладом. Но, наверно, все обошлось, потому что все экзамены и зачеты и он, и Солоухин, и Годенко с Шуртаковым, как и мы, сдали нормально и тоже собирались как-то там отмечать благополучное окончание сессии.

А наша четверка решила отметить это событие с размахом. Мы договорились, что, получив очередную стипендию, скинемся по двести рублей (примерно столько нам ежемесячно и

полагалось) и хорошо – как следует – посидим на эти деньги в дорогом ресторане.

Гриша Бакланов, когда принималось это решение, погрузился. В отличие от всех нас, у него родителей не было, он жил у тетки и всю свою стипендию отдавал ей. Мы, естественно, сказали ему, что это все ерунда: чтобы хорошо посидеть, нам и шестисот рублей вполне хватит. Но на это щепетильный Гриша пойти не мог, и вся наша прекрасная затея чуть было не лопнула.

В конце концов, однако, дело с Гришиной теткой как-то уладилось, и ресторанная наша гулянка все-таки состоялась.

Наметили мы для нее ресторан «Астория», который я привык называть Филипповским. Ресторан этот находился в том самом доме, в котором я родился (точнее, – в который меня привезли из роддома) и в котором прожил главную часть своей жизни. Только мы жили во дворе, в одном из внутренних корпусов этого огромного доходного – так называемого Бахрушинского – дома, а ресторан, как и знаменитая Филипповская булочная, фасадом выходил на улицу Горького, а вход в него был с Глинищевского переулка, незадолго до войны переименованного в улицу Немировича-Данченко.

Тридцать лет – и каких лет! – минуло тогда с 17-го года, – а ведь только за десять все уже привыкли Тверскую звать улицей Горького, – но Елисеевский магазин старые москвичи (а с их легкой руки и я тоже) не переставали звать Елисеевским, а булочную и ресторан Филиппова – Филипповскими.

В этом ресторане я потом бывал много раз. Было время, когда мы с женой – одни или с друзьями – иногда захаживали туда. Просто так – пообедать или поужинать. И всякий раз, сделав официанту свой заказ, я углублялся в меню и долго подсчитывал: хватит или не хватит нам денег, чтобы расплатиться.

Однажды жена не выдержала и сказала:

– Можем мы с тобой хоть раз в жизни пойти в ресторан, чтобы ты не сидел, уставившись, как сыч, в меню и не считал, шевеля губами, свои копейки!

Я пообещал, что больше считать не буду, и в следующий раз, когда мы вздумали побаловать себя ресторанным ужи-

ном, нарочно взял побольше денег, чтобы чувствовать себя – хоть раз в жизни, как сказала жена, – легко и свободно. И отправились мы в наш любимый Филипповский, который к тому времени именовался уже не «Асторией», а «Рестораном русской кухни».

Эксперимент закончился плачевно. Легко и свободно я себя все равно не чувствовал. Сделав заказ, в меню больше не заглядывал и губами старался не шевелить, но мысленно все-таки весь вечер прикидывал: хватит? Не хватит?

И, конечно, не хватило.

Когда официант принес мне счет, пришлось оставить жену в залог, а самому побежать домой за деньгами. Хорошо еще, что бежать было недалеко: жили мы тогда еще в том же доме.

С этим Филипповским рестораном у меня связано множество и других воспоминаний – праздничных и будничных, смешных и драматических, веселых и грустных. Но ярче всех впечаталось мне в память воспоминание о том, самом первом в моей жизни ресторанном вечере, когда весной 1947 года, наряженные в лучшие – а точнее, в единственные – наши пиджаки, мы явились туда вчетвером, чтобы отметить благополучное окончание нашей первой студенческой сессии.

Зал был наполовину пуст, и мы заняли лучший столик – у окна. Официант, сразу угадавший в нас клиентов, обосновавшихся за этим столиком всерьез и надолго, быстро принес нам все, что мы заказали, и – началось...

Меня еще на Урале, в эвакуации, угораздило заболеть какой-то гадкой почечной болезнью, из-за которой мне полагалась строжайшая диета: ничего острого, ничего соленого, а главное – ни капли спиртного. Мама, от которой я не мог скрыть наших планов, поскольку предполагалось, что вернусь я глубокой ночью, взяла с меня – не столько даже с меня, сколько с опекавшего меня Гриши Поженяна – страшную клятву, что пить я весь вечер буду только боржом. В крайнем случае – лимонад. Она почти убедила его, что даже единственная рюмка водки может оказаться для меня смертельной. Клятву Гриша сдержал только наполовину. Водку пить он мне действительно не позволил, но заказал – специ-

ально для меня – бутылку какого-то сладкого вина: то ли муската, то ли кагора.

Одной бутылкой, впрочем, дело не ограничилось. Гулянка наша продолжалась часов шесть. Благодаря Сталину, который, как известно, ночами не спал, а думал о нас в своем кремлевском кабинете, в Москве была тогда довольно бурная ночная жизнь. Рестораны закрывались в три часа ночи, и мы намеревались досидеть (и досидели-таки) до закрытия.

За шесть часов, да еще при хорошей закуске, выпить можно много. Поэтому за первой бутылкой то ли кагора, то ли муската последовала вторая, и часа через полтора и зал ресторана, и лица друзей уже плыли передо мной в каком-то розовом тумане. Из-за этого тумана плавное течение вечера отложилось в моей памяти какими-то клочками, обрывками, отдельными, что ли, кинокадрами.

Вот молчаливый, «закрытый», вечно таящий в себе какое-то свое «второе дно» Юра Бондарев размягченным, затуманившимся взглядом провожает кокетливо лавирующую между столиками женщину.

А вот Гриша Поженян, подмигивая мне своим лукавым карим глазом и кивая на Гришу Бакланова, говорит вполголоса: – Представляешь? Он решил перепить Поженяна!

Миг – и новая смена кадра: самодовольно ухмыляющийся Поженян тащит, почти несет на себе бесчувственное тело посиневшего Бакланова. На какое-то время мы с Юрой остаемся за столиком вдвоем, и «закрытый» Юра рассказывает мне о какой-то девушке, с которой познакомил его Поженян. Устремив вдаль все тот же размягченный, затуманившийся взгляд, он роняет – задумчиво, нежно, мечтательно:

– Она легкая!

– Откуда ты знаешь, что она легкая? – взрывается невесть откуда взявшийся Поженян. – Ты что, ее на руки брал? Я что, для того тебя с ней знакомил, чтобы ты ее взвешивал?!

– Ты вернулся? А где Гришка? – спрашиваю его я, имея в виду исчезнувшего Бакланова.

– Оттащил его в общежитие и уложил в свою койку, – усмеяется он. И самодовольно заключает: – Этот слабак думал, что ему удастся перепить Поженяна!

К концу вечера все набрались уже изрядно. Но я все-таки был намного трезвее остальных: как-никак, я пил вино, а они – водку. Но внешне и Бондарев с Поженяном – так, во всяком случае, мне казалось, выглядели вполне прилично.

Расплатившись, мы двинулись к выходу. Швейцар отпер нам дверь, в которую тщетно ломились трое или четверо, судя по всему, сильно подвыпивших мужиков: дело шло к закрытию, и в ресторан уже никого не пускали. Один из стремящихся туда прорваться яростно кинулся на Юрку, который шел впереди. Юрка выставил вперед руку со сжатым кулаком и как-то качнулся вперед, словно не удержавшись на ногах. Кинувшийся на него мужик нелепо взмахнул руками и навзничь опрокинулся на мостовую. Поженян, шедший вторым, взял на себя следующего из нападавших. Я шел третьим и когда вслед за друзьями выкатился наконец из ресторана в переулок, драка была уже в самом разгаре. Юрка лениво отмахивался от каких-то двоих шпингалетов, а Поженян, неоднократно утверждавший, что победить его в драке так же невозможно, как и перепить, неустрашимый Поженян, владевший к тому же всеми (так он говорил) мыслимыми и немыслимыми приемами бокса, лежал плашмя на асфальте, положенный – так во всяком случае мне показалось – на обе лопатки своим противником.

Впоследствии оказалось, что истинное положение дел было совсем не таким, каким оно мне тогда представилось. Героический облик Поженяна напрасно чуть было не померк в моих глазах. На самом деле не его положили на лопатки, а он сам – нарочно! – рухнул навзничь на асфальт, утащив за собой своего противника. Лежа под ним, он отчаянно его мутузил, крепко при этом в него вцепившись и не давая ему подняться. Сделал он это неспроста, а в предвидении – и как тут же выяснилось очень точном предвидении – дальнейшего развития событий.

Не успел я опомниться, как ночную тишину прорезала «то-ска милицейского свиста». Драка мгновенно прекратилась. Быстро подоспевшие менты (тогда еще говорили – мильтоны), не разбираясь, кто прав, кто виноват, повели нас «в отделение».

Относительно меня, правда, у ментов возникли кое-какие

сомнения. Опытным своим милицейским глазом они сразу углядели, что я в драке не участвовал. Кто-то из наших противников заверещал, указывая на меня:

– Этот тоже меня бил! – и, приглядевшись к моей физиономии, а может, по какому-то глубинному антисемитскому инстинкту угадав во мне иудея, уже почти на истерике заорал, рванув на груди рубаху: – Он меня за веру мою бил!

Но милиционер к этому воплю не прислушался и, махнув рукой, дал мне понять, что я могу убираться. Но я тоже поплелся в отделение, замыкая шествие, ломая руки и повторяя – уж не помню, то ли мысленно, то ли вслух: «Боже мой! Что будет! Что же теперь будет!»

Эти мои причитания относились не ко мне (о своей судьбе я ничуть не беспокоился) и даже не к Юрке, а исключительно к Поженяну.

Дело было в том, что незадолго до того Гришка влип в очень неприятную историю. У него был пистолет, который – как он неоднократно всем нам рассказывал – за какие-то боевые заслуги вручил ему перед строем адмирал Азаров. Никаких документов на право ношения огнестрельного оружия у него, разумеется, не было. Но о том, чтобы незарегистрированный пистолет сдать, как это полагалось, тоже, конечно, не могло быть и речи.

Кончилось это так, как только и могло кончиться в те времена. Кто-то (как потом выяснилось – Солоухин) донес на Гришку, что у него есть пистолет. Был сделан обыск. Пистолет был изъят. Гришку арестовали. За незаконное хранение оружия ему светило два года лагеря.

Перед судом, в тюремной камере, Гришка сочинил длинное стихотворение, в котором рассказывалась вся история пистолета, за какие его дела и как именно была вручена ему адмиралом эта боевая награда. Кончалось это произведение таким патетическим двестишием:

И вот за этот самый пистолет
Моя страна меня же и осудит!

Стихотворение было прочитано автором во время суда, когда ему было предоставлено слово – последнее слово подсудимого.

Все это произвело на судью и народных заседателей довольно сильное впечатление, и Гришку... Нет, не оправдали. Приговор был отменен гораздо позже, когда пришел официальный ответ, к счастью, живого и здорового тогда адмирала Азарова. А поначалу Гришке вlepили два года условно. Как я себе представлял, – может быть, преувеличивая реальную угрозу, – любой привод в милицию мог чуть ли не автоматически повлечь за собой превращение условного наказания в безусловное, то есть условные эти два года сразу могли превратиться в реальные два года лагеря.

Вот поэтому-то я и плелся в отделение милиции в совершенном отчаянии и мысленно повторял: «Что будет! Что же теперь будет!»

Когда всю нашу компанию туда наконец доставили, Гришка, сразу взяв инициативу в свои руки, заорал плачущим голосом:

– Товарищ начальник! Они нас избили!

Начальник оглядел нашу компанию.

Картина, открывшаяся его глазам, вряд ли могла служить подтверждением истинности этого обвинения. Я стоял в небрежной партикулярной позе в своем тщательно отглаженном, ничуть не помявшемся, чистеньком костюмчике. Никаких следов побоев на мне не было видно. Даже очки мои были целехоньки.

Юрка тоже не производил впечатления пострадавшего. Пиджак его был чопорно застегнут на все пуговицы, а под пиджаком виднелась тоже ничуть не помятая, хорошо выглаженная голубая шелковая рубаша. Потом, правда, выяснилось, что там, под пиджаком, она разорвана от плеча до пупа. Но в тот момент это было не видно.

Что касается Поженяна, то он выглядел не так парадно. Лежание на асфальте оставило кое-какие следы на его костюме. (Только тут я вполне оценил его гениальный тактический замысел: рухнуть навзничь, увлекая за собой противника и делая вид, что тот его бьет, в то время как дело обстоит прямо противоположным образом.) Но и Поженян с его мощным торсом и повадками боксера тоже мало походил на избитого. Особенно в сравнении с компанией наших оппонентов.

Те, в отличие от нашей тройки, выглядели неважно. Сразу видно было, что мои друзья отмузузили их здорово. В разорванной и основательно вывалянной на грязном асфальте одежке, они уныло переминались с ноги на ногу, размазывая по измочаленным лицам сопли, смешанные с кровью. Немудрено, что отчаянный возглас Поженяна, пытавшегося изобразить себя жертвой, большого успеха не имел.

Впрочем, начальник отделения (а может, это был и не начальник, а просто дежурный) даже и не стал выяснять, кто кого бил. С нас сняли показания, составили протокол, записали наши фамилии и паспортные данные и – отпустили.

Мы не сомневались, конечно, что в институт придет какая-нибудь бумага с описанием наших подвигов. Придется, наверно, заплатить штраф. Может быть, даже и немаленький. Но при всем при том можно было считать, что мы отделались легким испугом. Вернее, не можно было, а можно было бы, если б не дамоклов меч условного судебного приговора, висящий над Поженяном.

6

Прошел месяц, другой. Вся эта наша милицейская история стала забываться, и мы постепенно как-то даже уверились, что она рассосалась бесследно: может, даже обойдется и без штрафа.

Но однажды меня вдруг срочно вызвали к директору.

Постучавшись и приоткрыв двери директорского кабинета, я сразу увидел, что директора нашего – Федора Васильевича Гладкова – в кабинете нету. А за длинным его столом восседает целый синклит хорошо и не очень хорошо известных мне лиц. Были среди них и лица совсем мне не известные: какие-то военные в полковничьей форме.

«Вот оно!» – мелькнула мысль. Я не сомневался, что притянули меня к Иисусу по поводу той давешней драки и привода в милицию. Сам я, конечно, был слишком незначительной фигурой, чтобы мною занималось все институтское начальство. Речь, стало быть, пойдет о Поженяне. О его условном приговоре. Потому-то, наверно, тут и эти незнакомые военные.

Сердце мое сжала отчаянная тревога за Гришку.

Но, как тут же выяснилось, тревожиться мне надо было не о нем, а о себе.

Сидящий во главе стола хорошо мне знакомый профессор Леонтьев объявил мне, что в партком института (все сидящие за тем столом, в том числе и незнакомые мне полковники, как раз и входили в этот – до сего дня неведомый мне – партком) поступило заявление, которое они мне сейчас зачитают.

То, что они называли заявлением, было самым обыкновенным доносом.

Начинался он с описания очень тревожащей автора «заявления» обстановки в нашем институте. Обстановка была – из рук вон. Среди студентов царили упаднические настроения. Многие из них проявляли аполитичность, безыдейность. Имели место даже отдельные антисоветские высказывания. Особые опасения вызывало у автора распространенное среди некоторой части студентов пренебрежительное и даже негативное отношение к изучению основ марксизма-ленинизма.

Эту чудовищную атмосферу идейного застоя и даже гниения ярче всего может характеризовать поведение студента Сарнова, выразившееся в акте чудовищного и наглого политического хулиганства.

Провалив зачет по основам науки наук, Сарнов назвал марксизм-ленинизм схоластикой. Позже, готовясь к новому зачету, в присутствии нескольких студентов, которые могут это подтвердить (шел перечень фамилий), указывая на книги Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, Сарнов произнес такую, кощунственную в устах советского студента, фразу: «Я ненавижу классиков марксизма-ленинизма за то, что они понаписали всю эту муру, которую я теперь вынужден учить!»

Сарнов и раньше неоднократно проявлял свои гнилые, антипартийные и антисоветские взгляды. Так, например, он резко критиковал основополагающие постановления Центрального Комитета нашей партии о литературе и искусстве: «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «Об опере Мурадели «Великая дружба».

Много там приводилось и других ужасающих фактов, свидетельствующих о том, что обстановка в Литературном инсти-

туте сложилась совершенно нетерпимая для советского вуза. А тем более для учебного заведения, готовящего кадры работников идеологического фронта. Обстановку эту необходимо было срочно оздоровить, очистив здоровое ядро коллектива от идеологически чуждого элемента, каковым безусловно является студент первого курса Бенедикт Сарнов.

В заключение мне было сообщено, что члены парткома уже побеседовали с теми студентами, которые были свидетелями моего политического хулиганства, и все факты, изложенные в прочитанном мне письме, полностью подтвердились.

Небо обрушилось на меня, когда я все это услышал.

Я даже не догадался спросить, чья подпись стоит под этим «Заявлением». (Впоследствии выяснилось, что оно было анонимным.) Я только жалко лепетал, что постановления ЦК никогда не критиковал (и в самом деле не критиковал, разве только говорил о них без придыхания, без полагающегося в этих случаях трепета), что марксизм-ленинизм схоластикой никогда не называл, а всего лишь назвал профессора Леонтьева схоластом, за что готов немедленно перед ним извиниться, что о ненависти к классикам марксизма даже и не заикался, а просто неудачно пошутил: вот, мол, сколько они понаписали, а мне, бедному, приходится все это учить. Шутка, конечно, глупая, это я признаю, но ни в коем случае не согласен, что эту дурацкую мою выходку можно назвать политическим хулиганством.

Выслушав эти мои жалкие объяснения, члены парткома сурово объявили, что будут разбираться, и меня отпустили.

В тот же день меня с треском вышибли из комитета комсомола, членом которого я был. (О том, как и почему я там оказался, я еще расскажу.) А на другой день срочно было созвано общеинститутское комсомольское собрание, на котором рассматривался только один вопрос: мое, как это у них называлось, персональное дело.

Сперва зачитали уже знакомое мне «Заявление». Потом предложили высказаться поименованным в нем свидетелям главного моего преступления. Моя сокурсница Люда Шлейман, рыдая, подтвердила, что все было в точности так, как это излагалось в доносе. Женя Винокуров, с которым мы сидели

на одной парте, повел себя мужественнее. Он сказал, что ничего такого не помнит. Он вообще никогда ничего не запоминает. (Говоря это, он словно бы сам удивлялся такому странному устройству своей памяти.) Поэтому он не может ни подтвердить, ни опровергнуть выдвинутых против меня обвинений.

После Винокурова слово взял еще один свидетель – Володя Бушин. Его от всех моих сокурсников отличала одна – тогда казавшаяся мне странной – особенность. Во всех наших спорах и дискуссиях о классиках советской литературы или о самых последних ее новинках все мы всегда высказывались с предельной откровенностью: каждый говорил все, что думает. А точка зрения Бушина никогда не отличалась от официальной: той, которую излагали учебники (если речь шла о классиках) или газетные статьи (если спор шел о новинках). И эту свою – никогда не отличающуюся от официальной – точку зрения Володя всегда высказывал страстно, с пафосом, словно выступал на митинге или партийном собрании. Поэтому, не испытывая к нему особой неприязни, я с ним (в отличие, например, от Винокурова) никогда не был особенно откровенен. В особенности в разговорах на политические темы.

Обо мне Бушин говорил так же страстно и с тем же суровым и гневным разоблачительным пафосом, с каким на обсуждении постановления ЦК «О журналах «Звезда» и «Ленинград» уличал во всех смертных грехах Зощенко и Ахматову. Говорил, что поведение мое позорно, недостойно комсомольца и советского студента, что меня надо сурово наказать. Но при этом, с той же суровой убежденностью объявил:

– При отвратительной выходке Сарнова я присутствовал и с полной ответственностью заявляю: слово «ненавижу» им произнесено не было!

Много воды утекло с тех пор. И много гадостей сделал за эти годы бывший мой сокурсник Владимир Бушин. А недавно по телевизору я увидел его в толпе беснующихся «красно-коричневых»: он стоял рядом с Анпиловым... Но ту его реплику я не забыл, хотя прошло с тех пор уже более полувека.

После Бушина слово взял мой друг Гриша Поженян. Он произнес яркую и даже, я бы сказал, высокохудожественную

речь. На правах близкого друга, общавшегося со мной не только в институте, но и дома, он начал с рассказа о моих родителях. Главным образом об отце, которого он охарактеризовал как человека отсталого, сформировавшегося в дореволюционное время, да к тому же еще в мещанской, отчасти даже мелкобуржуазной среде. Вот этими своими мелкобуржуазными, несоветскими настроениями он якобы заразил и меня.

Это заявление поразило меня до глубины души.

Да, конечно, кое-какие основания для таких выводов у Гришки действительно были. От отца я и в самом деле унаследовал, а вернее сказать – перенял манеру, как выразился наш великий поэт, «свободно и раскованно» болтать о предметах, о которых в таком тоне говорить давно уже не полагалось.

Но, во-первых, тот же стиль был свойствен, и может быть, даже в большей мере, чем мне, и самому Поженяну. А кроме того, отношения с моим отцом у Гришки были самые дружественные. Они сразу понравились друг другу и очень быстро нашли общий язык. Если я иногда – и даже нередко – еще спорил с отцом на политические темы, то он, Поженян, – никогда. В их отношении к жизни было много общего. Особенно сближала их пронизывающая все их разговоры стихия юмора. У отца – слегка приправленного еврейским скепсисом, у Поженяна – хохлацкой лукавинкой.

Отец мог, например, с удовольствием рассказать анекдот о еврее, который на вопрос, как он относится к советской власти, ответил:

– Как к родной жене. Немножечко люблю, немножечко боюсь и немножечко хочу другую.

Он и не думал даже скрывать при этом, что этот ответ целиком и полностью совпадает с его собственным отношением к родной нашей «Софье Власьевне».

Но и Поженян в долгу не оставался. Тут же, «в пандан», как сам он это называл, рассказывал про какого-то кавказского чабана, который в разговоре то ли с ним самим, то ли с каким-то его другом вздохнул:

– Советский власть – хороший власть. Только маленько долгий.

Однажды в каком-то таком разговоре, ведущемся, по обыкновению, «в тоне юмора», отец сказал:

– И все-таки вы должны быть благодарны нам. Ведь это мы с оружием в руках завоевали для вас советскую власть.

Лично он, насколько мне известно, ни с каким оружием в руках советскую власть не завоевывал. Разве только, приехав в 17-м году с фронта в родное местечко, нацепил красный бант и слегка покуролесил там с такими же, как он, молодыми ребятами. О чем потом горько сожалел, вспоминая пророческую реплику своего отца – моего деда:

– Вы тут наломаете дров и уедете. А нам с ними жить, – сказал ему тогда дед.

И жизнь показала, что он был прав. В сорок втором деда и бабуку убили. Считалось, что немцы. Но на самом деле, скорее всего, те самые мужички – «богоносные, достоевские», как злобно называет их персонаж знаменитой пьесы Булгакова, которые отомстили таким образом еврейским старикам и старухам за давние подвиги их сыновей с красными бантами, одним из которых был и мой отец.

Нет, отец, конечно, не всерьез сказал тогда, что он с оружием в руках завоевывал для нас советскую власть, за что мы должны быть ему благодарны. Это был такой, что ли, иронический пас – нам с Гришкой. И Гришка не ударил лицом в грязь. Реакция его была мгновенна. Он встал, медленно подошел к отцу, взял его руку, торжественно ее потряс и с чувством произнес:

– Огромное вам спасибо!

И надо было видеть, как оба они были при этом довольны друг другом, а главное, полным своим взаимопониманием.

Представьте теперь, каково мне было слышать грозные Гришкины инвективы, гневно разоблачающие с трибуны отсталые, мелкобуржуазные взгляды бедного моего родителя.

Но разоблачением политической отсталости отца Гришка не ограничился. Разделавшись с отцом, он приступил к такому же живописному изображению моей мещанки-матери. А затем уже добрался и до меня.

Обо мне он сказал, что я сопляк, не нюхавший жизни, капризный маменькин сынок, которого мама кормит чуть ли не с

ложечки. Все это он щедро иллюстрировал разными бытовыми подробностями из наблюдавшейся им жизни нашей семьи. Иногда окарикатуренными до неузнаваемости, а нередко и просто выдуманными. Так, например, он сообщил, что каждый день после обеда мать выдавливает мне сок из двух апельсинов, которые я, морщась, с недовольной миной выпиваю. Правдой тут было только то, что в буфете у нас еще с довоенных времен сохранилась маленькая стеклянная соковыжималка, специально предназначенная для выдавливания (вручную) сока из апельсинов, и мать рассказывала, что, когда я был маленький, она действительно заставляла меня пить этот сок. Не исключено даже, что сообщила при этом, как я – пятилетний или шестилетний – при этом морщился, а может быть, даже и плевался.

Раздавленный всеми этими жуткими разоблачениями, я не мог поднять глаз. Я прямо сгорал со стыда.

Но большее, чем стыд, жгло меня черное предательство Поженяна. Я просто не знал, что мне теперь о нем думать, как я теперь, после этой чудовищной его речи, погляжу ему в глаза.

Но тут же выяснилось, что эта раздавившая меня его речь вовсе не была предательством. Это был тонкий, весьма хитроумный, даже, я бы сказал, изощренный тактический ход. Совершенно такой же, как тот, свидетелем которого я был совсем недавно, когда, наплевав на самолюбие, он притворился побежденным, положенным на лопатки, мгновенно сообразив, что в милиции, где мы наверняка вскоре окажемся, выгоднее предстать жертвой хулиганского нападения, нежели победителем-хулиганом.

Вот и сейчас тоже, импровизируя эту свою замечательную речь, он исходил из того, что в сложившейся ситуации мне уж лучше выглядеть сопляком и маменькиным сынком, чем злым антисоветчиком и политическим хулиганом.

Все это я усек в самом конце Поженяновой речи, финал которой сводился к тому, что только наш здоровый комсомольский коллектив способен сделать из меня человека. Если меня исключат, я буду катиться все дальше и дальше по наклонной плоскости и в конце концов погибну. И что поэтому меня надо не отторгать от коллектива, не исключать, а – **воспитывать**.

Вывод этот произвел на собравшихся именно то впечатление, на которое Поженян рассчитывал. Ухватившись за эту брошенную им спасительную соломинку, почти все выступавшие после него в один голос твердили, что меня нельзя отторгать, а надо воспитывать, и даже, если понадобится, и перевоспитывать.

В результате я получил строгий выговор с предупреждением и занесением в личное дело. С ужасной, конечно, формулировкой: «За политическое хулиганство и неправильное отношение к марксизму-ленинизму», – но все-таки всего лишь выговор.

Окружившие меня после собрания ребята хлопали меня по плечу, поздравляли. Слова, которые они при этом произносили, не отличались разнообразием – все они, в общем, сводились к знаменитой реплике из написанной уже в другую эпоху песни Галича: «Схлопотал строгача, ну и ладошки...» И только Людка Шлейман выдала несколько иной текст, шепнув мне на ухо: «Ты даже не понял, от чего мы тебя спасли!»

Но я – понял.

Сам, может быть, и не догадался бы, но мне помогли. Помогли на том же собрании. В самом его конце, когда решение по моему персональному делу было уже вынесено, поднялся наш комсомольский секретарь Игорь Кобзев. Он был бледен. Губы его исказила трагическая гримаса.

– Органами государственной безопасности, – медленно, с трудом, словно бы через силу выговаривая эти ужасные слова, заговорил он в мгновенно наступившей мертвой тишине, – арестован студент нашего института Наум Мандель. Есть предложение: исключить гражданина Манделя из рядов ВЛКСМ. Кто за, прошу поднять руки.

Руки подняли все. И я, конечно, тоже. И чувство у меня при этом было такое, будто я, только что висевший над той же бездной, в которую провалился арестованный органами государственной безопасности Мандель, каким-то чудом не рухнул туда же, хотя и продолжаю удерживаться на самом ее краю.

После Людкиных слов меня снова бросило в холодный пот пронзившее меня сознание, что я все еще – «у бездны на краю». И возникло острое желание как можно скорее отползти хоть на шаг от этого смертельно опасного края.

Но отползти не удалось.

На следующий день было объявлено, что состоится второе, на этот раз уже не комсомольское, а – партийно-комсомольское собрание. И оно состоялось. И тут уж ничье доброжелательство и никакие хитрости Поженяна не могли меня спасти.

Все было решено заранее.

Как оказалось (не помню, тогда же мне кто-то об этом шепнул на ухо, или я узнал это потом), то письмо, которое зачитывали мне члены парткома, было адресовано самому Жданову. В этом, впрочем, ничего такого уж удивительного не было. Миллионы таких писем чуть ли не ежедневно посылались не только Жданову, но и самому Сталину. Удивительно было, что это письмо дошло до адресата. И главный идеолог страны (Сталин не был «главным», он был Богом) прочел его и собственноручно на нем начертал: «Разобраться!»

Можно себе представить, какой мандраж охватил все руководство нашего института, когда с самого верха, с тех недостижимых заоблачных высот спустили им эту августейшую резолюцию. Тут уж было не до какого-то там Сарнова: надо было спасать себя. Институт могли просто-напросто разогнать к чертям собачьим.

Участникам будущего собрания именно так это и объяснили.

Коммунистов поодиночке вызывали в партком. А комсомольцев приехал уговаривать секретарь райкома ВЛКСМ Ковалев. Собрав самых активных, в числе которых был, конечно, и Поженян (который все мне потом рассказал), он объяснил им, что не исключив меня, они не только подвели под монастырь себя, но даже и мне оказали медвежью услугу.

– Сейчас у вас остался последний шанс, – сказал он. – Если вы Сарнова исключите, вы тем самым покажете, что коллектив у вас здоровый. А мы на бюро райкома это исключение не утвердим. И Сарнову будет хорошо, и вам. Ну, а если вы и во

второй раз его не исключите, комсомольскую организацию вашу придется укреплять.

Укреплять – это значило разгонять.

Меня исключили, и райком, конечно, это исключение утвердил. Как миленький.

Лет пять спустя заглянул к нам с женой в гости старый мой институтский товарищ Макс Бременер: он тоже был в числе активистов, с которыми Ковалев проводил тогда эту свою душеспасительную беседу. И теперь он рассказал нам, что вскоре после того как выяснилось, что райком все-таки утвердил решение о моем исключении, он (Макс) встретил Ковалева случайно на улице и сказал ему:

– Что же вы нас обманули? Обещали, что если мы исключим Сарнова, райком это решение не утвердит, а потом взяли и утвердили.

– Все это сейчас не имеет уже никакого значения, – сказал Ковалев, – поскольку Сарнов, как мне стало известно, недолго будет гулять на свободе.

Моя жена, которая слушала этот наш разговор вполуха (она была погружена в разучивание на нашем старом, уже упоминавшемся мною «Бекштейне» какого-то шопеновского вальса) на этой фразе вдруг резко оборвала свою музыку и с ужасом уставилась на Макса.

– Наконец-то я все-таки вынудил вас прервать ваши музыкальные экзерсисы, – усмехнулся Макс.

И продолжил свой рассказ.

Уж не знаю, сам ли он до этого додумался или кто-то знающий ему всю эту кухню открыл, но в его изложении эта моя – тогда уже давнишняя – история выглядела так.

Институт, как и всякое советское учреждение, а в особенности идеологическое, был битком набит стукачами. Ежедневными их доносами была насквозь прошита вся наша студенческая жизнь. Фиксировались все наши разговоры, отдельные высказывания, реплики. Я со своей склонностью болтать «свободно и раскованно» на любые, в том числе и табуированные темы, был для них особенно легкой поживой. Доносы на меня по разным мелким поводам все копились и копились, пока ко-

личество их наконец не перешло в качество. Критической точкой оказалась моя злополучная фраза про классиков марксизма.

Сотрудники органов, день ото дня пополнявшие мое досье, посоветались с начальством, и там пришли к выводу, что на посадку все эти мои глупости все-таки не тянут. И тогда было принято компромиссное решение: доносчика заставили сочинить то самое письмо, а уж они (органы) обеспечили доставку этого письма самому Жданову в собственные его руки.

Делу, таким образом, был дан ход. И поначалу предполагалось, что институт лишь слегка полихорадит, и на том все и кончится.

Но потом, видимо, возникли какие-то колебания. Кое-кто склонялся все-таки к более жесткому решению моей судьбы, что и стало известно Ковалеву к моменту вышеописанной его встречи с Максом. Не исключено, что Ковалев вовсе даже и не врал, убеждая ребят, что райком мое исключение не утвердит. Может быть, он искренне не хотел, не собирался это решение утверждать, но его вызвали КУДА НАДО, объяснили ситуацию и посоветовали проявить более высокую партийную принципиальность.

Вот, оказывается, как близка была тогда ко мне разинутая страшная пасть ГУЛАГа. И хотя я всего этого, конечно, не знал, но словно бы чуял уже ее зловонное дыхание, спинным мозгом ощущал грозящую мне смертельную опасность.

Не почуять ее, впрочем, мог только уж совершеннейший болван, поскольку исключением из комсомола – даже и на стадии райкома – дело не ограничилось. Буквально на следующий же день после партийно-комсомольского собрания, решившего мою судьбу, был подписан приказ об исключении меня из института. Подписал этот приказ наш новый директор Василий Семенович Сидорин.

Истинный основоположник социалистического реализма Федор Васильевич Гладков в то время нашим директором уже не был. Недолгое его директорство прекратилось не совсем обычным образом. Коммунисты на своем собрании не выбрали Федора Васильевича в партбюро. (Или в партком. Черт его

знает, как это у них тогда называлось!) Ситуация была, как теперь говорят, нештатная. А по тем временам даже экстраординарная. С точки зрения «присматривающих» она подтверждала худшие их подозрения, суть которых сводилась к тому, что обстановка в нашем институте сложилась и впрямь **нездоровая**. Слишком уж вольничают ребята, слишком вольничают. Пора их приструнить.

Но Федор Васильевич из этого инцидента сделал совсем другие выводы. Узнав об итогах голосования, он тотчас же написал заявление об отставке: не считаю, говорилось в том заявлении, себя вправе оставаться директором, если коммунисты мне не доверяют.

Такие у него были понятия. И директором – точнее, исполняющим обязанности директора – стал Василий Семенович Сидорин.

А у Василия Семеновича была своя история.

Когда-то, в давние, а для нас так даже доисторические времена он тоже был членом партии. Но в 1921 году он из нее вышел. Он был не согласен с новой экономической политикой партии. Он ее не принял.

Потом, конечно, он понял, что партия была права. («Партия всегда права», – как высказался однажды на эту тему Лев Давыдович Троцкий.) Осознав это, Василий Семенович много раз пытался исправить ту давнишнюю свою историческую ошибку. Но партия неизменно отвергала все его попытки восстановить членство в ее железных рядах.

Нэп, вопреки уверениям Ленина («всерьез и надолго») оказался не таким уж долговечным. Давным-давно уже он прекратил свое жалкое существование, как бы доказав тем самым, что Василий Семенович, выступая против него, был, быть может, не так уж и не прав. Но Василий Семенович как был, так и оставался беспартийным. И до самой его смерти партия так и не простила ему его строптивость, выразившуюся в гордом нежелании колебаться вместе с ее генеральной линией.

История эта, естественно, наложила на личность Василия Семеновича свой отпечаток. Определила некоторую его, что ли, гражданскую робость. Я рассказываю это к тому, что некоторые умные люди утешали меня тогда, уверяя, что я не дол-

жен считать приказ Василия Семеновича о моем исключении из института волеизъявлением каких-то высших сил. Ни, тем более, сигналом о каких-то грядущих бедствиях, которые неминуемо должны теперь на меня обрушиться. Будь, говорили они, на месте Василия Семеновича другой директор, не выходящий в свое время демонстративно из рядов ВКП(б), он не трепетал бы так перед парткомом и такого приказа ни за что бы не подписал. Иными словами, они считали, что этим своим приказом Василий Семенович как бы слегка перестарался. Из-за своей чрезмерной, хотя и исторически объяснимой, трусости забежал вперед, перестраховался.

Но мне от этого было не легче. Тем более что это была всего лишь версия: другие не менее умные люди еще раньше уверяли меня, что если меня исключат из комсомола, за этим неизбежно – автоматом – последует исключение из института.

И вот теперь это подтвердилось.

Повиснув в воздухе, я с какой-то особой нежностью вцепился в свой комсомольский билет, который пока еще оставался со мною. По уставу отнять его у меня даже райком не имел права. Сделать это мог только горком. И пока билет оставался у меня, я, ухватившись за него как за соломинку, чувствовал себя в относительной безопасности. (Опыт Мандела, которого исключили, так сказать, «посмертно», ничему меня не научил.)

Но вот и бюро горкома вынесло свой ужасный вердикт. Даже еще более ужасный. Первым секретарем московского горкома ВЛКСМ был тогда некто Красавченко – по слухам, зоологический антисемит. Не знаю, было ли дело в индивидуальных свойствах личности этого деятеля, или все было решено «в высших сферах», то есть в «Министерстве Любви», но на бюро горкома со мной обошлись совсем уже круто. В результате формулировка моего исключения обогатилась новыми, еще более зловещими обвинениями. Теперь она звучала так:

За неоднократные антисоветские высказывания, за наглую вражескую вылазку, выразившуюся в акте злостного политического хулиганства, за глумление над основополагающими партийными документами, в частности над поста-

новлением ЦК ВКП(б) «Об опере В. Мурадели «Великая дружба», а также за неправильное отношение к марксизму-ленинизму...

Были там, кажется, и еще какие-то пункты, которые я не запомнил. Но и того, что помню, вполне достаточно. Человека, виновного во всех этих страшных прегрешениях, просто не могли не изъять из числа свободных людей.

Я чувствовал это, как уже было сказано, позвоночником. Спинным мозгом. Но чувство это приняло у меня какую-то странную, я бы даже сказал, извращенную форму. Оно формулировалось так: «Я не могу жить без комсомола!»

8

В комсомол я вступил в сорок втором году. Мне было тогда пятнадцать лет.

Свое вступление «в ряды ВЛКСМ», как это тогда называлось, я воспринимал как дело довольно рутинное. Но, как потом выяснилось, это было не так. Во всяком случае, не совсем так.

По-настоящему это дошло до меня много позже, в начале семидесятых, когда судьба вновь заставила меня вспомнить о существовании этой организации. А вспомнить о ней меня заставила не совсем обычная (во всяком случае, для нашей семьи) линия поведения, избранная в то время моим сыном.

В девятом классе он стал плохо учиться. Он потерял последние остатки интереса к школьным занятиям. Вернувшись из школы домой и наскоро пообедав, обзванивал каких-то своих приятелей и исчезал до позднего вечера, а иногда и до глубокой ночи.

Жена выходила из себя, но ничего не могла с ним поделать. И вот однажды она объявила мне, что – все! Ее терпение кончилось.

– Сегодня же ты пойдешь к директору школы, скажешь, что так дальше продолжаться не может, что школа превратилась для него в ширму. Я все решила: мы забираем его из школы и отдаем на шинный завод.

– Почему именно на шинный? – спросил я.

– Я сегодня встретила свою давнюю подругу Лену К. Она рассказала, что у нее с сыном была точно такая же история. Они взяли мальчика из школы, отдали его на шинный завод, и через три недели он стал шелковый. Блестяще закончил школу рабочей молодежи и в тот же год поступил в институт.

Я не стал спорить и послушно поплелся в школу объясняться с директором.

Директором оказалась энергичная, властная женщина лет сорока.

– Мой сын, – начал я, – учится в девятом классе... Собственно, это только так говорится – «учится». То-то и горе, что ни о каком учении давно уже нет и речи. Школа, в сущности, превратилась для него в ширму...

– Моя школа? – вскинулась директриса, сделав возмущенное ударение на слове «моя». – **Моя** школа? В ширму?

– Нет-нет, вы меня не так поняли, – испугался я. – Не ваша школа, а школа вообще. Школа как таковая...

Зазвонил телефон. Директриса сняла трубку.

– Да? Слушаю... Да-да, директор школы... Слушаю вас... Из милиции?.. Ну конечно, догадываюсь...

Я тоже сразу догадался, что означал этот звонок из милиции. Накануне сын рассказал мне, что у них в школе – ЧП. Два восьмиклассника пытались изнасиловать свою одноклассницу. К счастью, у них ничего не вышло. Но родители девочки обратились в милицию, и дело грозило обернуться крупным скандалом.

Не сомневаясь, что разговор идет именно об этом, я с интересом стал к нему прислушиваться.

– Я с вами согласна, – говорила директриса. – Да... Конечно... Они нетактично поступили с девочкой... Но ведь у мальчиков сейчас такой сложный возраст. Вы знаете, как им трудно... У них такие перегрузки, такое нервное напряжение. А родители... Знаете, как сейчас у нас, мы ведь все диссертации пишем... Вот-вот... А дети без внимания... Ну да, конечно... А насчет девочки я совершенно с вами согласна. Нетактично, нетактично они с ней поступили...

Закончив разговор, она вновь обратила свое внимание на



Мой дед (отец мамы).
Отчасти это из-за него,
а не только из-за
Феликса Дзержинского,
поступая в 7-й класс,
я назвал себя Феликсом.

– Разве я сторонник
брака по расчету? –
говорил отец.
– Разве я против
брака по любви?
Но неужели
нельзя было
полюбить девушку
с квартирой?

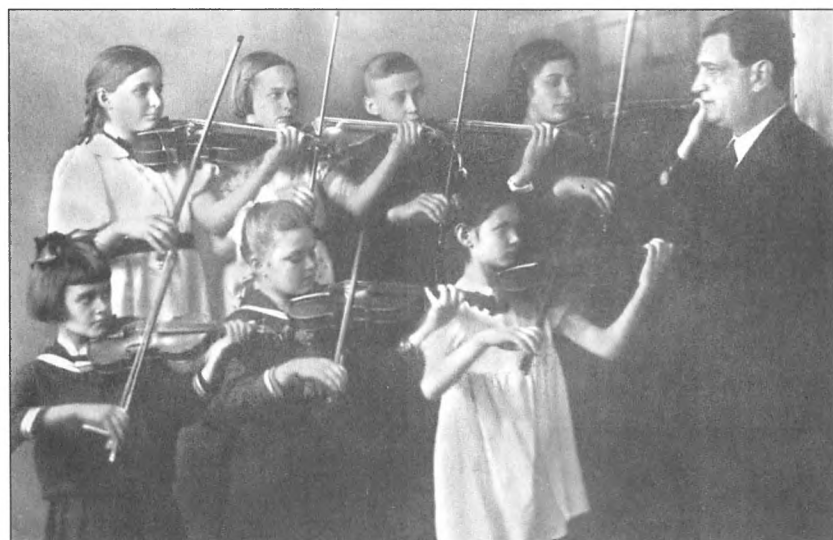




Я был домашним,
комнатным мальчиком, но,
как все мои сверстники,
бредил оружием
и играл в войну.



В детстве я стыдился профессии отца.
Она казалась мне какой-то несерьезной,
недостойной настоящего мужчины.





Вот таким он был, мой отец,
когда выступал на эстраде
вместе с Ильей Набатовым
и знаменитым в то время
одесским куплетистом
Л.М. Зингертаем.

А это — сам Зингертаь.
На обороте фотографии
написано: «Хорошему
товарищу Мише Сарнову
для воспоминаний
о совместной службе
в Симферополе.
Л. Зингертаь.
25.IX.1913».





Отец с группой композиторов (второй слева в верхнем ряду – Константин Листов, автор знаменитой «Тачанки»), продолжавших свое музыкальное образование по классу композиции под руководством профессора Н.А. Рославца (слева от отца, сидит).

Николай Андреевич Рославец в молодости сочинял музыку на стихи поэтов-футуристов, приятельствовал с Маяковским, который обессмертил его стихотворным экспромтом, обращенным к кому-то из коллег по футуристическому братству:

Сколько лет росла овца,
А не знает Рославца.



Отец (*крайний слева*)
на фронте, со своими
друзьями офицерами,
1916 год.

Эти фотографии
очень волновали мое
детское воображение.
Офицер, да еще в погонах
и с кокардой на фуражке,
для нас, мальчишек 30-х годов, —
это был «золотопогонник»,
белогвардеец, враг.



Отец (*в центре*) со своей музыкантской командой.



Владик Бахнов
и Гриша Поженян.



Гриша Бакланов.
Вот таким он был, когда мы познакомились.
Только уже без погон.



Эмка Мандель
(Коржавин).



Костя Левин.



Литературный институт. Слева – Ольга Кожухова и Люда Шлейман, стоит – наш директор, истинный, как он себя называл (в отличие от неистинного Горького), основоположник социалистического реализма Федор Васильевич Гладков. Рядом с ним – я, Володя Тендряков, Инна Гофф и Рита Агашина. За нашими спинами – Коля Войткевич, Саша Соколовский и Эдуард Иоффе.



Литературный институт. В первом ряду (вторая слева) – Лена Николаевская. Четвертый слева – Павел Григорьевич Антокольский, за ним Гриша Поженян и Игорь Кобзев. Во втором ряду первый слева – Владик Бахнов, третий – Наум Гребнев, пятый – Виктор Гончаров, за ним – Василий Семенович Сидорин. Крайний справа – Расул Гамзатов. В верхнем ряду (стоят) – Максим Калиновский, Женя Винокуров и Владимир Солоухин.



Литературный институт. В первом ряду слева, если память мне не изменяет, Иванов. В центре – Леонид Иванович Тимофеев. Стоят – второй слева Саша П... Константин Александрович Федин. Справа от Федина – Яков Козловский, На... Крайний справа – Лев Кривенко.



— заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Леонтьев и полковник Львов-
Гребнев, третий — Владик Бахнов, за его спиной — Макс Бременер, рядом с ним
Саша Соколовский, Владимир Германович Лидин, Юра Трифонов.

Это обложка
моей детской книжки —
той самой, где обо мне
было сказано, что
литературную работу
я начал как критик.

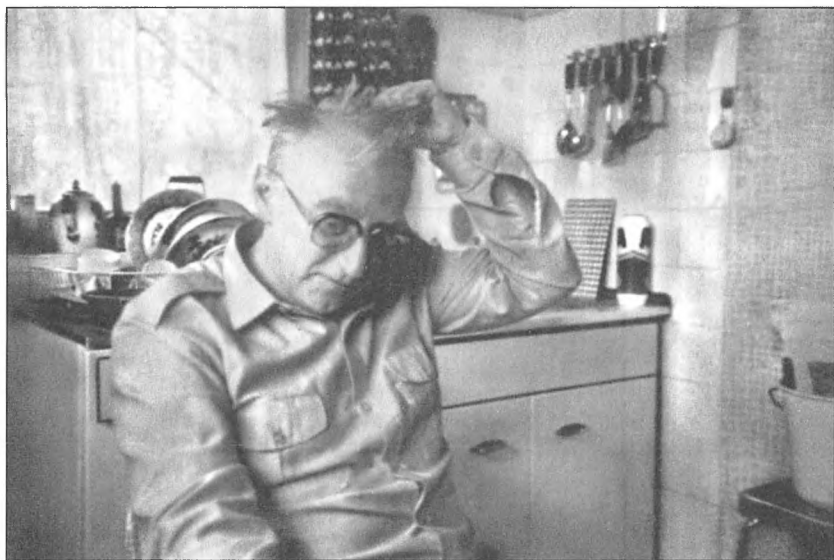


А этот рисунок — не из книги,
а из журнала «Пионер».
С ним для меня было связано новое,
неизвестное мне прежде переживание:
впервые в моей жизни иллюстрации
к написанному мною тексту
были заказаны художнику
(Г. Филипповскому).



Шурик Воронель.

«Пусть займется химией или физикой.
Но ни в коем случае не историей,
не философией и не литературой.
Иначе он обязательно к нам вернется», —
сказал полковник МГБ его маме.



Гена Файбусович (Борис Хазанов).

При обыске в его бумагах нашли переписанный им от руки
66-й сонет Шекспира и инкриминировали его арестованному
как прямую антисоветчину.



Девочка,
в которую я был влюблен.





«Я бедствовал.
У нас родился сын».



Появился на свет новый человек,
которого надо было кормить, растить и все такое прочее.



С Фазилем Искандером.



Играю в шахматы с моим другом Борей Балтером.
Рисунок Б. Биргера.



1961 год. Шереметьевка. Дачный поселок «Литгазеты». Молодой Булат поет нам самые первые свои песни. Слева от Булата – я, справа от него – моя жена Слава. Справа внизу – первая, рано умершая жена Булата – Галя.

меня. Я попытался придать своему лицу самое безмятежное выражение.

– Да, так что там у вас? – спросила она.

– Сын у меня. В девятом классе, – напомнил я. – Учиться не хочет. Школа для него – это, в сущности, ширма...

– **Моя** школа – ширма? – снова вскинулась она. Но, видимо, вспомнив о только что закончившемся телефонном разговоре, сменила тон. – А в чем это, собственно, выражается?

– Ну, как вам сказать... Уроков не делает. Придет из школы и сразу давай названивать друзьям-приятелям...

– Пойдите, пойдите, – прервала она меня. – Вот вы говорите: придет из школы... Стало быть, в школу он ходит?

– В школу ходит, – подтвердил я. – Но ведь школа для него – это только шир...

– Так что же вы мне голову морочите! – возмутилась она. – Сами говорите: в школу ходит. А у меня есть такие, что по полгода в школе не появляются. И я даже и не думаю их исключать...

Пристыженный, я поспешил откланяться.

Жена, которой я рассказал о результатах моего визита, была очень мною недовольна. Но мысль о том, чтобы взять сына из школы и отдать его на шинный завод, у нее с тех пор больше не возникала.

А он тем временем продолжал гнуть свою линию. С грехом пополам дотянул до конца десятого класса. Близилось окончание школы, и было уже совершенно ясно, что в аттестате у него – это в лучшем случае, если он этот аттестат все-таки получит – будут одни тройки. А по тогдашним порядкам средняя оценка, выведенная в аттестате, входила в число тех конкурсных баллов, которые абитуриент должен был набрать при поступлении в институт. Допустим, проходной балл при поступлении на английский факультет, куда собирался поступать мой талантливый отпрыск, был – 23 очка. Будь у него в аттестате средним баллом пятерка, это значило бы, что, сдав из четырех вступительных экзаменов два на четверки, он в институт попадал. А при троечном аттестате ему все четыре экзамена надо было сдать на пятерки, что уже само по себе было чистейшей фантастикой.

Не поступив в институт, он бы сразу же загремел в армию, мысль о которой бросала в холодный пот не только мою жену, и даже не только меня, но и самого абитуриента. И тут знающие люди сказали мне, что в этих чрезвычайных обстоятельствах особенно важно, чтобы абитуриент был комсомольцем.

А мой комсомольцем не был.

Нет, в комсомол он не вступил совсем не по идейным соображениям. К основополагающим идеям он относился вполне индифферентно.

То есть он их, конечно, видал в гробу, с наслаждением то и дело повторял знаменитые строки Есенина: «Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал». (Учился бы Сергей Александрович со мной на одном курсе, быть бы и ему тоже исключенным за политическое хулиганство.)

Нет, отвращение к этим самым идеям не помешало бы моему беспринципному сыну вступить в комсомол. Не вступил же он в эти ряды по той простой причине, что его туда не приняли. То есть не приняли в числе первых: первыми, как тогда у них полагалось, стали отличники.

«Ничего, еще попросят. Сами приползут», – высказался мой сын по этому поводу. И, наверно, знал, что говорил: в комсомол тогда всех тянули как на аркане. Поэтому он и считал, что, вступая в эту организацию, он как бы **делает им одолжение**.

Но то ли в том году у них была уже какая-то другая установка, то ли про него просто забыли, а он, обуянный своей гордыней, считал ниже своего достоинства им о себе напоминать, только они к нему не приползли. И так он и остался не комсомольцем.

Я объяснил ему ситуацию, на что он сказал:

– Да вступлю я в комсомол. Вступлю. Выкинь ты из головы всю эту муру. Вступлю, будь спокоен!

– Когда? – приставал я к нему. – Ведь экзамены уже на носу!

По моим представлениям, вступление в ряды, каким бы формальным оно нынче ни было, требовало все-таки определенной – и не очень быстрой – процедуры. Сперва комитет... потом собрание... потом...

Но вот и экзамены уже прошли, и свой троечный аттестат

он уже получил. Пора было подавать документы в приемную комиссию института, а он на участившиеся мои вопросы о комсомоле все отмахивался:

– Пап, ну что ты волнуешься? Я же сказал, что вступлю, значит, вступлю!

И что вы думаете? Действительно, вступил. Ушло у него на это, как он мне объяснил, всего-навсего полчаса. Вместе с секретарем их школьного комитета комсомола они, улучив свободную минутку, сходили в райком, и там сразу же, без всяких хлопот, выдали ему новенький комсомольский билет. Который, впрочем, с тех пор ни разу в жизни ему не понадобился.

А исключить его из комсомола если и могли, так разве только за неуплату членских взносов. Он их не заплатил ни разу. Платила бабушка – моя теща, ветеран партии, которая к постоянно висящей над внуком перспективе исключения из комсомола относилась с таким же священным, мистическим ужасом, как я в годы моей комсомольской юности. Поэтому каждый месяц, запасшись в качестве взятки недорогим букетиком цветов, она отправлялась к секретарю той комсомольской организации, к которой был приписан ее незадачливый внук, и аккуратно уплачивала за него полагающиеся копейки, получая взамен очередной штампик в его комсомольском билете.

Еще более сильное впечатление произвели на меня новые взаимоотношения с комсомолом, сложившиеся у сверстника моего сына – Андрея Зубкова. Андрей был сыном школьной подруги моей жены. Отец его был – полковник Генерального штаба. Взгляды его на жизнь и на литературу никогда не выходили за пределы, обозначаемые очередной газетной передовицей. Ни в какие политические, а тем более литературные дискуссии поэтому я с ним никогда не вступал. Но однажды – было это в пору знаменитых встреч Хрущева с творческой интеллигенцией, – не выдержал.

Леша (так звали полковника) о том, что происходило на этих встречах, знал из газет. А я, можно сказать, из первых рук. От Васи Аксенова и Андрея Вознесенского, которым на той встрече досталось особенно круто.

Поэт, как сказала Марина Цветаева, издалека заводит речь.

В точном соответствии с этой формулой Андрюша Вознесенский, когда его позвали на трибуну, начал свое выступление так:

– Я, как и мой великий учитель Владимир Маяковский, не член партии...

Дальше он, естественно, собирался сказать, что, как и его великий учитель, он всей душой, всем сердцем... Ну и так далее...

Замысел был хорош. Одна только была у него ахиллесова пята: он не учитывал бешеного, взрывного темперамента Никиты Сергеевича Хрущева. Не дав Андрею развернуть замысленный им элегантный ораторский прием, Никита прервал его:

– Ах, не член? Не член партии? Да?.. И ты этим гордишься, да?.. Ну, так вот, на тебе паспорт – и езжай к своим заокеанским хозяевам!..

С Васей Аксеновым вышло примерно так же. Оказавшись на трибуне, он начал с того, что его отец, старый коммунист, был несправедливо репрессирован, отсидел семнадцать лет в сталинских лагерях... Дальше он, естественно, собирался выразить свою благодарность партии и лично Никите Сергеевичу за то, что они разоблачили культ личности Сталина, восстановили ленинские нормы партийной и государственной жизни и вернули ему отца. Но Никита Сергеевич и тут не стал дожидаться окончания этой сложной риторической фигуры. Прервав бедного Васю на полуфразе, он заорал:

– А-а! Так ты, значит, мстишь нам? Да? Мстишь за отца?!

Вася так ошалел от этого неожиданного обвинения, что, стоя перед микрофоном, только и мог тупо повторять:

– Кто мстит-то?.. Кто мстит-то?..

Это мне рассказывал Андрей, который во время Васиного выступления еще сохранял чувство юмора. Что касается самого Васи, то он всего этого не помнил, а только, закрывая в ужасе глаза, вспоминал, каково ему было стоять на трибуне, когда весь президиум в полном составе, главные люди государства, налившись багровым румянцем, стали улюлюкать и материть его, продолжая травлю, начатую паханом.

Полковник Генерального штаба Леша всего этого, естест-

венно, не знал. О суровой партийной критике, которой Никита Сергеевич подверг молодых писателей Аксенова и Вознесенского, он прочел в какой-то газетной передовице. И с полным сознанием своей партийной правоты назвал их обоих в разговоре со мной предателями.

Уж не помню, что я ему тогда на это отвечал. Да это и не важно. Важно, что Лешин сын Андрей, которому было тогда лет двенадцать, при этом разговоре присутствовал и, как выяснилось позже, внимательно к нему прислушивался.

Выяснилось это лет восемь, а может, и десять спустя, когда ко мне вдруг явился вполне взрослый, даже уже начинающий слегка лысеть молодой человек, закончивший математический факультет МГУ и работающий в каком-то «ящике». Я, признаться, даже и не узнал в нем того Андрюшу Зубкова, который был участником детских игр и каверз моего сына. Но когда он назвался, узнал сразу же. И тут у меня невольно вырвалось:

– Боже, Андрей! Как ты стал похож на отца!

От этой моей реплики его вдруг словно бы передернуло.

– Сразу хочу вам сказать, – тут же прямо с порога объявил он, – что в том вашем споре с моим отцом я на вашей стороне.

Ну тут я, конечно, сразу понял, что столкнулся с тем самым вековечным конфликтом «отцов и детей», о котором наша печать постоянно твердила, что у нас, в нашей юной прекрасной стране для него нет никакой почвы.

То, что почва на самом деле была, разумеется, не явилось для меня новостью. Но я даже и вообразить не мог, какой крутой оборот принял этот распространенный в то время конфликт в семье Зубковых.

Сразу же, тоже чуть ли не с порога, Андрей объявил мне, что не желает и не будет жить в «этой стране». Что днем и ночью только и думает о том, какой изыскать способ, чтобы покинуть пределы «большой зоны», убежать из этой проклятой нашей тюрьмы в «свободный мир». Сперва он хотел отправиться в какую-нибудь (любую!) капиталистическую страну по туристской путевке, чтобы попросить там политического убежища. Но право на такую заграничную поездку (даже за свои кровные) надо было заслужить. После многих неудачных попыток пробить лбом эту стену он вконец отчаялся и вот пришел ко

мне за советом. Как к единомышленнику. (Видимо, так он понял суть моей позиции в той давнишней моей дискуссии с его отцом.)

Я спросил Андрея, чем так ненавистно ему наше отечество. Он отвечал, что не хочет жить в тюрьме, хочет быть свободным человеком. Например, смотреть порнофильмы, свободно ездить по миру, – мало ли что еще!

Я сказал, что если бы попытка стать невозвращенцем ему даже и удалась, это было бы очень жестоко по отношению к его отцу – полковнику Генерального штаба. Ведь этим своим поступком он сломал бы не только всю его карьеру, но и самую жизнь.

– Да, – сказал он. – Я это понимаю. Но ведь у меня тоже только одна жизнь. Единственная. И я тоже не хочу ее ломать.

Я стал не слишком внятно толковать ему про то, что жизнь не стоит на месте, общество наше становится все более открытым. Вот люди уже – худо-бедно – стали выезжать за рубеж, хоть и не без трудностей. А в наше время, при Сталине...

– Бенедикт Михайлович! – сказал он. – Вы бы еще рассказали мне, что были времена, когда в нашей стране людей пороли на площадях, а теперь вот, слава богу, уже не порют.

Мне стало стыдно, и я прекратил свою «воспитательную работу».

С тех пор Андрей стал довольно часто ко мне захаживать и рассказывать о каждой новой попытке осуществить свою голубую мечту. Он писал письма – в ЦК, в Президиум Верховного Совета... В ответ приходили резолюции-отписки: «Обратитесь в ОВИР» или что-то еще в том же роде. Наконец Андрей понял, что для бегства из нашей тюрьмы в «свободный мир» есть только одна щель. И хотя был он насквозь русским, с папиной и с маминой стороны, он решил этой щелью воспользоваться. Стал таскаться к синагоге, познакомился там с какими-то еврейскими ребятами-отказниками.

Короче, прошло еще несколько лет, и Андрей, давно уже толкавшийся во все двери с пришедшим к нему из Израиля вызовом от каких-то несуществующих еврейских родственников, с которыми ему необходимо было во что бы то ни стало воссоединиться, получил-таки законное разрешение на выезд. И

уехал. И благополучно живет сейчас в Штатах. (Он – программист, и никаких особых проблем с устройством на работу там у него не возникло.)

Голубая мечта его осуществилась. У него свой дом, машина, он с женой свободно ездит по всему миру и свободно смотрит порнофильмы. А может, уже даже и не смотрит: насмотрелся досыта.

История эта, в те времена весьма даже не банальная, теперь уже банальна до отвращения. Да и тогда не так уж сильно она меня поразила: вокруг меня клубилось множество похожих историй.

По-настоящему поразила меня в истории Андрюшиного отъезда только одна деталь.

– Послушай, Андрей, – спросил я его, когда вся эта его предотъездная суета была в самом разгаре. – Ты ведь, наверно, комсомолец?

– Да, конечно! – сказал он.

Я живо представил себе всю мерзость предстоящего ему исключения. Собрание. Злобные выкрики с мест... Вся эта липкая грязь гнусеньких обвинений в предательстве матери-родины, которая тебя кормила, поила, учила, а ты продался сионистам, империалистам и прочим гадам...

– Это пустяки, – сказал Андрей. – Это все позади. Меня уже исключили.

Я попросил его рассказать, как это было.

– Рассказывать, собственно, нечего, – сказал он. – Я подошел к нашему секретарю, объяснил: «Я тут решил в Израиль податься. На постоянное жительство. Так вот, меня, наверно, исключить надо?» – «А, – сказал он, – ладно... Завтра в полпятого приходи, мы с тобой сходим в райком и все сделаем. Только у меня к тебе одна просьба: я напишу, что мы тебя на собрании осудили... Все, что там полагается... А ты уж, пожалуйста, не проболтайся, что никакого собрания на самом деле у нас не было. Понял?» – Ну, я, конечно, сказал, что понял...

– И все? – потрясенный, спросил я.

– Все, – пожал он плечами. – А чего еще?

Да, меня исключали из комсомола не так.

Но и принимали тоже не так, как спустя тридцать лет приняли в ту же организацию моего сына.

9

Город, в котором мы оказались в начале войны и в котором прожили долгих – неимоверно долгих! – три года, назывался Серов. Когда-то давно, еще до революции он звался Надеждинском. Потом ему присвоили имя первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б) Ивана Дмитриевича Кабакова, и город стал называться Кабаковск. Но в тридцать седьмом Кабакова расстреляли, и имя его сохранилось только на жирно перечеркнутых штампиках библиотечных книг, из которых я и узнал, что город, в котором мы живем, раньше именовался Кабаковском.

А в тридцать девятом трагически погиб в авиакатастрофе летчик Анатолий Серов (его самолет то ли во время каких-то учений, то ли в ходе воздушного парада столкнулся с самолетом, который вела Полина Осипенко), и Кабаковск, на короткое время опять ставший Надеждинском, превратился в город Серов.

В этом имени для меня – да и не только для меня, а для многих моих сверстников – было много очарования. Начать с того, что оно было присвоено городу в память о знаменитом летчике, командующем эскадрильей истребителей, героически воевавшем в Испании комбриге и Герое Советского Союза.

Он представлялся мне похожим на героя знаменитой тогдашней пьесы Симонова, ставшей потом кинофильмом, – «Парень из нашего города». (Тот тоже воевал в Испании.) И песня «Любимый город может спать спокойно» – одна из самых любимых наших довоенных песен – тоже слилась в моем сознании с образом Анатолия Серова, и я поэтому напрочь связал ее с этим городом, в который закинула нас война и который стал теперь и нашим тоже.

Кроме того, название этого города напрямую связывалось с Валентиной Серовой, самой романтической женщиной эпохи, в которую все мы – мальчишки моего поколения – были по уши влюблены. Она была женой того самого летчика Серова, «пар-

ня из нашего города», а потом в нее влюбился сам автор этой пьесы, и она стала его женой, и он посвящал ей все свои лирические стихи, среди которых было и то, которое знала на память вся страна: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...»

В нашем городе жила семья погибшего летчика, а младшая его сестра, юная, розовощекая, тоненькая, легко краснеющая блондинка, преподавала нам биологию...

Но это было потом, в сорок втором или, кажется, даже в сорок третьем. Уже в другой школе.

А первая моя серовская школа была семилеткой.

К осени сорок первого – как раз к тому времени, когда мне пришла пора идти в школу, в седьмой класс, – я неожиданно сильно вытянулся. Вымахал чуть ли не в рост отца. И как-то сразу непоправимо вырос из всех своих московских мальчишеских одежонок. О том, чтобы купить внезапно выросшему сыну новые вельветовые «гольфы» и курточку (обычное мое московское одеяние) или хотя бы самые затрапезные брюки и пиджачок, разумеется, не могло быть и речи. Негде было покупать все это.

Но ходить-то в чем-то надо было!

Единственной одеждой, которую родителям удалось для меня достать, были защитного цвета галифе и гимнастерка. Мальчишковые же мои ботинки, в которые я уж совсем никак не мог вколотить свои вдруг выросшие ноги, пришлось сменить на сапоги.

Все это, конечно, мне очень нравилось. Но рассказываю я об этом так подробно не только потому, что живо вспомнил сейчас все свои тогдашние ощущения, связанные с этой новой моей одеждой. Гораздо важнее тут то, что эта новая одежда оказала огромное воздействие на внутреннее мое самоощущение. Благодаря ей я вдруг стал другим человеком. Совсем не тем, каким был еще так недавно – в той, довоенной, московской моей жизни.

Шла война, и, вопреки всем привычным школьным канонам, вторым человеком в нашей школе (после директора) сразу стал не завуч или кто-то там еще из школьного начальства, а – военрук. Явившись на первое свое занятие, он выстроил

всех нас – не класс, а всю школу! – и медленно прошелся перед строем.

Мысленно что-то прикинув (очевидно, подсчитав людские резервы) объявил:

– Школа приравнивается к батальону. Батальон делится на четыре роты. Рота – на четыре взвода. Взвод на четыре отделения. Позже назначу командиров рот, взводов и отделений. А сейчас...

Он еще раз прошелся вдоль строя и остановился взглядом на мне. Я, как самый длинный, стоял правогофланговым.

Оглядев мою бравую фигуру в сапогах, гимнастерке и галифе, военрук сказал:

– Командиром батальона назначаю вот его!

И он ткнул в меня пальцем.

И вся жизнь моя мгновенно переменялась.

В тот же миг я стал третьим (после директора и военрука) человеком в школе.

Впоследствии, правда, выяснилось, что эти мои новые полномочия мне еще предстояло подтвердить. Чтобы я и впрямь стал третьим человеком в школе, одной официальной субординации было недостаточно. Я должен был завоевать авторитет не только формального, как сейчас принято это называть (тогда таких понятий еще не было), но и **неформального** лидера.

Но никакого неформального авторитета мне завоевывать не пришлось. Все случилось словно бы само собой. Моя роль неформального лидера (разумеется, подкрепленная и усиленная лидерством формальным) тоже определилась сразу, и никем никогда не оспаривалась.

Объяснялось это просто. По московским нашим школьным понятиям жаловаться учителю – какой бы справедливой твоя жалоба ни была – это было самое распоследнее дело. Ничто не могло быть страшнее клички «ябеда».

Но дело было не только в ябедничестве.

«Дети, – сказал однажды Борис Житков, – это нацмены, живущие в империализме взрослых». Так вот, в московской моей школе все мы, «нацмены, живущие в империализме взрослых», – всегда держались дружно. Какими бы сложными ни бы-

ли наши отношения друг с другом, в извечном противостоянии учителей (то есть «присматривающих») и учеников, все ученики (в том числе и титулованные: «звеньевые», «члены совета отряда», «члены учкома») неизменно оказывались по одну сторону баррикад, а учителя – по другую. Предателей, штрейкбрехеров среди нас не было.

Здесь же все было иначе.

Класс делился на «серых лошадок» и «отличников». Отличники держались особняком. Они никогда не входили в острый конфликт с серой массой. При случае могли – не очень, впрочем, охотно – дать списать контрольную по математике. Но их не любили. И даже не потому, что они были ябедами или подлизами. Нет, не поэтому. Просто они старались не участвовать ни в каких ребячьих каверзах и проделках, за которые потом пришлось бы расплачиваться вызовом к директору или снижением оценки по дисциплине. Они и одеты были не совсем так, как остальные. Не богаче, нет (откуда там было взяться богатству?), но – аккуратнее. Так, чтобы не вызывать нудных учительских нареканий: «Ну посмотри, на кого ты похож!..»

Короче: для класса они были – **не свои**.

А я был – свой.

Это выяснилось сразу. И это было для всех тем удивительнее, что по привычной их логике я должен был примкнуть к «отличникам». Хотя бы потому, что у учителей я был любимчиком. В этом тоже не было ничего удивительного: московских моих знаний мне хватило надолго. Не затрачивая ни малейших усилий на выполнение каких-то там домашних заданий, я чуть ли не на всех уроках блистал правильными и даже красноречивыми ответами. Слушая меня, учителя расцветали улыбками, не скупилась на пятерки и то и дело ставили меня в пример другим – нерадивым, ленивым и нелюбопытным.

Списывать я давал легко и охотно. И так же охотно участвовал во всех озорных ребячьих проделках: сбегал вместе с ними со скучных уроков («отличники» этого никогда не делали).

Участвовать в таких эскападах мне случалось и в Москве. Но там я делал это, чтобы не отставать от других, не выбиваться, не противопоставлять себя классу. Как я уже говорил, я был домашним мальчиком. Не паинькой, не Сидом Сойером, сов-

сем нет. Но до сорванца Тома, на которого были похожи все наши классные заводилы, мне было – как до неба.

А тут я вдруг сам стал главным заводилой. И не в классном только, а в общешкольном масштабе.

Царственный жест военрука, сделавший меня командиром батальона, совершенно преобразил меня. Я стал просто другим человеком.

Поддерживая свою репутацию «неформального лидера», я даже отваживался на выходки, которые в других обстоятельствах рассматривались бы как проявления самого злостного хулиганства. Так, например, однажды во время большой перемены я оседлал мирно пасущуюся в школьном дворе козу и, подбадриваемый восторженными воплями малышни, совершенно ошалев от упоения этой новой для меня ролью неформального лидера, торжественно въехал на этой козе в кабинет директора.

Другому за это, наверно, сильно бы влетело. Но мне – отличнику, любимцу всех учителей, да к тому же еще и командиру батальона, – все сходило с рук. Легко сошло и это. Директор, криво улыбаясь, похлопал меня по плечу и сказал:

– Ну, ладно, будет. Пошутили, повеселились и хватит. Ступайте теперь на занятия.

Все эти выходки сделали мой авторитет непререкаемым. А редкостное сочетание в моем лице формального и неформального лидерства привело к тому, что я стал – в дополнение к своему высокому званию командира батальона – еще и редактором школьной стенгазеты, и главным в школе пионерским вожаком (не помню, как это тогда называлось: то ли председатель совета отряда, то ли еще как-то).

Воодушевленный этими новыми званиями, я был теперь заводилой и во всех официальных школьных, районных и даже городских мероприятиях: военных играх, субботниках, воскресниках... И так случилось, что неформальное мое лидерство всем этим – обычно довольно унылым мероприятиям – придавало тоже неформальную, живую, игровую окраску. За что пионерское начальство (уже не только школьное) очень меня ценило.

Однажды даже был такой случай.

Предстояло какое-то важное мероприятие: какой-то чуть ли не общегородской субботник. А у меня разболелось горло. Похоже было, что начинается ангина.

Маме моей на все мои лидерства – как формальные, так и неформальные – было наплевать. И с ангиной она, конечно, меня из дому ни при какой погоде не выпустила бы. О чем я и считал нужным предупредить высокое наше пионерское начальство. И вот представьте себе состояние бедной моей мамы, когда рано поутру, как раз когда она заставляла меня полоскать горло и пичкала стрептоцидом, явился посланец из школы с запиской от нашей старшей пионервожатой.

«Сегодня, – говорилось в этой записке, – состоится общегородской пионерский субботник. Присутствие на нем вашего сына имеет большое общественное значение. Убедительно прошу вас разрешить ему, несмотря на болезнь, принять участие в этом важном мероприятии».

Чем дело кончилось в тот раз, отпустила меня мама или стояла на своем, я сейчас уже не помню. Но выражение ее лица, когда она читала эту записку, помню хорошо. Это была сложная смесь противоречивых чувств. Там было и тщеславие: гордость сыном, присутствие которого на важном мероприятии имеет большое общественное значение. И растерянность: что же делать? Не разрешать же больному мальчику – с температурой – лететь сломя голову на какой-то субботник! И явное недовольство тем, что кто-то еще, кроме нее, заявляет свои права «на ее мальчика»...

На следующий год, в восьмом классе это увлечение пионерскими делами у меня уже прошло. Но заводилой я остался.

Теперь, правда, это мое «неформальное лидерство» приняло совсем другие формы.

Я был тогда влюблен в Маяковского. И этой своей влюбленностью заразил троих своих сверстников. В облике Маяковского нас привлекало все: и рост, и бас, и эстрадное остроумие – это его блистательное, как нам тогда казалось, умение одной репликой раздавить, уничтожить противника. Но наибольший восторг вызывал у нас самый ранний, футуристический период жизни великого поэта. Подростки, как известно, склонны к тотальному отрицанию, к нигилизму. Это,

если угодно, неизбежная болезнь роста – «детская болезнь левизны».

Пятнадцатилетние гимназисты, описанные Гариным-Михайловским, были влюблены в Писарева, в его антипушкинские статьи. Мы, кстати, ими тоже увлекались. Нас восхищало остроумие, с которым Писарев разделял под орех самого Пушкина.

Но футуристические скандалы молодого Маяковского заслонили в наших глазах даже и самого Писарева. Особенно нравилась нам блестящая внешняя, театральная форма их веселого юношеского бурления. (Да, именно бурления – иначе тут не скажешь: ведь в слове этом слышится одновременно и «бурлеск», и «Бурлюк».) Мы были в восторге от желтой кофты Маяковского, от его цилиндра, от собачки, нарисованной на щеке невозмутимого Бурлюка.

Вдохновленные всей этой театральностью, помноженной на всеобщее отрицание, мы вчетвером решили организовать нечто подобное футуристическому братству Маяковского, Бурлюка, Хлебникова и Каменского.

Прежде всего надо было придумать для нашего содружества какое-нибудь название. Сперва хотели назваться, – как и они, – футуристами. Но такое жалкое подражательство было нам не по душе. Мы хотели придумать что-то свое. И придумали.

Увы, придумка наша не слишком далеко ушла от великого оригинала. Мы решили назвать себя «перфектуристами».

В этом был двойной смысл. С одной стороны, это была как бы полемика с нашими великими предшественниками, с другой – продолжение их традиций: ведь возвращение из нашего времени назад, в прошлое – это было возвращение к ним, к нашим кумирам.

Но главное тут было не это. Главным для нас во всей этой затее было желание ниспровергать: издеваться, глумиться, крушить, уничтожать, сбрасывать с парохода современности.

Футуристы сбрасывали классиков – Пушкина, Толстого, Достоевского. Мы же метили в современников, в сегодняшних литературных кумиров, казавшихся нам жалкими и ничтожными в сравнении с нашими.

Однажды я услышал по радио Маргариту Алигер, которая читала только что ею написанную и ставшую вскоре знаменитой поэму «Зоя».

Тонким своим, пронзительным голосом она возглашала:
– Я б хотела написать про Зою...

И так – несколько раз.

Вслушиваясь в эту многократно повторяемую строку, я не сразу понял, что речь идет о героине поэмы – Зое Космодемьянской. Мне померещилось, что поэтесса ведет речь о том, что сперва ей хотелось написать это свое сочинение не стихами, а – прозой: «прозбю». Я решил, что она просто поставила в этом слове неправильное ударение.

Через минуту-другую я понял, что ошибся, но сама ошибка показалась мне забавной. И в забавности этой я обвинил, естественно, не себя, а – автора поэмы. И тут же сочинил первую в своей жизни пародию:

Я хотела написать про Зою
Не в стихах, не в рифму, а – прозбю.
Но за рифму – больше гонорар.
Так во мне проснулся певчий дар.

Пародия (точнее – эпиграмма) была глупая. А главное – несправедливая. Да по правде говоря, я вовсе даже и не думал, что поэтесса решила воспеть свою героиню в стихах, а не в прозе, ради повышенного гонорара. Я, кстати, даже и не был уверен в том, что за рифмованные строки платят дороже, чем за нерифмованные.

Все это было сказано просто так, для красного словца. Но само снисходительно-пренебрежительное мое отношение к современной поэтессе не было случайным: оно было рождено общей нашей снобистской уверенностью в том, что все великое, талантливое, настоящее было создано при жизни Маяковского и его друзей-соратников. Ко всем современным писателям и поэтам мы, опьяненные своим юношеским нигилизмом, относились примерно так, как герой-рассказчик знаменитого лермонтовского стихотворения к юным слушателям своего рассказа о Бородинской битве: «Да, были

люди в наше время. Не то что нынешнее племя. Богатыри – не вы!»

В городе был огромный Дворец культуры. Сейчас там размещался госпиталь – тот самый, в котором работали мои родители и куда порой ходили и мы тоже читать раненым бойцам какие-нибудь стихи или рассказы. Госпиталь потеснил почти все дворцовые – клубные – комнаты и залы. Но старая дворцовая библиотека оставалась в неприкосновенности. А библиотека там была совершенно замечательная, составленная из множества других, в том числе и реквизированных в свое время частных библиотек. (На многих книгах, помню, попадались экслибрисы графа Кушелева-Безбородко.)

Старушка библиотекарьша, почуяв в нас настоящих любителей, энтузиастов, допускала нас к полкам. И вот однажды на какой-то из давно заброшенных, насквозь пропыленных полок мы обнаружили несколько разрозненных номеров «ЛЕФА».

Восторгу нашему не было предела. В особенности, когда в одном из этих номеров мы обнаружили рассказы неведомого нам писателя Бабеля. Это были рассказы из бабелевской «Конармии» – «Письмо», «Соль», «Начальник конзапаса»...

Прочитав их, мы сразу же кинулись к покровительствовавшей нам старушке: нет ли в библиотеке каких-нибудь книг этого самого Бабеля? Одна затрепанная книжонка, помеченная тридцать вторым годом, с рисунками, как сейчас помню, Штеренберга, – отыскалась. Уж не знаю, почему – то ли по забывчивости, то ли по извечной российской безалаберности – она не была изъята и уничтожена, как все прочие книги этого писателя, которых раньше в той библиотеке наверняка было много.

От этой бабелевской книжки мы просто ошалели. Вскоре мы чуть ли не всю ее знали на память. Мы щедро уснащали нашу речь бабелевскими фразами, как незадолго до этого то и дело вклинивали в нее реплики из «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца».

– Бенья знает за облаву, – говорил кто-нибудь из нас, если его спрашивали, помнит ли он, что завтра суббота.

– Холоднокровней, Маня, вы не на работе, – говорили мы девочке, в которую все четверо были влюблены, когда она на-

чинала слишком уж бурно, повышая голос и тараща глаза, выражать по какому-нибудь поводу свои чувства.

И – без всякого повода, просто так, наслаждаясь любимыми репликами: «Что вы скажете на это несчастье?» – или: «Папаша, выпивайте и закусывайте, и пусть вас не волнует этих глупостей».

А рассказ Бабеля «Соль» Изя Борц – один из четверых отцов-основателей славного общества «перфектуристов» – читал на большом, общешкольном, афишном нашем вечере.

Афишу придумали и разрисовали мы сами. Наискось, сверху вниз большой лист ватмана пересекало размалеванное разными красками, старательно выписанное нарочно повернутыми вкось и вкривь плакатными буквами, сакраментальное слово:

ПЕРФЕКТУРИСТЫ

А дальше – по образу и подобию старых футуристических афиш – шли наши имена.

Я на том вечере читал стихотворение Маяковского – «Личка. Вместо письма».

Гипнотизируя взглядом сидевшую в первом ряду девочку, в которую был влюблен, я завывал, старательно подделываясь под бас Маяковского и изо всех сил стараясь не пустить петуха:

Помнишь?
За этим окном впервые
руки твои

исступленный
гладил...

А Борц прочел выученный им наизусть рассказ Бабеля «Соль».

Читал он – по-актерски, на разные голоса.

Тонким, визгливым бабьим голосом выкрикивал:

– Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете...

А потом – в ответ – мужским, нарочито грубым:

– За жидов сейчас разговора нет, вредная гра́жданка. Жи-ды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс. Как присужденные каторжане, вытягают они нас – Ленин и Троцкий – на вольную дорогу жизни, а вы, гнусная гра́жданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозитя нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, нечестная гра́жданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают, – вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...

Борц был родом с Украины, кажется, из Днепропетровска. И в слове «гражданка» он делал ударение на первом слоге: «А вы, гнусная гра́жданка...» Но от этого рассказ Бабеля даже выигрывал. Монолог Балмашева из-за этих особенностей его дикции звучал у Борца как-то особенно натурально и выразительно. Я бы даже сказал, художественно.

В зале сперва смеялись, потом притихли. Слушали в мертвой тишине.

Слушали наши одноклассники, многие из которых были дети раскулаченных украинских крестьян, сосланных сюда, на Северный Урал в год великого перелома. Слушали и учителя. Знали они, что Бабель – арестованный и расстрелянный «враг народа»? Что книги его изъяты из всех библиотек? Что даже имя его упоминать не полагается?

Как теперь мне кажется, какая-то тень этого знания про-

мелькнула разве только на лице Ивана Сидоровича, преподававшего нам немецкий язык. Про Ивана Сидоровича говорили, что в 18-м году он был членом Центральной Украинской Рады, за что и был сослан в эти далекие северные края. А может быть, и ему тоже имя Бабеля было незнакомо?

Но имя Троцкого-то, уж конечно, было им знакомо. И произнесенное вот так, открыто, да еще в одном ряду с именем Ленина, – оно наверняка должно было бросить их всех в холодный пот. Почему же никто из них никак на эту нашу «враждебную вылазку» не прореагировал?

Ей-богу, не знаю. Просто теряюсь в догадках. Может быть, каждый из них думал, что если ребята вылезли со всей этой крамолой на сцену, значит, это можно, значит – кто-то им это разрешил. А может быть, почли за благо сделать вид, что ничего не заметили...

Одно могу сказать твердо: никто из нашей четверки даже и не догадывался, что, затеяв этот наш концерт, мы переступаем некую черту, совершаем нечто незаконное, запретное.

Но незнание закона, как известно, не освобождает преступника от наказания. И уже одного этого рассказа Бабеля наверняка хватило бы, чтобы раскрутить самое настоящее ДЕЛО. А тут еще рукописный журнал с глумлением над советскими поэтами, над патриотической поэмой «Зоя», удостоенной сталинской премии. И дурацкое слово «перфектуристы», прямо призывающее вернуться назад, в прошлое. И добро бы еще одиночная какая-нибудь выходка, так нет же! Ведь тут – ОРГАНИЗАЦИЯ!

Даже то, что мы были несовершеннолетние – «малолетки», – и то нас бы не спасло! Вспомните историю моего друга Шурика Воронеля.

Какую-то роль, наверно, тут сыграла разница в возрасте. Шурик моложе меня на несколько лет, и его «организация» попала в поле зрения наших славных органов не в сорок втором году, а в каком-нибудь сорок шестом или сорок седьмом. А тогда, в сорок втором, им, видимо, было не до малолеток.

Впрочем, что тут гадать! Важно, что все эти наши затеи нам тогда сошли с рук. И не только сошли с рук, но даже и повысили наш общественный статус. Как самых активных, самых

передовых, самых политически развитых, нас первыми во всей школе торжественно приняли в комсомол.

Отец мой, беспартийный черт знает с какого года, как выразился Зощенко про одного из своих героев, узнав, что я вступил в комсомол, особого недовольства не выразил. А вот у девочки, в которую я был влюблен (в горкоме комсомола нас с ней утверждали в один день, и там, дожидаясь, когда нас вызовут на бюро, она мне это рассказала), был с матерью на эту тему довольно крупный разговор. Мать ее, в отличие от моего отца, была не просто членом партии: она была партийным работником, работала в горкоме партии, заведовала там парткабинетом. Но узнав, что дочь вступает в комсомол, она свое негативное отношение к этому опрометчивому поступку выразила недвусмысленно, со всей, как говорится, большевистской откровенностью.

– Дура! – сказала она. – Ты понимаешь, что ты наделала? Ведь тебя теперь могут мобилизовать в ремесленное училище!

Этим цинизмом своей партийной матери дочь была возмущена до глубины души. Я же, признаться, в тот момент слегка дрогнул: мысль, что мое вступление в комсомол может так круто повернуть всю мою жизнь, мне в голову не приходила, и когда такая перспектива вдруг передо мной замаячила, это не на шутку меня напугало.

Но ни в какое ремесленное училище нас не мобилизовали. И вообще вступление в комсомол никак не изменило прежнего течения нашей жизни. Мы по-прежнему издавали наш рукописный журнал и устраивали вечера «перфектуристов». Разве только к этим «общественным» делам прибавились еще новые: меня сделали членом школьного комитета комсомола и редактором школьной стенгазеты. Членство в комитете мало меня тяготило. А должность редактора стенгазеты была мне по душе. Стенгазету мы делали с таким же увлечением, с каким лепили наш рукописный журнал. И когда был объявлен общегородской конкурс школьных стенгазет, я почти не сомневался, что наша займет на этом конкурсе первое место.

Эта моя надежда превратилась в полную уверенность, когда я увидел другие стенгазеты, развешенные по стенам конференц-зала. (Конкурс был поставлен на широкую ногу: проходил

он в горьком партии, а председателем жюри был главный редактор городской газеты – толстый добродушный дядька в огромных роговых очках на полном, постоянно улыбающемся лице. Фамилия его была Клиросов: я запомнил ее, потому что его сын Володька Клиросов учился с нами в одном классе.)

Стенгазеты, вывешенные в том зале, угнетали своим скучным, унылым однообразием. Они все были сделаны словно одной рукой. Наша на этом тоскливом фоне сразу бросалась в глаза. В отличие от тех, серых, от начала до конца заполненных аккуратно переписанными и симметрично расположенными на листе ватмана заметками, она переливалась всеми цветами радуги – и в прямом, и в переносном смысле слова. Помимо заметок (куда же без них?) там были и стихи, и эпиграммы, и рисунки, и веселые смешные карикатуры. Не могло быть никаких сомнений: первое место было нам обеспечено.

Каково же было мое изумление, когда среди вывешенных на всеобщее обозрение газет нашей вообще не оказалось.

Не сомневаясь, что это просто какое-то недоразумение, я подошел к отцу Володьки Клиросова, и он с неизменной своей добродушной, а сейчас, как мне показалось, добродушно-хитровой улыбочкой сказал мне:

– А ты загляни в соседнюю залу.

В соседней «зале» были вывешены – в назидание другим – образцы того, КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ школьную стенгазету. И на самом видном месте среди этих образцов газетного брака висела наша красавица.

Нет, карикатур, стихов и эпиграмм наших никто не ругал. Наоборот, их даже хвалили. И вообще, газета наша на вкус членов жюри во всех отношениях была хороша и безусловно заслужила бы какую-никакую премию. Но был в ней, оказывается, один коренной порок, который не только одним махом перечеркнул все ее достоинства, но даже самое обсуждение ее кандидатуры сделал невозможным. Порок этот состоял в том, что мы забыли начертать в самом верху газетного листа лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

На самом деле мы про это не забыли. Мы просто-напросто не знали, что без этого обязательного лозунга не может вый-

ти в свет ни один орган, как торжественно выразился отец Вовки Клиросова, «большевистской печати».

Почему-то этот, вроде бы совершенно пустяковый, случай окончательно определил полное мое разочарование в комсомольских делах, да и вообще в комсомоле.

Впрочем, и до него, до этого случая, душа моя в комсомольских, да и вообще во всех школьных делах давно уже не участвовала. Она целиком была заполнена непрекращающимся ни на минуту выяснением отношений с девочкой, в которую я был влюблен. Да, да, с той самой, с которой мы сидели вдвоем в горкоме, дожидаясь, когда нас вызовут на бюро, чтобы окончательно утвердить наше вступление в ряды ВЛКСМ.

За нашим бурным романом с жгучим интересом следил тогда не только весь наш восьмой класс, но и вся школа.

Да что там школа – весь город.

Началось с того, что мы – самовольно – сели с ней на одну парту. В классах у нас было холодно, и нам разрешали сидеть на уроках в зимних наших куртках, шубах, тулупах. У меня была какая-то курточка на рыбьем меху, а у нее – белый офицерский тулуп из овчины. Она, как и я, стремительно выросла из всех своих детских вещей, и ее мать, видимо, получила этот роскошный тулуп по какому-то ордеру. Вот мы и сидели – на первой парте – тесно прижавшись друг к другу и укрывшись вдвоем этим тулупом. Учителя не знали, как им на это реагировать, и потому не реагировали никак. Списывали все на холодрыгу и прочие суровые обстоятельства военного времени.

А после школы мы с ней часами бродили по городу, и тогда уже за тем, как развиваются наши отношения, наблюдал весь город. Нас то кидало друг к другу, то разводило в разные стороны. Мы постоянно вели бесконечные, сложные психологические разговоры, и нам казалось, что никто даже и не подозревает о том, что между нами происходит. Но догадаться было нетрудно: ведь все эти наши бурные ссоры и не менее бурные примирения происходили на виду у всего города. В мирные минуты мы шли, держась за ручки, как маленькие дети в детском саду. Это было в то время не только не принято, но, по господствующим тогда понятиям, в высшей степени не-

прилично. Так что уже одного этого было довольно, чтобы про нас судачил весь город. Во всяком случае, женская часть его населения. Но еще интереснее, как я сейчас понимаю, было наблюдать за нами в минуты бурных наших ссор. В этих случаях она демонстративно вырывала свою руку из моей ладони и быстро переходила на другую сторону улицы. И некоторое время мы продолжали двигаться в одном направлении по подгнившим дощатым мосткам, заменявшим здесь тротуары, изо всех сил стараясь при этом не глядеть друг на друга.

Пока она шла «в никуда», я шел за ней (хоть и по другую сторону улицы), делая вид, что и мне туда же. Но когда она изменяла направление и мне становилось ясно, что она идет домой, я вспоминал о своем мужском самолюбии и тоже поворачивал к дому. И тогда у меня где-то в области сердца образовывалась какая-то сосущая тоскливая пустота. И почти сразу, плюя на самолюбие, я начинал искать какой-нибудь предлог, чтобы как можно скорее встретиться и помириться. Поводом обычно становились какие-нибудь наши комсомольские дела.

Я вдруг вспоминал, например, что сегодня вечером нам надо идти к Перетягину.

Витька Перетягин был самый отстающий ученик в нашем классе, и нам было поручено – вернее, мы сами вызвались, но считалось, что это наше комсомольское поручение – заниматься с ним литературой и геометрией.

Все наши учителя считали, что Перетягин человек безнадежно тупой, чуть ли даже не умственно отсталый. Выражаясь чуть более деликатно, – неспособный.

На самом деле это было не так. Во всяком случае, не совсем так.

Кто-то из знаменитых русских полководцев – кажется, Багратион (а может, Кутузов или Ермолов?) – весьма элегантно выразился о качествах какого-то своего сподвижника: «В бою он застенчив». Формула как бы предполагала, что этот маленький недостаток искупается другими – и, как видно, немалыми – достоинствами славного генерала.

Вот так же обстояло дело и с Перетягиным.

На уроках он был застенчив. Когда его вызывали к доске, он потел, краснел, заикался. Заикался он так мучительно, что

даже самым суровым и беспощадным нашим учителям не доставало душевных сил длить эту пытку. Дело неизменно кончалось тем, что, махнув рукой, они отпускали его душу на покаяние: «Ладно, Перетягин, садитесь». И, вздохнув, ставили ему тройку.

Однажды, помню, нам было задано выучить наизусть какой-нибудь отрывок из поэмы Лермонтова «Мцыри». Сколько ни бились мы с Перетягиным, вызубрить свой отрывок он не мог. К счастью, читать эти отрывки надо было не у доски, а – с места, со своей парты. И вот Перетягин, удобно пристроив под партой книгу и, как ему казалось, незаметно в нее подглядывая, когда дошла очередь до него, начал, по обыкновению мучительно заикаясь:

– Т-ты в-в-видишь...

Это было начало выбранного им отрывка, первая строка которого гласила: «Ты видишь, на груди моей следы глубокие когтей...»

Но не то что до когтей, а даже и до груди, на которой эти когти оставили свой глубокий след, он добраться так и не смог. Запинался, останавливался, мучительно гримасничал, изо всех сил стараясь победить свое заикание, и, продолжая тайком заглядывать в лежавшую под партой книгу, начинал сначала:

– Т-т-ты в-в-ид-д-дишь...

– Вижу, вижу, Перетягин. Все вижу! – улыбаясь, прервала его мучения славная наша Марья Алексеевна. И под веселый хохот класса, махнув рукой, поставила ему вожделенную троечку.

Но, как и тот генерал, которого так прелестно аттестовал то ли Багратион, то ли Ермолов, застенчив Витька Перетягин был только в бою. То есть – на уроке. Стоило только прозвонить звонку, возвещающему об окончании урока, куда только она девалась, эта его застенчивость. Не проявлялась она у него и во время домашних наших занятий.

Мой отец, когда я, объясняя, куда иду и почему вернусь домой не слишком скоро, упоминал Перетягина, которого нам поручили «подтягивать», всякий раз повторял одну и ту же любимую ему фразу:

– Как бы этот Перетягин вас не перетянул.

Его привлекала сама собой напрашивающаяся тут игра слов. Всерьез он, конечно, и думать не думал, что в результате всех этих наших занятий мы и в самом деле скоро сами станем такими же отстающими, как наш подопечный. Отец даже не подозревал, как он близок к истине.

Нехотя отзанимавшись с нами положенные сорок минут литературой или какой-нибудь там геометрией, Витька брал в руки гитару и, взяв два-три аккорда, начинал:

Маменька милая, сердце разбитое
Милый не хочет любить...

Тех песен, что пел нам тогда Перетягин, – ни раньше, ни потом – мне слышать больше не довелось.

Одна из них, помню, начиналась так:

В одном тихом, глухом городишке
Коломбина с родными жила.
До шестнадцати лет подрастала,
А потом себе друга нашла.

Что там было дальше с Коломбиной и ее другом, я уже не помню. Помню только, что это была долгая история, насчитывающая несколько десятков куплетов.

Другая такая же длинная рифмованная бодяга была посвящена драматической судьбе какой-то знатной барышни, влюбившейся в лакея. Из нее мне запомнились только две строчки, рисующие портрет героини:

Она на рояле играла и пела
И многих пленяла своей красотой.

И еще одна, вобравшая в себя всю силу вдруг вспыхнувшего в ее душе пылкого чувства:

Ах, милый лакей, как тебя я люблю!

Все перетягинские песни были в таком же роде, все они бы-

ли, как говорили в таких случаях герои Михаила Михайловича Зощенко, – «маловысокохудожественные».

Слово «кич» мне было тогда еще неизвестно. Но это был самый что ни на есть доподлинный кич. Мало того! Перетягин обладал даром, в чем-то подобным волшебному дару мифического царя Мидаса, который, к чему бы ни прикоснулся, все мгновенно превращал в золото. Перетягин все, к чему прикасался, превращал в кич. Даже стихи величайших русских поэтов, попадая в круг его песенного репертуара, – а такое иногда тоже случалось, – тоже каким-то неведомым образом вдруг образовывали как бы некий единый сплав с «кичевыми» песенками про Колумбину, которая жила «в одном тихом глухом городишке», и барышню, которая «на рояле играла и пела и многих пленяла своей красотой».

Частенько певал он, например, лермонтовскую «Тамару»:

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна как ангел небесный,
Как демон коварна и зла.

Тот самый Лермонтов, который сочинил никакими усилиями не дававшегося Перетягину «Мцыри», в этом случае почему-то дался ему легко. Эти лермонтовские строки лились из его уст без запинки, без малейших признаков какого бы то ни было заикания. Он воодушевлялся. Кривоватый, всегда красный, слегка даже шелушащийся нос его начинал лосниться, глазки становились масляными. Особенно, когда дело доходило до строк:

Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам,
И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавались там.

Третью строчку этого четверостишия он, впрочем, пел не совсем так, как звучала она у Лермонтова, внося в канонический лермонтовский текст некоторые коррективы. Вместо «И странные, дикие звуки», он пел:

Какие-то странные звуки
Всю ночь раздавались там.

При этом нос его начинал лосниться чуть больше обычно, глазки становились еще более масляными, он даже многозначительно нам подмигивал, словно мы были его сообщниками в подглядывании за нарисованной поэтом пикантной картиной, и как бы намекая нам, что уж кто-кто, но мы-то прекрасно понимаем, какие такие странные звуки «всю ночь раздавались там».

Но мы и думать не думали о том, что это были за звуки. И низкий художественный уровень перетягинских песен нас совершенно не волновал. И даже та странная метаморфоза, которая благодаря перетягинскому исполнению происходила с волшебными строчками Лермонтова, тоже ни в малой степени не задевала нас и не оскорбляла. Главным для нас в этих вечерах у Перетягина было то, что они давали нам легальную – и не просто легальную, а как бы даже официально порученную нам комсомолом – блаженную возможность БЫТЬ ВМЕСТЕ. Пусть даже в состоянии ссоры, но – ВМЕСТЕ.

Насмешливое предположение моего отца насчет того, что Перетягин в конце концов нас перетянет, как я уже говорил, оказалось провидческим. Мы и в самом деле стали хуже учиться. В классном журнале против наших фамилий стали появляться тройки, а иногда даже и двойки.

Перетягин был тут, конечно, ни при чем. Просто все наши душевные силы уходили на многочасовые психологические объяснения, примирения и новые ссоры.

Подлинная причина нашего падения ни для кого не была тайной, и дело в конце концов дошло до разбирательства на комсомольском собрании. Нас прорабатывали, журили, воспитывали. Говорили, что еще недавно мы были гордостью

школы, а сейчас, если не опомнимся, того и гляди, превратимся в ее позор. Борц гвоздил меня прописной истиной, заимствованной им из романа Николая Островского «Как закалялась сталь»: «Нельзя девчат голубить, пока буржуев не прикончим!»

Цитата эта, как ему казалось, к нашему случаю относилась впрямую, в особенности если учесть тяжелое положение на фронтах. Он рекомендовал нам отложить наши любовные дела хотя бы до тех пор, пока военная ситуация кардинальным образом не изменится.

Мы пообещали исправить двойки и тройки, которые успели нахватать, и надеялись, что тем дело и кончится. Но от нас – во всяком случае от меня – не отвязались.

Спустя несколько дней после этого собрания меня вдруг вызвали в горком, на прием к секретарю. Сейчас я уже не помню, был ли это секретарь горкома комсомола или один из секретарей горкома партии. Во всяком случае, для такой мелкой птахи, как я, он был довольно важной персоной.

Рассказывая потом о беседе с ним моей девочке, я иронически назвал его «главным дядей». Под этим кодовым обозначением он и сохранился в моей памяти. Даже лица его я не помню.

Отправляясь на встречу с «главным дядей», я, конечно, и думать не думал, что вызвал он меня, чтобы беседовать о моих личных делах. Я полагал, что речь пойдет о каком-то важном комсомольском поручении, может быть, даже о мобилизации в ремесленное (или еще какое-нибудь? Может быть, военное?) училище.

Но, пригласив меня в свой кабинет и коротко спросив про отметки, «главный дядя» сразу взял быка за рога и заговорил примерно в том же духе, в каком на школьном нашем собрании говорил обо мне Борц. На Николая Островского он, правда, не ссылся, но о тяжелом положении на фронтах упомянул. Зачем-то (очевидно, взывая к моим национальным чувствам) упомянул даже о «трагедии еврейского народа».

– И вот в такой ответственный исторический момент, когда в мире происходят такие события, когда идет последняя, решающая схватка со всеми силами мирового зла, – заключил

он, – ты, комсомолец, занят любовными шашнями! И тебе не стыдно?!

Я сделал вид, что мне стыдно. Но на самом деле я думал о другом. Я никак не мог понять, каким образом слух о моих «любовных шашнях» дошел до такого важного дяди, а главное, почему этот «главный дядя» придавал этим моим «шашням» такое серьезное значение, что решил даже удостоить меня личной беседы.

Странновато тут было еще и то, что имя девочки, ставшей предметом моих «шашней», в этой беседе не упоминалось ни разу.

Она, надо сказать, в отличие от меня, сразу догадалась, в чем тут дело. Для нее не было никаких сомнений, что провести со мной эту суровую воспитательную беседу «главного дядю» уговорила ее мать. До смерти напуганная тем, что происходит с ее девочкой, она, бедняжка, пустила в ход то единственное оружие, которое имелось в ее распоряжении. (Напоминаю: она работала в горкоме партии заведующей парткабинетом, и на секретаря горкома у нее был, как говорится, прямой выход.)

Сообразив все это, я успокоился. И сразу выбросил из головы всю эту партийно-комсомольскую муру. Но попытка вторжения каких-то посторонних сил – хоть партии, хоть комсомола – в наши отношения (а у меня не было и тени сомнения в том, что наши отношения были уникальными, единственными в мире, что таких отношений, такой тонкой и в то же время прочной связи, которая каким-то чудом сразу возникла между нами, не было еще ни у кого за всю долгую историю человечества) – это наглое и грубое вторжение чужих, совершенно мне незнакомых людей в самую тайную, самую интимную область моего существования глубоко меня возмутило. Ни за партией, ни за комсомолом я не признавал никаких прав на такое грубое вмешательство в мою жизнь.

Но девочка моя восприняла все это иначе.

Она ведь была девочкой из Страны Гайдара. И связь ее с этой «исторической родиной» тогда – в отличие от моей, уже тронутой распадом, – была еще неразрывна. И вся эта партийно-комсомольская фразеология на нее еще действовала.

Все это вызывало у нас новые ссоры, новые мучительные объяснения.

Однажды во время одного из таких объяснений она сказала: – Я тебя не люблю. Я могу полюбить только верного сына коммунистической партии. А ты организуешь какую-нибудь свою партию!

По логике вещей мне тут надо было бы огорчиться. Но я – возликовал.

«Ого! – мелькнула мысль. – Вот, значит, как она меня видит!»

Предположением, что я со временем стану основателем какой-то новой, своей собственной политической партии, я был, конечно, невероятно польщен. Но причина моего радостного возбуждения была другая. Я понял, что мои взаимоотношения с комсомолом ее тоже интересовали лишь постольку, поскольку они могут отразиться на наших с ней отношениях.

Впрочем, не знаю. За нее не поручусь. Но со мной это было именно так.

Чтобы было совсем уж понятно, что я тогда чувствовал, отвлекусь слегка в сторону и расскажу коротенькую историю про моего друга – известного археолога, писателя, доктора исторических наук, а главное – прекраснейшего, добрейшего человека Жору Федорова.

Еще со студенческих времен был у Жоры близкий, самый близкий его друг – Некрич. (Тоже, кстати, ставший впоследствии известным историком). Жора с Некричем просто жить не могли друг без друга. И когда Жора женился (на Майе Рошаль, дочери знаменитого советского кинорежиссера, которого Сергей Михайлович Эйзенштейн назвал «вулканом, извергающим вату»), Некрич чуть ли не поселился вместе с молодоже-нами. Ну, может быть, и не поселился, но не давал им и часу побыть наедине друг с другом. Кроме того, он раздражал Майю своей неряшливостью, разбрасываемыми повсюду окурками и разными другими бытовыми привычками, тянущими Жору назад, в их прежнюю холостяцкую жизнь. И вот однажды, не выдержав, она объявила Жоре, что терпение ее лопнуло. И поставила вопрос ребром:

– Выбирай: я или Некрич.

Не задумавшись даже не секунду, Жора ответил:

– Безусловно, Некрич.

Так вот, если бы этот самый «главный дядя», который беседовал тогда со мной в горкоме, или какой-нибудь другой, еще более главный дядя, с той же суровой категоричностью сказал мне: «Выбирай: комсомол или она?» – я ответил бы сразу, не задумываясь: «Безусловно, она!»

Хотя – нет, не знаю. Может быть (и даже скорее всего), на это у меня не хватило бы храбрости, и я промямлил бы в ответ что-нибудь не слишком вразумительное. Но уж что я при этом подумал бы, я знаю совершенно точно.

«Да пропади он пропадом, этот ваш комсомол! – подумал бы я про себя. – Я и вступил-то в него только для того, чтобы сидеть с нею рядом, вон там, у дверей вашего кабинета, дожидаясь когда нас вызовут на бюро. И чтобы в школе, на комсомольских собраниях, тоже сидеть с нею рядом, как сижу я каждый день на уроках в холодном, неотапливаемом классе, накрывшись с нею одним тулупом и держа ее руку в своей руке».

Ей я, конечно, всего этого не сказал. Наоборот, стал доказывать, что ее подозрения насчет того, что я, мол, организую какую-то свою партию, совершенно беспочвенны, и что в комсомол я вступал совсем не ради нее, что я действительно не представлял и не представляю себе свою жизнь вне комсомола.

Я не лицемерил: какая-то крупца искренности в этих моих уверениях, наверно, тоже была. Но все это были – слова, слова, слова...

А вот пять лет спустя, когда из этого самого комсомола меня вышвырнули и я на всех собраниях, где меня исключали, – и в институте, и в райкоме, и на бюро горкома, – дрожащим, прерывающимся голосом уверял, что НЕ СМОГУ ЖИТЬ БЕЗ КОМСОМОЛА, – это были уже не слова.

В эти минуты я ощущал правду этих слов всем своим существом. Тут искренность моя была предельна.

Но это была искренность совершенно особого рода.

КОЛЕСНИЦА ДЖАГГЕРНАУТА

Он любил Старшего Брата.

Джордж Оруэлл

1

Когда меня исключили из комсомола, я вдруг полюбил Сталина. Ну, полюбил – это, может быть, слишком сильно сказано. Правильнее было бы выразиться так: на меня вдруг стало действовать его обаяние.

Раньше я этого его обаяния не то чтобы не замечал: я просто не знал о его существовании. И был бы, наверное, очень удивлен, если бы кто-нибудь мне сказал, что это самое обаяние у него есть. А тут вдруг я не только это узнал, но и сам, на себе почувствовал силу этого обаяния.

Сперва это было обаяние сталинского стиля. Я вдруг обнаружил, что меня завораживает его лаконизм, его железная логика, его юмор. Юмор его, правда, был несколько тяжеловат, но и в самой этой тяжеловатости тоже таилось какое-то очарование, которому душа моя не могла противостоять.

Я стал говорить сталинскими цитатами. Поначалу слегка маскируясь легкой иронией, но – любовно. «Эх ты, черноногая, не знаешь, где право, где лево!» – кидал я с легким грузинским акцентом какой-нибудь своей сокурснице, не умеющей ответить на простой вопрос из области языкознания или теории литературы. И не замечал при этом, что Сталин тут, в сущности, ни при чем: фраза-то была гоголевская. Не замечал, что, приписывая обаяние этой реплики Сталину, я так же

слеп, как герои гофмановского «Крошки Цахеса», которые были заморожены игрой виртуоза-скрипача, но аплодисментами наградили почему-то не его, а раздувшегося от спеси уродливого карлика.

Мог я и приятелю, жалующемуся, что его несправедливо обидели, насмешливо возразить с тем же еле заметным грузинским акцентом, дающим понять, чьи это слова:

– Кто тебя, Тит Титыч, обидит. Ты сам всякого обидишь!

Это тоже была пришедшаяся мне по душе сталинская фраза, брошенная им в ответ на какие-то упреки Троцкого.

Почувствовав, что проголодался, и желая узнать, скоро ли будет готов обед, я говорил:

– Как там у нас с севом?

И отец, подмигивая мне и насмешливо кивая на мать, по вине которой обед запаздывал, немедленно включался в игру, продолжая цитату:

– Намечаются сдвиги, товарищ Сталин!

Сталинская эта цитата отцу известна была, разумеется, от меня. Сам он, как и Сергей Александрович Есенин, ни при какой погоде этих книг, конечно, не читал. А я однажды прочел ему, захлебываясь восторгом, этот замечательный образец сталинского юмора:

А теперь о втором типе работников. Я имею в виду тип болтунов, я сказал бы, честных болтунов (*смех*)... У меня в прошлом году была беседа с одним таким товарищем, очень уважаемым товарищем, но неисправимым болтуном... Вот она, эта беседа.

Я: Как у вас обстоит дело с севом?

Он: С севом, товарищ Сталин? Мы мобилизовались. (*Смех.*)

Я: Ну, и что же?

Он: Мы поставили вопрос ребром. (*Смех.*)

Я: Ну, а дальше как?

Он: У нас есть перелом, товарищ Сталин, скоро будет перелом. (*Смех.*)

Я: А все-таки?

Он: У нас намечаются сдвиги. (*Смех.*)

Я: Ну, а все-таки, как у вас с севом?

Он: С севом у нас пока ничего не выходит, товарищ Сталин.
(Общий хохот.)

Рассказывая о том, как я ощутил обаяние сталинского литературного стиля, я не случайно заметил, что это произошло **вдруг**. Совсем незадолго до этого я был просто изумлен, когда одна моя сокурсница сказала, что стиль Сталина нравится ей больше, чем стиль Ленина. Это утверждение, как мне тогда казалось, говорило о полном отсутствии художественного чутья. Ленинский темперамент, страстность ленинской мысли меня тогда буквально завораживали. Завораживал самый ритм ленинской фразы:

... раб, который не только чуждается стремления к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство, такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам.

... царизм не только угнетает девять десятых населения, но и деморализует, унижает, обесчещивает, протитирует его...

Там, где смело можно было обойтись одним – достаточно выразительным – определением («чувство презрения») или одним глаголом («обесчещивает») Ленин выстреливает по меньшей мере тремя (...негодования, презрения и омерзения»), а то и четырьмя («деморализует, унижает, обесчещивает, протитирует...»). И все эти слова, в сущности, – синонимы. Они нужны ему не столько потому, что продолжают, развивают или уточняют мысль, а потому, что его влечет эмоциональный накал, страсть, темперамент. По сравнению с этой бешеной страстью, с этим яростным напором, медлительная, поучающая логика сталинского катехизиса казалась мне примитивной. Разница была примерно такая же, как между симфоническим оркестром и барабаном.

Над примитивностью и ложной многозначительностью повсеместно цитируемых сталинских высказываний в нашем кругу принято было подтрунивать. Помню, еще подростком я

слышал, как кто-то из знакомых отца с иронией заметил, что наш вождь отличается необыкновенной предусмотрительностью. «Руководить – это значит предвидеть», – мудро заметил он. И сам действительно все предвидит. Так, например, беседуя с Чкаловым, Байдуковым и Беляковым перед их знаменитым перелетом, он, подняв свой указующий перст, якобы сказал, обращаясь к летчикам: «Не забудьте позаботиться о бензине!»

Другой знакомый отца любил цитировать казавшиеся ему особенно комичными расхожие сталинские фразы. Особенно, помню, восхищала его такая – знаменитая в то время – реплика вождя: «А между тем Советский Союз стоит, как утес, идя от победы к победе...»

– Нет, это восхитительно! – повторял он, хихикая и потирая руки. – «Стоит... идя!»... Это просто шедевр!

И я тоже хихикал. Мог ли я тогда предположить, что пройдет совсем немного времени, и даже в самых примитивных, плоских, невыразительных, а иногда и не шибко грамотных сталинских перечислениях («У нас не было химической промышленности, – теперь у нас есть химическая промышленность») мне тоже почудится какое-то очарование.

Даже тяжеловатая примитивность сталинского мышления стала казаться мне по-своему обаятельной.

«Немецкий писатель Генрих Гейне...» – начинал он какое-то свое рассуждение. Раньше, прочитав эту фразу, я бы наверняка подумал, что настоящий интеллигент так никогда бы не выразился. Интеллигент (хоть тот же Маркс или Ленин) начал бы как-нибудь так: «Гейне однажды заметил...» Интеллигентному человеку, который обращается к своему брату-интеллигенту (а к кому еще может он обращаться в статье или речи, в которой упоминается Гейне?) нет нужды объяснять, что Генрих Гейне был немецким писателем. Интеллигенты в таких случаях понимают друг друга с полуслова, и само имя Гейне для них – это своего рода код, пароль, как у киплингковского Маугли: «Мы с тобой одной крови, ты и я».

Теперь же, в новом своем состоянии, прочитав эту сталинскую фразу, я думал: ну да, это вот и есть его стиль! Все особенности, все оттенки этого стиля обусловлены тем, что он –

интеллигент – обращается не к своему брату-интеллигенту, а к широчайшим массам трудящихся. Он хочет, чтобы его слова были понятны всем и каждому, в том числе и тем, кто отродясь не слыхивал имени Генриха Гейне и ни малейшего понятия не имеет, где и когда этот неведомый ему Генрих жил и чем занимался.

Отчасти эти мои восторги были, конечно, мне внушены не только общей атмосферой сталинского культа, но и приняв участие в создании этого культа людьми, с мнением которых я не мог не считаться. В нашей литинститутской библиотеке я раскопал толстенный том: стенографический отчет первого Всесоюзного съезда советских писателей. Уж не знаю, какими судьбами эта книга сохранилась и почему мне разрешили в нее заглянуть: ведь там были речи не только исчезнувших Бабеля и Пильняка, но и доклады Бухарина и Радека... И вот в речи еще со школьных времен обожаемого мною Бабеля я прочел:

На чем можно учиться? Говоря о слове, я хочу сказать о человеке, который со словом профессионально не соприкасается: посмотрите, как Сталин куёт свою речь, как кованны его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры...

Попадись мне раньше это бабелевское высказывание, я бы, наверно, усмехнулся и не без ехидства подумал: и этот не удержался, лизнул все-таки!

Теперь, в новом моем состоянии, я даже обрадовался: вот! Сам Бабель – и тот восхищается чеканным, кованным сталинским стилем!

Взошедший на съездовскую трибуну сразу после Бабеля старый писатель Аросев пошел еще дальше. Он сказал:

Нехватка современных типов в нашей литературе почувствована вождем нашей партии т. Сталиным. Вы знаете, на XVII съезде т. Сталин дал нам фигуры двух типов: зазнавшегося вельможи и честного болтуна. Сама форма, в которой т. Сталин изложил это, высоко художественна, в особенности там, где идет речь о болтуне. Там дан высокой ценности художественный диалог.

И если предыдущий оратор, т. Бабель, говорил о том, что мы должны учиться, как обращаться со словом, у т. Сталина, то я поправил бы его: учиться так художественно подмечать новые типы, как это сделал т. Сталин.

Прочитав это раньше, я бы, наверно, уж всласть поглумился над тем, как этот оратор «поправил» Бабеля. Во всяком случае, уж точно не увидел бы в этом высказывании ничего, кроме всплеска откровенного и, по правде говоря, довольно-таки фальшивого подхалимажа. А сейчас... Нет, сейчас я тоже, конечно, слегка поморщился. «Способность художественно подмечать новые типы», «высокой ценности художественный диалог...» – это был уж очень явный перебор. Так и подбивало вспомнить пушкинское: «Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства».

И в то же время мне было приятно, что старый писатель обратил внимание на тот самый отрывок из сталинского доклада, который так нравился и мне тоже. Я даже испытал некоторую гордость оттого, что мы оба, не сговариваясь, выбрали один и тот же отрывок. Как-никак, это свидетельствовало о том, что у меня тоже был неплохой художественный вкус. (В делах литературных авторитет писателя, даже такого, как совершенно неизвестный мне Аросев, был для меня все-таки более высок, чем авторитет Сталина.)

Влюбившись в сталинский стиль, я вступил в ту стадию влюбленности, которую Стендаль в знаменитом своем трактате «О любви» называет **кристаллизацией**.

Подробно рассказав о том, как влюбленный наделяет предмет своей любви разными несуществующими достоинствами, Стендаль далее весьма проницательно замечает, что даже очевидные недостатки предмета его любви влюбленному постепенно начинают представляться достоинствами.

Моя любовь к Сталину развивалась **точно по Стендалю**, что, конечно, неопровержимо свидетельствует о том, что это была не выдуманная, не внушенная, а самая что ни на есть подлинная любовь.

Недавно мне кто-то подарил граммофонную пластинку с какой-то речью Сталина. Смеха ради я решил ее прослушать.

Слушал, слушал – и не узнавал. Во-первых, это был совсем не тот голос. Высокий, слишком высокий для мужчины, и какого-то неприятного, даже противноватого тембра. Но более всего поразил меня грузинский акцент вождя. Акцент этот был такой сильный, что добрую половину его речи я просто не понимал. С огромным трудом улавливал, о чем, собственно, он там толкует.

А тогда, в пору моей влюбленности, я прекрасно понимал смысл каждого слова. И тембр сталинского голоса казался мне приятным. А грузинский его акцент и эта неторопливая, медлительная манера, с какой произносилось им – словно бы с трудом – каждое слово, не только не мешали мне, а напротив, только усиливали так властно действовавшее на меня обаяние его речи.

Тут уже действовало не только обаяние сталинского стиля, но и человеческое, я бы даже сказал, физическое обаяние великого человека. Его скупой, но такой выразительный жест. Его добрая улыбка. Даже его седина.

Помню, в каком-то киножурнале промелькнули кадры хроники, в которых я впервые увидел послевоенного, уже слегка поседевшего и постаревшего Сталина.

– Седой, седой... – прошелестело по залу.

– Постарел, – услышал я чей-то шепот.

– Да, нелегко досталась ему война...

Я никаких таких слов, естественно, не произносил и вообще вслух своих чувств не выражал. Но эти слова, которыми вполголоса обменивались мои соседи, довольно точно выражали то, что чувствовал в тот момент и я тоже.

Не с этого ли началась у меня та самая кристаллизация?

Не знаю. Начала ее я уже не помню. А состояние своей влюбленности помню только с того времени, когда процесс, как говорится, уже пошел. Но я точно знаю, что пошел этот процесс именно тогда, когда меня исключили из комсомола. И это тоже было в точном соответствии с теорией Стендаля. Автор знаменитого трактата «О любви» разделяет две кристаллизации: первую и вторую. Вторая – а она по Стендалю гораздо сильнее первой – возникает, когда предмет любви проявляет по отношению к влюбленному «равнодушие, холодность или

даже гнев». Говоря проще, когда влюбленный чувствует, что он **отвергнут**.

Именно это чувствовал я, когда комсомол исторг меня из своих рядов, и именно из этого чувства **отвергнутости** и родилась моя любовь, сразу войдя во вторую стэндалевскую фазу.

Влюбленный, как известно, не может прожить и дня вдали от предмета своей любви: «Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я».

Как это ни смешно, я испытывал нечто подобное.

Я таскался на все фильмы о Сталине. И самое забавное тут было то, что, потакая этой своей влюбленности, теща ее, двигаясь у ней на поводу, я вовсе не стремился увидеть непременно самого Сталина. Эту мою страсть прекраснейшим образом удовлетворяли сталинские двойники: сперва Геловани, потом Алексей Денисович Дикий, который однажды сменил Геловани, потому что догадался играть Сталина без акцента, чем, вопреки страхам кинематографического начальства, вызвал милостивое благорасположение отца народов.

Правда, спустя некоторое время Дикий все-таки впал в немилость. По слухам, Ворошилов где-то сказал, что Алексей Денисович артист, конечно, хороший, но с таким брюхом, которое он себе отрастил, играть вождя нельзя. Дикий тотчас был отлучен от этой – самой главной в стране – театральной и кинематографической роли, и единственным исполнителем Сталина во всех фильмах снова стал Геловани.

За всеми этими переменами я следил с гигантским интересом, различая за этими движущимися фигурками властную волю САМОГО. Может быть, прямо и не выраженную, но легко угадываемую.

Я, например, был уверен, что Дикий решил играть Сталина без грузинского акцента не по каким-нибудь там эстетическим соображениям, а потому, что ему было сказано, что ТАК НАДО. Во всяком случае, в отличие от киношного начальства, которое (об этом я узнал позже) это дерзкое решение встретило с испугом, я точно знал, что СТАЛИНУ ЭТО НРАВИТСЯ.

Я не сомневался в этом, потому что хорошо помнил, как в день победы над Японией Сталин сказал: «Мы, русские люди старого поколения, сорок лет ждали этого дня».

Тогда, услышав эту фразу, я был возмущен. Меня ведь учили, что Русско-японская война обнажила всю гнилость царского самодержавия, и это было хорошо. Недаром же большевики занимали в той войне пораженческую позицию. Фраза Сталина, причислившего себя к русским людям старшего поколения, которые восприняли поражение России в той войне как личную травму и сорок лет мечтали о реванше, была в моих глазах предательством. Она означала, что Сталин больше не считает себя большевиком. (Так оно, в сущности, и было.)

Но теперь в этой сталинской фразе мне слышалось совсем другое: мне показалось, что, назвав себя русским человеком старшего поколения, Сталин был искренен. Им двигали, – думал я теперь, – не только политический расчет, не только желание потрафить национальным (а также имперским) чувствам и настроениям народа. Это была, как мне показалось, подлинная, самая что ни на есть искренняя его самоидентификация. И это меня даже тронуло.

Много лет спустя, прочитав книгу Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу», я узнал, что не слишком тогда обманывался на этот счет.

Грузинское, – вспоминает Светлана о своем детстве, – не культивировалось у нас в доме, отец совершенно обрусел.. Брат мой Василий как-то сказал мне в те дни: «А знаешь, наш отец раньше был грузином».

И в другой главе той же книги:

Я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл свои национальные черты и настолько сильно полюбил бы все русское.

Эту свою любовь к России и ко всему русскому он полагал взаимной. Где-то (кажется, у Авторханова) я прочел, что когда Берия заменил всю его охрану специально вызванными для этой цели грузинами, он немедленно отменил этот приказ, озадачив Лаврентия таким раздраженным вопросом:

– Что же, по-твоему, русские меньше любят товарища Сталина, чем грузины?

А совсем недавно мне рассказали, как Сталин пригласил к себе А.Д. Дикого и в беседе с ним (будто бы) сказал:

– Как вам удалось так замечательно сыграть меня? Ведь мы с вами до сегодняшнего дня ни разу не встречались.

– А я играл не вас, – ответил (будто бы) Алексей Денисович. – Я играл представление народа о вас.

И Сталину такой ответ будто бы очень понравился.

Всего этого я тогда, понятное дело, не знал. Но я чувствовал, что Сталину нравится видеть и ощущать себя не грузином, а именно вот – русским человеком старшего поколения. И не без некоторых к тому оснований подозревал, что его грузинский акцент, от которого он до последнего своего дня так и не смог избавиться и который казался мне таким обаятельным, ему самому давно уже был в тягость. Поэтому-то ему и понравился (не мог не понравиться!) Дикий.

Что касается меня, то мне нравились оба. Геловани чаровал меня своей грузинской внешностью и акцентом. Дикий – потрясающим актерским мастерством, благодаря которому Сталин у него и без акцента оставался Сталиным – бесконечно близким и родным, узнаваемым в каждом своем, таком индивидуальном, таком неповторимом, скупом и выразительном жесте, в ритме фразы, в медлительности его речи, в характерных сталинских паузах, словно нарочно оставляющих собеседнику время для того, чтобы тот мог понять, вобрать в себя и в должной мере оценить всю мудрость сказанного вождем.

Эти сталинские двойники (Дикий и Геловани) были очень разные. Но я полюбил обоих, потому что и за тем и за другим для меня стоял – ОН. Каждый был обаятелен по-своему. Но это было не их, а – ЕГО обаяние. Они были только **проводниками** этого обаяния, а **источником** его был – ОН.

Помню, в каком-то фильме (кажется, это было «Падение Берлина») герой с ярко выраженной русопятской внешностью (его играл замечательный актер Борис Андреев), представляясь Сталину, настолько обалдел от счастья, что у него напрочь вылетело из головы имя и отчество вождя.

– Здравствуйте, – в растерянности пролепетал он, – Виссарион Иванович.

Сталин (в тот раз это опять был возвращенный из немилости Геловани) с доброй улыбкой протянул ему руку для рукопожатия и мягко поправил:

– Это отца моего звали Виссарион Иванович. А я – Ёсиф Виссарионович.

Обмолвка, спровоцировавшая эту реплику, не казалась нарочитой, искусственно подогнанной к имени и отчеству сталинского отца. Она была живой, достоверной, можно даже сказать – художественной. Из уст героя, которого играл Борис Андреев, она вырвалась естественно: **этот человек**, если уж случилось бы ему в растерянности запомнить имя вождя, мог обмолвиться только так, и никак иначе. Какое еще отчество могло прийти ему на ум в этот критический момент? Только «Иванович» – и никакое другое.

У меня был дядя (строго говоря, не дядя, а муж моей тетки), которого звали Исаак Аронович. Он работал главбухом на каком-то заводе. Работал он там много лет, рабочие хорошо его знали, относились к нему уважительно и звали его – даже за глаза – по имени-отчеству. Но запомнить настоящее его имя и отчество решительно не могли. Они звали его **Иваном Моисеевичем**. Отчество «Моисеевич» было для них как бы верхним, последним пределом «нерусскости». До «Ароновича» им было уже не дотянуться.

А вот еще одно, пожалуй, даже более красноречивое семейное предание. Двоюродного брата моей жены зовут Иван. Когда он родился, мать твердо решила назвать первенца Евгением. Очень ей нравилось это имя. Но отец ребенка – дядя моей жены, Иван Макарович, – перед тем как отправиться в сельсовет записывать родившегося сына, на радостях слегка принял. И имя, которым жена наказала ему наречь младенца, начисто вылетело у него из головы. Придя в контору, он долго мялся, пытаясь вспомнить красивое имя, которое настойчиво втемяшивала ему жена. Вспоминал, вспоминал, да так и не вспомнил. И в конце концов – сдался. Безнадежно махнул рукой и сказал: «Пиши Иван!» Так и не привелось этому моему свойственнику стать Евгением.

Все это говорит о том, что автор сценария, сочинивший так ярко запомнившуюся мне сцену (это был Петр Павленко), не просто высосал эту свою художественную находку из безымянного пальца. Он исходил из точного и довольно даже тонкого знания психологии простого русского человека. Но была у этого хитроумного автора тут еще и другая, более важная **сверхзадача**.

Вся эта хитрая игра затевалась с одной-единственной целью: надо было, чтобы «русский Иван» узнал, что отца Сталина звали «Виссарион **Иванович**». То есть чтобы все узнали, что дед нашего вождя – этого человека с чужим, нерусским именем и не особо русским отчеством (про «неистового Виссариона» слыхала лишь малая часть населения державы) тоже был **Иваном**. Это был все тот же сигнал, знак, пароль: «Мы с вами одной крови...». Благодаря этой словно бы невзначай подброшенной зрителю информации Сталин становился ему (зрителю) еще понятнее, еще ближе, еще роднее.

Все это я уже тогда прекрасно понимал. Но – странное дело! Умом понимал, а слыша из уст Геловани это обаятельное, со столь милым моему сердцу акцентом произнесенное: «А я – Ёсиф Виссарионович», – я просто млеял от восторга. Я даже, помнится, пересказывал эту пленившую меня сцену всем, кто еще не видел нового, только что вышедшего на экран кинофильма. И не просто пересказывал, а даже изображал Сталина, подражая Геловани – его жесту, его медлительной речи, его грузинскому акценту.

Это, надо сказать, было едва ли не главным моим тогдашним, как теперь говорят, «хобби». Я обожал рассказы о Сталине. Любил их слушать, но еще больше любил их рассказывать.

Во всех этих рассказах Сталин, разумеется, был носителем (лучше сказать – вершителем) добра и справедливости. Он появлялся в них как бог на машине в древнегреческой трагедии и какой-нибудь одной короткой репликой восстанавливал нарушенный порядок вещей. И делал он это всякий раз с необыкновенным, только ему одному присущим изяществом и остроумием.

Вот, например, узнав, что Папанин выстроил для себя какую-то непомерно роскошную дачу, он будто бы сказал:

– Сколько можно обсасывать одну льдинку?

И немедленно распорядился отобрать у знаменитого полярника этот его загородный дворец, предоставив его теснившемуся в гораздо более убогом помещении детскому дому.

Восхищала меня и другая – столь же остроумная – реплика вождя. Жена Константина Симонова Валентина Серова влюбилась в маршала Рокоссовского. Маршал отвечал ей взаимностью и поселил ее у себя, где-то там при штабе фронта, которым он командовал (дело было во время войны). То ли до Сталина дошли слухи об этом безобразии (кто-то донес?), то ли сам Симонов пожаловался вождю, что маршал отбил у него жену, – подробности неизвестны. Известно было только (так, во всяком случае, об этом рассказывали), что в один прекрасный день маршалу сказали, что из ставки его требует к телефону Верховный главнокомандующий.

– Товарищ Рокоссовский, – сказал будто бы Сталин, когда ему доложили, что командующий фронтом на проводе. – Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос: чья жена известная артистка Валентина Серова?

Маршал ответил, что артистка Валентина Серова, насколько ему известно, жена поэта Константина Симонова.

– Вот и я так думаю, – сказал Сталин.

Разговор продолжения не имел. Но никакого продолжения уже было и не нужно: артистка была возвращена законному супругу с той же стремительностью, с какой дача Папанина была отдана детскому дому.

Известный всей читающей России роман Симонова с Серовой вызвал и другую, тоже знаменитую (и тоже, скорее всего, легендарную) реплику вождя. Рассказывали, что, похвалив лирический цикл Симонова «С тобой и без тебя», Сталин недовольно поморщился, когда зашла речь о тираже этой книжки. Литературные холоуи тут же изъявили готовность немедленно этот тираж увеличить и осторожно попытались выяснить у вождя, каким он, по его мнению, должен быть.

– Какой, по моему мнению, тут нужен был тираж? – спросил будто бы Сталин. И ответил: – Два экземпляра. Один ему, другой – ей.

Вот эти – и другие такие же – байки про Сталина я и любил

рассказывать, всякий раз влюбленно изображая вождя с помощью все того же чарующего грузинского акцента.

Самое интересное тут, пожалуй, было то, что свою любовь к рассказам о Сталине я сохранил надолго. Много лет спустя, уже после смерти вождя и даже после хрущевского разоблачения «культы личности и его последствий», я время от времени в какой-нибудь дружеской компании, совсем как тот чеховский мальчик, которому говорили: «Пава, изобрази!» – по первому требованию вставал и «изображал».

Репертуар, правда, теперь у меня был несколько иной. В теперешних моих рассказах Сталин предстал как бы в некоем ироническом освещении. Так, во всяком случае, мне тогда казалось. А на самом деле...

Да, конечно, эти новые мои истории о Сталине, в отличие от тех, которые я любил рассказывать раньше, были слегка приперчены иронией. И в конечном счете ирония эта обнажала тупость и идиотизм созданного Сталиным государственно-го механизма, что давало мне некоторые основания считать эти рассказы антисталинскими.

Но Сталин при этом всякий раз оказывался за пределами этого иронического поля.

Больше того! Он сам всякий раз, в каждом из этих рассказов был как бы источником этой иронии. В одном рассказе объектом иронии оказывался директор Большого театра, в другом председатель Комитета по делам искусств Храпченко, в третьем – тот же Храпченко и министр высшего образования Кафтанов, в четвертом – наложивший в штаны митрополит, в пятом – трясущийся от страха композитор Покрасс. А Сталин, возвышаясь над ними, словно бы разводил руками: вот, мол, полюбуйте, с какими ничтожествами приходится мне работать. И оставался по-прежнему обаятельным. (В моем репертуаре было полтора-два десятка таких рассказов. Некоторые из них я потом даже записал: они вошли в мою книгу «Перестаньте удивляться». Интересующихся отсылаю к этому сочинению.)

Особенно чаровал моих слушателей (да и самого рассказчика тоже) неповторимый сталинский юмор.

Природа этого юмора хорошо видна на примере одной ис-

тории, которую я тоже любил рассказывать в те, уже послесталинские времена.

На концерте в Кремле пел Иван Семенович Козловский. Некоторые члены Политбюро стали просить его исполнить на «бис» какую-то народную песню.

Сталин сказал:

– Нэ надо давить на товарища Козловского. Пусть товарищ Козловский исполнит то, что сам желает. А желает он исполнить арию Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Все засмеялись. И Козловский тоже смеялся вместе со всеми. И спел арию Ленского.

Или вот такая история, пожалуй, даже еще нагляднее обнажающая природу этого самого сталинского юмора.

В годы войны чуть ли не каждый день являлся к Сталину с докладом какой-то интендантский генерал по фамилии, ну, скажем, Раппопорт. И, выслушав его доклад, Сталин всякий раз заключал их встречу одной и той же фразой:

– Боюсь, товарищ Раппопорт, что нам все-таки придется вас расстрелять.

И вот война кончилась. И был по этому поводу в Кремле большой банкет. И Сталин произнес небольшую речь, в которой, между прочим, сказал:

– Нам пришлось пережить трудные времена. Были моменты, когда положение наше было критическим. Но и в самых критических ситуациях мы никогда не теряли чувство юмора. Товарищ Раппопорт, – кивок в сторону несчастного интендантского генерала, – может это подтвердить.

Генерал, конечно, радостно это подтвердил. И может быть, на радостях даже прослезился. Вот ведь как хорошо все обернулось! А ведь **мог бы и полоснуть**, как было сказано по сходному поводу в одном известном анекдоте.

В подтексте каждого из тех моих любимых рассказов о Сталине лежало вот это самое – «мог бы и полоснуть!»

Сталин давно уже был выброшен из Мавзолея и гнил в своей новой – я уже не сомневался тогда, что тоже временной, – могиле у Кремлевской стены. И каждый год пятого марта – в день его смерти – мы с друзьями собирались и пили за то, что пережили его: а ведь могли – еще как могли! – и не пережить.

У меня давно уже не оставалось никаких иллюзий по поводу роли Сталина в жизни моей страны. Давно уже не было у меня на этот счет никакой раздвоенности, ни даже крошечной тени сомнений. Но магия его обаяния еще сохраняла надо мной свою власть. Где-то в подкорке, в подсознании, еще продолжало жить, не хотело умирать это давнее рабское умиление: вот ведь, смотрите – дракон, а выглядит как человек. Не лишен даже некоторой приятности. И ведет себя не «по-драконьи», а «по-человечески»!

Все это, как и при жизни «дракона», продолжало действовать, вызывало прилив умиления и даже восторга.

Природа этой магии не таит в себе никаких загадок. Это – **магия власти**.

Вчера на съезде сидел в 6-м или 7-м ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти. Сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой – все мы так и зашептали: «Часы, часы, он показал часы», – и потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!»

Домой мы шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью.

(К.И. Чуковский. «Дневник», 22 апреля 1936)

Прочитав это, я подумал: «Неужели и у них тоже эта вспышка истерической любви к Сталину была **сублимацией**

страха? Но быстро отогнал от себя эту мысль: как-то неловко мне было моделировать сознание **таких людей** по образу и подобию своему. А совсем недавно – в мемуарах Эммы Герштейн – попало мне приведенное там письмо Татьяны Максимовны Литвиновой – как раз на эту тему:

Когда в дневнике К.И. читала об их (*то есть* Чуковского и Пастернака. — Б. С.) искренней любви к «вурдалаку», я подумала – ведь это истерика. И еще, что подо всем этим все же был и страх – «страх Божий». Сужу по себе, по своему впечатлению, когда – единственный раз слышала и видела Сталина, выступавшего на съезде (1936?) по поводу конституции. Я его обожала! Власть – всевластность – желание броситься под колесницу Джаггернаута. Отец, Бог – полюби меня!

Откровенное признание это укрепило мои подозрения. Укрепило настолько, что я даже осмелюсь внести в это объяснение Татьяны Максимовны небольшую поправку. «Подо всем этим был и страх», – пишет она. Так вот – не «и страх», а – **только страх**. Ничего, кроме страха.

2

Когда советская власть рухнула, плотная завеса над тайнами КГБ стала постепенно приоткрываться. Стали появляться статьи, в которых всерьез обсуждались самые невероятные фантазии, легенды, слухи, связанные с таинственной деятельностью всемогущего ведомства. И то и дело стало мелькать в этих статьях слово «зомби». Были, мол, там у них, в их секретных лабораториях, созданы лучи, с помощью которых любого человека можно было превратить в зомби. Пооблучают высококолобого интеллигента, славящегося независимостью своих суждений, такими лучами, и он превратится в живую куклу, биоробота, покорно выполняющего чужую волю.

Ни к какому определенному выводу авторы тех статей так, кажется, и не пришли. Вопрос остался открытым: то ли в самом деле были у них эти лучи, то ли все это выдумки, плод испуганной интеллигентской фантазии.

Но я-то точно знал, что такие лучи у них действительно **были**.

В конце 80-х, когда «жидивська вера полегчила», как, бывало, говаривал мой отец, когда ему мерещились некоторые государственные послабления, я впервые пересек границу «большой зоны». Первой моей «заграницей» стала Германия. Там я встретился со своим другом-эмигрантом Геной Файбусовичем (Борисом Хазановым) – тем самым, которому наши славные органы хотели приписать авторство 66-го сонета Шекспира.

В отличие от других моих друзей-эмигрантов, он без особого интереса относился к переменам, происходившим в нашем отечестве. Когда я спросил его о причинах этого вялого интереса, он сказал:

– Я не верю, что советская власть рухнула. Она будет существовать до тех пор, пока существует КГБ. А КГБ будет существовать вечно.

Я возражал. Говорил, что тайная полиция – не изобретение советской системы, что аналогичные структуры существуют во всех странах. Что КГБ будет служить новой власти так же, как он служил прежней.

– Вот ведь раньше меня не выпускали за рубеж. А теперь – выпустили. Кто выпустил? Да тот же самый КГБ. Почему? Потому что приказали. Что им прикажут, то они и будут делать!

Гена в ответ на эти мои оптимистические прогнозы только грустно покачал головой. И сказал:

– КГБ – это не просто тайная полиция. Это совсем другое.

Не помню, что и как отвечал я на это. По вечной моей склонности к спору, наверно, что-то отвечал. Но в глубине души сразу с ним согласился. Я ведь тоже – может быть, не так хорошо, как Гена, потому что, в отличие от него, не был «за той стеной», – но достаточно хорошо знал, что КГБ – это не просто тайная полиция. Что это – совсем другое.

Незадолго до того случилось мне прочесть книгу некоего А. Казанцева – «Третья сила. Россия между нацизмом и коммунизмом». Автор этой книги – видный член НТС – был в центре

событий, определивших возникновение армии генерала Власова. Он, в частности, занимался вербовкой пленных солдат и офицеров, среди которых, как он говорит, было немало искренних и даже ярких ненавистников советской системы. На сторону Власова они переходили добровольно и даже с радостью. Но когда фронт стал приближаться, в сознании этих людей произошел какой-то странный, поначалу совершенно необъяснимый для автора книги душевный перелом.

Солдат и офицеров, которые вчера еще сражались, не щадя жизни, вдруг охватила какая-то апатия, какая-то странная болезнь размягчившейся воли. Люди, которым, казалось бы, уже нечего было терять, без всякого сопротивления, легко и быстро поддались на уговоры просочившихся в их ряды советских агитаторов, зовущих переходить, как пишет автор книги, «на ту сторону, то есть на верную смерть».

Но самым загадочным тут было даже не это. Более всего автор этой книги был поражен тем, что приближение Советской армии стремительно меняло, деформировало **сознание** этих людей. По мере этого приближения они начинали оценивать все происходящее, исходя не из подлинных (или казавшихся автору подлинными) своих убеждений, а из ортодоксально советских. Их всех вдруг охватило глубокое и самое искреннее сознание своей вины перед родиной.

Впечатление было такое, словно наступающая Советская армия являла собой некий гигантский магнит, властно отклоняющий в свою сторону стрелку того нравственного компаса, который определяет поведение каждого человека.

Автор хоть и изумляется по этому поводу, но в конце концов довольно точно определяет природу их душевного состояния. «В душу каждого, – пишет он, – гипнотизирующими глазами удава заглянул многолетний страх».

Разгадка кроется в этом одном-единственном словечке: «многолетний».

Вот в том-то все и дело, что это был не сегодняшний, сиюминутный, только что охвативший их страх перед надвигающейся неизбежной расплатой, а тот давний, многолетний страх, с которым они родились, который всосали с молоком матери, во власти которого, быть может, даже и не сознавая

этого, прожили всю свою предшествующую жизнь. Это был совершенно особый, какой-то мистический страх. «Страх не наказания, не физической смерти, – поясняет автор. – Этот страх был больше, чем страх перед физической смертью. Из страха перед этим страхом люди тогда кончали самоубийством...»

Поверив, что система, породившая этот тотальный страх, рухнула, они почувствовали себя свободными от него. Но как только выяснилось, что система жива, что она не только живет, но и побеждает, надвигается на них всей своей громадой, этот дремавший где-то там в подкорке многолетний страх тут же очнулся, ожил и мгновенно вернул себе свои права, свою власть над их душами.

Вот это и был источник того таинственного излучения, которое превращало всех нас в зомби.

Однажды (это было уже не в сталинские, а в гораздо менее суровые – брежневские времена) в дверь моей квартиры позвонили. Я открыл. На пороге стояла очень милая пара: хорошо одетый молодой человек и девушка. Они представились иностранными (французскими) корреспондентами и спросили, не соглашусь ли я дать им короткое интервью. Весьма польщенный такой честью, я гостеприимно распахнул перед ними дверь моего кабинета.

Оба они хорошо говорили по-русски. Объяснили они это тем, что хоть и прибыли из Парижа, где родились и постоянно живут, но по происхождению своему они – русские. Молодой человек даже назвал свою русскую (весьма знаменитую) фамилию: он назвался Семеновым-Тянь-Шанским.

Это обстоятельство польстило мне еще больше, и я широко распустил перед визитерами свой павлиний хвост. Говорил с ними свободно, не считаясь ни с какими цензурными (я имею в виду внутреннюю цензуру) рамками. Не таясь и почти не дипломатничая, отвечал не только на литературные, но и на политические вопросы. Они записывали. Беседа продолжалась около часа. Успешно завершив свой визит, иностранцы откланялись, я проводил их до лифта.

И вот тут-то увидела их моя жена.

– Кто это у тебя был? – спросила она.

Я объяснил.

– И ты поверил, что это иностранцы? – сказала жена.

Я сказал, что да, поверил. А почему бы мне, собственно, было в это не поверить?

– Ты просто осел! – сказала жена. – Иностранцы выглядят совершенно иначе. Особенно мужчины. Ты разве не замечал? У них ноги параллельные.

– Что за чушь! – сказал я.

– Никакая не чушь. Это ты – в каких штанах валяешься, в тех и ходишь. А иностранцы...

Я, конечно, начал издеваться над женской логикой и женским интересом к параллельным ногам иностранных мужчин, и мы еще слегка попрепирались на эту тему. Но в ходе этих препирательств я все-таки понял, что имела в виду жена: иностранцев, оказывается, всегда можно узнать по хорошо отглаженным брюкам. Именно по этой причине их ноги и кажутся параллельными.

– Ну, и что ты им наговорил, этим твоим «иностранцам»? – покончив с темой параллельных иностранных ног, осведомилась жена.

Я вспомнил, что я им наговорил, и на душе у меня стало слегка муторно. Если это и в самом деле не иностранцы...

– Ты еще сомневаешься? – сказала жена. – Да тут не может быть двух мнений. Конечно, они из КГБ!

Вспоминая некоторые подробности визита, я постепенно и сам стал склоняться к этой мысли.

Во-первых, чтобы иностранцы явились вот так, с ходу, без предварительного телефонного звонка... Да и вообще, иностранным корреспондентам полагается вступать с нами в контакт не напрямую, а через иностранную комиссию Союза писателей... Впрочем, зная меня по некоторым моим выступлениям в печати, они рассчитывали на не совсем официальный разговор, потому-то и решили встретиться со мной неофициально, без стукачей из иностранной комиссии. И все-таки... Уж больно свободно говорили они по-русски. Для эмигрантов второго поколения, родившихся в Париже, слишком хорошо... И фамилия Семенов-Тянь-Шанский какая-то уж слишком,

я бы сказал, вызывающе знаменитая. Не могли придумать чего-нибудь поскромнее. Топорная, грубая работа...

Короче говоря, поразмышляв так еще минут пятнадцать, я уже не сомневался, что никакие это были не французы, что меня просто решили пощупать, «проверить на вшивость».

Делать, однако, теперь уже было нечего. После драки кулаками не машут.

Но жена сразу сообразила, что надо сделать, чтобы – не исправить, конечно, исправить это уже было невозможно, – но хоть как-то загладить, **нейтрализовать** мою глупость.

– Ты должен, – сказала она, – пойти к Ильину.

– Ты с ума сошла! – возмутился я.

Но сосущее муторное чувство, возникшее где-то в области грудной клетки сразу после того, как я поверил, что посетившие меня мнимые иностранцы были ОТТУДА, постепенно оттеснило, а потом и вовсе вытеснило это мое возмущение. Минут через десять я и сам пришел к выводу, что да... как это ни противно, ничего не поделаешь... Надо идти к Ильину.

Но тут надо объяснить, кто такой Ильин и почему идти мне надо было именно к нему.

3

Виктор Николаевич Ильин был оргсекретарь Московской писательской организации. Должность эта была кагэбэшная. Все оргсекретари – и в так называемом Большом Союзе, то есть в Союзе писателей СССР (сперва Воронков, потом Верченко), и в Союзе писателей РСФСР, и в Московском отделении были связаны с КГБ. Это ни для кого не было тайной. Когда Ильина на его посту сменил новый оргсекретарь, фамилия которого была **Кобенко**, язвительная писательская молва сразу дала ему прозвище: **Кагэбенко**.

Но Виктор Николаевич Ильин ни в каких прозвищах не нуждался. Он свою связь с «органами» не только не скрывал – он ее всячески подчеркивал и даже афишировал.

Воронков и Верченко до назначения на свои должности были партийными функционерами (как и их предшественники – Щербаков, а потом Поликарпов). Таким же партийным (а

может быть, комсомольским) функционером был до своего назначения и сменивший Ильина Кобенко. А Виктор Николаевич Ильин до того как стать оргсекретарем Московской писательской организации был генерал-лейтенантом КГБ. Объектом его тамашней деятельности были писатели, так что и в той, прежней своей жизни он был прикосновенен к литературе.

Потом его посадили. Ходили слухи (вернее, он сам их распространял) – за то, что он не пожелал дать показания против своего товарища.

Насчет того, как стал он оргсекретарем Московского отделения Союза писателей, существовали разные версии. По одной – его пристроил туда знакомый писатель, один из его бывших клиентов. По другой – новая его должность была прямым продолжением старой, и сама идея назначения его на эту новую должность исходила отсюда.

Сам Виктор Николаевич, разумеется, изо всех сил старался укрепить веру в то, что верна именно эта, вторая версия.

Однажды, когда меня в очередной раз не пустили в какую-то заграничную туристическую поездку, я выразил ему по этому поводу свое негодование.

– Хорошо. Я выясню, – сказал он.

И столкнувшись потом как-то со мной в коридоре, нежно взял меня за локоть, отвел в сторону и, многозначительно воздев глаза к потолку, сказал:

– Я узнавал. ТАМ никаких претензий к вам нет.

Писатели перед Виктором Николаевичем трепетали. Но у меня было подозрение, что он слегка блефовал, подчеркивая, что и ТАМ, в ТЕХ сферах его влияние по-прежнему остается соответствующим его генеральскому званию. На эту мысль меня натолкнуло впечатление от первой моей с ним встречи.

В конце пятидесятых создавался писательский жилищный кооператив, в который я очень хотел вступить. (Это был единственный способ выбраться из коммуналки.) Я тогда еще не был членом Союза писателей. Но тут как раз в каком-то важном докладе меня помянул Степан Петрович Щипачев, возглавлявший в то время Московскую писательскую организацию. Он назвал меня в числе двух или трех подающих надеж-

ды молодых критиков, и кто-то посоветовал мне обратиться к нему за помощью.

Степан Петрович встретил меня ласково и выразил полную готовность поддержать мою просьбу. Он нажал кнопку звонка. Появилась секретарша. Он сказал:

– Виктор Николаевич на месте? Скажите ему, что он мне нужен.

Тут же – «на полусогнутых» – явился Виктор Николаевич. Наклонив голову, внимательно выслушал Степана Петровича. Взяв меня под локоток, увел из начальственного кабинета к себе. Быстро и очень толково составил нужную бумагу, отдал ее машинистке. Через несколько минут ходатайство – на бланке Союза писателей – было отпечатано, подписано Щипачевым и вручено мне. В кооператив меня сразу же приняли.

У меня тогда создалось впечатление, что должность «оргсекретаря» – вполне ничтожная, скорее техническая, для которой как раз и годится такой вот слегка постаревший Молчалин. Но вскоре облик Виктора Николаевича чудесным образом переменился. От его молчалинских манер не осталось и следа. А когда выяснилось, что руководители Московской организации приходят и уходят (Щипачева вскоре сменил Луконин, Луконина – Сергей Сергеевич Смирнов, Смирнова – Наровчатов), а Ильин остается, все постепенно поняли, кто в этой конторе зицпредседатель Фунт, а кто – настоящий хозяин.

Однажды, еще сравнительно слабо понимая, каковы истинные масштабы той роли, которую стал играть в нашей конторе Виктор Николаевич, я пришел к нему за какой-то справкой. Точнее – за характеристикой, заключать которую, согласно установленному порядку, должна была сакраментальная фраза: «Идейно выдержан, морально устойчив».

Проглядев заранее отпечатанный его секретаршей стандартный текст, Виктор Николаевич вдруг сказал:

– Нет, я не могу это подписать.

– Почему? – удивился я.

– Вы не активны.

– В каком смысле?

– В общественном. Идейное лицо писателя выражается в его общественной активности. А у вас с этим слабо.

– В ресторане, что ли, каждый вечер не сажу? – разозлившись, сказал я.

Естественно было ожидать, что такое объяснение возмутит генерала. Но Виктор Николаевич встретил это мое предположение с неожиданным добродушием. И даже легко с ним согласился.

– А что? – весело сощурившись, сказал он. – Все-таки на глазах!..

Другое мое столкновение с Виктором Николаевичем произошло, когда арестовали Синявского и Даниэля.

С Синявским я был знаком шапочно (нас познакомил однажды в театре, в «Современнике», Аркадий Белинков), а Юлика Даниэля знал хорошо: он был близким другом Шурика Воронеля, с которым мы тогда подружились. Мы часто встречались в одних компаниях. Однажды после какого-то дружеского застолья Юлик даже прочел собравшимся свой рассказ про черного кота – самый, впрочем, невинный из всех его подпольных сочинений.

От Шурика я и узнал о том, что Андрей и Юлик арестованы: он примчался ко мне прямо из КГБ, куда его сразу же потянули в качестве свидетеля, поманил из комнаты на балкон, и там шепотом сообщил потрясающую новость. Я спросил его, как он думает: что означает этот арест? Начало новой эпохи? Или это локальный, частный случай? Подумав, он ответил, что частный случай. По этому ответу я сразу понял, что Шурик знает больше, чем рассказал. Да и рассказ Юлика про секретаря райкома, по ночам превращавшегося в черного кота, тут мне припомнился.

А через несколько дней факт ареста Андрея Синявского и Юлия Даниэля, сочинявших пасквильные антисоветские произведения и публиковавших их на Западе под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак, стал достоянием гласности. В «Известиях» появилась большая статья некоего Дмитрия Еремина (в справочнике Союза писателей он значился как прозаик, поэт и публицист, но до той известинской статьи я никогда не слышал этого имени) под названием «Перевертыши». Всем было ясно, из какого источника автор черпал материал для этой своей статьи. Точнее – КЕМ эта статья была ему заказана.

Позже статьи такого рода – о Сахарове, Солженицыне, Войновиче, Галиче, Владимове – стали появляться с известной регулярностью, жанр сложился, обрел некие канонические черты и даже получил в нашей среде определенную кличку: «Лубянский пассаж».

Но статья Еремина «Перевертыши» была – первой ласточкой. Как сразу было отмечено нашими старшими товарищами, она была состряпана в лучших традициях тридцать седьмого года. И это явно диссонировало с веяниями новой эпохи, разоблачившей злоупотребления Сталина и восстановившей, как тогда принято было говорить, «ленинские нормы партийной и государственной жизни».

Обо всем этом и заговорили некоторые смельчаки на писательском собрании, созванном буквально на следующий день после появления ереминской статьи. Резче всех об этом «лубянском пассаже» высказалась Любовь Кабо. Она прямо сказала, что от этой статьи на нее повеяло хорошо ей знакомым ароматом тридцать седьмого года.

И вот тут на трибуне появился Виктор Николаевич Ильин. – Товарищи! – сказал он. – Вы все меня хорошо знаете. Знаете, что я и сам был жертвой тех, – он слегка запнулся, стараясь найти подходящее слово, и тотчас же его нашел, – тех перегибов партийной линии, которые имели место в тридцать седьмом году. Тогда, как вы знаете, репрессиям подвергались ни в чем не повинные люди, честные коммунисты. А тут... У меня в сейфе лежат пасквильные сочинения упомянутых перевертышей. Каждый желающий может зайти ко мне и ознакомиться, чтобы лично, так сказать, убедиться, что тут нет никакой липы...

Речь произвела впечатление. А некоторые мои коллеги, которых я всегда считал своими единомышленниками, искренне осуждали «перевертышей». Одни из них говорили, что можно и нужно, конечно, критиковать наши недостатки, но нехорошо выносить сор из избы. Другие возмущались тем, что в печатных, подцензурных своих сочинениях они писали одно, а в подпольных, отправлявшихся за рубеж, – совсем другое, противоположное.

Так или иначе, но никому из присутствовавших на том бур-

ном собрании не пришло в голову воспользоваться любезным приглашением Виктора Николаевича.

А мне – пришло.

На другой же день я явился к нему в его маленький скромный кабинетик и, вежливо поздоровавшись, сказал, что хотел бы ознакомиться с сочинениями Синявского и Даниэля, которые, как он вчера сказал, именно для этой цели хранятся у него в сейфе.

– А вы есть в списке, утвержденном секретариатом? – спросил он.

– А-а, – сказал я. – У вас есть такой список... Простите, значит, я вас неправильно понял.

И направился к двери.

– Погодите, погодите, куда же вы? – остановил он меня. – Присядьте.

Я присел.

Он некоторое время изучал меня своими буравчиками, что-то прикидывая, соображая. Наконец спросил:

– А зачем вам это?

Вопрос был не такой уж глупый. Он ведь прекрасно понимал: прямо вот так вот взять и сказать, что да, мол, не верю, – ни вам, ни вашим славным органам, ни вашим лживым статьям в газетах, – у меня язык не повернется. А кроме этого, какой еще тут мог быть ответ?

Но ответ у меня был. Я сказал, что мне часто приходится выступать перед молодежью с лекциями о современной советской литературе. Меня наверняка будут спрашивать, кто такие Синявский и Даниэль, что они сделали, за что их арестовали. Как мне на это отвечать? Цитатами из дурно пахнущей статьи Еремина?

– Да, – вздохнул он. – Дмитрий Иванович и сам недоволен своей статьей. Вчера приходил, жаловался. Он-то старался написать как можно доказательнее. Но в редакции ему все цитаты вычеркнули. Нельзя, говорят, предоставлять трибуну врагу...

Он помолчал и вроде как заколебался. Мне даже показалось, что он сейчас встанет, откроет сейф, вынет оттуда «тамиздатские» книги Синявского и Даниэля и кинет их мне: на-те, мол, наслаждайтесь!

Но вместо этого он наклонился ко мне и – почему-то вполголоса – спросил:

– Вы член партии?

Вообще-то ему полагалось бы это знать. Но, видно, слишком много было у него таких, как я, пасомых, чтобы помнить про нас всех.

Я отрицательно покачал головой. И в тот же миг все его колебания (если считать, что они были) кончились. Решение было принято.

Он кратко пересказал мне содержание повести Юлика Даниэля «Говорит Москва!».

По старым понятиям, в которых мы с ним оба были воспитаны, даже этот краткий пересказ тянул на десять лет без права переписки. Но понятия эти были уже отринуты новой эпохой. Поэтому я пробормотал что-то в том смысле, что художественное произведение – не листовка, что высказывания персонажей могут и не выражать точку зрения автора и что гротеск – законный художественный прием. Чтобы выяснить истинный смысл произведения, надо его проанализировать, а для этого прежде всего – прочесть, а не узнать содержание его в чужом пересказе.

Но все эти мои рассуждения не произвели на Виктора Николаевича никакого впечатления.

– Что тут говорить, – заключил он нашу беседу. – Они совершили преступление и понесут соответствующее наказание.

Этой заключительной фразой он ясно дал мне понять, что считает инцидент исчерпанным. Я, разумеется, так не считал.

Как вскоре выяснилось, и он тоже.

События тем временем развивались по намеченному начальством плану. В газетах появлялись все новые статьи, клеймящие презренных перевертышей. Сочувствующие «перевертышам» писатели либерального толка тоже не молчали. Было сочинено и отправлено в высокие инстанции письмо в их защиту. Подписали это письмо восемьдесят членов нашего Союза, в их числе был и я.

Письмо, на мой взгляд, было довольно глупое. Вместо того чтобы объяснить начальству, что писателя за его сочинения

можно судить, как учил классик, лишь судом, им самим над собою признанным, члены СП, подписавшие то письмо, заявляли, что готовы взять своих провинившихся коллег **на поруки**. (Была тогда такая форма: коллектив предприятия мог взять на поруки какого-нибудь провинившегося или по пьянке надебоширившего своего члена и тем самым спасти его от тюрьмы.) Сочинив и отправив наверх такое письмо, мы тем самым как бы признавали вину арестованных писателей перед обществом.

Я назвал это обращение к начальству глупым, но тут проявилась не столько глупость авторов подписанного нами текста, сколько **робость**. Казавшаяся тогда, да и не только казавшаяся, но и на самом деле бывшая по тем временам несказанной смелостью. Ведь письмо это было первым в череде последовавших за ним в те годы, и каждое последующее было смелее предыдущего. Потом «подписанты» уже не просили, а – требовали. Что же касается этого – первого – письма, то, будь оно чуть смелее, под ним никогда не поставили бы своих подписей аж целых восемьдесят писателей: хорошо, если бы таких смельчаков набралось с десяток.

Никакого ответа на наше коллективное послание мы, разумеется, не получили. А Виктор Николаевич Ильин на мой визит к нему все-таки – хоть и с некоторым опозданием – ответил.

– Бен? Здравствуй, – услышал я однажды в телефонной трубке знакомый женский голосок. – Это Инесса...

Инесса была очень милая девушка, исполнявшая в Московском отделении Союза писателей попеременно самые разные секретарские должности.

– У меня тут лежит для тебя конверт. Виктор Николаевич оставил. На твоё имя.

– Какой еще конверт? – удивился я.

– Понятия не имею, – сказала Инесса.

– Вскрой и погляди, что там, – предложил я.

– Не имею права. Он запечатан.

– Ладно, зайду как-нибудь, – слегка обескураженный, буркнул я.

– Не как-нибудь, а сегодня, – строго возразила Инесса. – Виктор Николаевич сказал, что это срочно.

Заинтригованный этой срочностью и секретностью, я отправился в Союз за таинственным конвертом. Он был на удивление тонок и легок. На ощупь мне даже показалось, что он пуст. Уж не розыгрыш ли? Да нет, не похоже: хорошо мне знакомым аккуратным канцелярским почерком Виктора Николаевича на нем были выведены мои инициалы и фамилия.

В недоумении (что бы все это могло значить?) я надорвал конверт и извлек из него какую-то невзрачную бумажонку. Это был билет на право входа в зал Московского городского суда, в котором завтра должен был начаться **открытый**, как писали об этом газеты, процесс над Синявским и Даниэлем.

Слово «открытый», разумеется, никто всерьез не принимал. Всем, кто подобно знаменитому зощенковскому герою присматривался к нашей стране уже не первый год, было совершенно ясно, что без специального пропуска или билета на такой «открытый» процесс не попадешь. А пропуска или билеты получают не абы кто, а люди проверенные, на реакцию которых можно твердо положиться: когда надо молчать, они будут молчать, а когда понадобится, чтобы из зала раздались голоса: «Позор!» или еще что-нибудь в том же роде, – такие голоса непременно раздадутся.

И вот в число этих «проверенных» попал и я.

Я, конечно, прекрасно понимал, что билет, оставленный мне Виктором Николаевичем, – отнюдь не знак особого его ко мне доверия. Скорее наоборот. Билет был мне дан, так сказать, в назидание. Чтобы я лично убедился, собственными своими глазами поглядел и собственными ушами услышал, как эти «перевертыши», в вину которых я не верил, будут признаваться в совершенных ими преступлениях.

Билет мой, как я понял, внимательно его изучив, давал мне право присутствовать на суде не все отпущенные на него три дня, и даже не весь завтрашний день. Он был выдан всего лишь на одно – вечернее – заседание этого первого дня начавшегося судебного разбирательства.

Но и этих нескольких часов мне вполне хватило.

Когда я вошел в еще наполовину пустой зал суда, Юлик и Андрей уже заняли свои места на скамье подсудимых. Я про-

шел совсем близко от них: вполне мог бы протянуть и пожать им руки.

Как потом я узнал, на последующих заседаниях некоторые так и делали.

Но я этого не сделал. Я даже не поздоровался с Юликом, который, в отличие от Андрея, глядевшего куда-то вбок, смотрел прямо на меня. Я даже не кивнул ему. Только поглядел многозначительно ему в глаза, стараясь вложить в этот многозначительный намекающий взгляд все, что не решился (мне даже в голову не пришло, что это возможно) сказать ему вслух.

Пять лет спустя, когда Юлик вышел на свободу и мы с ним встретились (не в первую встречу, конечно, а позже, когда эти наши встречи стали постоянными), он однажды не удержался и спросил:

– Бен, а почему вы тогда, в суде, со мной не поздоровались?

Я сказал:

– Страшно было.

Он кивнул:

– Я понимаю.

Но по глазам, по выражению его лица было видно, что ничего он не понимает. Да тут и трудно было что-нибудь понять. Я и сам не понимал, что случилось со мной в ту минуту.

Да, это правда, я не осмелился поздороваться с ним потому, что когда я проходил мимо него, сидевшего на скамье подсудимых, все мое существо сковал страх. Но ведь когда я ходил к Ильину, и когда подписывал письмо в защиту Юлика и Андрея, и когда ездил вместе с Шуриком Воронелем к Паустовскому и Каверину уговаривать, чтобы и они тоже поставили под тем письмом свои подписи, – я не испытывал никакого страха. И так же не испытывал никакого страха, когда обсуждал по телефону (не сомневаясь, что все наши телефонные разговоры прослушиваются) с тем же Шуриком и с другими нашими общими друзьями и знакомыми, какие еще мы можем предпринять шаги для защиты Синявского и Даниэля.

Обо всем этом Юлик знал: у него ведь были свидания с женой Ларисой, которая ему про все эти наши хлопоты рассказывала. И именно отсюда этот его изумленный вопрос: «Поче-

му вы тогда со мной не поздоровались?» И ответ мой: «Страшно было!» – решительно ничего тут не объяснял. А почему, собственно, мне было страшно? Чего я мог бояться? Что наше рукопожатие засекут гэбэшники, которыми битком был набит зал? Так ведь мое отношение к этому суду и без того не было для них секретом! Я ведь выражал это свое отношение **открыто!**

Когда – после разговора с Юликом – я задал этот вопрос самому себе, припомнив и проанализировав тогдашние свои ощущения, я ответил на него примерно так.

В том открытом своем заступничестве за арестованных Юлика и Андрея я (не я один, все мы) подчеркнуто от них дистанцировался. Делал вид, что озабочен вовсе не их судьбой, что волнуют меня во всем этом деле прежде всего интересы – или, лучше сказать, репутация – государства: поступательное движение нашего общества от осужденного партией наследия «культы личности» к восстановлению и торжеству «ленинских норм».

Поздоровавшись с Юликом, я бы нарушил эту дистанцию, и те, кто наблюдал за нами в тот момент (а такие наблюдатели – я в этом не сомневался – конечно же, были!), сразу увидели бы, что все мои разглагольствования о том, что мною движут исключительно эти высокие, **государственные** соображения, – не что иное, как блеф. Что на самом деле мы с ним (с Юликом) – заодно, и заступаюсь я за него потому, что мы – единомышленники.

Поздоровавшись с ним, а тем более обменявшись рукопожатиями, я сразу же **засвечусь**. И не только сам засвечусь, но и брошу тень на всю, так ловко сконструированную нами и единственно возможную в тех условиях систему защиты.

Это **рациональное** объяснение моего постыдного поведения, несомненно, отражало реальность тогдашнего моего сознания. Именно эти соображения – скорее даже не соображения, а какие-то обрывки, клочки мыслей – промелькнули тогда в моем парализованном страхе мозгу. Но страх, сковавший меня в тот миг, был **иррационален**. И этот иррациональный, не поддающийся никаким логическим объяснениям, мистический страх не оставлял меня ни на минуту в течение тех не-

скольких часов, которые я провел – протомился, промучился – в том зале.

Зал был небольшой. Он мог вместить никак не более сотни зрителей. Но во всем этом зале (так, во всяком случае, казалось мне тогда) я был единственной белой вороной. Все остальные – я в этом не сомневался! – были переодетые гэбэшники.

Это было, конечно, не совсем так. Было в том зале еще несколько – таких же, как я, – отщепенцев, которым билеты были даны (как и мне) **в назидание**. Не говоря уже о сидевших в первом ряду женах подсудимых, усердно записывавших каждое слово. Да и среди других зрителей, запущенных в этот зал, были, наверно, не только гэбэшники, но и какие-нибудь проверенные партийные и комсомольские активисты, передовики-рабочие.

Атмосфера в зале, однако, царил откровенно гэбэшная.

Юлик (то заседание, на котором выпало присутствовать мне, целиком было отдано его допросу) держался великолепно. Свободно, непринужденно, открыто. Более всего меня поразила в его ответах на вопросы прокурора и судьи – великолепная реакция.

Прокурор был болван, и на его дуболомные вопросы отвечать было не слишком трудно. Но председательствующий – Лев Смирнов – был слеплен совсем из другого теста. Это была тонкая штучка. Он держался как рафинированный интеллигент. Вкрадчиво, доверительно, чуть ли даже не сочувственно спрашивал:

– Но коли вы не видели в своих занятиях ничего предосудительного, зачем же тогда вы взяли себе псевдоним?

И было совершенно очевидно, что слово «псевдоним» он произносит с необычным ударением – на «о» – не потому, что не знает, как правильно надо его произносить, а как раз именно потому, что именно вот такое, необычное ударение считает правильным. И я, даже забыв на мгновение о своем мистическом страхе, задумался: а может, и в самом деле надо говорить не «псевдо^ним», а «псевдо^бним», по аналогии с такими словами, как «синоним» или «антоним»...

– Вот вы только что сказали, Даниэль, – продолжал предсе-

дательствующий в том же доверительном тоне, словно дело происходило не в суде, а на какой-нибудь филологической дискуссии, – что вовлекли в это дело вашу знакомую француженку... Вы ведь писатель, стилист... Вы должны тонко чувствовать не только смысловые, но и эмоциональные оттенки каждого слова. Вам не кажется, что это употребленное вами выражение – «я вовлек» – как бы само уже таит в себе признание, что дело, в которое вы ее вовлекли, – нехорошее дело? Вовлекают ведь обычно во что-то нехорошее...

– Ну почему же, – мгновенно парировал Юлик. – Я много раз слышал такое, например, выражение: «Вовлечь в коллектив...»

По залу прошел легкий гул, в котором мне померещился даже некоторый оттенок одобрения. Но меня тут же отрезвил сидящий рядом со мной гэбэшник. Обернувшись ко мне, он возмущенно прошипел:

– На кого он работает? Неужели здесь, в этом зале, могут быть люди, на которых он работает?!

И новая волна страха окатила меня. Я молчал, втянув голову в плечи, всем своим видом стараясь показать, что это – не я, что даже если здесь, в этом зале, и есть отдельные отщепенцы, на которых «работает» Юлик, так легко и находчиво отбивая блестящие фехтовальные выпады председателя суда, то у меня с такими людьми нет и не может быть ничего общего...

Да, Виктор Николаевич Ильин знал, что делал, когда запечатывал в конверт билет на это судебное заседание и надписывал на том конверте мою фамилию. Но я, многократно встречаясь с ним после этого, разумеется, ни разу даже и виду не подал, что этот его урок произвел на меня хоть малейшее впечатление. Старательно и, как мне казалось, вполне успешно делал вид, что «я от бабушки ушел».

Выражение это было тогда у нас (в нашей семье) своего рода идиомой. А возникла эта идиома так.

Шел я однажды по нашей улице и встретил Виктора Борисовича Шкловского. Постояли, поговорили. На мой вопрос: как жизнь, что нового? – Шкловский сказал:

– Понимаете, история такая! В «Худлите» готовится мой

двухтомник. Был в Италии. Еду во Францию. В Германии переводится моя книга. В общем, я от бабушки ушел! – заключил он, улыбнувшись своей «улыбкой Будды».

Поговорив еще немного о том, как славно складываются наконец после многолетних мытарств его дела, мы расстались.

Я пошел дальше и, пройдя еще несколько шагов, встретил Слуцкого.

– Что пишете? Против кого? Как романы и адюльтеры? – обрушил он на меня весь джентльменский набор обычных своих вопросов.

Не имея в запасе никаких интересных сведений о чьих-либо романах и адюльтерах, я рассказал, что только что встретил Шкловского, который известил меня, что был в Италии, едет во Францию и вообще «от бабушки ушел».

Выслушав мое сообщение, Слуцкий сказал:

– Боюсь, он недостаточно хорошо представляет себе характер этой бабушки.

Надо сказать, что я тоже недостаточно хорошо представлял себе характер этой бабушки. И даже побывав на том судебном заседании, о котором только что рассказал, едва только вышел из здания суда на улицу, тотчас же вернул себе прежнюю беспечную уверенность, что если даже я и не совсем ушел от той «бабушки», сама «бабушка» все равно уже не та: не те уже, не прежние у нее и зубы, и когти.

Виктору же Николаевичу, как уже было сказано, я всякий раз нарочно давал понять, что «от бабушки ушел». И он с тех пор именно так меня и воспринимал.

Так, во всяком случае, мне казалось.

Впрочем, так оно, наверно, и было на самом деле. Однажды мой двоюродный брат попросил оформить его дочку – двоюродную, стало быть, мою племянницу – моим литературным секретарем. Она не смогла поступить на дневное отделение института иностранных языков, поступила на вечернее. А там нужна была справка (хотя бы даже и липовая), подтверждающая, что она где-то работает. Дело это было простое. Я должен был написать заявление, мне выдавали соответствующую бумагу, с которой я должен был пойти в какую-то контору (проф-

союзную, что ли), где оформляли (договором) домашних работников, секретарей и прочих служащих у частных лиц по вольному найму. Препятствием тут могло служить только одно: слишком маленький доход нанимателя. Поэтому в заявлении я свой доход несколько преувеличил.

Написав заявление и придя за бумагой, я не сомневался, что она уже лежит там для меня – готовенькая. Но секретарша (кажется, это была все та же Инесса) сказала:

– Виктор Николаевич твою справку не подписал. Он сказал, чтобы ты к нему заглянул.

Я заглянул.

Виктор Николаевич был, как всегда, вежлив. Осведомившись о том, как я живу, и получив соответствующий ответ, не торопясь приступил к делу. Стал расспрашивать про девушку, которую я хочу оформить своим литературным секретарем: сколько ей лет, чем занималась раньше, не родственница ли она мне? Я, не моргнув глазом, ответил, что нет, не родственница. Ложь эта далась мне легко: во все время этого разговора я видел, что беспокоит его вовсе не возможное мое родство с будущим моим литературным секретарем, а что-то совсем другое.

И вдруг в какой-то момент я почувствовал, что все это его беспокойство – как рукой сняло. Случилось это, когда на прямой вопрос о моей Ирке, **кто она**, я ответил: «Студентка-вечерница».

Тут у него словно камень с души свалился. Он быстро подмахнул нужную мне бумагу и милостиво отпустил мою душу на покаяние.

Он понимал, конечно, что справка липовая. Но эта «липа» его совершенно не волновала. А волновало его вот что.

Как мне тогда же рассказали, незадолго до моего визита к Виктору Николаевичу Володя Максимов оформил своим литературным секретарем только что вышедшего (увы, ненадолго) из тюрьмы известного диссидента Владимира Буковского. И Виктор Николаевич решил на всякий случай меня прощупать: не принадлежит ли девушка, которую я хочу снабдить липовой справкой, к той же шайке диссидентов-правозащитников.

То, что он считал меня способным на такой подвиг, разуме-

ется, свидетельствовало о том, что он явно числит меня среди тех, кто «от бабушки ушел». И вот теперь, из-за этих проклятых липовых французов, перед которыми я так беспечно распустил свой павлиний хвост, мне предстоит явиться к нему и униженно продемонстрировать, что – нет, вовсе не ушел, просто гуляю на чуть более длинном поводке. И лишь только мне показалось, что поводок натянулся, я сразу же приполз, скуля и повизгивая, как нашкодивший щенок к хозяйке – все той же всесильной «бабушке».

4

Ох, как не хотелось мне идти к Виктору Николаевичу – рассказывать про мнимых моих французов! Но, как миленький, – пошел.

Самодонесся я, правда, не в устной, а в письменной форме. Написал обдуманную и, как мне казалось, очень хитрую бумагу, в которой говорилось, что не принять иностранных корреспондентов, которые – без всякого предупреждения – свалились на меня как снег на голову, я не мог: и так иностранцы говорят, что нет у нас никакой свободы, так зачем же давать им для этих разговоров и новую пищу. Поэтому я и старался держаться с ними свободно, не скованно, говорить не только то, что пишет официальная наша печать. Да, быть может, даже позволил себе слегка выйти за жесткие рамки привычной самоцензуры. И тем не менее я, конечно, не могу отвечать за все, что они там у себя напишут и какие припишут мне слова и мысли.

Сочиняя эту хитрую бумагу, я рассуждал так. Если жена со своими подозрениями не права, если это были действительно французы, им моя бумага не повредит. Плевать они хотели на Ильина и его начальников. Если же это была «проверка на вшивость», своим доносом я разрушил задуманную ими провокацию. А если даже и не разрушил, то уж во всяком случае смягчил силу направленного на меня удара.

Притащив этот самодонес Ильину, я молча положил его ему на стол. Он бегло проглядел первую страницу, отложил мое сочинение в сторону и так же молча кивнул мне: ладно,

мол, иди, все в порядке. Но в глазах его промелькнуло что-то вроде той улыбки, с какой Сталин в одном из самых любимых моих устных рассказов сказал посетившему его митрополиту: «Его не боишься, меня боишься?»

Впрочем, может быть, все это мне и померещилось. Но дело тут ведь не в том, что подумал про меня тогда Виктор Николаевич. Дело не в нем, а – **во мне**: в том, что заставило меня поступить так, как я поступил.

Вот как живуч оказался тот старый, давний мой страх перед этой грозной аббревиатурой. А ведь времена были – напоминаю – уже **вегетарианские**, как выразилась однажды по этому поводу Анна Андреевна Ахматова. Так что уж говорить о тех, далеко не вегетарианских временах, к которым относится внезапно накатившая на меня любовь к Сталину.

О ЧКГБ, как назвал это ведомство Солженицын, существует огромная литература – мемуарная, фактологическая, аналитическая. Это – горы книг, статей, исследований. Но чем отличается наша гэбуха от всех существовавших когда-либо контрразведок, Тайных приказов и Тайных канцелярий, по-настоящему понял только один из авторов этой гигантской библиотеки: Джордж Оруэлл.

Усовершенствованный – мало сказать усовершенствованный, – доведенный до последней мыслимой черты совершенства – пыточный застеночек у Оруэлла называется **Министерством Любви**.

Какая жуткая ирония!

Но в том-то вся штука, что **никакая это не ирония**.

Название этого оруэлловского министерства точно соответствует главной его цели, главной – в сущности, даже единственной – стоящей перед ним задаче.

Цель эта состоит в том, чтобы заставить каждого попавшего туда **полюбить Старшего Брата**.

Заставить его не просто «разоружиться перед партией», как это называлось у нас (разоружиться ведь можно только на словах), а именно **полюбить**. Не притвориться, не прикинуться любящим, а полюбить по-настоящему, искренно, всей душой.

В мире, созданном проникающей в самую суть вещей фантазией Джорджа Оруэлла, есть такое понятие – «мыслепреступление». Не тайные замыслы, не преступные умыслы, которые выпытывали на дыбе у царевича Алексея в Петровском Тайном приказе, имеются тут в виду, а **любая мысль**, уклонившаяся хоть слегка в сторону от тех, которые предписаны всем и каждому.

В мыслях наших мы, как известно, не вольны. Но оруэлловское Министерство Любви для того и существует, чтобы контролировать и стирать из мозга «мыслепреступника» именно вот эти невольные, непроизвольно возникающие мысли.

Средства психологического воздействия, имеющиеся в распоряжении Министерства Любви, ужасны прежде всего тем, что они основаны на безусловном и абсолютном знании самых глубинных тайн человеческой психики.

В распоряжении палачей имеются сложнейшие механизмы, с помощью которых можно добиться физического и душевного страдания, предельного для данного индивидуума. Но помимо всех этих усовершенствованных и научно разработанных пыток, помимо изощренных бесед, помимо всех мыслимых форм подавления воли, есть еще нечто. Палачи исходят в своей деятельности из того, что подсознание арестованного не является полностью «очищенным» до тех пор, пока не искоренены, пока не выкорчеваны все его тайные привязанности. Полное «очищение» произойдет лишь в том случае, если арестованный отречется от того, что ему более всего дорого. Причем отречется искренне.

На этот случай существует «Лаборатория № 101». Что делают с арестованным в этой лаборатории, не знает никто. Знают только, что нет человека, который был бы способен это выдержать.

У нас до изобретения такой «лаборатории», кажется, не додумались?

Да, додуматься, пожалуй, и не додумались. Но такая «лаборатория» у нас тоже была.

Ведь эта оруэлловская «лаборатория» страшна не тем, что в ней там с тобой сделают, а тем, что ты **знаешь**, заранее знаешь, что сделают там с тобой нечто такое, чего ты не выдержишь, – чего никто не выдержит, чего **нельзя** выдержать.

Это — как в толпе, над которой реет луч прожектора... Да, вот, пожалуй, самое удачное сравнение — луч, рысущий над головами... Близость губительного луча ощущалась внезапно... Страх охватывал мгновенно, он всецело овладевал вами — сказывалась подготовленность! — и первый момент был момент каталептической скованности...

(Борис Хазанов. «Страх»)

Вот она — наша «лаборатория сто один». И можете мне поверить: силой своего воздействия на психику подследственного (а подследственными у нас были все!) она не уступала той, оруэлловской.

Читая только что процитированный мною рассказ Гены Файбусовича (а прочел я его впервые еще в рукописи, задолго до того, как Гена стал Борисом Хазановым), я всей кожей чувствовал, что это **про меня**. У меня даже шевельнулось какое-то смутное воспоминание: мне показалось, что однажды я не только испытал на себе близость описанного Геной «губительного луча», но даже пережил вот этот самый жуткий миг «каталептической скованности».

И я вспомнил. Я действительно его пережил.

Это было в то самое время, когда я — исключенный из комсомола и из института — повис в пустоте. И луч, шарящий над нашими головами, вот-вот должен был (так, во всяком случае, мне казалось) выхватить меня из толпы подследственных. Эта мысль — или, если угодно, это чувство — не оставляло меня ни на минуту.

Но иногда она — как мысль о неизбежности смерти — пробирала морозом по позвоночнику, а иногда отступала куда-то на обочину сознания. И тогда я слегка расслаблялся.

«Момент каталептической скованности» настиг меня именно в такую минуту, когда мой мозг был расслаблен какими-то мелкими хозяйственными заботами. Это было в толпе, запрудившей большой торговый зал Елисеевского магазина. Я пробирался сквозь эту толпу, стараясь протиснуться поближе к прилавку, когда почувствовал, что на плечо мне легла чья-то рука. Каталептическая скованность, охватившая меня, не поз-

волила оглянуться. Но, скосив глаза, я – каким-то самым дальним краешком глаза – увидел фуражку, шинель. Сердце ухнуло куда-то вниз. (Не в тот миг – в тот миг мне было не до того, – а потом, позже, я подумал, что человек, впервые пустивший в оборот ныне стершееся как медный пятак выражение «душа ушла в пятки», – что этот неведомый мне мой далекий предок был – истинный гений! Вся душа моя в тот миг и в самом деле ушла в пятки: не метафорически, а буквально.)

Сколько все это продолжалось, не знаю: наверное, не больше секунды. Через секунду я уже знал, что руку на плечо мне положил мой институтский товарищ Володя Шорор.

Вообще-то, мы с ним не были даже знакомы. Но, как я уже говорил, институт наш был крохотный, все студенты знали друг друга в лицо. А Шорора я хорошо знал еще и потому, что он стал однажды героем знаменитой на весь институт шутки.

Жил он, как и многие наши студенты, в студенческом общежитии. Но однажды уехал на две недели домой – в Иркутск. А когда вернулся, его ждал небольшой сюрприз. На дверях общежития красовалась указующая стрелка и надпись, которая гласила: «В музей Шорора». Принадлежавшая Шорору койка была отделена от остальных спальных мест веревочной загородкой, какие бывают возле музейных экспонатов, и над ней тоже красовалась надпись: «Здесь спал Шорор». Такие же вывески и плакатики украшали тумбочку, в которой Шорор хранил свое барахло, стул, на котором он сидел, стол, за которым он сочинял свои рассказы.

Кроме того, Володя Шорор был известен мне еще тем, что фамилия его упоминалась в одной из самых популярных наших институтских песенок. Упоминалась, правда, без особого пиетета – посвященные его персоне строки звучали так:

В институте нет талантов,
Хоть Шорором покати.

Короче говоря, Шорора я сразу узнал. И сразу понял, что руку он положил мне на плечо с самыми добрыми намерениями: просто хотел узнать, как я, где я, что я. А шинель и фуражка, которые так меня напугали, были обычной, может быть, да-

же единственной его тогдашней одеждой: как я уже говорил, многие наши ребята донашивали тогда свое военное обмундирование.

Но боже ты мой! Какой погром учинили тогда в моей бедной, перепуганной душонке эта рука, вдруг легшая на мое плечо, и эти краем глаза увиденные мною шинель и фуражка!

Нахлынувший на меня страх, как я уже сказал, был прямо связан с тогдашним моим положением. И комсомол, из которого меня исключили, и институт, из которого меня выкинули, тоже, конечно, находились в поле зрения «органов». Отчасти даже они были инструментами этих самых «органов». Но теперь «органы» занимались мною уже, так сказать, напрямую, без посредников. Луч прожектора уже выхватил меня из толпы. И подсознательно я это чувствовал.

После райкома мое исключение из рядов ВЛКСМ должна была утвердить еще одна – последняя – инстанция: бюро горкома. И там, согласно уставу, я должен был сдать свой комсомольский билет.

Когда настал этот роковой момент, я разыграл целую сцену. Сначала я сказал:

– Билет я вам не отдам.

А когда мне сурово объяснили, что билет необходимо сдать, ничего не поделаешь, таков закон, – я сделал вид, что мне физически трудно, просто невыносимо расстаться с этой крохотной серенькой книжечкой. Я лепетал что-то такое про войну, про то, что вступал в комсомол в сорок втором году, что меня, конечно, восстановят, и я получу новый билет, но мне нужен именно этот... Руки у меня тряслись, губы дрожали, голос прерывался...

Был тут, конечно, и некоторый наигрыш. Но была и искренность. Воспоминания о сорок втором годе, о моей первой любви, о девочке, с которой мы вместе получали тогда наши комсомольские билеты, слились воедино и претворились в любовь к этой коленкоровой книжечке с профилем Ленина, в искреннюю веру, что необходимость отдать этим чужим людям мой комсомольский билет для меня – настоящая драма. Может быть, даже – трагедия.

Такая же сложная гамма чувств владела мною, когда я покупал и водружал на своих полках тома Маркса и Энгельса, подписывался на новое, самое полное – сорокатомное – собрание сочинений Ленина, на только что начавшее выходить шестнадцатитомное (из шестнадцати намеченных к выпуску томов успели выйти только тринадцать) собрание сочинений Сталина. Где-то там, в глубине сознания трепыхалась стыдная мысль: когда ОНИ придут (а в том, что рано или поздно ОНИ обязательно ко мне придут, я, видимо, не сомневался) и начнется обыск, они увидят эти тома – с закладками и подчеркиваниями, свидетельствующими, что стоят они тут у меня не для показухи, что я старательно – и с любовью – их читал, перечитывал, конспектировал, – увидев все это своими глазами, ОНИ сразу поймут, убедятся, что произошла ужасная ошибка, что на самом деле я – **наш**, наш каждой клеточкой своего мозга. Не могут же **они** арестовать человека, который так искренне восхищается ленинскими эпитетами, так искренне любит железные, чеканные сталинские формулировки...

Недавно я рассказывал Лёне Зорину про новое, только что вышедшее издание «Чукоккалы». И между прочим сказал, что там полным-полно самой злой и ядовитой антисоветчины.

– Удивительно, – сказал Лёня, – что Корней Иванович не боялся все это хранить. Откуда такая смелость? Или это просто беспечность?

И тут же, к слову, вспомнил такую историю. Ее рассказал ему Леонид Осипович Утесов. (Очень коротко – буквально пять строчками – история эта приводится в книге Л. Зорина «Авансцена». Но я попытаюсь пересказать ее так, как услышал: в устном изложении она почему-то произвела на меня более сильное впечатление.)

Леонид Осипович был близок с Бабелем. И у него хранилось множество – что-то около двухсот – совершенно поразительных бабелевских писем. Когда Бабеля арестовали, в приступе отчаянного страха он все эти письма сжег.

Потом, конечно, горько раскаивался. И однажды рассказал об этом Эрдману.

Выслушав его, Николай Робертович сказал:

– Да, вы сделали глупость, Ледя. Ведь если бы ОНИ к вам пришли, нашли бы они у вас эти бабелевские письма или не нашли, не имело бы уже никакого значения.

Если даже Утесов этого не сообразил, так что уж говорить обо мне!

Мне даже в голову не пришло, что если бы ОНИ ко мне пришли, КАКИЕ книги они увидели бы на моих книжных полках, не имело бы уже никакого значения: хоть Маркса, Ленина и Сталина, а хоть бы и самого Троцкого...

А ведь я не врал, уверяя себя, что моя любовь к страстному, напористому стилю Ленина и медлительным, неторопливым рассуждениям Сталина была искренней.

Да, конечно, в сердцевине этой моей любви тоже лежал страх. Но это был страх не прикидывающийся, не притворяющийся любовью, а превращенный, преобразованный, **пре-творенный** в любовь.

Механизм этого превращения гениально объяснил Виктор Борисович Шкловский:

... Бывает и худшее горе, оно бывает тогда, когда человека мучают долго, так что он уже «изумлен», то есть уже «ушел из ума», — так об изумлении говорили при пытке дыбой, — и вот мучается человек, и кругом холодное и жесткое дерево, а руки палача или его помощника хотя и жесткие, но теплые и человеческие.

И щекой ласкается человек к теплым рукам, которые его держат, чтобы мучить.

Это мой кошмар.

В 1921 году, когда были написаны эти строки, предчувствие, выраженное в них, было еще только кошмаром, а образ, созданный воображением художника, — метафорой. Пятнадцать лет спустя этот кошмар стал явью, а метафора — реальностью.

Нас не ломали на дыбе: пытка, которой нас подвергли, была другая. Но и этой пыткой нас довели до «изумления» не хуже, чем если бы мы висели на дыбе. И мы прислонялись ще-

кой к теплым, человеческим рукам главного палача – Сталина.

Даже Твардовский, искренне любивший Сталина и до конца с этой любовью еще не расставшийся, обнаружил (в написанной вскоре после смерти отца и гения поэме «За далью даль») довольно ясное понимание того несомненного факта, что любил он (а отчасти даже и продолжает любить) **палача**:

Он мог на целые народы
Обрушить свой верховный гнев...

Трудно сказать, чего тут больше, в этих строчках, – ужаса или восторга.

Источником восторга был, конечно, все тот же страх. И поэт этого не скрывает. Как не скрывает, что главным источником этого страха был – САМ:

Еще и впредь мне будет трудно,
Но чтобы страшно –
Никогда.

САМ отдал богу душу, и поэт перевел дух. И ему даже показалось, что страх, с которым он жил все эти годы, теперь навсегда его оставил.

На самом деле, однако, страх этот долго еще не хотел умирать. И даже когда казалось, что он давным-давно уже умер, он все еще тлел где-то там, на дне сознания, готовый в любой момент вспыхнуть с прежней силой.

19 августа 1991 года я встретил в Малеевке – писательском Доме творчества, ставшем за последние тридцать лет чуть ли не вторым моим домом. В тот день путевка моя кончалась, и я собирался в Москву, где меня ждали какие-то дела. Жена с маленьким внуком оставалась еще на один срок, а я уезжал. Вещи были собраны с вечера, машина была заказана на десять часов утра: я собирался ехать сразу после завтрака.

Обычно я просыпаюсь часов в восемь. Но в то утро какая-то сила подняла меня часа на два раньше. Поняв, что уже не засну, быстро натянул джинсы, рубашку и осторожно, на цы-

почках, чтобы не разбудить жену и внука, вышел в коридор. И сразу же наткнулся на Юру Давыдова, который поманил меня пальцем и шепотом – хотя в коридоре мы были одни и никто нас не мог слышать – спросил:

– Уже знаешь?

И только тут я увидел, что на нем, как говорится, нет лица.

Он быстро пересказал мне все, что только что услышал по радио, и я сразу почувствовал, как старый, давно забытый страх шевельнулся под ложечкой и быстро стал заполнять всю мою грудную клетку.

Но я бодрился. Сказал Юре, что это не надолго. От силы на полгода. Может быть, на год.

– Нет, – покачал головой Юра. – Это конец.

Вторым человеком, которого я увидел в то утро, был Серго Ломинадзе. Он тоже был совершенно убит новостью и на мои успокоительные речи реагировал с раздражением.

– Их никто не поддержит, – вяло, сам не слишком в это веря, пытался успокоить его я.

– Еще как поддержат! – ярился он. И повторил – слово в слово – то, что я уже слышал от Юры Давыдова:

– Нет, это – конец.

Я все еще пытался бодриться, но под ложечкой у меня по-сасывало. Старый страх давал себя знать.

Не зная, куда себя девать, я поплелся в столовую. Мой сосед по столику – молодежавый, с коротким седым ежиком, писатель-фантаст в джинсовой куртке – удивился:

– Что это вы так рано сегодня?

– А вы, я вижу, ничего не знаете, – сказал я. – У нас государственный переворот.

В двух словах я пересказал невеселую новость, ожидая услышать в ответ приблизительно то же, что уже слышал от Серго и от Юры. Но писатель-фантаст отреагировал на мое сообщение иначе.

– Бенедикт Михайлович! – сказал он, пожав плечами. – Ведь это агония!

Агония-то агония, – подумал я, – но сколько она продлится? И кому из нас доведется ее пережить?

Юра и Серго все-таки уже заразили меня своим пессимизмом.

Когда я садился в машину, Юра отвел мою жену в сторону и довольно внушительно посоветовал ей взять внука и ехать со мною в Москву.

– В такие минуты, – сказал он, – близкие люди не должны разлучаться.

Но жена в ответ лишь беспечно махнула рукой.

Всю дорогу я размышлял о том, как по-разному реагировали на события Юра, Серго, я, мой сосед по столику и моя жена. Схема выстраивалась довольно ясная. Юра был старше меня. И он был старый зэк, лагерник. Серго был одного со мною возраста, но он – сын того самого Ломинадзе, который так досадил Сталину, что тот даже после его насильственной смерти сводил с ним свои старые счеты, презрительно помянув в «Кратком курсе» каких-то «левацких уродов типа Шацкого и Ломинадзе». А сам Серго тоже с пятнадцати лет мыкался по сталинским лагерям. Немудрено, что я глядел в будущее не так мрачно, как они. Писатель-фантаст был человек другого поколения: лет на пятнадцать, а может, даже и на двадцать моложе меня. Этим и объяснялась его реакция.

Стройность моей схемы слегка нарушала моя жена. Но ее мнение в расчет можно было не принимать. Ей важно было только одно: чтобы ребенок был на свежем воздухе. А там – хоть трава не расти!

По Минскому шоссе навстречу нам двигались танки. Неужели уходят? Нет, такая же длинная танковая колонна двигалась в противоположном направлении, к Москве.

Я снова приуныл. Но подъехав к Белому дому, увидел опрокинутый троллейбус, баррикаду, и опять слегка повеселел.

Долгими кружными путями нам с моим таксистом все-таки удалось добраться до моего дома. У подъезда меня встречал сын. Легко прочитав на моем лице все, что я чувствовал, он, подхватив мой чемодан, успокоительно сказал:

– Папа, ну что ты переживаешь? Это же на три дня!

Сын мой был примерно на столько же моложе писателя-фантаста, насколько фантаст был моложе меня. А наутро я узнал, что сын моего редактора, которому было семнадцать, – то есть он был моложе моего сына на те же пятнадцать лет, – вообще не стал обсуждать ситуацию, а просто созвонился со сво-

ими приятелями-сверстниками, и, не поддаваясь на уговоры родителей, они дружно пошли к Белому дому, где провели ночь – и весь следующий день, и всю следующую ночь – в ожидании штурма.

Построенная мною схема обрела, таким образом, окончательную стройность. Я очень гордился этим своим самодельным социологическим исследованием, всем о нем рассказывал, но сам ему большого значения не придавал, понимая, что для серьезных выводов в моем распоряжении было все-таки слишком мало материала.

Во всяком случае, я даже не вспомнил о нем, когда – несколько месяцев спустя – у меня произошла небольшая словесная стычка с Анатолием Рыбаковым.

19 августа «Независимая газета» обратилась к писателям, общественным деятелям и другим знаменитым людям нашей страны с просьбой ответить на вопрос: как они относятся к обращению ГКЧП? Среди самых разных ответов был там напечатан и ответ Рыбакова, невнятный смысл которого сводился к тому, что ничего определенного по поводу случившегося он сказать не может, поскольку у него слишком мало информации.

Перепалка наша началась совсем по другому поводу. Но в ходе ее я припомнил ему и этот – постыдный, на мой взгляд, – ответ.

– Семнадцатилетним мальчишкам, – в запальчивости сказал я, – хватило информации, чтобы понять, что происходит, а вам – с вашим-то жизненным опытом – было ее недостаточно?

Насчет информации и понимания сути происходящего я был, конечно, прав. А вот насчет жизненного опыта... Ведь именно жизненный опыт Анатолия Наумовича подсказал ему тот робкий, осторожный его ответ. Прекрасно он понимал, что происходит! И наверняка сумел бы найти для ответа четкие и ясные слова. Но ведь не он отвечал на тот вопрос корреспондента: отвечал выплеснувшийся наружу, давний, еще со времен первой его ссылки, с 1934 года дремавший на дне его сознания страх.

Нет, не надо было мне попрекать Анатолия Наумовича тем уклончивым его ответом. Надо было вспомнить про мой соци-

ологический эксперимент, про разницу поколений и биографий.

Не мешало бы вспомнить при этом и такой примечательный разговор, который вышел у меня однажды – где-то в середине семидесятых – с одним моим знакомым. Это был такой – не шибко известный – литературный критик: Владимир Яковлевич Барлас. Вообще-то он был геолог. Но, влюбленный в поэзию, бредивший стихами, он стал писать статьи о своих любимых поэтах, и постепенно это его хобби стало профессией. Его даже приняли в Союз писателей.

Время от времени мы с ним встречались и разговаривали. Иногда спорили. Бывало, часами. И вот однажды, когда очередная такая наша поэтическая встреча сильно затянулась, я хватился, что меня давно уже ждут друзья.

– Да, мне тоже уже пора, – сказал Барлас, озабоченно взглянув на часы.

Мы вместе вышли, вместе спустились в метро, вместе доехали от моего «Аэропорта» до Маяковской, продолжая какой-то наш бесконечный, не сегодня начавшийся спор.

Выйдя из метро, я спросил:

– А вы куда?

Спросил в том смысле, что если нам и дальше по пути, мы, может быть, сможем перекинуться еще парочкой-другой аргументов в нашем затянувшемся споре.

Барлас ответил:

– Я – в Союз. Там сегодня закрытие сети партийного просвещения. Последнее занятие.

Ответ этот меня изумил. Среди моих знакомых не было, кажется, ни одного, кто ходил бы на эти казенные лекции и семинары. Но Владимир Яковлевич Барлас, пожалуй, даже менее, чем кто-либо другой из всех моих друзей и приятелей, был похож на человека, которого можно было бы заманить «под своды таких богаделен».

– Вы в самом деле ходите на эти занятия? – не удержался я.

Он сухо ответил:

– Хожу.

– Зачем? – спросил я, искренне желая понять эту загадку.

Черт его знает! Может, там, на этих партийных семинарах, и впрямь бывает что-то интересное? А может, ему интересны члены Союза писателей, посещающие эти занятия? Для меня это привычная и малопривлекательная, а для него все-таки совсем новая, незнакомая ему среда.

Но ответ Барласа на мой бестактный вопрос лежал, как оказалось, совсем в иной плоскости.

– Бенедикт Михайлович, – тихо сказал он. – Сколько вам было лет в 37-м году?

Я сказал:

– Десять.

– А мне – двадцать...

Мы молча пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Я – по своим делам, уж не помню сейчас куда. А он – в Союз писателей, на последнее в том сезоне занятие сети партийного просвещения.

По правде говоря, показная законопослушность Владимира Яковлевича показалась мне тогда слегка чрезмерной. Но, в конце концов, даже у каждого металла – своя температура плавления.

Сам я на занятия сети партийного просвещения давно уже не ходил – аж со времен моей комсомольской юности. (Тогда – под давлением страха, сублимировавшегося в любовь, – окончил даже Университет марксизма-ленинизма.) Но другими казенными мероприятиями, взывающими к моей законопослушности, не пренебрегал.

Однажды, например, – было это в те же семидесятые, – пришел на мое имя из ЦДЛ (Центрального дома литераторов) пригласительный билет не совсем обычного вида. От других цэдээловских билетов, которые почта приносила мне тогда чуть ли не ежедневно, он отличался даже на ощупь. Напечатан был на какой-то особенно плотной бумаге, гляцевитой плотностью своей напоминающей даже не картон, а целлулоид или, еще точнее – слоновую кость. И сам текст приглашения был выполнен не обычным типографским шрифтом, а стилизован под этакую изысканную каллиграфическую скоропись с разными изящными росчерками и завитушками. Ко всем этим

странностям была там еще одна – совсем уж загадочная: в левом верхнем углу тем же каллиграфическим почерком меня уведомили, что билет этот – персональный и ни в коем случае не подлежит передаче в другие руки. А в правом верхнем углу красовался вычурный вензель, сплетенный из трех букв, образующих знакомую зловещую аббревиатуру: КГБ.

Короче говоря, мне была оказана редкая честь. Я приглашался на встречу с ответственными (или руководящими, не помню точно, как именно это было сформулировано в том билете) работниками Комитета государственной безопасности.

И вот я сижу в Малом зале ЦДЛ в числе сотни особо избранных, особо доверенных (за что только мне такая честь?) московских писателей. Со всех сторон меня окружают знаменитости. Вот – Сергей Михалков. А неподалеку от него – Василий Ардаматский, автор знаменитого фельетона «Пиня из Жмеринки»... Это – слева от меня. А справа – Аркадий Васильев, о котором было сказано, что он «спланировал» в литературу из органов... Вон и другие корифеи, чья многолетняя связь с «нашими славными органами» тоже давно и хорошо всем известна.

На маленьком просцениуме – два хорошо одетых, вполне благопристойно выглядящих господина. Один худощавый, даже щедедушный, в очках. Другой – плотный, упитанный, без очков. Тем не менее они чем-то неуловимо похожи друг на друга.

Начинает щедедушный. Он говорит об участившихся идеологических диверсиях. Враг коварен и хитер. ЦРУ не дремлет. Но они, работники наших славных органов, тоже не лыком шиты. Щедедушный подробно рассказывает, как вовремя была разгадана и предотвращена одна такая спланированная в ЦРУ идеологическая диверсия.

В Москву прибыл на гастроли знаменитый американский джаз Бенни Гудмана. В столице возник по этому поводу нездоровый ажиотаж. Ответственные работники КГБ, получив об этом соответствующие сигналы, поняли, что дело пахнет крупной провокацией. (В переводе на нормальный человеческий язык это означало, что на концертах упомянутого джаза некоторые не в меру впечатлительные зрители будут слишком

уж бурно аплодировать, демонстрируя тем самым иностранцам свое некритическое, а может быть, даже и восторженное отношение к американскому образу жизни.) Обсудив создавшуюся непростую ситуацию (не отменять же уже объявленные гастроли!), наши славные чекисты разработали такой хитроумный план. В городские кассы – решили они – поступит лишь малая часть билетов. Основная же их часть будет распространяться по учреждениям и предприятиям среди особо проверенных товарищей – коммунистов и комсомольцев.

Замечательный план этот был приведен в исполнение. Проверенные коммунисты и комсомольцы сидели на концертах Бенни Гудмана с каменными лицами. Вражеская провокация была сорвана.

Рассказав еще несколько таких же историй, щедушный уступил площадку упитанному.

Тот, показалось мне, был совсем уж неотесанный. Родной речью владел туго.

Он объявил, что тоже будет говорить об идеологических диверсиях, и я уже мысленно хихикал, предвкушая, как буду пересказывать друзьям их идиотские истории. Но скоро мне стало не до смеха.

Упитанный повел речь о том, что отдельные идеологические диверсанты проникли и в писательскую среду. Эту тему он мусолил довольно долго, как-то блудливо подмигивая и время от времени довольно прямо давая понять, что сказанное им относится и к кое-кому из сидящих в этом зале.

Мне даже показалось, что несколько раз при этом он взглянул на меня.

Под этими его взглядами я ежился, хотя никаких идеологических диверсий вроде бы не совершал. Но ведь и организаторы концерта Бенни Гудмана тоже не совершали никаких идеологических диверсий. И не зря же, в конце концов, на эту закрытую (билет без права передачи!) встречу вместе с Михалковым, Ардаматским и Аркадием Васильевым они позвали меня и нескольких других, как это тогда называлось, «подписантов».

Я сидел как на иголках, ожидая, что вот-вот на весь зал прозвучит моя фамилия. Но до меня и других грешников дело не дошло. Сообщая об идеологических диверсиях отдельных

идейно незрелых писателей, оратор никаких фамилий называть не стал, так и ограничился всеми этими многозначительными подмигиваниями и намеками.

Поиграв еще немного со специально приглашенными для этой игры мышами, два вальяжных кота, очень собою довольные, покинули зал заседания. А мышь (я имею в виду себя), облегченно вздохнув (слава тебе, Господи, пронесло!), поехала на метро домой, радуясь, что отделалась легким испугом.

Из своего – сравнительно не такого уж большого – опыта общения с сотрудниками нашего «Министерства Любви» я вынес впечатление, что им очень нравилось ощущать себя кошками, а всех своих подопечных – мышами. Во всяком случае, они не упускали ни малейшей возможности поддержать какую-нибудь несчастную мышь в зубах и слегка поиграть с нею, даже когда в этом не было не только ни малейшей государственной надобности, но и вообще никакого смысла.

Однажды (это было в те же «застойные» семидесятые) сидели мы у меня дома с тогдашним моим дружкой и соавтором Стасиком Рассадиным и сочиняли очередную радиопьесу для постоянного нашего цикла «В стране литературных героев». Работали мы тогда легко и весело, поочередно садясь за машинку, переругиваясь и радостно смеясь какой-нибудь особенной, как нам казалось, удачной реплике.

Жена старалась нам не мешать, но отчаянно мешал мой фокстерьер Булька: он царапался в дверь моего кабинета, уморительно вставая на задние лапы и жалобно глядя на нас сквозь стекло. Иногда даже нетерпеливо взлаивал. Он был прав: его давно уже пора было выгуливать, а я, увлеченный творческим процессом, совсем про это забыл.

– Стасик, посиди немного за машинкой, – сказал я соавтору. – Он все равно не даст нам работать, пока я его не выведу.

Через двадцать минут, вернувшись с Булькой домой, я наклонился, чтобы снять с него поводок. И тут дверь моего кабинета слегка приотворилась, и оттуда высунулась физиономия моего соавтора. По выражению его лица я сразу понял, что за время недолгого моего отсутствия что-то произошло. И что-то, судя по всему, очень нехорошее.

Предчувствие меня не обмануло. Таинственно поманив меня пальцем, Стасик шепнул:

– Тебя тут ждет небольшой стресс...

Сердце у меня упало.

Это было в то самое время, когда жена моя требовала, чтобы мы забрали сына из школы и отдали его на шинный завод. Из школы мы его, как я уже рассказывал, так и не забрали и на шинный завод не отдали. И он с каждым днем все больше и больше отбивался от рук. Учебу совсем забросил, жил в свое удовольствие, возвращался домой после какого-нибудь очередного дружеского сабантуя иногда далеко за полночь.

Я относился к этому более или менее снисходительно, полагая, что рано или поздно он перебесится, и процесс его взросления войдет в нормальные берега. Но жена просто сходила с ума. Она вела с ним непрерывную холодную войну, то и дело переходящую в горячую.

Горячая форма военных действий заключалась в том, что она выгоняла его из дому. Он покорно это сносил и уходил ночевать к бабушке, которая всегда готова была предоставить ему политическое убежище. Проходило два, три, иногда четыре дня. Возвращаться домой он не собирался: жизнь у бабушки, которую, в отличие от свирепой матери, он ничуть не боялся и которой помыкал как хотел, устраивала его гораздо больше, чем жизнь дома. Но такая чрезвычайная ситуация никак не устраивала мою жену. Она взывала ко мне – в довольно стандартной, я бы даже сказал, тривиальной форме («Разве ты отец? Настоящий отец этого бы не допустил!»). И в конце концов, не выдержав, я начинал очередной тур челночной дипломатии по методу Генри Киссинджера и старался, не слишком поступаясь высшими педагогическими принципами и не потеряв окончательно свой родительский авторитет, все-таки уговорить нашего смутьяна вернуться в лоно семьи.

Сто раз я клялся жене, что если она еще хоть раз посмеет выгнать мальчика из дому, на мои дипломатические таланты пусть больше не рассчитывает. И сто раз нарушал эту клятву. А однажды – эту ночь я до сих пор вспоминаю с ужасом, – когда очередное изгнание все-таки состоялось, теща (бабушка моего отпрыска), тоже не разделявшая педагогических принци-

пов моей жены, не позвонила с обычным успокоительным сообщением, что изгнанник находится у нее. Жена попробовала было устроить мне сцену под лозунгом «Разве ты отец!», но я ушел от ответственности, заявив, что не я, а она создала в очередной раз эту тупиковую ситуацию. И лег спать.

Некоторое время сквозь сон до меня еще доносились возгласы жены: «Но где же он? Если бы он был у мамы, она обязательно бы мне позвонила!» Я, проваливаясь в сон, бормотал в ответ: «Большой парень... Подумаешь, переночует одну ночь на вокзале... Ничего с ним не случится...»

Не знаю, надолго ли мне удалось задремать: мне показалось, что совсем ненадолго. Жена разбудила меня и сделала это весьма энергично.

– Что случилось? – очнулся я от сна, почувствовав, что меня трясут со страшной силой.

– Ты разве не слышишь? – трагическим шепотом проговорила жена. – Воеет собака!

– Ну и что? – не понял я.

Она стала бегать по квартире, ломая руки и повторяя:

– Воеет собака! А он спрашивает: «Ну и что?» И это – отец!.. Боже мой!.. Я сама отправила своего ребенка на смерть!.. Вот... Опять... Воеет!.. А этот – спит как ни в чем не бывало!..

Короче говоря, в ту ночь заснуть мне больше уже не удалось. Я то отпаивал жену валерьянкой, то высказывал разные – более или менее правдоподобные – предположения насчет того, куда мог отправиться ночевать наш «ребенок». Наиболее вероятным мне представлялся традиционный вариант: сын, как всегда, ночует у бабушки. Просто старуха – как и я – озверела от педагогических эскапад своей бешеной дочери и решила ее слегка проучить: нарочно не позвонила.

Наутро выяснилось, что все именно так и было.

Я провел с женой длинную педагогическую беседу, и она поклялась мне, что никогда больше не будет выгонять сына из дому. Но это была, как выразился Атос про д'Артаньяна, – клятва игрока. Я не сомневался, что тот ночной кошмар может повториться в любой день и час.

Вот поэтому-то, когда Стасик таинственно шепнул мне: «Теперь тут ждет небольшой стресс...» – сердце мое упало.

– Что?! – в ужасе выкрикнул я. – Ну?.. Говори!..

– Тебе звонили из КГБ, – прошептал Стасик.

– Ф-фу!

У меня просто камень с души свалился. По сравнению с ужасной мыслью, что жена не сдержала своей страшной клятвы и снова – в очередной раз – выгнала сына из дому, весть о звонке из КГБ показалась мне просто манной небесной.

И тут зазвонил телефон.

Вежливый, вкрадчивый голос произнес.

– Бенедикт Михайлович? Здравствуйте... Ваша жена вам уже сказала?

– Нет, а что? – невинно осведомился я.

– С вами говорят из Комитета государственной безопасности.

– Я вас слушаю, – спокойно сказал я, наслаждаясь своим спокойствием. Особенное наслаждение доставляло мне сознание, что это мое спокойствие было ничуть не показным: еще не прошла радостная эйфория, охватившая меня при известии, что никакого конфликта жены с сыном, которого я боялся пуще смерти, не произошло. Чувство, испытываемое мною в ту минуту, лучше всего можно передать словами одной бог весть откуда залетевшей в мою башку белорусской песни:

Ну як же ж мне не петь,
Як же ж не гудзеть,
Як у моей хате
Порядок идзеть.

Звонивший моей реакцией был явно разочарован. Он, конечно, не сомневался, что жена немедленно сообщит мне о грозном звонке и у меня сразу поджилки затрясутся от страха. Известие, что его звонок не произвел должного впечатления, несколько его обескуражило. Но не настолько, чтобы изменить традициям своего учреждения и хоть немного сбавить тон. Он еще раз – уже более внушительно – повторил магическую формулу («С вами говорят из Комитета государственной безопасности») и сообщил, что у них ко мне есть дело. «Необходимо выяснить один вопросик... Нет, это не телефонный

разговор. Придете – узнаете... В Лефортово, следственный изолятор КГБ».

Я сказал:

– Если вы хотите меня видеть, пришлите повестку.

Тут уж он был не просто обескуражен, а оскорблен прямо-таки до глубины души. Ласковые, вкрадчивые ноты в его голосе сразу исчезли. Голос сразу стал ледяным:

– Пожалуйста... Если вы настаиваете... Я-то хотел как лучше для вас...

Я невинно осведомился, почему телефонный звонок для меня лучше, чем повестка.

– Ну как же, – объяснил он. – Мне не хотелось, чтобы ваши соседи... Если они узнают, что вас вызывают в такое учреждение...

– А что тут особенного? – с деланной беспечностью спросил я. – Самое обыкновенное советское учреждение...

Повестку вскоре я получил и в Лефортово явился. Звонивший мне следователь оказался совсем молоденьким и довольно симпатичным парнишкой. Я был уверен, что о нашем телефонном разговоре он даже и не вспомнит. То есть, может, и вспомнит, но говорить со мной на эту тему не станет. Но он напомнил мне о нем первой же своей репликой.

– Как вы на мой звонок прореагировали, – усмехнулся он. – Прямо по «Континенту»...

В одном из последних номеров «Континента» была тогда напечатана статья, в которой участникам правозащитного движения, всем так называемым диссидентам и полудиссидентам объяснялось, как надлежит себя вести, если вдруг последует звонок из КГБ с предложением встретиться. В особенности если встреча будет назначена не в самом учреждении, а в каком-нибудь неофициальном месте, например, в гостинице. Много там было разных пунктов, но пункт первый был именно такой: прежде всего потребуйте, чтобы прислали повестку.

Я ту статью, конечно, читал и не могу сказать, чтобы на мою реакцию на телефонный звонок «оттуда» она так-таки уж совсем не оказала никакого воздействия. Что-то из тех советов, как видно, в меня все-таки запало. Но я, разумеется, сделал вид, что никакую статью ни в каком «Континенте» не чи-

тал, а повестку потребовал, потому что подумал, что звонок – не настоящий, хотел убедиться, что это не розыгрыш.

Следователь этим объяснением удовлетворился, во всяком случае, больше к этой теме не возвращался и перешел к делу.

Дело оказалось совсем пустяковым. У какого-то неизвестного мне человека, зверски убитого, в телефонной книжке обнаружился мой телефон. Я высказал предположение, что это был какой-нибудь графоман, приходивший ко мне со своими стихами. Мои показания быстро отпечатали на специальном бланке, я их подписал. Тем дело и кончилось.

Мальчик-следователь мне, скорее, понравился. Это была новая генерация гэбэшников, несомненно более цивилизованная, чем та, с представителями которой мне приходилось иметь дело раньше. Но сознание, что он работает в **таком учреждении**, уже наложившее свой мощный отпечаток на все его повадки, напоследок все-таки еще раз дало о себе знать.

Провожая, он вывел меня из здания на улицу и, прощаясь, сказал с многозначительной и довольно гаденькой улыбкой:

– Ну вот, дорогу к нам вы теперь уже знаете...

Я в ответ выразил надежду, что это знание вряд ли когда-нибудь еще мне пригодится.

С тем мы и расстались.

Конечно, делая вид, что звонок или повестка **оттуда** так-таки уж совсем меня не волнуют, я слегка притворялся. Но в основе своей та беспечность и легкость, с какой я провел эту встречу (и некоторые другие такие же, о которых я, быть может, еще расскажу), все-таки не были наигранными.

У меня и в мыслях нет хвастаться этим, тщеславиться тем, что я оказался храбрее многих, кого звонок или повестка **оттуда** привели бы (и приводили) в состояние панического ужаса.

Нет, дело тут было совсем не в моей личной храбрости. Просто время уже было другое.

Таинственные лучи уже теряли свою магическую силу.

Главный пункт устава нашего института, гласящий, что назначение его состоит в том, чтобы дать филологическое образование молодым писателям, уже проявившим себя в литературе, – не был пустым звуком. Почти все наши студенты успели уже где-то напечататься, у некоторых готовились к публикации даже книги. (Помню, как удивили меня слова Володи Тендрякова, рассказывавшего, что роман его понравился в «Октябре», его вот-вот напечатают, рукопись уже отдали «литобработчику». Я тогда понятия не имел о существовании «литобработчиков» и решительно не понимал, зачем писателю, хотя бы даже и молодому, нужен какой-то «литобработчик».)

Тендряков был из молодых, да ранний. Романов, готовящихся к печати, да еще в почтенном толстом журнале, даже у старшекурсников не было: напечатать в таком журнале рассказ – и то считалось большой удачей.

Удачливее всех оказался Иосиф Дик: когда я учился на первом курсе, у него (он был на курс старше меня) уже вышла книга.

Правда, в Детгизе.

К детской литературе у нас привыкли относиться пренебрежительно. Борис Житков выразил это в таком комическом диалоге:

- У вас есть пистолет?
- Да, только детский.
- Вы писатель?
- Да, только...

Как бы то ни было, у Дика вышла в свет самая настоящая книга, и он подарил ее мне. Я был польщен, хотя подарил он мне ее не совсем бескорыстно, о чем тут же простодушно и объявил.

– Ты ведь критик? – сказал он.

– Ну, критик, – неохотно подтвердил я.

– Вот и напиши о моей книженции. Глядишь, со временем станешь «диковедом».

Не могу сказать, чтобы перспектива стать «диковедом» мне улыбалась. У меня тогда (об этом я уже писал) были совсем дру-

гие планы. Но подарок я принял и рецензию на первую книжку Юза, как ни странно, написал.

Некоторую роль тут сыграл, конечно, и бешеный напор Дика. Он чуть ли не каждый день у меня спрашивал:

– Ну как? Написал?.. Что же ты, брат, резину тянешь...

На первых порах я как-то еще отшучивался, а потом понял, что никуда мне не деться: рецензию придется написать, поскольку молчание мое Дик принял не за согласие даже, а за твердое обещание. И теперь, если бы я от этого «обещания» уклонился, вышло бы, что я его обманул.

Особых проблем тут не было, поскольку книжка Дика мне понравилась. А сам Дик нравился мне еще больше.

Он напоминал мне моего двоюродного брата Вовку.

Вовка был старше меня. До войны он учился в Ленинградском военно-инженерном училище. Приезжая, бывало, на несколько дней в Москву, жил у нас. Поражал мое детское воображение своей воинской амуницией. Перед выходом из дому он не без некоторого самодовольства оглядывал себя в зеркале, проверяя, все ли детали этой амуниции у него на месте, а напоследок прикладывал ребро ладони ко лбу, чтобы убедиться, что звездочка на фуражке приходится точно посередине. Этот жест очень веселил моего отца, и когда дело доходило до этой заключительной фазы одевания, он всякий раз – не без некоторой доли иронии – говорил:

– Ну что? Красная Армия всех сильнее?

– Безусловно, – улыбаясь, отвечал Вовка.

Улыбался он всегда.

Той же улыбкой встретил он меня в 45-м году, когда я явился к нему в протезный госпиталь, куда он попал после ранения. Почти невредимым провоевал он всю войну, как начав, так и кончив ее лейтенантом. Но под самый занавес, в марте 45-го, ему оторвало ногу. Оторвало до самого основания: не осталось даже и кульги.

В госпитале, куда я к нему пришел, обстановка была жуткая. В нос шибал смешанный запах хлорки и гниющего человеческого мяса. По длинным коридорам мчались друг другу навстречу на своих шарикоподшипниковых тележках безногие «самовары», норовя сшибиться друг с другом. Такая бы-

ла у них смертельная игра: им уже нечего было терять в этой жизни.

Но Вовка и тут улыбался.

И потом, когда выяснилось, что все попытки соорудить ему какой-никакой протез так и не увенчались успехом, он тоже улыбался. На танцульках даже бросал костыли и некоторое время вертелся с какой-нибудь девчонкой на одной ноге, изо всех сил стараясь доказать окружающим, но прежде всего самому себе, что безножье – ни в чем, даже в танцах, ему не помеха.

Однажды после очередного такого танца, когда, запыхавшись, он кинул свою даму и, прыгая ко мне на одной ноге, едва не упав, успел выхватить у меня из рук свои костыли, я не выдержал и сказал:

– Надо же, такая невезуха! Хоть бы ниже колена тебе ее оторвало!

– Если б мне оторвало ее ниже колена, – кажется, впервые в жизни без улыбки ответил он, – вы бы все даже и не узнали, что я был ранен.

И, безусловно, так бы оно и было.

Внешне Иосиф Дик на моего Вовку был совсем не похож. Да и в характерах у них было мало общего.

Общим было только одно: глядя что на того, что на другого, даже и тени мысли не возникало, что перед тобой – инвалид. (Как тогда говорили – калека). То есть в первую минуту такая мысль, может быть, и возникала. Но она сразу же исчезала, поскольку оба они не только вели себя, но и ощущали так, словно физическое увечье им ни в чем не мешает.

Румяная круглая физиономия Дика, испещренная крохотными пороховыми точечками, не озарялась поминутно ослепительной белозубой улыбкой, как у моего Вовки. Но она постоянно излучала какую-то мальчишескую беспечность и бешеный напор жизни. Как я уже сказал, при взгляде на это лицо даже и мысли не могло возникнуть, что человек этот может быть хоть в чем-то ущербен.

А между тем у Дика не было обеих рук.

Правда, только до локтя. Локти были. И они сгибались.

Позже, уже став довольно известным, во всяком случае, пре-

успевающим детским писателем, он купил себе машину. Заказал какие-то специальные приспособления (какие-то там дырки, что ли, цепляясь за которые он ухитрялся поворачивать руль в нужную сторону), – и лихо разъезжал на ней по Москве, не всегда считаясь с правилами дорожного движения. А для встреч с блюстителями порядка был у него такой любимый прием. Остановит его, бывало, гаишник за грубое какое-нибудь нарушение, а он этак спокойненько ему скажет:

– Будь другом, дай огоньку!

И вытянет перед ним две свои культипки, показывая, что сам не может зажечь себе сигарету.

Потрясенный гаишник, естественно, дает ему закурить и отпускает с богом, даже и не вспомнив ни о каком нарушении правил.

Это была не просто хитроумная уловка (при своих козырях он мог от любого гаишника отбиться и без таких дешевых эффектов). В таких фокусах выплескивался его характер, выплескивалось вечное его мальчишество. И вот этим мальчишеством была насквозь пронизана та его детская книжка, которую он мне подарил. А для писателя, пишущего для детей, эта память детства, эта неспособность расстаться с детским восприятием, детским ощущением жизни – стократ важнее и самого изощренного литературного мастерства, и врожденного изобразительного дара, и даже умения изобретать сложные фабульные конструкции и закручивать самые неожиданные сюжетные повороты.

Вот об этом я и написал в своей рецензии. А написав, отнес готовую статейку в «Новый мир». Отчасти потому, что журнал этот нравился мне больше других тогдашних журналов, а отчасти потому, что редакция его находилась совсем рядом – и от моего дома, и от моего института: на углу Пушкинской площади и Малой Дмитровки.

Строгая дама, сидящая на втором этаже у входа в редакцию, кивком показала мне, где помещается отдел критики. В небольшой комнате сидели двое.

Один был худенький, сутулый, даже как будто слегка горбатый. На остром, умном лице его словно бы застыла гримаса

вечного недовольства, что придавало ему сходство с тем скрипачом из анекдота, который на вопрос дирижера, почему он морщится (может быть, ему не по душе его, дирижера, трактовка разучиваемой оперы?) ответил, что нет, дело не в нем, не в дирижере, и не в его трактовке: просто он с детства не любит музыку.

Фигура второго являла полную противоположность первому. Он был большой, полный, даже, пожалуй, тучный. И лицо у него было полное, добродушное, благожелательное.

Первый, как я потом узнал, не был работником журнала. Он был просто – автор. Второй же, который и решил мою судьбу, был – заведующий отделом критики Борис Владимирович Яковлев.

Узнав, что я молодой критик, студент литературного института, горбун, как я мысленно его окрестил, с кривой усмешкой объявил, что молодых критиков надо топить, как котят, пока они слепые. Я не знал тогда, что эта шутка принадлежит Твардовскому и в авторском варианте относилась не к молодым критикам, а к молодым поэтам.

– Ну, зачем же топить, – урезонил его Яковлев. – Молодых критиков надо воспитывать.

– И печатать, – осмелев, сказал я.

Они засмеялись.

Узнав, что я принес рецензию на детгизовскую книжку, горбун поморщился, а Яковлев сказал:

– Очень хорошо! Мы редко рецензируем детские книги, и это нас не украшает. Оставьте, почитаем. Зайдите через недельку.

С тем я и ушел.

Зная редакционные нравы, о которых я много наслушался от старших товарищей, я подумал, что про недельку было сказано просто так, для красного словца, и решил, что раньше, чем через месяц, справляться о судьбе моей статейки вряд ли стоит. А через месяц заварилась вся эта каша с моим исключением из комсомола и из института, и мне было уже не до рецензии. Тем более, я прекрасно понимал, что и без того слабенький шанс на появление моего имени в печати новый мой социальный статус практически сводит к нулю.

И тем не менее месяца через три после разразившейся катастрофы, слегка уже выйдя из ступора, я решил все-таки – чем черт не шутит – заглянуть в «Новый мир» и самым невинным тоном, ничего пока никому не сообщая о моих несчастьях, осторожно осведомиться, как обстоят мои дела.

Мой план рухнул сразу же. С первых же слов я понял, что Борису Владимировичу уже все про меня известно. Тем не менее, встретил он меня – как родного. И даже не «тем не менее», а как раз именно потому, что, узнав про мои дела, он сразу проникся самым искренним ко мне сочувствием.

А узнал он все так.

Прочитав мою рецензию, он немедленно поставил ее в очередной номер. Объяснялось это, как я понял, не только тем, что она ему понравилась, но еще и какими-то особыми, неведомыми мне редакционными соображениями. (Надо было поставить «галочку», заполнить пробел, отдать какую-то давно полагающуюся дань детской литературе.) Что-то там в ней – в рецензии – надо было сократить, поправить, и он стал меня разыскивать. (На первой странице моей машинописи я потом обнаружил его резолюцию, обращенную, как видно, к той самой строгой даме, которая сидела за столиком у входа в редакцию: «З.И. Как связаться с этим автором?!»)

Разыскать меня, однако, было не просто, поскольку никаких моих координат – ни адреса, ни телефона, – ничего, кроме моей фамилии, в рукописи указано не было.

Тогда он вспомнил наш разговор, в котором поминалось, что я – студент Литинститута, и позвонил в мою alma mater. И на вопрос, как ему связаться со студентом Сарновым, услышал, что студент Сарнов исключен из института «за политическое хулиганство».

Случай был не тривиальный.

Но самым нетривиальным в этой истории было то, что, получив такое сообщение, Борис Владимирович не только не выкинул мою рецензию в редакционную корзину, но стал предпринимать всякие другие, еще более энергичные попытки связаться со мною. А не добившись успеха, стал ждать, когда же наконец я сам приду справляться о судьбе моей статей-

ки. Но время шло, а я все не появлялся, и когда среди разных других рукописей, которыми был завален его редакционный стол, ему попадалась на глаза моя, в голове его уже стали мелькать разные нехорошие мысли, рисующие мою судьбу в самом мрачном свете.

Вот почему он так обрадовался, когда я наконец предстал перед ним – живой и невредимый.

Сочувственно похлопав меня по плечу, усадив на стул и усевшись напротив, он сказал:

– Ну, рассказывайте, что там у вас стряслось!

Я рассказал.

По мере того как я рассказывал, он все больше и больше мрачнел, а когда я кончил, надолго задумался, и я совсем было уже решил, что дела мои дрянь: рецензию мою печатать, конечно, не будут.

И тут, словно прочитав мои мысли, он сказал:

– Рецензию вашу мы напечатаем.

Я изумленно на него вытаращился.

– Да, да, можете не сомневаться. Напечатаем. Но учитывая все эти печальные обстоятельства, вам придется взять себе псевдоним.

Взглянув на мое – скорее растерянное, чем расстроенное – лицо, он стал меня утешать:

– Не расстраивайтесь. Я понимаю, как приятно увидеть свою фамилию, напечатанную типографским способом. Мысленно вы уже не раз предвкушали этот сладостный миг. Знаю-знаю, сам через это прошел. Но ведь это – временно. До тех пор, пока вас не восстановят... Восстановят, восстановят, можете не сомневаться... А там – кто знает? – может быть, вы так привыкнете к своему псевдониму, что вам даже и не захочется с ним расставаться. Многие замечательные писатели, по разным причинам взявшие себе псевдонимы, так и вошли в литературу не под настоящими своими фамилиями. Горький, Вересаев... Да мало ли кто еще!..

Мне стыдно было в этом признаться, но он угадал. Подписывать первое свое печатное произведение псевдонимом мне почему-то смертельно не хотелось. Не хотелось настолько, что вся радость от сообщения, что рецензию мою все-таки на-

печатают, сразу же испарилась. Ну, не совсем, конечно, испарилась, но, во всяком случае, была отравлена.

Отчасти, конечно (Борис Владимирович и тут был прав), это было связано с тем, что я действительно не раз уже мысленно предвкушал, как моя фамилия появится в таком почтенном журнале и какой это будет праздник для всех моих домашних. Но было в этом моем нежелании подписываться псевдонимом что-то еще, неизмеримо более важное.

Тогда я в это особенно не вдумывался. Но потом – понял.

В середине пятидесятых Володя Файнберг – молодой поэт, тогдашний мой приятель, – попросил меня, чтобы я показал его стихи Слуцкому. Борис стихи Файнберга прочитал, снисходительно одобрил (он любил покровительствовать молодым поэтам) и дал ряд указаний. Первым – по важности – было такое:

– Скажите ему, чтобы ни в коем случае не подписывался настоящей своей фамилией. Пусть возьмет псевдоним.

– Почему, Боря? – слегка придуриваясь, спросил я. Вопрос был провокационный: еврейская фамилия в то время была уже почти непреодолимым препятствием для литератора, стремящегося проникнуть в печать. – Вот вы же ведь не взяли себе псевдонима?

– Мне поздно было менять мое литературное имя. Задолго до того, как меня стали печатать, я был уже широко известен в узких кругах. Ну а кроме того, Слуцкий – фамилия не еврейская. Были князья Слуцкие.

Впоследствии кто-то сочинил про Бориса такую эпиграмму:

- Вы еврейский или русский?
- Я еврейский русский.
- Вы советский или Слуцкий?
- Я советский Слуцкий.

Этот коротенький шуточный стихотворный диалог был бы, наверно, самым метким ответом на упоминание князей Слуцких. Но в описываемые времена я этой эпиграммы еще не знал (а может быть, она еще даже и не была сочинена), поэтому ответил попросту, прозой:

– Да ладно вам, Боря. Князья Слуцкие, может, и были, но сегодня-то фамилия ваша всеми воспринимается как еврейская.

– Ну что ж, – сухо возразил Борис. – Если этот ваш Файнберг полагает, что он настолько сильный игрок, что может играть без ладьи, – пусть остается Файнбергом.

Тут уж спорить было нечего. Сам Борис, безусловно, играл без ладьи. И к тому времени, когда происходил этот разговор, шахматную партию свою уже уверенно выигрывал.

Возвращая Володе Файнбергу его стихи, я передал ему совет мэтра (разумеется, не в такой обидной, а в слегка смягченной форме). Выслушав его, Володя сказал, что ему это советовали уже не раз, что он много об этом думал и даже колебался, но в конце концов пришел к твердому решению: подписывать свои стихи псевдонимом он не может.

– Понимаешь, – сказал он, – если бы я писал пьесы или, на худой конец, прозу... Другое дело... А стихи ведь я пишу от себя... Говорю в них – «я». А это буду как бы уже – не я.

Я стихи (во всяком случае, к тому времени, когда вплотную встала передо мной проблема псевдонима) уже не писал. И речь шла о том, чтобы подписать псевдонимом даже не пьесу, не рассказ, не повесть, а всего-навсего какую-то паршивую рецензию. Но вот это чувство, что, подписавшись псевдонимом, а не своей настоящей фамилией, я буду как бы уже не я – это чувство, по-видимому, возникло и у меня тоже.

Менять свою родовую фамилию на чужую, да еще не по собственной прихоти, а под давлением обстоятельств, в особенности таких гнусных, как государственный антисемитизм, помимо всего прочего – унижительно. Но унижения я как раз не чувствовал. Во-первых, фамилия, доставшаяся мне от предков, – не откровенно еврейская. А во-вторых, вопрос о еврейских фамилиях, о раскрытии скобок и о псевдонимах, под которыми евреи прячут свое еврейство, со всей остротой встал несколько позже. Точнее – ровно год спустя.

* * *

28 января 1949 года в «Правде» появилась статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», поло-

жившая начало печально знаменитой кампании. Группа «безродных космополитов», как узнала страна из этой и множества других последовавших за ней статей, собиралась в ресторане «Арагви», вынашивая там свои злодейские планы. В чем конкретно эти планы состояли, толком не сообщалось: то ли они собирались взорвать Кремль, то ли пытались очернить какую-то пьесу Софронова. Ясно было только одно: нет сейчас у советского народа более злых, коварных и опасных врагов, чем эти театральные критики.

Разоблачить такого затаившегося врага было несложно: надо было только узнать – и открыть народу – истинную его фамилию, которую он утаил, прикрывшись, как маской, псевдонимом.

Эта истинная (как правило, еврейская) фамилия разоблаченного преступника писалась следом за мнимой, псевдонимной. И непременно в скобках. Написанная как-нибудь иначе (скажем, через дефис), она выглядела бы не так обидно, как указанная в скобках: мало ли бывает на свете двойных фамилий. Скобки же означали, что «безродный космополит» имярек на протяжении многих лет самым подлым образом скрывал истинное свое лицо, и только теперь, благодаря бдительности наших патриотов, эта маска наконец с него сорвана.

Первая – довольно робкая – попытка «раскрыть скобки» была произведена еще до антикосмополитической кампании. Это был, так сказать, пробный шар. Жертвой эксперимента пал Нёма Мельников, за что на долгие времена и получил прозвище «отца русской скобки».

Он был первым литератором, псевдоним которого публично раскрыли обозначенной в скобках его «девичьей» фамилией. Статья называлась: «Гнилая повесть «Редакция».

Запомнилась мне из нее такая фраза:

Н. Мельников (Мельман) смотрит на советского человека откуда-то сзади, с болезненным любопытством копаясь во всем отсталом и старом.

Но «случай Мельникова» (хоть Нёме той статьёй и переломили спинной хребет) – это был все-таки именно случай, ка-

зус. То же, что происходило теперь, было – **кампанией**. Кажется, что вдруг хлынувшей темной стихии не просто открыли шлюзы, а что она **сама** бешеным своим напором прорвала плотину еще недавно незыблемых государственных запретов.

Каждый день советский народ узнавал еще об одном маскировавшемся и теперь наконец разоблаченном злоумышленнике: вот и литературный критик Данин, оказывается, был на самом деле вовсе не Данин, и театральный критик Холодов – вовсе не Холодов. Водопад раскрывающихся скобок обрушился на ничего не подозревавшего, простодушного русского человека с такой внезапной силой, что он вдруг почувствовал себя со всех сторон окруженным замаскировавшимися злоумышленниками.

Скобки раскрывались одна за другой. И если вдруг случалась такая незадача, что истинная фамилия разоблаченного преступника была какая-то невнятная, не совсем еврейская, ему – для ясности – придумывали уж бесспорно, однозначно еврейскую, чтобы именно ее помянуть в скобках.

Знаменитый анекдот про евреев и велосипедистов (кто-то кинул шуточный лозунг: «Бей евреев и велосипедистов!» – удивленный обыватель недоумевает: «А за что велосипедистов?») перестал быть анекдотом. В воронку то и дело засасывало какого-нибудь ни в чем не повинного «велосипедиста».

Украинский литературовед Евгений Георгиевич Адельгейм не был евреем. Фамилия, доставшаяся ему от предков, была немецкая. Но разбираться, еврей он или случайно попавший под колесо истории «велосипедист», было некогда. Его судили тем самым судом Линча, топтали, вытирали об него ноги. Разумеется, пользовались при этом обычными эвфемизмами: «космополит», «антипатриот» и т. п.

Сакраментальное слово «еврей», как это полагалось по условиям игры, не произносилось. Но кое-кому уж очень хотелось поставить все точки над *i*. И удобный повод нашелся. Поскольку по документам Евгений Георгиевич был русским, ему было предъявлено еще одно дополнительное обвинение: «Адельгейм скрыл, что он – еврей!»

Доказывать, что он на самом деле не еврей, Евгений Григорьевич счел для себя неприличным. Но тут попросил слово

присутствовавший на том собрании сотрудник Министерства государственной безопасности.

– Даю справку, – сказал он. – Предки гражданина Адельгейма покоятся на лютеранской территории Байкова кладбища. Мы проверяли, они не еврейского происхождения.

Так что дело у них было поставлено серьезно: **они проверяли.**

Лавина еврейских фамилий, в одночасье хлынувшая на страницы всех советских газет, оборвалась так же внезапно, как и началась. По всему было видно, что команда «прекратить» была дана с самого верха. Никто не сомневался, что прекратить велел САМ.

Кампания прекратилась. Но идея раскрытия скобок многим легла на душу. И время от времени в каком-нибудь фельетоне про какого-нибудь проворовавшегося коммерческого директора или завхоза, в скобках или без скобок, то девичьей фамилией, то именем, то отчеством (чаще именно отчеством) нам давали понять, что во всех наших бедах и недостатках виноваты ОНИ:

Если в кране нет воды –
Воду выпили жида!

Фельетоны эти, конечно, не были самодеятельностью. Они стали необходимой составной частью того общего рисунка государственной идеологии, без которого эта идеология теперь уже не могла обойтись.

6

Но заведующий редакцией критики «Нового мира» Борис Владимирович Яковлев, уговаривая меня взять псевдоним и беспечно объясняя мне, что дело это в литературе самое что ни на есть обычное, ни о чем таком, конечно, не думал. Он ведь тогда – точь в точь как один зощенковский персонаж – еще не знал, что будет землетрясение.

Землетрясение, как я уже говорил, разразилось через год. И бедный Борис Владимирович оказался в самом его эпицентре.

Список «безродных космополитов» разрастался, что ни день пополняясь все новыми и новыми именами. И одним из первых в этом ряду стало мелькать имя недавнего моего благодетеля. Но именовали его теперь уже не Яковлевым, а – Хольцманом. Точнее, Яковлевым, а в скобках – Хольцманом. Примерно вот так:

Борис Яковлев (Хольцман), окопавшийся в отделе критики одного из влиятельных московских журналов...

Справедливости ради тут надо отметить, что до того как его «разоблачали», Борис Владимирович и сам довольно активно и даже бойко разоблачал разнообразных врагов советской литературы. Он обвинял их во всех смертных грехах: например, в формализме, а то и в том же космополитизме.

Разоблачал он, правда, не живых формалистов и космополитов, а покойных, которым его статьи уже никак не могли повредить. То есть могли, конечно. Но разве только тем, что их книги выкидывали из издательских планов, что, конечно, им тоже было небезразлично и от чего они, наверно, ворочались там, в своих гробах.

Одной весьма бойкой своей статьей он уничтожил Велимира Хлебникова. Другой – еще более хлесткой – растоптал Александра Грина. (Из нее мне запомнилась только одна фраза. Но какая! «Всякие были в России писатели, – писал он там, – талантливые и неталантливые, реакционные и прогрессивные. Но Грин от них от всех отличался одним совершенно поразительным свойством: он не любил свою Родину».)

Все эти статьи Борису Яковлеву заказывал Константин Михайлович Симонов. С тем, разумеется, чтобы публиковать их (во всяком случае, некоторые из них) в своем журнале.

Когда разразилась гроза, – то есть когда оказалось, что Б. Яковлев (Хольцман), только что разоблачивший космополита Грина, сам – один из тех, кого еще неистовый Виссарион называл «беспачпортными бродягами в человечестве», – Константин Михайлович, естественно, тут же его из журнала уволил. (Это я говорю ему не в укор: не в его власти было поступить иначе.)

С Яковлевым у Симонова личных отношений не было: только служебные. А с другим «безродным космополитом» – Александром Михайловичем Борщаговским – он дружил. Поэтому, когда стряслась с ним эта беда, он, подробно расспросив его о том, как тот собирается жить и чем заниматься, чуть ли не силком всучил ему довольно крупную сумму денег, чтобы тот лег на дно и спокойно писал свой «Русский флаг». Яковлев же, не смея обратиться к Симонову прямо, но зная о добрых отношениях с ним Борщаговского, попросил Александра Михайловича, чтобы тот выцыганил для него у Симонова какую-то справку. Какое-то там письмо от редакции «Нового мира» в спецхран Ленинской библиотеки, в котором бы говорилось, что такой-то, мол, не тунеядец, а полезный член общества.

Выслушав Борщаговского, Симонов сказал:

– Справку я ему, конечно, дам. Но, по правде говоря, не люблю я его... Ну что это такое! Надо какую-нибудь гадость о Хлебникове написать? Пожалуйста! О Грине? Извольте, можно и о Грине...

Темы и сюжеты всех этих статей – и о Хлебникове, и о Грине, – как я уже говорил, Борису Владимировичу подсказывал не кто иной, как он сам – К.М. Симонов. И не просто подсказывал: эти погромные статьи он ему официально (как редактор журнала) **заказывал**.

Но, в отличие от нынешних наших «новых русских», тоже вынужденный прибегать время от времени к «заказным убийствам», Константин Михайлович, как истинный аристократ, сохранял за собой право искренне презирать нанимаемых им для этой цели киллеров.

Почти все «безродные космополиты», раздавленные железной пятой Государства, когда гроза миновала, к прежней своей профессии – театральным или литературным критиков – уже не вернулись. Борщаговский, сочинив толстый исторический роман «Русский флаг», стал прозаиком. Данин, до войны окончивший химфак и физфак МГУ, стал писать книги о физике и физиках. А Борис Владимирович Яковлев посвятил себя, как тогда говорили, ленинской теме. Как с конвейера, сходили с его письменного стола сочинения: «Ленин-публицист»,

«Ленин и книга», «Образ Ленина в советской прозе 60-х годов», «Ленин и Гёте», «Ленин и советский театр», «Ленин в Париже»... Главный же труд, которому он намеревался посвятить остаток своей жизни, должен был называться – «Автобиография Ленина».

Автобиографией, как известно, называют обычно биографию, сочиненную самим героем повествования. Но вот в этом и состояла оригинальность хитроумного яковлевского замысла: задуманную им «автобиографию» он как раз и намеревался слепить из текстов самого Ленина: отрывков из ленинских писем, книг, статей, выступлений...

По всем, так сказать, внешним показателям он тоже выплыл на поверхность и даже преуспел. Но внутренне он сломался. Почти все бывшие космополиты не только не стыдились этой черной полосы в своей биографии. Скорее даже наоборот: память о ней они носили как орден.

Взять хоть того же Борщаговского: он написал об антикосмополитской кампании и своей роли в ней целую книгу. Данин в книге своих воспоминаний тоже уделил этому сюжету немалое место. Яковлев же предпочел обо всем этом просто забыть. Любое напоминание о катастрофе, постигшей его тогда, больно его ранило, и он делал все от него зависящее, чтобы таких напоминаний не было.

Разбирая архив Эренбурга, я обнаружил там любопытное письмо Бориса Владимировича Илье Григорьевичу. Эренбург в своих мемуарах, вспоминая эпоху «раскрытия скобок», среди других «разоблаченных» космополитов помянул и Яковлева-Хольцмана. Борис Владимирович в своем письме просил автора мемуаров во всех последующих изданиях этот пассаж изъять. Он писал, что псевдоним взял себе не он, а его отец, который до этого действительно носил фамилию Хольцман. А он, Борис Владимирович, Хольцманом никогда не был. С самого своего рождения был уже Яковлевым.

Естественно было бы, если бы Борис Владимирович, сообщив Эренбургу эту красноречивейшую подробность, попросил его в последующих изданиях книги об этом упомянуть. Такая деталь, рисующая «их нравы», эренбургский рассказ даже украсила бы. Но Борис Владимирович хотел совсем друго-

го: он хотел, чтобы все напрочь забыли о тех нескольких годах его жизни, когда он был (точнее – когда его сделали) Яковлевым-Хольцманом. Чтобы никто никогда даже об этом и не вспомнил.

* * *

Но я, кажется, слишком уж далеко забежал вперед, в иные времена, в другую эпоху. А тогда, в 1948-м, когда Борис Владимирович оказал мне свое покровительство, это был – полный, добродушный, веселый, преуспевающий, уверенный в себе человек. Самым решительным тоном он посоветовал мне (в сущности, даже приказал) немедленно писать апелляцию в ЦК ВЛКСМ. И когда (после долгой и томительной процедуры, о которой я еще расскажу) в комсомоле меня восстановили и я сообщил ему об этом, он радостно воскликнул:

– Ну вот! Что я вам говорил?.. Потому что я коммунист, а они – бляди!

Воскликнул он это так живо и непосредственно, что мне даже и в голову не пришло усомниться в его искренности. Наверно, он и в самом деле был тогда (во всяком случае, считал себя) настоящим, убежденным коммунистом. И – чем черт не шутит! – может быть, и в те сервильные, заказанные ему статьи про Хлебникова и Грина тоже вкладывал толику этой своей коммунистической убежденности, искренне считая, что **так надо**. Или **накачивал** себя, раздувая крошечную искру искренности до размеров ярко пылающего факела...

Итак, я остановился на том, что Борис Владимирович Яковлев, еще не подозревавший о том, что случится с ним (и со всеми нами) через год, с самыми лучшими и чистосердечными намерениями предложил мне подписать первую мою публикацию псевдонимом.

Предложение это, как я уже говорил, сильно меня огорчило, но делать было нечего. Со смятенной душой я поплелся домой. Рассказал обо всем родителям. И всю ночь мы не спали – всем семейством придумывали мне псевдоним.

Отец предложил мне назваться Каратовым. Оказывается, в молодые годы он сам выступал на эстраде под этим псевдонимом – вместе со знаменитым в ту пору куплетистом

Ильей Набатовым. Была у них даже общая афиша, которая гласила:

В сто карат сияй, Каратов,
Бей в набат, Илья Набатов.

Имя Ильи Набатова было мне хорошо знакомо. В описываемые времена он был уже не только одесской знаменитостью, как в дни юности моего отца. Теперь его знала вся страна: незадолго до того он сыграл в знаменитом фильме Чиаурели «Клятва» министра иностранных дел Франции Боннэ. Сыграл, надо сказать, блестяще и, кажется, даже отхватил за это Сталинскую премию.

Но и с главным своим амплуа – куплетиста – он тоже не расстался. Только теперь он исполнял не какие-нибудь там бытовые, а – политические куплеты, лихо разоблачая американский империализм. Отчаянно кривляясь и выламываясь, он пел, например, про какую-то важную тогдашнюю вражескую, как теперь бы сказали, тусовку, на которой присутствовали – «Чанкайши со своей Чанкайшихой, Цзянтиньфу со своей Цзянтиньфифой» – и еще какие-то, такие же отвратительные империалистические хищники и их прихвостни.

Никакого восторга эта блистательная артистическая карьера бывшего напарника моего отца у меня не вызывала. Поэтому (а может, и не только поэтому) от псевдонима «Каратов», рифмующегося с фамилией Набатова, я решительно отказался. Отбросил я и другие родительские предложения. После бессонной ночи, перебрав несколько десятков самых разнообразных фамилий, я в конце концов сделал окончательный выбор: решил назваться «Бенедиктовым». Звучало это неплохо, а главное, как-никак – это была модификация моего собственного имени.

К утру я уже совсем смирился с этой новой моей фамилией. А к полудню, когда пришло время идти в редакцию, она даже стала нравиться мне больше, чем моя настоящая.

Этому сильно помогли воспоминания о самых ранних школьных моих годах. В эту пору жизни, как известно, за каждым закрепляется какое-нибудь прозвище, чаще всего становя-

щееся производным от фамилии его носителя. Кузнецов получал кличку «Кузнец», Огурцов становился «Огурцом», Каблук был обречен откликаться на прозвище «Каблук». Моя же фамилия давала множество поводов для всяких неаппетитных, иногда даже прямо неприличных кличек.

Самой невинной из них была кличка «Сарняк», что вызывало не слишком приятные ассоциации с распространенными тогда политическими лозунгами, вроде: «Дурную траву – с поля вон!»

Короче говоря, подходя к зданию, в котором помещалась тогда редакция «Нового мира», я был уже даже рад, что явлюсь перед миром под новой, гораздо более благозвучной фамилией, чем моя старая, от которой я мысленно уже отказался.

Но тут меня ждала новая неожиданность.

– Все в порядке! – встретил мое появление Борис Владимирович. – Каэм сказал, что никакого псевдонима не надо. Он только попросил, чтобы вы написали ему письмо, в котором коротко изложили бы всю эту вашу злополучную историю.

Я был так ошеломлен, что даже не сразу сообразил, что «Каэм» – это не кто иной, как сам Симонов.

– Да, вот еще что! – вспомнил Борис Владимирович. – Каэм тоже сказал, что вы должны подать апелляцию в ЦК. Не вайте дурака! Сделайте это как можно скорее. Завтра же.

Указание это я честно выполнил. Правда, не назавтра, а спустя несколько дней: сочинить заявление, которое я отнес на Маросейку, в здание ЦК ВЛКСМ, мне было гораздо труднее, чем написать ту, первую мою рецензию, которая вскоре и в самом деле была напечатана в «Новом мире». Труднее даже, чем ту статью, за которую меня приняли в Литинститут. Однако, с грехом пополам, я его все-таки сочинил, это заявление. И отнес.

Ответ пришел довольно скоро: меня просили в определенный день и в определенный час явиться на прием к инструктору (сколько лет прошло, сколько событий и встреч, куда более важных, чем эта, а фамилию того инструктора я не забыл!) товарищу Гоциридзе.

Товарищ Гоциридзе оказался полным, добродушным, вальжным молодым грузином. Из всех предъявлявшихся мне об-

винений самое сильное впечатление на него почему-то произвело то, что я якобы выступал против постановления ЦК об опере Мурадели «Великая дружба».

– Пачиму вы защищали оперу Вану Мурадели? – допытывался он у меня.

Я объяснял, что оперу Мурадели вовсе не защищал, но он мне не верил. И в глубине души – я чувствовал это – ему хотелось, чтобы я ее защищал. И то, что я ее все-таки защищал (он почему-то был в этом уверен, и сбить его с этой позиции было невозможно) вызвало в нем чувство самой глубокой ко мне симпатии. Я чувствовал это по тому, как нежно произносил он всякий раз имя опального композитора: не просто Мурадели, как сухо говорилось о нем в постановлении ЦК, а как-то по-особенному интимно, ласково: «Вано Мурадели».

Я пытался направить его мысль на главные, куда более страшные, как мне казалось, и тоже ложные обвинения («глумился над классиками марксизма», «назвал марксизм-ленинизм схоластикой»), но от всего этого он только отмахивался и вновь и вновь возвращался к любимой своей теме:

– Нэт, вы все-таки скажите, какие у вас были основания считать нэспредливой партийную критику оперы Вану Мурадели?

Эти игры продолжались месяца полтора. Вызывал он меня к себе за это время раз пять или шесть, и каждый очередной наш разговор так или иначе вертелся вокруг этой злополучной оперы. И с каждой новой встречей я все увереннее чувствовал, что дела мои идут на лад.

Немало этому способствовало то обстоятельство, что вскоре я принес моему куратору свеженький, пахнувший типографской краской номер «Нового мира», в котором была напечатана моя рецензия. Разумеется, я не утаил от него при этом, что писать апелляцию в ЦК посоветовал мне сам Симонов. Но главной причиной благожелательного ко мне отношения инструктора Гоциридзе было, как мне казалось, твердое его убеждение, что я, хоть и отрицаю это, все-таки заступался за несправедливо обиженного и явно почитаемого, а может быть, даже и любимого им Вану Мурадели.

Наконец в один прекрасный день Гоциридзе объявил мне,

что в деле моем окончательно разобрался. И показал проект постановления, который собирался представить на секретариат.

Взяв за основу решение бюро горкома, он одним махом, широко, размашистым, уверенным движением руки вычеркнул из него весь перечень самых страшных моих грехов и преступлений: «неоднократные антисоветские высказывания», «наглую вражескую вылазку», «политическое хулиганство», «глумление над основополагающими партийными документами». От всей ужаснувшей меня горкомовской резолюции остался только один-единственный пункт: «За неправильное отношение к марксизму-ленинизму».

Совершив это великолепное действие, он всем корпусом повернулся ко мне и, вопросительно подняв брови, спросил:

– С такой формулировкой согласны?

Я начал что-то бормотать в том смысле, что неправильное отношение к марксизму-ленинизму было у ревизиониста Бернштейна, у Карла Каутского, у Бухарина, наконец. А какое неправильное отношение к марксизму может быть у меня, молодого студента? Разве у меня есть какая-нибудь отличающаяся от марксистской или искривляющая марксизм своя теория?

Выслушав эти сбивчивые мои объяснения, Гоциридзе – не без некоторого раздражения – сказал, неожиданно вдруг перейдя на «ты»:

– Слушай, дорогой! Ты зачет по марксизму завалил?

– Завалил, – подтвердил я.

– Это, по-твоему, правильное отношение к марксизму-ленинизму?

– Неправильное, – вынужден был признать я.

– Ну вот, – удовлетворенно вздохнул он. И закрыл папку с моим делом, давая тем самым понять, что дискуссия окончена.

Но прежде чем дело окончательно решилось, прошли еще две томительные недели. И вот наконец меня вызвали на секретариат.

Ждал я решения своей судьбы не один: рядом со мной перед дверью в кабинет секретаря ЦК ВЛКСМ Михайлова, где шло заседание секретариата, томилась девчонка, моя сверстница. По виду – не студентка, скорее работница. (Так оно и оказалось.)

– А ты чего? – спросил я у нее.

Вина ее перед комсомолом по сравнению с моей, как мне тогда подумалось, была пустяковой: она порвала комсомольский билет.

– Зачем? – спросил я.

Она вздохнула:

– Погорячилась.

Ее вызвали первой. Я едва успел шепнуть ей «ни пуха ни пера» и не столько услышал, сколько понял по шевелению ее побелевших губ, что она быстро ответила мне: «К черту!»

Судьба ее решилась почти мгновенно. Не прошло и минуты, как она выскочила оттуда, из-за той страшной двери, обливаясь слезами. На мой немой вопрос только махнула безнадежно рукой, и я понял: «Нет, не восстановили».

Тут все мои робкие надежды на благополучный исход моего дела окончательно испарились. Если уж даже ее, рабочую девчонку, которая по какому-то дурацкому поводу в сердцах порвала свой комсомольский билет, комсомол не счел возможным простить, так чего уж ждать мне с моим неправильным отношением к марксизму-ленинизму! Я проклинал себя, что не настоял на своем, не уговорил инструктора изменить эту жуткую, **политическую** формулировку.

Но вот дверь отворилась, и на пороге возник Гоциридзе. По лицу его я увидел, что он тоже волнуется. Значит, не уверен? А может, ему там уже накрутили хвост за слишком либеральное отношение к моему делу?

Меня стал бить колотун.

Но тут Гоциридзе поманил меня пальцем, и на ватных ногах я следом за ним переступил порог михайловского кабинета.

Все, что я увидел там, за этим порогом, плыло перед моими глазами как в тумане. Сквозь туман я только успел заметить – и это меня поразило, – что за длиннющим столом сидело множество народу: человек, наверно, тридцать, а может, и сорок. Я – по наивности – думал, что секретариат – это человек пять-шесть, не больше.

– А где представитель горкома? – услышал я раздраженный голос человека, сидящего на председательском месте (я догадался, что это и был Михайлов).

Услышав, что представитель горкома не явился, он громко выразил свое возмущение по этому поводу, и я понял, что с горкомом у него какая-то своя и, судя по всему, давняя пря.

– Ладно, – сказал он. – Будем решать без них!

Это было очко в мою пользу.

– Докладывайте! – повернулся он к Гоциридзе.

И тут мой Гоциридзе – высокий, крупный, вальяжный, уверенный в себе господин – вдруг стал маленький-маленький.

– Товарищ Сарнов, – услужливо и, как мне показалось, слегка даже испуганно доложил он, – исключен из комсомола за то, что, не сдав зачет по истории партии, выразил недовольство классиками марксизма-ленинизма, которые написали слишком много книг, а ему теперь приходится все это учить...

Эти слова были встречены взрывом веселого смеха. И у меня сразу отлегло от сердца. Я понял, что умница Гоциридзе нарочно повернул дело так, что в глазах всех этих людей я оказался не ревизионистом каким-нибудь и не политическим хулиганом, а просто-напросто дураком.

– Что же вы предлагаете? – спросил Михайлов. – Выговор?.. Ну что ж... Возражений нет?

Возражений не было.

Михайлов обратил свой взор на меня. Я понял, что должен что-то сказать. Совершенно обалдев от радости (еще бы! Выговор! Просто выговор! Даже не строгий! И без занесения в личное дело!), я, еле шевеля языком, произнес:

– Даю слово, что этот выговор я сниму!

Это прозвучало так, словно дело происходило во фронтовой обстановке и преступление свое я пообещал смыть кровью.

– Выговор с вас снимет ЦК, – усмехнулся Михайлов. – А ваше дело – хорошо учиться и не заваливать зачеты. Тем более по марксизму.

7

В институте добрейший Василий Семенович Сидорин восстановил меня раньше, еще до решения секретариата ЦК.

Вряд ли он сделал это на собственный страх и риск. Может

быть, свою роль тут сыграла «новомирская» моя статейка, а может, еще что-нибудь, о чем мне знать не полагалось. На всякий случай, правда, сперва (пока, как он доверительно мне шепнул) меня оформили заочником. Это значило, что пока меня не переведут из чистилища в рай, я не буду получать стипендию. Во всем же остальном это никакой роли не играло, и я чувствовал себя так, словно я уже в раю.

На лекции я ходил вместе со всеми, на семинары тоже. Но главное в нашем институте (так, во всяком случае, мне тогда казалось) происходило не на лекциях и даже не на семинарах.

Из всей моей литинститутской жизни ярче всего мне запомнились лестница и подоконник. На этом подоконнике, возле этого подоконника шла главная наша жизнь. Если я и научился чему-нибудь в Литинституте, так именно вот здесь, на этом подоконнике.

Конечно, и на лекциях я узнавал много важного и интересного. Да и могло ли быть иначе, если лекции, как я уже говорил, нам читали Бонди, Реформатский, Асмус... Но все, что я узнал от них, я мог бы узнать, если бы учился и в другом каком-нибудь институте. Скажем, на филфаке МГУ. А вот то, что происходило у подоконника...

Здесь читали стихи. Нет, даже не стихи: строки, строфы. Осколки, обрывки чьих-то стихов. Смысл (тем более контекст, из которого вырывались эти строки-осколки) был почти не важен. Важны были строки сами по себе. Их плотность (плотность). Строки пробовались на вкус: их повторяли, отчаянно воя, как это делают почти все поэты, воем стараясь заглушить не самые обязательные, не самые точные слова. Но как бы ни завывал очередной чтец, почему-то сразу было ясно, какие строки бездарны, а какие талантливы.

Я думаю, что именно эти сборища возле подоконника сделали так, что я до сих пор ощущаю себя и своих друзей-литераторов, окончивших университет, людьми разных профессий. Для литератора, получившего нормальное филологическое (а не литинститутское – на подоконнике) образование, поэтический текст существует как некое смысловое единство. Проще говоря – как нечто целое. А мы сразу начинали постигать «материю песни, ее вещество» на клеточном, молекуляр-

ном уровне. Некоторые «молекулы» запомнились мне с того времени на всю жизнь:

Нас хоронила артиллерия...

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...

Вы наденете платье цвета
Черного бутылочного стекла...

... И в кибитках, снегами
Настоящие женщины
Не поедут за нами...

От моря лжи до поля ржи
Дорога далека...

... А ваша муза площадная,
Тоской заемною мечта
Родить участие в сердцах,
Подобна нищей развращенной,
Молящей лепты незаконной
С чужим ребенком на руках...

И всю ночь она рыдала,
Божий промысел кляла,
Руки белые ломала,
Косы черные рвала...

Я знаю, каждый за женщину платит.
Ничего, если пока
Тебя, вместо шика парижских платьев,
Одену в дым табака...

Это были строки очень разных поэтов. Старых и новых, знаменитых и незнаменитых, великих и никому, кроме нас, неизвестных. Но здесь все они были равны: Пастернак, Маяковский, Катенин, Баратынский, Костя Левин, Коля Глазков... Строки классиков и корифеев точно так же пробовались «на зуб», как стихи наших товарищей. И восхищались ими тоже – как равными. Выходило как-то так, что им (классикам) долж-

но быть даже лестно, что их старые, полстолетия, а то и столетие назад сочиненные строки выдерживают сравнение с живыми, только что рожденными – с пылу, с жару – строчками наших товарищей.

Некоторые из никому, кроме нас, не известных строк, запомнившихся мне с тех времен, стали потом знаменитыми, вошли в однотомники и двухтомники. А иные так и остались навеки безымянными. Например, вот эти:

На дороге столбовой
Умирает рядовой.
Он, дурак, лежит, рыдает
И не хочет умирать,
Потому что умирает,
Не успев повоевать.
Он, дурак, не понимает,
Что в такие времена
Счастлив тот, кто умирает,
Не увидев ни хрена.

Или – вот эти:

Мой товарищ! В смертельной агонии
Не зови ты на помощь друзей.
Дай-ка лучше погрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.

И не плачь ты от страха, как маленький.
Ты не ранен. Ты только убит.
Дай я лучше сниму с тебя валенки:
Мне еще воевать предстоит.

Солдат, греющий руки над теплой, дымящейся кровью убитого товарища... Какой неестественный, эстетский, пожалуй, даже кощунственный образ! Но мы были молоды, нам нравилось все резкое, необычное, ошеломляющее своей неожиданностью. А главное – в этих стихах была правда. Та жестокая, страшная правда о войне, которую мои товарищи, пришедшие в институт из армии, сами хлебнули вдоволь в своей фронтовой жизни и следов которой в печатавшихся тогда и офици-

ально расхваливавшихся стихотворных строчках было не отыскать.

Говорили, что стихотворение это кто-то из фронтовиков нашел в планшете убитого лейтенанта. Ни имени, ни фамилии лейтенанта никто не знал – и теперь, мы были в этом уверены, уже никогда не узнает.

Прошло полвека – всего-то! – и мы (лучше сказать – некоторые из нас: те, кто дожил) все-таки узнали и имя его, и фамилию.

Передо мной – тоненькая книжечка. На белой, слегка пожелтевшей обложке крупными красными буквами выведено: «Стихи из планшета гвардии лейтенанта Иона Дегена».

Автором поразивших нас стихов и в самом деле был, значит, лейтенант. И был, как и рассказывали, кожаный офицерский планшет, в котором он хранил свои стихотворные записи. И вот сейчас, спустя полвека (в 1991-м) они вышли в свет крохотной отдельной книжечкой. Не у нас, правда, а в Израиле, куда на склоне лет занесло уцелевшего гвардии лейтенанта.

А в то время, когда мы читали друг другу его фронтовые стихи, с ним, оказывается, случилось примерно то же, что с нашим литинститутским товарищем Костей Левиным. Летом 45-го он прочел несколько своих стихотворений на каком-то вечере молодых поэтов-фронтовиков в ЦДЛ. И ему устроили там жестокий разнос. Обвинили (как у нас Костю) во всех смертных грехах: в клевете на Красную Армию, в призыве к мародерству, в оправдании трусости. И, точь-в-точь как у нашего Кости, надолго, можно даже сказать – навсегда отбили охоту к сочинению стихов.

Читали мы там, у подоконника, стихи арестованного Манделя. И никому не приходило в голову, что это может быть опасно. (Впрочем, даже на каком-то общеинститутском собрании один из наших студентов-старшекурсников во всеулышание, с трибуны объявил, что арест Манделя он считает ошибкой, потому что арестовали этого великого путаника как раз в то время, когда он стал поворачиваться лицом к советской власти.)

Со смехом, но и с искренним восхищением читали ставшие потом знаменитыми, но тогда мало кому известные четверостишия Коли Глазкова:

Все говорят, что окна ТАСС
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия.

С восторгом повторяли другое Колино четверостишие, сочиненное им в первый день войны:

Господи! Вступи за Советы!
Охрани страну от высших рас.
Потому что все твои заветы
Гитлер нарушает чаще нас.

И вот это:

Я на мирзираю из-под столика:
Век двадцатый, век необычайный!
Чем столетье интересней для историка,
Тем оно для современника печальней.

Иногда там, у подоконника, возникал и сам Коля. Объяснял, откуда взялась первая вроде бы никчемная строка этого четверостишия. По пьянке поспорил он как-то с приятелем – сейчас уж не помню, о чем. По условиям спора проигравший должен был залезть под столик и, сидя там, выдать какой-нибудь новый – обязательно новый, только что родившийся, – поэтический текст. Коля проиграл и вот выполнил условия этого, как оказалось, весьма плодотворного спора.

Появляясь у нас, Коля всякий раз приносил с собой очередную самодельную книжечку, на картонной обложке которой – внизу, где полагалось обозначать, какое издательство выпустило книгу, – было выведено: «Самсебяиздат». Или еще короче – «Самиздат». (Вот кто изобрел это, ставшее потом знаменитым, слово.) А на задней стороне обложки этих его самодельных книжечек неизменно значилось: «Тираж – 1 экз.»

Похваставшись очередной своей самиздатовской книжкой,

Коля предлагал всем, кто отважится, померяться с ним силой. Но стального его рукопожатия не мог перебороть ни один из наших институтских силачей. Даже Поженян, который частенько тут же, у этого подоконника, давал желающим уроки бокса («хук справа», «хук слева»).

Поженян, кстати, кроме этих уроков бокса нередко демонстрировал новичкам – после не слишком долгих просьб и упрасиваний – свой коронный номер.

Он читал стихотворение Блока (читал, кстати сказать, замечательно):

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь – начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Прочитав, становился на руки и, стоя в такой необычной позе, читал то же стихотворение, но уже в обратном порядке – от последней строки к первой:

Аптека, улица, фонарь.
Ночь, ледяная рябь канала...
И повторится все, как встарь:
Умрешь – начнешь опять сначала.

Все будет так. Исхода нет.
Живи еще хоть четверть века...
Бессмысленный и тусклый свет.
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.

Самым поразительным в этом эксперименте было то, что волшебное стихотворение Блока в перевернутом виде оставалось таким же чарующим. И – мало того! – не только весь эмоциональный настрой, но даже и смысл его при этом ничуть не менялся.

Скажу даже больше: этот лихой Поженянов номер, пожалуй, даже усиливал трагизм блоковского стихотворения, так сказать, структурно обнажая и подтверждая главную его мысль: вертись хоть так, хоть этак, хоть становись с ног на голову – все равно. Жизнь – замкнутый круг. «Все будет так. Исхода нет».

Здесь же, у подоконника, певали мы любимые наши институтские песни. Главную из них, наш институтский гимн, сочинил Владик Бахнов:

Есть в городе бульвар небезызвестный,
А на бульваре памятников два.
Быть по соседству с ними очень лестно.
Но наш Лицей имеет все права!

Пусть Тимирязев повернулся задом
И Пушкин прикрывает шляпой зад, –
Сыны Лицея будут только рады,
Что классики за ними не следят.

Знакомые дорожки и тропинки
И коридоров тесненький уют.
Здесь гении в изодранных ботинках
Высокое искусство создают.

До «Прогулок с Пушкиным» Андрея Синявского, вызвавших при своем появлении дружный вопль негодования – и у нас, и в эмиграции (там одна из рецензий на эту книгу называлась простенько, но мило: «Прогулки хама с Пушкиным»), – было еще ох как далеко! Но панибратское, фамильярное, амигошонское отношение к классику было свойственно нам уже тогда. И выражалось оно не только в озорной строчке из этого нашего институтского гимна («И Пушкин прикрывает шляпой зад»), но и во многих других любимых наших песнях. Например, вот в этой, гораздо более известной, автором которой был другой мой институтский товарищ – Женя Агранович:

В тумане тают белые огни...
Сегодня мы уходим в море прямо.

Поговорим за берега твои,
Родимая моя Одесса-мама.

Мы все хватаем звездочки с небес.
Наш город гениальностью известен:
Утесов Лёня – парень фон Одесс,
А Инбер тоже бабелъ из Одессы...

Был Одиссей, бесспорно, одессит,
За это вам не может быть сомненья,
А Сашка Пушкин тем и знаменит,
Что здесь он вспомнил чудного мгновенья...

Для непосвященных строчка про Веру Инбер, которая «тоже бабелъ из Одессы», звучала вполне невинно. Но для нас – то время, когда книги сгинувшего в сталинских лагерях Бабеля были изъяты из всех библиотек и даже самое имя его было неупоминаемым, запретным, – эта с виду такая невинная строчка была исполнена особого, тайного смысла. И строка про «Сашку Пушкина» приводила нас в восторг не только своим веселым озорством. Она тоже несла в себе некий особый, тайный смысл. Ведь еще в 37-м про Пушкина кем-то метко было сказано, что он стал членом Политбюро. А это значило, что так вот, запросто трепать его имя даже опаснее, чем поминать всуе имя Господа Бога. Пожалуй, не менее опасно, чем имя земного нашего бога – Сталина.

Женя Агранович не только сочинял стихи, но и сам подбирал к ним мелодии. О нем можно сказать, что он был первым нашим бардом. (А ведь еще целую эпоху – и какую! – предстояло прожить до появления первых песен Булата, Галича, Высоцкого). Не могу утверждать, что мелодия песни про Одессу была им сочинена. Скорее – вот именно подобрана. Но прелесть этой, как и многих других его песен, состояла в том, что текст ее рождался одновременно с мелодией. Мелодия была не одеждой, не платьем, а плотью песни. Текст и мелодия были, как сказано в Евангелии про мужа и жену, – едина плоть. И этому ничуть не мешало то обстоятельство, что иногда Женя подбирал (тут, пожалуй, даже уместнее сказать – сочинял) мелодии и на чужие тексты.

Самой знаменитой – без преувеличения можно сказать, знаменитой на всю страну – была в те годы песня «Пыль», написанная им в соавторстве с Редьярдом Киплингом. Точнее – с переводчицей британского поэта А. Оношкович-Яцыной, которая создала совершенно изумительный русский текст этого киплинговского стихотворения:

День-ночь-день-ночь – мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь – все по той же Африке –
(Пыль-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!..

Я-шел-сквозь-ад – шесть недель, и я клянусь,
Там-нет-ни-тьмы – ни жаровен, ни чертей,
А только пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог,
И отпуска нет на войне!

Эту свою песню Женька сочинил в сорок первом. В первые дни войны был сформирован в Москве из студентов и других добровольцев 22-й истребительный батальон. В числе этих добровольцев были и наши – литинститутцы: Миша Львовский, Сергей Наровчатов, Сергей Смирнов (будущий автор «Брестской крепости»). Был среди них и он – Женька Агранович. В своей роте он был запевалой. Но что петь? «Если завтра война»? – так война была уже сегодня, и сразу стало ясно, что будет она совсем не такая, как предсказывалось в той бодряцкой песне. Так же мало годились в той обстановке и другие предвоенные советские песни про то, как, «гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход» и «первый маршал в бой нас поведет».

На марше всплыли у Жени в голове любимые строчки Киплинга, и он сам не заметил, как из топота сапог и хриплого дыхания товарищей стала складываться, рождаться мелодия. Сперва робко, неуверенно попробовал запеть. Товарищи по роте – свои, литинститутские мальчишки – слова Киплинга знали не хуже, чем он. Тут же подхватили. А через день новую песню на марше пел уже весь батальон. И даже комиссар пел вместе со всеми стихи «барда британского империализма».

Что-то он, правда, почувствовал своим партийным, классовым чутьем. Спустя несколько дней сказал Жене:

– Песня хорошая. Только вот слова какие-то не наши. Ты б заменил, а?

Заменить все киплингские слова было не в Жениной власти: песня ему уже не принадлежала. Но постепенно к каноническим, киплинговским куплетам он стал добавлять новые, свои:

Семь-дней при-каз: шире шаг и с марша в бой!
Но драз-нит нас близкий дым передовой.
Пыль-пыль-пыль-пыль от шагающих сапог.
Отдыха нет на войне.

Го-да прой-дут, – вспомнит тот, кто уцелел.
Не смерт-ный труд, не бомбежку, не обстрел,
А только пыль-пыль-пыль от шагающих сапог.
Отдыха нет на войне.

В этих новых Жениных куплетах не было и тени крамолы (да, собственно, и в киплинговских тоже – разве только одиозное имя их автора). Сочиняя свою песню, он и думать не думал о том, чтобы встать «поклонениям и толпам поперек», противопоставив ее строй и лад строю и ладу тех бодрых, зажигательных маршей, которые неслись тогда из всех репродукторов: «Легко на сердце от песни веселой...», «Нам песня строить и жить помогает...», «Только в нашей стране дети брови не хмурят, только в нашей стране песни радуют слух...», «Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет!...»

Энергия этого повсеместно звучащего «марша энтузиастов» полностью исчерпала себя в более поздние времена. (Тогда-то покорили в одночасье всю страну песни Булата, Галича, Высоцкого.) Но и в те времена, о которых я рассказываю, энергия эта уже стала постепенно иссякать. И само собой вышло так, что марш Киплинга в аранжировке Жени Аграновича – быть может, даже независимо от намерений и воли автора – стал противовесом этому уже порядком обрыдшему всем нам «маршу энтузиастов».

Годы спустя, уже в новую, другую эпоху, у другого литингистского поэта, Миши Львовского, – как я уже сказал, он тоже

в первые дни войны был в том 22-м истребительном батальоне, – родилось такое коротенькое стихотворение:

Самогон – фольклор спиртного.
Запрети, издай указ,
Но восторжествует снова
Самодеятельность масс.
Тянет к влаге – мутной, ржавой,
От казенного вина,
Словно к песне Окуджавы,
Хоть и горькая она.
Нефильтрованные чувства
Часто с привкусом, но злы.
Самогонщик, литр искусства
Отпусти из-под полы!

Так вот, хотел того Женя Агранович или не хотел, но его «киплинговский марш» был именно вот таким «самогоном», к которому всех нас инстинктивно тянуло тогда «от казенного вина».

Таким «самогоном» были все тогдашние наши институтские шлягеры. Даже самые невинные. Терпкий аромат этого «самогона» был сладок нам уже только тем, что в нем начисто отсутствовал тот «особый запах тюремных библиотек, который исходил от советской словесности» (выражение В. Набокова).

Недаром почти все самодельные наши институтские песни были пронизаны духом пародии. И, конечно, не только потому, что главным их автором был будущий знаменитый наш пародист Владлен Бахнов. (Иногда он сочинял их в соавторстве с кем-нибудь, чаще в одиночку.)

В одной из своих песен-эпиграмм Владик ненароком прикоснулся к теме, которой в недалеком будущем предстояло обрести весьма далекий от юмора смысл. Но тогда она еще звучала юмористически и вполне безмятежно:

Агранович нынче – Травин,
И обычай наш таков:
Если Мандель стал Коржавин,
Значит, Мельман – Мельников!

Тут, пожалуй, не до смеха:
Не узнает сына мать!
И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать!

Беспечный автор этих строк, как видно, не предчувствовал, что скоро тут будет совсем не до смеха: ведь сочиняя их, он, как и мой покровитель Борис Владимирович Яковлев, еще не знал, что вот-вот разразится землетрясение.

Но даже в тех снях и стихах, в которых, казалось бы, и самый строгий цензор не мог бы унюхать никакой крамолы, все равно было что-то «самогонное», рожденное инстинктивным отталкиванием от тошнотворного «казенного вина».

Ну какими своими приметам могла противостоять «запаху тюремных библиотек» такая, например, не шибко осмысленная песня – тоже принадлежавшая к числу самых наших любимых (она досталась нам в наследство от литинститутцев старшего поколения):

Я влюблен в шофершу Нинку робко,
Вам в подарок от меня коробка.

Подаю, как кавалер, манто вам
И стихи поэта Лермантова.

По заборам я, голуба, лазаю,
Чтоб увидеть вас, голубоглазую.

А душа поет, как флажолета,
Выпирая из угла жилета.

Были там еще какие-то строчки, которых я уже не помню. Помню только, что заканчивался этот иронический романс так:

Уроню аккорды с пианина,
Сядь со мной на «форд» и спи, о Нина!

Или вот такая – казалось бы, совсем уж лишенная всякого смысла – считалочка, составленная из самых причудливых фамилий наших студентов:

Пузис, Музис, Магазаник,
Жегис, Лацис, Посаманик,
Полытковская, Бамдас,
Асмус, Лapidус, Уран.

Десять лет спустя считалочку эту с восторгом повторял мой маленький сын. А появлявшегося у нас время от времени Борю Пузиса, вместе с которым мы ностальгически вспоминали и повторяли эти отголоски нашего институтского фольклора, он неизменно встречал восторженным визгом: «Пузик-Музик Закамазик!..»

Такой бешеный успех этой очевидной «зауми» у двухлетнего малыша можно объяснить легко, обратившись к теоретическим рассуждениям К.И. Чуковского в его знаменитой книге «От двух до пяти». Но какими своими свойствами эта заумь пленила меня?

Для сочинивших ее старшекурсников прелесть ее заключалась в наборе фамилий, за которыми стояли хорошо известные им фигуры: товарищи, друзья, собутыльники. Для меня же те фамилии были пустым звуком: никого из перечисленных в считалочке лиц я не знал. Но, повторяя этот бессмысленный набор фамилий, я – как и те, от кого я ее услышал, – радостно ржал, не делая при этом вид, что восхищаюсь, а на самом деле испытывая неизъяснимое наслаждение. Повторяя ее, или «Шофершу Нинку», или строчку Жени Аграновича про Веру Инбер, которая «тоже бабель из Одессы», я просто млеял от восторга.

Природа моего восторга во всех этих – казалось бы, столь разных – случаях, я думаю, была одна.

Исходящий от всей тогдашней печатной продукции «запах тюремных библиотек» был неистребим. Им были отравлены даже талантливые и честные книги, чудом прорывавшиеся сквозь все мыслимые и немыслимые цензурные и редакторские заслоны.

Их было не так уж мало, этих честных и талантливых книг. Но, проникая в печать, они словно бы вываривались в общем котле советской пропаганды и тоже приобретали этот неуловимый запах, отличавший их от подлинно свободных сочине-

ний, как отличается белье, полученное из прачечной, от выстиранного в речной воде и высушенного солнцем и ветром на вольном воздухе.

Вот поэтому-то неподцензурный куплет какой-нибудь шуточной песенки, озорная строка, непочтительностью своей по отношению к каким-нибудь официально узаконенным государственным святыням граничившая с хулиганством («А Сашка Пушкин тем и знаменит, что тут он вспомнил чудного мгновенья...») воспринимались как глоток свежего воздуха. Это, в сущности, и был тот ворованный воздух, о котором говорил Мандельштам.

Нечто подобное, вероятно, имел в виду и Михаил Михайлович Зощенко, когда, прочитав какой-нибудь унылый советский роман, говорил:

– Ну, это диктант...

Весь этот наш институтский фольклор был хорош уже только тем, что это был не диктант. Каким бы пустяком ни был какой-нибудь очередной стишок, звучавший на очередном нашем институтском капустнике, какими бы относительными и даже сомнительными ни были его художественные достоинства, он всегда оставался вольным сочинением на вольную тему.

Этот дух свободы, который царил в нашем Доме Герцена, был едва ли не главной причиной обрушившихся на меня неприятностей. Я наивно доверился этой атмосфере вольности, поддался ей и начисто утратил бдительность – тот необходимый минимум осторожности, без которого – в глубине души я всегда знал это – в нашей стране жить нельзя.

С самого раннего детства я знал (никто меня этому не учил, но это было у меня в подкорке), что далеко не все, о чем говорят дома, можно повторять в детском саду, в школе, в пионерском лагере. Но ветер свободы, который гулял по нашим институтским коридорам и аудиториям, выдул из моей башки последние крохи этого знания, и, опьяненный этим вольным ветром, я, как Икар, отдался его течению и – разбился.

И вот теперь, вернувшись, я с новым, не испытываемым прежде наслаждением окунулся в эту атмосферу вольности и свободы. К этому наслаждению добавлялось, делало его еще более острым ощущение себя человеком, только что вытащен-

ным из ледяной воды, в которой он чуть не утонул, и вот – вновь сидящим в теплой, светлой, уютной кают-компании.

Наученный своим горьким опытом, я время от времени вспоминал, что надо держать язык за зубами. Судорожно оглядывался вокруг, стараясь угадать, кто из моих соседей по этой уютной кают-компании при случае вновь столкнет меня за борт. Но эти постыдные мысли тут же вытеснялись, заслонялись ни на минуту не покидавшим меня острым, каким-то, я бы сказал, физиологическим ощущением счастья.

Увы, это мое счастье длилось недолго.

Полгода спустя после моего возвращения в институт разразилась антикосмополитическая кампания.

8

Про суды Линча я только читал в книжках. И никогда не думал, что мне доведется самому побывать на таком суде. Однако – пришлось.

В то время, о котором я рассказываю, помимо поэтических семинаров Сельвинского и Луговского и семинаров прозаиков, которыми руководили Федин и Паустовский, образовался у нас уже и семинар критиков. Вел его Федор Маркович Левин.

Человек он был опытный, знающий, о многом мог нам рассказать, и наверняка всем нам было чему у него поучиться. Но мы роптали. Нам на его семинарах было смертельно скучно. Мы завидовали прозаикам и поэтам: у них там происходили какие-то баталии, ломались копья, от незадачливых дебютантов летели пух и перья. У нас же все было тихо, мирно и – скучно. О чем мы, не смущаясь, прямо говорили добрейшему Федору Марковичу. И он – соглашался. Но поделаться ничего не мог, поскольку, как сказал бессмертный Шота Руставели, из кувшина вылить можно только то, что было в нем.

И вот однажды, придя на очередной семинар, Федор Маркович сказал:

– Я все думаю, как бы нам с вами оживить наши занятия. А тут – на ловца и зверь бежит. Сегодня по дороге в институт встретил – кого бы вы думали? – Иосифа Ильича Юзов-

ского. Слово за слово – разговорились. И он сказал, что только что закончил одну весьма злую и острую статью. А я возьми да и скажи: не согласились бы вы прийти к нам на семинар и прочесть ее моим башибузукам? И он, представьте, согласился...

Мы, конечно, обрадовались: какое-никакое, а развлечение. А я, признаться, даже с нетерпением стал ждать следующего семинара: как-то в букинистическом я купил книгу старых (еще 30-х годов) театральные фельетоны Юзовского и с наслаждением прочел ее, от души завидуя остроте и легкости его пера.

Но на следующий семинар Юзовский к нам прийти почему-то не смог. А потом...

Потом разразилась катастрофа.

В «Правде» появилась та самая знаменитая статья – «Об одной антипатриотической группе театральные критиков». «Группа» состояла из семи человек. Были названы имена: Ю. Юзовский, Г. Бояджиев, А. Борщаговский, Л. Малюгин, Е. Холодов, А. Гурвич, Я. Варшавский. Открывала этот список главных злодеев фамилия Юзовского. И на все время кампании он так и остался космополитом номер один.

Имя Юзовского в те дни стало как бы даже нарицательным: чуть ли не каждая статья, посвященная критикам-антипатриотам, начиналась неизменной фразой: «Эти презренные юзовские и гурвичи». Ни Малюгин, ни Бояджиев, ни Холодов, ни Борщаговский такой чести не удостоились. Оно и понятно. «Эти презренные малюгины и бояджиевы» – звучало бы не так эффектно, как «юзовские и гурвичи». Впрочем, не исключаю, что тут могла быть и другая причина: возможно, Юзовский и Гурвич особенно сильно насолили Софронову, Сурову и всем тем, кто раздул эту кампанию до масштабов вселенского антисоветского заговора.

Список «безродных космополитов», открытый статьей «Правды», между тем все разрастался, что ни день пополнялся новыми именами. И вот уже в какой-то газете мелькнуло в этом списке имя нашего Федора Марковича Левина.

И вот он стоит – бледный, растерянный – перед толпой

жаждущих его крови преподавателей и студентов. И каждый спешит крикнуть из зала свое «Распни его!», лично, собственными руками подтолкнуть несчастную жертву еще на шаг ближе к разверзшейся перед ней пропасти.

– Этот затаившийся до поры до времени враг, этот волк в овечьей шкуре, – упиваясь своим красноречием, гремит с трибуны один из самых тихих и незаметных наших «семинаристов», – решил наконец сбросить маску! Наглость его дошла до того, что он посмел пригласить к нам на семинар безродного космополита Юзовского! Чтобы мы, видите ли, поучились у него мастерству критика...

– Позор! – ревет зал.

Федор Маркович порывается что-то сказать. Ему не дают. Из зала несутся злобные выкрики:

– Не надо!.. Чего там!.. Все ясно!

Но председательствующий, играя в демократию, все-таки предоставляет ему слово.

– Позвольте... Я сейчас вам все объясню, – начинает он. – Студенты, участники моего семинара, жаловались, что наши занятия проходят скучно, неинтересно... Я думал: как бы нам их оживить. И вот недавно, по дороге в институт, я случайно встретил Юзовского...

– Ха-ха!.. Случайно! – злорадно хохочет зал.

– Клянусь вам, совершенно случайно, – прижимает руку к сердцу Федор Маркович.

И даже я, точно знающий, что бедный старик говорит чистую правду, с ужасом чувствую, что это его искреннее объяснение звучит сейчас жалко и совсем не убедительно.

А из зала несется:

– Гы-гы!.. Го-го-го!..

В голове у меня почему-то вертится: «С Божией стихией царям не совладать...» Каким царям? При чем тут царь? Ну да... Стихия... Не Божья, конечно, но – стихия...

Да, это была стихия. Страшная, неуправляемая стихия темных чувств и измененных побуждений, вдруг выплеснувшихся из глубин подсознания, с самого дна уязвленных, изувеченных человеческих душ...

Так я думал тогда. А на следующий день другой эпизод той же эпопеи ясно показал мне, что разбушевавшаяся стихия эта была не такой уж неуправляемой.

Исключали из комсомола моего друга Гришу Поженяна. Он тоже попал в космополиты. В паспорте у него значилось – «еврей». Он уверял, что евреем записался из чистого благородства, хотя и не скрывал, что мама его – еврейка. Но отец – чистопородный армянин.

– А у вас в институте считалось, что Поженян наполовину еврей, наполовину армянин? – спросил меня однажды (много лет спустя) Борис Слуцкий.

– Да, – сказал я. – А у вас в Харькове?

– У нас в Харькове, – без тени улыбки ответил он, – считалось, что он наполовину еврей, наполовину еврей.

Как бы то ни было, фамилия у Гриши была армянская, и это был не псевдоним, а настоящая, подлинная его фамилия, так что раскрыть скобки, написав про него «Поженян», а в скобках – «Хольцман» или «Каплан», было невозможно.

Тем не менее его причислили к космополитам.

В какой-то газете (кажется, в «Комсомольской правде»), в большой статье о космополитах, окопавшихся в Литературном институте, промелькнула фраза: «Вождь эстетствующих юнцов и космополитенок Поженян».

Этого было более чем достаточно.

Но в «послужном списке» Поженяна, с которым наши институтские партийные и комсомольские вожди вытащили его на голгофу, была одна слабина. Перечень его грехов был велик. Но все это были грехи не идеологические.

Поспорив с кем-то в уборной ЦДЛ, так врезал своему оппоненту, что тот надолго ушел в нокдаун.

Нагрубил директору института – Федору Васильевичу Гладкову. Тот в ярости крикнул: «Вон! Чтобы ноги вашей не было в моем кабинете!» Гриша исполнил это приказание буквально: встал на руки и вышел из директорского кабинета на руках.

Все это было, конечно, возмутительно. Но объявить его на этом основании космополитом наши заправила все-таки не решались. Для полноты картины позарез необходим был какой-то идеологический грех. И такой грех нашелся. Припом-

нили и в конце длинного списка прегрешений записали: «За беспринципное поведение в деле Сарнова».

Когда этот – последний – пункт в длинном перечне поженяновых грехов был оглашен, я забился в самый дальний угол. Но спрятаться мне не удалось. Один из присяжных ораторов, вылезших на трибуну, сразу усек нелогичность происходящего: Поженяна исключают за беспринципное поведение в деле Сарнова, а сам Сарнов сидит тут, в этом же зале, в качестве зрителя...

– Мы не молчали! – гремел он. – Это неправда, что мы, как тут кто-то сказал, занимали примиренческую позицию... Мы вели непримиримую идейную борьбу... Взять хоть того же Сарнова, с которым мы боролись в прошлом году!.. А сейчас этот самый Сарнов как ни в чем не бывало ходит по нашим институтским коридорам с высоко поднятой головой!..

– По-зор! – взревел зал.

Противная тошнота подступила у меня к горлу.

Целый год я висел в воздухе. И вот, только-только все более или менее обошлось... Сейчас все начнется снова, по второму кругу. И теперь-то мне уж точно не уцелеть...

– Верно!.. Правильно!.. Мы боролись, а он... Как ни в чем не бывало!.. Где он там?!.. Давай его сюда!.. Пусть объяснит собранию, как сумел снова пролезть в наши ряды! – неслось из зала.

И тут, где-то там, в первых рядах, поднялся человек и медленно пошел к трибуне. Я сразу узнал его. Это был секретарь райкома комсомола – тот самый, который в прошлом году, когда меня исключали, объяснял ребятам, что если они меня не исключат, нашу комсомольскую организацию разгонят.

Выйдя на трибуну, он сказал:

– Должен проинформировать вас, что Центральный Комитет ВЛКСМ только что восстановил товарища Сарнова в рядах ВЛКСМ.

И – все! Как отрезало!

Мгновенно забыв о моем существовании, собрание снова обратило весь свой гнев на Поженяна, продолжая сладострастно перебирать все его многочисленные преступления, самым страшным из которых так и продолжало значиться «беспринципное поведение в деле Сарнова».

Я БЫЛ ЕВРЕЕМ

Мы потихонечку стареем.
Мы приближаемся к золе.
Что вам сказать? Я был евреем
В такое время на земле.

Константин Левин

Вспоминая про моего институтского товарища Костю Левина, про то, как он прочел свое стихотворение «Нас хоронила артиллерия» и что из этого вышло, я подумал тогда, что можно было бы написать об этом отдельно – какой-нибудь такой короткий рассказ. Я даже этот ненаписанный рассказ мысленно озаглавил: «Как убили поэта». Название, конечно, было приблизительное – то, что называется рабочее. Если бы я такой рассказ написал, наверно, назвал бы его как-нибудь иначе – не так «в лоб». Но смысл того, что я хотел рассказать, это лобовое название выражало довольно точно.

На самом же деле оно было бы не только «маловысокохудожественным», как выражаются в таких случаях герои Зощенко, но и просто неверным.

От сокрушительного удара, который был ему тогда нанесен, Костя и в самом деле не оправился. Жизнь ему они сломали. Но убить в нем поэта все-таки не смогли. Об этом свидетельствует хотя бы навсегда врубившееся мне в память его четверостишие, взятое эпиграфом к этой главе.

Никакими другими словами невозможно передать все, что стоит за внутренним жестом, из которого родился этот риторический по существу и такой неповторимо еврейский по интонации вопрос: «Что вам сказать?»

И в самом деле: что тут можно сказать? Ничего тут не скажешь!

Я тоже был евреем, и в то самое время. Но я – как ни стыдно в этом признаваться – совсем не чувствовал (во всяком случае, тогда) всего того, что сумел вложить Костя в эти свои четыре короткие строчки. Не говоря уже о последующих.

Сам я этих последующих даже и не запомнил.

Запомнил их ближайший Костин друг, мой старый литиститутский товарищ Володя Корнилов:

Когда, стянувши боль в затылке
Кровавой тряпкой, в маете,
С противотанковой бутылкой
Я полз под танк на животе,

Не месть, не честь на поле брани,
Не слава и не кровь друзей,
Другое смертное желанье
Прошло мне тело до костей.

Была та жажда вековая
Кого-то переубедить,
Пусть в чистом поле умирая,
Под гусеницами сгорая,
Но правоту свою купить.

Я был не лучше, не храбрее
Моих орлов, моих солдат,
Остатка нашей батареи,
Бомбленной шесть часов подряд.

Я был не лучше, не добрее,
Но, клевете в противовес,
Я полз под этот танк евреем
С горючей жидкостью «КС».

Ничего похожего на это чувство я никогда не испытывал. И совсем не потому, что по возрасту мне не пришлось быть на войне: клеветы, в противовес которой хотелось бы сделать что-нибудь героическое, хватало и в послевоенное время. Но

у меня никогда не возникала потребность что-то кому-то доказывать, совершить что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы кого-то, как говорит Костя в этом своем стихотворении, переубедить.

Скорее даже наоборот. Мысль, что я должен стараться быть лучше других, потому что я еврей, приводила меня в ярость. Нет уж, хуюшки. Я не лучше и не хуже вас. И никому ничего не хочу доказывать.

Но это – частность.

Сказав, что я долгое время совсем не чувствовал того, что Костя вложил в эти две строки («Что вам сказать? Я был евреем в такое время на земле»), я имел в виду нечто более серьезное, так сказать, сущностное.

1

Я уже рассказывал, как секретарь горкома в Серове, вызывавший меня для воспитательной беседы, заговорил со мной о трагедии еврейского народа. Рассказывал и о том, что эта его попытка воззвать к моим национальным чувствам никак меня не задела, а запомнилась мне только потому, что сильно меня удивила: уж больно далека она была от всего, что волновало меня в ту минуту. Я лишь покивал в ответ: да, знаю, мол, конечно, знаю. Как на уроке или на экзамене – не потому, что знал, а потому, что по правилам игры мне полагалось это знать.

Но тогда мне было пятнадцать лет. И я весь, целиком – совсем как Том Сойер – был занят войной и любовью. Впрочем, нет: в отличие от Тома, вся душа моя была занята тогда только любовью. Занята настолько, что даже для войны в ней оставалось совсем немного места.

В другой раз о трагедии еврейского народа мне напомнила Маргарита Алигер. В 1945 году она опубликовала поэму – «Твоя победа». И были там у нее, в этой поэме, строки, которые, как видно, произвели на меня тогда довольно сильное впечатление. Недаром же я запомнил их с той поры на всю жизнь:

Разжигая печь и руки грея,
Наново устраиваясь жить,

Мать моя сказала:

– Мы – евреи.

Как ты смела это позабыть?

Вспомнил я их сейчас совсем не потому, что в них выразилось тогдашнее мое отношение к этой теме. Скорее наоборот. Да и впечатление, которое они на меня произвели и так надолго (больше чем на полвека) врезались в мою память, связано не с поэтической их мощью, а с тем, что поэма эта наделала тогда довольно большой шум, вызвала много разговоров и откликов, один из которых приписывали даже самому Эренбургу.

Гневный возглас, обращенный матерью лирической героини к дочке, которая «смела позабыть» о своей принадлежности к еврейской нации, задел тогда многих. Как видно, не одна она посмела об этом позабыть, а теперь вот вспомнила.

От меня все это было довольно далеко, хотя бы потому, что моим родителям – ни отцу, ни маме – никогда и в голову бы не пришло обратиться ко мне с таким упреком. Они и сами – так, во всяком случае, мне тогда казалось – не больно часто вспоминали о своем еврействе.

Героиня поэмы Маргариты Алигер в ответ на этот суровый материнский вопрос раздражалась бурным монологом:

Да, я смела! Понимаешь, смела!

Было лучезарно все вокруг...

Дальше не помню. Но помнить и необязательно. Смысл ее ответа не вызывал ни малейших сомнений: она напрочь забыла о своей принадлежности к гонимому народу именно потому, что все «в нашей юной прекрасной стране» было так лучезарно, что никому никогда даже и в голову не пришло бы вспомнить ей о ее еврействе.

Я был существенно моложе автора этой поэмы (на целых двенадцать лет). Но даже я в свои тогдашние восемнадцать точно знал, что не так уж лучезарно «было все вокруг». И поэтому от тех ее строк – уже тогда – повеяло на меня какой-то фальшью. Этаким фальшивым советским оптимизмом.

«Страна Гайдара», в которой прошли мои детские годы, к

тому времени если еще и не пошла ко дну, как Швамброния, то уж, во всяком случае, дала серьезную течь.

Тем не менее в неискренности автора «Твоей победы» я тогда не подозревал. Ну, забыла она, что «мы евреи». Совсем забыла. И никто ни разу ей об этом не напомнил. И вот теперь, когда напомнили, она в растерянности восклицает:

Чем мы перед миром виноваты,
Эренбург, Багрицкий и Светлов!

Как я уже сказал, эта поэма – точнее, именно вот эта ее глава – вызвала тогда бурную реакцию. Появились разные отклики, самым популярным из которых был стихотворный «Ответ Маргарите Алигер», написанный от имени Эренбурга.

В том году, когда эта алигеровская поэма была опубликована, до запрета на еврейскую тему в печатных советских изданиях оставалось еще несколько лет. Но свобода слова в Советском Союзе и тогда была не настолько велика, чтобы этот «Ответ» мог появиться в печати. Это был – «Самиздат».

Слова этого мы тогда еще не знали, но явление, как видим, уже существовало.

Стихотворный «Ответ Эренбурга» Маргарите Алигер распространился со скоростью лесного пожара, и тираж этого модельного «издания», я думаю, не уступал тиражу самой поэмы.

Поэтесса, как видно, этим свои отрывком попала в нерв, в болевую точку. Зацепила какие-то важные струны в сердцах еврейской части своих читателей.

«Ответ Эренбурга» был довольно многословен. Написан он был из рук вон плохо: бросалось в глаза, что стихом самодеятельный автор владеет довольно слабо. Да и по смыслу он был весьма далек от того, что мог бы сказать на эту тему – если бы у него вдруг возникло такое желание – сам Эренбург.

Из всего этого длинного «Ответа» в памяти моей удержалось лишь несколько строк. Но к ним, в сущности, и сводилось все его, как пишут в школьных учебниках, идейное содержание.

Нет, это, наверное, все-таки не так. Главным в том «Ответе», как я теперь понимаю, была реакция на поднимающуюся волну бытового, «народного» антисемитизма. На глумливые

насмешки над евреями, которые «в тылу сражались за Ташкент». На злобные выкрики: «Мало вас били!», «Жаль, что Гитлер не успел вас всех уничтожить!»

Но это все я помню лишь «в общем», не конкретно. А до словно запомнились мне там совсем другие строки. Запомнились, как видно, потому, что вызвали резкое отторжение и даже возмущение.

На вопрос автора поэмы – «Чем мы перед миром виноваты, Эренбург, Багрицкий и Светлов?» – вопрос чисто риторический, а стало быть, не требующий никакого ответа, этот мнимый Эренбург отвечал:

Мы виноваты в том, что мы евреи,
Мы виноваты в том, что мы умны.

И в полном соответствии с этим тезисом заключал свой «Ответ» таким патетическим восклицанием:

И я горжусь! Горжусь, а не жалею,
Что я еврей, товарищ Алигер!

Сейчас я вспоминаю эти строки с улыбкой. Беспомощная их наивность (род самозащиты) уже не вызывает у меня былого раздражения. А тогда...

Убеждение, что евреев гонят и преследуют за то, что они «умны» (то есть – умнее других), не только возмущало и оскорбляло мои чувства пламенного интернационалиста. Эта еврейская спесь, помимо всего прочего, была в моих глазах ярчайшим доказательством того несомненного факта, что самодовольных дураков среди евреев ничуть не меньше, чем среди представителей других наций.

Приписываемые Эренбургу стишки были не только глупы, но и как стихи – из рук вон плохи: чистая графомания.

Но и алигеровская поэма, хоть графоманской она не была, тоже несильно меня затронула.

Запомнились мне – и даже сильнее других впечатались в память – еще такие ее строки:

Я не знаю, есть ли голос крови,
Знаю только: есть у крови цвет.

Этим цветом землю обагрила
Сволочь, заклеянная в веках,
И евреев кровь заговорила
В этот час на разных языках.

Впечатались в память, значит, все-таки затронули?

Да, конечно. Но это было **литературное** впечатление. Хорошая или плохая (скорее все-таки плохая), это была литература, а не жизнь.

А между тем в это самое время уже и в жизни «трагедия еврейского народа», о которой в Серове мне говорил – а я пропустил это мимо ушей – секретарь горкома, подступила ко мне совсем близко, и, казалось бы, уже нельзя было не ощутить ее всей кожей, позвоночником, спинным мозгом.

Но и тут я тоже не прикоснулся к ней: ни сердцем, ни даже умом. Другим заняты были тогда и мой ум и мое сердце.

В сорок пятом году, когда кончилась война, не оставалось уже совсем никакой надежды на то, что мои дед и бабушка (родители отца), оказавшиеся под немцами, каким-то чудом смогли уцелеть. Надежда на это чудо и раньше была весьма призрачной. Но в сорок пятом их гибель стала уже несомненным, точно установленным фактом.

Они жили на Украине, в местечке Златополь. Я никогда там не был и деда с бабушкой ни разу в жизни не видел. Но адрес этот: «Златополь Кировоградской области» – знал хорошо. Знал я его потому, что задолго до войны, когда я был еще совсем малышом, отец часто брал меня с собой на почту, откуда он – каждый день! – отправлял деду бандероль со свежим номером «Известий». В Златополе подписаться на газету было невозможно. Московскую подписку переадресовать туда тоже почему-то было нельзя. А мой папа был не только хорошим отцом, но и хорошим сыном, и вот он вменил себе в обязанность ежедневно посылать свежую газету отцу. И за все предвоенные годы ни разу этой своей добровольной обязанностью не пренебрег: железный обычай этот соблюдался неукоснительно.

Газета не упаковывалась в конверт: она просто опоясывалась такой бумажной лентой, на которой писался адрес. Называлось это – бандероль. Так и застряло у меня с тех пор представление о том, что бандероль – это вот такая широкая бумажная лента, опоясывающая, но не заворачивающая целиком какой-нибудь предмет: газету, журнал, книгу. И я был очень удивлен, когда оказалось, что пакет из плотной оберточной бумаги, заклеенный со всех сторон и перевязанный веревочкой, тоже может быть не посылкой, а – бандеролью.

Не меньше, чем слово «бандероль», услышанное мною тогда впервые, заинтересовал меня при первом походе с отцом на почту и адрес, ежедневно надписываемый им на этой самой бандероли. Выглядел он так:

«Украинская ССР, м. Златополь Кировоградской обл., гр-ну В. Сарнову».

Я не понял, что означает буква «м», и отец объяснил: «Местечко». Так я впервые услышал это слово.

Еще больше удивило меня загадочное сокращение: «гр-ну». Отец объяснил, что это значит «гражданину». Зачем на бандероли надо было каждый раз титуловать деда гражданином, я не понял. И истолковал это на свой лад: подумал, что деду, наверно, приятно сознавать себя полноправным гражданином нашей великой страны, а отцу приятно удовлетворять эту его законную гордость. (На самом деле отец, как я теперь понимаю, просто автоматически заменил этим новым сокращением принятое раньше в таких случаях «г-ну».)

Итак, дед и бабка жили где-то там, на Украине, в местечке Златополь Кировоградской области. Все эти географические названия ассоциировались у меня только с этими вот самыми ежедневными бандеролями.

Но моя двоюродная сестра Оля – она была на год моложе меня – проводила в этом самом Златополе каждое лето. Ее отец (мой дядька Мирон, младший брат отца) ежегодно отправлял туда свою красавицу-жену Нину с дочкой-школьницей, как только начинались школьные каникулы, и они там жили у деда с бабкой до самой осени. Весной сорок первого года они отправились туда уже не вдвоем, а втроем: вместе с женой и дочкой Мирон отправил на лето к родителям и двухгодовалого сына – Леньку.

Отправились они туда в конце мая, а двадцать второго июня грянула война.

Ни с кем не советуясь, не колеблясь и минуты, Мирон в тот же день рванул на вокзал, добыл билеты, примчался в Златополь, без долгих разговоров взял жену и детей, втиснулся с ними в первый проходящий поезд и – не без некоторых трудностей, но в конечном счете вполне благополучно – добрался с ними до Москвы.

Само собой, он предлагал ехать с ним и деду с бабкой тоже. Но те об этом и слышать не хотели.

Дед сказал, что помнит немцев по той, прежней войне: это культурные люди, и бояться их нечего. На все уговоры он отвечал: «Что я, немцев не знаю?» А бабка сказала, что никуда не поедет, потому что «Сталин не допустит, чтобы Гитлер взял Златополь».

В сорок пятом году, как я уже сказал, их гибель стала для нас несомненным, точно установленным фактом. Более того: обрела жуткую конкретность.

Весть эту привез нам Мирон. Он был там, на месте их гибели. Съездил туда и все узнал. Узнал, когда, где и как все это происходило. Куда согнали, как расстреливали, как хоронили. Последнее слово, впрочем, тут не очень годится. Никаких похорон, конечно, не было. Тела расстрелянных сволокли в какую-то яму, быстро и не очень старательно закопали, и, как рассказали Мирону очевидцы, на месте этого поспешного захоронения несколько суток шевелилась земля.

Услыхав от Мирона все эти подробности, отец мой словно постарел на двадцать лет. Он как-то весь согнулся, лицо потемнело, глаза провалились. Таким страшным он не был даже в сорок первом, когда за несколько месяцев из плотного, упитанного, слегка даже склонного к полноте мужчины превратился в исхудавшего, изможденного, замученного жизнью старика.

И еще одна – совсем уж странная для меня – перемена произошла с моим отцом: он стал поститься.

Делал он это, правда, только один раз в году: в так называемый Судный день – Иом-Киппур. В этот день верующим евреям предписан строжайший пост – от захода солнца до вечера следующего дня. Это – еврейский Новый год, и приходится он

на осень – на сентябрь, если не ошибаюсь. Вот как раз осенью сорок пятого года, когда наступил этот самый Судный день, отец и объявил впервые, что не будет нынче ничего есть до самого вечера – до первой звезды.

Когда я поинтересовался у него, что бы это значило, уж не ударился ли он в религию, – он ответил, что нет, не ударился. А поститься в этот день он решил вот почему. В этой войне от рук нацистов, сказал он, погибли миллионы евреев. Точная дата гибели каждого из них, разумеется, неизвестна. И поэтому где-то там, в каких-то высших еврейских религиозных сферах – в Европе? Или, может быть, в Америке? – было установлено, что этот самый Судный день будет для них для всех Днем поминовения.

– Поскольку я тоже не знаю точной даты гибели моих родителей, – сказал отец, – это для меня единственный способ, которым я могу ежегодно отмечать день их смерти.

Объяснение это полностью меня удовлетворило, и отговаривать отца от этой его затеи я не стал. Кажется, даже обрадовался, узнав, что принятое им решение не связано с религией, а значит, мне не придется заниматься по этому поводу антирелигиозной пропагандой.

Мне было очень жалко отца. Когда он, бывало, задумывался и по глазам, по всему выражению его внезапно изменившегося лица я догадывался – нет, точно знал! – о чем он думает, сердце мое сжималось от боли. Но это была боль за него. О погибших ужасной смертью бабушке и дедушке я при этом не думал. И уж во всяком случае, совсем не думал при этом о какой-то своей причастности к трагедии еврейского народа.

Я не был холоден или бездушен. И я, конечно, понимал, что гибель деда и бабки – это трагедия. Но это была наша семейная трагедия. Она не воспринималась мною как трагедия МОЕГО НАРОДА. И вообще не окрашивалась для меня в еврейские тона.

Была война. Гибли миллионы людей. В стране, наверно, не было ни одной семьи, которую эта страшная жатва обошла бы стороной. В нашей семье не вернулся с войны мой старший двоюродный брат (он служил на границе и погиб сразу, в первые же военные дни). Другой мой двоюродный брат, Вовка, потерял на войне ногу. И погибли мои дедушка и бабушка. Это

была доля нашей семьи – мера ее причастности к общей мировой драме. При чем тут евреи?

То есть умом я, конечно, понимал, что евреи тут очень даже при чем. Я отлично знал, что немцы убивали всех, но лишь евреев они убивали только за то, что они евреи. Но своей кровной, личной причастности к этой национальной трагедии я не ощущал.

Фейхтвангер говорил о себе, что он немец по языку, космополит по убеждению и еврей по чувству. Так вот, я даже по чувству – то есть не даже, а именно по чувству! – евреем не был.

В 1947 году (мне было двадцать лет) умерла другая моя бабушка – не отцова, а мамина мама. И мы хоронили ее. И первый раз в своей жизни я очутился на еврейском кладбище, с удивлением узнав, что разделение людей на разные нации сохраняется и на том свете. Теперь на этом – Востряковском – кладбище покоится уже не только моя бабушка, но и отец, и мама. Там же, наверно, – а где же еще? куда мне теперь от этого деться? – найду свое последнее прибежище на этой земле и я.

Тогда я об этом, понятное дело, не думал. Моя собственная смерть казалась мне чем-то во всяком случае очень далеким, о чем задумываться мне пока еще рано. («Ну, ей шестнадцать лет, ну, она дура, она думает, что будет жить вечно», – говорит один из героев Зоценко.) Я топтался около еще не засыпанной бабушкиной могилы, оглядывался вокруг, прошелся даже по узким, тесным проходам между оградами. На могилах здесь не было привычных мне кладбищенских крестов. Вместо крестов были – шестиконечные звезды. Некоторые из них были изображены прямо на плите надгробья, под или над могильной надписью. А иногда шестиконечная звезда – вырезанная из гранита – увенчивала могильную плиту.

И вдруг над одной могилой я увидел совсем другую звезду – красную, пятиконечную! Это была каждому знакомая в те времена небольшая деревянная пирамидка, выкрашенная серебрянкой: тот самый «мрамор лейтенантов, фанерный монумент», который воспел потом в своем знаменитом стихотворении Борис Слуцкий.

Наверно, это была могила какого-нибудь военного и такое надгробье полагалось ему по штату. А может быть, такова бы-

ла воля родственников покойного или (могло ведь быть и такое?) покойник сам завещал похоронить себя вот так, по-солдатски. Ничего этого я, понятное дело, не знал и ни о чем таком тогда даже и не думал. Но вся моя душа рванулась в тот миг от тех, бесконечно чужих мне, шестиконечных звезд к этой – такой одинокой здесь – родной, красной, пятиконечной звездочке.

Только советская нация будет
И только советской расы люди...

Этих строк погибшего на войне Михаила Кульчицкого я тогда не знал. Но «по чувству» (тому, о котором говорил Фейхтвангер) был человеком именно вот этой – советской расы.

Но Кульчицкий эти стихи написал где-то в середине тридцатых. А сейчас на дворе стоял уже сорок седьмой: другая эпоха.

Это было, правда, только начало новой эпохи, самый ранний ее рассвет. Но и тогда уже, я думаю, никого бы не удивила реплика одного крупного партийного чиновника, сказанная в иное, более позднее время. Давая указания главным редакторам газет и журналов, он пожелал им, чтобы на страницах их изданий было «поменьше Кульчицких и побольше Гудзенок». Он, болван, не знал, что Семен Гудзенко был евреем, а Михаил Кульчицкий – столбовым дворянином.

2

В 49-м году я потерял паспорт. Эта беда была, как сказано у дедушки Крылова, не так большой руки. Получить новый тогда было нетрудно: надо было взять в домоуправлении выписку из домовой книги, отнести ее в милицию, уплатить штраф (сотню, которая позже, в хрущевские времена, стала десятикой) – вот и вся недолга.

Девушка-паспортистка выписку из домовой книги выдала мне без всяких проволочек. Я быстро проглядел ее и в графе «отчество» прочел – не «Михайлович» (отца моего звали Михаил Владимирович), а – «Моисеевич». В графе же «национальность» – в том знаменитом пятом пункте – стояло: «русский».

– Тут две ошибки, – сказал я. – Во-первых, я не Моисеевич, а Михайлович. А во-вторых, не русский, а – еврей.

Девчонка, ни слова не говоря, взяла ручку и исправила. (А может, даже, и всю выписку переписала заново, сейчас уже не помню.) Так я и остался евреем. Но зато стал Михайловичем.

В более поздние (хрущевские, брежневские) времена изменить в паспорте национальность было бы, наверно, сложнее. Но тогда, хоть времена были и покруче, в этих паспортных делах сохранялись еще такие вот патриархальные обычаи. Не скажи я девчонке-паспортистке, что она ошиблась, что в документах моих должно значиться «еврей», а не «русский», получил бы я новенький паспорт с кристально чистым «пятым пунктом», и многие сложности, поджидавшие меня на дальнейшем моем жизненном пути, сразу бы отпали, исчезли, растворились в воздухе.

Но такая мысль у меня даже и не возникла. А вот мысль закончить раз и навсегда с некрасивым – и каким-то чужим, не моим – отчеством Моисеевич, доставшимся мне от каких-то старых – наверно, еще дореволюционных – документов отца, не только возникла, но я тут же этой внезапно открывшейся возможностью воспользовался.

Тогда я этим вопросом не задавался, а сейчас вот задумался: а почему, собственно, мне так не хотелось быть Моисеевичем?

Помнится, я объяснял это тем, что надо было закончить наконец с этой вечной еврейской путаницей: в одном документе одно отчество, в другом – другое. (В комсомольском билете – и в старом, и в только что, после восстановления, выданном мне новеньком – я был Михайлович).

Но это, конечно, была отговорка. Не пришло же мне в голову, что можно поступить ровно наоборот: «Михайловича» исправить на «Моисеевича». А не пришло мне это в голову потому, что отчество Моисеевич мне активно не нравилось. Оно раздражало меня. Раздражало, как мне тогда казалось, чисто эстетически.

Ну и наконец самое простое, самое естественное объяснение.

С какой стати мне называться Моисеевичем, если моего отца зовут Михаил Владимирович?

Правда, наша соседка по коммуналке Татьяна Тимофеевна в истинность этого его имени-отчества не верила. Она не верила даже в подлинность отцовской фамилии. Довольно изобретательно выдумала и уверенно повторяла, что на самом деле он не Сарнов, а – Сарнэ. Начисто не верила и в то, что маму мою зовут Мария Филипповна. Обращаясь к ней или к отцу, недовольно ворчала себе под нос: «Цапа́ют наши имена!»

В некотором смысле она была, конечно, права. Потому что мама, как я уже, кажется, упоминал, в паспорте именовалась не Марией Филипповной, а Мариам (или Мириам) Фильевой, а отец – Моисеем Вульфовичем. Но то были рудименты каких-то старых, дореволюционных полицейских документов. А на самом деле отец мой был Михаилом Владимировичем, а мать Марией Филипповной с незапамятных времен. Мать еще девочкой, в родительской семье (не говоря уже о гимназии) называлась Мусей, Марусей, а отца чуть ли не с младенчества звали Мишей. Это было довольно распространено не только в совсем уже обрусевших еврейских семьях. Вот, например, Солженицын убийцу Столыпина Дмитрия Богрова постоянно – и с видимым удовольствием – называет «Мордко». (Под этим паспортным именем он фигурировал в полицейских протоколах.) В семье же будущего убийцу с ранних детских лет звали Митей.

Василий Семенович Гроссман не только в паспорте, но даже в старых писательских справочниках именовался Иосифом Соломоновичем. И я однажды написал в какой-то своей статье, что «Василий Гроссман» – это псевдоним и что псевдонимом этим писатель хотел особо подчеркнуть, что он – русский писатель. На самом же деле, как рассказал мне потом ближайший друг Василия Семеновича Семен Израилевич Липкин, дело обстояло несколько иначе. Родители окликали мальчика подлинным, еврейским его именем: Йося. А няньке послышалось – Вася. Так и стала она его звать. И так – с ее легкой руки – он и для родителей, и для всех домашних стал Васей.

Ну а что касается моего отца, то он, как прожил всю свою жизнь, так и умер Михаилом Владимировичем. И на гранитной стеле, установленной над его могилой на еврейской части Востряковского кладбища, где он похоронен, так и значится: «Сарнов Михаил Владимирович».

Так что не было у меня никаких резонансов оставаться Моисеевичем. И Михайловичем я стал, выходит, совсем не потому, что хотел утаить свою причастность к еврейской нации. Тем более, что тут же – пятым пунктом – эту свою причастность не то чтобы обнаружил, но даже подчеркнул.

Так-то оно так. И все-таки этим отчеством я тоже «отъевреивался». Не отрекался от своей национальной принадлежности, но – как бы дистанцировался от нее. Давал понять, что я – не чета тем, местечковым или каким-нибудь там Бердичевским, Соломоновичам, Исааковичам и Абрамовичам...

Про Евгения Долматовского ходил слух (не знаю, правда ли это), что он – один из двух-трех смельчаков – отказался подписать письмо в редакцию «Правды» знаменитых евреев, которое, по замыслу затевавших эту акцию партийных функционеров, должно было как бы санкционировать высылку еврейского народа, оказавшегося в плену сионистской заразы, в места отдаленные.

Свой отказ Долматовский якобы мотивировал тем, что он не еврей, никакого отношения к евреям не имеет и поэтому в списке еврейских знаменитостей, среди всех этих Рейзенов, Гельфандов и Эренбургов, ему не место.

Довод поэта показался резонным, и от него отстали.

А за несколько лет до того (в 49-м) Семен Израилевич Липкин имел с Евгением Ароновичем любопытный разговор как раз на эту тему. Тот был в мраке по поводу бушевавшей антикосмополитской кампании. Он не то чтобы осуждал ее. Просто опасался, что молния ненароком может ударить и в него: ведь у него такое жуткое отчество – Аронович.

Семен Израилевич – человек лукавый, но замечательно умеющий прятать свое лукавство под личиной наивности. Он в совершенстве владеет умением самые причудливые мысли и соображения высказывать таким тоном, что даже очень противительный собеседник не всегда может усесть, что скрывается за той или иной его репликой: простодушие или утонченная ирония?

Вот и в тот раз, в ответ на жалобы Долматовского, Семен Израилевич невозмутимо заметил, что отчество Аронович ровным счетом ничего не значит.

– Вот, например, Баратынского, – дал он тут же историческую справку, – звали Евгений Абрамович. А Мартынов – убийца Лермонтова – так тот и вовсе был Соломонович. Оба, заметь, отнюдь не евреи, а чистопородные русаки. И даже дворяне.

– Да? – оживился Евгений Аронович.

Это сообщение Липкина явилось для него совершеннейшей новостью: в Литературном институте, где он учился, им, видимо, таких деталей не сообщали.

Как бы то ни было, после этого разговора он сильно приободрился, и не исключено, что именно информация, полученная в тот день от всезнающего Семена Израилевича, помогла ему окончательно утвердиться в мысли, что он вовсе не еврей и никакого отношения к еврейской нации не имеет.

Несколько иной разговор – в то же время и на ту же самую тему – произошел у Семена Израилевича Липкина с Борисом Леонидовичем Пастернаком.

Как и с Долматовским, он столкнулся с ним случайно на улице и сразу заговорил о том, что камнем лежало тогда у него на душе: о разнузданной антисемитской кампании, развязанной статьей «Правды» о критиках-антипатриотах.

Пастернак в ответ на какую-то не слишком даже резкую реплику Липкина (что-нибудь вроде: «Ну, как вам все это нравится, Борис Леонидович? Думали ли мы, что доживем до такого?») выдал самую настоящую истерику. Он чуть ли не криком кричал:

– А почему, собственно, вы меня об этом спрашиваете? Какое я имею к этому отношение?

И довольно смутно, как это было ему свойственно и в других, куда более спокойных ситуациях, но все-таки достаточно внятно выразил примерно ту же мысль, что и Долматовский. То есть – что он по внутреннему своему самоощущению вовсе не еврей, никакого отношения к еврейству не имеет и не желает, чтобы его припутывали ко всем этим превратностям сугубо еврейской судьбы.

Выслушав этот рассказ Семена Израилевича, я, по правде говоря, слегка усомнился в его достоверности. Не то чтобы я решил, что Семен Израилевич все это выдумал. Но, как всякий

хороший рассказчик (а рассказчик он замечательный), не удержался, думал я, от соблазна слегка расцветить имевший место факт, придать ему чуть более яркую художественную форму.

Уж очень мелко выглядел в этой сцене Борис Леонидович. А ведь он – как к нему ни относишься – человек во всяком случае не мелкий.

Позже, однако, я убедился, что эту историю Семен Израилевич не только не придумал, но, пожалуй, даже и не обогатил, а изложил имевший место факт с фотографической точностью.

Увериться в этом меня заставило письмо Бориса Леонидовича А.М. Горькому от 7 января 1928 года. (Оно напечатано в 5-м томе его Собрания сочинений.)

Вот что я там прочел:

Мне, с моим местом рождения, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влечениями не следовало рождаться евреем. Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось. От этого меня бы не прибыло, как не было бы для меня и убыли. Но тогда какую бы я дал себе волю! Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни языка я сам, с роковой преднамеренностью вечно урезаю свою роль и долю. Ведь я ограничиваю себя во всем... Веянья антисемитизма меня миновали, и я их никогда не знал. Я только жалуясь на вынужденные пути, которые постоянно накладываю на себя я сам, по «доброй», но зато и проклятой же воле!

В переводе с «пастернаковского» на язык родных осин это значит, что и в своих взаимоотношениях с родной речью, и в общественном своем поведении он постоянно вынужден оглядываться на свое еврейство, зависеть от него, считаться с ним. И это – сковывает его свободу, мешает естественности проявлений его личности. Будь он русским по рождению, он бы и жил, и действовал, и думал, и писал точно так же. Но никому, никакой княгине Марье Алексеевне тогда и в голову бы не пришло заподозрить его в том, что он, скажем, «калечит русский язык», потому что он – не настоящий русский, инородец.

В отличие от Долматовского, для Бориса Леонидовича это была не внешняя, а сугубо внутренняя проблема. Евгений Аро-

нович всполошился, когда его сакраментальное отчество могло помешать его карьере или спровоцировать даже еще более грубое (скажем, административное) вмешательство в его жизнь. Борис Леонидович же поделился с Горьким своей драмой в 1928 году, когда никакие внешние осложнения, связанные с его еврейским происхождением, ему не грозили.

Однажды с этим еврейским «комплексом неполноценности» я столкнулся вплотную – на этот раз не в литературе, а в жизни. И столкновение это, надо сказать, поразило меня даже больше, чем описанный выше «случай Пастернака».

Один близкий мой друг, талантливый поэт, показал мне несколько исправлений, сделанных им в недавно написанном – и очень понравившемся мне – стихотворении. По поводу одного из них я сказал:

– А вот это – зря. Раньше было лучше.

– Да, я знаю, – сказал он. – Стало хуже. Но так грамотнее.

– Что за чепуха! – удивился я. – При чем тут грамотность? В стихах мы ценим поэтическую силу и выразительность. А грамматической правильностью иногда можно и пренебречь.

Доказывая эту азбучную истину, я вспомнил Лермонтова – его гениальную строку: «Из пламя и света рожденное слово». «Из пламя» – это ведь тоже неграмотно. Но насколько хуже стало бы, если бы Лермонтов исправил эту свою неграмотность на гладенькое – «из пламени».

Во время этого моего темпераментного монолога друг мой сардонически улыбался и грустно кивал головой. А когда я кончил, сказал, что да, все это так, он и сам знает, что ухудшил свое стихотворение, все, все, что я говорил, – это, в сущности, азбучные истины.

– Но есть тут одна тонкость, – сказал он. – Понимаешь, если бы я был на все сто процентов русский, я бы, конечно, оставил, как было. Но поскольку во мне есть еврейская кровь, я должен быть в этих делах особенно щепетилен...

Я не хочу называть имя этого моего друга. Скажу только, что и имя, и отчество, и фамилия у него были – стопроцентно русские, поскольку папа его был коренной русак. А вот мама, которую он, кстати сказать, не знал, она умерла, когда он был еще младенцем, мама – да, действительно. Она имела неосто-

рожность родиться еврейкой. И с этим уже решительно ничего нельзя было поделать.

Излагая мне все это, мой друг был уверен, что я его пойму. Во всяком случае, он не сомневался, что такое объяснение не совсем обычного его поступка меня не удивит. Но оно меня не просто удивило: я был ошеломлен. У меня не было и тени сомнения, что тут – явное отклонение от нормальной человеческой психики, какой-то болезненный выверт, комплекс. Я даже определил его как «комплекс полукровки». Потому что, будучи евреем, так сказать, с обеих сторон – и по папе, и по маме, – сам я никаких таких комплексов никогда не испытывал.

Мои взаимоотношения с русским языком, с родной русской речью всегда были простыми и ясными. Я бы даже сказал, примитивными. Я никогда не задумывался, как говорю и как пишу. Говорил как придется. Как – само собой – выговаривалось. А позже, когда задумался (сравнивая свою речь с речью других моих друзей и знакомых), поймал себя на том, что, даже зная, как лучше, как правильнее, не могу заставить себя выговорить какое-нибудь слово иначе, чем по-своему: так, как привык его выговаривать.

Речь моя, естественно, была не простонародная, а – книжная. Поэтому окончания прилагательных я произносил по-книжному: «русский», «московский», «убогий», а не – «русской», «московской». И только пушкинская рифма в «Евгении Онегине» подсказала мне, что надо бы – «убогай», а не «убогий», потому что с «убогим» французом *monsieur l'Abbe* у Пушкина рифмуется: «Не докучал моралью строг^{ой}».

Но даже узнав, как надо, – выговорить «убогай» я все равно не мог: язык не поворачивался.

Родившись в Москве и выросши в московском дворе, я с детства привык говорить «молошная», «булошная», «конешно». Мне даже было в диковинку, что серовский мой дружок Глеб Селянин произносил по-книжному, как написано: «булочная», «молочная», «конечно». (Он был ленинградец, а у них, в Питере, говорили именно так.) Но никогда, ни при какой погоде я не мог бы выговорить: «коришневый» вместо «коричневый» или назвать свою любимую кашу «грешневой», а не «гречневой». Или произнести, как легко и естественно

делал это мой друг Боря Заходер, – «дефьки», «лафьки», «зерькало», «стерьва». Тоже ведь, вроде, по-московски. Но в мое время, в моей Москве так уже никто не говорил. (Разве только наша соседка тетя Варя, которая мою маму называла «Филипьевна».)

Сказать «грешневая» вместо естественного для меня «гречневая» или «дефьки» вместо «дефки» я не мог по той простой причине, что это был бы выпендреж, искусственное, нарочитое выламывание.

Однажды, рассказывая в какой-то компании о том, как Саша Межиров вынудил меня играть с ним в пирамиду на деньги, я сказал: «в бильярд». Присутствовавшая при этом знакомая переводчица строго меня поправила:

– Надо говорить не «в бильярд», а – «на бильярде».

Да, я знал, – конечно, знал, – что надо говорить «партия в бильярд», но – «играть на бильярде». Но выговорить эти слова – хоть убей! – не мог. Чувствовал, что в моих устах это прозвучало бы неестественно. Почему? Устарело это выражение, что ли? Не знаю. Знаю только, что, сказав: «мы играли на бильярде», я был бы – не я. Это было бы с моей стороны чистойшей воды притворство.

Сейчас, задним числом вспоминая и анализируя те – давние – мои ощущения, я думаю, что это во мне говорил здоровый инстинкт носителя языка. Язык ведь меняется, и то, что вчера было неправильностью (скажем, слово «обязательно» в значении «непрерывно», или «пара минут», или даже «довлет над»), сегодня уже входит во все словари, включая академический, как новая языковая норма.

Носителем языка я себя, конечно, не осознавал. Но в своих взаимоотношениях с русским языком никогда не ощущал никакой разницы между собой и моими литинститутскими одноклассниками – Володей Солоухиным и Володей Тендряковым. Разница между была только та, что они «окали» (по-вологодски), а я – «акал» (по-московски).

Еврейский комплекс неполноценности, нежданно-негаданно проявившийся у моего друга-поэта, я назвал «комплексом полукровки», вероятно, потому, что наблюдал нечто похожее у других своих знакомых «двойного происхождения»: замечал,

что они были «зациклены» на национальных проблемах не в пример больше, чем я.

Но в данном случае, быть может, природа этого комплекса была другая. Мой друг-поэт, которому я приписал «комплекс полукровки», родился и вырос на Украине, в Днепропетровске, и чистая московская речь для него изначально была чем-то таким, чем ему надо было овладевать: он не ощущал ее в полной мере своей. Я же был начисто лишен этих комплексов не только потому, что был коренным москвичом, но еще и потому, что детство мое прошло в «Стране Гайдара». Мироощущение жителя этой мифической страны напрочь избавило меня от всяких национальных комплексов. В отличие от моего друга-поэта, детство которого протекало совсем в другой среде, и даже в отличие от Б.Л. Пастернака, с антисемитизмом я впервые столкнулся гораздо позже, уже почти взрослым (об этом речь впереди). А все болезненные ощущения такого рода зарождаются, как видно, именно в детстве. Мое же детство, как я об этом уже писал, было искусственно, так сказать, дистиллированно советским. И это, как ни странно, и защитило, спасло меня от всяких болезненных комплексов. Кстати, не только национальных: долго еще я жил с этим «советским» ощущением хозяина жизни, хотя подлинными хозяевами давным-давно уже были люди совсем другого разбора.

Вероятно, это же самое мироощущение гражданина «Страны Гайдара» с детства приучило меня не стесняться своего еврейства: «Ну, подумаешь, ну, еврей, ну – и что такого!»

В «Стране Гайдара» это воспринималось легко, даже нарочито облегченно. И я, читая про это, весело смеялся. И никакой фальши не ощущал – да ее, наверно, и не было! – скажем, в реплике одного из персонажей «Золотого теленка»: «Да, вот так: евреи есть, а вопроса еврейского нету!»

Эта с детства привитая мне гайдаровская привычка не стесняться своего еврейства тоже – как это выяснилось впоследствии – сослужила мне хорошую службу.

Мой друг Шурик Воронель недавно прислал мне из Израиля свою новую книгу – сборник статей на разные темы, но, как правило, связанные с еврейскими.

Почти все его рассуждения этого рода довольно-таки далеки

от меня. Но одно его соображение (точнее – наблюдение) показалось мне на редкость метким:

Когда ты чувствуешь себя евреем и окружающие именно так тебя и видят, в душе не возникает повода для разлада. Но если вообразить о себе невесть что (например, со щегольским оттенком: я – гражданин мира, я – русский интеллигент, я – европеец и живу вне наций), а окружающие не смогут при этом избавиться от впечатления от моей экзотической внешности или чрезмерной еврейской живости – конфликт неминуем.

В справедливости этого замечания я однажды убедился на собственном опыте. Но совсем не потому, что мне самому пришлось пережить такой конфликт. Как раз наоборот.

Дело было так.

В самый пик перестройки мне случилось несколько раз выступить перед довольно многочисленной аудиторией. Как правило – не одному, а в компании с друзьями – коллегами, единомышленниками.

Но однажды вышло так, что я на протяжении нескольких часов – один! – удерживал внимание огромного зала. Рассчитан он был, как мне сказали, на тысячу двести человек. Но было там а может, мне это показалось со страху) раза в полтора больше. Сидели тесно, иногда по двое на одном месте. Стояли в проходах.

Я что-то такое там говорил, рассказывал, читал. Отвечал на записки, на устные вопросы с мест.

Настроение в зале было не всегда доброжелательное. Иные мои реплики вызывали гул недовольства. В общем, обстановка была скорее напряженная.

И вот в один прекрасный момент приходит ко мне из зала записка: «Скажите, почему вы так похожи на Киссинджера?»

Я прочел эту записку сразу вслух. (Нет чтобы сперва пробежать ее глазами, так сказать про себя, и решить, стоит ли вообще отвечать на такую глупость. Или хотя бы подумать, как ответить получше, поостроумнее.) И поскольку времени на размышление уже не было, с ходу сказал первое, что пришло в голову:

– Думаю, что на Киссинджера я похож не больше, чем один еврей в очках – на другого еврея в очках.

Реакция зала была неожиданной.

Нехитрый этот ответ вызвал взрыв аплодисментов, бурно-стью и продолжительностью не сравнимый с откликами на все другие, как мне казалось, куда более умные и остроумные мои реплики.

Общий настрой этих аплодисментов – в сочетании с выражением лиц аплодирующих – я бы охарактеризовал как крайнюю степень доброжелательности.

Я не знаю, был ли в том обращенном ко мне вопросе хоть слабый привкус антисемитизма. Может, и нет. Хотя какая-то толика ехидства наверняка была. Но отвечая, я эту сторону дела проигнорировал. Не сознательно, а просто потому, что в тот момент об этом не думал. Хотел сказать только одно: что никакого индивидуального сходства с Киссинджером у меня нет, что мифическое сходство это – если уж оно вам померещилось – чисто типологическое, относящееся не ко мне лично, а к некоему общему типуажу, который может быть охарактеризован вот этой расхожей формулой: «Еврей в очках».

Но зал воспринял эту мою реплику иначе. В ней услышали естественную, не заготовленную, произвольно вырвавшуюся констатацию: «Да, в самом деле, Киссинджер еврей, и я тоже. Но помимо этого не такого уж существенного обстоятельства, нет между нами решительно ничего общего. (Не считая, конечно, очков.)

Больше всего людям, сидящим в зале, понравилось в моем ответе, конечно, то, что я не стал «отъевреиваться», не возмутился, не стал спорить («При чем тут Киссинджер? Что у меня может с ним быть общего!»), а легко и просто признал, что общее есть. В то же время от этого – объединяющего меня с Киссинджером – обстоятельства я отмахнулся небрежно, как от чего-то не слишком существенного. И это тоже понравилось, поскольку сделал я это не преднамеренно, а, так сказать, произвольно. Все вдруг увидели, что теме этой, для многих (как евреев, так и антисемитов) весьма болезненной, можно и не придавать особого значения, что она, в сущности, того не стоит. И радостно приняли такой взгляд на этот щекотливый предмет как самый естественный. Единственно нормальный.

В связи с этой историей – вернее, по ассоциации с ней – не могу не вспомнить другую, одним из главных «фигурантов» которой был тот же Киссинджер.

В Еврейском центре (есть теперь такой в Москве) шла презентация альманаха «Цовет» (по-русски – «Перекресток»). В альманахе этом были собраны сочинения писателей, живущих в России и – уехавших (давно или совсем недавно) в Израиль.

Произведения российских литераторов занимали первую половину альманаха, израильских – вторую. И эту вторую надо было читать наоборот, с конца альманаха – к началу.

В связи с этим кто-то из организаторов всего этого мероприятия и рассказал припомнившуюся мне сейчас историю.

В один из самых критических моментов существования государства Израиль (кажется, это было во время войны Судного дня) в Иерусалим приехал Генри Киссинджер, тогдашний Государственный секретарь США. Израильцы, естественно, возлагали на него большие надежды – не только как на Государственного секретаря, но и как на еврея: будучи их соплеменником, он должен был, по их мнению, прилагать особые старания к тому, чтобы Соединенные Штаты оказывали Израилю в этом конфликте режим наибольшего благоприятствования. Киссинджер этим давлением, само собой, был недоволен. И, выступая в Кнессете (израильском парламенте), весьма недвусмысленно это недовольство выразил.

– Во-первых, – сказал он, – я американец. Во-вторых – Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. И только в последнюю, третью очередь я – еврей.

– Это верно, – откликнулась Голда Меир. – Но ты забыл, что мы читаем справа налево.

В каждой шутке, как говорится, – доля правды. А в этой была еще и немалая толика философии.

Что бы ты там ни говорил, как бы ни вертелся, кем бы себя ни ощущал, – прямо дала понять Голда Государственному секретарю Соединенных Штатов, – на самом деле прежде всего ты еврей. И сколько бы ни старался, никуда ты, мой милый, от этого не денешься.

В сущности, эту же точку зрения высказал и мой друг

Шурик Воронель – в том самом, процитированном мною замечании.

– Ты, – говорит он, обращаясь, в отличие от Голды Меир, не к Киссинджеру, а прямо и непосредственно ко мне, – можешь считать себя гражданином мира или русским интеллигентом, но, что бы ты ни говорил, кем бы себя ни воображал, прежде всего ты – еврей.

Может, оно и так (с этой темой я еще не развязался и к обсуждению ее еще вернусь), но я от такого самочувствия (самоосознания, самоощущения) по-прежнему далек.

Гражданином мира я себя, правда, не ощущаю, а русским интеллигентом... Ну, да... Если я вообще интеллигент, то, конечно, русский. А какой же еще?

Примерно в то же время, когда я удостоился аплодисментов за то, что не отрекся от своего сходства с Генри Киссинджером, случилось мне выступать перед – тоже довольно многочисленной – аудиторией московских студентов. И зашла речь об определении «русскоязычный». Так наши русские националисты стали тогда именовать всех пишущих (и писавших) на русском языке «инородцев»: Бабеля, Василия Гроссмана, Фазиля Искандера...

Глумясь над этим прозрачным эвфемизмом, я говорил, что, став на такую позицию, «русскоязычными» (а не русскими) писателями придется объявить не только Гоголя, но и Пушкина, и Лермонтова, и Аксакова, и Чаадаева, и Вяземского, и – мало ли кого еще! И в заключение сказал, что если меня попытаются отлучить от русского языка и русской культуры, я буду сопротивляться всеми доступными мне средствами – драться, кусаться, царапаться...

– И дело тут даже не в том, – объяснил я, – что русская культура представляется мне «наикрашей», а русский язык – самым совершенным из всех других языков и наречий. («Великий, могучий, правдивый и свободный».) Просто случилось так, что никакого другого языка, кроме русского, я не знаю. (Это, конечно, меня не украшает, но тут уж ничего не поделаешь.) И все достижения мировой культуры (во всяком случае – литературы), к каким мне удалось прикоснуться, знакомы мне только в их русском варианте. Выходит, что, отпав от русской культуры и рус-

ского языка, я даже и гражданином мира не смогу себя числить. Вот почему мне не остается ничего иного, как считать себя русским интеллигентом. У меня просто нет другого выхода.

При таком самоощущении (самосознании), казалось бы, естественно было мне в 49-м году, когда началась газетная травля «безродных космополитов», прореагировать на эту – первую в моей жизни – широкоую волну государственного антисемитизма так, как отреагировал на нее Б.Л. Пастернак: «А при чем тут я? Какое все это ко мне-то имеет отношение?»

Но для того чтобы в такой момент отстраниться, дистанцироваться от тех, кого лупят, нужна была незаурядная смелость, которой я не обладал. Не говоря уже о том, что, будь я даже не евреем, а стопроцентным русским (так, во всяком случае, мне тогда казалось), я тоже не мог бы сказать, что «все это» меня не касается. Это было бы просто неприлично.

Но сейчас я говорю о другом. А если – совсем честно? Наедине с собой? Если скажу (не публично, даже не вслух, а – только себе), что никакой я, в сущности, не еврей и ничего меня с «ними» не связывает? Правда это будет – или ложь?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо очень глубоко заглянуть в себя. Не знаю, удастся ли.

Но – попробую.

3

В начале 60-х случилось мне в Малеевке целый месяц сидеть за одним столом с пожилым поэтом Павлом Железновым. Это, как вы, конечно, догадываетесь, псевдоним. А настоящая его фамилия, которую никто (может быть, даже и он сам) уже не помнил, наверняка была какая-то еврейская. Об этом с очевидностью говорила его внешность. Ну а кроме того, всезнающий Семен Израилевич Липкин сообщил мне, что этот пожилой поэт был отпрыском какой-то богатой еврейской семьи. Году в восемнадцатом или девятнадцатом, пятнадцатилетним подростком, сбежал из дому. Года полтора беспризорничал. А потом – уже на этой основе – сварганил себе новую биографию, а заодно и новое – пролетарское – происхождение.

Как выяснилось из наших с ним разговоров, не только пролетарское.

Говорили мы с ним за столом – как все тогда – в основном о политике. Я пощипывал Сталина. Он – с некоторой долей осторожности, конечно, – Хрущева.

И вот однажды, выйдя к обеду, он выдал мне такую домашнюю заготовку.

– Вот вы меня сталинистом считаете. А ведь мне в те времена тоже несладко приходилось. В тридцать седьмом году про меня распустили слух, что я будто бы еврей.

– Про меня этот слух распустили в двадцать седьмом году, – усмехнулся я. – И, как видите, ничего, жив.

Этим своим находчивым ответом я был очень доволен. Но, по правде говоря, сказал я это – просто так, для красного словца.

Я ведь был убежден, что не то что в двадцать седьмом, но даже и в тридцать седьмом году так называемый пятый пункт не играл в жизни советских людей сколько-нибудь существенной роли. Гораздо важнее тогда был пункт шестой: социальное происхождение. И, ведя все эти разговоры, я был искренне уверен, что впервые столкнуться с тем, что я еврей, мне пришлось уже во взрослом состоянии. Ну, во всяком случае, никак не раньше, чем в сорок пятом, когда мне пришла пора поступать в институт, и – впервые – разнесся слух, что в какие-то элитарные вузы (в МИМО – институт международных отношений, например) евреев не принимают.

На самом деле, однако, с этой проблемой мне пришлось столкнуться (я только об этом не знал) буквально в самые первые дни моего земного бытия.

На восьмой день после моего появления на свет мне полагалось сделать обрезание. Чаша сия, как известно, не минула даже Господа нашего Иисуса Христа. Каждый год в ночь с 31-го декабря на 1-е января мы отмечаем именно это событие. Именно к церковному празднику Обрезания Господня, а отнюдь не к Рождеству, которое, как известно, приходится не на 1-е января, а на 25 декабря, приурочиваем мы начало нового года.

Итак, со мною должны были проделать то же, что 1927 лет назад проделали с Иисусом Христом, а до него и после него, с миллионами других младенцев еврейской национальности.

Но на дворе стоял уже десятый год молодой советской республики, и родители мои жили в Москве, и были они люди вполне свободомыслящие, не соблюдавшие никаких религиозных обрядов, а мама моя, к тому же, была врачом, и она даже помыслить не могла, чтобы какой-то грязный еврей прикоснулся к ее ребенку своим отвратительно негигиеничным ножом, а потом еще – чего доброго – высасывал кровь своими грязными – совсем уже негигиеничными – губами, как это описано в рассказе Бабеля «Карл-Янкель».

Да и не только в гигиене было дело. Разве для того она, закончив с серебряной медалью гимназию в своих родных Черкассах, уехала – одна – из отцовского дома в Одессу и поступила в Новороссийский университет, и не пропустила там ни одной лекции даже в том страшном году, когда город, что ни день, переходил из рук в руки – от немцев к французам, от французам к григорьевцам, от григорьевцев к деникинцам... И все это для того, чтобы теперь, на десятом году революции, вдруг, ни с того ни с сего, вернуться к каким-то мракобесным средневековым обрядам?

Короче говоря, ни о каком обрезании не могло быть даже и речи.

Но у меня был дед – отец моего отца – (которого я, кстати сказать, ни разу в жизни не видел).

Дед был тоже не шибко верующий – не раввин, не цадик, как у моего друга Эмки Манделя, а самый обыкновенный еврей, музыкант, «клезмер», как это там у них называлось. Может быть, он и в синагогу даже не ходил, а если ходил – так только по самым большим праздникам. Но – тем не менее – представить себе, что его внук – первенец его старшего сына – останется необрезанным, он не мог.

Революция там, советская власть – пожалуйста, он не против. Но тысячелетний обряд должен быть совершен.

Как сказала еврейка из анекдота, которую погромщики хотели изнасиловать, а отец пытался ее отмолить: «Папаша, погром – есть погром!»

Дед написал отцу, что если мне не сделают обрезание, он меня – не то чтобы проклянет, но – не признает. Будет считать байстрюком. (Наверно, было употреблено какое-то другое,

специфическое, сугубо еврейское слово, обозначающее еврейского мальчика, над которым не был совершен необходимый обряд. Но я этого слова не знаю, поэтому пользуюсь единственным пришедшим мне в голову русским аналогом.)

Дело, впрочем, обстояло, кажется, даже еще хуже. В случае, если я останусь байстрюком, дед как будто грозился даже, что и брак моего отца с моей мамой он тоже не будет признавать. (Довольно с него того, что они не венчались в синагоге, как подобает порядочным людям, а просто расписались в ЗАГСе.)

Отец мой, как я уже говорил, был очень хорошим сыном. И противиться воле родителя, к тому же высказанной в столь непреклонной форме, он не мог.

Были там какие-то душераздирающие сцены. Мыть рыдала. Отец тоже сперва пытался переубедить деда. А время шло. Был уже далеко не восьмой день, прошло, кажется, даже два или три месяца. С каждым уходящим днем жуткий кровавый обряд становился для мамы все страшнее: ребенок ведь уже что-то такое сознает... Как-то перенесет он эту страшную операцию?

В конце концов компромисс был найден.

То, что надо было отрезать, мне отрезали. Но сделано это было врачом, в больнице, в сугубо гигиенических условиях, тщательно продезинфицированными хирургическими инструментами. Маму убедили, объяснив ей, что такую операцию часто делают отнюдь не по религиозным, а по чисто медицинским показаниям и что операция эта – в будущем – избавит меня от многих неприятностей.

С этой коллизией – и с этими аргументами – мне еще предстояло столкнуться в будущей, взрослой моей жизни. И даже не однажды, а – дважды.

Первый раз дело касалось моего сына, второй раз – внука.

О сыне, впрочем, я даже и не знал: узнал потом, – так сказать, постфактум, – что разговор на эту тему (чего я даже и вообразить не мог), оказывается, имел место. И завела его – вот уж, поистине, неисповедимы пути Господни! – моя теща.

Теща моя, Анна Макаровна Кононенко, мало того, что была она чистокровная украинка, имела еще несчастье с середины двадцатых годов состоять в рядах ВКП(б). То есть она бы-

ла, как это тогда называлось (не совсем тогда, название это возникло чуть позже), ветераном партии.

Не могу тут не пересказать (совсем коротко) один забавный сюжет, связанный с этим ее ветеранством.

Выйдя на пенсию, теща стала секретарем парторганизации ЖЭКа. Однажды, разглядывая старенький альбом с ее фотографиями разных лет, я обратил внимание на большое групповое фото. Это был, как я сразу понял, весь партийный актив ЖЭКа, в полном составе. В центре стояла наша Анна Макаровна в парадном своем пиджаке, увешанном всеми заслуженными ею за долгую жизнь орденами и медалями. А рядом с ней – какой-то мужик, лицо которого показалось мне удивительно знакомым.

– Анна Макаровна! А это кто? – спросил я у тещи.

Она ответила:

– Это мой лучший пропагандист.

Такое объяснение, как вы понимаете, решительно ничего мне не говорило. А между тем я был уверен, что не ошибся, что физиономию этого ее «лучшего пропагандиста» я уже где-то видел. И даже, наверно, не один раз.

– А как его фамилия? – спросил я.

– Кириченко, – так же буднично ответила теща.

Она, судя по всему, совсем забыла (а может быть, даже и не знала?), кем был этот ее лучший пропагандист в не такие уж давние годы. А был он членом Политбюро и секретарем ЦК. Вторым – после Хрущева – человеком в государстве. Когда Хрущев ездил в Америку стучать башмаком по столу заседаний в Организации Объединенных Наций, Кириченко оставался в Кремле за Первого.

И вот – *sic transit gloria mundi!* – даже секретарь парторганизации, в которой он состоит, моя Анна Макаровна, – знать не знает и помнить не помнит о его былом могуществе...

Так вот, эта самая моя теща, ветеран партии и секретарь парторганизации ЖЭКа, как потом рассказала мне жена, когда родился наш сын, высказала робкое предположение, что если уж случилось так, что внук ее родился от еврея, а евреи на протяжении тысячелетий совершают над своими младенцами мужеска пола такую операцию, так не лучше ли и ему (внуку то

есть) на всякий случай тоже сделать все, что полагается. Потому как, если не сделать этого, не вышло бы потом ему (внуку) от этого какой-нибудь беды.

В основе этой идеи лежала, разумеется, не вера в спасительную силу религиозного обряда. Скорее тут сказалось влияние модных тогда идей академика Лысенко, хотя, если исходить из теорий этого народного академика, у вновь рождающихся еврейских младенцев за долгие годы совершения этого обряда крайняя плоть давно должна была бы уже сама атрофироваться.

Но так глубоко моя теща не копала. Она просто хотела оградить внука от каких-то возможных будущих неприятностей, чем и поделилась с дочерью. А та (за моей спиной), в свою очередь, высказала эту идею деду, то есть моему отцу.

Тот, разумеется, и слышать не хотел ни о чем подобном. А мама, которую, узнав об этом, я спросил про его реакцию, сказала:

– О чем ты говоришь! Он до сих пор не может забыть твои глаза в тот момент, когда тебе делали эту проклятую операцию. Этот, как он говорил, застывший в них немой вопрос: за что?!

Но того, что так легко удалось избежать моему сыну, не удалось – двадцать восемь лет спустя – избежать моему внуку.

Ему эту «проклятую операцию» пришлось-таки сделать. Разумеется, уже по чисто медицинским показаниям. (Черт его знает! Может быть, теща была права?!)

Медицинские показания возникли сразу, но сперва нас уверили, что можно ограничиться паллиативом – так называемой «обводкой». Что и было сделано. Мальчику тогда еще не было года, во всяком случае, – это я точно помню, – разговаривать он еще не умел: так, два-три слова. Но этот ограниченный запас слов не помешал ему довольно-таки красноречиво выразить все, что он при этом чувствовал.

Я вернулся домой, когда дело было сделано. Все слезы и крики были позади. Новоиспеченная бабушка (моя жена) ходила по комнате, держа уже притихшего ребенка на руках и изо всех сил прижимая его к груди. Я подмигнул ему и с нарочитой бодростью спросил:

– Ну что, Миша?

Он посмотрел на меня – вероятно, теми же самыми глаза-

ми, какими я в тот ответственный момент своей жизни глядел на отца – и произнес только одно слово:

– Пипка.

Но никаких других слов больше и не надо было. Все, что надо было сказать, было сказано.

«Обводка», однако, не помогла. Мальчишке было, наверно, уже лет шесть, когда врачи сказали, что операцию придется все-таки делать по полной программе. И сделали. Разумеется, в больнице. К счастью (медицина со времен моего детства, как видно, сильно продвинулась в этом отношении) – под наркозом. Так что – особых трагедий не было.

А вскоре – почему-то вышло так, что это совпало во времени, – его крестили.

Крестила его моя невестка примерно по тем же соображениям, по которым моя теща предлагала обрезать моего сына. Так сказать, на всякий случай.

Тут сработал мощный материнский инстинкт, с «беспринципностью» которого я уже столкнулся однажды.

Было это так.

Давным-давно, когда мы жили еще в коммуналке, заглянул к нам как-то вечером Фазиль Искандер. Сели мы, как водится, за стол, и вдруг жена моя говорит:

– Ты уж извини, Фазиль, может, для тебя это будет чересчур остро. Но я, ты знаешь, очень люблю чеснок. И кладу его всегда – без всякой меры.

– Прекрасно! – сказал Фазиль. – Я тоже очень люблю чеснок. У нас в Абхазии все любят чеснок. Мало сказать, любят. У нас там к чесноку – особое отношение. Когда я первый раз уезжал в Москву, мать даже сунула мне в карман головку чеснока. На счастье.

Засиделись допоздна. А утром, подойдя к кровати, на которой спал мой маленький сын (ему было тогда года четыре), я обнаружил вывалившуюся у него из-под одеяла головку чеснока. Под впечатлением фазилевского рассказа жена перед сном сунула-таки ее ему под подушку – на счастье.

Думаю, что и невестка моя решила крестить моего маленького внука по этой же самой причине: крестильный крестик, полученный им, был для нее чем-то вроде талисмана, данного

ему на счастье, – чем-то вроде вот этой самой, положенной под подушку головки чеснока.

Во всяком случае, после того как обряд крещения был совершен, все о нем тут же и забыли. Только внук, вернувшись домой из Рузы, где все это произошло, кинулся ко мне с возгласом:

– Дед, меня крестили! Ты недоволен?

Невестка не однажды могла слышать ядовитые мои отклики об этом массовом нынешнем поветрии, об оголтелых христианах-неофитах, адептах, как говорил о них покойный Боря Слуцкий, злобно-христианского направления. Вот она и решила, что совершенный без моего ведома православный обряд вызовет сильное мое неудовольствие.

Но я, разумеется, никакого недовольства выражать не стал, сказал только, что сейчас ему думать об этом еще рано – вырастет и сам решит, надо ему это или не надо.

Сейчас нашему Мише двадцать лет, и, по-моему, плевать он хотел на оба эти обряда. (Что мне, кстати сказать, очень нравится.)

Что же касается меня, то на мою последующую жизнь совершенная надо мной по настоянию деда медицинская операция никакого влияния не оказала.

А могла ведь оказать!

Случись мне родиться всего на два-три года раньше да оказаться в плену или на территории, оккупированной немцами, эта маленькая недостача кусочка крайней плоти могла стоить мне жизни.

Впрочем, меня, наверно, и без этого вычислили бы.

Аркадий Тимофеевич Аверченко, когда его как-то спросили, не еврей ли он (ходят, мол, такие слухи), юмористически вздохнул:

– Опять раздеваться!

Мне, чтобы определили мою национальную принадлежность, даже и раздеваться бы не пришлось: сработало бы пресловутое сходство с Генри Киссинджером.

Но какие-то разговоры на эту щекотливую тему в моем детстве, помнится, были. Однажды отец рассказал при мне – мне было тогда лет, наверное, девять – такую душераздирающую

историю. Служил в царской армии капельмейстером (как и мой отец) один известный музыкант «из евреев». (Даже фамилию его сейчас вдруг вспомнил: Чернецкий.) Был он гораздо старше отца, и заслуг (и музыкальных, и служебных) было у него тоже существенно больше. И дослужился он до генеральского чина. Во время Гражданской войны служил он уже в Красной Армии, и был с ним, в его музыкантской команде, его старший сын. И вышло так, что вся их часть попала в плен – то ли к петлюровцам, то ли к махновцам. Генерала – он был человек довольно известный – узнали и сразу от толпы других плененных отделили. А с толпой стали разбираться, выдергивая из нее евреев. И среди прочих – выдернули и генеральского сына.

Тот, естественно, стал доказывать, что никакой он не еврей. Но парня быстро освидетельствовали, уверились, что худшие подозрения полностью подтвердились, и тут же изготовились отправить его вместе со всеми прочими жидами в расход. И тогда, в приступе смертельного страха, он кинулся к отцу:

– Папа!

Но папа даже и бровью не повел. Пожал плечами – не знаю, мол, кто такой. Первый раз вижу. И отвернулся. И мальчика расстреляли.

Не могу сказать, чтобы эта история произвела на меня особенно сильное впечатление. Гражданская война была для меня тогда таким же далеким прошлым, как какая-нибудь Пуническая. Во всяком случае, со мной ничего подобного произойти, разумеется, не могло. Да и мой папа в таких обстоятельствах, конечно, никогда не повел бы себя так подло, как тот генерал.

Однако же почему-то историю эту я все-таки запомнил. Генерал же как служил, так и продолжал служить в Красной Армии, и в чинах, может быть, даже еще более крупных, чем прежде.

Сейчас, вспомнив эту историю, я – при всей ее драматической исключительности – воспринимаю ее как подлинную. (Накладывается весь опыт последующей нашей жизни). Но тогда она воспринималась мною как литература. Что-то вроде «Тараса Бульбы».

Думаю, что не совру, если скажу, что еврейская тема, кото-

рая время от времени возникала, конечно, в разговорах взрослых, целиком и полностью воспринималась мною тогда как тема сугубо литературная. К жизни, к повседневной нашей жизни отношения не имеющая.

Это, впрочем, относится не только к еврейской теме.

Но тут надо еще раз напомнить, что мир литературных образов и картин, в который я был погружен с головой, был для меня тогда гораздо реальнее, чем та жизнь, которая шла за стенами нашей квартиры и о которой я знал, в сущности, очень мало.

Огромную роль тут играла задуренность моего сознания гипнотическим воздействием революционной идеологии. Но не меньшую – а может быть, даже и большую – роль играло и то, о чем сказала в одном коротеньком своем стихотворении давняя моя приятельница Юля Нейман.

Но сперва – несколько слов о Юле: она этого заслуживает.

В «Пионере», где я с ней познакомился, она была «палочкой-выручалочкой»: писала всю так называемую «обязаловку», то есть статьи и очерки на все обязательные темы – те, что пишутся и печатаются не для читателя, а для начальства. Любую такую, самую казенную статью Юля хитрилась написать живо, простым, человеческим языком. Поэтому, когда возникала нужда в каком-нибудь таком материале, для которого трудно было сыскать автора, все – в один голос – говорили: «Это надо заказать Юле». И Юля выполняла любой заказ – всегда на высоком профессиональном уровне, будь то популярный очерк о том, например, как работает почта, или очередная какая-нибудь бодяга на «пионерскую тему».

Я заказывал Юле статьи и очерки о классиках мировой литературы: о Диккенсе, о Гейне... На этих заказах она отдыхала душой, и, наверно, поэтому мы с ней сразу подружились.

Впрочем, не только поэтому. И – не совсем сразу.

Сперва я ее, скорее, чуждался. Уж очень не похожа она была на наших свойских «пионерских» дам, с которыми у меня сразу установились простые и добрые отношения.

Когда мне было лет восемь-девять, наткнувшись в какой-то книге на выражение «дама легкого поведения», я спросил у отца, что это значит.

– Так говорят обычно о женщинах, – нашелся отец, – которые безвкусно одеваются.

– Как это – безвкусно? – не понял я.

Отец пояснил:

– Ну, слишком ярко, крикливо.

Юля одевалась именно так.

Бывало, когда она появлялась у нас в редакции в каком-нибудь этаким алом полупальто или в ярко-голубой или ярко-зеленой новой шляпе, «пионерские» наши дамы иронически переглядывались и вздыхали: все они любили Юлю, прощали ей эту маленькую слабость, но сдержать своих чувств не могли. Сами они предпочитали унылые, блеклые тона – тот «скромный» советский стиль одежды, который я, издеваясь над своей женой, когда она норовила одеться таким вот образом, называл: «Тюрьма и ссылка».

При всем моем отвращении к этой унылой серости, экстравагантные Юлины одежды все же меня шокировали. И, вероятно, поэтому на первых порах я ее слегка сторонился.

Но очень быстро выяснилось, что при всей разделяющей нас разнице не только вкусов, но и лет (Юля была существенно меня старше; отчасти, вероятно, и поэтому меня шокировали ее яркие одежды: помимо всего прочего, они, на мой взгляд, были ей не по возрасту), – при всех этих весьма существенных различиях, у нас с ней была, что называется, одна группа крови.

Выяснилось это легко и просто. Тут ведь много не надо: одна какая-нибудь строка Пастернака, подхваченная и продолженная следующей строкой, – и все. Это – как пароль, как классическая формула моего любимого Маугли: «Мы с тобой одной крови».

С «пионерскими» дамами, как я уже сказал, отношения у меня установились простые и даже вполне доверительные. Даже в разговорах на политические темы я был с ними довольно откровенен. Но эта откровенность имела все же свой предел. С Юлей же моя откровенность (как и ее со мной) была беспредельна.

Однажды, помню, она подрядилась сочинить какую-то очередную «заказуху» к очередной годовщине Великого Октября.

Мы сидели вдвоем в моем крохотном кабинетике и говорили по обыкновению о чем-то своем – наверно, о поэзии. И вдруг Юля вспомнила об этом заказе, от которого ей нельзя было отказать. Она прямо вздрогнула от отвращения и, хоть и с всегдашней своей иронической усмешкой, но как-то очень поженски, жалобно протянула:

– Я вся не хочу!

– Ну, Юля. – сказал я. – Не в первый же раз. В конце концов, вы же профессионал.

И тогда она – в ответ – рассказала мне такой анекдот.

В первые годы революции знаменитая на весь Петроград минетчица жалуется, что ее вызывают к себе для услуг разные видные большевики, а иногда даже и наркомы.

– Помилуйте, – говорят ей. – Но ведь это же ваша профессия. Ведь вы и раньше, до революции, этим занимались.

– Да, – отвечает она. – Но раньше меня никогда не заставляли при этом петь «Интернационал».

Никому из «пионерских» дам, я думаю, Юля не посмела бы рассказать этот анекдот, хотя со многими из них она была знакома и даже дружна с незапамятных времен.

Ну а уж когда разразился скандал вокруг пастернаковской Нобелевской премии, ни с кем в нашей редакции кроме меня не могла она по-настоящему отвести душу. Да и я тоже, хоть своего отношения к помоям, которыми всенародно поливали Бориса Леонидовича, не скрывал, полностью, на всю катушку откровенничал на эту тему только с ней, с Юлей.

Кстати, именно Юля – еще до скандала – принесла и дала мне на несколько суток переплетенную рукопись крамольного романа, не очень при этом скрывая, что получила ее – может, и не прямо из его рук, но – от самого автора.

Так вот, эта самая Юля прочла мне однажды такое свое стихотворение:

И хоть во мне горямя горит Восток
Настырной мыслью и тоской бесцельной,
Но все же «котик, серенький хвосток»
Меня баюкал русской колыбельной.

А кто привержен к слову – для того
Язык по силе не уступит крови,
Обязывая больше, чем родство,
Затем, что изначально мира – в Слове.

Ко мне сказанное здесь относится в полной мере. Разве только с не слишком существенной поправкой на то, что во мне никогда не «горел горьмя Восток», и колыбельную мне мама пела, скорее всего, другую. Что-нибудь вроде: «Спи, моя радость, усни...»

Но та ли, другая колыбельная, а пели мне ее, как и Юле, на русском языке.

Однако сходство (даже тождество) мое с лирической героиней этого Юлиного стихотворения не столько даже в этом, сколько в том, что я – как и она – с самого раннего детства был «привержен к Слову». Привержен настолько, что слова заглохли от меня действительность.

Я очень хорошо помню, как это началось.

4

«Мама, чатай!» – передразнивал меня отец. Это была самая любимая его дразнилка.

Книги я любил с самого раннего детства. Но сам читать не любил. Предпочитал, чтобы мне читали.

Родители думали, что я ленюсь. Но это была не лень.

Пожирателем книг я стал задолго до того, как научился читать самостоятельно. Мне хотелось проглотить книгу сразу, залпом, захлеб. Но сам я, научившись читать довольно рано, читал очень медленно. Во всяком случае, гораздо медленнее, чем мне бы хотелось. Желания мои сильно опережали мои возможности. И поэтому я постоянно ходил за мамой и приставал к ней, канючил:

– Ма-ам, читай!

И мама никак не могла от меня отвязаться. Стыдила меня, говоря, что я уже большой мальчик и должен читать сам, но – в конце концов уступала.

И вот однажды, поддавшись моим уговорам, она открыла

новую, только что купленную книгу – помню ее большой, даже огромный, как мне тогда казалось, формат, коричневый переплет, отчетливо помню все рисунки в тексте, помню чуть ли не каждую ее страницу. (Еще бы мне этого не помнить! Ведь мало того, что именно ей суждено было стать первой книгой, прочитанной мною самостоятельно: на долгие годы стала она самой главной, самой любимой моей книгой, читавшейся и перечитывавшейся постоянно.)

Это был Киплинг: «Маугли».

Присев со мною на диван, мама начала читать и терпеливо дочитала до того момента, когда Багира заплатила за Маугли выкуп (убитого ею быка), и волки приняли человеческого детеныша в свою стаю.

Злобный Шер-Хан несолоно хлебавши убрался восвояси. Маугли остался с Багирой, с заступившимся за него на Совете медведем Балу, с Акелой, с Отцом Волком, Волчицей-матерью и серыми своими названными братьями – волчатами.

Мне не терпелось узнать, что же будет дальше с принятым в волчью стаю человеческим детенышем.

Но мама тут поступила, как мне тогда показалось, в высшей степени коварно. Прочитав короткую фразу, которой начиналась следующая глава, она вдруг закрыла книгу и сказала:

– Ну, все. На сегодня хватит.

И на все мои уговоры отвечала:

– Нет-нет, сыночка, больше не могу. Мне некогда.

Может быть, как это нередко случалось, я и в этот раз дотерпел бы до лучших времен, когда у мамы нашлось бы время читать захватившую меня книгу дальше. Но этому помешала фраза, на которой мама оборвала свое чтение и закрыла книгу.

Фраза была такая: «Теперь вам придется пропустить десять или одиннадцать лет...»

Не знаю, что тут со мной случилось. То ли я не расслышал толком слово «пропустить», то ли был настолько глуп, что просто не уловил смысл этого словесного оборота. Но понял я это так, что мне теперь придется ждать десять или одиннадцать лет, прежде чем я наконец узнаю, что же там случилось дальше с этим усыновленным волками человеческим детенышем.

Смириться с такой ужасной перспективой я, разумеется, не мог.

Я раскрыл книгу, нашел ту злополучную фразу, на которой мама прервала свое чтение, и медленно, но упорно стал дальше читать сам. И не оторвался, пока не дочитал всю эту великую книгу до конца. Уж не помню, сколько у меня на это ушло времени: день, два или больше. Но твердо помню, что с просьбами читать вслух я после этого уже никогда и ни к кому не обращался. И противная отцовская дразнилка: «Мама, чатай!» умерла, таким образом, естественной смертью.

Дальше покатило – как с горы. Я не отрывался от книги ни на минуту: читал за едой, хоть мне говорили, что это неприлично, читал лежа, хоть мне твердили, что это вредно для глаз, читал в полутьме, а иногда, когда родители, отчаявшись справиться со мной, выключали свет, – укрывшись с головой одеялом, при слабом свете карманного электрического фонарика.

За эти свои – дошкольные и первые школьные – годы я проглотил горы книг. Многие из них тоже стали моими любимыми, и я перечитывал их по многу раз. Но «Маугли» и среди них занимала особое место.

Теперь, припоминая все мои тогдашние ощущения, я вдруг поймал себя на том, что, помимо всего прочего, это была единственная из всех моих детских книг, которая – уже тогда, – нет, именно тогда – связалась для меня с моим еврейством.

В этом была какая-то странность. И даже не одна, а по меньшей мере несколько странностей.

Первая странность состояла в том, что никакого – даже самого микроскопического касательства к еврейской теме книга эта не имела. Даже самое это слово в ней не упоминалось ни разу.

В то же время во многих других книгах, бывших тогда моими любимыми, тема эта нет-нет да и возникала.

Правда, в тех книгах, которые утверждали и подтверждали тождество того мира, в котором я жил, с миром «Страны Гайдара» (или, по крайней мере, не ставили это тождество под сомнение), эта тема возникала, как правило, лишь в каком-то несерьезном, чаще всего даже юмористическом преломлении.

Например, вот так:

— Тю!.. Шарик... Тю!.. Вон идет сюда известный фашист, бело-огвардеец Санька. погоди, несчастный фашист. Мы с тобой еще разделаемся...

— Постой, Пашка, — сказал я. — Может быть, ты ошибся? Какой же это фашист?.. Ведь это просто-напросто Санька Карякин, который живет возле того дома, где чьи-то чужие свиньи в чужой сад на помидорные грядки залезли.

— Все равно белоогвардеец, — упрямо повторил Пашка. — А если не верите, то хотите, я расскажу вам всю его историю?

Тут нам со Светланой очень захотелось узнать всю Санькину историю...

— ... Есть в Германии город Дрезден, — спокойно сказал Пашка, — и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице работает, а Берта с нами играет. Только сейчас она в деревню за молоком побежала. Так вот, играем мы позавчера в чижа: я, Берта, этот человек, Санька, и еще один из поселка. Берта бьет палкой в чижа и попадает нечаянно этому самому Саньке по затылку, что ли...

Он сначала на нее с кулаками, а потом ничего. Приложил лопух к голове — и опять с нами играет. Только стал он после этого невозможно жулить. Возьмет нашагнет лишний шаг, да и метит чижом прямо на кон... Ну вот. Метнул он чижа, а Берта как хватит палкой, так этот чиж прямо на другой конец поля, в крапиву перелетел. Нам смешно, а Санька злится. Понятно, бежать ему за чижом в крапиву неохота... Перелез через забор и орет оттуда: «Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!» Поднял я тогда с земли камень, сунул в карман и думаю: «Ну погоди, проклятый Санька! Это тебе не Германия. С твоим-то фашизмом мы и сами справимся!»

Выслушав от Пашки Букамашкина эту грустную историю, герои гайдаровской «Голубой чашки», понятное дело, очень огорчились.

— Папа, — сказала она мне. — А может быть, он вовсе и не такой уж фашист? Может быть, он просто дурак? Ведь правда, Санька, что ты просто дурак? — спросила Светлана и ласково заглянула ему в лицо.

В самом конце рассказа на мгновение снова появляются «известный фашист Санька», Пашка Букамашкин и приехавшая из Германии девочка Берта. (Вернее, даже не появляются — мы только слышим их голоса.) И предположение маленькой Светланы, что Санька Карякин «вовсе и не такой уж фашист», полностью подтверждается:

Возле мельницы мы спрыгнули с телеги.

Слышно было, как за оградой Пашка Букамашкин, Санька, Берта и еще кто-то играли в чиж.

— Ты не жульничай! — кричал Берте возмущенный Санька.
— То на меня говорили, а то сами нашагивают.

— Кто-то там опять нашагивает, — объяснила Светлана, — должно быть, сейчас снова поругаются. — И, вздохнув, она добавила: — Такая уж игра!

Этот свой рассказ — «Голубую чашку» — Гайдар написал в 1936 году. И события, о которых рассказывает тут автор, происходили, надо думать, в это самое время. А спустя всего-навсего пять лет, в 41-м, у жены Гриши Свирского Полины немцы убили всю ее семью: родителей, бабу и деда, сестер, братьев.

В живых остался только самый младший ее братишка. Какие-то сердобольные соседи спрятали его.

Но уцелеть и ему не удалось.

Его выдала немцам молодая девушка, комсомолка, бывшая его пионервожатая. Сообщила, что там-то, мол, и там-то уцелевший еврейчик прячется.

Ну, немцы — люди аккуратные: пошли, взяли, увезли. А был этот Полин младший брат того же возраста, что гайдаровские Санька Карякин и Пашка Букамашкин. И пионервожатая, выдавшая на смерть младшего Полиного брата, тоже, конечно, была «вовсе не такая уж фашистка».

Вернемся, однако, в год 1936-й.

Точно так же – «в тоне юмора» – возникала сперва еврейская тема в другой любимой книжке моего детства – «Кондуите и Швамбрании» Льва Кассиля.

Маленький Оська спрашивает у старшего брата: что такое еврей? Тот отвечает:

– Ну, народ такой... Бывают разные. Русские, например, или вот дошлые. Дошный народ, папа говорит, есть...

В процессе этой – сразу комически начавшейся – беседы Оська узнает, что и он, и его старший брат Леля, и его папа – евреи. Он поражен открытием. Засыпая, уже сквозь сон, он спрашивает:

– Леля!

– Ну?

– И мама – еврей?

– Да. Спи.

И уже совсем поздно, когда возвращаются домой из гостей родители, проснувшийся Оська (он, видно, и во сне не переставал думать о сделанном им открытии) завершает тему, задав спросонья свой последний вопрос:

– Мама, а наша кошка – тоже еврей?

Но были в книге Кассиля и совсем другие эпизоды, в которых эта проклятая еврейская тема решалась уже далеко не так легко и благостно.

Помню, например, такую сцену.

В гимназии, где учится маленький Леля, на уроке истории учитель вдруг заводит речь о немцах (идет уже Первая мировая война), которые кровожадностью и зверством превзошли даже прославившихся своей бесчеловечностью мусульман. А в классе – несколько мальчиков-немцев. И весь класс, слушая эти речи учителя, с холодной жестокостью смотрит на них. И тут один из них говорит:

– А еврей? Ведь правда же, они тоже кровожадны? И продают Россию...

Теперь весь класс оборачивается на Лелю. А он краснеет так мучительно, что ему кажется, будто хлынувшая в лицо кровь вот-вот прорвется сквозь кожу щек наружу.

Еврейскую тему учитель не поддерживает. «Это не относится к уроку», – уклончиво говорит он. Но после урока, во время

большой перемены на доске появляются крупные надписи мелом: «Бей немчуру!», «Все жиды – изменники!»

А в начале следующего урока – закона Божия – в класс входит инспектор. Он подходит к Лелиной парте и, стоя за его спиной, возглашает: «Язычники, изыдите!.. Дежурный, изгони нечестивых из храма!»

И Леля вместе с немцами понуро покидает класс.

Эпизод этот я, как видите, запомнил во всех подробностях. Но при этом очень хорошо помню, что эмоционально он меня никак не задел. То есть – задел, конечно. Но – как литература. Правильнее даже будет сказать так: он не задел меня как еврея. Ко мне – ко мне лично! – это не имело никакого отношения. Ведь все это происходило до революции. А я жил совсем в другое время, в совсем другой стране, где ничего похожего произойти, конечно, не могло.

И точно так же совсем не задело меня как еврея уже упоминавшееся мною на этих страницах описание еврейского погрома в повести Катаева «Белеет парус одинокий».

Да что – Катаев! Ведь одной из любимейших моих книг был гоголевский «Тарас Бульба», где самый что ни на есть настоящий еврейский погром описывается – в отличие от Катаева – без тени сочувствия к несчастным его жертвам и даже не без некоторого веселого злорадства:

– Как? чтобы запорожцы были с вами братья? – произнес один из толпы. – Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр их, панове! Всех потопить, поганцев!

Эти слова были сигналом. Жидов расхватили по рукам и начали швырять в волны. Жалкий крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе.

В книге, которую я только что упомянул, – «Кондуите и Швамбрании» Льва Кассиля – рассказывается, каким страданием для ее героя было первое его соприкосновение с этой лихой и веселой гоголевской сценой:

Шли занятия по выразительному чтению. В классе по очереди читали «Тараса Бульбу». Мне досталось читать место, где

запорожцы кидают в Днепр ни в чем не повинных евреев, а те тонут... Мне до слез было жалко несчастных. Мне было тошно читать. А весь класс, обернувшись ко мне, слушал, кто просто с жестоким любопытством, кто с нахальной усмешкой, кто с открытым злорадством. Ведь я, я тоже был из тех, кого топили веселые казаки... Меня осматривали как наглядное пособие. А Гоголь, Гоголь, такой хороший, смешной писатель, сам гадко издевался вместе с казаками над мелькавшими в воздухе еврейскими ногами. Класс хохотал. И я почувствовал, что тону в собственных слезах, как евреи в Днепре.

— Я... не буду читать больше, — сказал я учителю Озерникову, — не буду. И все!.. Гадость! Довольно стыдно Гоголю так писать.

— Ну, ну! — заорал грубый Озерников. — Критику будем проходить в четвертом классе. А сейчас заткни фонтан.

И я заткнул фонтан.

К стыду своему, должен признать, что, в отличие от Кассия (переживания его маленького героя — это, конечно, его собственные детские переживания), читая гоголевского «Тараса Бульбу», я ничего подобного не испытывал.

То есть я, конечно, сочувствовал Янкелю. Но сочувствовал ему гораздо в меньшей степени, чем спасшему его от жестокой расправы Тарасу. По-настоящему я сочувствовал (сопереживал) не ему, а именно Тарасу. А еще больше — влюбившемуся в прекрасную полячку и за это беспощадно убитому Тарасом Андрию.

И точно так же было, когда я читал «Белеет парус одинокий» Катаева. Да, конечно, я сочувствовал еврейскому мальчику, прятавшемуся от погромщиков в квартире Пети Бачея. Но себя с этим еврейским мальчиком не ассоциировал. Даже имя его вспомнил сейчас с некоторым трудом: Ньюма Коган, вот как его звали! Вспомнить-то вспомнил, но — и только! Ни на одну секунду, читая книгу Катаева, я не ощутил себя этим Ньюмой Коганом, не побывал в его шкуре. Я был — Петей. Только Петей.

Вот так же обстояло дело и с гоголевским Янкелем.

Может быть, сейчас я — для пущего, что ли, художественного эффекта, — слегка даже и преувеличиваю свое тогдашнее равнодушие к этому гоголевскому персонажу. Но одно я могу

сказать совершенно точно: ни при какой погоде не мог бы я почувствовать то, что чувствовал герой кассилевского «Кондуита»: «Ведь я, я тоже был из тех, кого топили веселые казаки...»

Может быть, я не мог чувствовать так, потому что мне не пришлось читать эту сцену из «Тараса Бульбы» вслух – перед всем классом. И одноклассники не рассматривали меня как наглядное пособие, не глядели на меня – кто с жестоким любопытством, кто с нахальной усмешкой, кто с веселым злорадством.

Я «Тараса Бульбу» читал дома, уютно устроившись у себя за шкафом, и был он для меня – как «Том Сойер», как «Гекльберри Финн», как «Принц и нищий», как «Айвенго». Может быть, только поэтому, читая его, я получал удовольствие, а не испытывал ту муку мученическую, те страдания – физические и нравственные, – какие испытывал герой «Кондуита»?

Да, наверно, и поэтому. Но главным образом все-таки потому, что от этих переживаний я был защищен той прочной броней, какой было для меня мое гражданство, моя принадлежность к безнациональному народонаселению «Страны Гайдара».

Была, правда, в моем детстве книга (тоже из числа самых любимых), читая которую, я ощущал и осознавал себя еврейским мальчиком. Это был «Мальчик Мотл» Шолом-Алейхема. Читая ее, я, конечно, был Мотлом. Но ведь точно так же, читая «Детство Темы» Гарина, я был – Темой, погружаясь в «Детство Никиты» А.Н. Толстого – Никитой, а зачитываясь похождениями Тома Сойера – становился Томом.

Но, превращаясь в Тома Сойера, я ведь не становился американцем. И точно так же, соперживая шоломалейхемовскому Мотлу, я не становился, не осознавал, не ощущал себя евреем. Лишь много позже, перечитывая эту книгу уже, так сказать, во взрослом состоянии, я в полной мере почувствовал и оценил все ее еврейские краски – ту грустную еврейскую иронию, которой пронизана вся эта книга, начиная с самых первых ее слов, с названия первой ее главы: «Мне хорошо – я сирота!»

А тогда, в детстве, погружаясь в книгу Шолом-Алейхема и на какое-то время становясь еврейским мальчиком Мотлом, я не ощущал эти свойства еврейского ума и души как свои, кровные, присущие мне, так сказать, по праву рождения.

И только Маугли – только он один из всех любимых моих

книжных героев – натолкнул меня на мысль, что моя причастность к еврейскому племени – не пустяк. Что она – эта причастность – может оказать самое неожиданное, может быть, даже роковое воздействие на всю мою будущую жизнь.

Натолкнул меня на эту мысль не столько сам Маугли и не столько даже его удивительная судьба, сколько одна вырвавшаяся у него горькая фраза:

Волки гнали меня за то, что я человек, а теперь люди гонят меня за то, что я волк.

Почему эта фраза так поразила меня? И поразила не сама по себе, не глубиной мысли и не силой ее выражения, а именно вот тем, что показалась мне имеющей самое прямое и непосредственное отношение ко мне – к моему двойственному, межуточному положению в мире?

Никто, никогда и ниоткуда меня не гнал. Я и с бытовым-то антисемитизмом тогда еще не сталкивался, а уж тем более не мог даже вообразить, что этот бытовой антисемитизм, стократ усиленный, искусственно разжигаемый, сольется с антисемитизмом государственным. И уж совсем неоткуда было мне узнать о существовании еврейских националистов (они появятся еще позже), которые будут «гнать» меня за то, что я русский.

Да и русским я, по правде говоря, чувствовал себя лишь в те редкие минуты, когда, окунувшись по уши в какую-нибудь заграничную жизнь, оказавшись, например, в Париже графа Монте-Кристо или в каком-то из романов Жюль Верна (сейчас уже не помню, в каком) – сталкивался вдруг с ненадолго промелькнувшим там русским персонажем. Простое упоминание русской фамилии обдавало каким-то приятным теплом, словно и впрямь, оказавшись за границей, нежданно-негаданно встретился вдруг с земляком-компатриотом.

Иное дело – в войну.

Когда война вошла в свою основную фазу, то есть когда развеялись (кстати говоря, очень быстро) последние надежды на солидарность с немецкими пролетариями и я совсем привык к мысли, что мы воюем не с «фашистскими захватчиками», а – с немцами, с «фрицами», – вот тут уж я окончательно

но – и как будто с полным на то основанием – почувствовал себя русским.

Но и тут все было не так-то просто. И об этой «непростоте» память моя сохранила одно довольно-таки постыдное (может быть, самое постыдное в моей жизни) воспоминание.

В эвакуации, в Серове, как уже было рассказано, в школе-семилетке, в которую я поступил, отношения с товарищами по классу у меня сложились самые что ни на есть распрекрасные. Национальная тема там вообще не возникала – за исключением одного, вот этого самого случая, о котором я и сейчас – почти шесть десятков лет спустя – не могу вспомнить без стыда.

Не помню сейчас (да это и неважно), то ли классный руководитель, то ли завуч, то ли сам директор школы заглянул однажды в наш класс и быстро потребовал, чтобы каждый из нас назвал свою национальность. Мы – поочередно – вставали и отвечали. Большинство, естественно, оказалось русскими. Немало было и украинцев. Директор (или это был завуч?) быстро отмечал каждый ответ в каком-то своем списке. Совершенно очевидно было, что вся эта процедура носит чисто формальный характер и никому из нас никакими неприятностями не грозит. Когда очередь дошла до меня, я встал и сказал: «Еврей». И хотя мне в тот момент даже и в голову не пришло назваться русским (а это можно было сделать с той же легкостью, с какой я называл себя Феликсом: проверять никто бы не стал), возникло все-таки какое-то неприятное чувство: словно я вдруг на секунду обнажился перед всем классом, открыл какую-то, неведомую им раньше, свою тайну.

Странное чувство это, наверно, сразу же и рассеялось бы. Но тут события вдруг приняли совершенно неожиданный для меня оборот.

За моей спиной, в следующем за мною ряду сидела тихая, застенчивая, некрасивая девочка по фамилии Книсс. Когда очередь дошла до нее, она встала и негромко произнесла:

– Немка.

Сегодняшнему читателю невозможно представить себе, что вместил тогда этот простой и естественный ответ.

Мой литинститутский товарищ Володя Огнев рассказал мне однажды, как его знакомили с Пастернаком. Володя тогда

еще не успел обзавестись псевдонимом, а фамилия его была – Немец. И вот, когда их познакомили, Володя сказал:

– У меня фамилия страшная – Немец.

Борис Леонидович, улыбнувшись и, вероятно, слегка кокетничая, ответил:

– У меня еще страшнее – Пастернак.

Когда их познакомили, может, так оно и было. Но в 41-м, в 42-м назваться немцем было страшнее, чем Пастернаком.

Но Володя был Немец только по фамилии. А одноклассница моя, про которую я рассказываю, была настоящей немкой. И сказать об этом вслух ей, наверно, было труднее, чем Володе произнести свою «девичью» фамилию.

А может быть, я все это выдумываю. Может быть, ей это было нипочем: это я был в той школе новичком. А она училась в ней уже седьмой год, и ее, наверно, уже не в первый раз об этом спрашивали, и ни для кого из ее соучеников этот ее ответ не был новостью.

Как бы то ни было, никто на ее ответ никак не прореагировал. Ни один человек.

Кроме меня.

Услышав, что Книсс – немка, я оглянулся на своего товарища по парте Жорку Калинина и сделал «большие глаза»: ты слышал, мол? Книсс-то наша, оказывается, вон кто!

Жорка в ответ поглядел на меня укоряюще, давая понять, что делать большие глаза в таких случаях неприлично. Ну, немка. Ну и что? Ничего особенного.

Я и сам, конечно, знал, что в том, чтобы быть немцем, даже сейчас, когда идет война с Германией, нет решительно ничего особенного. И если бы перед этим я не был вынужден встать и сказать вслух, что я еврей..

Если бы я на самом деле считал, что в принадлежности этой девочки к немецкой нации есть что-то подозрительное, отделяющее, отчуждающее ее от нас, – это было бы, конечно, очень нехорошо. Но в действительности дело обстояло гораздо хуже.

Этими своими «большими глазами» я как бы давал понять – Жорке, а вместе с ним и всему классу, – что, хоть я и еврей, но по сравнению с Матильдой Книсс, оказавшейся немкой, я

как бы уже и не еврей. То есть что в сравнении с ней все мы – украинцы, татары, евреи – тоже русские.

В той иерархической лестнице наций, которая вдруг выстроилась в результате всех наших ответов, оказалась вдруг самая последняя, низшая ступень. И я радостно дал понять, что я – не на ней, не на этой последней ступени. Я словно бы шепнул классу, как это, бывало, делал Маугли, оказавшись вне своей родной волчьей стаи: «Мы с вами одной крови». Но Маугли своей ритуальной фразой говорил, обращаясь к антилопам, шакалам, кобрам и всякой иной живности, населяющей джунгли, что он им не враг, что он – их «маленький брат». Я же, произнося (мысленно) те же слова, давал понять, что я с ними со всеми одной крови, **в отличие от нее – той, что оказалась немкой.**

Я как бы предлагал им породниться со мною за ее счет. Я ее предавал, топил, чтобы самому удержаться на поверхности. И не принявший этого моего фальшивого удивления недоумевающий взгляд Жорки Калинина мгновенно отрезвил меня. Я, как выразился однажды Александр Сергеевич, почувствовал «подлость во всех жилах» и – устыдился. За что я Жорке до сих пор благодарен. Бог его знает, до чего бы я еще дошел, если бы не тот его отрезвляющий, укоряющий взгляд.

Ну а что касается другой фразы Маугли – той, в которой мне померещилось предвестие истины, коснувшейся меня, – то она и впрямь несла в себе некое пророчество.

Я уже говорил, что никто тогда меня ниоткуда не гнал: ни русские за то, что я еврей, ни евреи за то, что я русский. Тогдашнее мое восприятие горестной реплики человеческого детеныша, выкормленного волчицей и ощущающего себя одинаково «не своим» и в волчьей и в человеческой стае, шло не от жизни, не от моего (пусть маленького, крохотного, но личного моего) опыта, а – от литературы.

Но жизнь потом подтвердила истинность этой литературной фразы, обернутой мною на себя.

В будущей моей жизни меня тоже никто никогда ниоткуда не гнал. Но вот это самое межеумочное (вроде как у Маугли) свое положение между русскими и евреями я ощущал не однажды.

Вот, скажем, совсем недавно. Позвали меня на какую-то выставку еврейской книги в библиотеке Ленина. Не могу сказать, чтобы все это мероприятие – и сама выставка, и выступления, и речи, и заключительный концерт – было так уж мне интересно. Но полужнакомый сотрудник израильского посольства обещал мне переправить по своим дипломатическим каналам несколько моих книг Шурику Воронелю. И я пошел. В зале мне встретился один – тоже полужнакомый – издатель. Помахав издали мне рукой, он подошел поближе и, обменявшись со мной рукопожатием, сказал:

– Я, положим, еврей, а вы-то что здесь делаете?

И я стал зачем-то глупо объяснять, что попал сюда, в сущности, случайно, что вот, надо, мол, передать книги для приятеля, живущего в Израиле.

Знакомый издатель, давший мне понять, что я ненастоящий, плохой еврей, конечно, шутил. Хотя – кто знает?

Долгое время я думал, что и Иосиф Шкловский – мой друг, известный астрофизик – тоже шутит, обращаясь ко мне с одной и той же осуждающей фразой:

– В вашей бескорыстной любви к русской литературе есть что-то ненормальное. Вот увидите, эта любовь вам еще выйдет боком...

Но однажды, когда я, не выдержав, ответил ему на это: «Ведь вы же тоже русский ученый», – он пожал плечами и сказал:

– Звезды принадлежат всем.

И я вдруг увидел, что нет, то была не шутка. Он самым серьезным образом полагал, что не подобает еврею отдать всего себя, целиком, русской литературе – не еврейское это дело.

Как бы то ни было, к этой – дикой для меня! – позиции Иосифа я еще мог относиться юмористически. Но к другому высказыванию на сходную тему, услышанному мною однажды, отнестись юмористически я уже не мог.

Дело было в Коктебеле, куда я любил приезжать поздней осенью, когда уже не надо было бороться с Литфондом за путевку и когда Коктебель был таким же пустынным, каким он бывал лишь во времена Волошина.

При всей своей прелести этот осенний Коктебель таил в себе и некоторую опасность: поздней осенью там бывало иногда

уже довольно холодно. Вот и в этот раз осень выдалась холодная, ветреная. И на всем пляже нас было только трое: Иза Крамов, я и старик Тышлер.

Мы с Изей лежали в плавках прямо на гальке, чуть пригретой бледным осенним солнышком, а Тышлер устроился рядом с нами (точнее – мы рядом с ним) на маленьком складном стульчике. В отличие от нас, он был в теплой куртке. Горло его было замотано шарфом, а на голове красовалась белая кавказская войлочная шляпа.

Время от времени мы с Изей подымались и нехотя (ничего не поделаешь, положение обязывает) шли в море. Побарахтавшись в волнах минут пять (вода была ледяная), возвращались, чтобы вновь улечься у ног старого художника и послушать его рассказы.

И вот в одну из таких пауз между купаньями подползла к нам с соседнего пляжа знакомая женщина, московская моя соседка – Тамара Забелина. Извинившись, что прервала наш разговор, она сказала:

– Бен, я хочу тебя спросить. Ты ведь, наверно, хорошо знаешь...

Она назвала фамилию одного моего коллеги, только что вышедшая книга которого имела довольно шумный успех.

– Да, конечно, – сказал я.

– Расскажи, пожалуйста, какой он, – попросила Тамара.

Я засмеялся, потому что первое, что мне вспомнилось в связи с этим заинтересовавшим Тамару моим приятелем, была одна его реплика, произнесенная не где-нибудь, а – в ЦК КПСС, в очень серьезном и чреватом разными нехорошими для него последствиями разговоре.

Сейчас я уже не помню, зачем вызвали его в это зловещее учреждение и чего там от него потребовали. То ли чтобы он публично отрекся от какой-то своей статьи, покаялся в том, что совершил грубую идеологическую ошибку, то ли – чтобы осудил (то есть – раздолбал, тоже, разумеется, публично) идейно ущербную книгу или статью какого-то своего товарища.

В общем, потребовали, чтобы он совершил какую-то – вполне обычную в те времена – гнусность.

Впрямую отказываться от таких предложений, да еще сде-

ланных в таком учреждении, было тогда, мягко говоря, не принято. В лучшем случае можно было попробовать каким-то хитрым способом от него отмотаться. Но герой этой истории (для удобства изложения буду называть его, скажем, Сашей) отреагировал на гнусное предложение своего чиновного собеседника не по шаблону. Спокойно выслушав его, он спросил:

– Вы помните, что сказал Буратино Мальвине, когда она велела ему почистить зубы?

Нет, Сашин собеседник этого не помнил.

– Я напомню вам, – любезно пришел ему на помощь Саша. – Он сказал ей: «Сдохнете, не дождетесь!»

Рассказав Тамаре эту историю и насладившись ее реакцией, я, естественно, хотел продолжать в том же духе. Но больше никаких историй про Сашу я не знал, и так удачно начавшийся мой рассказ на интересующую ее тему быстро стал увядать. И тут я вдруг вспомнил еще один эпизод, связанный с Сашей. И хотя этот эпизод был совсем другого рода и отчасти даже разрушал созданный мною образ рыцаря без страха и упрека, я не удержался и с ходу изложил его Тамаре. Может быть, делать это было и не надо. Но – «Остапа несло».

А эпизод был такой.

Собрались мы как-то в Малеевке, в большой комнате старого – еще деревянного – коттеджа. Сидели допоздна, рассказывали какие-то истории. И вдруг Саша наклонился к уху тогдашнего моего дружка и соавтора Стасика Рассадина и сказал:

– Обрати внимание, нас здесь человек, наверно, тридцать?

– Да, не меньше, – согласился Стасик.

– И из всех тридцати только мы двое с тобой русские. Все остальные – евреи.

Стасик, оглядевшись вокруг, сказал, что русских, как ему кажется, гораздо больше. И с ходу назвал нескольких женщин.

– Ну, женщины не в счет, – отмахнулся Саша. И продолжал развивать свою тему.

Стасик потом мне все это рассказал, не скрывая своего недоумения: ему показалась весьма странной сама идея – рассматривать собравшихся с этой точки зрения, вглядываться, вычислять, соображать, определять... Этим своим недоумением он со мною и поделился.

Вот эту историю я и рассказал тогда Тамаре. Рассказал, сам не зная зачем, не вкладывая в нее, кстати сказать, и тени осуждения. Просто как штрих, как знак некоторого чудачества.

Может быть, именно так и восприняла бы мой рассказ Тамара. Но совершенно иначе отреагировал на него молча, не перебивая, слушавший меня Изя Крамов.

– Что за чушь! – возмутился он. – Саша – мой близкий друг. Я его знаю как облупленного. То, о чем ты говоришь, ему до такой степени не свойственно, что я просто даже представить себе не могу, чтобы это могло быть правдой.

Я сказал, что не мог же Стасик все это выдумать. Но еще раз добавил, что сам я не придаю этой глупой истории никакого значения.

Изя долго еще не мог успокоиться, продолжал кипятиться и что-то такое бухтеть про то, какой Саша прекрасный парень и как бесконечно чужд он всяких национальных, а тем более антисемитских предрассудков.

И вдруг Тамара сказала:

– А может быть, Бен, ты придал этой истории такое преувеличенное значение, потому что у тебя, ну, что ли, особая чувствительность к этому вопросу?

Я возмущенно сказал, что никакой такой особой чувствительности к этому вопросу никогда за собой не замечал. Глупый этот разговор еще продолжался некоторое время, потом увял, и Тамара уползла обратно, на свой пляж, где ее ждала своя компания, нетерпеливо жаждавшая услышать какие-нибудь подробности про автора модной книги.

И тут старик Тышлер, не проронивший в продолжение всего этого разговора ни единого слова, и произнес ту свою, до глубины души поразившую меня фразу.

– Такие разговоры, – сказал он, – не следует вести с неевреями. Даже с евреями, у которых есть хотя бы четверть нееврейской крови, я не стал бы заводить такие разговоры.

Боже мой! – подумал я. – Какую страшную жизнь надо было прожить, чтобы прийти к такому убеждению.

Этой своей сентенцией Тышлер хотел преподать мне некий урок. Он хотел, чтобы я учел, принял во внимание его опыт. Но на самом деле он этой репликой раз и навсегда «изгнал» ме-

ня из своего мира. Я уже был другой, и мне туда, в мир его представлений и предубеждений, уже не было хода.

Даже Тамара Забелина с ее дурацким (как мне тогда казалось) предположением, что я будто бы особенно чувствителен к разговорам на еврейскую тему, – даже она была мне ближе и понятнее.

Но и ее реплика тоже «изгоняла» меня. Она изгоняла меня из уютного, комфортного мира привычных для меня представлений, согласно которым я был такой же, как она, а следовательно, никакой особой чувствительности к этой самой еврейской теме у меня быть не могло. И заподозрив меня в такой особой чувствительности, она невольно, но довольно сильно меня обидела. Я вдруг увидел, что для нее я – не такой же, как она. Другой.

Казалось бы, в этой ситуации только Изя должен был остаться последней моей опорой и защитой – единственным моим «компатриотом», единственным в этой маленькой, вдруг образовавшейся компании человеком, живущим со мною в одном мире – том самом, где люди, принадлежавшие к разным нациям, ничем, в сущности, друг от друга не отличались, а если и были отличия, так самые пустяковые, которые даже и принимать во внимание не стоило. Так же, как не стоило обращать внимание на дурацкую причуду его друга, которому вдруг вздумалось сосчитать, сколько там в нашей малеевской компании было евреев, а сколько русских.

Изя был мужем Леночки Ржевской, первым мужем которой был Павел Коган – тот самый, кто написал про «лобастых мальчиков невиданной революции». А сама Леночка девчонкой ушла добровольцем в военное училище, где ее готовили к глубокому рейду в тыл к немцам. И ей даже в голову не пришло тогда, что для нее это в миллион раз опаснее, чем для ее русских подруг. А когда пришло, было уже поздно. Да и все равно, разве это остановило бы ее, когда она возила в своей левой сумке зубы Гитлера, чтобы специалисты могли по этим зубам точно установить, сам ли это фюрер покончил с собой в том берлинском бункере или то был какой-то его двойник.

Дело было, конечно, не в том, что Изя был мужем Леночки, а она раньше была женой Павла, а Павел был ближайшим

другом Миши Кульчицкого, верившего, что «только советская нация будет». И даже не в том, что он был – из их компании.

Суть дела состояла в том, что он был из тех самых «лобастых мальчиков», от имени которых, голосами которых говорили и Павел, и Миша.

Казалось бы, уж с ним-то мы точно были «одной крови» – не евреи, не русские, а выходцы из страны своего детства, «Страны Гайдара».

Изя своим отношением к предмету нашего разговора из этой «страны» меня не только не изгонял – напротив, он приглашал меня вспомнить о нашей общей родине и незамедлительно туда вернуться.

Но то-то и дело, что вернуться туда я уже не мог. И не потому, что меня оттуда изгнали.

Я сам – добровольно – ее покинул.

Правильнее было бы даже выразиться иначе: эта наша бывшая родина для меня к тому времени уже перестала существовать.

5

Незадолго до того как случился этот припомнившийся мне разговор, я написал небольшую книгу «Страна Гайдара», в которой как раз и рассказывал об этом крушении моего (не только моего, а общего, как я тогда думал, для всего моего поколения) гайдаровского мира.

Напечатать эту книгу мне тогда так и не удалось, хотя очень положительную внутреннюю рецензию написал на нее для издательства К.Г. Паустовский. Даже авторитет (весьма тогда немалый) Константина Георгиевича тут не помог.

Но небольшой отрывок из этой книги мне удалось спасти: в виде отдельной статьи я включил его в вышедшую тогда в Детгизе мою книгу «Страна нашего детства». (Хотел я ее назвать – «Страна моего детства». Но этого мне, разумеется, не позволили.) Это был, конечно, всего лишь огрызок, но кое-какое представление о том, что я хотел сказать о Гайдаре, он все-таки давал.

Когда книга вышла, я послал ее своей литинститутской преподавательнице – Вере Васильевне Смирновой.

Вера Васильевна вела у нас семинар критиков – и вела его, надо сказать, интереснее, чем Федор Маркович Левин, о котором я уже вспоминал на этих страницах.

Ко мне она относилась... хотел написать – тепло. Да что там! Она меня любила. Как ученика, разумеется. Доставала мне работу (разные внутренние рецензии), что было тогда совсем не просто: в 1951-м, а в особенности в 1952-м году мой пятый пункт стал совсем уже непреодолимым препятствием даже для «внештатных» заработков.

Чтобы долго не размазывать, как выражаются герои Бабеля, белую кашу по чистому столу, перескажу только один эпизод.

В январе 1953 года в Союзе писателей началась долгожданная дискуссия о Маяковском. Впрочем, как для других – не знаю: уж больно время было тогда неподходящее для таких дискуссий, – но для меня она была именно долгожданная.

В Маяковского я в те годы был совершенно по-сумасшедшему влюблен, считал его обойденным, несправедливо забытым, оттесненным на обочину литературного процесса. В какой-то мере это было действительно так: футуризм разоблачали как мелкобуржуазное, упадочническое направление в искусстве XX века, особенности поэтики Маяковского, еще недавно считавшиеся выдающимися его новаторскими достижениями, почти открыто объявляли формалистическим трюкачеством, и вообще главными поэтами века тогда считались Алексей Сурков, Твардовский и Исаковский.

Все это приводило меня в ярость. Я даже написал однажды (и отправил!) письмо самому Сталину, в котором предлагал ему (вот дурак-то!) поставить Маяковского в один ряд с Горьким как равноправного с ним основоположника социалистического реализма, а прах Маяковского похоронить – рядом с Горьким, в Кремлевской стене.

На мое счастье, это письмо до Сталина не дошло. Но я не унимался. Писал и пытался печатать разные статьи на эту тему. Но ничего из этих моих попыток не получалось: торжествовали враги Маяковского – явные и тайные.

И вот наконец – открытая дискуссия. Поняли наконец, что тут что-то не так.

Я не сомневался, что уж теперь-то правда восторжествует.

Я жаждал реванша, и если даже и не вполне рассчитывал на успех, то, во всяком случае, радовался открывшейся вдруг возможности высказать вслух, публично, с трибуны все, что у меня там накипело.

Короче говоря, я не пропустил из этой дискуссии ни одного дня и на первом же ее заседании послал в президиум записку с просьбой предоставить мне слово.

При этом, надо сказать, у меня состоялся довольно-таки странный, на мой тогдашний взгляд, разговор с моим школьным учителем литературы – Николаем Ивановичем Калитиным. (Он был в то время довольно известным литературным критиком, хотя больше писал о театре.)

– Вы собираетесь выступать? – удивленно спросил он меня.

– Да, – сказал я. – А вы?

– Что вы! – испуганно ответил он. – Это же очень опасно! Извратят, перетолкуют, потом во всю жизнь не отмоешься!

Я подумал, что старик, судя по всему, совсем спятил. Во всяком случае, испуг, отразившийся на его лице, показался мне ни на чем не основанным: свободная же дискуссия!

И вот тут – с тем же вопросом – подошла ко мне Вера Васильевна:

– Вы хотите выступить?

Я сказал, что да, хочу.

– У меня к вам просьба, – сказала она. – Я вас очень прошу. – Она сильно надавила на слово «очень». – Не делайте этого.

– Но ведь я уже послал в президиум записку, – растерянно сказал я.

– Все равно, откажитесь.

– Не могу, – сказал я.

Она изменилась в лице. Мне даже показалось, что побледнела.

– Ладно, – сказал я. – Если меня не выкликнут, я настаивать не стану. Ну а уж если объявят, тут ничего не поделаешь.

Она хотела еще что-то добавить, но почему-то раздумала. Сказала только:

– Хорошо. Бог даст, пронесет. Но если выйдет так, что вы уже не сможете отказаться и вам все-таки придется выступить, ни в коем случае – вы слышите? – ни в коем случае не солидаризируйтесь с Трегубом.

Я кивнул. Хорошо, мол, не буду.

Вообще-то я ни с каким Трегубом солидаризироваться и не собирался. Но предупреждение Веры Васильевны, чтобы я с ним не солидаризировался, было и не совсем беспочвенно.

Главная драка, главный бой на той дискуссии шел между двумя группами: группой Перцова и группой Трегуба.

Перцов был автором недавно вышедшей толстенной монографии о Маяковском, выдвинутой на Сталинскую премию. Человек он был знающий, в былые времена даже близкий к ЛЕФу. Но основная идея его книги была мне, мягко говоря, не близка: он доказывал, что Маяковский постоянно боролся с футуризмом и формализмом, преодолевал его и наконец-то преодолел.

Трегуб тоже не был героем моего романа.

Все идеи его были такие же примитивные, вульгарные и такие же официально-советские, как у Перцова. Да и сам облик его не внушал особых симпатий. (Злые языки говорили про него, что он – «двулик, двуязычен и трегуб».)

Но в нем меня привлекала задиристость, «боевитость», живой и даже яростный темперамент.

Главное, однако, было даже не это.

Согласно официальной тогдашней точке зрения, которую выражал Перцов, главным у Маяковского был его советский патриотизм, его революционный пафос, его верность идеям социализма и пролетарского интернационализма. И с этой точки зрения учениками и последователями Маяковского, верными продолжателями его дела, должны были считаться все советские поэты. В том числе и те, кому Маяковский был бесконечно чужд и даже враждебен.

Трегуб же доказывал, что учениками Маяковского и продолжателями его дела имеют право называться лишь те, кому близка поэтика Маяковского, его революционный переворот в системе русского стихосложения, его новые ритмы, его невиданные рифмы, его новаторское образное мышление.

Мне тогда была близка именно эта точка зрения, и поэтому все, что я мог пробормотать с той трибуны, вполне могло быть истолковано как свидетельство моей принадлежности к «группе Трегуба».

Но за самого Трегуба я не держался и обещание ни при какой погоде с ним не консолидироваться дал легко. С чистым, как говорится, сердцем.

Но Вера Васильевна, увидав, что я так и не понял всю важность ее просьбы, повторила еще раз:

– Вы поняли меня? Ни в коем случае! Обещайте мне.

Я пообещал.

Из президиума меня на трибуну так и не позвали, и весь мой запал пропал даром, что меня, с одной стороны, конечно, огорчило, а с другой – не то чтобы обрадовало, но, во всяком случае, сняло с моей души какой-то камень. Хотя я так и не понял, почему Вера Васильевна так настойчиво просила меня отказать от выступления. Непонятна мне была не столько даже сама ее странная просьба, сколько вот это, мгновенно вдруг изменившееся выражение ее лица.

Разъяснилось все это потом, когда «ус откинул хвост», и слухи о разных закулисных подробностях так и не реализовавшегося из-за внезапной смерти вождя сталинского сценария дошли наконец и до меня тоже.

Как я уже говорил, время для дискуссии о Маяковском было выбрано не самое удачное. Но выбор этот, как выяснилось потом, был не случаен.

Дискуссия началась 19-го января. То есть еще и недели не прошло после потрясшего страну сообщения о разоблачении чудовищного заговора врачей-убийц. В короткой информации, появившейся 13 января 1953 года во всех утренних газетах, виднейшие представители отечественной медицины обвинялись в том, что они злодейски умертвили ближайших соратников Сталина – Жданова и Щербакова, и если бы не бдительность наших славных органов государственной безопасности, теми же изощренно-коварными способами отправили бы на тот свет и всех прочих его соратников, а затем и его самого. В перечне имен злодеев, названных в этом сообщении, доминировали еврейские фамилии: Фельдман, Этингер, Вовси, Коган... Коганов было даже двое. И хотя упоминался в этом перечне и знаменитый русский врач – профессор Виноградов, – сообщение не оставляло ни малейших сомнений насчет того, КТО был душой и главной действующей силой этого вселенского заговора.

Все это я, конечно, прекрасно понимал. И не только понимал, но чувствовал собственной шкурой. Но с дискуссией о Маяковском, начавшейся шесть дней спустя, все эти события в моей башке никак не связывались. А связь между тем тут была. И довольно-таки прямая.

Оказывается, уже тогда кое-кому было известно, что параллельно с «делом врачей» готовился еще и другой процесс – о еврейском вредительстве в литературоведении.

Как раз в это самое время – или чуть раньше – три кагэбэшных чина в потрепанном номере гостиницы «Октябрьской» (дело было в Ленинграде) выколачивали из Лидии Яковлевны Гинзбург компромат на Бориса Михайловича Эйхенбаума, которому, как она поняла (об этом я прочел в недавно опубликованных ее «Записных книжках»), в готовящемся процессе была уготована едва ли не главная роль.

Возможно, и Веру Васильевну тоже тогда куда-то приглашали (в такой же потрепанный номер «Метрополя» или «Националя»). А может быть, у нее были какие-то другие источники информации.

Но что-то она знала.

Во всяком случае, не без некоторых к тому оснований полагала, что вся эта – вроде бы совсем не ко времени затеянная дискуссия о Маяковском – на самом деле была задумана как гигантская провокация для выявления будущих фигурантов готовящегося процесса. И, по-видимому, еще больше было у нее оснований предполагать, что критику Семену Трегубу, с которым она умоляла меня ни в коем случае не солидаризироваться, уготована на том будущем процессе особая роль. А именно – роль козла, который ведет за собою на бойню целое стадо баранов.

От участи одного из таких вот баранов она и хотела меня уберечь.

Всего этого я знать, конечно, не мог. (Да и Вера Васильевна вряд ли знала все это так уж точно.) Но кое-что если не понять, так почуять – это ведь носилось в воздухе! – я бы все-таки мог.

Мог бы, например, сообразить: с Трегубом мне лучше не солидаризироваться уже по одному тому, что он был (как и я) евреем.

Но – где там!

Глупая птичка как ни в чем не бывало продолжала, не сделав никаких выводов из уже полученных ею уроков, весело бежать вперед «по тропинке бедствий», по-прежнему «не предвидя от сего никаких последствий».

А теперь, после этого краткого отступления, перенесемся в декабрь 1965-го года, когда я послал Вере Васильевне с теплой дарственной надписью на титульном листе только что вышедшую мою книгу «Страна нашего детства».

У меня нет обыкновения хранить письма – даже те, которые, может быть, и стоило бы сохранить, как-то постепенно затериваются, исчезают. Но отклик Веры Васильевны на этот мой новогодний подарок я сохранил. Мало того: даже свой ответ на то ее письмо написал (на пишущей машинке, как все, что я писал в то время), – что мне уж совсем несвойственно, – под копируку, в двух экземплярах. Первый отправил ей, а второй тоже сохранил.

Сейчас, вспомнив про эту переписку «из двух углов», я отыскал эти старые письма, перечитал и подумал, что, пожалуй, сохранил их не зря: очень уж наглядно выразилось в них тогдашнее состояние наших умов. Как говорит Герцен, «письма – больше, чем воспоминания, на них запеклась кровь событий, это – само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное». Но пусть даже я преувеличиваю значение этих двух «документальных свидетельств» – все равно: мне хочется сохранить их не только в захламленном ящике моего письменного стола, но – и здесь, на этих страницах.

Приведу, разумеется, только «сердцевину» каждого из этих двух писем, опустив всю не идущую к делу «лирику».

Статья о Гайдаре... – почти сразу брала Вера Васильевна быка за рога. – Конечно, она – гвоздь всей книги. И с ней я не согласна всей моей душой.

Очень хорошо написано все вступление к теме. Но, начиная с главы второй, начинаются и мои несогласия.

Прежде всего – сопоставление с Грином. У меня когда-то была маленькая статейка в «Литгазете» о Грине: «Корабль без флага». Несмотря на весь талант его, я не люблю Грина... Не

знаю, оттого ли, что нас, старшее поколение, воспитали марксистами, но для меня различие между Грином и Гайдаром классовое. Мечты Грина рождены бедностью, нищетой окружающей жизни, но они все — плоть от плоти капиталистического мира. Кроме того, для меня в нем угадывается его презрение к русскому, к России. Отсюда его география, полная хоть и вымышленных, но иностранных имен. Талант Грина не мог вырваться из пут буржуазной красоты, буржуазной обстановки. Даже бродяги у него из другого, не нашего мира.

Совсем не то у Гайдара. Хотя оба писателя были и бродяги и пьяницы. Но очень разные это были люди.

Мне довелось видеть несколько раз Грина — это был мрачный, небритый, темный лицом человек, одиноко пивший за столиком ресторана Дома Герцена, презрительно оглядывавший и себя и все вокруг. Маленькая девочка, проходя мимо с тарелочкой чего-то, что ей казалось вкусным, зацепилась за столик, охнула и улыбнулась виновато. Инстинктивно он схватился за стакан — и ничего не шевельнулось ни в глазах его, ни в лице. Он был где-то далеко от всех, от людей, от всего ненавистного ему мира...

Гайдара я знала десять лет, видела его и зверски пьяным и очень трезвым, и на собраниях и у себя дома. Иногда он был со мной очень откровенен. Много я знаю о нем от Халтурина и от других его друзей. Он был человек трудной судьбы, очень умный, ясный, хитрый.

О Гайдаре у нас ходят легенды. То их сочинял Емельянов, которому мы с Иваном Игнатьевичем не подавали руки, — такой это был человек. Теперь «военную легенду» сочинил Камов. В ней так много мелкой и ненужной лжи с самого начала, что не веришь и остальному. Тем более, что логика событий, отсутствие в начале войны организованного партизанского движения, короткий срок пребывания Гайдара на фронте (какой-нибудь месяц только), его болезнь заставляют предполагать конец даже более трагический... Но бог с ним, с Камовым.

Самая страшная для Гайдара легенда создана Вами — и этого нельзя Вам простить. Она сочинена «задним числом» и отнимает у Гайдара главное, чем он жил всю свою жизнь, — веру. Не знаю, что было бы с Гайдаром после войны, как он пережил

бы то, что пережили мы. Но ему «посчастливилось» найти естественный конец на войне, и он не потерял своей веры. Вам, утеревшим эту веру, не надо было «разоблачать» Гайдара. Поистине Вы лишаете его самого дорогого и ценного в нем. Вы можете сказать, что, отметая даже свое личное, мальчишеское восприятие Гайдара, о котором Вы так хорошо пишете в начале статьи, Вы хотите теперь стать объективным... Неверно! Вы не понимаете той обстановки, того времени, того Гайдара, Вы теряете ощущение истории.

Если бы «Страна Гайдара» была для Вас только терминологическим эффектом (ведь у каждого писателя — свой мир в его книгах, каждый создает его по своему разумению, по своему видению: Чехов и Горький в одно время писали разную Россию — и все же одну), было бы еще полбеды. Но то, что Вы сделали с Гайдаром, — почти его уничтожение. Поймите: вера Гайдара неизмеримо шире и выше тех сомнений, которые Вы ему приписали, произвольно толкуя его дневники. Я думаю, что вообще всякий честный большой человек часто чувствует себя «виноватым» в мире — это естественное ощущение в мире злом и неустроенном. У писателя это особенно сильно. Так было у Гайдара тоже.

Иван Игнатьевич, прочтя Вашу статью, очень расстроился, выразился гораздо короче меня, но зато и еще резче. Я думаю, что всякий, кто знал лично Гайдара, не согласится с Вашими домыслами. Может быть, оттого, что мы — другое поколение, жившее в другое время, чем Вы, не можем принять Ваше «объяснение» Гайдара. Пусть мы останемся где-то «позади», пусть говорят, что «личное знакомство» в литературе не имеет значения, все равно я никогда не пойму, зачем нужна, чему служит, кого греет Ваша сегодняшняя концепция? Простите, Бенедикт Михайлович, мою горячность, но я не могу не сказать того, что думаю и чувствую.

А Вам самому-то разве легче с таким Гайдаром жить?!

Наши двадцатые и тридцатые годы были лучше, чище, устремленнее и самоотверженнее, чем Ваши — пятидесятые. Сколько мы видели лишений! Но они не были унижительны, и мы (легко ли?) несли их, исторически веруя в то, ради чего их переносили. А вы-то во что веруете сегодня?

После болезни впервые сижу за машинкой — и очень устала. Не посетуйте, если письмо мое сумбурно. Оно — лишь для Вас.

Письмо, как легко можно заметить, совсем не сумбурно. Жизненная и литературная позиция, выразившаяся в нем, высказана вполне ясно, последовательно, логично, по-своему даже убедительно: в статье, написанной для печати, она вряд ли могла бы быть выражена яснее. Больше того. Хоть Вера Васильевна была человеком совсем не бездарным, я думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что письмо это — талантливее многих (если не всех) ее печатных статей. Вероятно, потому, что написано было (в отличие от того, что писалось ею для печати) без участия (лучше сказать — почти без участия) внутреннего редактора. Но главным образом потому, что статья моя, как видно, задела ее за живое. И дело тут было, конечно, не в одном Гайдаре. (Хотя и в нем тоже.)

Я такой реакции на свою статью от нее, признаться, совсем не ждал. Не то чтобы считал, что у нас с ней не может быть никаких разногласий, но, во всяком случае, воспринимал ее как человека, находящегося внутри той же, что и я — да и все люди «моего круга», — системы координат. То есть исходил из того, что при всех мыслимых — даже самых больших — разногласиях, север для нас обоих находится на Севере, а юг — на Юге.

Представление это (как оказалось, ложное) возникло потому, что Вера Васильевна и ее муж Иван Игнатьевич Халтурин принадлежали к довольно тесному кругу людей, бывших для меня безусловно своими. (Правильнее, конечно, было бы сказать, что я имел основания надеяться, что они считают меня своим.)

Имя «Ванечки Халтурина» с неизменной нежностью производила Лидия Корнеевна Чуковская. К нему благоволил Виктор Борисович Шкловский. Как о близком человеке о нем говорили Алексей Иванович Пантелеев и Игнатий Игнатьевич Ивич. А Алексей Иванович был человек, с которым — я почувствовал это сразу, едва с ним познакомившись, — можно было откровенно говорить обо всем, не сомневаясь, что найдешь с ним общий язык. А Игнатий Игнатьевич был одним из немногих, кому Надежда Яковлевна Мандельштам доверила хранить чудом уцелевшие рукописи своего гениального мужа.

Что касается Ивана Игнатьевича Халтурина («Ванечки», как они все любовно его называли), то он, насколько мне известно, за всю свою жизнь ничего не написал. Разве только принимал какое-то деятельное участие в создании одной из любимейших книг моего детства – «Дерсу Узала» Арсеньева. То ли он ее переписывал, то ли редактировал – точно не знаю, но книга эта всякий раз упоминалась в их кругу как «Ванечкина книга» и единодушно признавалась главным – скорее, даже единственным – литературным достижением Ивана Игнатьевича.

Как полноправного и всеми любимого члена этого сугубо литературного кружка, я считал Ивана Игнатьевича литератором. Хотя гораздо чаще, чем о литературе, он говорил о живописи и судил о ней – так мне, во всяком случае, тогда казалось – отнюдь не как дилетант.

Но все это было тогда для меня неважно. А важно было, что даже и не располагая всеми вышеперечисленными рекомендациями, при первом же знакомстве с Иваном Игнатьевичем я сразу почувствовал, что этот очаровательный добряк и пьяница – человек, что называется, свой в доску.

Ну а если уж зашла речь о рекомендациях, подтверждающих, что человек он безусловно и вполне свой, вряд ли можно было найти тут свидетельство более надежное и весомое, чем рекомендация (не прямая, конечно, а косвенная) Лидии Корнеевны Чуковской.

Лидия Корнеевна была бескомпромиссна до нетерпимости. Это было главное, определяющее свойство ее личности. Оно проявлялось и в большом, и в малом. Иосиф Бродский вспоминал (об этом я прочел недавно в книге Соломона Волкова), что когда они (молодежь) собирались у Анны Андреевны, обстановка была всегда самая непринужденная. Хозяйка сразу же отряжала кого-нибудь за бутылкой водки и, не жеманясь, пила вместе со всеми. Но стоило только на горизонте появиться Лидии Корнеевне, как водка тотчас исчезала со стола, на всех лицах «воцарялось партикулярное выражение, и вечер продолжался чрезвычайно приличным и интеллигентным образом».

Мне в это очень легко поверить.

Помню, однажды Лидия Корнеевна пригласила меня и моего приятеля Макса Бременера посетить ее. Мы с Максом жили тогда в переделкинском Доме творчества, так что идти нам было недалеко: дача Корнея Ивановича – прямо напротив ворот этого Дома.

Но на нашем пути к Лидии Корнеевне возникло вдруг неожиданное препятствие.

На пороге стоял Корней Иванович, одетый и снаряженный для гуляния.

– Вот молодцы, что пришли! – радостно встретил он нас. – Как раз вовремя.

Думаю, что радость его была неподдельна: он любил гулять в окружении людей, охотно слушающих его рассказы.

Я, честно говоря, уже готов был пренебречь приглашением Лидии Корнеевны, отложить наш визит к ней до другого раза. И не только потому, что не хотелось обижать старика: гулять с Корнеем Ивановичем, по правде говоря, мне было интереснее, чем слушать редакторские замечания Лидии Корнеевны о детских рассказах моего друга Макса.

Но Макс, в отличие от меня, не дрогнул.

– Собственно, мы пришли к Лидии Корнеевне... – мужественно возвестил он.

– Понимаю! – тем же радостным, ликующим, певучим своим голосом прервал его Корней Иванович. – Вы боитесь Лидочку! Пра-авильно. Я и сам ее боюсь!.. Идите, идите к ней!

И он удалился, помахав нам на прощание рукой.

Это, конечно, была шутка. Но – и не совсем шутка.

Бескомпромиссность Лидии Корнеевны часто делала общение с ней нелегким. Вот, пожалуй, самый красноречивый пример: коротенькая запись в «Дневнике» Корнея Ивановича (30-го января 1968-го года):

Люда Стефанчук сказала за ужином, что один из рассказов Солженицына (которого она обожает) понравился ей меньше других. Лида сказала железным голосом:

– Так не говорят о великих писателях.

И выразила столько нетерпимости к отзыву Люды, что та, оставшись наедине с Кларой, заплакала.

Этот суровый ригоризм Лидии Корнеевны был не привитым, не внушенным, не умозрительным. Это было органическое свойство ее личности, ее человеческой природы.

Однажды я засиделся у нее допоздна, чуть ли не до глубокой ночи. Сидели вдвоем, пили чай и как-то особенно хорошо разговаривали: не спорили, не ссорились, не пикировались (что у нас тоже бывало и о чем я со временем еще расскажу).

И вдруг, в приступе внезапной откровенности, Лидия Корнеевна рассказала мне такую историю.

Было это в 1927 году. (У меня очень плохая память на даты, но эту я запомнил хорошо, потому что это – год моего рождения.) Жили они тогда в Питере. Но было лето, родители с младшими детьми дневали и ночевали на даче, а она – Лида – жила одна в их большой московской квартире. Было ей тогда 20 лет.

И вот как-то встретила она одну свою – не самую даже близкую – школьную подругу. Выяснилось, что той то ли совсем негде жить, то ли живет она где-то на окраине, в неудобном районе, в скверной какой-то комнатенке, и Лида предложила ей на время – пока родителей в городе нет – переселиться к ней. Что и было сделано.

А подруга эта (звали ее, кажется, Катя) – так вот, эта самая Катя увлекалась политикой, по политическим убеждениям своим была близка то ли эсерам, то ли анархистам, может быть, даже состояла в какой-то из этих партий и пыталась вовлечь Лиду в круг этих своих интересов.

Но Лида не соблазнилась. Один раз сходила с ней на какое-то подпольное собрание, быстро соскучилась, и больше на такие сборища уже никаким калачом заманить ее было нельзя.

А Катя, напротив, втягивалась в эти подпольные партийные дела все больше и больше. И однажды, выполняя задание своей партии, она напечатала на пишущей машинке Корнея Ивановича какие-то прокламации. А на беду машинка у Корнея Ивановича была какая-то необычная, очень уж заметная. Может быть, она была даже одна такая на весь Петроград.

Короче говоря, обеих девчонок замели.

Не зная, как поведет себя на допросе Катя, Лида – на всякий случай – не стала отпираться, подтвердила, что да, действ-

вительно, напечатала на отцовской машинке прокламацию. Но Катя сразу же во всем призналась и мнимую эту вину с нее сняла.

Казалось бы, недоразумение разъяснилось и Лидию Корнеевну тут же должны были отпустить на все четыре стороны. Но даже в те, вегетаринские, как назвала их Ахматова, времена чекисты так просто не выпускали тех, кто уже попался им в лапы. Обвинение в печатании прокламации отпало, но оставалось посещение подпольных собраний.

Поначалу она это обвинение отрицала, и когда ей дали понять, что ее там видели, попыталась даже намекнуть, что, быть может, чекистские осведомители ошиблись, приняв за нее какую-то другую девицу. Но следователь только усмехнулся в ответ:

– Нет, никакой ошибки тут быть не могло. Уж очень, знаете ли, внешность у вас, – тут он нашел точное, профессиональное слово, – неконспиративная...

Короче говоря, обеих девчонок приговорили к ссылке. Куда сослали Катю, я не запомнил. А Лиду – в Саратов.

Ссылка была, в общем, не такая уж страшная. Но сложностей было немало. Начать с того, что поселиться там, в Саратове, можно было, только сняв у кого-нибудь комнатенку или хотя бы угол. А начальство довольно строго предписывало местным жителям ни в коем случае никакого жилья ссыльнопоселенцам не сдавать.

Были еще и другие какие-то сложности. Что ни говори, ссылка – даже в те вегетарианские времена – это была все-таки ссылка.

Но о трудностях той саратовской своей жизни Лидия Корнеевна распространялась мало: рассказ ее был о другом.

Корней Иванович поднял на ноги всех своих влиятельных знакомых (еще был жив Маяковский, еще не совсем бессилён был Луначарский). Короче говоря, из этой передраги ее вытащили: вместо назначенных ей трех лет, в ссылке она провела чуть больше года. Привезли то ли на Шпалерную, то ли на Горюховую («Большой дом», как у них там, в Питере, называлось здание, которое у нас в Москве именовалось «Лубянской», тогда еще не был построен) и, сделав небольшое внушение, сов-

сем было уже изготовились отпустить на все четыре стороны. Надо было только соблюсти одну небольшую формальность: она должна была подписать бумагу, в которой говорилось, что никакой политической деятельностью никогда больше заниматься не будет.

Поскольку никакой политической деятельностью она и раньше не занималась и – тем более – не собиралась заниматься впредь, подписать такую бумагу для нее не составляло никакой проблемы. И она уже готова была выполнить это пустяковое условие. Но тут ее вдруг словно ударило:

– А Катя? – спросила она.

– А при чем тут Катя? – удивился следователь. – Хоть анархисты в нас и стреляли, мы их не расстреливаем. Но в Сибири места для них у нас хватит.

И тут ей стало ясно, что ни за что, ни за какие блага мира она эту проклятую бумажку не подпишет. Во всяком случае, до тех пор, пока Катя, втянувшая ее и всю ее семью в эту историю, не окажется в равном с нею положении.

– Я сама не понимала, – рассказывала Лидия Корнеевна, – что со мною происходит. Корней Иванович то негодовал, то слезно умолял меня не идиотничать. Он клялся, что приложит все силы, чтобы выцарапать из тенет и Катю тоже. И я понимала, что он прав, что я веду себя не просто глупо, а глупо до идиотизма. Но я ничего не могла с собою поделать. То, что составляло меня вести себя вот таким идиотским образом, было сильнее меня.

История эта долго не кончалась. Ее отпустили домой, но на протяжении нескольких месяцев она должна была ежедневно ходить на Гороховую (или на Шпалерную), где ее мягко, но жестко убеждали подписать злополучную бумагу. Но она – не сдавалась. И так ее и не подписала.

Тупиковая эта ситуация постепенно как-то разрешилась: времена-то ведь все-таки были вегетарианские.

Эту тему Лидия Корнеевна в том своем рассказе отметила особо. Она вспомнила, как ее вызвали – на этот раз уже в Большой дом – десять лет спустя. Год, стало быть, был уже тридцать седьмой, но словосочетание это еще не успело стать нарицательным, и вообще, мало кто еще понимал тогда, что происхо-

дит. Но она всю жуть происходящего поняла – вернее, почувствовала – сразу. Чем и поделилась с мужем, вскоре исчезнувшим навсегда в недрах того самого Большого дома.

– Митя, – рассказывала она, – совершенно меня не понял. «Что там тебя так поразило? – недоумевал он. – Ведь ты-то там оказалась не в первый раз, ты же там уже была!»

Да, она уже там была десять лет тому назад. Но тогда это было – другое. И люди, допрашивавшие ее и отправившие в ссылку, а потом заставлявшие подписать ту дурацкую бумагу, – они тоже были другие. Это были, – нашла она слово, – жандармы. Противные, даже мерзкие, но – холодные, вежливые. А эти...

Вспомнив про «этих», она зябко и брезгливо повела плечами.

Они сидели прямо на столах, развалившись, в хамских, отнюдь не официальных позах. Кто-то из допрашивавших нарочно пускал ей в лицо папиросный дым. Запугивая ее, кто-то из них, кажется, даже стрелял в потолок.

В общем, вышла она оттуда в шоке. И на все недоумевающие расспросы мужа твердила одно:

– Ты не понимаешь, произошло что-то страшное. В стране произошел государственный переворот...

Вспомнил я этот рассказ Лидии Корнеевны, и в памяти вдруг всплыла самая первая наша встреча, самый первый наш с нею разговор.

Как это ни странно (хотя – что же тут странного?) речь и тогда у нас шла все о том же, о «тридцать седьмом годе».

Как я уже говорил, у меня очень скверная память на даты, но время той первой нашей встречи мне установить легко. Поводом для моего знакомства с Лидией Корнеевной стала моя книжка об Алексее Ивановиче Пантелееве. А вышла она в 1959 году.

Разговор поначалу шел именно о ней, об этой книжке, которую я ей послал и которую она, по всегдашнему, как я узнал позже, своему обыкновению прочла с карандашом.

А разговор о «тридцать седьмом годе» возник в связи с одним эпизодом из повести Л. Пантелеева «Пакет».

Эпизод такой.

Петя Трофимов, главный герой повести, чудом избежав

смерти от рук белых, попал в плен к буденновцам и дважды чуть не был расстрелян своими, принятый ими за вражеского лазутчика.

Но вот все кошмарные события этого безумного дня уже позади. Он лежит в тачанке, которую пара сытых коней мчит в штаб армии, к Буденному. Он лежит в забытии на мягком сене, и снится ему сон:

Будто стоим мы в городе Елисаветграде. Будто у меня новые сапоги. И будто я покупаю у Ваньки Лычкова, нашего старшины, портянки. Будто он хочет за них осьмью махорки и сахару три или четыре куска. А я даю полторы пайки хлеба и больше ни шиша, потому что махры у меня нет. Я некурящий. И будто мне очень хочется купить эти портянки. Понимаете, они такие особенные. Мягкие. Из господского полотенца.

Я говорю:

— Полтора фунта я дам. Хлеб очень хороший. Почти свежий.

А Лычков говорит:

— Нет... К богу!

Ну, я не помню, на чем мы с ним сторговались, но я все-таки их заимел. Я их купил, эти портянки. И стал наматывать на ноги. Мотаю их тихо, спокойно, а тут вдруг товарищ Заварухин идет. Идет он будто и пуговицы на гимнастерке считает. И так говорит:

— Трофимов! До нашего сведения дошло, что ты на ногах имеешь мозоли. Это верно?

— Так точно, — говорю. — Есть маленькие.

— Ну вот, — говорит. — Наш особый отдел решил тебя по этому случаю расстрелять.

— Как хотите, товарищ Заварухин. Это, — я говорю, — товарищ Заварухин, ваше личное дело. Можете расстреливать.

И начинаю, понимаете, тихо, спокойно разматывать свои портянки. Снимаю портянки и думаю: «Н-да! Бывает в жизни огорченье».

Приведя тогда в своей книжке эту цитату, я написал там, что этот диалог — казалось бы, нелепый, немыслимый, невозможный и в то же время до жути правдоподобный, как это бы-

вает только во сне, – остраивает подлинное, действительное отношение героя не только к реальным событиям, происходившим с ним накануне, но и к тем, которые вполне могли бы произойти.

Собственно говоря, ведь нелепа, нереальна здесь только исходная точка (хотят расстрелять из-за мозолей). А все подробности его поведения, все его внутренние жесты, психологические мотивировки – абсолютно реальны.

Ведь если бы все, происшедшее в этом сне, происходило в действительности, Петя Трофимов вел бы себя точно так же. Вот так же отнесся бы к сообщению о том, что его решили расстрелять, как к чему-то будничному, обычному, отнюдь не невероятному. Свою сложную эмоцию выразил бы той же фразой: «Н-да! Бывает в жизни огорченье». И точно так же было бы не вполне понятно, какое огорченье имеет он в виду: то, что приходится неожиданно расставаться с жизнью, или то, что так и не удастся поносить замечательные новые портянки.

В этом нереальном, нелепом, фантастическом сне, – заключал я, – характер героя пантелеевского «Пакета» проявлен с изумительной силой реальности.

В книжке я на этом поставил точку, надеясь, что умный читатель и так поймет все, что я хотел, но – по понятным причинам – не мог тут сказать.

А сказать я хотел, что советская действительность 30-х годов как в зеркале (ну просто – один к одному) отразилась в фантастических обстоятельствах этого нелепого сна. «Особые отделы» приговаривали к расстрелу миллионы ни в чем не повинных людей. И миллионы таких вот Петь Трофимовых постепенно привыкли относиться к этому кровавому кошмару как к будничным приметам их повседневного бытия.

Я, конечно, и думать не думал, что писатель Пантелеев этим эпизодом вполне осознанно (прибегая к так называемому эзопову языку) намекал на обстоятельства сталинского террора. Просто он очень глубоко заглянул в характер своего Пети Трофимова. Ведь вся беда нашей несчастной России как раз в том и состоит, что миллионы таких вот Петь целиком и полностью верили свою судьбу этим самым «товарищам Заварухиным» и их «особым отделам», искренне признали их право

во имя каких-то там высших (то ли революционных, то ли государственных) целей и интересов распорядиться их жизнью и смертью.

Все это я и высказал тогда Лидии Корнеевне. И закончил этот свой монолог такой запальчивой фразой:

– Может быть, именно в этом-то и состоит главная причина тридцать седьмого года!

Л.К. слушала меня вполуха. С какой-то, как мне показалось, снисходительной улыбкой. А эта последняя моя фраза, как видно, показалась ей совсем уж ребяческой.

– Тридцать седьмой год тут, положим, ни при чем, – сказала она. Властным жестом отмела все мои попытки объяснить-ся и решительно закончила:

– По каким причинам случилось то, что мы называем тридцать седьмым годом, – вопрос не такой простой. И сегодня мы об этом говорить не будем.

Я обиделся. Мне моя «ребяческая» мысль казалась заслуживающей большего внимания. По правде говоря, я даже подумал, что Лидия Корнеевна просто не сумела понять всю глубину этой моей мысли.

Но наутро моя обида прошла.

Прошла она по разным причинам. Но главным образом потому, что, прощаясь, Лидия Корнеевна дала мне (ровно на сутки) рукопись своей повести «Софья Петровна». Как я потом понял, в то время (напоминаю: на дворе был 1959 год!) это было знаком высочайшего доверия.

Прочитав «Софью Петровну», а потом и узнав некоторые другие обстоятельства ее жизни в 20-е и 30-е годы, я понял, что с моей стороны было величайшим нахальством ОБЪЯСНЯТЬ ЕЙ, что такое тридцать седьмой год и каковы были истинные его причины.

А сейчас я все это вспомнил к тому, чтобы читатель, исходя из только что им прочитанного, сам представил себе, как шандалахнула бы Лидия Корнеевна Веру Васильевну Смирнову, если бы та посмела сказать ей (или даже при ней), что «наши двадцатые и тридцатые годы были лучше, чище, устремленнее и самоотверженнее, чем ваши пятидесятые».

Но Лидии Корнеевне (как, впрочем, и другим членам того

«кружка») ни о чем подобном Вера Васильевна не посмела бы даже заикнуться. В этом у меня нет ни малейших сомнений. А вот насчет того, в какой мере искренна была эта ее патетическая фраза, – тут кое-какие сомнения у меня имеются.

Фразочка, конечно, бьет в нос официальным, я бы даже сказал, газетным советским ханжеством. Но какая-то – пусть малая – толика искренности в ней, я думаю, все-таки была. Ведь Вера Васильевна, в отличие не то что от Лидии Корнеевны, но даже и от собственного мужа, который к тому времени давно уже был «не у дел», была, как говорит известный персонаж известного романа Булгакова, – «лицо официальное». Она служила в издательстве «Советский писатель». Мало сказать – служила. Была она там одним из самых влиятельных членов редакционного совета: от ее мнения зависела судьба едва ли не каждой хоть сколько-нибудь сомнительной книги. И сомнение, как вы понимаете, почти никогда не решалось в пользу обвиняемого – то есть автора.

Как я слышал потом от многих своих друзей, ставших ее жертвами, эту свою цензорскую роль Вера Васильевна выполняла весьма старательно. Ну а чтобы выполнять такую роль, сохраняя при этом хоть минимум морального комфорта, надо было уговорить себя, что действует она так, а не иначе, не потому, что «в номерах служить – подол заворотить», а – по убеждению. По велению, так сказать, своей гражданской совести.

Именно этим, я думаю, отчасти и был продиктован так поразивший меня газетный пафос ее сугубо частного, как бы претендующего даже на некоторую интимность письма.

Но все это я понял (а многое и узнал) гораздо позже. А тогда мне даже и в голову не могло прийти, что ни Лидия Корнеевна, ни Алексей Иванович, ни Игнатий Игнатьевич вовсе не считали ее своей, что в их компании была она белой вороной, что терпели ее там только ради любимого ими всеми «Ванечки Халтурина», сказавшего однажды, что если бы не она, не Вера Васильевна, он бы давно уже умер под забором.

Не знаю, так ли уж необходимо это длинное объяснение. Может быть, два эти «документальные свидетельства» (письмо Веры Васильевны ко мне и мой ответ ей) ни в каких дополнительных объяснениях вовсе даже и не нуждаются. Но коли я

уже вступил на этот сомнительный путь, скажу еще несколько слов в свое, так сказать, оправдание.

Вступая в диалог, человек невольно настраивается на «принимающее устройство» собеседника. Можно даже сказать, что он – вольно или невольно – приспособливается к собеседнику, а это значит, что каждая его реплика в этом диалоге не вполне адекватна тому, что он на самом деле думает и что хотел бы сказать.

Отвечая Вере Васильевне на ее письмо, по жанру своему скорее напоминающее статью, я невольно поддался этому стилистическому настрою. В результате – то, что я ей написал, тоже больше походит, как это мне сейчас кажется, на газетную статью, чем на личное послание. И тем не менее письмо это все-таки довольно верно отражает тогдашнее состояние моего ума.

Привожу его здесь, не меняя в нем ни единого слова:

Дорогая Вера Васильевна!

Я искренно благодарен Вам за письмо, хотя не скрою, что оно доставило мне много неприятных минут.

В последние годы я привык к мысли, что люди очень быстро меняются вместе с временем. Даже людям моего поколения часто приходится отказываться от своих вчерашних оценок и суждений. Я был уверен, что сегодня Вы думаете во многом совсем не так, как четверть века назад. Прочитав Ваше письмо, я понял, что ошибался. Признаться, именно это меня и огорчило больше всего.

Вы пишете: «Наши двадцатые и тридцатые годы были лучше, чище, устремленнее и самоотверженнее, чем Ваши – пятидесятые».

Я понимаю, сколь естественно желание каждого человека гордиться своей молодостью, видеть ее в светлом, романтическом ореоле. Я готов понять даже истоки иронически-пренебрежительного отношения людей Вашего поколения к современной молодежи, хотя и не разделяю этого отношения. Я готов понять все. Одного только я не могу понять: как могли Вы написать эту фразу!

Я не жил в двадцатые годы, только по детским впечатлениям могу судить о тридцатых. Очень многое мне дорого и в тех

и в других. Я убежден, что, отказываясь от попыток понять то время, невозможно понять сегодняшнее. И все-таки я решительно предпочитаю пятидесятые и шестидесятые годы двадцатым и тридцатым. Я благодарен нашему времени за многое. За правду, которая была сказана. За то, что вышли на свободу миллионы невинно осужденных людей. За то, что были возвращены нашей литературе Бабель, Зощенко, Булгаков, Платонов, Ахматова, Цветаева, Заболоцкий...

Я мог бы многое еще сказать об этой Вашей фразе, но — бог с ней! Хотелось бы верить, что это всего лишь обмолвка.

Естественно, больше всего меня задело то, что Вы пишете о моей «Стране Гайдара».

Итак, по порядку.

Я не понимаю, почему Вы решили, что моя концепция «отнимает у Гайдара главное, чем он жил всю свою жизнь, — веру». Я не сомневаюсь в том, что Гайдар был искренний человек, свято веривший в то, о чем писал. Не веря, он не мог бы написать такие чистые, искренние, светлые книги. Но разве об этом речь в моей статье? Речь в ней о том, что светлый и чистый мир Гайдара приходил все в большее противоречие с реальностью 30-х годов, и Гайдар как честный художник не мог этого не чувствовать.

Художник — это сейсмограф, чутко отзывающийся на все подземные толчки истории. А 37-й год — это уже не просто толчок. Это — землетрясение. Чтобы почувствовать его, вовсе не надо было быть художником, мыслителем, обладать какой-то повышенной чуткостью. Нужно было просто быть человеком. Я верю в то, что Гайдар им был.

Вы спрашиваете, легче ли мне жить с таким Гайдаром.

Дело в том, дорогая Вера Васильевна, что я давно уже не живу с Гайдаром. Я просто вышел из этого возраста. Я живу с Пушкиным, Толстым, Чеховым, Хемингуэем.

Сын мой любит Гайдара, с удовольствием читает его книги. Но для него Гайдар — примерно то же, что Дюма. А для меня, когда я был в его возрасте, Гайдар был не просто писателем, но Учителем жизни, властителем дум. Эту разницу в восприятии я и пытался исследовать в своей статье, понять и показать ее причины.

В отличие от моего сына, для меня книги Гайдара в детстве были единственной реальностью. Я жил в «Стране Гайдара». А потом вырос и внезапно узнал, что мне предстоит жить совсем в другой стране. Узнавание это было весьма болезненным. Но в конечном счете благотворным. Теперь я счастлив, что живу в реальной стране России, с ее прошлым и настоящим, с ее историей, с ее языком, с ее великой культурой.

Вы спрашиваете, во что я верую сегодня. Я Вам отвечу. В добро, в разум, в человечность, в благородство, в порядочность. Разумеется, на этот вопрос я мог бы ответить более подробно, но мое письмо и так затянулось. Может быть, мы как-нибудь продолжим этот разговор при встрече.

Будьте здоровы, не болейте. Сердечный привет Ивану Игнатьевичу. Мне было бы интересно узнать, как именно он выразился о моей статье, даже если выражение это слегка выходит за границы приличий.

Ответа на этот последний вопрос, как, впрочем, и на все письмо, я не получил. И никаких разговоров «при встрече» (да и самих встреч) у меня ни с Верой Васильевной, ни с Иваном Игнатьевичем больше не было.

Но не лишённая некоторого ехидства фраза моего письма насчет загадочной, так и не процитированной Верой Васильевной реплики Ивана Игнатьевича была лишь этакой кокетливой виньеткой, чем-то вроде постскриптума. Подлинным же итогом всех моих рассуждений, главной, ключевой фразой, в полном смысле этого слова заключительной, была, конечно, предыдущая моя фраза – о том, что я счастлив, что живу теперь в реальной стране России.

Она, конечно, тоже не лишена некоторого газетного пафоса. Но, написав ее тогда, я был искренен.

На самом деле все было, конечно, не так просто. О месте моем в этой реальной России, о моих взаимоотношениях с ней я тогда, вероятно, не задумывался. Хотя отношения эти – даже тогда – были совсем не такими благостными, как это мне представлялось.

Незадолго до этого обмена письмами с Верой Васильевной встретил я как-то своего сокурсника – Володю Солоухина. Постояли, поговорили.

– Что поделываешь? – спросил он.

На нашем литинститутском языке это значило: «Что пишешь? О чем? Доволен ли написанным? Получается? Или не вытанцовывается?»

Я сказал, что заканчиваю небольшую книгу о Гайдаре.

– О Гайдаре? – удивился он.

И – с еще большим удивлением:

– Книгу?

Я пожал плечами: да, мол, книгу. Да, о Гайдаре. А что тут такого уж удивительного?

– Тут же нет никакой проблемы, – пояснил свою мысль Володя. – Гайдар хороший писатель. И это – все. На этом все кончается. А для книги нужна проблема.

Я обиженно сказал, что проблема тут как раз есть, и книгу о Гайдаре я затеял писать не только потому, что Гайдар хороший писатель, а именно вот ради этой самой проблемы. Но пояснять свою мысль не стал: не излагать же здесь, на улице, всю историю моей жизни в «Стране Гайдара» и причины моей эмиграции из этой страны.

Впрочем, помешала мне это сделать не только краткость той случайной уличной встречи.

Что-то подсказало мне, что никакие объяснения тут не помогут. Сколько ни объясняй, Володя все равно тут меня не поймет: он ведь, наверно, ни одного дня не прожил в моей «Стране Гайдара». Поэтому-то и не было тут для него никакой проблемы.

Хотя...

Конечно, до того как судьба свела нас в Литературном институте, мы прожили с ним очень разные жизни. Но я знал, что были в этих наших разных жизненных тропах и кое-какие пересечения. И даже не просто пересечения, а, как сказал поэт, – «судьбы скрещенья».

Вот точно так же столкнулся я с Володей однажды на ули-

це в 48-м – в те самые месяцы, когда я обретался между небом и землей – исключенный из комсомола, выброшенный из института, снедаемый постоянным страхом: что теперь со мною будет? Посадят? Или, бог даст, как-нибудь пронесет?

Углядев меня еще издали, Володя кинулся тогда ко мне как к родному. Расспросил, как я, где я, что собираюсь предпринимать для своей, так сказать, реабилитации, и вдруг сказал:

– Я-то тебя очень хорошо понимаю. У меня в жизни был точно такой же случай.

И он рассказал мне свою историю, как две капли воды (так, во всяком случае, ему казалось) похожую на мою.

Свою воинскую службу он проходил в Кремле. Не помню уж, как они там тогда назывались: курсанты или как-нибудь иначе. Но как бы это там ни называлось, со службой ему повезло.

И вот однажды повезли их на стрельбы. Посадили в грузовик, выдали патроны к винтовкам и – поехали. И когда выехали за город, один курсант – сдуру – взял, да и выстрелил в воздух.

А тут, – как на грех, – навстречу на машине полковник. Приказал остановиться:

– Кто стрелял?

Стрелявший тут же признался:

– Я.

Полковник распорядился:

– Десять нарядов вне очереди!

И поехал дальше.

– И тут, – рассказывал Володя, – я вдруг возьми да и скажи: «Неправильно ты сделал. Тебе надо было одну пулю в воздух, а вторую – в полковника».

Брякнул он это, разумеется, просто так, для красного словца. «Главное-то, – сокрушался он, рассказывая мне эту свою горькую историю, – что к полковнику тому мы все, и я в том числе, очень хорошо относились. Отличный был мужик». Во все не желал он этому полковнику зла, – так же как я вовсе не желал зла классикам марксизма-ленинизма, выражая недовольство, что они так много напустили. Именно в этом он и видел сходство своей истории с моей, именно поэтому и начал с того, что очень хорошо, как никто другой меня понимает.

Ну а дальше все разыгралось как по нотам. Кто-то, разумеется, стукнул: «Курсант Солоухин предлагал стрелять в полковника». Завертелось персональное дело. Как и я, он тоже был исключен из комсомола. Мгновенно уволен из армии. Как и я, боялся, что посадят. Но вот, как видишь, все обошлось. И у тебя тоже, помани мое слово, обойдется. А насчет этого, – сказал он про мой страх ареста, – даже и не думай. Там, – сделал он многозначительное ударение на этом слове, – очень даже неглупые люди сидят.

– А как же Мандель? – наивно спросил я.

– Разберутся, – уверенно ответил он. – Я ж тебе говорю: не дураки там сидят.

Мы еще немного поговорили про Манделя, которого Володя тогда знал гораздо лучше, чем я, и разошлись.

Впрочем, нет! Прежде чем мы разошлись, он вдруг – совершенно неожиданно – рассказал мне о каких-то своих сексуальных затруднениях и о связанном с ними нервном состоянии, из которого он никак не может выйти. Я, помнится, тогда еще подумал: «Надо же, такой здоровый бугай – и на тебе!»

Вот с этой встречи и ведет свое начало моя слабость к Володе Солоухину. Некоторая даже нежность, которую я питал к нему долгие годы и с которой окончательно расстался сравнительно недавно. Во всяком случае, гораздо позже, чем следовало.

Еще больше укрепил эту мою слабость (прошу прощения за невольный оксюморон) рассказ Эмки, с которым я сблизился уже после его возвращения из Караганды.

Рассказывая, как его арестовывали, он особенно упирал на то, что Володя Тендряков, когда он прощался со всеми своими соседями по общежитию, отвернулся, а Володя Солоухин – единственный из всех – с ним расцеловался.

Много лет спустя, защищая Солоухина от убийственных и, увы, наверное, справедливых обвинений Семена Израилевича Липкина, я припомнил этот Эмкин рассказ и выдвинул его в качестве чуть ли не главного аргумента в своей защитительной речи.

– Меня умиляет ваша наивность, – грустно усмехнулся Семен Израилевич. – Ведь вы же неглупый человек. Неужели вы не понимаете, что если он его поцеловал, значит, он имел право его поцеловать.

Увидав, что его мысль до меня не дошла, Семен Израилевич пояснил:

– Значит, ему дано было такое право.

Это прозвучало, как если бы он сказал не «право», а – «здание». Или – «поручение». Ну а кем даются такие поручения, объяснять было уже не нужно.

В то, что знаменитый героический (ну ладно, пусть не героический) поцелуй Володи Солоухина был поцелуем Иуды, я все-таки тогда не поверил. То есть мне не хотелось в это верить.

Я объяснял все это иначе.

Вот, например, поведение Володи Тендрякова. В нем для меня не было ничего странного. Тендряк просто не мог поступить иначе. Он был человек очень чистый, не просто наивно, а прямо-таки истово верующий в советскую власть. Когда Эмку уводили, он отвернулся от него, потому что свято верил: «У них там ошибок не бывает».

Володя Солоухин был гораздо трезвее. Можно даже сказать – циничнее. Во всяком случае, его наивность не простиралась дальше убеждения, что там сидят не дураки и что они – разберутся. В отличие от Тендряка, он уже тогда кое-что понял про эту самую родную нашу советскую власть.

В общем, версию Семена Израилевича я тогда не принял. Но жизнь показала, что его объяснение, наверно, было все-таки ближе к истине, чем мое.

Много лет спустя, когда Мандель (теперь уже опять Мандель, а не Коржавин, – m-g Mandel, как писал я на почтовых конвертах) давно уже жил в американском городе Бостоне, Володя Солоухин столкнулся со мной на нашей Аэропортовой. (Мы хоть и жили в одном доме, но встречались нечасто.)

– Вот хорошо, – сказал он, как всегда, сильно упирая на «о». – А я как раз собирался тебе звонить. Тебе большой привет от Эмки.

Оказалось, что он только что из Бостона, и привет от Эмки, который он мне передал, был не какой-нибудь там телефонный, а самый что ни на есть живой. Выражаясь высокопарно, его ладонь еще хранила тепло Эмкиной руки.

Я спросил, как вышло, что они повидались. Случайная это была встреча или нет. Видимо, в подтексте моих вопросов зву-

чало естественное тогда удивление по поводу того, что он, известный советский писатель, лицо, так сказать, официальное, не побоялся встретиться с отщепенцем, эмигрантом, предателем. Может быть, это удивление прозвучало не только в подтексте, но и в самом тексте этих моих вопросов.

– Да ты что! – усмехнулся он. – Это был первый человек, к которому я там пошел!

И он подробно рассказал мне, как они с Эмкой ели настоящий русский (или украинский?) борщ в американском еврейском ресторане.

Этот рассказ сам по себе, может быть, и не натолкнул бы меня на мысль, что на встречу с Манделем и посещение еврейского ресторана Володя имел специальное разрешение (читай – поручение). Но незадолго до того два солоухинских рассказа появились в «Гранях». Никому другому такая смелость не сошла бы с рук. (И не сходила! Войновичу, например, она сломила жизнь.) А Солоухину все это было – как с гуся вода.

Тут уж – хочешь не хочешь – а пришлось мне слегка пересмотреть мое недоверчивое отношение к версии Семена Израилевича. Черт его знает! – подумал я. – Может, и в самом деле была у него от них индульгенция на все эти смелые поступки!

Такие подозрения были тогда в ходу. В тайном сотрудничестве с нашими славными органами подозревали, в общем-то, каждого, кто вел себя чуть посмелее других. Но Солоухин давно уже перешагнул этот «рубеж запретной зоны». И высокое начальство как-то уж слишком легко, подозрительно легко на это реагировало. То есть подозрительно было как раз то, что оно никак не реагировало, например, на то, что уже в самом начале 60-х он в открытую объявил себя монархистом.

Теперь-то у нас монархистов – как собак нерезаных. А тогда монархистом был только он один: Володя Солоухин. Он, конечно, не кричал о своем монархизме на всех перекрестках, но – довольно демонстративно носил на пальце золотое кольцо с изображением Николая Второго. Однажды, взяв его за руку и приблизив это кольцо к глазам, я спросил:

– Что это у тебя?

– Память от бабушки, – ответил он, улыбнувшись слегка

skonфуженной улыбкой. – Бабушка мне пятерку царскую оставила, вот я на память о ней и ношу.

Пока все это было еще довольно невинно и в чем-то даже мило. В какой-то мере этому его монархизму я даже сочувствовал. Октябрьскую революцию в тогдашних своих книгах он именовал не иначе, как катаклизмом. И интонация, с которой он всякий раз произносил это слово, не оставляла ни малейших сомнений насчет истинного его отношения к этому великому историческому событию. А поскольку я в то время к большевистскому перевороту тоже относился уже без особого восторга, мне это нравилось.

Но чем дальше, тем солоухинский монархизм принимал все более и более гнусные формы.

И дело тут было не только в антисемитизме, постепенно разросшемся у него до масштабов самого махрового черносотенства. (Какой же русский монархист – не черносотенец?) То же гнусность, конечно. Но гнуснее всего для меня в Володином монархизме была его пошлость. Однажды (я случайно включил телевизор и увидел) он читал стихи Георгия Иванова и с особым чувством, с некоторым даже вызовом прочел такое его стихотворение:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие прекрасные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны –
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

Странное дело!

Я давно и хорошо знал эти стихи. При всей моей чуждости «миру державному» даже любил их. Но тут я словно бы услышал совсем другое стихотворение. Ничего общего не имело оно с тем, которое я так хорошо знал и помнил. Хотя в тексте стихотворения, читая его по памяти, Солоухин сделал только одну, на первый взгляд, совсем не существенную ошибку. У Ге-

оргия Иванова в первом четверостишии лица членов императорской семьи не прекрасные, а – печальные: «Какие печальные лица!» И только во второй строфе – впервые! – возникает другой, новый эпитет: прекрасные.

Эта замена одного эпитета другим создает совершенно особую – и единственно возможную – интонацию прочтения этого коротенького стихотворения.

Много лет спустя после того самого катаклизма, вышвырнувшего его за пределы родной страны, где-нибудь там, в Париже, попалась поэту на глаза – может быть, в подшивке старой «Нивы» – эта фотография. Он вглядывается в нее, и чувство, которое она рождает в его душе («...как это было давно!») не отличается от того, которое выплеснулось в другом его стихотворении: «Мы жили тогда на планете другой!» Пока еще речь только об этом, о случайно оказавшемся в его руках осколке, обломке той прежней жизни, которая исчезла, ушла на дно – как некая новая Атлантида. Но вот первое и, пожалуй, главное из того, что замечает он, вглядываясь в эту старую фотографию, в лица изображенных на ней людей: «Какие печальные лица!»

Слово «печальные» здесь – ключевое. Оно означает, что когда он глядел на эту фотографию раньше, в той, прежней, безмятежной петербургской своей жизни, – эти лица вовсе не казались ему печальными. Печальными они кажутся ему сейчас, когда он глядит на них из будущего, уже зная их грядущую судьбу, и ему чудится, что на их лицах, в выражении этих лиц тоже отразилось это знание будущей своей судьбы: оттого они и печальные. (Невольно тут приходят на ум строки Ахматовой: «Когда человек умирает, изменяются его портреты, по-иному глаза глядят, и губы улыбаются другой улыбкой...»)

Конечно, тогда они знать не знали и думать не думали о грядущей трагической своей судьбе. Не могли знать! Вот почему в этом неожиданном восклицании поэта – «Какие печальные лица!» – слово «печальные» звучит словно бы удивленно. В нем как бы слышится вопрос: «Почему уже тогда они были печальными, эти лица?»

И то же удивление, пожалуй, даже слегка усиленное, слышится во второй строфе, в этом новом, другом эпитете: «Какие прекрасные лица!»

Этим удивленным эпитетом поэт как бы говорит: оказывается, они прекрасны, эти лица! Почему же я не замечал этого раньше? Как мог я раньше глядеть на эти же самые лица и не видеть, как они прекрасны?

А не мог он увидеть это раньше, потому что в той, прежней жизни эти лица ассоциировались у него с Ходынккой, с Кровавым воскресеньем, с Распутиным, с шепотком о предательнице-царице, немке, тайно сочувствующей закланному врагу России – Вильгельму, со всей той атмосферой глубочайшего, тотального неуважения к царствующему дому, какой было пронизано тогда все общество, весь тот круг, к которому он принадлежал, частью которого был. (Узнав о расстреле Николая Романова, Зинаида Гиппиус, смертельно ненавидевшая большевиков, записывает у себя в дневнике: «Шупленького офицера не жаль, конечно, – где тут еще, кого тут еще «жаль»! – он давно был с мертвечинкой, но отвратительное уродство всего этого – непереносно».)

Чтобы увидеть эти лица прекрасными, надо было пережить трагический финал той исторической драмы, узнать, что расстреляли не одного Николая, а всех, всю семью, с мальчиком-наследником и девочками – великими княжнами. И еще: надо было увидеть лица новых властителей России, пришедших на смену этим.

Для Солоухина это стихотворение Георгия Иванова, судя по тому, как он его прочел (с пафосом: «Какие прекрасные лица!») и с двойным, возрастающим упором на слово «прекрасные»), – просто славословие батюшке-царю и государыне императрице. Весь тонкий и сложный подтекст стихотворения до него не дошел.

Да он и не мог до него дойти, – злобно подумал я: ведь ему и лицо Сталина, которого он охранял в юности, когда был кремлевским курсантом, тоже, наверное, казалось прекрасным.

В действительности, однако, дело обстояло еще хуже.

Да, к тому времени он и в самом деле стал уже не только монархистом, но и ярким сталинистом. (Леночка Ржевская рассказала мне однажды, что как-то в ЦДЛ, в День Победы, он подсел – незваный – за стол ветеранов, к фронтовому братству которых отнюдь не принадлежал, и предложил тост за Вер-

ховного главнокомандующего. Был большой скандал.) Но эта его «любовь к Сталину» вряд ли была искренней. Это все была – политика. Идеология.

Написав, что в действительности дело обстояло еще хуже, я имел в виду именно это. Идеология съела его душу. Съела последние остатки поэтического дарования, которое ведь у него было! А если даже и не было (допускаю, что это тогда, в литинститутские годы, мне так казалось, – ведь я на всех на них, тогдашних моих сокурсников, глядел снизу вверх), – если настоящего поэтического дарования даже и не было, так уж чуждость к поэтическому слову, способность отзываться душой на самые слабые поэтические токи – это-то было!

Помню же, как ходили мы втроем (третьим был Саша Рекемчук) по ночным московским улицам (это был какой-то дурацкий предпраздничный комсомольский патруль) и наперебой читали друг другу стихи Гумилева, Пастернака, Цветаевой. Мы смаковали любимые строки, и каждый хотел полакомить остальных чем-то своим, особенным. Говорили об аллитерациях, о звуке, о том, что у каждого поэта – свой, особенный, только ему свойственный «звук». Перебивая других, я говорил: «А помните?.. А вот еще...» И захлеб читал из любимого своего Маяковского:

Где он, бронзы звон или гранита грань?

И молодые поэты (Рекемчук тогда тоже писал стихи) соглашались:

– Да, здорово: «бронзы звон», «гранита грань»... Молодец Владимыч...

А Володя Солоухин вспомнил и прочел восхитившее его четверостишие Зинаиды Гиппиус:

Мы стали злыми и покорными,
Нам не уйти.
Уже развел руками черными
Викжель пути.

Эти строки я знал. Меня они тоже сразу покорили своим мрачным обаянием.

Зинаиду Гиппиус никто из нас тогда, понятное дело, не читал. (Да и где нам было ее прочесть?) А припомненное Володей четверостишие я знал, потому что его процитировал любимый мною Маяковский в своей статье «Как делать стихи». Полностью это стихотворение я прочел не скоро: лет, наверно, двадцать спустя. И тогда же узнал, что написано оно было 9 ноября 1917 года, то есть на другой день после Октябрьского переворота. Маяковский об этом в своей статье, ясное дело, не упомянул, а дата тут очень важна. Не зная, когда стихотворение было написано, трудно понять его истинный смысл. Даже само название его (называется оно – «Сейчас») требует точной даты:

Как скользки улицы отвратные,
Какая стыдь!
Как в эти дни невероятные
Позорно – жить!

Лежим, заплеваны и связаны,
По всем углам.
Плевки матросские размазаны
У нас по лбам.

Столпы, радетели, водители
Давно в бегах.
И только вьются согласители
В своих Це-ках.

Мы стали псами подзаборными,
Не уползти!
Уж разобрал руками черными
Викжель – пути...

Когда я наконец прочел это стихотворение целиком, оно, признаться, уже не так меня восхитило. Во всяком случае, знакомое мне последнее четверостишие такого сильного действия, как двадцать лет назад, на меня уже не оказало. Мне даже показалось, что, цитируя по памяти и невольно (а может, и не так уж невольно?) его искажив, Маяковский сильно его улучшил.

Может быть, такова сила первого впечатления, но даже и сейчас мне кажется, что «Уже развел» (так у Маяковского) –

гораздо лучше, чем «Уж разобрал». Разобрать пути ведь мог и какой-нибудь чеховский «злоумышленник», отвинчивавший гайки от железнодорожных рельсов. А вот развести эти самые рельсы мог только он, этот таинственный, неведомый мне Викжель, от самого имени которого веяло какой-то странной, мистической жутью.

Из той же статьи Маяковского я узнал, что на самом деле никакой мистики там не было и в помине: «Викжель» – это все-го-навсего «Всероссийский исполнительный комитет союза железнодорожников».

Узнав это, я, по правде говоря, был сильно разочарован. О чем тут же и сказал Володе. На что он, улыбнувшись своей милой, конфузливой улыбкой, тут же признал, что и он тоже вычитал это четверостишие из статьи Маяковского. И что его тоже слегка разочаровало, когда оказалось, что загадочный, жутковатый «Викжель» оказался всего-навсего профсоюзом железнодорожников.

Это совпадение, помню, очень меня тогда обрадовало. И даже как-то мне польстило, словно бы повысив меня в собственных глазах.

Вкус к слову, чувство слова, способность отличать истинную поэзию от мнимой – все это у него тогда действительно было. Не может быть, чтобы мне это только померещилось...

Нет, все это было, было.

Помимо любви к стихам, к одним и тем же поэтическим строчкам, было у нас – уже тогда – что-то общее и в отношении к нашей родной «Софье Власьевне». Не какое-нибудь там отрицательное или – еще того больше – разоблачительное. Но – свободное, без придыхания и ложного пафоса.

Перед этим патрулированием, о котором я сейчас вспомнил, всех нас, вызванных тогда в райком комсомола (а было нас там довольно много), подробно инструктировали. И среди этих разных, показавшихся нам довольно глупыми инструкций была такая:

– Если вы увидите, что какие-то люди пытаются прикрепить к стене какого-либо здания прокламацию или листовку антисоветского содержания, – внушал нам «инструктор» (как я теперь понимаю, он был не из райкома, а из «органов»), – вы

должны захватить преступников врасплох и незамедлительно пресечь их преступную деятельность.

Выйдя после этого инструктажа на улицу, мы с разными шуточками и прибауточками обсуждали все рекомендации инструктора, а особенно эту. Тут мы сразу нарисовали себе примерно такую картину. Идем, значит, мы втроем по какой-то глухой, темной московской улице и видим, что какие-то люди наклеивают на дом антисоветскую листовку. Мы к ним подходим и довольно строго (мы ведь люди официальные, комсомольский патруль) спрашиваем, что это они тут делают.

– А вам-то что? – грубо отвечают нам они.

И тут мы, сразу оробев, отвечаем:

– Да нет, ничего... Может, вам помочь?

Да уж, чего другого, а чувства юмора Володе Солоухину было тогда не занимать. И вот все это съела, слопала, сожрала с потрохами проклятая чушка-идеология.

Ходили, правда, слухи, что этой мракобесной, черносотенной идеологией Володя был заражен еще в те давние литинститутские наши годы.

Вспоминали стихотворение, сочиненное им то ли на первом, то ли на втором курсе, в котором рассказывалось о кукушатах, которых мать-кукушка подбрасывает в чужое гнездо. Хозяйева гнезда кормят их наравне с родными своими птенцами, а те потом вырастают, им в гнезде становится тесно, и тогда они выкидывают из гнезда этих сводных своих сестер и братьев, губят их.

В разговорах на эту тему кое-кто припоминал даже, что в описании кукушат автор делал особенный упор на их длинные клювы, чуть ли не называл их долгоносиками, прозрачно намекая, что на самом деле тут имеются в виду вовсе не кукушата, а люди известной национальности.

Сам я этих Володиных стихов тогда не слышал и не читал, помню их только в чьем-то пересказе. Помню не столько сами стихи, сколько разговоры о них. Да и разговоры эти я как-то пропустил мимо ушей. Во всяком случае, в антисемитизм Володи Солоухина тогда не поверил.

Да и в последующей идейной Володиной эволюции антисемитизм его – теперь уже вполне для меня очевидный – не был, как мне тогда казалось, главным злом.

Пиком, последней, высшей точкой его идеологического остервенения для меня стала написанная им незадолго до смерти книга о Гайдаре.

Да-да, я не оговорился. Тот самый Володя Солоухин, который никак не мог понять, чего ради я вдруг решил писать книгу про Гайдара (ведь тут же нет никакой проблемы!), под конец жизни, под самый, так сказать, занавес, не нашел более благодатного источника для своего художественного вдохновения, чем жизнь Аркадия Голикова, ставшего потом писателем Аркадием Гайдаром.

Проблема, выходит, все-таки была.

Но это была другая проблема – совсем не та, что когда-то волновала меня.

Чтобы определить сверхзадачу этого солоухинского сочинения (появилось оно на свет Божий, разумеется, в черносотенном «Нашем современнике»), нет нужды даже кратко пересказывать его содержание. Вполне можно ограничиться лишь несколькими строчками из отклика на эту «документальную повесть», появившегося тогда же (в 1994 году) в «Литературной газете»:

Помните, в повести «Школа» пятнадцатилетний герой убивает в лесу из маузера своего ровесника, «беляка», пробирающегося на Дон к Краснову? Так этот, убитый, мне роднее.

Это заявление рецензента – ярого солоухинского единомышленника – по правде говоря, меня не очень шокировало. Тогда уже модно было, вспоминая Гражданскую войну, выражать свое сочувствие не красным, а белым. И песня про поручика Голицына и корнета Оболенского, ставшая модным шлягером, давно уже исполнялась без всякого намека на ироническую стилизацию, какой она, в сущности, была, а – всерьез, с некоторым даже душевным надрывом.

Но было, как оказалось, в идейной эволюции бывшего моего однокурсника нечто такое, что не могло мне привидеться и в самом страшном сне.

Написав, что последней, высшей точкой его идеологического остервенения стала сочиненная им незадолго до смерти книга о Гайдаре, я, оказывается, сильно ошибся.

Спустя несколько лет после Володиной смерти попалась мне на глаза (не случайно, конечно, попалась: кто-то навел) действительно последняя его книга. Его, так сказать, духовное завещание.

Называлась она так: «Последняя ступень. Исповедь вашего современника».

Много неожиданного для себя узнал я из этой исповеди. Но ограничусь только одной сравнительно небольшой из нее цитатой:

... Евреи в своей борьбе главный упор делают на разложение народов... Это вроде как (я где-то читал, у Фабра, наверное) черви, питающиеся трупами погибших животных, не просто пожираютдохлоемясо и кожу, но сначала умеют разжидить их. Фабр называет это приготовлением бульона. Так вот, черви сначала готовят бульон, а потом уж им и питаются. Точно так же поступают и эти... У них даже есть термин «размыть народ». Они говорят, например, про французов, про англичан: ну, это народ уже размытый, этот народ нам не страшен!.

Гитлер называл себя последним шансом Европы и человечества...

Строго говоря, Гитлер и его движение возникло как реакция на разгул еврейской экспансии, как сила противодействия. Дальше медлить было нельзя. И так уж дело дошло до края, до пропасти, когда появился Гитлер, который называл себя последним шансом Европы и человечества. Это была судорога человечества, осознавшего, что его пожирают черви, и пытавшегося стряхнуть их с себя...

А теперь уже поздно. Теперь уже — рак крови. Парадоксально, что идеи побежденного Гитлера воспринял было Сталин, который собирался решать еврейский вопрос. Дело в том, что он все равно не мог бы его решить за пределами своего государства. Что из того, что он даже и физически уничтожил бы евреев на территории СССР. Это не изменило бы общей картины, общего соотношения сил на земном шаре. А добраться до Америки, Франции, Англии у него руки все равно были коротки. Добраться до них мог бы только Гитлер в союзе с Италией, Японией, остальной Европой, да еще если бы мы, дураки,

вместо того чтобы воевать с ним... Между прочим, Сталин поверил в такой союз, он поверил приглашению Гитлера совместно решать основной вопрос человечества...

Но теперь уже поздно. Я не вижу на земном шаре силы, личности, которая могла бы спасти положение. Евреи это знают и ничего уже не боятся. Они делают что хотят.

Вот как далеко продвинулся... по привычке чуть было на написал «Володя», но после только что выписанной мною цитаты язык не поворачивается и рука не подымается назвать бывшего моего однокашника и приятеля этим привычным для меня именем...

Да, так вот, стало быть, как далеко продвинулся литератор Владимир Солоухин по пути, на который ступил когда-то, сочинив в пору нашей литинститутской юности стишок про долгоносиков-кукушат, прижившихся в чужом гнезде и выкинувших из него настоящих хозяев.

Если бы я писал статью, что-нибудь вроде критического (скорее – публицистического) отклика на эту последнюю книгу Владимира Солоухина, я, наверно, не удержался бы от восклицаний: как, дескать, могло случиться, что в стране, полвека назад очистившей мир от коричневой чумы, могут появляться такие книги! До чего мы дожили, докатились!..

Если бы копнул чуть глубже, мог бы вспомнить Владимира Соловьева, который утверждал, что следствием национально-самосознания может стать (и, как правило, становится) национальное самодовольство, потом – национальное самообожание, в конечном счете – национальное самоуничтожение. (Я бы включил в эту провидческую соловьевскую «лестницу» еще одну неизбежную ступень: ксенофобию.)

Многое еще можно было бы наговорить по этому поводу.

Но я пишу не о Солоухине, а о себе. О своей жизни. И поэтому «исповедь» этого моего современника вызвала у меня совсем другие ассоциации.

В 1962 году, раскрыв очередной номер журнала «Знамя» (был это номер восьмой), я наткнулся там на маленький рассказ Владимира Солоухина «Обида». Незамысловатый этот рассказ, в основе которого лежало, судя по всему, действи-

тельное происшествие, тронул меня. И я – тогда же – откликнулся на него небольшой статейкой.

Статьёчку эту цитировать или даже пересказывать не стану, а сам рассказ придется пересказать. И в пересказе этом – уж извините – не избежать мне довольно пространных из него цитат:

Колька Ланцев был из Куделина, а я из Олепина. Сидели же мы на одной парте. Колька, бесспорно, был озорнее меня. Можно даже сказать, что он был драчун...

Что касается меня, то я во время уроков чаще всего читал интересные книжки...

Началось с того, что Колька из озорства отнял у меня книжку, неожиданно выхватил из рук. Затевать возню было нельзя. Я смирился, хотя и обиделся. А Колька машинально заглянул в книгу, прочитал там фразу, другую, потом страницу, а потом уж не оторвался до конца урока. Мало того, что не сдвинулся с места во время перемены, не заметил начала другого урока (последнего в этот день), а когда кончился этот последний урок, он (не успел я опомниться) схватил свои книжки и, конечно, мою книгу и убежал из класса.

Если разобраться, моей заслуги тут не было никакой. Все надо отнести за счет Рони-старшего, написавшего свою обаятельную «Борьбу за огонь». Но Колька считал, что именно благодаря мне он пристрастился к чтению, и с тех пор относился ко мне как-то немного по-особенному... Теперь Колька уже не дрался на переменах, а забыв обо всем, забыв даже сбегать по неотложному делу, то дружил с мамонтами, подобно Нао, и кормил их сладкими побегамми, то сидел у костров с Дерсу Узала, то плавал по Миссисипи вместе с Гекльберри Финном...

Эта перемена в Кольке Ланцеве не имела сколько-нибудь существенного влияния на дальнейшее течение событий. После окончания семилетки ребята почти не встречались: ведь жили они в разных селах.

Но однажды все-таки встретиться им привелось:

Перед самой войной (я и мои сверстники сделали к этому времени подростками, почти парнями) к нам в Олепино

под вечер пришли гулять парни из Куделина. То есть, короче говоря, нам был брошен вызов.

Все знали, что куделинский Сашка Матвеев и наш олепинский Шурка Московкин приглядываются к одной и той же девушке, и, значит, на одном гулянье им будет тесно. А если взрослые, матерые парни решили драться, подросткам участия в драке не избежать.

Драка описывалась Солоухиным нарочито спокойно, буднично. Рассказчик (в сущности – автор, но он же и главный герой) словно бы не понимает, что участвует в чем-то подлом:

... я оказался близко, лицом к лицу со счастливым обладателем кола, и это был Колька Ланцев. Пока он пытался освободиться от моей цепкой, отчаянной хватки, его ударили в два кола. Он покачнулся. Выправился и бросился бежать. Тут побежали и все остальные.

Мы возвращались в село победителями, громко и возбужденно, ликующе обсуждали каждую деталь драки...

Но в общем-то, это была одна из рядовых деревенских драк, она и так вскоре забылась бы, а тут к тому же началась война. Всех парней забрали в армию. Большинство из них не вернулось к родным берегам нашей маленькой светленькой речки Ворши...

Следующая встреча автора с Колькой Ланцевым – та, ради которой и написан ведь этот незатейливый рассказ, – случилась уже после войны:

Я уж собрался идти домой, как вдруг вижу, идет по гуляню, подхватив под руки двух девушек, Колька Ланцев.

– Мать честная! Колька! Уцелел! Вернулся!

Колька бросил своих девушек – и бегом ко мне. Обнялись, поздоровались уже по-мужски – не дети...

Вдруг радостное, смеющееся лицо Кольки начало сереть, мрачнеть, серьезнеть, в глазах почудилась жестокость.

– Погоди-погоди... Пойдем-ка за угол, мне с тобой поговорить надо...

Мы теперь только вдвоем стояли друг против друга...

- За что ты тогда на меня драться полез, а?..
- Да ты что, Николай, опомнись... Столько лет прошло... Война... Нашел что вспоминать.
- А как же мне не вспоминать. Я тебя своим другом считал, на одной парте сидели, книжки мне читать давал...
- Так ведь все олепинские дрались, как же я мог в стороне остаться!
- Нет, ты скажи, за что ты на меня набросился-то. И, главное, какие книжки читал! Как же можно после этих книг на человека набрасываться, а?

Кончался тот солоухинский рассказ так:

В разговоре нашем мы обращались к таким понятиям, как Третий Украинский фронт, Карпаты, плацдарм, Европа, Второй фронт, мир и победа... Но нет-нет, Колька вдруг опускал голову, качал ею недоуменно и говорил:

— Не ожидал... На одной парте сидели... Книжки... Какие книжки читали!.. Не ожидал!..

Сейчас я уже в точности не помню, что я написал про этот солоухинский рассказ в той давней своей статейке. Что-то, наверное, во славу искусства, его облагораживающего воздействия на душу человека. Вот ведь, мол, как: иллюзорная, воображаемая связь Кольки Ланцева с Нао, и с Дерсу Узала, и с американским мальчиком Геком Финном оказалась для Кольки Ланцева важнее, а значит, и реальнее, чем обыденная, действительно реальная и, на первый взгляд, непреодолимая зависимость от тех темных, звериных законов, на которых испокон веков стоял мир села Куделина, и села Олепина, и Вишенок, и Пасынков, и многих тысяч других русских сел.

Но сейчас, как вы, конечно, уже догадались, этот солоухинский рассказ вызвал у меня совсем другие мысли. И всколыхнул в моей душе совсем иные чувства.

Я снова вспомнил, как мы втроем бродили по ночной Москве, и автор этого рассказа читал нам всю ночь напролет свои – и наши тоже – любимые стихи:

Как я трогал тебя, даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал...

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала...

Снилось мне, что ты любишь другого
И что он обидел тебя...

И наложил это давнее – пятидесятилетней давности – свое воспоминание на предсмертную его «исповедь», на эту его мечту о новом Гитлере, которому, быть может, все-таки еще удастся довести до конца то, чего не смогли выполнить ни Гитлер, ни Сталин...

И вот, уже старый и совсем не такой простодушный, как герой того солоухинского рассказа, человек, написавший к тому же совсем недавно книгу, которую назвал «Перестаньте удивляться!», я – точь-в-точь как тот солоухинский Колька Ланцев – все-таки не перестаю удивляться. И повторяю (про себя, конечно):

– Не ожидал... На одной парте сидели... Стихи... Какие стихи читали!.. Не ожидал!..

Но это все сейчас. А спустя месяца два после солоухинской смерти (на всякий случай напоминаю, что тогда эту его предсмертную «исповедь» я еще не читал) повстречался мне на нашей Аэропортовской улице другой мой сокурсник – Володя Бушин: тот самый, который на каком-то коммунистическом митинге красовался рядом с Анпиловым (я об этом уже упоминал). Он тоже живет где-то тут, по соседству, и мы время от времени встречаемся, перекидываемся двумя-тремя пустяковыми фразами и расходимся – до следующей такой же встречи, которая может случиться на другой день, а может – и через полтора-два года.

– Не ходил провожать Володю? – спросил он.

– Нет, – сказал я. И чтобы не вдаваться в объяснения (хотя никаких объяснений от меня не требовалось), на всякий случай, как бы извиняясь, добавил, что меня в то время не было в Москве. (Как будто если бы я был в Москве – пошел бы.)

– А я ходил, – сказал Бушин. – Хоть мы с ним и разошлись в последнее время...

– Ну да? – удивился я.

Оба они – и Бушин, и Солоухин – теперь были для меня одного поля ягоды.

– Что ты! – отреагировал на мое удивленное «Ну да?» Бушин. – Собственно, разошлись мы уже давно. Но в последнее время... Особенно после этой его гадостной книжонки про Ленина... Но провожать его я все-таки пошел. Ведь нас уже так мало осталось.

В моей душе эта сентиментальная реплика никакого отзвука не нашла. Но спорить я не стал. И расстались мы с Бушиным вроде как старые товарищи, которых что-то (пусть самая малость) еще все-таки связывает. Ну – хотя бы сознание, что нас уже так мало осталось. Во всяком случае, я как бы оставил сентиментальному Бушину некоторую возможность сохранять эту иллюзию.

Но, как выяснилось, ненадолго.

Совсем недавно я получил от Бушина письмо. И даже не одно, а целых два письма. Но – на одну тему.

Речь в них шла о моей книжке «Перестаньте удивляться!», которую он прочел и которая его глубоко возмутила. Вот этим своим возмущением он со мною и поделился.

Заглянув в конец первого письма, я вчитываться в него не стал – бегло проглядел и порвал. А второе порвал, даже и не читая. О чем, кстати сказать, теперь жалею: для вот этих сегодняшних моих размышлений те письма, наверно, могли бы мне пригодиться.

Порвал же я их, потому что единственная прочитанная мною фраза, заключающая первое письмо, гласила: «Ехал бы ты лучше в свой Израиль, чем прозябать здесь с нами, в нашей болотной срани».

Фраза эта не то чтобы меня обидела. Скорее – разозлила. И не столько оскорбительностью этого расхожего антисемитского предложения ехать «в свой Израиль», сколько лживой и, как мне показалось, даже жульнической интерпретацией смысла моей книжки.

Ведь жало этой моей «маловысокохудожественной» сатиры

было направлено в жизнь советскую. В это уникальное, никаких аналогов в мировой истории не имеющее государственное и психологическое образование. И если бы Бушин обиделся за советскую власть и на этом основании предложил мне убраться в Израиль, меня бы это никак не задело. Я бы только удивился: почему именно в Израиль, а не, например, в Америку? Или ответил бы: «Ехал бы ты, братец, отсюда на Кубу. Или в Северную Корею». И – все. И мы были бы квиты.

Но он обиделся за Россию. И обращенное ко мне предложение ехать «в свой Израиль» исходило из предположения (как мне показалось, откровенно жульнического), что недовольство мое нашей замечательной родиной есть недовольство чисто еврейское, что проистекает оно – это недовольство – исключительно из особого, еврейского устройства моего мозга, моего слуха, моего зрения – всех органов моего «нерусско-го», еврейского восприятия мира.

Но потом я подумал: а что если эта его обида (за Россию) была искренней? Что если моя книга и в самом деле оскорбила его не как советского, а как русского человека? (Вот тут-то я и пожалел, что порвал и выкинул его письма, не дав себе труда даже толком их прочитать.)

При таком раскладе выходило, что не только в солоухинской, монархической, черносотенной России, но и в той России, которую представлял солоухинский антагонист Бушин, мне тоже не было места.

Получалось точь-в-точь как в грустной эпиграмме Игоря Губермана:

За все на евреев найдется судья.
За живость. За ум. За сутулость.
За то, что еврейка стреляла в вождя.
За то, что она промахнулась.

Дело, конечно, было не в Бушине. Бушин – антисемит, всегда был антисемитом.

Я вспомнил, как в те, давние, литинститутские времена он отреагировал на реплику Павла Ивановича Новицкого про Мандельштама. Павел Иванович читал нам курс истории со-

ветской литературы. И хотя Мандельштам был тогда неупоминаем, он все-таки уделил ему какое-то – помнится, не такое уж малое – место в своих лекциях. Говорил он о нем как о ярком и значительном явлении в истории российской поэзии, но при этом все-таки дал понять, что карающий меч пролетарского правосудия обрушился на него не зря.

– Мандельштам ненавидел советскую власть, – сказал он. И вдруг добавил: – Несмотря на то, что он был евреем.

– Почему же несмотря? – громко удивился сидящий прямо напротив профессора Бушин.

Смысл этой реплики не вызывал сомнений. Подразумевалось, что Мандельштам ненавидел советскую власть не «несмотря», а именно потому, что он был евреем. Павел Иванович побагровел, но возразить ничего не мог: формально Бушин был прав. В разговоре о причинах чьей-нибудь любви или нелюбви к советской власти правомерен был только классовый подход. При чем тут национальность?

Что говорить! Конечно, он всегда был антисемитом, Володя Бушин. Не зря же еще в институтские времена Гриша Бакланов сгоряча обозвал его однажды фашистом: дело было громкое, и Бакланову тогда крепко досталось.

Да и так ли уж это в конце концов важно, что один из двух старых моих литинститутских товарищей (Солоухин) стал антисемитом монархического толка, а другой (Бушин) ухитрился совместить свой антисемитизм с ленинским пролетарским интернационализмом. Таким совмещением сегодня уже никого не удивишь.

Нет, дело было совсем не в Бушине. И – по правде говоря – совсем даже и не в антисемитизме.

Один мой приятель, человек редкой доброкачественности, да к тому же еще и искренне ко мне расположенный, прочитав мою книжку про Мандельштама, сказал, что книга эта – очень еврейская. Никакого отрицательного смысла он в это определение не вкладывал. Просто констатировал факт.

Это было для меня совершеннейшей неожиданностью. Тщетно я расспрашивал его, пытаюсь доискаться: почему еврейская? В чем выразилась – проявилась – ее «еврейскость»? Толком ответить на эти мои вопросы он не мог. Но продолжал твердить свое: еврейская – и все тут.

В связи с этим мне припомнился вычитанный из чьих-то мемуаров (кажется, Наталии Крандиевской) рассказ про спор А.Н. Толстого с М.О. Гершензоном. Дело было в июле 1917 года. Гершензон доказывал, что спасти гибнущую Россию могут только большевики, потому что они за немедленный сепаратный мир. Страна устала, воевать больше не может, на фронтах идет братанье, надо немедленно замиряться с немцами: другого выхода нет.

Алексей Николаевич не соглашался: он был за войну до победного конца.

Спорили долго, но так ни к чему и не пришли. Каждый остался при своем.

Гершензон ушел, а Алексей Николаевич долго еще не мог успокоиться, мрачно ходил взад и вперед по своему кабинету, что-то бормотал себе под нос – мысленно доспоривал. Наконец остановился посреди комнаты, помотал головой и громко сказал:

– Нет!.. Не может быть, чтобы он был прав.

И как бы окончательно утверждаясь в этом своем мнении, заключил:

– Нерусский человек. Что ему Россия!

Не знаю, как там обстояло дело с Гершензоном. Не берусь судить. Может быть, его позиция в том долгом споре и в самом деле определялась его нерусским происхождением.

Но в себе я был уверен.

Про себя я точно знал, что мое отношение к России с моим еврейским происхождением никак не связано. Я не сомневался, что не родился я евреем, был бы на все сто процентов русским – все мои мысли и чувства остались бы точь-в-точь такими же, как сейчас. И точно такими же, как сейчас, были бы и мои взаимоотношения с моей матерью-мачехой – Россией. Ведь эти наши взаимоотношения были осложнены совсем не тем, что я был чужд ей по крови. Ведь такими же непростыми были отношения с «матушкой» и у многих кровных ее детей: у Чаадаева, у Салтыкова-Щедрина, у другого Алексея Толстого – не Николаевича, а Константиновича.

Я вспомнил, как сгрубил однажды Лидии Корнеевне.

Разговор зашел о только что дошедшем до нас первом номе-

ре эмигрантского журнала «Континент». Там была напечатана статья Андрея Синявского «Литературный процесс в России». Большое место в ней занимала тема еврейской эмиграции.

... Это не просто переселение народа на свою историческую родину, а прежде всего и главным образом — бегство из России. Значит, пришлось солоно. Значит — допекли. Кое-кто сходит с ума, вырвавшись на волю. Кто-то бедствует, ищет, к чему бы русскому прислониться в этом раздольном, безвоздушном, чужеземном море. Но всё бегут, бегут. Россия-Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором — дитя!..

Эта «Россия-Сука» возмутила Лидию Корнеевну до глубины души.

– Как он смел! – негодовала она. – Да как у него язык повернулся!

– А вот так и повернулся, – сказал я. – Подумаешь! Не он первый, не он последний. Посмел же Блок в предсмертном своем письме, адресованном, кстати, вашему папе, назвать Россию проклятой чушкой, которая сожрала-таки, слопала его, своего поросенка.

– Так то Блок! – возражала Л.К. – И ведь он был уже не в себе, он умирал. И это в частном письме, а не громко, на весь белый свет.

Мы долго спорили, и в конце концов я не выдержал.

– Я думаю, Лидия Корнеевна, – с нажимом сказал я, – что Андрей Донатович, – я нарочно выделил, подчеркнул голосом имя и отчество опального литератора, – что Андрей Донатович Синявский как-нибудь разберется со своей матерью-Россией.

Не знаю, поняла ли Лидия Корнеевна мой намек. А намек заключался в том, что Андрей Донатович – коренной русак. Не то что она, Лидия Корнеевна, у которой и мама еврейка, да и отец тоже «с прожидью». (Дед Лидии Корнеевны, отец Корнея Ивановича, которого тот в своей автобиографии называет «петербургским студентом», был евреем. Это у них в семье не то чтобы скрывалось, но – не афишировалось. Но мне эта их маленькая семейная тайна была известна.)

Намекал же я на еврейское происхождение Лидии Корнеевны не для того, чтобы «поставить ее на место», дать ей понять: кто, мол, она такая, чтобы осуждать за недостаток патриотизма коренного русака – Андрея Донатовича Синявского.

Суть этого моего намека была в другом. Я полагал – и, думаю, не без некоторых к тому оснований, – что этот гипертрофированный патриотизм Лидии Корнеевны, это ее трепетное отношение к России как к святыне, – что все это было не чем иным, как проявлением вот этих самых еврейских комплексов. А у коренного русака Андрея Донатовича Синявского не было и не могло быть никаких таких комплексов. Он от своей ма-тушки-родины все равно никуда не денется, у него с ней – другие, более короткие отношения, поэтому он может себе позволить даже и сукой ее назвать: ему нет нужды прикидываться большим патриотом, чем он есть.

Самым смешным в этой нашей перепалке было то, что, защищая право Синявского называть Россию сукой, я – вполне искренно – имел при этом в виду и себя тоже. Я говорил с Лидией Корнеевной как бы от имени нас обоих, словно мы оба – и я, и Андрей – были (в отличие от нее, страдающей еврейскими комплексами) кровными детьми этой самой «суки».

И я не притворялся, не играл роль. Этим самым еврейским комплексов я и в самом деле был лишен начисто.

Может быть, от этих комплексов меня охранило мое прошлое – мое «гайдаровское» гражданство. Но даже если это было и так (а скорее всего, именно так оно и было), подпитывало, подкрепляло это мое жизнеощущение, постоянно утверждало меня в нем еще и что-то другое.

Моя реакция на слова Лидии Корнеевны проистекала из того же чувства, из которого родилась любимая мною эпиграмма Николая Щербины, адресованная им «Бергу и другим немцам-славянофилам»:

Несли мы, Берг, почти что век
Опеку немцев не по силам...
Я слишком русский человек,
Чтоб сделаться славянофилом.

Не в каком-то неведомом мне Берге и не в немцах, опека которых была им там, в XIX веке, «не по силам», было тут дело, а исключительно в этих последних двух строчках.

Они выражали меня. Выражали адекватно. Я сам не мог бы выразиться по этому поводу лучше, точнее, искреннее, чем это сделал – не только за себя, но и за меня тоже – этот «полухохол и полугрек», как злобно обозвали однажды Николая Федоровича его оппоненты из славянофильского лагеря.

Разбираясь сейчас в тогдашних своих ощущениях, я теперь понимаю, что сознание моей русскости (более подлинной, более истинной, более уверенной, чем у Лидии Корнеевны) мне давало, как ни странно, именно мое еврейство. (Как Николаю Щербине – его «полугречество».)

Когда приятель, прочитавший мою книжку про Мандельштама, сказал о ней, что книга эта «очень еврейская», я был искренне изумлен. По правде говоря, слегка даже обижен. Но потом я вспомнил, что Шурик Воронель – со своих, отнюдь не русских, а именно еврейских позиций – тоже находил в моих писаниях какие-то еврейские черты.

Читая какую-то мою книгу, он то и дело восхищенно крутил головой, одобрительно и даже слегка изумленно хмыкал, следя за тем, как я упорно гну свою линию, не отступаю, не сдаюсь обстоятельствам. Он видел в этом не что иное, как ту самую, знаменитую, еще в Библии отмеченную еврейскую жестоковыйность. И восхищали его, как я понял, отнюдь не индивидуальные черты и свойства моей неповторимой личности, а именно вот то, что даже в таком плохом еврее, как я, начисто позабывшем и не желающем вспоминать о своей принадлежности к «народу Книги», эта еврейская жестоковыйность тоже вдруг проявилась – живет, не умирает и даже подминает под себя другие, благоприобретенные, чужие, нееврейские (славянские?) человеческие качества.

Не могу сказать, чтобы это мне льстило. Не могу даже сказать, что эти свойства моей личности, радовавшие Шурика, так уж нравились мне самому. Ведь именно из этой «жестоковыйности», наверно, проистекает и моя запальчивость, моя нетерпимость. Тоже, наверно, еврейская?

Но что-то от этих разговоров с Шуриком все-таки в меня за-

пало. Какую-то гордыню, связанную с этой еврейской жестокостью, он все-таки мне внушил.

Вспоминаю еще одну мою перепалку все с той же Лидией Корнеевной.

– Русский писатель, – сказала она, – ни при каких обстоятельствах не может, не имеет права покинуть Родину.

Я поинтересовался, в чей огород брошен камень. Выяснилось, что, в общем-то, во всех эмигрантов так называемой третьей волны. В Бродского и Коржавина, Владимирова и Войновича, Васю Аксенова и Володю Максимова, Андрея Синявского и Сашу Галича, Вику Некрасова и Фридриха Горенштейна.

Лидия Корнеевна, как я уже говорил, была дама суровая, легко впадавшая в крайности. Но тут она, как теперь принято говорить, лишь озвучила мысль верховного главнокомандующего: Александра Исаевича Солженицына.

Я сказал, что, насколько мне известно, ни один из вышеназванных литераторов не уехал из России добровольно. Каждого выпихивали, выталкивали, выдавливали. Просто формы, да и сила давления были разные, в каждом конкретном случае – свои.

Лидия Корнеевна возразила, что даже если это так, надо было сопротивляться, не поддаваться давлению.

– Ну, – сказал я, – если исходить из того, что можно было не поддаться, тогда да. Тогда и в самом деле можно считать, что они уехали добровольно. Но тогда нам придется признать, что добровольными эмигрантами стали все. Из этого правила не было ни одного исключения.

– Ну, одно исключение все-таки было, – улыбнулась Лидия Корнеевна.

– Это какое же? – поинтересовался я.

– Вы прекрасно знаете какое, – уже слегка раздражаясь, ответила она. – Об Александре Исаевиче никто не посмеет сказать, что он уехал добровольно. Его выдворили.

– То есть как же это – не добровольно? – сказал я. – Он своими ногами вошел в самолет. И своими ногами сошел с трапа самолета. И даже взял от них пальто и ондатровую шапку. А между прочим, был человек, которого пришлось завернуть в ковер. Вот про него действительно можно сказать, что его выдворили.

В ковер пришлось завернуть Троцкого. Кстати, не тогда, когда его навсегда высылали из страны, а раньше, отправляя в Среднюю Азию. Но я уже завелся. В Среднюю Азию или на Принцесы острова – не все ли равно! К черту подробности!

Лидия Корнеевна от такого моего нахальства просто обомлела. И даже не нашла, что ответить. Она, как мне рассказывали, – даже потом, когда я уже покинул поле боя, – все только повторяла: «Ну как он мог такое сказать!»

Такого злого хулиганства она не ждала даже от меня.

Что говорить! Конечно, я далеко перешагнул предел необходимой обороны. Ондатровая шапка – ондатровой шапкой, но Александра Исаевича они-таки действительно выдворили. И Троцкий – чего уж там! – никогда не был героем моего романа.

Но я ясно помню, что когда, уже войдя в штопор, вдруг вспомнил про этот самый ковер, в который пришлось завернуть Троцкого, какой-то холодок восторга пробежал по моему позвоночнику. Это было вдруг странным образом проклюнувшееся сознание своей причастности к этому великолепному жесту сына жестоковыйного народа, подтвердившего, доказавшего свою жестоковыйность. Не личной, конечно, причастности, а (трудно выговорить) – национальной, что ли? Наверно, национальной – какой же еще!

В другой раз я пережил этот прилив национальной гордыни с еще большей остротой и силой. И, надо сказать, с бóльшим на то основанием.

Это был драматический (можно даже сказать – трагический) финал знаменитой Пражской весны. Так сказать, Пражская осень. Заключительная сцена трагедии, за которой на протяжении нескольких месяцев с напряженным вниманием следил весь мир, происходила в Москве, куда привезли «для переговоров» всех лидеров той самой Весны, пытавшихся построить «социализм с человеческим лицом». (Формула, которая тогда еще не звучала ироническим оксюмороном.)

Привезли их, разумеется, не добром. На главаря (Дубчека), по слухам, пришлось даже надеть наручники.

При всем при том, «переговоры» (еще один оксюморон), как тогда казалось, были для чехословацкой стороны не впол-

не безнадежными. Чехословакия была оккупирована, но народ оккупированной республики не сдался, и достичь компромисса (точнее – полной капитуляции лидеров той самой Весны) можно было, лишь заставив их подписать какую-никакую бумажку. Без их подписей ничего сделать было нельзя. Трудно сказать, на что решились бы советские геронтократы (тогда, впрочем, не совсем еще дряхлые), но впечатление было такое, что со своим так прекрасно задуманным и так блистательно выполненным вторжением они слегка обосрались.

Ситуация была тупиковая.

С грехом пополам можно было еще объявить ревизионистами, предателями, даже врагами народа, незаконно пробравшимися к руководству страной, Дубчека, Цисаржа, Черника, Смрковского – всю эту банду строптивых молокососов. Неодолимым препятствием был законно избранный президент оставшей Республики – Людвик Свобода: генерал, легендарный герой великой войны, национальная, так сказать, святыня. Любой документ, подписанный высокими договаривающимися сторонами, но не освященный его именем, превратился бы в филькину грамоту.

Уж не знаю, что «наши» там с ними делали и какой из двух применявшихся обычно в таких случаях способов воздействия (метод убеждения или метод принуждения) в конце концов победил. Возможно, умелое сочетание обоих методов.

Так или иначе, но бумага в конце концов была подписана. Подписали все – и Дубчек, и Цисарж, и Смрковский, и, разумеется, национальный герой – мужественный генерал с символической фамилией. Отказался подписать этот акт капитуляции только один член делегации – Кригель.

Без подписи наглеца, конечно, легко обошлись. Но так вот просто проглотить эту неслыханную наглость наши геронты, разумеется, не могли.

Когда делегация чехословацких товарищей была уже готова к торжественному отъезду домой, вдруг выяснилось, что Кригеля среди них нет. «Товарищ Кригель, – объяснили им, – немного задержится. Он приедет позже».

К чести капитулянтов надо сказать, что тут они не уступили: дружно заявили, что без Кригеля никуда не поедут. И То-

варищ Волк все-таки вынужден был разжать свою пасть, совсем было уже сомкнувшуюся на горле жертвы.

Я даже и сейчас не удержался в границах христианских добродетелей («Не судите, да не судимы будете»), обозвав всех членов делегации, подписавших ту бумагу, капитулянтами. А уж тогда... Я просто заходился от ярости, когда – в своем, разумеется, узком кругу – мы с друзьями (опять и опять, в тысячный, наверно, уже раз) начинали мусолить этот старый, вечный, проклятый вопрос: имеем ли мы право осуждать того, кто назвался груздем, а потом отказался лезть в кузов. И чем яростнее клеймил я так постыдно обделавшихся лидеров Пражской весны, тем острее ощущалась мною гордость за единственного не сдавшегося, за моего соплеменника, у которого жестоковыйность была в крови. (Или, выражаясь по-современному, – в генах.)

В запальчивости вырвавшиеся у меня слова про «постыдно обделавшихся» надо бы вычеркнуть, заменив их другими, более мягкими, более лояльными, что ли. Но я не буду этого делать. Ведь сегодня я уже никого не сужу. Просто пытаюсь честно рассказать о том, что чувствовал тогда. А тогда я чувствовал именно так...

Рассказывая о том, что чувствовал тогда, я старался и факты излагать в пределах тогдашнего моего знания и представления о том, как было дело. Но лет двадцать спустя попала мне в руки книга одного из лидеров Пражской весны, участвовавшего в тех «переговорах», – Зденека Млинаржа. (Книга эта называлась «Холодом веет от Кремля» и вышла она в Нью-Йорке.) И из этих мемуаров я наконец узнал, как все это выглядело оттуда, с той стороны, так сказать, изнутри. То есть – о том, что происходило за кулисами этой исторической сцены.

«С чисто человеческой стороны, – говорит Млинарж, – положение членов дубчековского руководства было похоже скорее на положение людей, которых шантажируют гангстеры, чем на положение правительственной делегации на международных переговорах». Шантаж заключался в том, что наши «геронты» очень прямо и определенно дали понять: они не останутся и перед кровопролитием. Поэтому, не сдавая своих позиций, руководители чехословацкой делегации берут на себя ответственность за жизнь своих сограждан.

И тут они сдались.

О том, как повел себя при этом строптивец Кригель, Млинарж рассказывает довольно подробно. Но интересен его рассказ не столько подробностями (хотя и ими тоже), сколько тем, что поведение Кригеля тут излагает участник драмы, занявший тогда принципиально отличавшуюся от кригелевской, компромиссную (в сущности, капитулянтскую) позицию. И вот как излагает (и оценивает) он ту драматическую коллизию спустя годы:

Мы еще накануне спрашивали, почему Кригеля нет среди нас. Встречаясь с отдельными членами руководства КПЧ, советская сторона придумывала всяческие отговорки. Она старалась изолировать Кригеля от остальных. Но когда дело дошло до подписания протокола, оттягивать дальше было невозможно. Кригеля привезли в Кремль... Унизительно было его положение, а наше — постыдно. Каковы бы ни были причины и отговорки, но мы обсуждали документ в отсутствие Кригеля, а потом поставили его перед готовым решением: подписать протокол необходимо. Франтишек Кригель категорически отказался...

Мы старались его убедить. Людвик Свобода специально для Кригеля повторил свой вчерашний спектакль. Он кричал так, что Кригель не выдержал и оборвал его. Свобода замолчал. Помню, Кригель сказал: «Что они могут мне сделать? Сослать в Сибирь? Расстрелять? Я учел и такую возможность, но подписывать из-за этого не намерен». Политические мотивы компромисса он обсуждать отказывался. Он почти не слушал. Он даже не выглядел политиком. В тот момент это был человек, которому разбойники угрожают смертью, а в качестве выкупа требуют не денег, а честь, детей или жену. Такой человек говорит: «Нет, лучше убейте!»... В ту минуту Кригель повел себя прежде всего как человек, а не как политик. И, как подтвердило будущее, его поведение гораздо точнее отвечало ситуации, чем наше: нас ведь действительно шантажировали гангстеры, но мы тешили себя иллюзией, будто мы все еще политики, с которыми ведут переговоры политики другой страны.

Даже двадцать лет спустя после того, как разыгралась эта драма, признавая, что поведение Кригеля (как подтвердило будущее) гораздо точнее отвечало ситуации, чем его собственное и всех его коллег, Млинарж все-таки замечает, что Франтишек «повел себя прежде всего как человек, а не как политик». На самом же деле, я думаю, что только он один – единственный из всех – вел себя в этой ситуации как ответственный политик, в полной мере, до конца готовый нести бремя ответственности за судьбу нации, которую он представлял.

Впрочем, как свидетельствует тот же Млинарж, в какой-то момент чуть было не сорвался с крючка и Дубчек:

У Дубчека снова начался нервный припадок. Он дрожал, говорил захлебываясь и бессвязно. Появились врачи со шприцами. Дубчек отталкивал их, не хотел никаких уколов и вдруг – к всеобщему изумлению – заявил: «А я не подпишу! Пусть делают со мной что хотят – не подпишу!»

К нему подбежало несколько человек (среди них были Черник, Свобода и Смрковский): перебивая друг друга, они говорили, что это невозможно, что сейчас уже нельзя ничего переменить. Я тоже тогда думал, что так закончить переговоры нельзя. К тому же я был уверен, что поведение Дубчека обуславливалось его психическим состоянием; что через некоторое время он передумает. Я говорил с ним несколько минут, высказал это свое мнение... Дубчек слушал, но не отвечал и позиции своей не менял. «Да разве ты не видишь, ведь они совершенно не понимают, что наделали», – ответил он мне. И повторил: «Я не подпишу!» То было мгновение правды... В конце концов он разрешил сделать ему успокоительный укол, а после второго тура уговоров сдался.

«Мгновение правды», как называет этот эпизод Млинарж, промелькнуло, не оставив сколько-нибудь заметного следа. Твердую, несокрушимую верность своей неизменной позиции сохранил только Франтишек Кригель.

Пересказывая эти события по памяти, я изложил их так, как они мне тогда представлялись. Поведение Людвика Свободы и его товарищей, заявивших, что без Кригеля они не уедут,

тогда казалось мне чуть ли не героическим. В действительности же оно было едва ли не предательским:

Атмосфера снова накалилась, когда возник спор из-за Франтишека Кригеля. Этот эпизод напоминает уголовный роман из гангстерской жизни, хотя случился он в Кремле, после переговоров, которые, как утверждалось в коммюнике, проходили «в товарищеской и дружеской обстановке».

Когда обсуждались технические вопросы, связанные с отлетом в Прагу, кто-то заметил, что Кригеля нужно привезти в Кремль, так как он должен улететь вместе со всей делегацией. На это Брежнев ответил, что, возможно, было бы лучше, если бы Кригель не улетел в Прагу с нами: «Оставьте его пока здесь, — сказал Брежнев. — Он ведь не подписал протокола, и вам будет с ним неловко». *(Какая душевная тонкость! — Б.С.)* Дубчек — и, кажется, Свобода — решительно сказали, что делегация вернется в Прагу в полном составе. Без Кригеля мы не уедем. Брежнев продолжал настаивать...

Началась закулисная торговля. Дубчек, Свобода, Черник и Смирковский вместе с руководством советского Политбюро ушли в соседнюю комнату, и там, за закрытыми дверями, они договорились... Соглашение было постыдное. Для Кригеля — унижительное. Пленника доставят прямо на аэродром, так как в Кремле ему не место.

Кремлевские руководители предложили собраться перед нашим отлетом — на этот раз неформально, по-дружески... Мы провели с хозяевами еще около часа.

Еще около часа, значит, они «неформально, по-дружески» общались с хозяевами Кремля, пили с ними — по русскому обычаю — «на посошок», а их товарищ в это время находился «в заключении», на положении то ли пленника-арестанта, то ли заключника.

Эта — сегодняшняя — моя реакция, быть может, тоже проистекает из моей еврейской «жестоковейности». Но сейчас эта «жестоковейность» меня не только не восхищает, но, по советски говоря, даже раздражает.

Однажды я ссылаясь на глубокомысленный вопрос искаде-

ровских чегемцев, обращенный ими к «торговому еврею» Самуилу: сами ли евреи знают о себе, что они евреи, или узнают об этом от «окружающих наций».*

Так вот, эти два случая, о которых я сейчас рассказал (про Троцкого, которого завернули в ковер, и про Кригеля), были едва ли не единственными в моей жизни, когда я не извне, не от «окружающих наций», а сам, так сказать, изнутри, из самого себя узнал, что я – еврей. (Лучше, наверно, сказать – когда я узнал в себе еврея.)

Нет, не единственными, конечно. Но, пожалуй, только в этих двух случаях мне привелось испытать то, что принято называть чувством национальной гордости. Во всех же остальных случаях (а теперь вот и в случае с Кригелем тоже), узнавая, ощущая в себе эту еврейскую жестоковыйность, я испытывал, скорее, недовольство. Ведь наши недостатки, как мы знаем, – это не что иное, как продолжение наших достоинств. Естественным продолжением моей еврейской бескомпромиссности была всегдашняя моя (наверно, тоже еврейская) нетерпимость, моя вечная склонность к спору, к запальчивому и громогласному утверждению своей правоты. Моя (отчасти, конечно, русская и даже советская, но все-таки и еврейская тоже) органическая неспособность приобщиться плюралистическому европейскому сознанию.

Особенно остро я это почувствовал, когда впервые в жизни увидел (и услышал) Андрея Дмитриевича Сахарова.

Было это так.

Заглянул я однажды вечером на огонек к Саше Галичу. Он был тогда уже в сильной опале, старые друзья и приятели постепенно отделились, но появились новые. Я был – из новых. Из новых был и сидевший в тот вечер у Саши Семен Израилевич Липкин. Они были соседи, жили в одном подъезде, но сблизились и даже подружились совсем недавно. Семен Израилевич, как и я, любил Сашины песни, а Саша, у которого был комплекс неполноценности (он мучился сомнениями: можно ли его считать настоящим поэтом) жадно ловил каждую похвалу профессионала.

Мы сидели вчетвером (с нами была еще Сашина жена – Нью-

ша) и пили чай. И вдруг – неожиданно-негаданно – явился еще один гость. Это был Сахаров.

Он вошел с холода, потирая руки, поздоровался, присел к столу. Ньюша налила ему чаю. Внимательно оглядев собравшихся, он спросил:

– Ну, что нового?

Кто-то из нас сказал, что никаких особых новостей нет. Вот разве только то, что израильтяне опять бомбили Ливан.

Лицо Андрея Дмитриевича сморщилось, как от боли.

– Ох! – прямо-таки вырвалось у него. – Зачем это они!

– А что им делать? – сказал я. – Вы можете предложить им какой-то другой вариант?

Андрей Дмитриевич не успел ответить: раздался тихий голос Семена Израилевича Липкина.

– Я, – сказал он, – могу предложить другой вариант... Вернее, – он тут же уточнил, – я могу сказать, что бы сделал на их месте.

Все мы вопросительно на него уставились.

– Я бы, – спокойно продолжил он в мгновенно наступившей тишине, – взял Дамаск.

Ну, сейчас он ему даст! – подумал я, предвкушая немедленную реакцию Андрея Дмитриевича.

Если даже известие о том, что израильтяне в очередной раз бомбили Ливан, заставило его так болезненно сморщиться, легко можно было представить, как он отреагирует на это безмятежное предложение начать новый виток кровавой арабо-израильской войны.

Но Андрей Дмитриевич не спешил с ответом. Он задумался. Сперва мне показалось, что он подыскивает слова, стараясь не обидеть собеседника чрезмерной резкостью. Но потом я увидел, что он всерьез рассматривает «безумную» идею Семена Израилевича, как-то там проворачивает ее в своем мозгу, взвешивает все возможные последствия ее осуществления. И только покончив с этой работой, тщательно рассчитав все «за» и «против», он наконец ответил.

Но его ответ был совсем не тот, которого я ожидал, который подсознательно считал даже единственно возможным.

– Что ж, – спокойно сказал он. – Пожалуй, в сегодняшней ситуации это и в самом деле был бы наилучший вариант.

Это был шок.

Шоком тут была не столько даже поразившая меня неожиданность ответа, не столько несовпадение вывода, к которому он пришел, с тем, которого я ожидал, в котором не сомневался.

Гораздо больше тут поразило меня совсем другое.

Такого человека я в своей жизни еще не встречал. Все люди, которых я знал, с которыми мне приходилось общаться, вели себя в подобных ситуациях совершенно иначе.

Я уж не говорю о себе.

О чем бы ни шла речь, какая бы ни была затронута тема, свое мнение по обсуждаемому вопросу я всегда знал наперед. Собеседник, бывало, еще не успеет даже договорить, а у меня ответ уже готов: я нетерпеливо подпрыгиваю на стуле, не могу дожидаться, когда же он наконец доведет свою мысль до конца, чего он там мямлит, ведь я давно уже схватил его мысль, понял ее с полуслова. Пусть же он наконец замолчит! Даст мне скорее, пока я не позабыл все свои аргументы, как можно убедительнее возразить ему, ответить!

А тут передо мною сидел человек, для которого просто не существовало мнения, которое не нуждалось бы в том, чтобы рассмотреть его самым тщательным образом. Он считал для себя обязательным внимательно вдуматься в любую мысль, кем бы она ни была высказана и какой бы безумной или даже глупой она ни казалась.

Я сказал, что он считал это для себя обязательным. Да нет! Он просто не умел иначе. Это было органическое свойство его личности, его человеческой природы.

Как я хотел бы – не то что научиться вести себя в подобных ситуациях так же, как Сахаров (я понимал, что так – не смогу никогда), – но хоть немного приблизиться к этой спокойной, взвешенной, раздумчивой манере ведения спора. Но стоило мне только начать, как я тут же забывал об этих своих благих намерениях. Верх сразу брала моя еврейская запальчивость, моя еврейская убежденность, что ответ на все возникшие вопросы – и даже на те, которые еще только могут возникнуть, – мне уже заранее известен. (Как говорил в таких случаях мой друг Гриша Поженян: «Когда вы шли туда, я уже шел обратно».)

Но почему, собственно, я решил, что эта свойственная мне манера вести спор – именно еврейская? Может быть, просто у меня такой характер?

Да, характер... Конечно, и характер тоже. Но откуда он взялся, этот мой сволочный характер?

В «Хулио Хуренито» Эренбурга – тоже своего рода энциклопедии нашей жизни, – когда дело доходит до обсуждения проклятого еврейского вопроса (а как же – без него?), кто-то из учеников Великого Провокатора говорит:

– Учитель! Но разве евреи не такие же люди, как мы с вами?

И к общему изумлению Учитель отвечает, что, конечно же, безусловно не такие. И чтобы доказать несомненную справедливость этого своего утверждения, тут же проделывает с учениками такой эксперимент. Обращаясь к каждому, он говорит: представьте себе, что из всех слов человеческого языка вам надо было бы выбрать только одно из двух: «да» или «нет». Что бы вы выбрали?

Каждый ученик, поразмышляв вслух на эту тему, в конце концов выбирает «да». И только иудей Илья Эренбург – не автор, конечно, а персонаж, но в то же время и двойник автора, его, так сказать, второе я, – решительно выбирает «нет».

Не знаю, как обстоит дело с другими евреями, но ко мне это относится в полной мере. И не только, так сказать, на философском, но и на самом простом, примитивном, бытовом уровне.

«Нет» – первое мое слово. С него я начинаю каждую свою фразу. Не только возражая собеседнику, но даже (иногда случается и такое) соглашаясь ним.

– Нет, – говорю я, – но...

Это уже как бы инерция стиля. Но в то же время и – свойство души.

Нет, я не такой, как Сахаров. И таким, как он, мне уже не стать.

Очаровавшая меня сахаровская манера общения с собеседником была для меня недостижима. Но – странное дело! – хоть я мысленно и свел эту недостижимость к неисправимо еврейским чертам и свойствам своего характера, особенность этого сахаровского стиля поведения вовсе не представлялась мне

чертой национальной – то есть русской. Это было его индивидуальное, сугубо личное свойство. Просто он был мягче, интеллигентнее, мудрее, взвешеннее, спокойнее, чем я. В остальном же мы с ним были людьми одной группы крови. Он принадлежал к той же России, к которой принадлежал, частицей которой был и я тоже.

Чувство это было очень отчетливым еще и потому, что где-то рядом существовала и другая Россия, слиться с которой я – при всем своем желании – не мог. Да, по правде говоря, и не хотел.

Естественно предположить, что та, другая, отталкивающая (лучше даже сказать – выталкивающая) и пугающая меня Россия – это была Россия улицы, Россия неведомой мне – книжному, кабинетному человеку – темной народной стихии. Но нет! Ее-то я как раз почему-то (может быть, по незнанию?) не боялся.

В нашей коммуналке, где прошло мое детство, в крохотной шестиметровой комнатке при кухне жила семья тети Вари Мешенковой, нашей лифтерши. Их было четверо – сама тетя Варя, муж ее Сергей, тихий, спившийся человек, скоро умерший, старший их сын Андрей и младший – мой сверстник – Шурка, запомнившийся мне главным образом тем, что он надолго запирался в общей нашей коммунальной уборной, чтобы всласть там покурить, – за что ему всегда крепко доставалось от соседей.

Время от времени к Мешенковым приходили какие-то их дружки-приятели, с которыми Варя и Сергей (в тесноте, да не в обиде) устраивали какие-то посиделки. Выпивали, закусывали чем бог послал и пьяненькими дребезжащими голосами пели почему-то всегда одну и ту же песню: «Когда б имел золотые горы и реки полные вина...» (С тех пор эта милая и, в сущности, лирическая песня – именно она, а не классическая «Шумел камыш...» – прочно ассоциируется у меня с пьянством и пьяницами.)

Эти – чуть ли не ежевечерние – мешенковские посиделки были вполне безобидны. И поэтому я был прямо-таки изумлен, когда отец однажды признался мне, что всякий раз, когда он слышит эти пьяные поющие голоса, ему становится как-то не-

уютно и даже страшновато. Сейчас я уже точно не помню его слов (дело было еще до войны, я был мальчишкой), но смысл помню отчетливо: в песне про золотые горы и реки полные вина, исполняемой пьяными мужскими и женскими голосами, отцу мерещилось что-то жуткое, пугающее, потому что голоса эти вызывали у него какие-то неведомые мне, недоступные моему воображению ассоциации. Может быть, это были какие-то смутные воспоминания о еврейском погроме?

У меня, понятное дело, никаких таких ассоциаций быть не могло. В моем душевном опыте не было никакой опоры, никакой – даже самой малой – зацепки, которая помогла бы мне не только почувствовать, но даже просто понять изумившую меня реакцию отца.

Ну это – в детстве. Тогда у меня, естественно, и не могло быть такого опыта. Но и за всю последующую мою жизнь это мое детское самочувствие не изменилось. Весь мой жизненный опыт за все прожитые годы (увы, весьма уже немалые) так и не обогатил (лучше сказать – так и не отравил) мое сознание другими впечатлениями, так и не внушил мне того чувства опасности, постоянного страха, которым был отравлен мой отец.

Скорее – напротив. Жизнь то и дело – будто нарочно – обогащала меня совсем другими, противоположными впечатлениями, словно кто-то – там, наверху, – решил утвердить меня в этом моем жизнеощущении, доказать мне, что прав я, а не мой отец.

Вот одно из таких, словно нарочно подсунутых мне доказательств.

Дело было в Комарове, под Ленинградом. Мы с женой гуляли по поселку, забрели довольно далеко. Шли по какой-то пустынной улочке и увидели трех мужиков, которые стояли у забора и отправляли малую нужду. Один из них повернулся к нам всем корпусом, так что весь его инструментарий был хорошо виден, и заплетающимся языком (он был сильно подшофе) спросил:

– Эт-то Ком-марово?

Слегка шокированный (как-никак я был с дамой), я ответил ему не слишком приветливо:

– Комарово, Комарово... Повернись – и давай, делай свое дело...

Моя грубость его, как видно, возмутила, и он, мгновенно сменив мирный тон на агрессивный, довольно злобно крикнул мне вслед:

– Жид!

Моя жена, не желая оставаться в долгу, обернулась и крикнула ему в ответ:

– А ты – кацап!

Все это произошло довольно быстро, но – на ходу. И мы тем временем успели уже отойти от этих мужиков шагов на десять-пятнадцать.

И вот я слышу топот: мужик, обозванный кацапом, нас догоняет.

– Ну что, довольна? – сказал я жене. – Только драки с тремя алкашами мне здесь не хватало.

Но обидчик мой, как тут же выяснилось, драться не собирался.

Догнав нас, он обратился ко мне:

– Послушай, друг! А ведь она права... Ты – жид, я – кацап. Ну и что в этом такого?

– Решительно ничего, – подтвердил я.

– Послушай, друг, – продолжал он. – Больше это не повторится. Верить?

Он протянул мне руку.

– Верю, – сказал я.

Мы пожали друг другу руки.

– Больше не повторится, – повернулся он к моей жене. И поцеловал ей руку.

После этого, полюбовавшись друг другом, как сказано у Михаила Михайловича Зощенко в каком-то его рассказе, мы разошлись в разные стороны. Мы с женой пошли своим путем дальше, а он вернулся к своим друзьям, продолжать дело, от которого мы его оторвали.

Я не люблю и не умею драться. Помимо физической непригодности к этому делу (близорукость, очки и проч.), у меня есть еще и какой-то психологический дефект, мешающий мне пускать в ход кулаки. Это у меня с детства: в самых

крутых наших детских драках (а парень я был не слабый, рослый не по возрасту) я никогда не мог заставить себя ударить противника по-настоящему, изо всей силы, словно бы боялся нанести его организму какой-то непоправимый вред. Я всегда невольно – инстинктивно, что ли, – сдерживал силу удара. И уж во всяком случае никогда, никакая сила, никакая ярость, никакая запальчивость не могла заставить меня ударить человека в лицо.

С годами эта нелюбовь к дракам, боязнь любого физического столкновения превратилась в настоящую трусость. Да, пожалуй, я трус. Во всяком случае, далеко не храбрец. (Чего уж там!)

Но – странное дело! – услышав за спиной топот гнавшегося за мною мужика, я ничуть не испугался. Может быть, просто не успел испугаться? И тут же и выяснилось, что пугаться и не надо было. Конфликт разрешился мгновенно и, по сути, так же благостно, как это, бывало, происходило в книгах Гайдара – вот хоть с тем же Сашкой Букамашкиным.

Умом я, конечно, понимаю, что этот случай, мягко говоря, не типичен. Просто мне повезло. (Не в том комаровском случае только, а вообще в жизни.) Каким-то загадочным образом я в этой сумасшедшей лотерее, где, казалось бы, нет и не может быть ни малейшего шанса на выигрыш, вытянул счастливый билет.

Подшучивая над одним моим знакомым, человеком легким и прожившим легкую, беспечальную жизнь, я сказал однажды, что ему удалось то, о чем напрасно мечтал Мандельштам: «всю жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом». У Осипа Эмильевича это, как известно, не получилось. А вот у него, у этого моего легкомысленного знакомого – получилось.

В каком-то смысле это можно сказать и обо мне тоже.

И поэтому я понимаю, что полное отсутствие у меня того страха, который жил в подкорке, в подсознании у моего отца, основано, скорее всего, на иллюзии.

Отец, наверное, более трезво, а значит, гораздо лучше, чем я, видел (чувствовал, понимал) природу той страны, в которой ему случилось родиться и жить.

Но я пишу не о том, какова она на самом деле – истинная,

настоящая Россия, а о своем восприятии этой самой России, о своих взаимоотношениях с ней. И тут дело обстоит именно вот так, как я об этом рассказываю.

Так-то оно – так. Но Веру Васильевну я все-таки обманул. Написав ей гордо, что живу теперь не в вымышленной «Стране Гайдара», а в реальной, невыдуманной стране России, я, как говорится, выдал желаемое за действительное.

«Теперь я счастлив, – бляял я, – что живу в реальной стране России, с ее прошлым и настоящим, с ее историей, с ее великой культурой».

Нет, это не было ложью. И не только потому, что я был искренен. Насчет истории и культуры – это все было более или менее правдой. Но вот была ли эта моя новая страна обитания подлинной, реальной Россией – это, как выражаются в таких случаях герои Зощенко, еще вопрос и ответ.

Приводя реплику А.Н. Толстого, заключившую его спор с М.О. Гершензоном («Нерусский человек. Что ему Россия!»), я не сомневался, что прав тогда был Гершензон. Прав не в том конкретном случае, не в том споре, который они вели в тот раз и который, собственно, и вызвал к жизни эту реплику Алексея Николаевича. (Суть того спора я, по правде говоря, и представляю-то себе довольно смутно.) Явная, несомненная для меня неправота А.Н. Толстого состояла в том, что решать, кто русский, а кто нерусский, кому дорога, а кому недорога Россия, он предлагал по крови. Гершензон объявлялся нерусским не столько потому, что высказывал «нерусские», неприемлемые для русского человека суждения, сколько потому, что был инородцем. Вернее, инородчество его как раз и было причиной, источником этих его «нерусских», неприемлемых, невозможных для русского человека суждений и взглядов.

Неправота Алексея Николаевича в этом случае, как я уже сказал, представлялась мне несомненной.

Но она показалась мне уже не столь несомненной, когда я узнал, что точно такой же упрек – и по странному (а может, и не такому уж странному?) стечению обстоятельств – к тому же Гершензону обратил другой любимый мною русский писатель – Василий Васильевич Розанов.

Берешь одну книгу и залюбываешься... Берешь другую книгу и залюбываешься. Как у Левитана — смотришь один пейзаж и восхищаешься, смотришь другой пейзаж и восхищаешься... Оба, и Левитан, и Гершензон, умели схватить как-то самый воздух России... Замечательно, что в пейзажах Левитана... пейзаж всегда — без человека. Вот «Весенняя проталинка», ну — завязло там колесо. Обыкновенное русское колесо обыкновенного русского мужика в обыкновенной русской грязи. Почему нет? Самая обыкновенная русская история. «Прелестная проталинка» — и ругательски ругается среди нее мужик, что «тут-то и утоп». — «Ах... в три погибели ее согни...» Как же это передать, как не несколько обезобразив «Проталинку»?.. Я думаю — стремнин и крупных людей по той же причине не берет и Гершензон... Да если в этом «разбираться», то выйдет «испачканный надписями забор», а не «Пропилеи» в афинском стиле. Вдруг «сивухой запахло». В литературе-то? Литература должна быть благоуханна...

Вот она где собака-то зарыта!

Гершензону нужны «Пропилеи в афинском стиле», а ему, Розанову, люб «испачканный надписями забор». Гершензон хочет, чтобы его Россия была благоуханна, а ему надо, чтобы «сивухой запахло».

Да что там — сивухой! Сивуха — это мелочь, ерунда. В одной из своих статей, прямо уподобив Россию свинье, Розанов воскликнул с некоторым даже надрывом: «Да, вот такая она, наша Русь! И другой Руси нам не надо!»

Это — им, Гершензонам да Левитанам, надобна другая, очищенная, облагороженная Россия. Известно, почему. Потому что — «нерусские люди».

Я так подробно цитирую эту старую статью Розанова, потому что эти его слова воспринял (да и сейчас воспринимаю) как обращенные прямо ко мне. И от них я не могу так просто отмахнуться. Не потому, что это Розанов, а не Солоухин или Бушин, а потому что (не могу этого не признать) есть в них какая-то правда.

Да, я люблю Россию Пушкина, Толстого, Чехова, Ахматовой, Сахарова. И люблю Россию, того мужика, который догнал

меня и, вместо того чтобы затеять драку, вдруг протянул мне руку. Люблю гениальную выразительность так называемой ненормативной русской речи, когда одним нецензурным глаголом, лишь слегка изменив в нем ударение, можно сказать, чем у нас снискивает себе пропитание простой народ (пíздит), и чем, в отличие от работяг, занимается интеллигенция (пиздít). Многие люблю я в этой моей России – всего не перечислишь.

Но ту «Свинью-матушку», в мазохистской своей любви к которой признавался Розанов, о которой сказал, что ему «другой Руси не надо», ту Россию, которую так беспощадно увидел и описал Блок («И пса голодного от двери...») – такую Россию я и в самом деле не люблю. И не хочу, и не буду ее любить.

Но потому ли это, что я «инородец»?

Не знаю. Не думаю.

Вот, например, Чаадаев, который говорил о разных способах любить свое отечество. О том, что «самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он, скорчившись, проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего острова». Он – что, тоже был инородцем?

А Щедрин с его «Городом Глуповым»? А Алексей Константинович Толстой с его «Историей государства Российского»? А Тургенев?

Тургенев тут вроде бы ни при чем. Но на самом деле – очень даже при чем.

Когда я учился в школе, нас заставляли зазубривать наизусть знаменитый тургеневский панегирик русскому языку: «Ты один был мне надеждой и опорой...»

То ли нам это вдолбили, то ли мы сами по недомыслию слышали в этих тургеневских словах лишь гордую патетику. (Не отсюда ли и напыщенность той патетической фразы в моем письме Вере Васильевне – о прекрасной стране России с ее удивительным языком и великой культурой?)

Этот гордый тургеневский пафос блестяще был спародирован Васей Аксеновым, талантливо преобразовавшим чекан-

ную формулу классика («Великий, Могучий, Правдивый, Свободный») в затрапезную советскую аббревиатуру: «ВМПС имени Тургенева». Восхитительная эта пародия, снижая тургеневский пафос, тем самым лишь сильнее его подчеркивала, и, наслаждаясь ею, повторяя ее, я как бы снова утверждался в том, пусть и иронически переосмысленном, но в основе своей неизменном – давнем, детском, школьном – прочтении классической формулы.

И лишь сравнительно недавно словно какая-то мутная завеса упала с моих глаз, и мне открылся подлинный, ужасный смысл этих старых тургеневских слов:

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один был мне надеждой и опорой...

Господи! Да ведь это значит – черным по белому, прямо так и написано! – что никаких других надежд на то, что Россия выберется когда-нибудь из той исторической черной дыры, в которую она провалилась, – у него нет! Ни в истории своего отечества, ни в характере, душевном складе или иных каких-нибудь качествах народа русского не может он почерпнуть хоть малую толику этой надежды. Только одна осталась – такая зыбкая, такая ненадежная «точка опоры», только одно это, последнее, слабое, в сущности, призрачное утешение:

Не может быть, чтобы такой язык не был дан великому народу...

Да ведь это то же самое, – слово в слово! – что говорил об исторических судьбах России «русофоб» Чаадаев. И то же самое, что говорил о России – в той самой своей статье про Гершензона – «русофил-мазохист» Розанов:

... Русская «суть»? – Ах, она мучительна. Ах, она страшна...

Нет, все-таки был, был для меня в той розановской статье некий «момент истины».

Истина эта состояла в том, что, покинув «Страну Гайдара»,

я продолжал жить в такой же выдуманной, дистиллированной, искусственно очищенной от всякой скверны псевдореальности.

Гордо написав Вере Васильевне, что я живу теперь не в выдуманной «Стране Гайдара», а «в реальной стране – России», я не понимал, что эта моя Россия была, в сущности, еще одним, новым вариантом все той же «Страны Гайдара».

6

Кроме Шурки Мешенкова, о котором я помню только, что он курил в уборной, и Вовки Образцова, рано умершего от скарлатины, в нашей коммуналке жил еще один мой сверстник – Коля Попрыгаев, по прозвищу «Колюша Бешеный». Бешеным его прозвали потому, что из комнаты, в которой жили Попрыгаевы, время от времени доносились дикие вопли: это означало, что Колюша вступил в очередной конфликт с отцом, или с матерью, или со старшей своей сестрой Лидой. Летом, когда окна были открыты, дикие вопли эти разносились по всему нашему огромному Бахрушинскому колодцу-двору.

Все мои сверстники, случалось, конфликтовали с родителями, братьями и сестрами, но до такого неистовства, в какое впадал в таких ссорах Колюша, никто из нас никогда не доходил. Немудрено, что Колюшина кличка, полученная им сперва от ближайших соседей, постепенно вышла за пределы нашей квартиры и вскоре стала достоянием всего двора. В те годы она звучала вполне безобидно: бывали клички и похлеще. Но Колина, увы, оказалась пророческой: впоследствии, будучи уже взрослым, он и в самом деле загремел в психушку с каким-то тяжелым психиатрическим диагнозом. Там – с короткими перерывами – он и доживал свою жизнь. А в перерывах, возвращаясь ненадолго к нормальной жизни, он то пытался ворваться в комнату моей мамы с какими-то антисемитскими выкриками, то, столкнувшись с ней в коридоре, норовил встать перед нею на колени и попросить прощения за причиненное беспокойство. Продолжалось это недели две, после чего он опять надолго исчезал в своей психбольнице, ставшей в конце концов постоянным его пристанищем.

Однажды, приехав навестить маму, которая до конца своих дней жила в той же нашей старой коммуналке, мало, впрочем, похожей на ту, довоенную (там в шести комнатах жили шесть многодетных семей, а теперь – в тех же шести комнатах – доживали свой век четыре старухи), я вдруг – нежданно-негаданно – столкнулся в коридоре с Колюшей. Он облапил меня, прижал к груди и запечатлел на моей щеке мокрый, слюнявый поцелуй. Глаза у него были совершенно мертвые.

Но эта несчастная взрослая Колюшина жизнь к моему сюжету отношения не имеет. Да и в детские наши годы особого места в моей жизни Колюша не занимал – мы не дружили и не враждовали, просто были соседями по квартире. Это, конечно, немало: ведь на протяжении многих лет мы жили, в сущности, одной жизнью. Ежедневно проводили вместе по нескольку часов. Но запомнилось мне из всего этого нашего многолетнего общения немного. Вот разве только постоянные его издевательства над моими музыкальными талантами.

Успехи мои в музыке он справедливо считал весьма жалкими и постоянно противопоставлял им успехи своего одноклассника Славки Ростроповича. «Вот Славка Ростропович!» – то и дело повторял он. Все уши прожужжал он мне этим своим Славкой Ростроповичем, так что в конце концов я этого неведомого мне Славку прямо-таки возненавидел. Теперь, однако, я с удовольствием вспоминаю, что было время, когда мои скромные музыкальные достижения худо-бедно, пусть и не в мою пользу, а все же сравнивались с блестящими музыкальными победами знаменитого Мстислава Ростроповича.

Но не этим запомнился мне Колюша. И не поэтому я вспомнил о нем сейчас.

А вспомнил я о нем потому, что именно с ним, с Колюшей, связано одно – как оказалось, довольно сильное – мое детское переживание. Во всяком случае, именно он – точнее, одна его реплика – натолкнула меня на мысль, которая раньше мне в голову не приходила.

Сейчас это, наверно, уже не так, а в мое время, в нашем детстве любое – подлинное или даже мнимое – проявление у мальчика и девочки взаимного влечения друг к другу мгновенно вызывало у сверстников острое желание затравить замечен-

ную пару дразнилками, самой мягкой из которых была: «Тили-тили тесто, жених и невеста!»

Однажды в таком постыдном внимании к какой-то нашей сверстнице был замечен и Колюша Бешеный. И пришлось ему тоже испытать до дна эту чашу позора.

Как ближайший сосед пострадавшего в травлю включился и я. И вот однажды, когда я высказал насмешливое предположение, что Колюше небось не терпится как можно скорее вырасти, чтобы наконец жениться на своей «невесте», задетый этой моей дразнилкой Колюша находчиво ответил:

– Это тебе надо на ней жениться. Ведь она еврейка. А евреи всегда только на еврейках женятся.

Последнее утверждение я почему-то воспринял как безусловную истину. Как некий закон, который нельзя ни обойти, ни нарушить.

Этой своей репликой Колюша словно бы сразу отсек меня от всех – не только русских – девушек и женщин, которые могли повстречаться на моем пути, но и от всех француженок, испанок, итальянок, негритянок, японок и индианок – от всего этого пестрого, многокрасочного великолепия, которое могло бы открыться мне в будущем. Отныне и навсегда мне предлагалось довольствоваться только еврейками, которые – несправедливо, конечно! – сразу же показались мне в тот момент какими-то тусклыми, скучными, уныло-однообразными, утомительно похожими одна на другую.

Под впечатлением этой дурацкой Колюшиной реплики я в одночасье, сам о том не подозревая, стал половым антисемитом. Такова волшебная сила слова!

Может быть, я и преувеличиваю, но факт остается фактом. Мысль, что будущие мои возможности при выборе жены окажутся бесконечно суженными, с той минуты меня уже не покидала. Томимый этой тревожной мыслью, я несколько раз подкатывался к отцу с осторожными наводящими вопросами. Например: мог ли он жениться не на маме, а на какой-нибудь русской девушке? Или, скажем, на той полячке, которую он однажды по глупости чуть не застрелил, фасонясь перед ней своим револьвером.

Отец этот мой интерес истолковал неправильно. Он решил,



Когда я родился,
мой дед (отец отца) объявил,
что если полагающийся
тысячелетний обряд
надо мною не будет совершен,
он ни меня, ни даже брак
моего отца с моей мамой
признавать не будет.

Мой отец
был не только
хорошим отцом, но
и хорошим сыном.
Каждое утро он
отправлялся на почту, чтобы
отослать отцу на Украину
бандероль со свежим
номером «Известий».





Это моя мама.
Окончив с серебряной медалью гимназию в своих родных Черкассах, она уехала — одна — из отцовского дома в Одессу и поступила в Новороссийский университет.

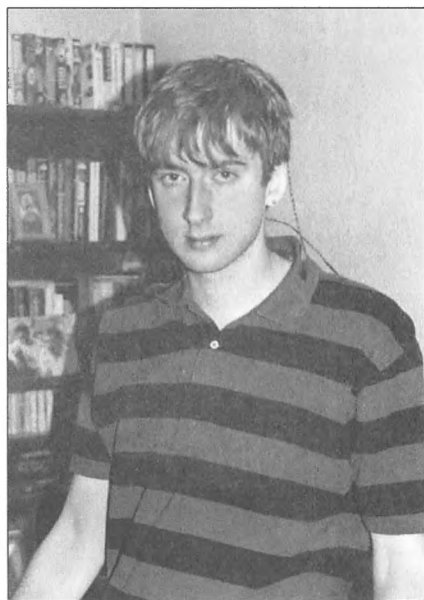
Могла ли она позволить, чтобы теперь, на десятом году революции, над ее только что родившимся сыном совершили мракобесный, кровавый средневековый обряд?





Он произнес
только одно слово: — Пипка.

Сейчас нашему Мишке
двадцать лет.





Вот с такого, наверно, возраста
я стал приставать к матери со своим постоянным нытьем: «Мама, читай!»



Раиса Давыдовна
и Адольф Александрович
Кусевицкие.
(Слева — их рано умершая
дочь Софья, ее я знал
только по этой фотографии.)



Мой двоюродный брат Владимир (Вовка).
В 1939 году он поступил в Ленинградское
военно-инженерное училище,
которое окончил в 41-м
(прямо к войне) – лейтенантом.
Так до конца войны
он лейтенантом и остался.

А это – первый
послевоенный год, 1946-й.
Тут он уже без ноги, на костылях.
Но – с неизменной улыбкой.
Только таким я его и помню:
смеющимся или улыбающимся.





Лидия Корнеевна Чуковская,
Вера Васильевна Смирнова
и «Ванечка» Халтурин.



Иван
Игнатьевич
Халтурин.
Я знал его
уже таким.



У Лидии Корнеевны Чуковской
в Переделкине.



Вера
Васильевна
Смирнова.
Вот такой она
была, когда
написала мне
свое письмо
о Гайдаре.



В Париже у Синявских.
Слева – Андрей, в обнимку со мной его жена Мария,
рядом – Владимир Новиков и Михаил Яснов.

Юлик Даниэль.
Рисунок Ларисы Богораз.





Выступаю на вечере, посвященном 25-й годовщине
За столом сидят: Булат Окуджава, Булат Окуджава, Булат Окуджава



...не процесса над Синявским и Даниэлем.
Биргер, Юлий Ким, Юрий Карякин.



Вот так я, наверно, выглядел,
когда меня спросили,
почему я похож на Киссенджера.

А тут я похож, скорее,
на Мейерхольда.
Но это уже — вина моего друга
Володи Войновича,
изобразившего меня вдвоем
с Манделем (Коржавиным),
который, как мне кажется,
на этом рисунке все-таки
больше похож на себя, чем я.



А вот так однажды
увидел и изобразил меня
другой мой друг —
Борис Биргер.
Я, конечно, не в восторге,
но — молчу.
Не смею посягать
на свободу
художественного
творчества.



С соавторами – Лазарем Лазаревым и Станиславом Рассадиным.
Что-то сочиняем. Возможно, ту самую пародию на Наровчатова,
которая вызвала у поэта, выбившегося в начальство,
так поразившую нас реакцию.





С Васей Аксеновым в Самаре.

Там проходила научная конференция по проблемам эмигрантской литературы. Принимали нас по высшему разряду. Организовали даже прогулку по Волге на маленьком теплоходике.



Виктор Платонович (Вика, как все его называли) Некрасов перед отъездом в эмиграцию. Справа от него – я и Виктор Фогельсон.
За моей спиной – моя жена Слава.
Стоят: Владимир Корнилов и Лариса Беспалова.



Я, конечно,
если и не понимал,
то чувствовал, какое будущее
готовит мне мое родное
государство.
Но реакция родителей
на наш тайный брак
(если тайна вдруг выйдет наружу)
пугала меня гораздо больше.

Ну, а что касается моей будущей
жены, то она о таких глупостях
вообще не задумывалась.

В голове у нее звенело,
и она думала только об одном:
как бы выманить «у них» свой
паспорт и, воспользовавшись
отсутствием шефа, успеть до его
возвращения из отпуска
зарегистрировать наш брак.

А там — будь что будет!



С О О Б Щ Е Н И Е

Министерства внутренних дел СССР

Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку всех материалов предварительного следствия и других данных по делу группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении детей Советского государства.

В результате проверки установилось, что привлеченные по этому делу профессор Вовси М. С., профессор Виноградов В. Н., профессор Ноган М. В., профессор Ноган Б. Б., профессор Егоров П. И., профессор Фельдман А. И., профессор Этингер Я. Г., профессор Васильев В. К., профессор Гринштейн А. М., профессор Зеленин В. Ф., профессор Преображенский Б. С., профессор Попова Н. А., профессор Занусов В. В., профессор Шерешевский Н. А., врач Майоров Г. И. были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР несправедливо, без каких-либо законных оснований.

Проверка показала, что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, что

показавшие арестованных, якобы подвергавшие вынужденные против них обвинения, получили работникам следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия.

На основании заключения следственной комиссии, специально выделенной Министерством внутренних дел СССР для проверки этого дела, впоследствии Вовси М. С., Виноградов В. Н., Ноган Б. Б., Егоров П. И., Фельдман А. И., Васильев В. К., Гринштейн А. М., Зеленин В. Ф., Преображенский Б. С., Попова Н. А., Занусов В. В., Шерешевский Н. А., Майоров Г. И. и другие реабилитированы в продолженных их обвинениях во вредительской, террористической и шпионской деятельности и в соответствии со ст. 4 п. 5 Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР, из-под стражи освобождены.

Лица, виновные в несправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

4 апреля 1953 года молодой ученый И.С. Шкловский прочитал в газете «Сообщение Министерства внутренних дел СССР» (о том, что врачи-убийцы – не убийцы). Кровь кинулась ему в голову, и, видимо, от этого притока свежей крови к сосудам головного мозга вдруг пришло решение. И прямо вот тут, не отходя от газетного стенда, он совершил одно из крупнейших открытий в астрофизике XX века.





Летом 1953 года я получил свой первый большой гонорар. Вместо того чтобы отдать эти деньги родителям, с которыми (лучше сказать – у которых) мы жили, совершенно ошавев от пьянящего воздуха наступающих перемен и от свалившейся вдруг на нас этой огромной суммы, мы с женой рванули на Юг, в Алупку, где «дикарями» прожили целый месяц.

что меня интересуют загадочные и не совсем мне понятные установления и обычаи канувшего в прошлое старого мира.

– Да, – признал он. – Это было непросто. Браки между евреями и неевреями случались. Но, помимо разных бытовых, семейных и других препятствий, существовало еще одно: главное. Чтобы жениться на русской, еврей должен был креститься. Принять православие.

Ага! Положение, стало быть, было не таким уж безнадежным.

Из дальнейших разговоров с отцом на эту тему выяснилось, что, крестившись, еврей как бы уже переставал быть евреем.

– А ты знал таких евреев?

– Конечно. И ты их знаешь. Вот, например, Кусевицкие.

Кусевицких – Адольфа Александровича и Раису Давыдовну – я действительно знал хорошо. Это были ближайшие друзья отца. Собственно, друзьями его были их сыновья, отцовы сверстники. Они были, кажется, врачами. Но при этом – страстно любили музыку. И вот собирались по вечерам и играли, образуя вкупе с моим отцом – квартет. И как-то так случилось, что старики стали считать отца тоже вроде как сыном, во всяком случае – членом своей большой семьи.

Меня Адольф Александрович не раз называл своим внуком, а однажды даже подарил мне книгу («Два путешествия капитана Беринга», я ею зачитывался) с такой надписью: «Моему первому внуку – Биле Сарнову на долгую память». Память, как видите, и впрямь оказалась долгой.

Я не знал (да и сейчас не знаю), почему удостоился чести называться первым внуком дедушки Кусевицкого. Наверно, у родных его сыновей тогда детей еще не было, вот я и оказался первым. А он для меня – единственным из моих дедов, которого я знал лично. (Двух родных своих дедов я знал только по фотокарточкам, они жили на Украине – один в Златополе, другой в Черкассах и в Москву никогда не приезжали.)

Вот оно, оказывается, как!

Отыскать среди наших знакомых крещеных евреев, оказывается, и в самом деле не составляло труда. Крещеным, или, как говорил отец, – выкрестом – оказался дедушка Кусевицкий! Кто бы мог подумать, что разгадка волнующей меня тайны лежала так близко.

Отец рассказал мне, что старшего брата Адольфа Александровича – знаменитого Сергея Кусевицкого – крестил великий князь Сергей Александрович, дядя царя, московский генерал-губернатор, которого потом взорвал бомбой Каляев.

– А кто крестил Адольфа Александровича? – спросил я, решив, что если крестным отцом Кусевицкого-старшего стал великий князь, то и младшего его брата тоже крестил, наверно, кто-то важный. Может быть, другой какой-нибудь родственник царя.

Но это мое предположение не подтвердилось. Про Адольфа Александровича и Раису Давыдовну отец сказал, что, кто их крестил, он не знает. И мимоходом добавил:

– К тому же, они ведь не православные, а лютеране.

Из туманного его ответа на мой вопрос, кто такие лютеране, я заключил, что лютеране – это немцы. И очень удивился, на кой ляд дедушке Кусевицкому понадобилось стать немцем. Ведь если уж человек решил креститься, то есть перестать быть евреем, так, наверно, для того, чтобы быть как все. Так стоило ли огород городить, чтобы опять быть не как все. Еврей ли, немец – какая разница? Все равно ведь не русский...

В ответ на мои приставания – как да почему дедушка Кусевицкий решил стать лютеранином – отец довольно раздраженно сказал:

– Почему я знаю? Если тебе интересно, спроси у него сам.

Именно так я и поступил.

При первом же удобном случае я спросил у Адольфа Александровича, почему, решив креститься, он выбрал не православие, а лютеранство.

Он пожал плечами:

– Чтобы в церковь не ходить, иконы не вешать...

Ответ этот ошеломил меня своей простотой.

Почему, будучи лютеранином, не надо ходить в церковь и вешать иконы, я не понял. Но зато я понял нечто куда более важное.

Не столько смысл этих слов, сколько тон, каким они были произнесены, яснее ясного сказал мне:

– Ах ты, господи! Православие... Лютеранство... Какая разница! Ведь все это – ерунда, пустая формальность, которой не

следует придавать никакого значения. Лишь бы отвязались, оставили в покое, не приставали с этими глупостями. Не заставляли ходить в церковь, вешать иконы, соблюдать еще какие-нибудь дурацкие обряды и правила.

Невольно, сам того не подозревая, этим своим ответом дедушка Кусевицкий раз и навсегда внушил мне равнодушно-презрительное отношение ко всем религиозным конфессиям, ко всем, какие только существуют в мире, границам, загородкам и перегородкам, отделяющим одну тропинку к Богу – от другой.

Эта детская прививка оказалась на редкость прочной. С этим ощущением, со временем превратившимся в убеждение, я прожил всю свою жизнь.

Ни в православие, ни в лютеранство я так и не выкрестился. Оказалось, что жениться на любимой, даже если она русская, можно и без этого.

Так я и остался евреем. И постепенно даже привык думать о себе как о еврее. Правда, еврей из меня вышел плохой. Не знаю даже, стал ли я, как Фейхтвангер, евреем «по чувству», но если даже и стал, еврей из меня получился совсем никудышный. Вот хотя бы такой, совсем близко лежащий пример: чтобы вспомнить, как называется еврейский религиозный праздник, в который мой отец начал вдруг соблюдать пост, мне пришлось заглянуть в специальный словарь. (*Дан Кон-Шербок, Лавиния Кон-Шербок. Иудаизм и христианство. Словарь. Перевел с английского Юрий Табак. Автор предисловия и примечаний член-корреспондент РАЕН о. Георгий Чистяков. М., 1955.*)

Мучая тот же словарь, я долго (и тщетно) пытался выяснить, каким словом заклеил бы меня мой дед, если бы тот обряд в отношении меня, на котором он настаивал, так и не был совершен. («Апикойрес»? «Мешумад»? «Мумар»? «Мамзер»? – Каждое из этих словечек выражает что-то похожее, но ни одно из них, строго говоря, тут не годится. «Апикойрес» – это безбожник, еретик, вольнодумец. Но можно ли назвать вольнодумцем неразумного младенца? «Мешумад», равно как и «мумар», – это выкрест. Но можно ли считать выкрестом того, кто еще не стал иудеем? «Мамзер» – это незаконнорожденный. Тоже не слишком подходит. Но скорее всего пущено в ход им было именно это слово.)

Мне случалось бывать в православных церквях (отпевали покойных друзей) и в католических храмах (слушал орган, глядел на картины великих мастеров). Но в синагоге я не был ни разу. И на кладбище, навещая могилу отца, от пейсатых евреев, вопрошающих: «Махт а мулэ?» – что, по-видимому, означает предложение сотворить молитву над могилой усопшего, шарахался (и по сей день шарахаюсь) как от чумы.

Моя подруга Зоя Крахмальникова – женщина редкой красоты и острого, независимого ума – в начале (или в середине?) шестидесятых вдруг – ни с того ни с сего – крестилась и – мало того! – стала активным религиозным деятелем, за что даже потом была арестована и отправлена в ссылку. Узнав об этом ее обращении, я вспомнил (и, кажется, даже произнес вслух) цитату, запомнившуюся мне из лекций профессора Шамбинаго: «Смолоду много было бито-граблено, под старость надо душа спасать».

Впрочем, до старости Зое тогда было еще далеко.

Тем не менее она ударилась в православие и стала время от времени вести с друзьями разные душеспасительные беседы, надеясь наставить и нас на путь истинный. От меня все эти ее попытки отскакивали как от стенки горох, и одну из этих своих бесплодных душеспасительных бесед со мною она закончила такой – довольно-таки раздраженной – репликой:

– Твоя беда в том, что ты – не еврей, не христианин, не коммунист. Ты – никто.

Я ответил (тоже не без раздражения):

– Я – Бенедикт Михайлович Сарнов. Мне этого достаточно.

Лет двадцать – а может, и двадцать пять – спустя мы с Зоей снова вернулись к этой теме. Это было уже после возвращения ее из ссылки, в новые, постсоветские времена. Дело было в Перedelкине, в Доме творчества. Поговорив о том о сем, Зоя осторожно позондировала почву: не дрогнул ли я, не приблизился ли к христианскому вероучению. Я – скорее в тоне юмора, чем всерьез – ответил, что не собираюсь изменять вере своих отцов.

При всем своем уме, никакого юмора, ни – тем более – иронии Зоя в этой моей реплике не уловила. Она приняла мой ответ за чистую монету и на следующее утро, прямо в столовую,

к завтраку притащила мне какую-то брошюру, в которой то ли двенадцать, то ли шестнадцать раввинов объясняли, как и почему они поверили в Иисуса Христа как в истинного Мессию. Я, смеясь, объявил, что брошюру эту читать не буду, поскольку эти ренегаты-раввины мне глубоко отвратительны.

В другой раз с той же идеей кинулась ко мне на выходе из метро очень красивая девушка и спросила, знаю ли я, кто такой Иисус Христос. Я ответил, что да, конечно, знаю, как не знать. Она этим ответом не удовлетворилась и, как на экзамене, строго спросила:

– Кто же он?

Сразу сообразив, что девица эта (красота ее была ярко выраженного иудейского типа) представляет религиозную секту (или движение?) «Евреи за Иисуса Христа», я ответил:

– Лже-Мессия.

Красотка шарахнулась от меня как ошпаренная.

Ответ мой, конечно, был откровенно хулиганский. Всерьез я ответил бы иначе.

С одной стороны, я – как и все мы, выросшие на русской и мировой классике, – дитя христианской цивилизации, и все мои нравственные ориентиры исходят из системы христианских ценностей. Но с другой...

Был у меня однажды на эту тему такой разговор.

Позвонил мне мой друг Эмка и тоном, не терпящим никаких возражений, потребовал, чтобы я сейчас же, немедленно приехал к нему в Беляево-Богородское. Ехать в эту чертову глушь мне отчаянно не хотелось, но по тону взволнованного поэта мне показалось, что случилось что-то чрезвычайное. И я поехал.

В небольшой коржавинской квартире собралось довольно много народу – человек, наверно, двадцать. Все они сгрудились вокруг молодой пары откровенно иностранного вида, жадно глядели им в рот и засыпали вопросами. Молодые люди, как оказалось, прибыли из Израиля, и были они, если не ошибаюсь, сотрудниками то ли хиаса, то ли сохнута. Попросту говоря, они агитировали – или, лучше сказать, просвещали – московских евреев, подумывающих об эмиграции, но еще колеблющихся.

Происходило все это в начале семидесятых, когда крохотная калитка в железной стене (железном занавесе) слегка приоткрылась. Отъезд был уже делом возможным, хотя и рискованным. (Можно было просидеть в отказе несколько лет, да так и не получить долгожданного овировского разрешения.)

Друг мой Мандель (Коржавин) к отъезду был тогда еще не готов. Окончательно подтолкнули его к роковому решению более поздние события, решающим из которых стал вызов в прокуратуру (об этом я, может быть, когда-нибудь еще расскажу). Но голова у него тогда уже кружилась – от одного только сознания, что граница, которая так долго была на замке, вдруг обнаружила некую брешь. Он слегка тронулся, стал чуть ли не регулярно ездить в аэропорт, провожая даже не очень близких приятелей и знакомых, отправляющихся на «историческую родину». И вот теперь докатился до того, что устроил в своей квартире что-то вроде подпольной встречи с агентами вражеского государства, с сионистскими, так сказать, вербовщиками.

Сионисты меж тем оказались очень милыми ребятами. Они честно отвечали на все задававшиеся им вопросы, среди которых были и не имеющие никакого отношения к существу обсуждаемых проблем, и просто глупые.

Один из не самых умных вопросов задал я. Меня в то время очень возмутил докатившийся до нас слух, что евреем в Израиле признается далеко не каждый из тех, кто числится таковым у нас.

Да, ответил мне молодой сионист. Евреем в Израиле считается лишь тот, кто рожден еврейской матерью. Или же человек любого этнического происхождения, принявший и исповедующий иудаизм.

Когда я услышал, что какой-нибудь Григорий Исаакович Фогельсон, рожденный русской матерью от еврейского отца и полной мерой хлебающий все прелести, связанные с нашим анкетным «пятым пунктом» (в том числе, кстати, и мой собственный сын) в Земле обетованной евреем признан не будет, возмущение мое поднялось до самого высокого градуса. И тогда я пошел дальше.

– Ну а если, – задал я коварный вопрос, – сын, рожденный еврейской матерью, крестился? Принял, скажем, православие? Как тогда?

– Если он стал христианином, – пожал плечами молодой сионист, – значит, он уже не еврей.

Гул негодования прошел по рядам внимавших ему московских евреев, среди которых, как я понял, многие уже сделали свой выбор в пользу Иисуса Христа. Но юноша из сохнута даже не понял, чем, собственно, вызвано это всеобщее негодование. Его ответ казался ему не просто само собой разумеющимся, но и единственно возможным.

И тогда я спросил:

– Ну а если человек, рожденный еврейской матерью, равно далек и от иудаизма и от христианства?

– То есть если он атеист? – уточнил сохнутовец.

– Да, – подтвердил я.

– Тогда он безусловно является евреем, – последовал ответ.

– Но почему?! – искренне удивился я. – Ведь он тоже отошел от иудаизма! Не все ли равно, ушел человек от веры своих отцов в другую веру или – в безверие?

– О, это совсем не все равно! – терпеливо объяснил мне, молодому уже человеку, этот израильский юнец. – Еврей, принявший христианство, уже сделал свой выбор. А атеист еще сам не все про себя знает.

Ответ этот, как говорится, закрыл тему.

С тех пор минуло четверть века, и сегодня я уже не просто немолодой, а – чего там говорить! – старый человек. Но и сегодня, сейчас, я, как и тогда, еще не все про себя знаю.

Одно могу сказать: если бы все-таки случилось мне на старости лет стать верующим, мне гораздо легче было бы поверить в невидимого, вездесущего, загадочного, непостижимого Бога, чем в Богочеловека, распятого и воскресшего, который, к тому же, не просто Сын Божий, а – одна из трех ипостасей Отца, единого в трех лицах.

Может быть, в этом как раз и проявилось мое природное, так сказать, генетическое еврейство?

Не знаю. Не думаю. Интеллигент, выросший в атмосфере блюдущихся церковных традиций, может сохранить веру отцов – по самым разным причинам. Но интеллигент, который пришел к вере, будучи уже вполне взрослым человеком, вряд ли, мне кажется, может воспринимать всю хрис-

тианскую мифологию иначе, чем прекрасную метафору.

Теоретически я, конечно, могу допустить, что тот или другой из моих новообращенных друзей и знакомых крестился по причинам сугубо внутреннего свойства. Что обращение его – результат глубоких, может быть, даже мучительных поисков некой духовной истины, единственное (для него) возможное постижение конечного смысла бытия. И все же не могу удержаться от недоверчивой иронической усмешки. Нет, ребята! Вера – дело интимное, личное. Тут не может быть никакой показухи. А у вас – крест наружу, на всеобщее обозрение. Вы знаки своей веры (не веры даже, а конфессиональной принадлежности) носите, как самые глупые из нас в ранней юности носили свои комсомольские значки.

Задумали мы как-то вчетвером (Володя Корнилов, Володя Войнович, Фазиль Искандер и я) заглянуть в недавно тогда открывшийся большой пивной бар на Новом Арбате, посидеть, попить хорошего, настоящего пива. Не могу сказать, чтобы четверка эта была так же неразлучна, как знаменитые четыре мушкетера Дюма-пэра, но тем не менее это была тогда – одна компания. (Размолвки и ссоры начались позже.)

Сказано – сделано. Схватили такси и – поехали.

Очередь при входе в бар, конечно, была, но – небольшая: постоять пришлось не больше полчаса.

Пока мы стояли, издали нас заметил и помахал рукой Толя Гладилин. Подошел. Мы немного поговорили. Он выразил сожаление, что не может к нам присоединиться, и ушел, завистливо вздохнув на прощанье:

– Ваше дело молодое.

Был он, надо сказать, существенно моложе самого молодого из нас – Володи Маленького, как мы, в отличие от Корнилова (Володи Большого), именовали Володю Войновича.

В баре мы посидели хорошо и пива выпили порядочно. И хотя, покидая заведение, мы предусмотрительно заглянули в сортир, не успев дойти до Никитских Ворот, почувствовали, как нестерпимое желание вновь облегчить мочевого пузырь с жуткой силой овладевает нами.

«Пиво дырочку найдет!» – весело вспомнил я любимую по-

говорку моего друга Поженяна. Но нам было уже не до веселья, поскольку выяснилось, что с самого детства знакомый мне подземный туалет близ памятника Тимирязеву на Тверском бульваре, куда я уверенно вел всю нашу компанию, закрыт на ремонт.

Положение становилось угрожающим.

И тут кто-то из нас (кажется, Корнилов) вспомнил, что где-то совсем рядом, в каком-то из близлежащих переулков (вспомнил: Южинский. Вот как он тогда назывался!) живет наша подруга Зоя со своим мужем Светом.

Свет, Светик – это было его детское имя, которое прилепилось к нему на всю жизнь. По-настоящему его звали – Феликс. Феликс Светов. Он был тогда довольно известным «новомирским» литературным критиком. Светов – это, конечно, псевдоним, образовавшийся от того же его детского имени и давно уже вытеснивший не только из памяти всех, кто его знал, но даже, наверно, и из собственной его памяти родовую фамилию, доставшуюся ему от отца.

Отца Феликса звали – Цви Фридлянд. Был он известный советский историк, автор фундаментальных монографий о Дантоне, Робеспьере и других вождях Великой французской революции. В 30-е годы – декан исторического факультета МГУ. В 37-м, разумеется, расстрелян. (Помимо разных других грехов – в основном, конечно, мнимых, – ему припомнили, что на заре своей революционной деятельности, прежде чем вступить в железные ряды РКП, он был членом ЦК еврейской рабочей партии «Паолей-Сион», а стало быть, сионистом.)

До недавнего времени Свет тоже входил в наш тесный круг. И хотя был он, как я уже сказал, известным «новомирским» критиком, и хотя Боря Слуцкий, любивший субординацию, когда Зоя, расставшись с предыдущим своим мужем по этому Марком Максимовым, стала женой Света, отметил, что она вышла замуж с **повышением**, – несмотря на все это, вошел он в нашу компанию как муж Зои. И так – уже навсегда – «зойкиным мужем» для нас и остался.

Отчасти это объяснялось женственной натурой Света. Но красавица Зоя не просто вертела мужем на бытовом уровне (такое случается во многих семьях). Свет сразу признал не

только светское, но и, так сказать, духовное Зоино лидерство. И когда узналось, что Зоя и Свет крестились, никто из нас не сомневался, что именно Зоя приняла это решение за них обоих, что это она «охмурила» беднягу Света, как ксендзы Козлевича, потащила его за собой в крестильную купель, и он покорно пошел туда за нею, как бычок на веревочке.

А до своего (точнее – до их совместного с Зоей) обращения Свет был очаровательный рубаха-парень, выпивоха и бабник. Встречая в какой-нибудь компании красивую женщину, он подходил к ней и спрашивал:

– Откуда вы такая?

И сразу закручивался, стремительно разворачивался новый, очередной роман.

Когда они с Зоей только-только поженились, сидели мы с ним как-то вдвоем, что-то пили. И Свет – уже в тумане винных паров – сказал:

– Я знаю, у тебя там что-то было с Зойкой. Но ты не думай...

– Чушь, – воспротивился я. – Ничего у меня никогда с ней не было.

– Да ладно, брось! – махнул он рукой, давая понять, что все это не имеет для него решительно никакого значения. Во всяком случае, в сравнении с тем, что сейчас мы вот так хорошо сидим. И, опрокинув очередную – уж не помню, какую по счету, – рюмку, громко запел:

– А потом отдавалась!..

Таким я и вижу его сейчас: в полутьме (дело было теплым летним вечером, на дачной террасе) белеет его расстегнутая рубаха. И он поет на какой-то импровизированный, цыгано-романсовый, совсем не подходящий к этим рафинированным северянинским строчкам мотив:

– До рассвета рабыней проспала госпожа...

Поет словно бы на юморе, словно бы слегка издеваясь, иронизируя над этой пошлятиной, но в то же время и с душой, со страстью, с веселым пьяным надрывом, с каким-то даже отчаянием:

– А-а потом отдава-алась!!!...

А с Зойкой у меня действительно никогда ничего не было. Хотя она была так хороша, что не влюбиться в нее было просто невозможно.

Помню, однажды она заглянула ко мне в «Пионер». Какие-то длинные зеленые серьги, зеленые глаза... Она была ослепительна. Наши «пионерские» дамы просто обомлели, когда я поднялся ей навстречу и мы с ней расцеловались. Они, конечно, даже представить себе не могли, что молодой мужчина, вот так вот запросто целующий такую женщину, испытывает к ней только братские, только товарищеские чувства.

А между тем это было именно так.

Вот каким я был идиотом!

В свое оправдание могу сказать, что Зоя была на редкость хорошим, верным товарищем.

Когда в одночасье умерла первая жена Булата – Галя, Булат не хотел идти на похороны. Разрыв его с Галей назревал давно, но ушел он от нее совсем незадолго до этой внезапной, ошарашившей нас всех ее смерти. И поэтому он – не без некоторых к тому оснований – не мог отделаться от мысли, что во время похорон, если он на них явится, все будут осуждающе глядеть на него как на главного виновника случившейся трагедии и перешептываться: вот ведь, мол, хватило наглости... явился... как ни в чем не бывало... да что, ему все как с гуся вода...

Только Зоя сумела уговорить его все-таки пойти на похороны. И в продолжение всей этой долгой, душераздирающей (Гале было 39 лет, и у гроба рыдали совсем еще не старые ее родители) кладбищенской процедуры она стояла рядом с еле державшимся на ногах Булатом, изо всех сил сжимая в руке его ладонь.

Итак, распираемые выпитым пивом, мы вспомнили, что где-то здесь, близ Никитских Ворот (Корнилов, хранивший в памяти все на свете цифры, запомнил даже номер дома и номер квартиры), живет наша подруга Зоя со своим мужем Светом.

В то время они от нашей компании уже почти совсем отошли, и ни один из нас, кажется, даже ни разу еще не был тут, в их новой квартире, куда они уже скоро год, как перебрались из старой, располагавшейся близ Курского вокзала.

Эта близость к Курскому вокзалу – самому злачному месту тогдашней Москвы – сыграла однажды с Зоей и Светом довольно злую шутку.

Уезжая куда-то на месяц – то ли по каким-то своим делам,

то ли отдыхать, – они оставили на это время в квартире гостившую у них Зойкину мать. Та была женщина предприимчивая и, что называется, без предрассудков. Оставшись на целый месяц одна в большой (четырёхкомнатной, если память мне не изменяет) квартире, она здраво рассудила, что нет никакого резона в том, чтобы эта драгоценная жилплощадь пустовала просто так, без всякого профита. И, поразмыслив, нашла самый простой и – в тех обстоятельствах – пожалуй, оптимальный вариант извлечения прибыли из пустующих комнат: стала сдавать (по часам) свободную жилплощадь ищущим пристанища парочкам. Среди поблядушек, промышлявших у Курского своей древнейшей профессией, редкая владела собственной жилплощадью, поэтому в клиентах у Зойкиной матери не было недостатка. Счастье, подвалившее ей, длилось целый месяц. Но когда Свет и Зоя вернулись, история эта каким-то образом стала им известна. Может быть, даже сама виновница, не видя в затеянном ею доходном предприятии ничего худого, просто-душно поведала детям о том, какую прибыль удалось ей извлечь из простаивавших без всякого толка пустых комнат.

Мама Света – тоненькая, хрупкая, интеллигентная Надежда Львовна – даже семнадцать лет сталинских лагерей не смогли не то что выколотить из нее, но даже поколебать эту ее врожденную интеллигентность – была просто в шоке. Особенно поразило ее, что и кабинет Света, где за старинным, каким-то чудом уцелевшим фамильным письменным столом он сочинял свои критические опусы («Ушла ли романтика?») – тоже был превращен не ведавшей никакого стыда бандершей в обитель разврата.

– В рабочем кабинете писателя! – потрясенно повторяла она.

Сам Свет, да и Зоя тоже, потрясены не были. Они отнеслись ко всему этому происшествию с юмором, с веселым и, я бы сказал, здоровым цинизмом.

И вообще были они тогда веселыми, забубенными ребятами, без всяких предрассудков. Кто бы мог подумать, что вдруг, неведомо как и неведомо откуда, снизойдет на них эта так называемая благодать и они превратятся в то, во что превратились.

– Да, – сказал Фазиль, когда мы отсмеялись, припомнив все

комические подробности той давней истории. – Я тут недавно его встретил...

– Ну? – спросили мы, не сомневаясь, что он имеет в виду Света.

Фазиль пожал плечами:

– Просто другой человек. Он стал похож на такого... Ну, на пастора, что ли...

Фазиль вытянул губы трубочкой, пытаясь изобразить эту новую, пасторскую личину бывшего рубахи-парня.

Да, повздыхали мы. Как-то они нас встретят с этими нашими пивными проблемами?

Делать, однако, было нечего. Переполюнявившая нас жидкость настойчиво искала дырочку.

Сравнительно быстро найдя дом, этаж и квартиру, мы позвонили. Дверь открыла Зоя. Света, как тут же выяснилось, дома не было. И слава богу! После лицедейства Фазили, так талантливо передразнившего его пасторский облик, встречаться с ним нам сейчас не очень-то и хотелось.

А Зоя встретила нас нормально.

Наскоро с ней расцеловавшись, мы – по очереди – посетили сортир. И тут нам сразу стало хорошо-хорошо! И даже показалось, что Зоя наша ничуть, ну ни капельки не изменилась.

Она и в самом деле не изменилась. Слегка изменился только тон, эмоциональный настрой ее речи. В ее голосе звучала теперь какая-то другая музыка. Особенно ясно почувствовалось это, когда разговор зашел (а он, конечно, зашел) о делах религиозных. На эти темы Зоя говорила с нами чуть снисходительно, даже можно сказать – надменно.

Но до религиозных тем дело дошло не сразу.

Когда мы всей гурьбой ввалились в Зоину комнату, мне сразу бросилась в глаза дивной красоты каминная решетка, узороного чугунного литья.

– Зоя! Что это? Откуда это у вас?

Зоя объяснила, что вещь эта (действительно антикварная, можно сказать, уникальная, очень дорогая) принадлежит не им. Владелец этого чуда поставил ее у них временно, отчасти в надежде, что они помогут ему сбывать ее с рук. Я спросил, как дорого стоит эта антикварная вещь. Зоя сказала – девятьсот рублей.

Ого! По-старому это, значит, девять тысяч! (Со времени хрущевской денежной реформы, скостившей с наших денег лиш­ний ноль, прошло, наверно, уже лет пять. Но когда называли ка­кую-нибудь – особенно крупную – сумму в новых дензнаках, мы все неволь­но прикидывали: сколько же это будет по-старому?)

Отказавшись от мысли о приобретении антикварного чуда и сказав Зое, что у нас, пожалуй, не найдется знакомых, кото­рые могли бы клюнуть на такую дорогую и совершенно при этом не нужную для жизни вещь, мы обратили свои взоры на длинный стол, стоящий у стены, на котором стопками, г­рудами и просто так, вразброс, были навалены какие-то журналы и книги.

Мимо книг я никогда не мог пройти равнодушно и тут же с жадностью стал их разглядывать и перелистывать. Увы, ни од­на из них меня не заинтересовала: все они были, как мне по­казалось, про одно и то же. Мысленно (для себя) я окрестил рубрику, под которую можно было подверстать названия всех этих сочинений, так: «Господи, помилуй!»

Окончательно убедившись, что Зоины книги и журналы ни­какого интереса для меня не представляют, я отошел от стола и, усевшись в кресло, стал оглядываться по сторонам. А к сто­лу тем временем подошел Володя Войнович. Взяв в руки какой-то журнал (из той же рубрики «Господи, помилуй!», других там не было и, как я уже убедился, быть не могло), он сказал:

– Зоя, что это?

– Это теоретический, богословский журнал, – тем самым, надменным своим тоном, какой появлялся у нее в разговорах на религиозные темы, объяснила Зоя.

– Он выходит в Москве? – невинно осведомился Войнович.

– Ну да, конечно, – пожала плечами Зоя.

– И в нем тоже, конечно, есть всякие такие статьи – про им­периализм, сионизм? А? Не может ведь быть, чтобы не было?

– Ты с ума сошел, – сказала Зоя. – Это ведь не «Вестник Па­триархии». Там, действительно... А это, я же тебе сказала... Это серьезный теоретический, теософский журнал...

– Не может быть, чтобы в журнале, который издается в Москве, не было ни словечка про американский империализм или про израильских агрессоров, – сказал Войнович.

– Если ты найдешь там что-нибудь подобное, – вспыхнула Зоя, – я заплачу тебе тысячу рублей новыми деньгами!

Войнович, полистав журнал, сразу же нашел и, торжествуя, зачитал вслух несколько фраз в духе знаменитой песни Галича: «Израильская военщина известна всему свету...»

Мы радостно заржали.

– Тысячу рублей новыми деньгами мы у тебя требовать не будем, – сказал я Зое. – Тем более что таких денег у тебя все равно нет. А вот решеточку эту антикварную, пожалуй, с собой унесем.

Поиздевавшись еще немного над слегка все-таки смутившейся, обескураженной Зоей, мы добродушно расцеловались с нею и ушли. И по дороге домой долго еще ликовали по поводу того, как ловко прищучил Войнович нашу надменную подругу, каким безошибочно метким и точным ударом он сбил с нее спесь.

А спустя несколько дней до нас докатилась реакция Света на этот наш неожиданный визит.

– Четыре жиды, – возмущался он, пересказывая (с Зоиных, конечно, слов) всю эту историю, – пришли в православный дом и глумились над нашей верой!

По Нюрнбергским законам Корнилов, конечно, еврей (его мать, умершая так рано, что он едва ее помнит, была еврейской). Войнович – тоже. (По отцу он – серб). Фазиль даже и по Нюрнбергским законам к еврейскому племени причислен быть не может: наполовину перс, наполовину абхазец, а по вере отцов – мусульманин. Так что выходит, что из всей нашей четверки единственным полноценным жидом по справедливости мог числиться один только я.

Но, как выразился однажды Герман Геринг: «Это я решаю, кто еврей!»

Впрочем, полной уверенности, что Свет выразился именно так, как это нам передали, у меня нет. Конечно, это мог быть «испорченный телефон». Или просто злая сплетня.

Но я поверил в подлинность этой его комической реплики. Уж очень это было в духе наших новообращенных, ощущавших и осознававших себя в точном соответствии со старым анекдотом. Знаете, конечно... Два еврея решили креститься. У того, кому выпало окунуться в крестильную купель первым,

второй спрашивает: «Хаим, вода холодная?» Новоиспеченный христианин гордо отвечает: «Я с жидами не разговариваю».

Черт его знает! Может быть, Зоя была права, сказав, что я, в сущности, никто – не еврей, не христианин, не коммунист: так, пустое место. Пер Гюнт, которого надо отправить на переплавку к Пуговичнику.

Или, может быть, прав тот мальчик из Израиля, который сказал, что еврей, равнодушный к иудаизму, но все-таки не ставший христианином, – не безнадежен: он не потерян для еврейства, поскольку и сам про себя еще не все знает.

Может, и для меня тоже еще не все потеряно? Может, и у меня тоже еще есть шанс стать настоящим евреем?

Не знаю, не думаю.

Сколько ни стараюсь, на вопрос: «Кто я?» – не могу придумать лучшего ответа, чем тот, легкомысленный, который – в запальчивости – дал тогда Зое:

– Я – Бенедикт Михайлович Сарнов.

Глупо, конечно. Наивно. Но ничего более умного я придумать не могу.

Мой сын, когда мне случается побрызгать по поводу каких-нибудь молодых людей, нацепивших на себя кресты или отравивших пейсы, говорит:

– Ну, ты, известное дело... Ты ведь у нас – Овечкис.

«Овечкис» – это персонаж пьесы Фридриха Горенштейна «Бердичев», столичный еврей-агностик, с некоторым пренебрежением и даже брезгливостью глядящий на местечковых своих соплеменников, которые, на взгляд автора, какими бы жалкими они ни казались, несут в себе вечный огонь многовековой еврейской духовности.

Называя меня Овечкисом, сын имеет в виду примерно то же, что имела в виду Зоя, говоря, что я – никто: не еврей, не христианин, не коммунист.

Признать, что я не иудей, не христианин, а тем более не коммунист, – это мне легче легкого.

Но признать себя «Овечкисом»?.. Обидно, Зин!..

И тем не менее – я готов.

Что ж, Овечкис – так Овечкис. Пусть так.

Я ведь все равно могу быть только тем, кто я есть.

ПРИПЕРТЫЕ К СТЕНЕ

Еще не начинались споры
В торжественно глухой стране.
А мы – припертые к стене –
В ней точку обрели опоры.

Борис Слуцкий

1

Один маленький мальчик – сынишка наших знакомых – после первого в своей жизни школьного дня спросил у родителей, сколько лет придется ему ходить в школу, – то есть не принадлежать больше себе самому.

Родители ответили:

– Десять лет.

Он спросил:

– А потом?

Родители сказали, что потом, после школы, он поступит в какой-нибудь институт и будет там продолжать учење.

– Сколько? – спросил он.

– Пять лет.

– А потом?

Потом, объяснили ему, он начнет свою трудовую жизнь. Будет каждый день ходить на работу.

– Сколько?

Родители пожали плечами:

– Всю жизнь.

Осмыслив эту неутешительную информацию, мальчик грустно констатировал:

– Значит, человек живет только до семи лет.

Мысль не такая уж глупая.

Начало школьной жизни (в мое время она начиналась не в семь, а в восемь лет) – это ведь и в самом деле что-то вроде изгнания из рая.

В той, прежней, райской жизни не надо было рано просыпаться, боясь опоздать к началу занятий, не надо было делать уроки, с замиранием сердца гадать, вызовут меня сегодня к доске или авось пронесет. В той жизни никто – кроме родителей – не имел на меня никаких прав. Ну а с родителями всегда можно было как-нибудь договориться: понежиться в постели еще полчаса, отказаться идти «дышать воздухом». Даже от ненавистной музыки можно было как-нибудь отбояриться.

Одна из лучших лирических эпиграмм Маршака начинается строчкой: «Года четыре был я бессмертен...»

Это – о ребенке, еще не знающем, что ему предстоит умереть.

Перефразируя эту маршаковскую строку, я мог бы сказать, что лет восемь я жил в раю. Жил, не подозревая, что моя жизнь принадлежит не мне. И не в школе, не в учителях тут было дело, а в том, что в школу нельзя было не пойти. Даже если бы родители почему-нибудь не захотели отдавать меня в школу, они не могли бы ничего сделать: это было не в их власти. Тут вступала в действие иная, более мощная, непререкаемая, непреодолимая власть: власть Государства.

Однажды, в раннем детстве, когда я отказывался проглотить очередную ложку ненавистной мне манной каши, отец сказал, что если я буду плохо есть, вырасту маленьким, слабым, тщедушным, и когда настанет мне пора идти в армию, мне там придется ох как несладко.

Я сказал:

– А если я не захочу в армию?

Отец объяснил мне, что никто тут считаться с моими желаниями не будет. В армии должны служить все. Это – закон.

И тут я почувствовал, всем своим маленьким тельцем и всей моей трепещущей маленькой душонкой ощутил, как сдавливают, сжимают меня железные тиски Государства, – от которых никуда не денешься, от которых даже всемогущие папа и мама не смогут меня защитить.

Самым странным в этом моем детском чувстве было то, что в ту пору своего существования я вовсе не хотел уклониться от службы в армии. Совсем даже наоборот! Мы все – в том нашем возрасте – только и мечтали о том, чтобы стать красноармейцами (слово «солдат» тогда еще не было в ходу). Когда появлялся у нас мой старший двоюродный брат Вовка, бывший в то время уже курсантом, или еще какой-нибудь военный, пахнущий кожей портупей, ремней, сапожной мазью – всеми этими восхитительными армейскими запахами, я просто млел от восторга. И мечтал скорее вырасти, чтобы тоже стать военным.

Нет, ужас, охвативший меня, когда я узнал, что такое закон о всеобщей воинской обязанности, был связан совсем не с тем, что мне предстояло служить в армии. Ужас этот был рожден вплотную подступившим к самому моему сердцу ощущением, что есть на свете сила, которая ни при какой погоде не станет считаться с какими бы то ни было моими желаниями. И не подчиниться этой силе – нельзя.

Это был ужас перед неодолимой властью Государства, имеющего непререкаемое право распоряжаться всей моей жизнью.

Это было, я думаю, первое – и, наверное, самое сильное в моей жизни (потом к этой мысли я уже привык, смирился с нею) осознание своей несвободы.

В середине восьмидесятых мы с женой впервые в жизни пересекли государственную границу Советского Союза. Это была туристическая поездка. Группа наша состояла из писателей (точнее – членов Союза писателей) и так называемых «жописов» (писательских жен).

Первой нашей «заграницей» стала ГДР. Кавычки в слове «заграница» тут можно было бы и убрать, хотя, конечно, это была не совсем настоящая заграница. Пределы Большой Зоны, как именовался в нашем кругу лагерь социализма, мы ведь тогда так и не пересекли.

В то время наши друзья Войновичи жили уже в Германии – в настоящей Германии, в ФРГ – и когда мы по телефону (а мы довольно регулярно перезванивались) сообщили им, что побывали в их стране, они расхохотались.

Лет пять спустя, когда после десятилетней разлуки мы наконец встретились, они вспомнили этот наш телефонный разговор и объяснили причину своего тогдашнего смеха. Оттуда, из их Германии – наша Германия виделась им частью Большой Зоны, для них она была – почти то же, что Советский Союз, который они (отнюдь не добровольно) покинули и обратный путь в который для них был навсегда (так, во всяком случае, тогда казалось) закрыт.

Но они смотрели на ГДР **оттуда**, а мы – **отсюда**. И для нас это была – самая настоящая Германия. И уж безусловно самая настоящая – еще и потому, что (повторюсь) первая в нашей жизни – заграница. Ведь были там прелестные маленькие немецкие городки (Вернигероде) с черепичными крышами домов, горевшими на солнце «как печатный пряник». Был дом Гёте в Веймаре, и знаменитая Ута, и мост XII века в Эрфурте, и перезвон колоколов, и величественные средневековые соборы, в каждом из которых нам показывали кафедру, с которой проповедовал Лютер, и специфические немецкие народные празднества-ярмарки...

Было, конечно, и многое другое, до отвращения знакомое: походы по «ленинским местам», обязательное посещение памятника советским воинам-освободителям, Берлинская стена у Бранденбургских ворот, над которой летал американский вертолет. (На чей-то вопрос, имеет ли он право тут летать, немецкая девушка-экскурсовод с каким-то немецким значком, похожим на наш комсомольский, ответила, что, конечно, нет, не имеет, что это – «очередная американская провокация».)

Но помимо всего этого, более или менее похоже повторяющего родные наши советские реалии, были в открывшейся нашему взору жизни социалистической Германии и вовсе незнакомые нам краски и черты. Выяснилось, что кое в чем старательные, дотошные, аккуратные немцы пошли дальше, гораздо дальше нас. И не куда-нибудь там в сторону, а именно по нашему, нами для них проложенному пути.

Главным нашим гидом была разбитная русская баба, скорее всего жена какого-нибудь нашего офицера. В ГДР она жила довольно давно, но глядела на ихнюю гэдээровскую жизнь – сторонним взглядом. Это был взгляд с нашей стороны, инстинк-

тивно выбирающий все, что отличает здешнюю жизнь от нашей.

И вот тут особенно поразил меня – прямо-таки ударил! – довольно подробный ее рассказ о системе школьного образования в ГДР. (Именно из-за этого рассказа я и вспомнил сейчас об этой нашей тогдашней туристической поездке.)

Она рассказала, что в гдэрэровских школах существуют какие-то особые школьные советы (что-то наподобие когдатошних наших учкомов), в которые входят наравне с учителями и учащиеся. И эти советы определяют, может ли тот или иной старшеклассник, кончающий школу, поступать в высшее учебное заведение или он должен идти работать куда-нибудь на производство, набираться, так сказать, жизненного опыта. Ну и, конечно, более активно участвовать в строительстве социализма.

Мало того! Если даже этот школьный совет решит, что окончившие школу юноша или девушка так замечательно проявили себя на школьном поприще (тут учитываются, конечно, не только успехи в науках, но и общественное поведение), что могут поступать в какое-нибудь высшее учебное заведение, дело на этом не кончается. Судьбу будущего абитуриента теперь будет решать другой, еще более высокий совет, наделенный совсем уже особыми полномочиями.

Как я понял, этот более высокий совет заседает в какой-то уже не школьной, а партийной инстанции (что-то вроде нашего райкома). Там «старшие товарищи» взвешивают все «за» и «против» и решают, какую профессию данному абитуриенту надлежит избрать. Положим, он мечтает стать историком. Или филологом. Но стране, – решают «старшие товарищи», – сейчас больше нужны химики. Или металлурги. И «совет» выносит решение: абитуриенту такому-то разрешается поступить в соответствующий вуз.

– А может ли он, – спросил я, – не подчиниться этому решению? Попробовать все-таки поступить в тот институт или на тот факультет, к которому у него лежит душа?

– Нет, – последовал ответ. – Без решения совета в другой институт у него даже заявления не примут.

– Какой ужас! – сказал я стоявшему рядом пожилому ленинградскому писателю, с которым мы иногда обменивались впе-

чатлениями об увиденном и услышанном, и эти наши впечатления, как правило, совпадали.

– Почему ужас? – фальшиво удивился он.

Удивление его показалось мне фальшивым, во-первых, потому, что я даже представить себе не мог, чтобы оно могло быть искренним.

Если уж даже меня, выросшего при социализме, так поразила нарисованная нашей гидшей картина, так как же должна была она поразить моего собеседника, родившегося в начале века и, значит, еще заставшего ту, дореволюционную жизнь, гораздо более нормальную, чем наша.

А во-вторых – и это, конечно, было главное – в той поездке я впервые столкнулся с таким уровнем всеобщей, тотальной неоткровенности, который сильно зашкаливал за привычные для меня советские рамки. Причину этой всеобщей неоткровенности ясно выразила одна наша спутница: когда моя жена позволила себе высказать вслух какое-то не слишком даже крамольное, но слегка все-таки выходящее за рамки официальной идеологии замечание, эта дама, переглянувшись со мной, негромко сказала:

– Ваша супруга явно не хочет больше ездить по заграницам.

И я, поняв намек, провел в тот же день с «супругой» соответствующую политбеседу, рекомендуя ей впредь придерживаться свой язычок.

Но тут я уж и сам не сдержался, и когда мой ленинградский коллега, сделав невинные глаза, спросил, почему гэдээровские порядки поступления юношей и девушек в высшие учебные заведения так меня поразили, уже не понижая голоса, громко, нарочно, чтоб слышали все, сказал:

– Прекрасно вы понимаете, почему. До такого ведь и сам Оруэлл не додумался!

До смерти перепугавшийся мой собеседник стал доказывать, что ему, напротив, эта гэдээровская система очень нравится, что он сам был бы очень рад, если бы в его юные годы какие-нибудь умудренные опытом «старшие товарищи» уговорили его вместо этой мучительной, все нервы, всю душу выматывающей профессии литератора выбрать себе какую-нибудь другую, более реальную и более благодарную жизненную стезю.

Я завелся и, наверное, с гораздо большей наглядностью, чем моя жена, продемонстрировал всей нашей группе явное свое желание навсегда отрезать для себя всякую возможность участия – в будущем – в таких вот заграничных турпоездках.

Хотя, если вдуматься, на самом деле в том нашем споре я выступал как настоящий советский патриот: в защиту нашего, истинного социализма – против социализма извращенного, казарменного, опасность которого мудро предвидел еще сам Маркс.

Но оппонент мой был умнее меня: он прекрасно понимал, что стукачи, на чуткий слух которых он ориентировался в том нашем споре, Маркса не читали. А уж те, кому они напишут свои донесения, и подавно не станут разбираться в том, какой социализм следует считать истинным, а какой – казарменным.

Однако – что правда, то правда! – наш родимый российский социализм был все-таки помягче китайского и немецкого.

Мне оставалось только облегченно вздохнуть и поблагодарить судьбу за то, что в моей юности никакие старшие товарищи, наделенные властными полномочиями, не втолковывали мне, что стране сейчас нужны не литераторы, а химики и металлурги.

Ведь выбор профессии – дело такое же личное, такое же интимное, как выбор жены. Не хватало еще, чтобы Государство и в эту – сугубо личную, глубоко интимную область человеческого бытия протянуло свои всеильные щупальцы, чтобы даже и тут оно посягнуло на свободу моего выбора.

А между тем был момент, когда оно таки посягнуло. Я просто об этом забыл.

В 1945 году, когда я кончал десятилетку, кто-то мне сказал, что в МИМО (институт международных отношений) не принимают евреев. Есть, мол, такое указание.

Сообщение это поразило меня в самое сердце.

Я был так этим ушиблен, что даже крикнул родителям:

– Какого черта вы родили меня евреем!

На мать этот мой выкрик, кажется, особого впечатления не произвел. А отец был, по-моему, этой моей выходкой довольно сильно травмирован. Но – промолчал. И вид у него был при

этом какой-то смущенный, даже виноватый, словно и в самом деле была тут у него передо мной какая-то вина.

Самое смешное при этом было то, что в МИМО я поступать не собирался. Ни о каком МИМО и думать не думал. До этого сообщения, которое почему-то так меня поразило, наверно, даже не слышал о существовании такого учебного заведения.

Ушибло же оно меня, я думаю, по той же причине, по которой так больно задело меня когда-то сообщение Колюши Бешеного, что жениться я смогу только на еврейке.

Некоторая разница тут, конечно, была. Но не такая уж существенная. Ведь если бы Колюша сказал мне, что жениться я имею право на ком угодно, кроме, скажем, итальянок, я тоже почувствовал бы себя ущемленным, хотя до этого о женитьбе на итальянке (да и вообще о женитьбе) не думал, ни с какими итальянками знаком не был, да и вряд ли имел шанс познакомиться.

Вот и сейчас, узнав, что путь к дипломатической карьере для меня закрыт, не собираюсь и совсем даже не желая стать дипломатом, я не мог примириться и с таким – чисто теоретическим, не имеющим никакого практического значения – ограничением моих природных, от рождения данных мне прав.

Сообщение о том, что евреев не принимают в МИМО, было первой ласточкой. Сколько еще предстояло мне в жизни услышать таких сообщений!

Государственный антисемитизм вскоре стал бытом, он поразила всю жизнь страны, проник в каждую пору государственно-го (и не только государственного) организма. Словосочетание «пятый пункт» стало таким же расхожим, как в 20-е годы – «лишенец». Появились и другие идиомы, порожденные дискриминационной политикой властей по отношению к «лицам еврейской национальности» («инвалид пятой группы»), анекдоты (заполняя анкету, в графе «национальность» еврей пишет: «да»).

Самым удивительным, пожалуй, тут было то, что после смерти Сталина, в пору хрущевской «оттепели» и позже, когда либерализм хоть и иссякал, но режим явно слабел (вынужден был терпеть «подписантов», чикаться с «диссидентами»), государственный антисемитизм набирал все большую силу, день ото дня становился все жестче и изощреннее.

Вот, например, такая история, рассказанная мне одной моей близкой приятельницей.

Сын ее еще в школе обнаружил выдающиеся математические способности. Закончив школу, он, естественно, хотел поступить на математический факультет МГУ, и мать его в этом поощряла.

Тщетно все друзья и знакомые твердили ей, что предприятие это совершенно безнадежное, что для евреев – даже для подозреваемых в слабой причастности к «пятому пункту» – там установлен совершенно непреодолимый барьер. (Дело было в середине 70-х.) Она на все эти уговоры не поддавалась и твердо решила предоставить своему выдающемуся мальчику возможность схватиться врукопашную с могучей ядерной державой.

Выдающийся мальчик это сражение, конечно, проиграл, хотя из всех предложенных ему на экзамене задач не решил, кажется, только одну знаменитую теорему Ферма.

Но мой рассказ не о нем.

В той же группе, с которой экзаменовался сын моей приятельницы, был еще один выдающийся математик. Не один, конечно, там все были выдающиеся. Но этот был особенно выдающимся, и к тому же он был самый что ни на есть чистопородный русак. Не только с мамой и папой, но и с дедушками и бабушками все у него было в полном порядке.

Приехал он в Москву из какой-то дальней глубинки, чуть ли не из Сибири. Там, у себя, он блистал на всех школьных, районных, областных и прочих математических олимпиадах. А тут вдруг с ужасом обнаружил, что на экзамене – один за другим – сыпятся «звезды», ничуть ему не уступающие, может быть, даже слегка превосходящие его своим столичным математическим блеском.

Он был просто раздавлен, изо дня в день наблюдая, как прославленные профессора-математики, принимающие экзамены, сладострастно топят одного блистательного абитуриента за другим, не жалея ни сил, ни времени, тратя по четыре, а то и по пять часов на каждого.

Несчастный русский мальчик не знал, какая играется тут игра. Он решил, что здесь, в столице, ко всем поступающим предъявляют такие высокие требования. Убедившись, что та-

кой экзамен ему нипочем не выдержать, он забрался на самый высокий этаж высотного здания прославленного Московского университета и кинулся вниз.

Написав сейчас эти три слова – «несчастный русский мальчик» – я вдруг поймал себя на мысли, что слово «несчастный» пришло мне тут на ум не только потому, что так ужасно закончилась его короткая жизнь. Если бы такая история произошла с мальчиком-евреем, я бы, рассказывая об этом, тоже, наверно, назвал его несчастным. Но в этом случае слово «несчастный» было бы плоским, однозначным. А тут у него – более сложный, двойной смысл: суть несчастья не только в том, что он погиб, но еще – и может быть, даже главным образом – в том, что произошла нелепая, ужасная, чудовищная ошибка. Суть в том, что он погиб зазря.

Если бы такое случилось с мальчиком-евреем... Что ж! Еврейскому мальчику это на роду написано. Ужасный конец его был бы, конечно, также ужасен, но – не так драматичен. И вся история была бы вполне банальной. Настолько банальной, что мне даже в голову бы не пришло тут о ней рассказать. Мало ли было таких историй!

Да, историй о наглой, подлой, гнусной дискриминации школьников-евреев, тщетно пытавшихся поступить в разные советские вузы, мне привелось слышать множество. И были среди них совершенно чудовищные. Но – странное дело! – ни одна из них не поразила меня так, как та – первая – ласточка, тот впервые дошедший до меня слух, что евреев не принимают в МИМО.

2

На этой странности, пожалуй, есть смысл слегка задержаться.

Чтобы объяснить ее, мне придется снова – уже в который раз! – забежать вперед, заглянуть в иные, более поздние времена.

Замыслив этот очередной «забег», я подумал, что если бы решил посвятить этой теме отдельную главу, ее можно было бы озаглавить так:

Я БЫЛ АНТИСЕМИТОМ

На самом деле никаким антисемитом я, конечно, никогда не был. А чтобы объяснить, что я имею в виду, начну с сказки.

Сергей Довлатов одно время был литературным секретарем у Веры Федоровны Пановой. И вот однажды произошел у него с ней такой разговор.

Речь зашла о повсеместно обсуждавшемся в те времена непомерно большом количестве евреев в руководстве советского государства на раннем этапе его существования.

– Я, как вы знаете, не антисемит, – сказал Довлатов, – но согласитесь, Вера Федоровна, что во главе такой страны, как Россия, и в самом деле должны стоять русские люди.

– А вот это, Сережа, – ответила Вера Федоровна, – как раз и есть самый настоящий антисемитизм. Потому что на самом деле во главе такой страны, как Россия, должны стоять умные люди.

Этот прекрасный ответ Веры Федоровны (до которого сам я, конечно, никогда бы не додумался) припомнился мне однажды в одной экстремальной ситуации. И, надо сказать, сильно тогда мне помог.

Дело было на заре нашей так называемой перестройки. Союз (я имею в виду не Советский Союз, к которому, впрочем, это тоже относится, а Союз писателей) еще существовал как единое целое: до распада его на несколько противоборствующих оставалось еще целых три года.

Чтобы ускорить этот неизбежный процесс, внутри Союза было создано объединение «Апрель», куда вошли все писатели демократического направления.

Объединение это росло и крепло, вбирая в свои ряды все новых и новых членов. И вот в один прекрасный день «апрелевцы» собрались в Большом зале ЦДЛ для своего учредительного съезда. (Может быть, это называлось как-то иначе, не помню, но для моего рассказа это никакого значения не имеет.)

Зал, вмещающий не менее шестисот человек, был полон. Но не только за счет «наших».

Войдя в зал и бегло окинув его взглядом, я сразу увидел, что в нем слишком много чужих. Не просто незнакомых (давно

уже перестав быть завсегдатаем нашего писательского клуба, я не мог претендовать на то, что всех членов «Апреля» знаю в лицо), а вот именно чужих. Совсем другие какие-то лица. Как мы любили говорить в иные, более ранние времена – из другого профсоюза.

Я сел в одном из задних рядов. На сцене появились «учредители» и объявили собрание открытым. И тут – сперва сзади меня, на балконе, а потом и во всем зале – возник какой-то невнятный шум.

Рядом со мной какой-то убогий остряк произнес классическую фразу:

– Что за шум, а драки нет?

И тут, как сказано в знаменитом рассказе Зощенко, сразу же подтвердилась драка.

В зале мгновенно были развернуты плакаты и транспаранты с антисемитскими лозунгами, и зал забурлил, взорвался.

Командовал всей этой заварухой плотный, коротконогий brunet, оравший с балкона в мегафон:

– Вон отсюда! Убирайтесь в свой Израиль! Здесь мы хозяева, а не вы! Сегодня мы пришли с плакатами, а завтра придем с автоматами!

Я вскочил со своего места и кинулся к центру зала. Там драка была уже в полном разгаре. У какой-то пожилой женщины вырвали из рук фотоаппарат и двинули ее этим фотоаппаратом по лицу. С Анатолия Курчаткина, несмотря на его вполне русопятскую внешность, сбили очки и рассадили ему скулу. Были, как это выяснилось потом, и другие пострадавшие.

Драчунов и активных скандалистов, как я определил на глазок, было человек двадцать. Во всяком случае, не больше тридцати. А чужаков – по меньшей мере треть зала. Большинство из них в заварухе не участвовали: стояли, наблюдали.

Рядом со мной оказались двое таких наблюдателей: худощавый парень лет тридцати и примерно такого же возраста женщина. Женщина была хоть и молодая, но какая-то безликая. Если бы я отвернулся на минуту и на ее месте оказалась другая, я бы, наверное, этой подмены даже не заметил. Единственной запомнившейся мне деталью ее внешности был красовавшийся на ее груди значок с изображением Георгия Победоносца.

Приглядевшись, такой же значок я увидел и в лацкане пиджака ее спутника.

– Ну что? Нравится? – спросил я у парня.

– Это не мы, – быстро ответил он. – Мы в этом не участвуем.

– А зачем вообще вы здесь? Кто вас сюда звал? У нас тут свое, профессиональное собрание. Закрытое, можно сказать. Зачем вы сюда пришли?

Я явно нарывался на скандал. Но ввязываться в ссору парень не пожелал. Он сдержанно, спокойно, я бы даже сказал, подчеркнуто спокойно мне ответил:

– В Ленинградской писательской организации четыреста членов. Две трети из них – евреи. Нас это беспокоит.

Я уже совсем было изготовился вступить в полемику. Сказать, что цифры эти – наверняка лживые. Поинтересоваться, кто сообщил им такую невероятную чушь. Но тут мне, как видно, вспомнился замечательный ответ Веры Федоровны Пановой на реплику Сережи Довлатова, и сказал я совсем другое.

– Лучше бы вас беспокоило, – сказал я, – какой у них там, в Ленинграде, из четырехсот членов Союза писателей процент талантливых, а какой – бездарных.

Уж не знаю, то ли этот мой неожиданный аргумент произвел на них такое сильное впечатление, то ли по каким-то другим причинам не захотели они ввязываться в спор, но на этом наша дискуссия закончилась, и они растворились в толпе.

А я вдруг вспомнил, что сравнительно недавно и сам был прикосновенен к этой уродливой статистике.

Не то чтобы я считал такой подход справедливым или хотя бы просто нормальным, но – во всяком случае – не лишенным некоторых оснований.

Когда в начале 60-х я работал в «Литературной газете», с этой статистикой мне приходилось сталкиваться чуть ли не ежедневно.

– Ну, Бенедикт Михайлович, – нарочито скучающим тоном, бывало, говорил мне верстающий очередной номер наш ответственный секретарь Олег Прудков. – Ну сколько можно об одном и том же... Опять у вас на полосе одни евреи...

– Какие евреи? Где? – вскидывался я.

– Ну вот, поглядите: Гринберг... А рядом – Исбах... Да еще у Булата в плане стихи Шефнера...

– Шефнер не еврей, – огрызнулся я.

– Ну хорошо... Ну, допустим, не еврей, – улыбался Олег. И в этой его иронической усмешке я ясно читал, что такое допущение дается ему с большим трудом. – Но не можем же мы рядом со стихами Шефнера напечатать его метрику.

Самое интересное, что в каждом таком разговоре я чувствовал себя так, словно и в самом деле допустил какую-то промашку, какой-то серьезный профессиональный прокол.

Так оно, в сущности, и было. И при других обстоятельствах я такую промашку ни за что бы не допустил: правила этой гнусной игры были мною уже достаточно хорошо усвоены. Но дело в том, что все мысли мои, когда я предлагал на полосу очередной материал своего отдела, были заняты совсем другой статистикой.

Гораздо важнее – и гораздо труднее – мне было соблюсти необходимый баланс между моими авторами и так называемыми «автоматчиками», как недавно окрестил Хрущев наиболее верных и преданных ему работников литературного цеха.

Понятно, что при этом мне было уже не до того, другого баланса – между евреями и неевреями, который тоже необходимо было строго соблюдать.

Эти две «процентные нормы» не совпадали.

Была у нас тогда на этот счет даже такая шутка. Мы говорили, что советская литература делится на евреев и русских. Евреи – это: Твардовский, Паустовский, Панова, Некрасов... А русские – Эльсберг, Бровман, Дымшиц, Чаковский...

Шутка эта возникла после того, как на страницах нашей газеты появилось какое-то либеральное (тогда говорили – прогрессивное) «Письмо в редакцию», подписанное семью фамилиями, среди которых были как раз вот эти самые: Твардовский, Паустовский, Панова, Некрасов... Через несколько дней появился ответ, подписанный самыми известными в то время черносотенцами. И тут же эта переписка получила в нашем интеллигентском фольклоре соответствующее название: «Письмо Семи» и – «Ответ Антисеми». Вот так и оказались Твардовский с Паустовским и Панова с Некрасовым – «евреями».

Да, шутка.

Но сознание, что водораздел между «своими» и «чужими» проходит именно вот тут, полностью заслонило от меня и прежде не очень-то мне свойственное деление людей на евреев и неевреев.

Был тогда такой – довольно преуспевающий, хорошо вписанный в официальную табель о рангах – писатель: Виль Липатов. Он довольно активно набивался мне – если не в друзья, так в приятели. Но я относился к нему довольно холодно. И вот однажды – в Малеевке – слегка подвыпивший (это было, впрочем, постоянное его состояние), он подсел в столовой к моему столику и сказал:

– Вот ты, Бен, меня не любишь. А у меня – мама еврейка...

– Знаешь, Виль, – ответил я. – У Чаковского не только мама, но и папа был евреем, а я его еще больше не люблю.

Мудрено ли, что при соблюдении необходимого баланса между своими и чужими я постоянно забывал, что верой и правдой служащие режиму Эльсберг, Бровман, Дымшиц, какой-нибудь там Эльяшевич, – что для начальства моего они тоже евреи, и по отношению к ним тоже должна соблюдаться известная процентная норма.

В связи со всеми этими сложностями я допустил однажды совсем уже немислимую промашку, о которой, пожалуй, стоит здесь рассказать.

В какой-то момент наш отдел оказался без шефа. Непосредственного нашего начальника Лазаря Лазарева, который номинально был замом шефа (Бондарева), но на котором держалась вся работа отдела, в конце концов, как мы тогда выражались, «схарчили». А Бондарев – тогда, кстати, очень прогрессивный, – который и раньше в деловом смысле был пустым местом (говоря по-современному, он был нашей крышей) – ушел на вольные хлеба: писать романы. Отдел, таким образом, был обезглавлен, и приходи к нам на роль нового шефа какой-нибудь чужак, на всей нашей деятельности можно было бы поставить крест. (Так оно в конце концов и случилось.)

Главный редактор (главным тогда у нас был Валерий Алексеевич Косолапов) этого решительно не хотел: он считал наш отдел сложившимся сильным коллективом и стремился во что

бы то ни стало его сохранить. Одержимый этими благими намерениями, он дал нам карт-бланш. Вызвав к себе двух-трех активистов, среди которых был и я, он предложил нам, чтобы мы сами выбрали себе начальника, выставив при этом лишь три условия. Во-первых, новый наш шеф должен быть мужчиной (с женщинами, сказал он, всегда какая-нибудь морока: то они рожают, то у них дети болеют, то еще что-нибудь). Во-вторых, разумеется, членом партии. Ну а в третьих, – сказал он в заключение, – конечно, чтобы с пятым пунктом было все в порядке.

Последнее условие, разумеется, нас не ошеломило: мы и сами знали, что с пятым пунктом у нас и без того перебор.

Итак, мы стали лихорадочно искать человека, который удовлетворял бы всем этим трем требованиям. Плюс еще, конечно, четвертому (а для нас – первому): чтобы он был нам своим, «социально близким».

Поначалу нам казалось, что найти такого человека будет трудно. Но вскоре выяснилось, что задачка эта – не из простых: то первый пункт пробуксовывал, то второй, то третий (он же – пятый).

Но в конце концов я его все-таки нашел.

Это был мой старый приятель Володя Шевелев. Он, как мне казалось, подходил нам по всем параметрам. Тем не менее, прежде чем открыть ему наши карты, я на всякий случай уточнил:

– Ты член партии?

– Да, – растерянно сказал он. – А что?

Я объяснил ему, в чем дело, и пригласил для «серьезного разговора».

Серьезный разговор состоялся втроем или вчетвером, и в ходе его выяснилось, что парень для нас – просто находка. Молодой, энергичный. Умница. По образованию – филолог. С небольшим опытом редакционной работы. А главное – абсолютный наш единомышленник.

«Серьезный разговор» близился к финалу, пора было ставить последние точки над *i*. И тут вдруг Володя сказал:

– Да, между прочим... Ребята, а вы знаете, что я еврей?

Это было для нас – как гром среди ясного неба.

Владимир Владимирович Шевелев... Вполне славянская внешность... И вот – на тебе!

– Вот жида! Как воши обсели, – мрачно процитировал кто-то из нас Бабея.

Мы посмеялись.

Но невеселый это был смех.

Особенно тошно было мне. Но вот что самое интересное и ради чего я все это рассказываю! Тошно мне было совсем не потому, что противно (или стыдно) было играть роль, которую с такой легкостью и даже видимым удовольствием брал на себя наш ответственный секретарь Олег Прудков.

Не стыдно было мне, а – досадно, что прекрасная наша за-тея, которая, казалось, была уже так близка к осуществлению, вдруг с треском провалилась.

А ежедневные мои стычки с Олегом все продолжались. И ведя с ним эти наши постоянные разговоры на еврейскую тему, я по-прежнему не испытывал ни малейшей неловкости, ни тени сознания, что, приняв как должное эти правила игры, участвую, между нами говоря, в довольно гнусной процедуре.

Лишь однажды, помню, я взбрыкнул.

– Ну, Бенедикт Михайлович, – с обычной своей гнусенькой улыбочкой начал Олег. – Ну что же это... На одной полосе у вас Каверин и Алексин. А тут еще Булат сует по своему отделу стихи Светлова... Ну куда это годится...

– Олег Николаевич! – вспыхнул я. – Мы ведь не собираемся рядом со статьей Каверина или Алексина печатать их метрики. Это только нам с вами известно, что настоящая фамилия Каверина – Зильбер, а Алексина – Гоберман. Что же касается Светлова, то он, я думаю, и сам давно уже не помнит свою девичью фамилию... Я думал, вы озабочены тем, чтобы газета наша не слишком пестрела еврейскими фамилиями. А дело-то, выходит, не только в фамилиях! Вы, оказывается, расист!

Олег Николаевич с той же своей улыбочкой быстренько превратил все это в шутку. И на какое-то время поутих.

А однажды мне самому пришлось выслушать довольно резкую отповедь на эту тему, выступив в той же роли, в какой постоянно выступал передо мною Олег Николаевич Прудков.

Отделом поэзии в нашей газете тогда заведовал Булат. До

него – короткое время – Валя Берестов. А до Вали стихами какое-то время занимался я.

Это давно уже перестало быть моей обязанностью: я заказывал, редактировал и предлагал на полосу только статьи. Но по старой памяти, а также и потому, что Булат часто отсутствовал, ко мне шли со своими стихами и поэты. И некоторые – из числа тех, которые, как любил выражаться наш шеф Юра Бондарев, мне «легли на душу», – я нередко доводил до печати. (Так бывало со стихами Слуцкого, Винокурова, ну и, конечно, Коржавина, стихи которого изо всех сил проталкивали на полосу мы все, всем нашим отделом.)

И вот однажды явилась ко мне со своими стихами немолодая (немолодая по тогдашним моим меркам, на самом деле ей было, я думаю, едва ли больше сорока), близорукая, сутулая, какая-то, я бы даже сказал, прибитая женщина. Лицо ее было мне знакомо, и, поговорив с ней немного, я догадался откуда: она работала библиотекарем в нашей цэдээловской библиотеке, куда я уже тогда частенько захаживал.

Звали ее Лиля Наппельбаум.

Стихи ее были неяркие, но подлинные, живые. И конечно, их надо было бы напечатать.

Как говорится, при прочих равных условиях они даже выделялись бы на том унылом фоне, какой составляла основная масса стихов, появлявшихся на страницах тогдашней (впрочем, и не только тогдашней) «Литгазеты».

Но откуда было их взять – эти равные условия?

Во-первых, стихи Лили были нетрадиционные: то ли белый стих, то ли верлибр. Пришлось бы долго и безуспешно доказывать начальству, что такие стихи тоже имеют право на существование. Добро бы еще у автора было какое-никакое литературное имя. Этим тоже козырнуть тут было невозможно. Да ко всему еще эта несомненно еврейская фамилия...

В общем, дело было безнадежное, и я отложил стихи Лили Наппельбаум в самый долгий ящик, до лучших времен: при случае покажу их как-нибудь Булату, и если ему они понравятся, может быть, вдвоем, общими усилиями, мы и протолкнем два-три стихотворения на полосу.

Время от времени, перебирая бумаги, лежащие в этом мо-

ем «долгом ящике» и наталкиваясь на стихи Лили Наппельбаум, я чувствовал легкий укол совести: вот, мол, сколько времени они уже у меня тут маринуются, а я даже и пальцем не шевельнул, чтобы попробовать их напечатать. Но тем обычно дело и кончалось.

И вот однажды заглянул ко мне Сережа Наровчатов. Едва поздоровавшись, уселся напротив моего стола и сурово спросил:

– Что там у вас происходит со стихами Лили Наппельбаум?

– Да ничего не происходит, – смущенно ответил я...

Но тут, наверное, мне придется опять слегка отступить от основной линии повествования, чтобы сказать несколько слов о Наровчатове. Не о нем вообще, а о том, каким он был в описываемое мною время.

Случилось так, что помнят у нас не того Наровчатова, который приходил ко мне в «Литгазету» заступаться за Лилию Наппельбаум, а совсем другого. Не «Сережу», а – «Сергея Сергеевича», первого секретаря Московской писательской организации, главного редактора «Нового мира». Не влюбленного в поэзию рафинированного эстета и библиофила, а партийного функционера, отъезвшего свиноподобную ряшку, неотличимую от морд других таких же партийных функционеров, а для полного торжества мимикрии научившегося даже произносить ключевые партийные слова («социализм», «коммунизм») так, как это было принято в их среде: «социализьм», «коммунизьм».

Помню, когда его сделали первым секретарем Московской писательской организации и он держал свою «тронную речь», он сказал:

– Перед тем как принять этот пост, я беседовал с одним крупным политическим деятелем. И я сказал ему, что хочу быть не первым среди равных, а равным среди первых.

Я плохо понял тогда, что он имел в виду, хотя понять было нетрудно. Он хотел сказать, что, может быть, впервые на этот высокий чиновничий пост назначают истинного поэта, каким он – не без некоторых оснований – себя считал. Но меня тогда поразило другое: как серьезно относится он и к этому свое-

му назначению, и к тому, кого назвал крупным политическим деятелем. (Как потом выяснилось, это был Гришин: тот еще политический деятель.)

Беда была, конечно, не в том, что он, как сказано (не про него) в одной песне Булата Окуджавы, «выбился в начальство», а в той – при таком повороте судьбы, наверное, неизбежной – деформации души, которая превратила его, в сущности, в совсем другого человека – не того, каким он был раньше.

Как раз в ту пору, когда он уже становился начальством, мы – втроем (Лазарь Лазарев, Стасик Рассадин и я) – сочинили на него пародию. Поводом для нее стало его стихотворение, патетически озаглавленное – «Ты не русская!». Речь в нем шла о девушке, которая разлюбила автора (лирического героя) – и это обстоятельство вменялось автором ей в вину, сопоставимую чуть ли не с изменой Родине.

Там – в этом его стихотворении – были такие строки: «Разлюбила? Бросаешь? Что же раньше думала ты?.. Не со мной расстаешься, со всеми...» Они стали эпиграфом к нашей пародии.

Сама же пародия называлась «Ты не наша» – и выглядела так:

От меня вечер Анфиса уходила прочь,
Царь-девица, дева-пава, девица-краса.
И смежить до самой зорьки было мне невмочь
Все видавшие на свете синие глаза.
Иль задаром я секирой, пикой, бердышом
С озорною татарвою бился бесперечь?
Иль задаром я Кучума гнал за Иртышом?
Матка Боска Ченстоховска, Посполита Речь!
Я не аггел, я не ангел и не агнец тож.
Я ватажник, я дружинник и Отчизны сын.
От меня уйдя, иуда, ты навек уйдешь
От червленных наших стягов и родных осин.
От Крылова, Михалкова, Цезаря Кюи,
От безгрешной Ярославны и от чад ее...
Проклинаю, свет-Анфиса, рученьки твои!
Чужеземное, не наше, имечко твое!!!

Пародия эта (в числе других) вот-вот должна была появиться в одном почтенном журнале, мы даже уже читали верстку,

и тут – на нашу беду – один из нас (Лазарь), столкнувшись где-то с Наровчатовым, сказал ему:

– А мы на тебя пародию написали!

При этом он – в общих чертах – изложил ему, куда именно направлено жало нашей художественной сатиры, и просто-напросто поведал, в каком журнале и когда пародия выйдет в свет.

Отнестись к этому сообщению можно было по-разному.

Можно было просто посмеяться, признавшись, что да, действительно, дал повод.

Можно было возразить, сказав, что никакого повода для таких разоблачений он не давал: дело, мол, ваше, ребята, но я считаю, что вы попали пальцем в небо.

Можно было, наконец, обидеться, надуться. Даже попросить нас, чтобы мы эту пародию не публиковали.

Сергей выбрал четвертый путь, более соответствующий его новому социальному статусу.

Ничего в ответ на сообщение Лазаря не сказав, он позвонил – то ли в ЦК, то ли главному редактору журнала – и бедная наша пародия была вынута из уже сверстанного номера, а нам было сделано соответствующее внушение, чтобы мы впредь, сочиняя наши «пасквили», старались не задевать высокое (и даже не слишком высокое) начальство.

Потрясенные (не слишком, но все же) этим предательством, мы слегка посудачили на тему: «во что превратился Сережа». Ведь мы знали его совсем другим.

Совсем еще недавно по Москве ходила шуточная (рукописная) поэма, героем которой был молодой поэт, приехавший из провинции завоевывать столицу, и были там – в перечне его первых столичных успехов – такие строчки:

И впервые тогда Наровчатов
Попросил у тебя пять рублей.

Кто бы мог подумать, что Сережа Наровчатов, этот «гуляка праздный», этот «Моцарт», вдруг так резко изменит свой, как теперь говорят, имидж и надуется начальственной спесью.

Но тут я вспомнил: когда я учился на первом курсе Литин-

ститута, старшекурсники со смехом рассказывали, что Сережа Наровчатов, взятый на работу в ЦК ВЛКСМ (инструктором), с важностью говорил, что по питанию они (инструкторы) «приравнены к секретарям ЦК». Поэтому, когда – через год – отменили карточную систему, какой-то институтский остряк схохмил, что теперь нас всех «приравнивали к Наровчатову».

Эти мои воспоминания привели нас к мысли, что поразившая нас наровчатовская метаморфоза была не такой уж неожиданной. «Меньшевицское прошлое Троцкого, – резюмировал кто-то из нас расхожей ленинской цитатой, – не случайно».

Сам Наровчатов знал за собой этот грех и однажды сделал даже попытку найти его истоки:

Много злата получив в дорогу,
Я бесценный разменял металл,
Мало дал я Дьяволу и Богу,
Слишком много Кесарю отдал.

Потому что зло и окаянно
Я сумы боялся и тюрьмы.
Откровенья помня Иоанна,
Жил я по Евангелию Фомы.

А ведь в то время, когда были написаны эти строки (где-то между 1954-м и 1956-м), он еще далеко не все (да, в сущности, и не так уж много) «отдал Кесарю».

Самое страшное с ним случилось позже.

Как пел в одной из своих песен Александр Галич:

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни в никуда, а другие в князья...

В конце 60-х – начале 70-х Наровчатов уже навсегда ушел «в князья».

Но в тот день, о котором я рассказываю, ко мне в «Литгазету» приходил не князь, а тот самый Сережа Наровчатов, которого за несколько месяцев до этого визита притащил к нам Эмка Мандель и чуть ли не силой заставил прочесть только что им написанное замечательное стихотворение «Пес, девчонка

и поэт», о котором тогда даже и подумать нельзя было, что его удастся напечатать.

И вот он сидит передо мной, никакой не «князь» и даже не Сергей Сергеевич, а просто Сережа, не имеющий надо мной никакой власти. И сурово, требовательно спрашивает:

– Ну, что там у вас со стихами Лили Наппельбаум? Долго еще вы собираетесь их мариновать?

И я смущен и растерян куда больше, чем если бы ко мне с этим вопросом обратилось самое высокое мое начальство.

Я мнусь, оправдываюсь. И среди разных других сомнительных оправданий произношу такую фразу:

– Понимаете, Сережа, уж очень у нее фамилия нехорошая...

– Фамилия у нее, – отвечает Сережа, – как раз очень хорошая.

И он рассказывает мне об отце Лили – замечательном фотографе-художнике Моисее Соломоновиче Наппельбауме. Вспоминает знаменитые его работы – портреты Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Мейерхольда. Сообщает даже такой поразительный факт: портрет Блока работы Наппельбаума был – можете себе представить? – выставлен среди икон на иконостасе храма, настоятелем которого был основатель «Живой церкви» митрополит Александр Введенский.

В начале 20-х в доме Наппельбаумов был знаменитый на весь Петроград литературный салон, хозяйками которого были старшие сестры Лили – Ида и Фредерика. Весь цвет тогдашнего литературного Петербурга бывал на этих «понедельниках у Наппельбаумов», как их тогда называли: Сологуб, Кузмин, Ахматова, Ходасевич. Там впервые прочел свои баллады молодой, никому еще не известный Николай Тихонов, читал ранние свои стихи приезжавший в Питер из Москвы Борис Пастернак.

Старик Наппельбаум даже издал то ли журнал, то ли альманах – под названием «Город». Предполагалось, что это будет постоянный периодический орган наппельбаумовского салона. Но вышел только один-единственный номер. Там были стихи молодого Тихонова, мало кому известного Константина Вагинова, трагедия Льва Лунца «Бертран де Борн». Да-да, того самого Льва Лунца, который написал манифест «Серапионов» и которого злобно поминал Жданов в том знаменитом своем докладе.

Сейчас этот альманах – величайшая библиографическая редкость. Но у него, у Сережи, в его библиотеке, он есть.

Помимо этого альманаха старик издал две книжечки стихов своих старших дочерей – Иды и Фредерики. Обе они были любимыми ученицами Гумилева. Несколько строк из стихотворения Иды, посвященного памяти погибшего учителя, Сережа тогда мне прочел. Воспроизвожу их так, как они мне запомнились:

Ты правил сурово, надменно и прямо,
Твой вздох – это буря, твой голос – гроза.
Пусть запахом меда пропахнет та яма,
В которой зарыты косые глаза.

– Да, старшие Лилины сестры были талантливы, – сказал Сережа. – Но и младшая – Лиля – тоже не новичок в поэзии: стихи пишет всю жизнь. И стихи хорошие, ведь правда же? Вот ведь вы же сами сказали, что индивидуальные, ни на кого не похожие...

Смущенно слушал я этот долгий Сережин монолог (лучше сказать – выговор). Несколько раз пытался прервать его, объяснить, что назвав фамилию «Наппельбаум» нехорошей, я имел в виду всего лишь нынешнюю обстановку, отношение моего начальства к еврейским фамилиям, все эти гнусные «правила игры», по которым мы живем и с которыми, увы, вынуждены считаться.

Но Сережа в том же жестком и безапелляционном тоне дал мне понять, что ни сам не собирается считаться с этими правилами, ни мне не советует.

И тут – кажется, впервые за все время моей работы в газете, – мне стало стыдно.

Стыд этот был мимолетный: он быстро улетучился, растворился. Я, помнится, даже вспоминал потом этот наш разговор с некоторой обидой на Наровчатова: хорошо, мол, ему из себя целку строить. Он ведь ни за что не отвечает – пришел, ушел... А я день за днем варюсь в этом котле, дышу его ядовитыми испарениями, вот и принюхался к этому смрадному вареву...

Самое интересное, что в том моем разговоре с Сережей На-

ровчатовым мне даже в голову не пришло сослаться на мое собственное положение, которое, в отличие от Сережиного, было немногим лучше, чем положение Лили Наппельбаум.

Меня, правда, в моей родной газете печатали легко и свободно: никакой дискриминации, никакого ущемления моих прав и возможностей, связанных с моей еврейской национальностью, я не ощущал. И было это, я думаю, не только потому, что я был «в штате» (хотя это тоже имело значение, и немалое).

Я не испытывал в этом смысле особых трудностей скорее всего потому, что натуральная моя фамилия была не кричаще еврейской. Скорее, даже нейтральной. Будь я Финкельштейном или Рабиновичем, вопрос о псевдониме наверняка бы встал. Пришлось же моему другу Лазарю Шинделю, начавшему свою работу в газете гораздо раньше, чем я, стать Лазаревым. И это несмотря на то, что, в отличие от меня, он был участником (даже инвалидом) войны и членом партии. (Эти его анкетные данные тоже ведь нельзя было всякий раз приводить на газетной полосе, печатая очередную его статью.)

Да, с выходом на газетную полосу у меня никаких проблем не было.

То есть, что я говорю: были, конечно! Но эти проблемы всегда были связаны с содержанием (а иногда и с формой) моих сочинений, а никак не с моей – не вполне русской – фамилией.

Из этого, однако, вовсе не следует, что никаких проблем, связанных с моей принадлежностью к гонимому народу, у меня не было вообще.

После окончания института я не мог устроиться ни на какую – самую скромную – штатную работу. И прекрасно знал – почему.

А осенью 52-го года тоненький ручеек графоманских рукописей, которые давали мне (по ходатайству Веры Васильевны Смирновой) в издательстве «Советский писатель» на рецензирование, тоже вдруг стал высыхать, а к концу года совсем иссяк. И я тоже, конечно, прекрасно знал, почему это произошло.

После смерти Сталина, когда «жидивська вера полегчила», мое положение – сперва в «Пионере», а потом в «Литгазете» – вполне меня устраивало.

Но пожелал бы я хоть на шагок, хоть на одну ступеньку продвинуться по социальной лестнице вверх, мое еврейство сразу дало бы себя знать. Во всяком случае, его пришлось бы чем-то компенсировать: вступлением в ряды КПСС, например. А может быть, даже чем-нибудь и похуже.

К счастью, таких поползновений у меня не было.

Когда я сватал в начальники себе и всему нашему отделу Володю Шевелева, мне даже в голову не пришло, что мои коллеги могли бы предложить на эту должность меня. Я был еврей и к тому же беспартийный. Стало быть, не соответствовал не одному, а целым двум условиям из трех.

Ну, нет – так нет. И не надо. Тем более что быть начальником я и не хотел. Всю жизнь я хотел только одного: писать что хочу и печататься.

О том, чтобы писать и печатать «что хочу», можно было, конечно, тоже только мечтать. Но тут мне мешало отнюдь не мое еврейство. Тут, как говорил Остап Бендер, надо было «устранить причину». (То есть – советскую власть.)

К этой теме я, наверно, не раз еще буду возвращаться.

Пока же только отмечу, что если не считать той давней, юношеской моей реакции на обрушившееся на меня известие о том, что евреев не принимают в МИМО, за всю последующую мою жизнь я ни разу больше не посетовал на то, что мне выпало родиться евреем.

«Мне, с моим местом рождения, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влечениями не следовало родиться евреем», – жаловался Горькому Борис Леонидович Пастернак.

Снова, уже во второй раз на этих страницах вспомнил я это признание любимого мною поэта не для того, конечно, чтобы судить его, а чтобы разобраться в своих собственных чувствах и ощущениях. Вспомнил по прямой ассоциации с той злополучной фразой, которую я кинул тогда родителям:

– Какого черта вы родили меня евреем!

Вижу растерянное, сконфуженное лицо отца. И хочу сказать ему, чтобы он забыл об этом дурацком эпизоде. Что я был тогда мальчишкой. Что этим вырвавшимся у меня глупым словам он не должен придавать никакого значения. Что всерьез

я, конечно, этого никогда бы не сказал. Что за всю свою последующую жизнь я никогда, ни разу...

При жизни отца у меня и в мыслях не было, что можно заговорить с ним на эту тему, объясниться... Может быть, попросить прощения...

Если бы такая мысль у меня вдруг даже и явилась, я бы, наверное, просто рассмеялся – такой нелепой она бы мне показалась.

А сейчас это странное желание у меня вдруг возникло.

Но поздно, поздно...

3

Сказав, что после этого случая я больше никогда, ни разу в жизни не посетовал на то, что мне выпало родиться евреем, я не соврал. И даже не соврал, давая понять, что пресловутый «пятый пункт» на протяжении всей моей жизни не так уж мне и мешал.

Из сказанного, однако, вовсе не следует, что не было в моей жизни (как и в жизни каждого моего соплеменника) минут, когда бы я всей кожей не чувствовал, что это значит – быть евреем «в такое время на земле».

Ну а уж 13 января 1953 года, прочитав опубликованное в «Правде» сообщение ТАСС о врачах-убийцах, я всей кожей ощутил горячее дыхание дракона, уже разинувшего свою огнедышащую пасть, чтобы проглотить меня целиком, со всеми моими потрохами.

Сейчас я уже плохо помню, как прочел это сообщение в утренней газете, поделился ли с кем-нибудь своими ощущениями. Не помню даже реакцию отца, с которым мы обычно обсуждали все события такого рода. Может быть, только молча переглянулись: все было понятно без слов.

Зато я хорошо помню рассказ об утре этого рокового дня, который услышал – лет десять спустя – от своего приятеля, известного театрального критика Кости Рудницкого.

Очень рано, чуть ли не на заре раздался в его квартире телефонный звонок. Сняв трубку и произнеся традиционное «я слушаю», Костя узнал голос своего приятеля, известного мос-

ковского репортера Наума Мара, которого злые языки наградили прозвищем – «Трижды еврей Советского Союза». (Прозвали его так потому, что подлинная фамилия его была – «Мармерштейн», то есть она как бы включала в себя аж целых три еврейские фамилии.) Помимо этого прозвища Мар был знаменит бурным темпераментом и неумением держать язык за зубами.

Опасаясь, что «трижды еврей» наговорит сейчас много лишнего (он почти не сомневался, что его телефон прослушивается), Костя решил держаться с ним сухо, даже холодно, и, уж само собой, ни в какие обсуждения газетных новостей ни в коем случае не вступать.

Но мудрое это решение ему не помогло.

– Костя! Ты уже читал газеты? Что ты молчишь? Сообщение про врачей читал? – сразу взял быка за рога «трижды еврей».

Деваться было некуда: ответишь, что не читал, тот начнет пересказывать и, разумеется, комментировать. Уж лучше сказать, что читал.

– Читал, – сдержанно ответил он.

– Я надеюсь, ты понял, что это значит?

– Да, конечно, – также сдержанно ответил Костя.

– Что, конечно? Что ты понял? Я вижу, что ничего ты не понял. Так вот, Костя! Слушай меня внимательно!.. Ты должен вести себя так, как будто к тебе все это никакого отношения не имеет.

– Но ведь это и в самом деле никакого отношения ко мне не имеет, – сказал Костя, стараясь, чтобы его ответ звучал как можно простодушнее.

– Слушай, Костя! – разозлился «трижды еврей». – Не валяй дурака! Ты ведь прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Так вот: заруби, пожалуйста, себе на носу! Ты должен вести себя так, как будто тебя все это совершенно не касается. Как будто к тебе лично, – повторяю, к тебе лично, – это никакого отношения не имеет. Ты меня понял?

При мысли, что этот идиотский диалог кто-то (не просто «кто-то», а известно, КТО!) слушает, у Кости по спине потекла струйка холодного пота.

– Но ведь ко мне лично все это действительно... – снова начал он.

Договорить ему не удалось. На него обрушился такой поток ругательств, обвинений в слепоте, идиотизме, непонимании, где он живет и что вокруг него происходит, а также многословных раздраженных объяснений, чем это непонимание ему грозит, что он не нашел в себе сил продолжать этот разговор и в смятении повесил трубку. На душе у него было муторно. Он почти не сомневался, что эта история наверняка будет чревата для него самыми дурными последствиями.

Но, слава богу, пронесло. То ли подслушка плохо работала, то ли у слушающих руки до всех не доходили.

Рассказывал мне Костя эту историю, как говорится, в тоне юмора. Мара я хорошо знал (в начале 60-х, то есть как раз в то самое время, когда я услышал этот Костин рассказ, он вместе со мной работал в «Литературной газете»), поэтому для меня вся эта, надо сказать, очень талантливо изображенная рассказчиком сцена имела еще и свою, особую, дополнительную прелесть.

Мы вдоволь посмеялись над недотепой Маром. Потом вспомнили веселый стихотворный итог, который вскоре (после реабилитации врачей) подвел этим мрачным событиям талантливый наш народ-языкотворец:

Дорогой товарищ Вовси,
Друг ты наш и брат,
Оказалось, что ты вовсе
И не виноват.

Дорогой товарищ Коган,
Кандидат наук!
Виновата эта погань –
Лидка Тимашук...

Дорогой товарищ Фельдман –
Ухо-горло-нос.
Ты держался, словно Тельман,
Идя на допрос.

Попытались вспомнить еще какие-то куплеты этой замечательной народной песни, но, так и не вспомнив, удовольствовались этими. В общем, веселились напропалую.

Но было в этом нашем веселье что-то – не то чтобы нарочитое, нет, веселились мы искренне, от души... И тем не менее было при этом у меня такое чувство, что Костя словно бы нарочно выпячивал комическую сторону этой своей истории. Он словно бы заслонялся, загораживался смехом от пережитого им тогда ужаса.

Ведь сколько угодно мог он уверять себя – и других тоже, – что к нему, к нему лично вся эта история никакого отношения не имеет. Но ведь знал, что имеет. И все вокруг тоже знали, что имеет – и не только к нему, к Косте, театральному критику, в сорок девятом причисленному к космополитам, но и ко мне, мальчишке, ни в чем таком на замешанному, этот разоблаченный заговор врачей-вредителей тоже имеет самое прямое, самое непосредственное отношение.

О том, что где-то там, на востоке, для нас уже выстроены бараки, что даже точно подсчитан процент тех, кто доедет до этих бараков живыми и тех, кто погибнет в пути, – обо всем этом я, конечно, не знал. Да что – я! Многие из тех, кто был поумнее и поосведомленнее меня, тоже не знали, затронет ли дальнейшее развитие событий всех «лиц еврейской национальности» или в водоворот грядущих бедствий будут втянуты лишь некоторые – наиболее заметные. И искренне надеялись, что им – не таким уж заметным, – может быть, бог даст, как-нибудь удастся уцелеть.

Но я почему-то сразу решил, что на этот раз мне не вывернуться.

Сразу почему-то вспомнилось, как старик Федоров, чудом уцелевший в сталинских чистках старый большевик, живущий в квартире над нами, таинственно сообщил дружившей с моими родителями соседке, что к нему навещался сотрудник МГБ и расспрашивал его про меня. Это было, конечно, связано с моими комсомольскими делами, а в комсомоле я был давно восстановлен. Но ведь это не важно. Важно, что я у них на заметке...

И еще одна, совсем уж идиотская история, в которую я по

дурости вляпался и про которую совсем было уже забыл... Я-то забыл, а ОНИ... Они, конечно, не забыли. Где-то она там у них ведь лежит дурацкая та бумажка...

В историю эту меня впутал мой школьный товарищ Ленька Рапутов. Познакомились мы с ним еще в Серове, в эвакуации: учились в одном классе. Вернувшись в Москву, он меня разыскал и даже выразил желание перевестись в мою школу, чтобы и тут мы тоже были вместе. И не только выразил желание, но и осуществил этот план, и каждый день ездил со своей Второй Мещанской к нам, сюда, на Малую Дмитровку, в Успенский переулок, только чтобы опять оказаться в одном классе со мною.

И вот как раз тогда, то есть в сорок пятом, – или годом позже, в сорок шестом, – явился он ко мне однажды с такой идеей. В ГОСЕТе – то есть в Государственном Еврейском театре – есть, оказывается, замечательная библиотека, где много разных интереснейших книг, повествующих об истории и культуре еврейского народа. Он, Леня Рапутов, два каких-то его приятеля и с ними еще две девчонки пытались туда проникнуть, но им сделали от ворот поворот: записаться в библиотеку могли только сотрудники театра.

Но не такой человек был Леня Рапутов, чтобы вот так вот просто отказаться от своей блестящей идеи. Он сочинил письмо – что-то вроде заявления – на имя художественного руководителя театра народного артиста СССР Соломона Михайловича Михоэлса. Текста этого письма я сейчас уже не помню. Помню только, что начиналось оно так: «Мы, группа еврейской молодежи...» Ну, а дальше там говорилось, что мы хотим изучать историю и культуру своего народа и поэтому просим разрешить нам ходить бесплатно на спектакли ГОСЕТа, а также записаться в эту замечательную их театральную библиотеку.

Я сказал Леньке, что меня вся эта бодяга совершенно не интересует.

Еврейские эти дела и в самом деле меня не интересовали. Ни меня, ни других моих друзей и приятелей, хотя, как я теперь понимаю (тогда я этого просто не замечал), евреев среди них было немало. Но это были совсем другие евреи, не такие, как Ленька Рапутов.

Чтобы не вдаваться в долгие объяснения, расскажу лучше

короткую историю, которую услышал от одной моей сверстницы (еврейки, конечно) много лет спустя.

У них дома был телефон. А у ее подруги Марины, жившей этажом выше, телефона не было. И у них было условлено, что в некоторых экстраординарных случаях ей будут звонить с просьбой передать какую-то срочную информацию Марине. Что она охотно и выполняла.

И вот однажды ей позвонили и говорят:

– Здравствуйте! Извините меня, пожалуйста! У меня к вам такая просьба... Это говорит дядя вашей подруги Мариночки... Я сегодня приехал из Киева... Вы, конечно, знаете, что сегодня сейдер. Так вот, передайте, пожалуйста, Мариночке и ее родителям, что мы сегодня вечером их ждем. Только не забудьте, пожалуйста. Именно сегодня! Ведь сегодня сейдер...

Незнакомое ей слово «сейдер» (она понятия не имела, что так называется первый вечер еврейской Пасхи) он повторил несколько раз, и она хорошо его запомнила. Но поняла по-своему. И всю эту информацию передала подруге так:

– Маринка! К твоим родственникам приехал из Киева твой дядя Сейдер. Просил передать, что они сегодня ждут тебя с родителями к ним в гости.

Такие вот еврейские мальчики и девочки были в моей компании. И сам я был таким же.

Да и сама мысль о моей принадлежности к еврейской нации в то время мало меня занимала.

Кстати, о самом этом слове – «нация».

Только что, читая мемуары моего друга Эмки Манделя, я наткнулся там на одну любопытную подробность, пробудившую в моей памяти целый пласт воспоминаний.

В то самое время, о котором я сейчас рассказываю, Эмка познакомился с неким Григорием Львовичем Наглером. Тот был родом из Черновиц, когда-то относившихся к Австро-Венгрии, – потому и жил потом в Вене (пока не эмигрировал в СССР).

Несмотря на то что его загребли в «ежовщину» (при Берии выпустили), он оставался несокрушимым коммунистом, коминтерновцем и даже твердо верил в абсолютную правоту

Сталина. Во всех вопросах, кроме одного, — человек еврейского происхождения, он никак не мог согласиться с положением «классического» сталинского труда «Марксизм и национальный вопрос», что евреи не нация. Когда разговор заходил на эту тему, он приходил в ярость и сопротивлялся как лев.

Прочитав это, я вдруг вспомнил разговоры на эту тему, которые постоянно тогда вели родственники моих родителей, друзья и знакомые моего отца. Все они почему-то были очень больно задеты этим «классическим» сталинским положением. Даже мой отец, который, как мне тогда казалось, к своему еврейству относился довольно-таки равнодушно, и тот, когда разговор заходил на эту тему, обиженно повторял:

– Мы дали им Иисуса Христа! Мы дали им Маркса! И вот, оказывается, мы – не нация!

Я вступал с ними в споры, доказывал, что ничего обидного для евреев в сталинском определении нет. Это ведь – наука, объяснял я им. Научный, так сказать, медицинский факт. И никакие эмоции тут ни при чем. Нация – это исторически сложившаяся общность людей, говорящих на одном языке и живущих на одной территории совместной экономической жизнью. Ни один из этих трех признаков сам по себе не определяет нацию: только все они в совокупности, взятые вместе, «дают нам нацию», как совершенно правильно учит нас товарищ Сталин.

Во всю эту белиберду я тогда, в общем-то, верил. Но дело было даже не в этой моей вере. И не в том, что Сталин в этих вопросах был для меня таким уж высоким авторитетом. Читая его полемику с Отто Бауэром (нам по программе полагалось все это читать), я не слишком вдумывался в систему его аргументов. Как заметил Эрнст Неизвестный (эту великолепную его формулу я однажды уже цитировал), о Марксе мы узнавали от Ленина, а о Дюринге – из «Анти-Дюринга». Вот и об Отто Бауэре я знал только то, что узнал о нем от Сталина. И мне даже в голову не приходило, что ведь можно же заглянуть и в самого Бауэра, чтобы самостоятельно, собственным, так сказать, умом разобраться в том, кто из них прав: Отто Бауэр или Сталин.

Такая мысль не могла тогда мне прийти в голову, конечно, по разным причинам. Но не последнюю роль тут играло и то обстоятельство, что меня совершенно не волновала сама эта проблема. Ну, пусть себе считают, что евреи – не нация. Не все ли равно?

Должен сказать, что точно так же совершенно не задело меня вычитанное где-то – и тоже почему-то очень возмущившее моего отца – предположение, что нынешние, современные евреи вовсе не являются потомками тех, древних. Что скорее они ведут свое происхождение от разных этнических групп, в разное время и по разным причинам оказавшихся в сфере влияния иудаизма.

По правде говоря, все это и сейчас меня, как говорит современная молодежь, *не колышет*.

И даже более того. Когда я слышу, как какой-нибудь из моих соплеменников с важностью говорит о своей принадлежности к Народу Книги (имеется в виду Библия), меня так и подмывает задать ему глумливый вопрос: а сам-то ты заглядывал в эту Книгу? И если даже заглянул, то – давно ли?

Сравнительно недавно, уже в новые, наши, «перестроечные» времена, попала мне как-то на глаза статья Юрия Карачиевского как раз вот на эту тему.

Напечатана она была в «Московских новостях», на постоянной полосе этой газеты, из номера в номер повторяющей три традиционные рубрики («В мире», «В стране», «Во мне»), под рубрикой – «Во мне». Речь в ней, стало быть, шла о том, что происходило «в нем», в ее авторе.

Но, как оказалось, – и во мне тоже.

Называлась эта статья – «История с географией».

О том, какую географию имел в виду автор, говорили стоящие под ней названия двух городов: «Иерусалим – Москва».

А история была такая.

Шел он (Юрий Карачиевский) однажды мимо Кремля и живо представил себе, как с этих вот зубчатых стен (или других, белокаменных, а может быть, даже и деревянных) «льют смолу-кипяток на татарско-печенежских захватчиков наши добрые в красных кафтанах молодцы». И вдруг он с необыкновенной остротой почувствовал:

Я почувствовал, что столь важное для меня понятие «Россия» ограничено для меня и временем, и системой знаков, и вот эти лившие кипятком и смолу явно не мои — чужие предки, и не чувствую я по отношению к ним никакого сродства, ни особой жалости, ни особой гордости. Они мне не ближе, и важны и интересны не больше, чем какие-нибудь саксы, защищавшие Англию от десанта норманнов.

А потом он попал на другую свою, как принято говорить в таких случаях, **историческую** родину:

Целый год я жил в удивительной, ни на что не похожей стране, где никто не мог сказать: «Давай проваливай, это все не твое, это все — наше!» — а напротив, все наперебой говорили: «Оставайся, приезжай насовсем, это — твое!» — «А как же предки?» — «Ну, с этим здесь полный порядок». И показывали мне развалины крепости, где наши будто бы общие с ними предки почти две тысячи лет назад три года защищались от римских захватчиков. Скала шестьсот метров в длину, пятьсот в высоту, три часа подниматься, если пешком, целый час спускаться. Девятьсот человек моих предков — против скольких-то там десятков тысяч осаждавших и нападавших. А когда стало ясно, что те все равно их захватят, и распнут мужчин на крестах, и детей отдадут в рабство, а женщин — солдатам, они разделились на десятки и бросили жребий, и кому выпало — тот заколол остальных, а потом оставшиеся сделали так же, и последний сам покончил с собой...

И я стоял на огромной скале и живо представлял себе тех людей, героически убивавших своих детей и родителей, и грешно сказать, но и к ним тоже не чувствовал никакого сродства и не верил, что они хоть в каких-то чертах могут иметь ко мне отношение.

Тут надо сказать, что Юрий Карабчиевский вообще-то ощущал себя евреем гораздо в большей степени, чем я. (Сужу об этом по его автобиографической прозе.) И вот оказалось, что в нем происходило то же, что и во мне:

...Поздно мне менять принадлежность, вот так вдруг ее не почувствуешь. И вообще нет ее у меня ни в каком отдаленном прошлом, нет у меня родословной и уже не появится. А самое главное — мне ее не надо, даром будут давать — не возьму. Не свои мне ни дружинники в кольчугах, стрельцы в кафтанах, ни те полуголые мужики с ножами-кинжалами, никто мне из них не друг и никто не родственник. Вся моя принадлежность — лишь в настоящем и ближайшем прошлом. И если сейчас она распадется, растворится во всеобщем российском хаосе, то и останусь я, значит, один, вне истории и географии.

– А вот тут, батенька, мы вас и поправим, – хочется обрвать мне этот монолог словами Ленина Сталину из известного анекдота.

Сказав несколькими строчками раньше, что происходившее во мне в точности совпадало с тем, что происходило в авторе этой статьи, я, как видно, слегка поторопился.

Положа руку на сердце, я не могу сказать о себе, что «вся моя принадлежность лишь в настоящем и ближайшем прошлом». Какая-никакая «родословная» у меня все-таки есть.

Понял я это (лучше сказать – почувствовал) в начале 60-х, когда мы с женой и маленьким сыном въехали в первую в нашей жизни отдельную квартиру.

Все новоселы только что выстроенного нового нашего кооперативного дома стали спешно обставляться новой мебелью. Ну и, конечно, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Моя жена объявила, что замечательный мой (рижский) письменный стол, очень просторный и удобный, в новую нашу квартиру въедет только через ее труп.

Посопровтивлявшись некоторое время и убедившись, что дальнейшее сопротивление бесполезно, я уступил. И дело кончилось тем, что у каких-то жениных знакомых мы приобрели старинный – как мы считали, красного дерева, но потом оказалось, что из ореха, – письменный стол-бюро. Стол этот (в отличие от меня) уж точно был с длинной и хорошей родословной. Принадлежал он к эпохе Александра Первого и до революции стоял, как не без гордости сообщил нам последний его владелец, в Инженерном замке.

Стол мне понравился. Со временем я его даже полюбил, хотя тот, плебейский мой, рижский, был и удобнее (рабочая поверхность была больше), и ящики у него выдвигались легко и свободно, в отличие от ящиков у этого, антикварного.

Но это было только начало.

Приобретя письменный стол и кресло к нему (той же эпохи), жена моя просто осатанела.

Она объявила, что покупать мы будем только старую («красную», как выражались знатоки, то есть – красного дерева) мебель. Она выкинула все наши стулья, и некоторое время, пока не удалось купить «красные», мы как-то ухитрились обходиться вообще без стульев.

Помню, как раз в этот момент нашей жизни, когда эпоха немого кино (то есть прежней нашей мебельной рухляди) уже кончилась, а эпоха звукового (то есть старинной, «красной» мебели) еще только-только начиналась, заглянул к нам наш старый друг Боря Заходер. Пошарив глазами, куда бы пристесть (ему предложили шаткую трехногую кухонную табуретку, взгромоздиться на которую при своих телесах он не решился), он деликатно осведомился, не найдется ли у нас какого-нибудь стула. Жена объяснила ему, что стулья она упразднила. И добавила, что стулья, как, впрочем, и шкафы, – самая неэстетичная часть домашней обстановки и лучше бы обойтись во все без них.

– А как же без стульев? – изумился Боря. – Сидеть-то ведь на чем-нибудь надо?

– Ну, купим что-нибудь, – сказала жена. – Может быть, какие-нибудь козетки.

– Ну-ну, – иронически хмыкнул Борис. И в свойственном ему стиле мгновенной импровизации тут же родил экспромт. – В ожидании козетки посидели на газетке.

Стулья, однако, мы в конце концов все-таки купили. Тоже у каких-то полужнакомых деклассированных старушек. И были они тоже с какой-то хорошей родословной.

Их, правда, пришлось долго ремонтировать. И не раз, потому что время от времени, уже отремонтированные, они вновь распадались на составные части.

Но безумие продолжалось.

Жена таскалась со мной по комиссионным магазинам и, как я объяснял друзьям, подцепив это слово у знакомого психиатра, индуцировала меня. И однажды доиндуцировала до того, что мы купили огромную екатерининскую кровать. Стоила она всего-навсего двести целковых (просто даром) и была не только красного дерева, но еще и с какими-то палисандровыми шишками по углам, величиной с хороший ананас каждая. Заняла она половину самой большой нашей комнаты, сильно ее изуродовав.

Наш приятель Макс Бременер как раз в это время совершил туристическую поездку в Австрию и, вернувшись, рассказывал, что в Шенбрунне видел кровать императрицы Марии-Терезии, которая напомнила ему нашу.

– Но та, наверно, все-таки пороскошнее будет? – поинтересовался я.

– Да нет, – задумчиво ответил Макс. – Не сказал бы.

А Илья Львович Фейнберг, увидав это наше, как я его мысленно называл, уёбище, сказал:

– Да-да, у нас тоже была такая мебель. Она досталась нам от родителей. Маэль порубила ее топором.

Я, надо сказать, к тому времени тоже был уже близок к такому же радикальному решению.

Но рубить нашу екатерининскую кровать топором мне не пришлось. Ее купил у нас наш сосед Митя Голубков, который сочинял в то время какой-то исторический роман из екатерининской эпохи и объявил жене, что такая кровать ему совершенно необходима. У Голубковых она, впрочем, тоже не прижилась: когда исторический роман был дописан, они удачно продали ее послу какой-то иностранной державы.

А я объявил жене, что эпоха антиквариата в нашей семье на этом закончилась. И подвел под это решение такую идеологическую базу: «Не могу, не хочу и не буду жить в музее!»

Но с письменным столом из Инженерного замка и сравнительно небольшим преддиванным столом той же Александровской эпохи, заменившим нам обеденный, я легко сжился. Мало сказать – сжился. Они стали мне такими родными, словно и впрямь достались нам с женой от каких-то наших дворянских предков.

Сперва я объяснил эту загадку тем, что оба эти стола не такие вычурные, как наша «екатерининская». (Прямых, строгих линий.) И по габаритам более или менее вписываются в небольшие наши комнаты, не «убивают» их.

Но потом мне пришло в голову другое, более глубокое – и, думаю, более правильное объяснение.

Ведь эпоха Александра Первого – это Пушкин. А Пушкин – это и есть начало моей родословной.

Однажды прочел я какой-то – не шибко изобретательный, но почему-то запомнившийся мне – научно-фантастический рассказ. Герой этого рассказа изобрел аппарат (кажется, он назвал его «хронотроном»), с помощью которого можно было проникать в прошлое. Не физически туда переноситься, как в «Машине времени» Уэллса, а просто видеть, наблюдать разные исторические картины (скажем, восстание декабристов или Бородинскую битву) в натуральную, так сказать, величину и во всей их исторической подлинности.

Но действие этого «хронотрона» было ограничено: оно простиралось не далее, чем на двести (или триста, сейчас уже не помню) лет. А дальше, по мере дальнейшего проникновения в глубь веков, изображение становилось все более зыбким, расплывчатым, а потом и вовсе исчезало.

Вот и моя историческая память была вроде этого «хронотрона». Вернее, не память даже, а моя способность духовно обживать, осваивать историческое пространство.

Мои духовные корни простираются не дальше, чем на полтора-двадцать лет. И начинаются они – с Пушкина, с пушкинской эпохи.

Среди вещей, которые окружали (или могли окружать) Пушкина, я чувствовал себя как дома. Это был – мой, родной мне мир. А дальше все было уже «не в фокусе». Так где уж было мне, с такой моей ограниченностью, освоить, присвоить, сделать своим далекое прошлое моих еврейских – библейских – предков!

Это было бы с моей стороны чистойшей воды притворством.

В 1945-м или 46-м году, когда Ленька Рапутов (о котором вы, наверно, уже забыли, так далеко я от него ушел) предложил мне присоединиться к «группе еврейской молодежи», желаю-

щей постигать историю и культуру своего народа, я ни о чем таком, конечно, не думал. Искать мои еврейские (или какие-нибудь другие) корни, как я уже сказал, мне было тогда просто неинтересно.

А ему это, наверно, и впрямь было интересно.

Во всяком случае, он не отставал от меня с этой своей идеей, и в конце концов я уступил и согласился перепечатать сочиненную им бумагу на своей пишущей машинке.

Собственно, именно с этим он ко мне и пришел: я был тогда единственным его знакомым, у которого была своя собственная пишущая машинка.

Обзавелся я ею еще в десятом классе, благо это было тогда несложно: Москва была завалена трофейными немецкими машинками, и моя досталась мне почти даром. Почерк у меня уже тогда был такой, что я и сам не всегда мог разобрать свои каракули: машинка была моим спасением.

Короче говоря, я уступил Ленькиным приставаниям и красиво перепечатал это обращение «группы еврейской молодежи» к С.М. Михоэлсу.

Но Ленька на этом не успокоился. Он стал приставать ко мне, чтобы и я тоже поставил под этим обращением свою подпись: пять фамилий – это все-таки лучше, чем четыре, больше похоже на группу.

Кончилось тем, что я сдался: чтобы отвязаться от него, подмахнул это их дурацкое заявление. И тут же о нем забыл.

Но 13 января 1953 года, прочитав в «Правде», что Михоэлс – «известный еврейский буржуазный националист», вдохновитель и чуть ли даже не глава всего этого чудовищного еврейского заговора, – вспомнил. А вспомнив, – похолодел.

Ох, как пригодилась бы им сейчас эта «группа еврейской молодежи», совращенная и завербованная главным еврейским буржуазным националистом!

Звонить Леньке и по телефону, хоть бы даже и намеками, расспрашивать его, что он сделал с той бумагой, я, понятное дело, побоялся. Но как-то там мы встретились, и я учинил ему допрос с пристрастием. Блудливо отводя от меня глаза, он уверял, что обращаться с тем заявлением к Михоэлсу он раздумал, а бумажку выкинул. Я, конечно, ему не поверил, но почему-то

все-таки успокоился. Убедил себя, что даже если то наше «Заявление» до Михоэлса и дошло, оно наверняка где-то там в его бумагах затерялось. Во всяком случае, ТЕМ, КОМУ НАДО, оно на глаза не попало, иначе нас с Ленькой давно бы уже замели.

Первая волна страха прошла, жизнь продолжалась, ничего такого уж особенно страшного не происходило (кроме, разумеется, того, что газеты изо дня в день талдычили про убийц в белых халатах, про бдительность и «ротозейство» – слово, как видно, произнесенное САМИМ, поскольку оно сразу же стало политическим термином).

В общем, я повеселел и почти забыл обо всех своих страхах. Забыл настолько, что вместо того чтобы забиться в щель и сидеть тихо, полез участвовать в дискуссии о Маяковском.

На самом деле страх, охвативший меня 13 января, никуда не делся: он лишь ушел куда-то в глубину, на обочину, на периферию моего сознания. А о том, как он был велик, этот страх, я узнал через четыре месяца.

И вот он настал, этот, пожалуй, самый главный в моей жизни красный день календаря: 4 апреля.

Уж не помню сейчас, почему мы с женой ночевали тогда не дома, а в крохотной комнатке ее матери – моей тещи. В этом хлипком одноэтажном флигеле в Воротниковском переулке раньше, до революции, был то ли каретный сарай, то ли конюшня, а сейчас, естественно, обычная московская коммуналка.

Скорее всего, теща на время уехала куда-то – в отпуск, что ли – и нам с женой представилась редкая возможность хоть немного пожить не за шкафом, а в отдельной, своей комнате.

Рано утром просонья я услышал женский крик, а потом в дверь нашей «спальни» громко застучали. Стучала и кричала тещина соседка Сима. И звала она почему-то меня:

– Биля! Биля! – кричала она. – Вы слышите? Врачи-убийцы – не убийцы!

Жена уверяет, что я выскочил в коридор в одних трусах (так оно, наверно, и было) и, воздев руки к потолку, прокричал что-то на еврейском языке, – что-то вроде: «Ой-вей!»

Это, конечно, полная чепуха. Но что-то еврейское в тот миг

во мне, наверное, действительно проснулось. Во всяком случае, что-то, объединившее меня с тещиной соседкой Симой – красавицей-одесситкой, о которой я только и знал (с тещиных слов), что было у нее шесть или семь официальных мужей, а неофициальных – бесчисленно, а также, что она дивно, как только у них в Одессе, наверно, это умели, пела мои любимые «Бублики». С надрывом пела, с душой: «А я несчастная, торговка частная...» – пела, словно о себе, словно она сама была этой вот самой частной торговкой, торговавшей бубликами на Дерibasовской или Малой Арнаутской, словно это ее родной отец был пьяница, который «за рюмкой тянется», а мать – «уборщица, ка-а-кой позор!»

Наибольшего внимания в этой трагикомической ситуации заслуживает не столько даже запомнившаяся моей жене удивительная моя реакция на этот Симин крик, сколько сам тот факт, что кинулась Сима в этот момент не к ней, которую она знала маленькой девочкой, выросшей на ее глазах, и не к другим своим соседям, с которыми прожила в этой коммуналке добрую половину жизни, а – ко мне, которого узнала совсем недавно.

А кинулась она именно ко мне (вряд ли даже это надо объяснять) как к единственному оказавшемуся поблизости человеку, которого ошеломительное это сообщение касалось в той же мере, что и ее.

Так ли оно было на самом деле, действительно ли это сообщение больше, чем кого другого в той тещиной коммуналке, касалось лишь нас двоих – это вопрос сложный. И я к нему еще непременно вернусь.

А сейчас – перенесемся на несколько месяцев вперед, в июль-август того же 1953 года.

Как это ни странно, в том самом году в июльском номере журнала «Октябрь» была напечатана первая моя большая статья («Пушкин и Маяковский»), за которую я получил довольно солидный, а для меня тогда прямо-таки грандиозный гонорар: что-то около пяти тысяч рублей.

Вместо того чтобы отдать эти деньги родителям, с которыми (лучше сказать – у которых) мы жили, совершенно ошалев от пьянящего воздуха наступающих перемен и от свалившей-

ся вдруг на нас этой огромной суммы, мы с женой рванули на юг – сперва в Одессу, оттуда на теплоходе в Крым, из Ялты перекочевали в Алупку, где «дикарями» прожили целый месяц, профинтив за этот – не такой уж большой, в сущности, срок – все наши пять тысяч до самого последнего рубля.

От этой нашей эскапады осталось у меня в памяти много острых и сильных впечатлений. Впервые увиденная Одесса, впервые увиденная Ялта, впервые увиденные горы: Крым, Ай-Петри. Залитое солнцем, сверкающее ослепительной синевой море, ни в какое сравнение не идущее с запомнившимся по моим детским (Бердянск) впечатлениям мутно-зеленым Азовским.

Впервые – самостоятельная жизнь. Легкая, пьянящая.

Каждый день, когда время близилось к обеду, разморенные жарой, мы тащились с пляжа наверх, в гору, в облюбованный нами – впрочем, кажется, единственный на всю тогдашнюю Алупку – ресторанчик. Свободных мест там всегда было вдоволь, и еда была довольно приличная. Вот только с напитками было худо: ни лимонада, ни минеральной воды не было и в помине. Зато был – сидр.

С наслаждением цедили мы – по глоточку – этот божественный (так нам тогда казалось) ледяной, искрящийся напиток.

Иногда хорошо уже знавшая нас официантка, подходя к нашему столику, грустно сообщала:

– А сидора нету.

Тогда, не задумываясь, надолго ли хватит остававшихся у нас денег (мы давно уже решили, что на сколько хватит, столько и проживем), мы вместо сидра заказывали бутылку шампанского.

Шампанское было такое же ледяное, искрящееся золотом, как сидр. Какая-то разница между этими двумя напитками, вероятно, была, но по-настоящему существенной для нас тогда была только разница в их цене. А по вкусу (так, во всяком случае, нам тогда казалось) наш любимый сидр, который официантка называла «сидором», ничуть не уступал шампанскому.

Но не менее яркими и острыми стали для меня там впечатления и совсем другого рода.

У хозяев хибары, в которой мы жили, был радиоприемник, и они каждый вечер слушали «вражеские голоса». Стены меж-

ду нашими комнатами были тонкие, и мы отчетливо слышали каждое слово.

Нам это было в новинку: в Москве заглушка работала во всю ивановскую, и никаких западных радиоголосов мы слушать не могли.

И вот однажды за стеной чужой, как-то уж слишком отчетливо, слишком правильно говорящий по-русски голос произнес: – Итак, первый этап борьбы за власть в Советском Союзе закончился: Лаврентий Берия получил пулю в затылок.

Фраза эта меня поразила.

По смыслу она совпадала с моими собственными представлениями об этой тогдашней политической сенсации. Официальные комментарии («разоблаченный агент, наймит британского империализма») вызывали у меня и всех моих друзей глумливые шуточки.

О том, как восприняли мы – я и все мои друзья – это сенсационное разоблачение, пожалуй, лучше всего скажет такая история, героем которой был мой дружок Глеб Селянин.

После эвакуации мы с ним переписывались, а году в 50-м он ненадолго приехал из Питера в Москву, и мы опять встретились.

За это время Глеб успел окончить Ленинградский ГИТИС, стал актером. Вышло это, как он сам говорил, случайно. Но вышло неплохо... Но об этом – как-нибудь в другой раз. А сейчас – ближе к теме. К рассказанной мне Глебом истории о том, какую хохму он учудил как раз вот тогда, тем летом 1953-го года.

Глеб и еще трое его приятелей – тоже актеров – отправились в какую-то поездку. То ли в отпуск, то ли на гастроли – не помню. Да это в данном случае и не важно.

Дорога им предстояла дальняя, и подготовились они к ней хорошо. Захватили водочки. Ну и, соответственно, хорошей закуски. И как только обосновались в своем купе, так сразу же и приступили к делу. И выпивали и закусывали аж до самого вечера.

К вечеру их уже слегка развезло, и они решили, что пора на боковую. Улеглись – каждый на свою полку – и погрузились в сладкий сон.

Глеб проснулся на рассвете. За окном стояла какая-то муть. Такая же муть была и у него в голове. Друзья-собутыльники крепко спали. Поезд стоял.

Надеясь, что на воздухе ему станет лучше, Глеб быстро оделся и вышел на платформу. Там не было ни души. Только из черной тарелки радиорепродуктора доносился какой-то особенно торжественный голос диктора. Глеб подошел поближе, прислушался. Голос сообщил ему, что разоблачен и арестован как враг народа и английский шпион Лаврентий Берия – по официальной табели о рангах третий, а по существу второй (если не первый) человек в государстве.

Все похмелье у Глеба сразу выветрилось.

Вернувшись обратно в купе, он хотел было поделиться ошеломительной новостью с друзьями, но те спали как убитые. Спите, спите, голубчики, – злорадно подумал Глеб: в голове у него уже созрела одна идея.

Запрыгнув на свою верхнюю полку, он некоторое время еще ухмылялся каким-то своим тайным мыслям, а потом заснул.

Проснулись они все одновременно – примерно часов в одиннадцать. Ну, и с похмелья, как водится, решили слегка поправить. Достали специально припасенную на этот случай бутылку, оставшуюся закуски. Разлили. Чокнулись. Выпили.

И тут Глеб начал осторожно реализовывать свою идею.

– Ребята, – сказал он. – Я давно уже хотел с вами поделиться. Мы ведь люди свои... Только вам откроюсь... Поклянитесь, что никому не скажете!

Друзья поклялись.

– Вот что хотите со мной делайте, – сказал Глеб, – чувствую я, что Берия – не наш человек.

Друзья обомлели.

– Да ладно, – сказал тот из них, к которому раньше, чем к другим, вернулся дар речи. – Оставь ты это... Зачем это тебе?

– Ребята, – сказал Глеб. – Я верю своей интуиции. Я просто не сомневаюсь. Да вы только взгляните в его лицо... в это гаденькое пенсне... Вот чувствую я, что он английский шпион!

Друзья долго и безуспешно уговаривали Глеба прекратить этот разговор. А потом как-то вдруг замолчали, замкнулись, уш-

ли в себя. Явно решили, что оказались в одной компании с провокатором.

Один из них, мрачно буркнув, что ему надо в туалет, встал и вышел. Но очень быстро вернулся. И уже совсем в другом настроении.

– Ах ты, сука! – радостно хлопнул он Глеба по шее. И сообщил недоумевающим друзьям ошеломляющую новость, которая тем временем уже облетела весь поезд.

Друзья радостно загоготали: у них прямо камень с души свалился. Ну и, конечно, они решили, что по этому случаю им необходимо еще поправиться. И тут же осуществили это, поскольку у них «с собой было».

Не знаю, сумел ли бы, окажись я тогда на месте Глеба, отколотить такой номер. Но устроенным им розыгрышем искренне восхищался и, слушая его рассказ, хохотал до колик. (Глеб ведь не просто рассказывал, а показывал все это в лицах: актер как-никак.)

Я, правда, в отличие от Глеба, к падению Берии отнесся не только с юмором, но и с немалой долей серьезности. Потешался я вместе с ним над дурацким обвинением в шпионаже, лучше которого наши власти, как всегда, не смогли ничего придумать. Само же событие представлялось мне и важным, и значительным.

Но к такому прямому и циничному объяснению случившегося, какое выдал случайно услышанный мною «вражеский голос», я был не готов.

Мне представлялось, что там, наверху, идет все-таки какая-то идейная, политическая борьба. Силы, условно говоря, прогрессивные, стремящиеся, чтобы страна пошла по какому-то новому пути, борются с теми, кто хочет, чтобы все шло, как раньше, при Сталине.

Падение Берии я воспринял как победу тех самых прогрессивных сил. Берия – я не сомневался в этом! – был опасен: его необходимо было обезвредить.

А тут мне говорят, что ничего подобного: просто у них там, под ковром, идет самая что ни на есть вульгарная, шкурная борьба за власть. Берия свою партию проиграл. Выиграли дру-

гие. А могло случиться и по-другому. Но не все ли равно? Как сказано у Гейне, и раввин и капуцин одинаково воняют...

Тут было над чем подумать.

Наутро эту версию мы уже живо обсуждали чуть ли не со всеми нашими пляжными знакомыми. Это, кстати говоря, тоже была совершенно немислимая несколькими месяцами раньше особенность нашей новой – послесталинской – жизни.

Мы стали довольно быстро «оттаивать». И ярче всего этот процесс оттаивания проявился в том, что мы довольно легко обсуждали все эти дела с совершенно, в сущности, нам не знакомыми, впервые здесь встреченными людьми.

Одним из них был прибалт – то ли из Риги, то ли из Таллина – имени его я не помню, но отчетливо помню все тогдашние наши разговоры, а главное, поразивший меня его, как сказали бы мы теперь, имидж.

В тогдашнем моем восприятии это был имидж западного человека.

По всем человеческим своим данным он был, надо сказать, вполне зауряден. Но при этом он очень от нас отличался. Он был человеком совершенно другой, не нашей цивилизации. Пожалуй, это был первый западный человек, которого я встретил.

Мы с женой – и не только мы, но и все прочие тамошние наши знакомцы – интересовались только морем и пляжем. А его интересовало все.

Он жадно расспрашивал всех вокруг, что означает слово «Алупка», почему гора называется Ай-Петри, почему дворец зовется Воронцовским и кто такой граф Воронцов. Повсюду совал свой нос и поминутно щелкал своим маленьким дешевеньким фотоаппаратом.

Этот фотоаппарат – неременная принадлежность туриста – в моих глазах еще больше укреплял его «имидж» западного человека.

Но главная черта его «западности» сказалась – для меня – в том, что, будучи, как я уже отметил, во всем остальном человеком довольно заурядным и даже скучным, политически он был очень продвинут.

Как раз в то время появилась брошюра, изданная к 50-ле-

тию первого съезда РСДРП. Это были тезисы ЦК. Весьма важный, как мне тогда представлялось (да так оно на самом деле и было), политический документ.

Всем другим нашим пляжным знакомым, с которыми на другие темы разговаривать нам было гораздо интереснее, чем с нашим прибалтом, эти тезисы были – до лампочки. А прибалт вцепился в эту брошюру с той же страстью, с какой вцепился в нее я. Изучил ее от корки до корки. И пришел к тем же выводам, что и я. Быстро подсчитал, сколько раз там упоминается Ленин (он упоминался там не менее шестидесяти раз), а сколько Сталин (тот был вскользь помянут раза два или три, не больше). И цифровой этот баланс привел его (как и меня) в неописуемый восторг.

Тут окончательно выяснилось, что мы с ним – одной крови.

С этого момента мы с ним стали неразлучны, что, надо сказать, сильно озадачило других наших новых знакомых.

Но о них – речь впереди. А сперва я хочу объяснить, почему этот острый интерес к политике и эта политическая продвинутость нашего прибалта казались мне не индивидуальной, личной его особенностью, а еще одним – и может быть, даже главным – признаком его принадлежности к иной, западной цивилизации.

До встречи с ним все, так сказать, рядовые обыватели, с которыми доводилось мне сталкиваться (люди нашего круга тут были не в счет), к политике были глубоко равнодушны.

Помню, как раз в то самое время, незадолго до нашего отъезда на юг, моя жена побывала в гостях у одной своей близкой подруги. (Они вместе кончали Литфак.) Застольные разговоры в той семье велись на какие-то совершенно не интересные ей бытовые темы, и в какой-то момент она вдруг нарушила эту гармонию, спросив:

– А что у вас говорят про Берию?

У нас за столом только об этом и говорили.

Но подружке моей жены Ольге, ее мужу, родителям и двоюродным сестрам, да и вообще всем, сидящим за тем столом, этот вопрос показался таким же диким, как если бы она вдруг спросила, что они думают о жизни на Марсе. Они на эти темы вообще не разговаривали. И не потому, что опасались вести та-

кие разговоры (это было бы как раз понятно), а просто потому, что все это было им до фени.

А вот другой – крепко врезавшийся мне в память эпизод.

Дело было на именинах моей тещи. И собралась там вся тещина родня.

Уж не помню, я ли завел тот разговор или кто другой, но речь вдруг зашла на какую-то острую политическую тему. То ли о Сталине, то ли о наших отношениях с Америкой. И младший двоюродный братишка моей жены (единственный в их семье, поступивший в институт и закончивший его) стал довольно агрессивно высказываться в правомерно-советском духе.

Мы заспорили.

А поскольку я владел материалом гораздо лучше, чем он, для меня не составило большого труда припереть его к стенке.

И тут он вдруг улыбнулся милой такой, конфузливой улыбкой. И сказал:

– Послушай! Мы ведь с тобой тут все равно ничего не можем изменить. Верно?

Я согласился, что да, конечно, не можем.

– Так на хрена нам об этом спорить, нервы себе трепать. Мы ведь собрались здесь в честь Анны Макаровны, в честь ее дня рождения. Вот и выпьем лучше за ее здоровье...

В этой его реплике был немалый резон, и я послушно прекратил спор и выпил с ним за здоровье моей тещи Анны Макаровны. Но почувствовал при этом, что мы с ним – **разной крови**.

А тут передо мной был человек примерно той же среды, того же социального круга, что родичи моей жены и ее подруги Ольги. Самый что ни на есть обыкновенный обыватель. Казалось бы, ну что ему Гекуба! Какое ему дело до того, сколько раз в тех тезисах ЦК КПСС поминается Ленин, а сколько – Сталин?

А вот – на тебе!

Дело тут, конечно, было не в том, что этот наш прибалт был человек западный. Основная масса людей Запада – это я и тогда уже понимал – тоже, наверно, глубоко равнодушна к политике. А политическая озабоченность и политическая продвинутость нашего прибалта скорее всего объяснялись как раз

тем, что он был прибалт, то есть житель одной из трех республик, насильственно присоединенных к Советскому Союзу, попросту говоря, оккупированных. Отсюда и неприязнь его к Сталину, и весь тот комплекс политических настроений, благодаря которому я сразу угадал в нем родную душу.

Итак, мы стали неразлучны. Ходили всюду втроем. Разговаривали.

А однажды произошел такой забавный случай.

Засиделись мы как-то на пляже допоздна. И ночная тьма упала на нас с той внезапностью, с какой это бывает только на юге.

Усталые, находившиеся за день и наплававшиеся до одурения, мы сидели втроем на пляже, на каком-то бревне. Одни. Вокруг – ни души. И – тьма египетская.

И вдруг невдали возник красный огонек. Он приближался к нам. Приблизился почти вплотную. Подошедшего к нам человека мы не видели совершенно. Видели только красный огонек его сигареты. Он нас, естественно, и вовсе не мог разглядеть – ни сколько нас, ни кто мы. И тем поразительнее прозвучал обращенный к нам его вопрос.

– Я, конечно, очень извиняюсь, – сказал он. – Вы, случайно, не еврей?

– Евреи, – хором отозвались мы.

Будь это днем, и не будь мы такими усталыми и отупевшими в конце этого утомительного дня, мы, наверно, сперва выразили бы удивление по поводу такого странного вопроса. Может быть, даже возмутились бы, спросили: а ты кто такой? А тебе, мол, какое дело?

Но, в общем, вышло так, как вышло. И человек с сигаретой уселся рядом с нами, прямо на остывающий песок, и стал горько жаловаться нам на свою еврейскую долю. Оказалось, что он – кровельщик. И оказалось (это было для меня удивительнее всего!), что ему, кровельщику, тоже несладко быть евреем.

Евреев кровельщиков я до этого не встречал.

На моем – тогда еще не таком уж долгом – жизненном пути мне попадались совсем другие евреи. Врачи, учителя, музыканты, бухгалтеры, адвокаты, фармацевты. Знал я, конечно, что немало евреев занято в торговой сети. Встречал евреев парикмахеров и часовщиков.

Знал я, что изредка еще попадаются и еврей-пролетарии. Об одном таком рассказывал мне мой друг Гриша Поженян.

В коммуналке, где он жил (снимал комнату, собственного жилья у него тогда еще не было), был у него сосед – Зяма. Здоровый молодой еврей, работавший токарем то ли на ЗИЛе, то ли на другом каком-то большом московском заводе.

– И вот, – рассказывал Гришка, – выхожу я рано утром умываться. А Зяма этот уже склонился над раковиной и кидает себе в лицо горсти ледяной воды. Я спрашиваю:

– Ну как, Зяма? Как она, жизнь?

А он отвечает:

– Свои тыщу пятьсот.

Было все это в ранние наши литинститутские годы.

Скуки в нашей жизни, как вы знаете, и тогда уже не было. Нас трясло. Громили Зоценко и Ахматову. Разогнали и посадили Еврейский антифашистский комитет. Началась кампания по борьбе с безродными космополитами.

И вот в разгар этой кампании, изгнанный из института и исключенный из комсомола Поженян выходит рано утром умываться. А там – Зяма. И Гришка по обыкновению спрашивает его:

– Ну как, Зяма? Как живешь?

И Зяма так же невозмутимо отвечает:

– Свои тыщу пятьсот.

И когда грянуло дело врачей-убийц, и прокатилась по всей стране среди врачей-евреев волна самоубийств, и пошли слухи об уже построенных в Биробиджане бараках, и к моей жене на ее работе в Радиокomiteте кинулась со слезами на грудь сослуживица, спрашивая, что она будет делать, когда ее мужа-еврея станут высылать, этот поженянов сосед Зяма в своей коммунальной кухне, растирая полотенцем красное от ледяной воды лицо, на неизменный Гришкин вопрос, как, мол, она, жизнь, отвечал так же спокойно и невозмутимо:

– Свои тыщу пятьсот.

Мораль сей поженяновой притчи была проста: это нам, интеллигентам, страшны все зигзаги и повороты государственной политики, а еврей-работяга – вроде вот этого Зямы – плевал на них с высокого дерева. Его это не касается и ни при какой погоде не коснется: что бы ни происходило в сферах вы-

сокой политики, он всегда будет зарабатывать эти «свои тыщу пятьсот».

Бесхитростный рассказ алушкинского еврея-кровельщика опрокидывал этот красивый миф.

Сейчас я пытаюсь вспомнить: был ли наш тогдашний курортный знакомец-прибалт евреем или же утвердительно ответил на вопрос еврея-кровельщика («вы, случайно, не еврей?») просто так, по инерции, как сделала это моя «арийская» жена. Вполне определенного ответа на этот вопрос я дать не могу. Теперь, задним числом, склонен думать, что скорее всего был он все-таки еврей. Но тогда – убей меня бог! – это меня ну совершенно не интересовало. И к беседе с евреем-кровельщиком я отнесся скорее юмористически. Это сейчас – тоже задним числом – я переосмыслил ее как некий важный поворот в развитии моего национального самосознания. Тогда этого не было.

Но разговоры на еврейскую тему были. И проклятый «еврейский вопрос» в этих разговорах возникал постоянно.

К одному такому разговору мы с женой тоже отнеслись юмористически.

Завела его с моей женой (я при этом не присутствовал, жена – со смехом – мне о нем потом рассказала) одна наша пляжная знакомая, имени которой я, конечно, тоже уже не помню. Назовем ее, скажем, Розалия Самойловна.

Эта Розалия Самойловна была существенно старше нас и относилась к нам по-матерински. И вот однажды, беседуя с моей женой, она вскользь кинула:

– Как, должно быть, счастливы были родители вашего мужа, когда узнали, что он собирается жениться именно на вас!

Поскольку мои родители особенной радости по этому поводу не проявляли, а дело обстояло (так, во всяком случае, это представлялось моей жене) совсем наоборот, она в ответ расхохоталась. А отсмеявшись, спросила:

– Почему вы так думаете?

– Ну как же! – объяснила Розалия Самойловна. – Ведь сейчас это так редко бывает, чтобы еврейский мальчик женился на еврейской девочке. Наши мальчики просто обезумели, они все норовят взять в жены русскую...

– А вы знаете, – призналась жена, – ведь я не еврейка... Я, правда, и не русская, я украинка...

Но это последнее – чисто анкетное – уточнение для Розалии Самойловны не имело никакого значения. Русская, украинка – это ей было совершенно все равно. Важно было, что – не еврейка.

– О боже! – потрясенно воскликнула она. – Я была уверена!.. – и закончила уже совершенно водевильной репликой: – Что же я теперь скажу Кларе Марковне!

Клара Марковна, очевидно, была какая-то другая ее пляжная знакомая, с которой они, надо думать, обсуждали наш счастливый еврейский брак.

Пересказывая этот комический диалог (и там, в Алушке, и позже, уже в Москве), мы с женой смеялись.

Но были там у нас и другие, совсем уже не смешные разговоры на еврейскую тему.

На том же алушкинском пляже мы познакомились и подружились с очень красивой парой. Они тоже (как и мы) были молодожены. И как и мы, тоже первый раз в жизни были вдвоем в Крыму. Их имена я запомнил хорошо – их трудно было не запомнить, поскольку оба они были Юли: он – Юлий, она – Юлия.

Оба они были ладные, стройные, яркие, красивые. И по поводу их брака у Розалии Самойловны и Клары Марковны уж наверняка не было и не могло быть никаких разочарований: и Юлий и Юлия, безусловно, были евреи.

Я говорю об этом так уверенно не потому, что их внешность не вызывала на этот счет никаких сомнений. Внешность у них как раз была самая что ни на есть интернациональная. Да и, по правде говоря, не умел я (во всяком случае – тогда, потом жизнь научила) по внешности отличать еврея от нееврея (разве только в совсем уже несомненных случаях).

В принадлежности обоих Юль к еврейской нации у меня не могло быть никаких сомнений, потому что они сами с нами об этом заговорили чуть ли не с первого дня нашего знакомства.

Заговорили, естественно, в связи с делом врачей.

Тут важно еще то, что оба они были не только евреями, но

и врачами, а значит, вся эта катавасия с арестом врачей, а потом с их освобождением должна была их затрагивать гораздо острее и болезненнее, чем даже меня.

Так оно на самом деле и было. Но с той немаловажной поправкой, что глядели они на эту ситуацию совершенно по-разному.

Юля (она) была в ужасе и отчаянии, прочитав сообщение о врачах-убийцах. Ни на секунду не верила в их виновность. И когда с них сняли это лживое обвинение, была счастлива как никогда в прежней своей жизни. (Ведь это обвинение сняли и с нее тоже – не только как с «лица еврейской национальности», но и как с врача.)

А Юлий (тоже еврей и тоже врач) говорил:

– А я и сейчас не знаю, когда нам сказали правду: тогда ли, когда объявили о том, что раскрыли их заговор, или теперь, когда объявили, что никакого заговора не было и их посадили зря.

Услышав от него такое, я просто рот разинул от изумления. А Юля (она) печально кивнула:

– Да-да. Можете себе представить? У нас до развода доходило.

Тут надо сказать, что этот Юлий был вовсе не глуп. А уж ортодоксом, тупо верящим во все, что сообщали нам советские газеты, он тем более не был. Скорее наоборот: эта странная его позиция была рождена как раз трезвой его уверенностью в том, что ИМ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ. Что бы они там ни писали в своих газетах, о чем бы ни вещали по своему радио, ИМ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ. Нельзя верить, когда они говорят, что светиочи отечественной медицины – «убийцы в белых халатах». И нельзя верить, когда они говорят, что все эти обвинения были ложью. Потому что ИХ совершенно не интересует правда-истина. Они всегда говорят, говорили и будут говорить ТО, ЧТО ИМ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЫГОДНО.

Нельзя не признать, что в этой позиции была не только своя логика, но и известная доля правды.

Конечно же, новые наши правители объявили, что врачи-убийцы на самом деле никакие не убийцы совсем не потому, что их обуревала жажда справедливости. Сталин довел давление пара в котле до критической точки, и какую-то часть этого пара необходимо было выпустить немедленно.

Это я тоже понимал.

Мало того! В какой-то момент я – каким-то краешком души – готов был даже допустить, что некоторые из врачей, обвинявшихся в заговоре, и впрямь не без греха.

Когда мой дружок Леня Рапутов (тот самый, который чуть было не втянул меня в «группу еврейской молодежи») доказывал мне, что это – чистый бред, полная ерунда, потому что у врачей существует КЛЯТВА ГИППОКРАТА (он дружил тогда с дочерью одного из «убийц» – профессора М.Б. Когана – и не сомневался, что тот – чистейший и благороднейший человек), я с ним вроде как соглашался.

Дочерей или сыновей арестованных профессоров среди моих знакомых не было, и в домашней обстановке ни одного из них мне наблюдать не пришлось. Но кое-какие личные впечатления о некоторых из них у меня тоже имелись.

Я, кажется, уже упоминал однажды, что в эвакуации довольно тяжело болел. Что-то очень нехорошее было у меня с почками.

Когда мы вернулись в Москву, родители таскали меня по разным врачам. Один из них, уролог, едва мы с мамой вошли в его кабинет, недовольно и даже, как мне показалось, презриво буркнул:

– Что вы его ко мне привели? Ведь это же типичный нефритик.

«Нефрит» – вот, оказывается, как называлась моя болезнь.

Вернувшись от этого несимпатичного уролога домой, я долго глядел на себя в зеркало, стараясь понять, что означали эти его загадочные слова. И, кажется, понял: из рамы «говорящего правду стекла» на меня глядел мучнисто-белый лик старообразного юнца с тяжелыми синеватыми мешками под глазами.

Как выяснилось из реплики отвергнутого меня врача, болезнь моя была подведомственна не урологам, а терапевтам. И мама решила показать меня лучшему терапевту страны профессору Виноградову.

Сделать это было, как выяснилось, совсем просто. Надо было только записаться (по телефону) к нему на домашний прием и подождать, пока подойдет наша очередь. Ждать пришлось

довольно долго: не меньше месяца. Но в назначенный срок профессор принял нас без всяких осложнений и проволочек.

У него был облик типичного старого русского земского врача. (Во всяком случае, именно так я представлял себе старых русских земских врачей.) Усадив нас напротив своего тяжелого, громоздкого письменного стола, он придвинул к себе толстую кожаную тетрадь (она напомнила мне ту, давнюю мою, детскую, но, как я сразу же увидел, в отличие от моей, переплет ее был из настоящей, а не искусственной кожи), раскрыл ее и приготовился записывать.

Он внимательно слушал все, что рассказывала ему мама, – хотя рассказ ее, как мне казалось, изобиловал множеством совершенно ненужных подробностей.

На мой взгляд, совершенно ни к чему было рассказывать о том, как трудно там, в эвакуации, было с едой и как поэтому нам постоянно приходилось нарушать полагающуюся нефритику диету. А тем более о том, как ее коллега-военврач разрешил подкармливать меня американской свиной тушенкой, хотя вообще-то она была мне противопоказана. Этот ее коллега сказал, что если я не умру от истощения, то с нефритом моим они уж как-нибудь справятся.

Этот длинный мамин рассказ сильно меня раздражал – не только множеством утомительных и совершенно ненужных подробностей, но в особенности тем, что говорила она обо мне как о маленьком мальчике и – мало того! – рассказывая о всех осложнениях моего нефрита, постоянно употребляла местоимение «мы», словно не я один, а мы с ней вдвоем болели этой болезнью.

Виноградов, однако, слушал этот ее рассказ не перебивая и, как мне показалось, с подлинным интересом. И все писал, писал что-то в свою великолепную кожаную тетрадь. И мне казалось странным, что он тратит драгоценные листки этой роскошной тетради на всю эту мамину чепуху. Ведь мы же, думал я, не постоянные его пациенты. Наверняка больше ни разу к нему и не придем. Зачем же портить ради нас эту роскошную тетрадь: если уж так ему необходимо все это записывать, взял бы для такого ординарного случая какую-нибудь другую, обыкновенную.

Покончив с мамой, профессор так же долго и внимательно слушал меня. И тоже записывал. Затем последовал обычный медицинский осмотр и наконец заключение.

Он сказал, что у меня действительно нефрит. Довольно, правда, редкая, как он выразился, гематурическая форма нефрита. И скорее всего не хроническая.

Делать надо то-то и то-то. Но прежде всего – удалить миндалины.

– У моего сына, куц, – сказал он, положив руку мне на плечо, – было, куц, то же самое. Удалили миндалины, куц, и все прошло... И плавает, и ест все, куц... И соленое, и острое... И водку пьет, куц, как ни в чем не бывало...

Этот рассказ профессора про его сына, должен сказать, сильно меня обрадовал, поскольку меня – по тогдашней моей глупости – более всего в моей болезни угнетало именно то, что мне строжайше запрещали плавать, есть острое и соленое, ну и, разумеется, пить водку. К водке особого тяготения у меня, правда, не было, но невыносимо было мириться с такой своей мужской неполноценностью. Старик словно прочел все самые тайные мои мысли...

Но это все я осознал уже потом. А в тот момент, когда он обратился ко мне с этим своим ободряющим монологом, меня более всего поразило вот это странное словечко «куц», которым он перемежал чуть ли не каждую свою фразу. Сперва мне даже послышалось, что он говорит не «куц», а – «куцый». Но вскоре я сообразил, что никакого смысла в этом его словечке искать не надо: просто это у него такой дефект речи.

А профессор тем временем снял руку с моего плеча и опять обратился к маме. Он зачем-то стал ей объяснять, что в нашей медицине – точнее, в той ее области, которая называется «ухо-горло-нос», – есть две школы: школа профессора Трутнева и школа профессора Фельдмана.

Врачи, принадлежащие к школе профессора Трутнева, полагают, что миндалины удалять не надо, что тут во всех случаях показано консервативное лечение. Что же касается профессора Фельдмана и его учеников, то они придерживаются иной, радикальной точки зрения.

– Так вот, – заключил он. – Прежде чем идти с сыном к ото-

ларингологу, узнайте, куц, к какой школе он принадлежит. И к тем, кто придерживается, куц, взглядов профессора Трутнева, даже и не ходите. Миндалины вашему сыну, куц, необходимо удалить. Никакое консервативное лечение тут не поможет.

Вот так и вышло, что вскоре после визита к профессору Виноградову мы с мамой оказались у другого «врача-убийцы» – профессора Фельдмана. Того самого, про которого – пять лет спустя – был сочинен уже упоминавшийся мною куплет:

Дорогой товарищ Фельдман –
Ухо-горло-нос.
Ты держался, словно Тельман,
Идя на допрос.

Забегая вперед (чтобы больше уже к этой не слишком интересной теме не возвращаться), скажу сразу, что дальнейшее течение моей болезни полностью подтвердило прогноз профессора Виноградова. После того как мне удалили миндалины, я стал совсем другим человеком и о своем нефрите вскорости забыл.

А вот у моего приятеля Макса Бременера, который был болен той же болезнью, все повернулось иначе. И я почти уверен, что только потому, что не случилось ему в начале заболевания попасть на прием к профессору Виноградову.

Макс заболел нефритом, когда ему было четырнадцать лет. А когда мы познакомились с ним (нам было по восемнадцать), он был уже тяжелым инвалидом. Облик «типичного нефритика», с которым я к тому времени уже расстался, Макс сохранил на всю свою последующую жизнь. И это еще усугублялось общей его, так сказать, конституцией: он был то, что называется заморыш – худенький, бледный, с изможденным лицом и узкой цыплячьей грудью.

Он был замечательным рассказчиком. Особенно хороши были его устные рассказы, пронизанные живым и тонким юмором.

Говорят, что настоящий юморист ради красного словца не пощадит и родного отца. Макс в этом смысле был не просто настоящим, а, можно сказать, уникальным юмористом. Начать с того, что одним из центральных героев своих юморис-

тических рассказов он и в самом деле сделал своего отца. (Который, правда, постоянно предоставлял ему для этого все новый и новый материал.) Но главным предметом неистощимого Максова юмора, главной мишенью для его острых сатирических стрел был он сам. И себя в этих своих устных юмористических рассказах Макс щадил еще меньше, чем своего родителя. К себе он был совсем уже беспощаден.

В одном из таких рассказов он очень выразительно изображал себя на Одесском привозе. Идет он, Макс, жарким летним днем по привозу в такой курортной маечке-сеточке, особенно невыгодно подчеркивающей его худобу, его цыплячью грудь. Останавливается то перед одной торговкой, то перед другой. Приценивается, вежливо благодарит и идет дальше. Ничего не покупает. И вот одна из этих торговок, давно уже наблюдающая за этими его манипуляциями, – толстая, ражая, краснолицая, этакая катаевская «мадам Стороженко», – уперев руки в бока, не выдержав, окликает его:

– Борэц! Может быть, ты уже купишь что-нибудь?!

Однажды мы с Максом вместе оказались в Коктебеле. Дело было в августе. Море было теплое как парное молоко. И я – не один я, все Максовы друзья-приятели – стали уговаривать его искупаться. Ну хоть окунуться на несколько секунд. Ей-богу, твердили мы все в один голос, ничего плохого от этого с тобой не произойдет.

Но купаться Макс (как мне когда-то, в пору моего нефрита) было строжайше запрещено. И Макс на все эти уговоры не поддавался.

Но мы не отставали, и в конце концов Макс уступил. Он согласился дать телеграмму в Москву, отцу. (Отец Макса, надо сказать, был врач.) И телеграмма была отправлена:

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 26 ГРАДУСОВ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ
ИСКУПАТЬСЯ СРОЧНО ТЕЛЕГРАФИРУЙ СОГЛАСИЕ**

Ответ пришел в тот же день:

**КУПАТЬСЯ НЕ РАЗРЕШАЮ ЕСЛИ ОЧЕНЬ ЖАРКО НАЛИ-
ВАЙ ВОДУ В БУТЫЛКИ ГРЕЙ НА СОЛНЦЕ И ОБЛИВАЙСЯ**

Так и не удалось нам окунуть Макса в теплые волны Черного моря.

А я тогда рассказал Максy про Виноградова, про то, каким спасительным для меня оказался его совет. И Макс в ответ рассказал, что когда он заболел и отец стал водить его по врачам, многие из них тоже говорили, что в этом случае прежде всего необходимо удалить гланды. Потому что гланды – это ворота для инфекции, и именно от них все его беды. Но отец Макса, человек осторожный, осмотрительный, привыкший все делать не тяп-ляп, а тщательно все продумав и взвесив, консультировался по этому поводу с отоларингологами, принадлежащими как к школе профессора Фельдмана, так и к школе профессора Трутнева. И те, естественно, давали ему прямо противоположные, взаимоисключающие советы. И кончилось дело тем, что на операцию (удаление миндалин) он так и не решился.

Конечно, пути Господни неисповедимы. Но после этого Максoва рассказа я остался при твердом убеждении, что от горестной судьбы Макса меня спас не кто иной, как профессор Виноградов, жестко предупредивший маму, чтобы с отоларингологами школы профессора Трутнева она ни в коем случае не советовалась.

Я уже чуть было не написал, что профессор Виноградов, выходит, спас мне жизнь. (Бедный Макс уже давно умер, а я вот – живу.) Но продолжительность человеческой жизни, увы, зависит не только от врачей. А вот за то, что я прожил жизнь не инвалидом (и плаваю, и соленое ем, и острое, и водку пью), благодарить мне надо именно его, профессора Виноградова.

Ну и, конечно, маму, которая послушно выполнила указание профессора. Хотя выполнить его, как оказалось, было совсем не легко.

Выяснилось это на приеме у профессора Фельдмана, к которому, как я уже сказал, мы с мамой послушно отправились.

Этот профессор был совсем в другом роде. И от общения с ним впечатление у меня осталось самое неблагоприятное. Как, впрочем, наверно, и у него от общения со мною.

«По странной филиации идей», как выражался в подобных

случаях Л.Н. Толстой, я вспомнил тут знаменитый рассказ Бабеля о том, как он общался со Сталиным.

Горький, который Бабеля любил и желал ему всяческого добра, однажды сказал ему:

– Завтра у меня будет Сталин. Приходите. И постарайтесь ему понравиться. Вы хороший рассказчик... Расскажите что-нибудь... Я очень хочу, чтобы вы ему понравились. Это очень важно.

Бабель пришел.

Пили чай. Горький что-то говорил, Сталин молчал. Бабель тоже молчал. Тогда Горький осторожно кашлянул. Бабель намек понял и пустил первый пробный шар. Он сказал, что недавно был в Париже и виделся там с Шаляпиным. Увлекаясь все больше и больше, он заговорил о том, как Шаляпин тоскует вдали от родины, как тяжело ему на чужбине, как тоскует он по России, как мечтает вернуться. Ему казалось, что он в ударе. Но Сталин не реагировал. Слышно было только, как звенит ложечка, которой он помешивал чай в своем стакане.

Наконец он заговорил.

– Вопрос о возвращении на родину народного артиста Шаляпина, – медленно сказал он, – будем решать не мы с вами, товарищ Бабель. Этот вопрос будет решать советский народ.

Поняв, что с первым рассказом он провалился, Бабель, выдержав небольшую паузу, решил зайти с другого боку. Стал рассказывать о Сибири, где был недавно. О том, как поразила его суровая красота края. О величественных сибирских реках...

Ему казалось, что рассказывает он хорошо. Но Сталин и тут не проявил интереса. Все так же звякала ложечка, которой он помешивал свой чай. И – молчание.

Замолчал и Бабель.

– Реки Сибири, товарищ Бабель, – так же медленно, словно пробуя на вес свои чугунные слова, заговорил Сталин, – как известно, текут с юга на север. И потому никакого народнохозяйственного значения не имеют...

Эту историю – тогда же, по горячим следам события – рассказал одному моему знакомому сам Бабель. А закончил он свой рассказ так:

– Что вам сказать, мой дорогой. Я ему не понравился. Но гораздо хуже другое.

– ???

– Он мне не понравился.

Примерно так же вышло и у меня с профессором Фельдманом.

В отличие от пленившего меня Виноградова, у него не было ни желания выслушивать подробные маминьы рассказы об истории моей болезни, ни кожаной тетради, в которую он мог бы эти ее рассказы записывать. Он сразу приступил к делу: посадил меня в специальное кресло, похожее на зубоучебное, заставил разинуть рот и стал изучать мое горло. Усмехнулся, когда я сказал, что умею показывать горло «без ложечки», и сперва действительно обошелся без всяких инструментов.

Но потом сказал, что без «ложечки» все-таки не обойтись, потому что ему надо не только поглядеть на мои миндалины, но и надавить на них той самой «ложечкой», а точнее – специальной металлической лопаточкой, которую он назвал шпателем.

И вот тут-то и разразился скандал.

Я честно разинул рот и изо всех сил старался не мешать профессорскому шпателю дотянуться до моих миндалин. Но мое горло при каждой такой его попытке само, непроизвольно выталкивало этот шпатель. Это был какой-то странный рефлекс. Что-то вроде спазма.

Профессор злился. Причем не на эту странную особенность моего организма, а непосредственно на меня, словно это я нарочно, из какого-то дикого упрямства, сознательно не хотел показать ему свое горло.

Промучившись со мною таким образом минут сорок, он раздраженно кинул свой шпатель в специальную металлическую лоханочку, произнеся при этом такие, хорошо мне запомнившиеся слова:

– Ну и оставайтесь со своим нефритом!

На том и закончился наш визит к знаменитому профессору.

После многих мытарств и приключений миндалины мне в конце концов все-таки удалили. Но это уже совсем другая история, которой здесь не место, поскольку случилось это уже без участия профессора Фельдмана, а этот мой рассказ – о нем.

Итак, профессор Фельдман мне не понравился. Более того: он вызвал у меня довольно резкую и стойкую антипатию. И тем не менее представить себе, что этот самый Фельдман, который так мучился с моим горлом и так искренне расстроился, когда все его усилия оказались напрасны, – представить себе, чтобы он мог оказаться убийцей... Нет! Это было невозможно.

Перебирая в памяти все подробности и детали моего личного общения с двумя «убийцами в белых халатах» – такими разными, не похожими друг на друга, – я был вынужден признать, что так определенно не понравившийся мне профессор Фельдман был похож на убийцу ничуть не больше, чем очаровавший меня профессор Виноградов.

И в то же время поручиться за всех арестованных врачей я бы не мог. А уж в КЛЯТВУ ГИППОКРАТА, о которой постоянно твердил мне Ленька Рапутов, и вовсе не верил.

Не верил не потому, что был таким уж циником.

Просто я не раз слышал от отца историю про Фрунзе, которому по приказу Сталина сделали совершенно ненужную ему операцию и «зарезали» его, как грубо выразился мой папашен, на операционном столе.

Не верил я и в естественную смерть Горького, не сомневаясь при этом, что отправить на тот свет Буревестника дали команду врачам не мифические враги народа, а сам Хозяин (через Ягоду, конечно).

Нынешних же врачей обвиняли в том, что они убили (довели до смерти) Жданова и Щербакова. А эти два персонажа не вызывали у меня и тени сочувствия, и я имел все основания полагать, что у лечивших их врачей – тоже.

Все эти мои тогдашние мысли были, конечно, чудовищны. Но что поделаешь, так было!

Я, конечно, не сомневался, что все это так называемое «дело врачей» – не что иное, как чудовищная провокация. (А мой отец – так тот прямо сравнивал его с «делом Бейлиса», а Лидию Тимашук, якобы раскрывшую заговор своих коллег и получившую за это Орден Ленина, именовал не иначе, как Верой Чеберячкой.)

Насчет того, что все это – провокация, никаких сомнений у меня не было.

Но нет-нет да и мелькала где-то на дне сознания пошлая мысль, что дыма, мол, без огня не бывает.

Что-то, наверное, все-таки было.

Вот ведь даже про Виноградова, который был выше всяких подозрений, и то говорили, что в компании убийц он оказался не без причины.

Причина, как рассказывали, была такая.

Виноградов был лечащим врачом Сталина. И незадолго до своего ареста, осмотрев в очередной раз этого пациента, написал заключение, что состояние здоровья товарища Сталина настоятельно требует длительного его неучастия в государственных делах.

Сталин, когда ему об этом доложили, пришел в ярость. Он, естественно, решил, что за спиной профессора стоят его (Сталина) соратники, задумавшие таким способом отстранить его от власти. Вот почему, оказывается, против фамилии Виноградова (единственного из всех арестованных врачей) вождь собственноручно начертал: «В кандалы!»

Провокация – провокацией, но в каждом отдельном случае что-то, наверное, все-таки было. Не бывает дыма без огня. Не бывает.

Была и еще одна причина, мешавшая мне отбросить как совершенно бредовую мысль Юлия насчет того, что ОБА сообщения о врачах-убийцах – и первое, обвиняющее их, и второе, снимающее с них все обвинения, – были лживыми.

Тут была некоторая тонкость, заметить которую мог только человек, у которого сознание своей принадлежности к гонимой нации было к тому времени уже достаточно обострено.

Для наглядности приведу здесь оба сообщения. Сделать это стоит, помимо всего прочего, еще и потому, что оба они, сколько мне известно, так и остались похороненными на пожелтевших страницах тогдашних газет. А у меня каким-то чудом (я никогда не «заводил архива») сохранились.

Итак, – вот первое сообщение:

АРЕСТ ГРУППЫ ВРАЧЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ

Некоторое время тому назад органами госбезопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористической группы оказались проф. **Вовси М.С.**, врач-терапевт; проф. **Виноградов В.Н.**, врач-терапевт; проф. **Коган М.Б.**, врач-терапевт; проф. **Коган Б.Б.**, врач-терапевт; проф. **Егоров П.И.**, врач-терапевт; проф. **Фельдман А.И.**, врач-отоларинголог; проф. **Этингер Я.Г.**, врач-терапевт; проф. **Гринштейн А.М.**, врач-невропатолог; **Майоров Г.И.**, врач-терапевт.

Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно, злодейски подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные объективного обследования больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответствующие действительному характеру их заболевания, а затем неправильным лечением губили их.

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища А.А. Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А.А. Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища А.С. Щербакова, неправильно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путем до смерти.

Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из

строю маршала Василевского, маршала Говорова, маршала Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко и др. Однако арест расстроил их злодейские планы, и преступникам не удалось добиться своей цели.

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, — состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе в Советском Союзе.

Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шемелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэlsa. Другие участники террористической группы (Виноградов, Коган М.Б., Егоров) оказались давними агентами английской разведки.

Следствие будет закончено в ближайшее время.
(ТАСС)

Второе сообщение (4-го апреля) было гораздо короче. В нем уже не было ни «извергов человеческого рода», ни каких-либо патетических, эмоциональных восклицаний ино-го, противоположного толка. Оно было выдержано в совершенно другом, спокойно-деловом тоне. И не только по тону, но и по самой сути своей было целиком содержательно. Поэтому я привожу его тут полностью, без всяких сокращений:

СООБЩЕНИЕ Министерства внутренних дел СССР

Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку всех материалов предварительного следствия и других данных по делу группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении активных деятелей советского государства.

В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу профессор **Вовси М.С.**, профессор **Виноградов В.Н.**, профессор **Коган М.Б.**, профессор **Коган Б.Б.**, профессор **Егоров П.И.**, профессор **Фельдман А.И.**, профессор **Этингер Я.Г.**, профессор **Василенко В.Х.**, профессор **Гринштейн А.М.**, профессор **Зеленин В.Ф.**, профессор **Преображенский Б.С.**, профессор **Попова Н.А.**, профессор **Закусов В.В.**, профессор **Шерешевский Н.А.**, врач **Майоров Г.И.** были арестованы бывшим Министерством государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований.

Проверка показала, что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия, несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия.

На основании заключения следственной комиссии, специально выделенной Министерством внутренних дел СССР для проверки этого дела, арестованные **Вовси М.С.**, **Виноградов В.Н.**, **Коган Б.Б.**, **Егоров П.И.**, **Фельдман А.И.**, **Василенко В.Х.**, **Гринштейн А.М.**, **Зеленин В.Ф.**, **Преображенский Б.С.**, **Попова Н.А.**, **Закусов В.В.**, **Шерешевский Н.А.**, **Майоров Г.И.** и другие привлеченные по этому делу полностью реабилитированы в предъявленных им обвинениях во вредительской, террористической и шпионской деятельности и, в соответствии со ст. 4 п. 5 Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР, из-под стражи освобождены.

Виновные в неправильном ведении следствия арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

Вот что сразу бросилось мне в глаза, когда я прочел это – второе – сообщение и мысленно сопоставил его с первым: в нем совершенно отсутствовала еврейская тема.

Ни слова – про «международную еврейскую буржуазно-националистическую» организацию «Джойнт». Ни слова про связанного с этой террористической организацией врача Шемилиовича и «известного еврейского буржуазного националиста Михоэlsa».

Мало того!

В первом сообщении список обвиняемых почти сплошь состоял из еврейских фамилий. Упомянувшиеся там профессора Виноградов и Егоров да врач Майоров, как говорится, погоды не делали. Создавалось отчетливое впечатление, что они были включены в этот еврейский проскрипционный список исключительно для маскировки. (Вот так же за несколько лет до того, в 49-м, в такой же сплошь еврейский список критиков-антипатриотов, как кур в ошип, попал русский Леонид Малюгин.)

Во втором сообщении картина была уже совершенно другая.

Из перечня обвиняемых, как я уже сказал, исчезли «еврейские националисты» Шемилиович и Михоэls, но зато в нем – «откуда ни возьмись» – вдруг появились ранее в нем не упоминавшиеся профессора **Василенко, Зеленин, Преображенский, Попова, Закусов**. В сочетании с фигурировавшими и в первом сообщении **Виноградовым, Егоровым и Майоровым** это давало уже довольно внушительный список русских фамилий, количественно даже превосходящий перечень еврейских.

Внимательно изучая это – второе – сообщение (я не мог от него оторваться, чуть ли не разглядывал на свет), я несколько раз – чтобы не ошибиться – пересчитал все еврейские, а потом все русские фамилии, чтобы вывести правильный баланс.

И тут мне вспомнилось, как – еще во время войны – каждый год, когда в газетах появлялся очередной список новых лауреатов Сталинских премий, мой отец занимался именно вот такими подсчетами. Еврейских фамилий в этих списках всегда было много. Но от года к году все меньше и меньше, что дава-

ло отцу некоторые основания сделать вывод, что для евреев установлен некий фильтр, а стало быть, слухи о набирающем силу государственном антисемитизме не так уж безосновательны.

Я над этими отцовскими подсчетами всегда посмеивался. И вот – они меня достали! Довели до того, что и я – с таким же рвением, как, бывало, отец, – углубился в точно такие же подсчеты. Не с тем, правда, чтобы убедиться в существовании государственного антисемитизма (на этот счет какие уж теперь могли быть сомнения!), а лишь с одной-единственной целью: **поймать их на жульничестве.**

Ведь знали же, бляди, что среди арестованных врачей евреи вовсе не составляли большинства. Но – нарочно подтасовывали факты, чтобы создать видимость именно еврейского заговора.

Это я все к тому, что Юлий, точка зрения которого тогда так меня поразила, в каком-то смысле был прав: второе сообщение, открывшее нам правду, тоже было фальшивым, жульническим.

Не мешает тут еще подчеркнуть, что, в отличие от первого, это было не «Сообщение ТАСС», а – «Сообщение Министерства внутренних дел СССР». А министром этого – только что созданного посредством слияния бывшего МВД с бывшим МГБ нового государственного монстра был не кто иной, как Лаврентий Павлович Берия, ко времени тех наших бесед уже разоблаченный как агент и наймит вражеской разведки.

У Юлия вполне могло возникнуть предположение, что в свете этих новых событий «дело врачей» может получить совсем иное – то ли прежнее, то ли еще какое-нибудь, новое, совсем неожиданное истолкование.

Что говорить! Основания не верить нашим властям, что бы они там в очередной раз ни заявляли, у него были. И немалые.

Но разве в этом было дело?!

Скупое, деловитое «Сообщение Министерства внутренних дел СССР» было – как ослепительная вспышка молнии в беспробудной тьме сталинской «полярной преисподней». Это был не какой-нибудь там жалкий «луч света в темном царстве». У всех у нас было такое чувство, словно долгая, десятилетиями длившаяся полярная ночь вдруг кончилась и наконец-то забрезжило утро...

Нет, все эти жалкие сравнения бессильны. Они не могут передать и слабого эха того «термоядерного взрыва», который произвело в душах людей это сообщение.

Признавая свое словесное бессилие, попытаюсь передать это другим способом – кратким изложением правдивой истории, услышанной мною от моего покойного друга Иосифа Шкловского.

Иосиф прославился своим сенсационным предположением, что спутники Марса – Фобос и Деймос – искусственные. Эта гипотеза сделала его знаменитым. Но как только американцам удалось сфотографировать Фобос и Деймос с близкого расстояния, версия об их искусственном происхождении рухнула.

Научный авторитет Шкловского эта история не поколебала, поскольку в узких ученых кругах его ценили совсем не за это.

Ценили, между прочим, весьма высоко.

Однажды Иосиф притащил и показал мне том какой-то американской энциклопедии, в которой его имя и маленький портрет красовались в ряду шести самых выдающихся астрофизиков XX века. Этой чести, как он мне объяснил, он удостоился из-за Крабовидной туманности. Раньше – до его открытия – считалось, что излучение далеких звезд может быть только тепловым. Но излучение Крабовидной туманности в эти параметры не укладывалось. Оно было каким-то аномальным. И никто не мог объяснить, почему. (Прошу прощения, если что-то перевираю, – на смысле истории, которую я собираюсь рассказать, это не отразится.)

И вот однажды, а именно 4 апреля 1953 года, молодой Иосиф Шкловский вышел из дому, чтобы отправиться в свой родной университет, где он был на птичьих правах: вот-вот его должны были уволить, поскольку соплеменнику «убийц в белых халатах» в советском учреждении, а тем более таком престижном, как Московский государственный университет, было не место.

Выйдя из дому и дожидаясь трамвая, Иосиф подошел к газетному стенду, на котором был вывешен только что вышедший свежий номер газеты «Правда». Подошел он к этому стен-

ду, заглянул в газетный лист и прочел, что вышла ошибочка: врачи убийцы – не убийцы.

Кровь кинулась Иосифу в голову. И, видимо, от этого притока свежей крови к сосудам головного мозга его вдруг осенило.

А что, подумал он, если природа излучения Крабовидной туманности вообще – иная? Может, это вовсе и не тепловое, а, например, радиоизлучение?

Подошел трамвай. Как водится, он был битком набит москвичами, торопящимися на работу. До врачей-убийц, а тем более до Крабовидной туманности, им не было никакого дела.

Иосиф вскочил на подножку, попытался протиснуться в вагон. Но это ему не удалось. И вот, стоя на раскачивающейся трамвайной площадке, стиснутый со всех сторон едва проснувшимися согражданами, он просчитал – математически – вероятность своей гипотезы. И все сошлось. Никаких сомнений: это было радиоизлучение.

Одно из шести самых крупных открытий в астрофизике XX века было сделано.

Тот душевный взрыв, который у Иосифа разрядился самым крупным в его жизни научным открытием, у тещиной соседки Симы, о реакции которой я вам уже рассказывал, вылился в разбудивший нас с женой истощенный вопль:

– Биля! Биля! Врачи-убийцы – не убийцы!

Я уже говорил, что больше всего меня тогда поразило, как Сима в тот момент оттолкнула от себя мою жену, которую знала маленькой девочкой, и кинулась ко мне, в сущности, почти незнакомому ей человеку.

Что она знала обо мне, кроме того, что я «встречался», как тогда говорили, с дочерью ее соседки Ани, а совсем недавно наконец-то с нею «расписался»? Да в сущности ничего.

Но она знала, что этот недавно женившийся на выросшей девочке Славе «Биля» – еврей. И этого было больше чем достаточно. Никаких других знаний обо мне в тот момент ей было не нужно.

Все дело тут было в том, что арест и освобождение врачей были для нее не государственной и не политической, а исклю-

чительно еврейской, а потому – личной проблемой. Так же как (она в этом не сомневалась) и для меня.

У нее не было и тени сомнений, что известие о том, что с врачей снято тяготевшее над ними жуткое обвинение, из всех, кто жил тогда в тещиной коммунальной квартире, касается только нас двоих – ее и меня. Это ведь именно с нас – с нее и с меня! – было снято в тот момент клеймо убийц! Известие об аресте врачей было для нее только нашей, еврейской болью. И известие о том, что они невиновны, – только нашей, еврейской радостью.

Примерно так же это событие было воспринято и моим отцом.

Днем того же 4-го апреля, раннее утро которого я уже описал, мы с ним вышли на Тверскую, которая тогда была улицей Горького. Был ясный, солнечный весенний день...

Сейчас я уже не могу вспомнить, вышли мы с ним просто так, пройтись, или было у нас какое-то дело. Не помню даже, долго ли продолжалась эта наша прогулка.

Но яснее ясного запомнилось мне одно: поведение моего отца в тот день на улице. Было оно, как мне тогда показалось, более чем странным.

Он шел не торопясь, внимательно вглядываясь в лица прохожих, и время от времени, углядев кого-то в потоке людей, движущихся нам навстречу, снимал шляпу и кланялся. Некоторые из встречных отвечали ему тем же.

У отца, надо сказать, всегда было множество знакомых, и ходить с ним по улицам бывало иногда чистым наказанием: он то и дело с кем-нибудь останавливался и заводил долгий, совершенно мне не интересный разговор. Меня это всегда раздражало, особенно в детстве, когда у меня в таком совместном нашем походе была какая-то личная цель, свой, личный интерес: игрушка или книга, которую он обещал мне купить, или мороженое эскимо на палочке, или еще что-нибудь в том же роде.

Вот и сейчас тоже я сперва было подумал, что отец раскланивается с какими-то своими знакомыми. Но знакомых отца на этот раз двигалось нам навстречу что-то уж больно много. И приглядевшись внимательнее, я догадался, что раскланивается он вовсе не со знакомыми, а С КАЖДЫМ ВСТРЕЧНЫМ ЕВРЕЕМ.

Тут надо сказать, что я и раньше тоже замечал за моим отцом чудачества такого рода.

Он мог вдруг, ни с того ни с сего, обратиться к совершенно незнакомому человеку с каким-нибудь вопросом или какой-нибудь репликой на еврейском языке, что всегда приводило меня в смущение, даже в некоторый ужас. Я все время боялся, что он обмишулится, нападет на человека другой нации или даже на еврея, не знающего своего языка. Честно говоря, я вообще не понимал, как он умудряется в любой толпе выхватить глазом и почти безошибочно угадать еврея. Сам я этого не умел совершенно.

Мой друг Иосиф Шкловский, которого я уже не раз вспоминал на этих страницах, когда мы с ним однажды разговорились на эту тему, рассказал мне, что у гитлеровцев были такие специальные люди (евреи, конечно), которые могли в любой толпе безошибочно выхватить каждого, в ком будет заметна хоть самая малая «прожидь».

– И я, – не без некоторой хвастливости закончил он свой рассказ, – как раз вот такой человек.

Он, конечно, не имел при этом в виду, что, оказавшись в оккупации, мог бы стать предателем и служить гитлеровцам в этом качестве, исповедуя знаменитый лагерный принцип: «Подохни ты днем раньше, а я – днем позже». Речь шла лишь о том, что у него – вот такой же «глаз-ватерпас», и случись ему оказаться в такой роли, у него не было бы ни одной осечки.

Глаз моего отца был не таким острым. У него осечки все-таки бывали. Однажды, помню, к большому моему смущению, но и к некоторому тайному удовольствию, он в электричке обратился с какой-то еврейской репликой к человеку, который, как выяснилось из последующей беседы, оказался армянином.

Но должен признать, что таких осечек у него было совсем немного. А однажды он своей пронизательностью этого рода меня просто потряс.

Поехали мы с ним куда-то за город – в Малаховку, что ли: приглядеть какую-нибудь не слишком дорогую дачку на лето. Ходили, спрашивали: не сдается ли, мол, у вас комната с терраской. И остановились перед новым, еще не достроенным, вкусно пахнущим свежим тесом домом. Дом, вообще-то, был

уже почти готов. Не хватало ему только крыши. А на стропилах – верхом – сидели какие-то русобородые мужики и тюкали топорами.

Здрав голову и слегка зажмурившись на ярком весеннем солнце, отец обратился к ним с какой-то длинной еврейской фразой.

Я обомлел.

Мужики-плотники, достраивавшие этот дом, были такого очевидного, столь ярко выраженного славянского типа, что уж тут не могло быть никаких сомнений: осечка! И какая!

Я даже подумал: уж не сошел ли, часом, мой родитель с ума? Не помешался ли совсем на своем еврействе? Или это яркое весеннее солнце его ослепило?

Каково же было мое изумление, когда эти «братья-славяне» ответили ему такой же длинной еврейской фразой, и между ними и моим отцом завязался какой-то долгий (совершенно мне, конечно, не понятный) еврейский разговор.

В общем, я не могу сказать, что был так уж удивлен, когда догадался, что в тот день, 4 апреля 1953 года, отец умудрялся в потоке идущих нам навстречу москвичей выхватить своим орлиным взором каждого еврея. Но эти его странные эволюции с поминутным сниманием и надеванием шляпы меня все-таки удивили. Ведь раньше он никогда этого не делал.

Улучив минутку, я спросил у него, что это значит: зачем он все это проделывает? И он объяснил, что делает он это, потому что сегодня ПУРИМ. Пурим же – это еврейский праздник, отмечающий одно давнее событие в истории еврейского народа, необычайно похожее на то, что случилось сейчас... Вот так же и тогда, две или три тысячи лет тому назад, один злодей по имени АМАН хотел погубить весь еврейский народ. И вот так же у него ничего не вышло.

Много лет спустя я прочел эту историю в Библии, в «Книге Есфири». И вспомнил при этом где-то виденную мною картину «Торжество Мардохея». (Может быть, это было воспроизведение гравюры Рембрандта в каком-нибудь альбоме, но скорее всего – картина ученика Рембрандта Верду, которую я мог видеть в Пушкинском музее.) На этой картине злодей Аман, которому не удалось погубить еврейский народ, вел под

узды коня, на котором гордо восседал наряженный в драгоценные одежды взявший над ним верх иудей Мардохей.

И вот только тогда, задним числом, я понял, что тот проход моего отца по весенней улице Горького с поминутно взлетающей вверх шляпой, – что это было ЕГО ЛИЧНОЕ «ТОРЖЕСТВО МАРДОХЕЯ».

Вот, стало быть, и отец мой чувствовал в тот день примерно то же, что тещина соседка Сима. Страшное обвинение, жуткое клеймо убийцы было снято не только с выпущенных на свободу врачей, но и со всех евреев, а значит, и с него тоже.

Казалось бы, алупкинский наш знакомец Юлий должен был чувствовать это вдвойне. С него ведь это клеймо убийцы было снято не только как с еврея, но и как с врача.

И вот – поди ты!

Как уже было сказано, его неверие в добрые намерения наших новых властителей я разделял. В то, что они раньше и сами не знали, что «дело врачей» – чудовищная провокация и только вот сейчас наконец-то в этом разобрались, ни на грош не верил.

И тем не менее реакция Юлия на «революцию четвертого апреля», как мы меж собой это называли, показалась мне каким-то чудовищным извращением.

И дело тут было даже не в том, что он был врачом и евреем.

Я-то ведь врачом не был... Евреем, конечно, был. И «революция четвертого апреля» потрясла меня и как еврея тоже. (У тещиной соседки Симы все-таки были некоторые основания для того, чтобы в тот судьбоносный миг оттолкнуть, отбросить от себя мою «гойку» жену и кинуться ко мне как к родной «еврейской душе».)

Да, конечно, и с меня, как с каждого еврея, в тот момент тоже сняли это клеймо.

Но я-то, я сам воспринял все это несколько иначе.

Для меня, когда я услышал от Симы эту потрясающую весть, а уж тем более потом, когда я собственными глазами прочел «Сообщение Министерства внутренних дел СССР», главным в этом сообщении было совсем другое.

Черным по белому в главной советской газете было напечатано:

Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия.

Вот что поразило меня в том сообщении больше всего.

Ведь это значило – могло значить – только одно: ИХ ПЫТАЛИ. Признания были выбиты из несчастных арестованных врачей какими-то чудовищными, страшными пытками – там, «в подвалах Лубянки».

Предположения такого рода, конечно, возникали и раньше. Но высказывать их вслух – даже шепотом – не смели и самые отчаянные смельчаки.

И вдруг это сказано – открыто, громко, на весь мир. Напечатано в главной газете страны.

Это было невероятно!

Впервые за всю историю своего существования наше уникальное Государство САМО – пусть на один только короткий миг – обнажило перед всем миром свою средневековую злодейскую сущность.

Это касалось уже не только евреев.

Это имело самое прямое отношение ко всем загадкам и тайнам советской власти, над которыми мы с друзьями ломали головы. К загадкам и тайнам процесса Промпартии и Шахтинского дела, к волновавшим нас всех тайнам московских процессов 36-го, 37-го, 38-го годов.

Тайное наконец стало явным.

Ведь если они САМИ ПРИЗНАЛИСЬ, что врачей пытали, значит, нет и не может быть никаких сомнений, что и к Камневу с Зиновьевым, и к Бухарину с Рыковым, и к Радеку с Пятаковым, к десяткам, к сотням других, публично признававшихся в несуществующих преступлениях «врагов народа», наверняка тоже применялись те же самые «недопустимые и строжайше запрещенные приемы следствия».

Подумаешь, секрет Полишинеля! – скажете вы. – Как будто и раньше об этом не было известно! И до этого сообщения все всё знали. Во всяком случае, догадывались.

Увы, это не так.

Тотальная ложь советской пропаганды, при всей своей беззастенчивой наглости (а может быть, как раз именно благодаря этой беззастенчивой наглости), была действенной. На протяжении десятилетий миллионы людей верили, что Председатель Совнаркома Рыков и «любимец партии» Бухарин были иностранными шпионами. Что врачи, лечившие Горького, по заданию этих врагов народа лечили великого писателя неправильно и загнали-таки его этим своим вредительским лечением в могилу.

И во всю эту чепуху верили не только самые темные, отсталые, малограмотные жители нашей огромной страны. Верили ученые и поэты – не только мнимые, назначенные на должности ученых и поэтов службисты, потому-то и назначенные, что верили во всю эту чепуху, – нет, верили и независимые, незапуганные, никем не купленные. Поверил (или сделал вид, что поверил?) Лион Фейхтвангер, посетивший СССР в том самом, роковом тридцать седьмом году и написавший об этом свою на весь мир прошумевшую книжку.

Короткое «Сообщение Министерства внутренних дел СССР», появившееся на страницах «Правды», несло в себе ОСВОБОЖДЕНИЕ от этой многолетней тотальной лжи.

Нет, мы не зря называли в своих тогдашних разговорах день появления этого сообщения РЕВОЛЮЦИЕЙ ЧЕТВЕРТОГО АПРЕЛЯ. Это и в самом деле была революция. Первая в жизни моего поколения. (Второй такой революцией был доклад Хрущева на XX съезде.)

И вот – молодой, образованный и совсем не глупый человек, этот самый наш новый знакомец Юлий – говорит, что и сейчас не знает, чему верить – тем, старым нагромождениям тотальной государственной лжи или вот этому впервые сказанному вслух словечку правды.

Будь я поумнее, надо было бы, конечно, сразу прекратить все разговоры с ним на эту тему. Но я снова и снова возвращался «на круги своя», не уставая удивляться его тупости, не по-

нимая, действительно ли он говорит то, что думает, или им движет страх, боязнь быть откровенным до конца с незнакомыми, в сущности, людьми. Этот бесконечный наш спор не прекращался. И день ото дня Юлий, который сперва показался нам вполне симпатичным и милым парнем, становился мне все более неприятен.

В их семейных раздорах – а раздоры эти, как я уже сказал, происходили у них исключительно на идейной почве – я целиком и полностью был на стороне его жены, очаровательной Юли.

Но по мере того как мы все дальше и дальше углублялись в эту всех нас волнующую тему, мое отношение и к Юле тоже стало меняться. И в конце концов стало, пожалуй, даже более неприязненным, чем к ее мужу.

4

На первых порах мне казалось, что Юля воспринимает случившееся так же, как я. Как мы все.

Однако чем дальше, тем все яснее мне становилось, что она восприняла их примерно так же, как соседка моей тещи Сима.

Но с Симы – какой спрос! А Юля ведь – интеллигентная девушка. Вроде даже более интеллигентная и начитанная, чем наш прибалт.

Прибалт, однако, все воспринимал правильно. Он даже выразил свое отношение к «революции четвертого апреля» той же словесной формулой, какой это сделал я.

Формула, естественно, была – ленинская: «Не начало ли поворота?»

Для него, как и для меня (для всех понимающих), освобождение врачей было лишь началом чего-то главного, неизмеримо более важного. За началом непременно должно было последовать продолжение. Оно и последовало (для нас) в тех самых «Тезисах ЦК КПСС», тексту которых – а в особенности хорошо понятному нам обоим подтексту – мы с ним так радовались.

Что же касается Юли, то для нее это было не началом, а концом.

Концом кошмара.

Тут я должен сказать (быть может, слегка забегая вперед), что мне всегда были неприятны евреи, все претензии которых к советской власти целиком и полностью сводились к государственному антисемитизму. Разреши им ходить в синагогу, танцевать фрейлехс, ходить в еврейский театр, петь свои еврейские песни, или – напротив – вернуться к святой вере в пролетарский интернационализм – и все в порядке: советская власть опять станет для них хороша.

Такой – мелочный, частный, мелкоэгоистический взгляд на великую нашу революцию и рожденную этой революцией советскую власть – не только раздражал, но и оскорблял меня.

Помню, пришла как-то в наш класс (кажется, это был уже последний мой школьный класс, десятый) старшая пионервожатая. И попросила каждого из нас сочинить какую-нибудь статейку в стенгазету к близящейся годовщине Октябрьской революции. Но написать не казенно, а – по-своему, очень лично. Пусть каждый из вас подумает, – сказала она, – а что мне, вот лично мне дала наша революция.

– Я, например, – пояснила она свою мысль, – точно знаю, что если бы не революция, я не могла быть жить в Москве. Потому что я еврейка, а тогда существовала черта оседлости, евреям в Москве жить было запрещено.

– А вот я, – довольно-таки надменно сказал я ей в ответ. – И до революции мог бы жить в Москве. Мой отец был почетным потомственным гражданином Российской империи, так что у меня и без всякой революции в этом отношении все было бы в порядке.

Надменность моего ответа, как вы понимаете, была порождена вовсе не сознанием социального превосходства сына «почетного потомственного гражданина» перед дочерью бедных евреев, которым только революция дала возможность выбраться из черты оседлости.

Презрительно-надменное мое отношение к самосознанию нашей старшей пионервожатой диктовалось совсем иным чувством.

Подтекст этого моего высказывания был таков: «Да, лично мне Октябрьская революция не дала ничего. Я все равно жил бы в Москве. И даже, наверно, учился бы в гимназии. Ну и что?»

Неужели из этого следует, что я меньше, чем вы, должен любить революцию и нашу родную советскую власть?»

Позже, когда эту самую советскую власть я стал ощущать уже не родной матерью, а злой мачехой, это мое самосознание не переменялось.

Свое отношение к власти я изменил не потому, что власть плохо обошлась СО МНОЮ ЛИЧНО. Для вспыхнувшей и постепенно утвердившейся этой моей к ней нелюбви у меня были отнюдь не только личные и, уж конечно, отнюдь не только национальные основания.

Сейчас, написав эти строки, я вдруг подумал: ну да, я довольно рано сообразил, что под чепчиком доброй бабушки прятался Серый Волк. Но не потому ли я оказался таким умным, что этот самый «Товарищ Волк» именно на моей собственной шкуре продемонстрировал мне хватку своих стальных челюстей?

Вышло так, что меня исключили из комсомола и из института в 1948 году. А если бы это случилось не в 48-м, а в 49-м? И исключили бы меня не за проявленное мною лично «политическое хулиганство», а в ходе развернувшейся тогда кампании? Как «безродного космополита»? (Или «космополитенка» – как Поженяна.)

Может быть, случись это так, мои «счеты» с советской властью тоже приняли бы вполне определенную национальную, еврейскую окраску?

Не так ведь глупо сформулировал это – уже в те, кажется, времена, а может быть, чуть позже – Борис Слуцкий:

А нам, евреям, повезло.
Не прячься под фальшивым флагом,
На нас без маски лезло зло.
Оно не притворялось благом.

И дальше – строки, которые я сделал эпиграфом к этой главе:

Еще не начинались споры
В торжественно глухой стране.
А мы – припертые к стене –
В ней точку обрели опоры.

Может быть, мое везение состояло в том, что это самое зло – в открытую, без маски – полезло на меня годом раньше, и не в ходе общегосударственной антисемитской кампании, а лично, персонально приперло меня к той самой стене?

Нет, не думаю.

Дело совсем не в том, что мой «конфликт» с советской властью начался раньше, а в самой природе этого конфликта. У меня она была совершенно иной.

Да, я тоже был приперт к стене. И та же сила, давящая на меня, притиснула меня к этой стене. Но сама стена, в которой я тоже обрел (со временем) точку опоры, была другая.

Чтобы разобраться в этом, мне придется снова вернуться назад. Не на много – года на два.

В 1951 году я окончил Литературный институт, и у меня появилась жена. Надо было начинать самостоятельную жизнь. Но с этим дело обстояло плохо. И не только из-за проклятого «квартирного вопроса».

Государственный антисемитизм, с каждым днем набиравший все новые и новые обороты, касался меня самым непосредственным образом. О том, чтобы устроиться на какую-нибудь штатную работу, я не мог даже и мечтать. Тонкий ручеек рукописей, которые я рецензировал по рекомендациям Веры Васильевны Смирновой, медленно иссякал. Какие-то копейки я зарабатывал в «Пионерской правде», отвечая на детские письма. Жена мне помогала. Но жить на эти заработки мы, разумеется, не могли. Жили мы под крылом родителей, и, как это ни стыдно, должен признаться, что тогда это не шибко меня волновало.

Нельзя сказать, чтобы все это меня так-таки уж совсем не трогало. Но при всем при этом я жил с каким-то странным ощущением – можно даже сказать, с уверенностью, что все это – раньше или позже – каким-то образом рассосется. Это чувство было, я бы сказал, физиологическим: вот так молодой здоровый человек живет, не думая о смерти, даже не веря в нее. «Не верит тело», как выразился по этому поводу один поэт.

Вот так же и я, умом понимая, что дело дрянь, «телом» всего этого совершенно не чувствовал.

Отчасти этому, вероятно, способствовало то, что литературные мои дела – как это ни странно – шли не так уж плохо.

В «Литературной газете» появилась большая статья (два подвала), в которой в жизнеутверждающих тонах говорилось о новой плеяде молодых писателей, только что закончивших Литературный институт. Героями этого очерка были мои однокурсники – Володя Тендряков, Володя Солоухин, Юра Бондарев, Гриша Бакланов, Женя Винокуров.

Два хвалебных абзаца в этой статье было уделено и мне. Вернее, моей дипломной работе.

Темой моего диплома была публицистика Эренбурга. Церемония защиты прошла хорошо, друзья даже говорили, что блестяще. Во всяком случае, получил я пятерку. Однако в ходе этой процедуры имел место такой, никем особенно не замеченный и, в сущности, довольно мелкий, но весьма многозначительный эпизод.

Председателем экзаменационной комиссии у нас был Василий Александрович Смирнов – довольно известный в то время писатель.

Это про него позже написал Борис Слуцкий:

– По отчеству, – учил Смирнов Василий, –
их распознать возможно без усилий!
– Фамилии сплошные псевдонимы,
а имена – ни охнуть, ни вздохнуть,
и только в отчествах одних хранимы
их подоплека, подлинность и суть.

Василий Александрович и в самом деле был одним из главных идеологов антисемитизма – если не в стране, то, во всяком случае, в Союзе писателей. В полном соответствии с этим своим качеством он потом стал главным редактором журнала «Дружба народов».

Но в то время, когда он произносил речь на моей дипломной защите, он этих чувств так откровенно еще не проявлял. Держался вполне корректно. Я бы даже сказал, с несколько преувеличенной корректностью.

Преувеличенная эта корректность объяснялась, я думаю, темой моего диплома. Расшаркивался Василий Александрович

не передо мной, а перед Эренбургом. Но кое-что от его расшаркиваний перепало и мне тоже: то ли нарочно, дабы подчеркнуть свою лояльность, то ли это была у него такая постоянная оговорка, но диплом мой он всякий раз, упоминая о нем, почтительно именовал диссертацией.

Реверансы эти, однако, все-таки не помешали ему слегка обозначить истинное свое отношение к теме моего диплома. То есть не к теме, конечно, – тему подвергнуть сомнению он не мог, – а к моей трактовке этой темы.

Поводом стало сопоставление поэтики зарубежных очерков Эренбурга 20-х годов с поэтикой зарубежных очерков Маяковского. Сейчас я уж даже и не помню: сближал я эти две поэтики или противопоставлял их друг другу. Да и дело было не в этом, а в том, что Маяковский и Эренбург в моем сопоставлении (или противопоставлении?) выступали (так, во всяком случае, показалось Василию Александровичу) как две равновеликие фигуры.

– Нет уж, дорогой мой, – поклонился он в мою сторону, – давайте все-таки исходить из того, что у каждого из них – свое место в советской литературе. У Маяковского – свое. (Он сделал при этом некий жест, словно бы отмеряющий масштаб этого места.) А у Эренбурга (снова реверанс) – очень большое, конечно, очень достойное, безусловно заслуженное им, но – свое.

И тут он сделал уже другой жест, показывающий, что место в советской литературе, отведенное вождем «Космополиту № 1», все-таки несоизмеримо с тем, которое занимает в официальной табели о рангах «лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи».

Подтекст этого маленького выпада был безусловно антисемитский. Прежде всего, конечно, в антисемитские тона была окрашена неприязнь Василия Александровича к Эренбургу (Эренбург у них у всех был – как кость в горле). Но каким-то боком этот антисемитизм касался и меня тоже.

То есть это тогда мне казалось, что лишь «каким-то боком». Теперь я понимаю, что именно ко мне, прежде всего ко мне был обращен тот его иронический поклон.

Этим ироническим поклоном он давал понять, что разгадал мой тайный умысел, заключающийся в том, что я хочу поднять

Эренбурга до уровня Маяковского не почему-либо, не в силу каких-то моих (пусть неправильных) литературных взглядов и вкусов, а – как еврей еврея.

Может быть, я и тогда уже почувствовал этот – более глубокий – антисемитский подтекст того эпизода. Но с уверенностью могу сказать, что антисемитская окраска выпада Василия Александровича тогда не слишком меня задела. (Теперь-то я понимаю, что это была не окраска, а – суть.)

Больше всего меня тогда задело, обидело, оскорбило даже, что Василий Александрович, в сущности, оболгал меня. Ведь на самом-то деле я Маяковского любил всем сердцем, всей душой. И совсем не потому, что Сталин назвал его лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи. Маяковский был моим кумиром. Эренбург, публицистические статьи которого (не романы, а именно статьи) я тогда ставил довольно высоко, Маяковскому – по моей собственной тогдашней шкале – и в подметки не годился.

Я прекрасно понимал, что в системе художественных ценностей В.А. Смирнова (кое-какие его книги я читал) Маяковский не мог занимать особенно высокого места. Я не сомневался, что на самом деле он к Маяковскому глубоко равнодушен (чтобы не сказать больше). И вот этот человек учит меня (МЕ-НЯ!), как надо любить и ценить Маяковского!

У любимого моего Михаила Михайловича Зошенко был совершенно замечательный (устный) рассказ. Он существует в разных записях, каждая из которых добавляет к рассказанной писателем истории какую-то свою подробность. Но финальная фраза этого зошенковского повествования во всех пересказах звучит одинаково.

Вот она:

В тот день я понял, что нахожусь в неразрешимом конфликте с обществом, в котором живу.

Не буду пересказывать здесь историю, которую Михаил Михайлович заключил этой фразой. Скажу только, что суть ее состояла в том, что истинные его побуждения, истинные мо-

тивы одного его поступка были истолкованы самым нелепым и диким образом.

Вот именно это случилось и со мною тоже.

Для наглядности расскажу еще одну такую же, так же поразившую меня историю.

Это было уже в иные времена, в конце 60-х. В издательстве «Советский писатель» выходила моя книга «Рифмуется с правдой». Редакцией критики и литературоведения заведовала тогда очень милая (как мне казалось) дама – Елена Николаевна Коныхова. Ко мне она относилась с искренней симпатией.

Книга моя проходила трудно, но Елена Николаевна прохождению ее по разным инстанциям не мешала, а если и мешала, так только в тех случаях, когда по долгу службы уже не могла не вмешаться. В общем, вела себя вполне либерально.

Каково же было мое изумление (я бы даже сказал – шок), когда работавший в той же редакции мой приятель Лева Шубин рассказал мне о разговоре, который она однажды с ним завела.

Речь зашла о моей книге. Елена Николаевна сказала, что книга ей нравится, но ее огорчило, что большинство писателей и поэтов, о которых в ней идет речь, – евреи. Нет-нет, с начальством этим своим наблюдением она ни в коем случае делиться не станет. Просто ее это огорчило. Чисто по-человечески. Она даже представить себе не могла, что во мне так сильны национальные чувства, что именно ими объясняются мои симпатии и антипатии, притяжения и отталкивания.

Я даже не сразу понял, что она имеет в виду.

Дело в том, что те, кого она (совершенно справедливо) считала евреями, для меня таковыми не были.

Маршак в моих глазах (да и не только в моих, а и по официальному своему статусу) не был евреем, потому что ОН БЫЛ МАРШАК. То есть он уже был ВНЕ этих категорий и определений. Эмка не был для меня евреем, потому что проблемы, связанные с его трудной литературной судьбой, были отнюдь не еврейские. И я постоянно обращался к его стихам и обильно их цитировал в своей книге не только потому, что любил их, но еще и потому (главным образом потому), что хотел их – нигде и никогда еще не печатавшиеся – хоть вот так, в

книге моей – опубликовать, обнародовать, сделать, так сказать, достоянием гласности.

Стихотворение Гриши Левина – мало кому известного и, честно говоря, малоодаренного стихотворца – я привел в одной своей статье целиком только лишь потому, что оно помогло мне с наибольшей наглядностью выразить волновавшую меня тогда и очень важную для меня мысль.

Огорчение, высказанное Еленой Николаевной Конюховой, было основано на явном недоразумении. Прежде всего это была неправда: евреи среди тех, о ком я писал в своей книге, все не составляли большинства. Третью моей книги была посвящена Гайдару. Огромное место в ней занимал Маяковский. Большая статья там у меня была посвящена Асееву. Другая большая статья – Винокурову. (Мысль, что Винокуров у нее, видимо, тоже был на подозрении, тогда мне в голову не пришла.)

Да, был там у меня еще Самойлов...

В общем, что говорить! Процентную норму я, конечно, нарушил.

Но если бы речь шла лишь о нарушении процентной нормы, это меня бы не затронуло. Пожалуй, я бы с этим даже согласился. (Я уже рассказывал, что претензии такого рода были тогда для меня, как говорится, в порядке вещей.)

В искреннем огорчении Елены Николаевны Конюховой, которым она поделилась в разговоре обо мне слевой Шубиным, поразило – и ушибло – меня совсем не то, что милая и приятная мне дама оказалась не лучше Олега Прудкова. И даже не то, что арифметика ее была неверна.

Поразило и ушибло меня в этом ее рассуждении совсем другое: полное непонимание истинных моих намерений. Я бы сказал, полная ее неспособность их понять.

Снова, уже не в первый раз, я столкнулся с тем, что с такой убийственной точностью сформулировал Михаил Михайлович Зощенко.

Все прочие конфликты могли (должны были!) так или иначе разрешиться. А этот был неразрешим. И чем удачливее складывались мои литературные дела, тем острее я ощущал всю беспросветность этой ситуации, отсутствие каких бы то ни было надежд на разрешение этого конфликта.

На входе в это величественное здание, так манившее меня когда-то, ясно и четко, огромными плакатными буквами было выведено классическое: «ОСТАВЬ НАДЕЖДУ ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ».

Когда в журнале «Октябрь» появилась первая моя большая статья – «Маяковский и Пушкин» (та самая, на гонорар за которую мы поехали в Крым), «Литературная газета» откликнулась на нее рецензией.

Событие это было по тем временам совершенно невероятное.

На журнальные публикации «Литгазета» откликалась не часто. Да что там журнальные публикации! Удостоиться рецензии в «Литгазете» могла далеко не каждая книга даже известного писателя. А тут – не книга и не повесть или роман (хотя бы даже и в журнале), а всего лишь статья. Да еще никому неведомого молодого автора.

Сам факт появления рецензии (какой бы она ни была) для начинающего литератора был редкой, неслыханной удачей. А тут была не просто рецензия: под откликом на мою статью красовалась подпись – «Д. Благой».

Дмитрий Дмитриевич Благой был одним из главных столпов советской литературоведческой науки, а в пушкинистике едва ли даже и не самым главным. (Во всяком случае – по официальной табели о рангах.) Он был академиком, лауреатом Сталинской премии, автором – а если не автором, то редактором – множества книг и исследований, с единственно правильных позиций устанавливающих истинное место Пушкина не только в литературе, но и в нашей сегодняшней жизни.

Как и в какой микроскоп мог такой человек с высот своего Олимпа разглядеть мою жалкую статью? Что вдруг побудило его – ни с того ни с сего – откликнуться на ее появление?

Скорее всего – неожиданное вторжение какого-то молодого нахала на заповедную, если и не принадлежащую только ему, то, во всяком случае, тщательно им контролируемую территорию.

Но тогда, разумеется, такая кощунственная мысль у меня не возникла. Неожиданным вниманием корифея я был польщен

в высочайшей степени. Тем более что отзыв великого человека был безусловно благожелательным.

Рецензия называлась «Увлекательная тема» – в то время как обнародованная на той же газетной полосе рецензия на книгу маститого украинского литературоведа весьма нелицеприятно именовалась «Схема и факты». Вся первая половина статьи академика, посвященная моей персоне, состояла из комплиментов. И только во второй ее половине в сдержанном и даже, я бы сказал, довольно-таки уважительном тоне высказывались некоторые критические замечания.

Казалось бы, я должен был чувствовать себя счастливым.

Однако, прочитав этот «благожелательный» отзыв классика отечественного литературоведения, я не только не испытал никаких положительных эмоций, а напротив, как-то скис.

Тоска и уныние охватили меня, когда я, проглотив все комплименты, добрался до критических замечаний.

Чтобы объяснить природу этого уныния и этой тоски, мне придется, наверно, уделить этой теме чуть больше места, чем я предполагал, и уж наверняка больше, чем это будет интересно читателю. Но тут уж ничего не поделаешь – без этого мне будет трудно (даже сейчас) разобраться в тогдашних моих чувствах и ощущениях.

Автор, – *сравнительно мягко* пенял мне Д. Благой, – приводит слова Маяковского: «... хорей и ямбы мне никогда не были нужны, и я их не знаю. Я не знаю их и не желаю знать. Ямбы задерживают движение поэзии вперед...» Далее говорится о том, что в представлении Маяковского «живому, сегодняшнему Пушкину тоже были бы тесны эти каноны», в доказательство чего цитируется известное:

Вам теперь

пришлось бы

бросить ямб картавый

и т.д.

При этом Б. Сарнов не только не оговаривает ошибочности этих слов, но, по существу, и соглашается с ними.

Заканчивалась рецензия так:

Вопрос о традициях стихосложения Маяковского сложнее и не укладывается в рамки той однолинейной схемы, которая дается в данной статье.

Только обратившись к непосредственному изучению реального литературного процесса, развивающегося — во всей его сложности и многообразии — в теснейшей связи с жизнью народа, можно до конца решить и увлекательную тему о Маяковском и Пушкине.

Друзья, от которых я не смог утаить свое огорчение, решили, что обескуражил меня этот кисло-сладкий финал (начал, мол, за здравие, а кончил за упокой). И дружно осудили меня, назвав чуть ли не сумасшедшим: радоваться должен, болван, что сам Благой тебя заметил и, так сказать, в гроб сходя — ну, еще не совсем сходя, — благословил...

Они не понимали, что тоска и уныние, которые нагнал на меня своим «благожелательным» откликом Дмитрий Дмитриевич, были совсем иного рода.

Вообще-то, одной только дежурной фразы о «теснейшей связи с жизнью народа» тоже вполне бы хватило, чтобы вогнать меня в эту тоску. Но главное было тут все-таки не в ней, не в этой дежурной фразе. И даже не только в том, что я обиделся за Маяковского, утверждение которого, представлявшееся мне безусловной истиной, Благой посмел назвать ошибочным.

Ведь эти слова Маяковского представлялись мне безусловной истиной совсем не потому, что авторитет Маяковского был для меня непререкаем. Просто я чувствовал так же, как он. Всею кожей ощущал, что гул времени, в котором мне — всем нам — выпало жить, невозможно поэтически выразить «в пределах пушкинского словаря и синтаксиса».

Но дело тут было совсем не в моей правоте или неправоте. Не в том, справедливы были обращенные ко мне упреки Благого или несправедливы.

Хуже всего было то, что я даже готов был признать их справедливыми. Ведь я же искренне глядел тогда на академика,

удостоившего меня своим «благожелательным» отзывом, снизу вверх.

О Мандельштаме тогда я что-то, наверно, уже слышал. Но до времен, когда впервые попали мне в руки напечатанные на пишущей машинке через один интервал листки папиросной бумаги с мандельштамовой «Четвертой прозой», должно было пройти еще лет пятнадцать.

Жадно проглотив этот вылившийся на бумагу истощенный вопль загнанного в угол гения, я наткнулся там на такие строки:

В Доме Герцена один молочный вегетарианец — филолог с головенкой китайца — этакий ходя — хао-хао, шанго-шанго — когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, — сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина.

А я говорю — к китайцам Благого — в Шанхай его, к китаезам! Там ему место! Чем была матушка филология и чем стала! Была — вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-кровь, стала — все-терпимость...

Если бы тогда, в 1953-м, кто-нибудь ткнул меня носом в этот яростный монолог, у меня, наверно, сразу бы стало «легко на сердце», как «от песни веселой». Я бы, наверно, даже подумал, что не огорчаться мне надо по поводу кисло-сладкого отзыва этой «лицейской сволочи, разрешенной большевиками», а напротив, гордиться тем, что этот отзыв именно таков.

Но для этого надо было прожить еще целую жизнь. А тогда (повторю еще раз), я не только смотрел тогда на Благого снизу вверх, но и искренне готов был поверить, что прав он, а не я. Уровень его знаний, эрудиции, тонны написанных и изданных им книг, его высокий (так мне тогда казалось) научный авторитет — все это заставляло меня относиться к его суждениям с известным пиететом.

Но вот что странно! Эта готовность признать его правоту не только не смягчала, а напротив, лишь еще больше усиливала накатившую на меня тоску.

Я, наверно, не сумел бы это четко сформулировать, но смутно ощущал, что не Пушкина защищает от меня (и от Маяковского) академик Благой, а официальную тогдашнюю государственную эстетику, согласно которой в стране есть только два «правильных» театра (МХАТ и МАЛЫЙ) и только три «правильных» поэта (Исаковский, Твардовский, Сурков). И никаких Мейерхольдов и Вахтанговых, никаких Пастернаков, Багрицких и Сельвинских! Любой шаг в сторону рассматривается как побег.

В уныние и тоску меня вогнали не критические замечания, содержащиеся в рецензии Благого, а ее ОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПАФОС.

Я, в общем-то, готов был признать, что, может быть, и в самом деле заблуждаюсь. Но я хотел расставаться со своими заблуждениями САМ, самостоятельно, в ходе собственных выводов и размышлений. А мне сразу, на самом пороге этих размышлений было сказано: СТОП! СЮДА НЕЛЬЗЯ!

Нельзя – и все тут. И нечего тебе туда соваться: все уже решено до тебя и без тебя.

Мне, стало быть, отводилась роль попугая. Или – выражаясь чуть мягче – вместо сочинения предлагалось писать диктант.

Девочка, сказавшая мне когда-то, что не сможет меня полюбить, потому что я организую свою партию (в это время она уже была моей женой), на все эти мои грустные размышления (высказанные, разумеется, в гораздо более туманной и сбивчивой форме) отреагировала так:

– Все это нормально. И знай: у тебя так будет всегда. Потому что ты всегда будешь высказывать какие-то свои мысли, отличающиеся от общепринятых. И всегда будут находиться люди, которым это будет мешать.

Эти ее слова польстили мне, пожалуй, даже больше, чем то, давнее ее высказывание насчет того, что я организую свою партию. И сама ее мысль тоже пришлась мне по душе, хотя от нее слегка повеяло на меня классическим конфликтом советской литературы: борьбой смелого новатора с консерваторами. С той только разницей, что в советских романах новатор всегда побеждал, а мне жена предрекала не победу, а, так сказать, вечный бой.

Но это меня как раз не смущало. Напротив: только еще больше подогревало мою гордыню. Сказал же мой любимый поэт: «Где, когда, какой великий выбирал // путь, чтобы про-топанней и легче».

Польстившее мне высказывание моей жены слегка меня утешило. Но – ненадолго. Потому что я знал, что в действительности дело обстоит гораздо хуже.

Нет, мой конфликт «с обществом, в котором я живу», не укладывался в классическую советскую схему борьбы новатора с консерваторами. Он был глубже.

Печататься я начал еще студентом. Первая моя рецензушка в «Литгазете» появилась в 1948 году. За ней, с более или менее длительными перерывами, но довольно регулярно, появлялись и другие.

Видеть свою фамилию напечатанной типографскими буквами – что греха таить – было приятно. Но сами тексты, под которыми – или над которыми – эта фамилия стояла, меня не радовали.

Поскольку пишу я не исторический и даже не психологический очерк, а хоть и странные, но все-таки мемуары, расскажу один связанный с этими делами эпизод.

Политэкономии нам преподавал Григорий Александрович Белкин (в имени не очень уверен, но фамилию и отчество помню хорошо). Это был живой, подвижный, рано начавший лысеть человек с острыми, умными глазами.

На его лекции и семинары ходило человек пять-шесть, остальные старались увильнуть. Но я эти лекции и семинары не пропускал.

Не могу сказать, чтобы политэкономия так уж меня привлекала, но Белкин мне нравился: слушать его было интересно. А после одного случая у нас с ним установились особые отношения, выразившиеся, впрочем, лишь в мимолетном переглядывании насмешливыми, понимающими взглядами.

Случай был такой.

Рассказывая нам о политэкономии социализма, Григорий Александрович однажды сказал, что одно из самых очевидных преимуществ социалистического способа ведения хозяйства

состоит в том, что у нас – один хозяин. При капитализме, например, газ принадлежит частной газовой компании, электричество – другой, скажем, «Дженерал электрик», водопровод – третьей, канализация – четвертой. И если произойдет одновременно какая-нибудь авария, скажем, электрического кабеля и газовой трубы, ликвидировать эти две аварии надо будет по частям, с каждой компанией сговариваясь отдельно. А у нас это можно сделать одновременно, потому что и газ, и электричество, и вода – все принадлежит одному хозяину, государству.

– У вас есть вопрос? – обратился он ко мне, увидав, что в этот момент я как-то дернулся, может быть, даже поднял руку.

Я встал и сказал:

– Если все так, как вы говорите, объясните, пожалуйста, почему в переулке рядом с нашим институтом вырыли большую канаву, долго что-то там ремонтировали, потом опять зарыли. А месяц спустя опять вырыли и опять зарыли. И все время, сколько я учусь в этом институте, они все роют, засыпают землей, снова роют и снова засыпают...

Выслушав мой вопрос, Белкин пожал плечами и буркнул:

– Ну, это просто головотяпство, бесхозяйственность...

И в свойственной ему иронической манере заключил цитатой из «Двенадцати стульев»:

– К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это отношения не имеет...

Однако при этом он как-то очень внимательно на меня поглядел. Даже как будто что-то просигналил мне глазами.

Но тут же, сразу, как ни в чем не бывало продолжил свою лекцию с того самого места, на котором я его прервал.

Вот с тех пор мы с ним и стали переглядываться. Молча.

После этого случая никаких вопросов я ему больше уже не задавал. Но он мне однажды задал.

Проходя по проходу между столами, которые мы по-школьному называли партами, он, встретившись по обыкновению со мной глазами, вдруг остановился и сказал:

– Читал сегодня в «Литературке» вашу статейку. Ну и другие статейки, конечно, тоже. Все написаны будто под диктовку... Интересно, вы сами так пишете? Или это они так делают.

– Это они так делают, – сказал я.

Он кивнул понимающе, словно говоря: «Ну да, так я и думал», – и, не добавив больше ни слова, вернулся к проблемам политэкономии социализма.

Не только мне, но даже и ему, наверное, тогда казалось, что ЭТА проблема (то, что ОНИ там, в редакциях, «со статьями совершают вдвойне кощунственный обряд: как православных их крестят и как евреев обрезают») «к пожарной охране», то есть к политической экономии социализма, уж точно никакого отношения не имеет. На самом деле, однако, имела. И самое прямое.

Полная ясность на этот счет у меня появилась гораздо позже. Я даже могу более или менее точно сказать, когда именно.

Весной 1968 года приехал в Коктебель, где я тогда наслаждался солнцем и морем уже второй месяц (второй срок, как мы тогда говорили), мой друг Боря Балтер. И с ходу предложил мне:

– Давай напишем письмо против цензуры. Подпишут очень многие. Я ручаюсь.

В моем согласии он не сомневался.

То была эпоха писем. Письмо в защиту Синявского и Даниэля. Письмо в поддержку Солженицына. Письмо в защиту Гинзбурга и Галанкова. Еще какие-то... Все эти письма мы с ним подписывали, а одно (в поддержку обращения Солженицына к съезду писателей, где, между прочим, речь шла и о цензуре тоже) даже вместе сочинили... Поэтому Борис был просто изумлен, когда я сказал ему, что ни писать письмо против цензуры, ни даже подписывать, если его сочинит кто-нибудь другой, я не стану.

В запальчивости я даже сказал, что лично мне цензура не мешает.

Это, конечно, была наглая ложь. Цензура тогда обрела неслыханную власть. Цензор обладал правом запрещать любой текст, не прибегая ни к каким аргументам, а просто заявив, что он углядел в нем какие-то аллюзии. Или – неконтролируемый подтекст.

Тем не менее даже тогда я вполне искренно считал, что цензура не главное зло. Я хорошо помнил времена, когда цензор

был озабочен только тем, чтобы в визируемый им текст не проникла фамилия какого-нибудь «врага народа» или засекреченное название какого-нибудь военного объекта. Что же касается других цензорских функций, то их – при этом весьма тщательно (никакому главлитчику такая тщательность тогда даже и не снилась) – выполнял редактор.

Именно поэтому я и сказал Борису, что какое бы замечательное письмо мы с ним ни сочинили и сколько бы подписей ни собрали, цензуру все равно, конечно, не отменяют. А главное, даже если и отменят, все равно ничего не изменится.

– А что же, по-твоему, надо сделать, чтобы все изменилось? – спросил ошеломленный таким неожиданным аргументом Борис. – Чего бы ты хотел?

– Я бы хотел, – сказал я, – принести свою рукопись не в государственное издательство, а братьям Сабашниковым.

– Ах, так? – насмешливо парировал мой друг. – И что бы ты понес этим своим братьям Собачкиным?

У Бориса была одна маленькая слабость, над которой все мы, его друзья, добродушно потешались: он вечно путал и отчаянно коверкал на свой лад все, даже самые знаменитые фамилии.

Однажды, помню, он подбросил меня на такси на улицу Калачова и скомандовал таксисту:

– А теперь вези меня на набережную Тэрэзы.

– Какой Тэрэзы? – удивился водитель.

– Я тебе русским языком говорю, – довольно раздраженно ответил ему Боря. – На набережную Морисы Тэрэзы!

Вот и в этот раз, когда Боря так комично переврал фамилию известных русских книгоиздателей братьев Сабашниковых, назвав их Собачкиными, я только посмеялся над его вопросом. Хотя вопрос, как это теперь мы все хорошо понимаем, был совсем не глуп.

Но тогда мне даже и в голову не пришло всерьез задуматься над тем, какую рукопись я понес бы братьям Сабашниковым, если бы таковые вдруг у нас объявились. Да и зачем я стал бы об этом думать, если совершенно очевидно было, что никакие братья Сабашниковы уже никогда, ни при какой погоде у нас не появятся.

Представить себе существование частного книгоиздательства в нашей советской действительности мне тогда было так же трудно, как, скажем, вообразить, что решением какого-нибудь очередного пленума ЦК КПСС будет признано целесообразным короновать на царство Владимира Кирилловича.

Это была даже не фантазия, это был БРЕД.

В 49-м или 50-м, когда Григорий Александрович Белкин поинтересовался у меня, сами ли авторы «Литературной газеты» пишут свои статейки словно под диктовку или это в редакции их обстругивают так тщательно, что все они выходят на одно лицо, я, конечно, еще не понимал так ясно, что всему виной тут та самая политическая экономия социализма, основы которой преподавал нам Григорий Александрович. Но и тогда уже я прекрасно понимал, что причина – не в личном произволе (или, скажем, неграмотности) моих редакторов, а в СИСТЕМЕ. И систему эту мне (да и не только мне, а всем авторам «Литгазеты», и не только «Литгазеты») не прошибить.

В те времена, когда я делал первые робкие свои попытки «войти в литературу», в литературных кругах была популярна такая острота: «Телеграфный столб – это хорошо отредактированная сосна». Говорили, что пустил ее в оборот Зяма Паперный. Похоже на то. Но суть не в том, кто был автором этой замечательной формулировки, а в том, что она, в сущности, не содержала в себе ни малейшего преувеличения. Задача каждого советского редактора, как он ее понимал, состояла именно в том, чтобы любое живое дерево, будь то сосна, ель, клен или липа, довести до блеска тщательно обструганного и гладко отполированного телеграфного столба.

Глуп или умен был редактор, был он блистательный эрудит или темный невежда – все это никакой роли не играло. Эрудит и высокий профессионал для автора был даже опаснее малограмотного и неопытного дебютанта. Но и самые неопытные быстро наблатыкивались и обретали поистине сверхъестественную чуткость.

Юрий Карлович Олеша, накопивший огромный опыт общения с советскими редакторами, сказал однажды:

– Приносишь рукопись редактору, и тот сразу безошибочно точным ударом выкалывает ей глаз.

В этой замечательной метафоре содержится, конечно, некоторое преувеличение. В ней даже ощущается некоторый, я бы сказал, мистический ужас, внушаемый жертве палачом. Ужас, заставляющий жертву невольно преувеличивать не только безграничную власть палача, но и его сверхъестественную проницательность, граничащую с всеведением. Ну откуда, в самом деле, у тупого и невежественного редактора (а такие все-таки составляли большинство) вдруг возьмется это точное и безошибочное знание? Как может он с такой поразительной точностью определить, где именно в принесенной ему рукописи находится глаз?

Объясняется это куда как проще.

У истинного художника (каковым, безусловно, был Юрий Олеша) куда ни ткни – всюду глаз. На какую бы реплику или фразу в принесенной ему рукописи ни посягнул редактор, у бедняги автора тотчас же возникает уверенность, что именно вот эта реплика или фраза – самая важная, что именно от нее ему отказаться невозможно, невысказано. И при мысли, что отказаться, как ни сопротивляйся, все-таки придется, возникает явственное ощущение острой физической боли, словно это не рукописи, а тебе самому ткнули пальцем не куда-нибудь, а именно в глаз.

Я никогда не был таким тонким и чутким художником (с содранной кожей), как Юрий Карлович Олеша. А уж в ту пору, о которой идет речь, и вовсе не искал «речи точной и нагой». Писал – как придется. Как бог на душу положит.

Но попадая в объятия редактора, испытывал тот же ужас жертвы перед пыточным застенком, что и Юрий Карлович. Ощущения, что у очередной моей рукописи «выкалывают глаз», у меня не было. Но ведь выкалывали не только глаза: отрубали пальцы, обстригивали нос и губы, подрезали торчащие уши. Все происходило точь-в-точь как в анекдоте про человека, который изобрел автомат для бритья: вставляешь голову в дырку, а там две автоматические бритвы обрабатывают твою физиономию. Два-три взмаха – и ты побрит.

– Но позвольте, – говорят изобретателю, – ведь лица у всех разные!»

На что тот безмятежно отвечает: «Первый раз – да!»

Попадая в объятия очередного редактора, я чувствовал себя так, словно сунул голову вот в такой «бритвенный автомат». В моем случае уберечь свое лицо от полного оболванивания было невозможно по той простой причине, что, имея дело с молодым, начинающим, редактор норовил если не вычеркнуть, так переписать на свой лад буквально каждую живую фразу.

Впрочем, и неживую тоже.

Помню, написал я однажды, что автору рецензируемой книги удалось выразить мироощущение моего сверстника, нашего современника. Когда рецензия появилась на свет, вместо этой – довольно убогой, по правде сказать, – фразы я прочел, что автору удалось «создать полноценный художественный образ молодого человека сталинской эпохи».

Ну, тут, положим, редактор проявил свое политическое чутье. Но обычно никакой политикой в моих взаимоотношениях с редактором в те времена даже и не пахло. Да и не давал я тогда своим редакторам никаких поводов для политической редактуры.

Сравнительно недавно один мой приятель рассказал мне такую историю.

В первые месяцы войны обнаружилась полная профессиональная несостоятельность всех советских маршалов. «Первый красный офицер» Клим Ворошилов и создатель Первой конной Семен Михайлович Буденный не могли воевать с танками Гудериана. Необходимо было не только заменить стариков новыми, молодыми командармами, но и как-то объяснить народу, почему легендарные полководцы Гражданской войны, о воинских доблестях которых слагались оды, гремели песни и марши, оказались вдруг профнепригодными.

Эту задачу выполнил писатель Александр Корнейчук своей пьесой «Фронт».

Пьеса печаталась в «Правде» и по своему значению смело могла быть приравнена к постановлению ЦК.

Ходили слухи, что Сталин сам, лично правил текст пьесы, вымарывая одни реплики и заменяя их другими.

Мой приятель, рассказывавший мне про это, был тогда од-

ним из самых любимых учеников Ильи Львовича Сельвинского. И вот в одну из очередных своих встреч с учителем, он передал ему этот ходивший тогда слух.

Выслушав его, Илья Львович сказал:

– Настоящий писатель на такое никогда бы не согласился. Я бы, во всяком случае, не смог.

– А что бы вы сделали на его месте? – спросил ученик.

– Если бы я оказался в положении Корнейчука, – ответил Сельвинский, – я бы сказал: «Товарищ Сталин! Вы сформулируйте вашу мысль, а я выражу ее своими словами».

Рассказывал мне эту историю мой приятель, разумеется, «в тоне юмора». И нетрудно догадаться, куда было направлено жало этой его художественной сатиры.

Я тоже смеялся над комичной репликой сервильного поэта. Над его наивностью (так Сталин и позволил бы ему выражать «своими словами» его, сталинские, мысли!). Но самым комичным тут нам, конечно, представлялось не это, а его готовность согласиться с жалкой ролью оформителя чужих идей, выражать любую мысль, какую ни продиктует ему «Хозяин», оставляя себе лишь скромное право на форму выражения этой мысли.

Но расскажи мой приятель мне эту историю в 1948 году, я вряд ли стал бы над ней смеяться.

Во всяком случае, тогда, делая самые первые свои шаги на ниве литературной критики, я, наверное, охотно бы подписался под этой формулой Сельвинского.

Никаких таких уж особенных своих мыслей у меня тогда не было. А если даже и были, «протаскивать» их в своих рецензиях сквозь сито советской цензуры я тогда (не то что потом!) уж точно не собирался.

Рецензию мне обычно заказывали (предлагали на выбор несколько книжных новинок). Чаще всего – как бы само собой – предполагалось (хотя, заказывая, никто мне этого не говорил), что рецензия должна быть «положительная».

Я не возражал. Я хотел только одного: написать эту свою «положительную» рецензию своими словами. И чтобы вот так, как оно у меня написалось, это и напечатали.

Но вот это-то как раз и было невозможно.

Писать «своими словами» почему-то было нельзя.

Иногда какие-то неведомые мне редактора сами – без меня – проделывали эту работу. Не исключено, что на разных стадиях прохождения рукописи каждый вымарывал и переписывал то, что задело именно его. Но так или иначе, купив номер «Литгазеты» с очередной какой-нибудь своей статейкой, я не узнавал в опубликованном тексте почти ничего. Кроме разве что своей фамилии, появление которой, как я уже говорил, на первых порах тоже меня тешило.

Но иногда мне случалось работать с редактором вместе, «в четыре руки» калеча написанный мною первоначальный вариант.

Особенно запомнилась мне такая совместная работа над какой-то моей рецензией в журнале «Знамя». Даже фамилию моего тогдашнего мучителя помню: Уваров. Юрий, по-моему. Отчество забыл.

Он почему-то хотел переписать каждый мой абзац, каждую фразу.

Относился он ко мне при этом очень доброжелательно. От всей души хотел «как лучше». Но получалось – «как всегда».

В отличие от других редакторов, он был особенно добросовестен, проявлял особое рвение. Но при всем при том было совершенно очевидно, что в этом его бешеном стремлении «улучшить» мой текст проявлялись не только собственные, личные его представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (хотя, конечно, и они тоже), но нечто более мощное и властное, стоящее за его спиной и велящее ему поступать именно таким образом.

Сейчас я, конечно, уже не помню, какие слова и обороты в моей рецензии он вычеркивал или заменял другими. (Даже и ту рецензию свою не помню).

Но человеческая память – странная вещь. Вот сейчас вдруг выскочила откуда-то из самых ее глубин одна фраза, которую он выправил на свой лад: видно, эта правка особенно больно меня задела, потому и запомнилась.

«Автору удалось», – писал я. А может быть, наоборот, «не удалось». Точно не помню. Да это в данном случае и неважно. Но дальше помню – слово в слово, как у меня это было сказано:

Автору удалось (черт с ним, пусть будет «удалось») передать мудрое обаяние медлительной сталинской речи.

По фразе этой, как по одной косточке восстанавливают весь скелет какого-нибудь доисторического животного, можно предположить, что речь в той моей рецензии шла о повести Петра Павленко «Счастье».

– Что это такое – «мудрое обаяние»? – поморщился Ю. Уваров. – По-русски так сказать нельзя.

И быстро заработал своим редакторским карандашом, после чего моя замечательная фраза стала выглядеть так:

Автору удалось передать обаяние мудрости, исходящей от каждой реплики товарища Сталина.

Еще раз хочу подчеркнуть, что хоть правка эта касалась «лично товарища Сталина», продиктована она была отнюдь не политическими, а чисто стилистическими соображениями. Свою фразу о «мудром обаянии медлительной сталинской речи» я сочинил не потому, что в таком восторженно-раболепном тоне полагалось писать о вожде, а, что называется, по зову сердца. (Это было в пору той пылкой моей влюбленности в Сталина, о которой я уже рассказывал.) И так больно ранила меня эта уваровская правка не потому, что она изменила смысл сказанного. Просто «мудрое обаяние медлительной сталинской речи» выражало то, что я хотел сказать. И выражало, как мне казалось, хорошо. Пожалуй, даже художественно. А «обаяние мудрости, исходящей от каждой реплики товарища Сталина», – ничего не выражало. Это был штамп: такой же, как «образ молодого человека Сталинской эпохи».

Я даже готов был согласиться, что «обаяние мудрости» – правильное, грамотнее, чем «мудрое обаяние». Хотя – писал ведь мой любимый Маяковский какому-то начинающему поэту:

Старый поэт, определяя автобус, скажет: «Автобус, тяжелый как ночь».

Новый говорит: «Ночь грузная, как автобус».

Старый скажет: «Мелочь (деньга), как звезды (сияла, что ли)».
Новый говорит: «Звезда мелочье».

Может быть, это мое «мудрое обаяние» вместо правильного «обаяния мудрости» написалось у меня под влиянием (не слишком осознанным) заветов Владимира Владимировича, объяснявшего молодому поэту, что у него «хорошо, по-лефовски», а что – «плохо, по старинке».

Но мои стилистические разногласия с Ю. Уваровым не были спором разных литературных направлений и школ. Я вовсе не настаивал на своей приверженности какой-нибудь определенной – допустим, лефовской – эстетике. Я просто хотел быть самим собой.

А мешали, не позволяли мне быть самим собой не редакторы, не конкретный какой-нибудь Уваров. Не позволяла – СИСТЕМА. И имя этой системе было – СОЦИАЛИЗМ.

Это я понимал уже тогда. Может быть, не так ясно формулировал, но – понимал.

Я с грехом пополам еще мог поверить, что насчет канавы около Литинститута, которую то раскапывали, то закапывали, ровняли с землей, заливали асфальтом и, не успев закопать и заасфальтировать, тут же снова взрывали отбойными молотками и опять раскапывали, – что насчет этой злосчастной канавы Григорий Александрович Белкин был прав. Готов был поверить ему, что это и впрямь – частный случай, результат разгильдяйства и бесхозяйственности, а социализм тут решительно ни при чем. Но насчет профессии, которую я для себя избрал, у меня уже тогда не было никаких сомнений. Я точно знал, что литературе, искусству эта система несет смерть. Автоматически убивает, истребляет, уничтожает каждую живую клетку.

В этом меня утверждал не только мой собственный – тогда еще все-таки очень маленький – профессиональный опыт, но и все, буквально все, что происходило тогда, как говорится, на ниве изящной словесности.

Критика изгалялась над новыми книгами Каверина и Касиля. Да, эти их новые книги действительно были слабее любимых мною в детстве «Кондуита и Швамбрании» и «Двух ка-

питанов». Но тусклые, безликие сочинения разных Прилежаевых, Мусатовых и Воронковых, которые теми же критиками противопоставлялись Каверину и Кассилю, превозносились как высшие достижения советской детской литературы – они вообще были «за гранью». Как выразился когда-то в своем «Гамбургском счете» мой учитель Виктор Борисович – не доезжали до города.

А на сцене главного театра страны, на этой знаменитой сцене, прославленной премьерами Чехова и инсценировками Достоевского и Толстого, шла бездарная «Зеленая улица» никому не известного Сурова. И высшим достижением литературы был признан «Кавалер Золотой Звезды» ничтожного Бабаевского. И молодой Бондарчук, сыгравший этого «Кавалера» в кино, получил звание народного артиста СССР.

Из-за этого мы, помню, вдрызг разругались с женой. Она доказывал, что Бондарчук, что бы я ни говорил, талантливый актер. А я только пожимал плечами: ладно, хорошо, допустим, талантливый. Но не настолько же, чтобы поставить его в ряд с Москвиным и Качаловым, Добронравовым и Хмелевым.

Суть происходящего с присущей ему лукавой иронией выразил однажды наш друг Гриша Поженян. Мы втроем – я с женой и он – пошли как-то в кино. Конечно, я не помню, как назывался тот фильм: что-то про забой, про шахтеров, стахановцев...

Протискиваясь ко мне сквозь толпу выходящих из кинотеатра людей (во время сеанса мы сидели в разных концах зала), Гришка, усмехаясь, громко сказал:

– Ну, как тебе понравилась главная роль, которую играл угольный комбайн?

Угольный комбайн был тогда, наверно, последним достижением нашей техники, и его действительно при каждом удобном и неудобном случае показывали нам крупным планом, надолго задерживая на разных его частях внимание зрителя. Но смысл поженяновой реплики, конечно, выходил далеко за пределы этого частного случая. Этот несчастный угольный комбайн, игравший главную роль в том забытом мною фильме, стал для нас символом всего тогдашнего советского искусства.

Больше всего меня угнетало, конечно, то, что мне, как я сказал потом об этом Виктору Борисовичу Шкловскому, НЕ ДАЮТ РОДИТЬСЯ. Что эта проклятая система не дает (и никогда не даст) мне ни малейшего шанса БЫТЬ САМИМ СОБОЙ. У самого Виктора Борисовича, у того же Эренбурга, поэтике которого я посвятил свой диплом, этот шанс был, потому что они стали писателями еще до революции – до, как говорил Остап Бендер, эпохи исторического материализма.

У меня этого шанса уже не было.

Да что говорить обо мне! Его не было бы даже у Чехова, родился он в советское время. Даже ему не позволили бы писать рассказы о «пепельницах». Заставили бы писать об угольных комбайнах.

Пятый пункт, невозможность устроиться на работу, даже это жуткое «дело врачей» и слухи о том, что для евреев где-то на Дальнем Востоке уже выстроили бараки, – все это, думал я тогда, не относится к тому, что Сталин называл «постоянно действующими факторами».

Этот мой телесный оптимизм («не верит тело»), хоть в конце концов он и подтвердился дальнейшим развитием событий, говорил, конечно, о глубочайшей моей тогдашней наивности. Но было, было у меня тогда такое дурацкое ощущение, что раньше ли, позже, а эта черная полоса пройдет. Не может же она длиться вечно!

А вот невозможность быть самим собой – это навсегда. Это – до скончания дней. Это – навеки.

ДЫХАНИЕ ЧЕЙН-СТОКСА

О Сталине я в жизни думал разное.

Борис Слуцкий

1

Смысл странноватого названия этой главы поймут не все. Но многие из тех, для кого 5 марта 1953 года стало важной вехой в их жизни, сразу сообразят, в чем тут дело.

А для меня за этими словами встает еще и такая история.

Был у меня такой знакомый – Юра Гастев.

Когда меня с ним познакомили, я сразу подумал, что это, наверно, «сын Гастева». Так оно и оказалось.

Отец Юры был – «тот самый Гастев», Алексей Капитонович, известный в 20-е годы поэт, основатель «Центрального Института Труда», ученый, уже тогда предвосхитивший некоторые идеи, на основе которых позже возникла новая наука – кибернетика. В 1938 году он был арестован и сгинул в сталинских лагерях.

Но когда я спросил у приятеля, познакомившего нас, правда ли, что Юра – сын «того самого Гастева», тот обиженно возразил, что правильнее было бы говорить, что Алексей Капитонович – это отец «того самого Гастева», то есть Юры.

Юра и в самом деле был человек, быть может, не менее замечательный, чем его знаменитый отец.

Я знал его мало – видел, наверно, всего два или три раза в жизни. Но в один из этих разов он показал мне только что вышедшую свою книжечку, вокруг которой – сразу по ее выходе в свет – разгорелся крупный скандал.

Книжка была специальная. Вообще-то это была его диссертация. В жизни своей Юра занимался разными вещами: математикой, философией, участвовал в выпуске правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий», из-за чего в конце концов вынужден был эмигрировать (закончил он свои дни в Америке, в городе Бостоне), и даже писал совсем недурные стихи. Но диссертацию свою он защитил на сугубо специальную тему (то ли по математике, то ли по математической логике), и понять ее я, разумеется, был не в состоянии.

Показывая ее мне, Юра, конечно, и не предполагал, что она может меня заинтересовать сама по себе.

А о скандале я уже слышал: среди тех, кого автор благодарил за помощь, оказанную ему в работе, был назван академик А.Д. Сахаров, упоминать которого в то время можно было, только поливая его бранью и отмежевываясь от его крамольных идей.

Когда Юра показал мне оборот титульного листа с перечнем фамилий, в числе которых была и фамилия опального академика, я сказал, что да, мол, уже слышал про это. Но он, не отнимая книгу от моих глаз, ткнул пальцем в другую, следующую строчку, слегка отстоящую от общего списка:

Особую благодарность автор выражает профессорам У.Х. Чейну и Л.А. Стоксу, без помощи которых эта книга никогда бы не увидела свет.

Я, конечно, сразу сообразил, кто такие У.Х. Чейн и Л.А. Стокс (за точность инициалов не ручаюсь) и чем был обязан им автор. Но оказалось, что за этими строчками не только намек на всем нам хорошо известные обстоятельства, но – целая история, которую он тотчас же нам рассказал.

5 марта 1953 года Юра встретил, кажется, уже на воле: свой срок в сталинском лагере он к тому времени уже отсидел.

Не могу сказать точно, не знаю, попал он туда как ЧСИР – член семьи изменника родины – или пришили ему какую-то свою, отдельную статью. Но это, наверно, особой роли не играло, как и срок, который ему намотали, поскольку все зэки, сидящие по политическим статьям, знали, что и после оконча-

ния срока их все равно на волю не выпустят, а если и выпустят, то скоро опять возьмут, повторно. Так что даже оказавшись – по счастливой случайности – на воле, Юра не переставал чувствовать себя лагерником.

Итак, 5 марта 1953 года: как гром среди ясного неба грянуло известие о болезни вождя. А затем – бюллетени, где мелькали малопонятные, а то и вовсе непонятные простому человеку слова и выражения: «поражение стволовой части мозга», «кислородная недостаточность», «больной находится в стопорном состоянии...» И среди них – самое непонятное из непонятных: «Дыхание Чейн-Стокса».

С тревогой и надеждой вслушивались тогда в эти передававшиеся по радио бюллетени миллионы людей.

С тревогой и надеждой вслушивались в них и ээки.

Но у них и тревога была другая (неужели выживет?), и надежда тоже – своя (а может, все-таки подохнет?).

Юрины друзья-солагерники не в силах были томиться этой неизвестностью. Но отыскался среди них какой-то ээк с медицинским образованием – может быть, даже профессор – и подступились они к нему с расспросами. И кто-то из них спросил:

– А дыхание Чейн-Стокса – это что значит?

– А дыхание Чейн-Стокса, – усмехнувшись, ответил «профессор», – это, братцы, значит – полный пиздец.

И до знакомства с Юрой Гастевым, до этого его замечательного рассказа мы с друзьями каждый год 5 марта собирались и пили за этот красный день календаря, круто изменивший всю нашу жизнь. Но после того как я услышал эту историю, на всех таких наших посиделках я всегда норовил провозгласить тост «за профессоров Чейна и Стокса».

И это было справедливо. Ведь все мы (во всяком случае, многие из нас) «профессорам Чейну и Стоксу» были обязаны не меньше, чем Юра Гастев.

Но в тот день, когда я услышал по радио про «дыхание чейн-стокса» и понял, что это «полный пиздец», мною владели совсем другие чувства.

Когда появились первые сообщения о болезни Сталина, мне казалось, что во всей стране не найдется ни одного человека, который относился бы к этим тревожным сообщениям равнодушно или хотя бы просто спокойно.

Это, конечно, было не так. Вскоре я имел случай убедиться, что множеству людей это событие было, что называется, до лампочки.

Но сам я, безусловно, принадлежал к тем, кто вслушивался в эти бюллетени с надеждой и тревогой. Причем совсем не с той тревогой («Неужели выживет, гад!») и не с той надеждой («Бог даст, все-таки окочурится, откинет копыта»), с какой слушал эти сообщения Юра Гастев и миллионы его товарищей-зэков.

Не то что с тревогой – со страхом, даже с ужасом вслушивался я в эти бюллетени: «Нет, не может быть! Он не может умереть! Это было бы слишком ужасно! Кавказцы долго живут. Он сильный, он выкарабкается...»

Та моя патологическая влюбленность в Сталина, о которой я рассказывал, была, как я уже не раз об этом говорил, не чем иным, как сублимацией страха: страх от сознания, что я повис над бездной ГУЛАГА, претворился в истерическую любовь к Старшему Брату.

Но и эта моя искусственная любовь к 53-му году уже сильно повыветрилась. Да и тогда, в 49-м, 50-м, 51-м, когда она еще целиком владела мною, эта истерическая любовь удивительным образом сочеталась с тайной, загнанной куда-то в самый глухой и темный угол сознания нелюбовью: к его низкому лбу, к его сапогам, к неуклюжим, тяжеловесным оборотам его речи (при всем ее «мудром обаянии», которое так меня восхищало).

Это была самая что ни на есть настоящая амбивалентность чувств. Не в нынешнем, расхожем смысле. А в том самом, классическом, фрейдистском.

Но область чувств, как мы знаем, – это самая темная и загадочная сфера нашей внутренней (чтобы избежать ненавистного мне слова «духовной») жизни. Что же касается моих мыслей о Сталине, тут все было значительно проще.

Тут никакой амбивалентности и никаких сомнений и колебаний у меня никогда не было.

В 49-м, 50-м, когда я таскал будущую мою жену и двоюродного моего брата Вовку на все фильмы о Сталине, после каждого такого фильма начинались у нас бесконечные разговоры на эту тему. И однажды в одном таком разговоре я брякнул, что в 1937-м Сталин уничтожил всех, кто помнил, что история партии и молодого советского государства была совсем не такой, какой выглядит она в сталинском «Кратком курсе».

Это была не случайная, в запальчивом раздражении или ради красного словца брошенная фраза. Это был вывод из собственных моих самостоятельных разысканий, продиктованных жгучим интересом, толкавшим меня к этим разысканиям чуть ли не с самого раннего детства.

Помню, в детстве я смотрел – уже далеко не в первый раз – один из самых знаменитых тогдашних и самых любимых мною фильмов – «Ленин в Октябре». И всегда особенно волновал меня там один кадр: последнее заседание ЦК, на котором решался вопрос о вооруженном восстании.

Самого заседания нам не показали: мы видели только ведущую в какую-то комнату застекленную дверь. Стекло было непрозрачным, матовым. И вот за этим непрозрачным стеклом металась какие-то тени, неясные силуэты, звучали чьи-то голоса. (Знакомым, узнаваемым был там только один голос и только один силуэт: Ленина.)

И как же мне хотелось тогда, чтобы дверь эта приоткрылась хоть на миг, чтобы заглянуть туда, в ту комнату хоть одним глазком: узнать, как оно все там было на самом деле.

В чем-то я тут, наверно, был похож на того легендарного мальчика (было в моем детстве такое устное предание), который двадцать раз ходил на «Чапаева», надеясь, что в какой-нибудь из этих разов раненый Василий Иванович в своей белой рубахе – выплывет, не утонет.

Вот так же и я, может быть, втайне надеялся, что эта заветная дверь вдруг откроется, и я услышу еще две-три какие-нибудь исторические фразы, а главное, увижу кого-нибудь из тех, кто был там еще на том историческом заседании, кроме известных мне Ленина, Сталина, Свердлова и Дзержинского.

Но дверь эта так и не открылась. И вся (легальная, подцензурная) советская литература остановилась перед этой наглухо запертой дверью.

Василий Гроссман, начав и наполовину написав свой роман «Степан Кольчугин», бросил его, приблизившись к Первой мировой войне: продолжать – значило лгать, а лгать он не хотел.

Эммануил Казакевич гораздо больше душевных – да и физических – сил, чем на создание своей «Синей тетради», затратил на переписку с партийными функционерами разного калибра. А вся эта долгая титаническая борьба шла только за то, чтобы читатель узнал, что в знаменитом шалаше, в Разливе, вместе с Лениным прятался и Зиновьев.

Я иронизирую, но Казакевичу не зря казалось тогда, что открыть эту великую государственную тайну так важно. Ведь для миллионов моих сверстников эта «новость» стала тогда открытием.

Но для меня она даже и новостью не была. Я знал это (как и многое другое), даже и не помню с каких времен. И все благодаря тому странному, жгучему интересу, овладевшему мной перед той наглухо запертой дверью.

По мере сил я старался если и не проникнуть сквозь эту запертую дверь, так хоть проделать какую-нибудь маленькую щелочку в ней.

И кое-какие щелочки действительно проделал.

Сейчас я уже не помню, с чего это началось. Наверное, с потрепанной, зачитанной книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», отыскавшейся в недрах родительской тахты, где хранились у нас пересыпанные нафталином старые, ненужные в повседневной жизни вещи.

Что-то такое об этой книге я уже слышал. (Говорили о ней шепотом, но – говорили.) И не только слышал, но и читал. И не где-нибудь, а у самого Сталина.

Сталин сказал, что все это – сплошное вранье. «Джон Рид стоял далеко от нашей партии, – сказал он, – и попал на удочку сплетен». Я читал это собственными глазами и хорошо запомнил. Запомнил еще такую, совсем уже презрительную сталинскую фразу: «Едва ли нужно доказывать, что все эти и подобные им арабские сказки не соответствуют действительности».

Я готов был поверить Сталину: ведь Джон Рид и в самом деле, наверно, «стоял далеко от партии». Уж во всяком случае, дальше, чем Сталин.

И вот эта книга, о которой я столько слышал, оказалась в моих руках. И в предисловии к ней, написанном самим Лениным, я прочел, что о событиях октября 1917 года в ней рассказано «с исключительной правдивостью».

Естественно, я больше поверил Ленину. Тем более что в книге Джона Рида то и дело поминались то Троцкий, то Каменев, то Зиновьев, то Бубнов, то еще кто-нибудь из более мелких вождей Октября. О Сталине же там не было – ни полслова. Только в составе первого советского правительства, где-то на последнем месте, после всех неизмеримо более важных и главных наркомов упоминался и он, возглавивший совершенно пустяковый и никому не нужный, как мне тогда казалось, наркомнат.

Но это и тогда уже не было для меня новостью и потому не произвело на меня такого уж сильного впечатления. Я бы даже, пожалуй, поверил Сталину, что в этой книге, написанной по горячим следам событий, да еще человеком, глядящим на них со стороны, и в самом деле много неточностей, на которые Ленин просто не обратил внимания.

Больше всего тут меня поразило совсем другое.

Книга Джона Рида, так высоко оцененная Лениным за ее точность и правдивость, была изъята, запрещена. Значит, все, о чем говорилось в этой книге, было правдой. И значит, Сталин – вот это и было самое главное – этой правды боялся.

А за этим стоял вывод, целиком укладывающийся в одно – не произнесенное, но мысленно постоянно повторявшееся мною слово: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ. (В некоторых случаях я заменял его другим – почти синонимом: ТЕРМИДОР.)

Я прекрасно понимаю, что сейчас все эти тогдашние мои рассуждения выглядят более чем наивно. Но я ведь был самоучкой. Сам изобретал этот свой деревянный велосипед.

А что касается тогдашних моих представлений о нашей советской действительности, так они были даже еще наивнее, чем эти мои мысли.

Каким-то удивительным образом все мои размышления о перерождении и термидоре уживались с непоколебимой уверенностью, что – при всем при том – мы живем в единственной в мире стране, где уже построен (в основном, конечно) социализм. У нас ведь нет частной собственности на орудия и средства производства. И нет безработицы – этой главной язвы капиталистического строя.

Помню, однажды завязался у нас бурный спор на эту тему. К нам – вернее, к родителям – пришли в гости старые друзья отца – Ленские. Были они какие-то заштатные актеры, а в то время работали, кажется, в «Москонцерте» или в другом каком-то тогдашнем учреждении: ездили на гастроли по области, а может быть, и не только по области, но и по другим, каким-нибудь более далеким провинциальным городам. В общем, жили довольно трудной кочевой жизнью.

– А почему бы вам не попробовать найти какую-нибудь постоянную работу в Москве, – сказал мой отец.

– Ну что вы, – горько усмехнулся его приятель. – При нашей-то безработице.

И тут я произнес назидательным, докторальным тоном:

– У нас в стране нет безработицы.

– То есть как это нет? – удивился Ленский.

Я объяснил, что при социализме никакой безработицы нет и быть не может.

То ли этот мой тон задел Ленского за живое, то ли сама, так сказать, постановка вопроса его возмутила, но он ужасно разволновался:

– Вы будете мне тут повторять все эти басни, когда я на собственной шкуре... уже двадцать лет... Дай вам бог столько счастливых дней, молодой человек, сколько месяцев в году я сижу без работы...

Но я стоял на своем. Да, тупо твердил я, все это может быть... Отдельные факты... Любой человек временно может оказаться без работы... (Я сам в это время, надо сказать, уже окончил институт и из-за своего пятого пункта не мог устроиться ни на какую штатную работу.) Может быть, даже можно сказать, что у нас есть безработные... Но безработицы как

социального явления у нас нет и быть не может... Надо точно употреблять такие ответственные политические термины...

Бедняга Ленский, почувствовав, видно, что разговор переходит уже в некую опасную плоскость, не то чтобы сдался, но – прекратил сопротивление. А я, болван, вполне искренне при этом полагал, что разбил противника по всем пунктам. И считал себя при этом очень умным, а его – темным, невежественным обывателем, не знающим азбуки социализма.

Такая каша в голове тогда была у многих. И не только у моих сверстников, но и у людей постарше и поумнее меня.

Но тут надо сказать, что и в своем стремлении разоблачить Сталина, поймать его на вранье, на фальсификации, я тоже не был такой уж белой вороной. По всей стране возникали, рождались, формировались тогда группы вот таких же усомнившихся юнцов, именовавших себя «истинными ленинцами». В моем поле зрения ни одной такой группы не было. А мысль, что я ведь и сам могу создать такую группу, мне (к счастью) в голову не пришла. (Будущая моя жена, сказавшая мне в Серове, что я создам свою, собственную партию, сильно преувеличила не только мой общественный темперамент, но и элементарную мою человеческую смелость.)

Тем не менее я чувствовал – и даже точно знал, – что с этими своими антисталинскими мыслями и настроениями я был не одинок.

* * *

Из множества моих двоюродных братьев двое были моими почти сверстниками (один был на год, другой на два старше меня). Обоих по-домашнему звали «Люськами» (не слишком типичная, но все же довольно часто встречающаяся модификация имени «Илья»). Чтобы сразу было ясно, какого из двух «Люсек» заговоривший о ком-нибудь из них имеет в виду, одного из них мы звали Люська Черный, другого Люська Рыжий.

Люську Рыжего в 43-м – выдав ему досрочно аттестат об окончании школы – забрали в армию. На фронте он оказался не сразу, сперва попал в училище, где их учили – к большому его неудовольствию – на политруков.

На фронт он потом все-таки попал. А когда война кончилась, опять оказался в каком-то – тоже, наверно, военно-политическом – училище. Может быть, даже в военно-политической академии.

И вот там-то и произошел этот случай, о котором он мне тогда же (году в 47-м или в 48-м) рассказал.

В то время каждый день на первых страницах центральных газет печатались письма-рапорты, начинающиеся словами:

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ, ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ.

Это постоянное – ежедневное – обращение к вождю в газете выглядело как «шапка» – заголовок следующего за ним текста. И по радио тоже громовой голос Левитана каждое утро – а также и днем – торжественно возглашал:

– ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ, ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ!

И в этом левитановском исполнении это обращение к вождю тоже звучало так, словно было набрано – как газетная шапка – самым крупным шрифтом.

Этот эффект достигался не только изумительным левитановским голосом, но и совершенно особой, только Левитану свойственной дикторской манерой, идущей, как объяснил нам однажды А.А. Реформатский, от традиции церковной литургии. Суть этой манеры состояла в том, что произнося ключевое слово, Левитан вдруг, неожиданно возвышал голос на каком-нибудь одном его слоге: «ТоВАрищу СТАлину ИОсифу ВиссариОНОвичу!»

А кроме того, был тут и еще один секрет, разгадку которого мне объяснил однажды мой приятель Валя Токарев, тоже работавший одно время диктором на радио.

Оказывается, была там у них четкая установка, согласно которой отчество вождя должно было произноситься полностью, без самой наималейшей редукации. Отчество Молотова, скажем, можно было произнести – как это обычно и делается в повседневной жизни, – слегка проглатывая какой-нибудь слог: не «Вячеслав Михалыч», конечно, но – как-нибудь так: «Вячеслав Михайлоич».

Отчество Сталина полагалось произносить так, чтобы отчетливо слышалась каждая буква (правильнее сказать – каж-

дая фонема): не «Йосиф, а – «И-о-сиф», и не «Виссарионоич», а – «В-и-с-с-а-р-и-о-н-о-в-и-ч».

Именно так и произносил это Левитан. И с этого возгласа, с этой церковной литургии начиналось тогда каждое наше утро.

И никому это не казалось странным, а тем более – неправильным, противоречащим нормам демократии или каким-нибудь там партийным принципам.

Но в училище (или в военно-политической академии), где учился мой двоюродный брат Люська Рыжий, такой человек нашелся.

Один из слушателей этой самой академии на каком-то там ихнем партийном (а может быть, комсомольском) собрании во всеуслышание объявил, что считает эти обращения неправильными. Что рапортовать о своих достижениях, трудовых подвигах и успехах коллективы наших советских предприятий должны не лично товарищу Сталину, а – **ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ НАШЕЙ ПАРТИИ.**

Услышав эту историю, я прямо рот разинул.

– Ну? И что? – еле мог вымолвить, когда первый шок слегка прошел. – И что с ним стало?

– Что, что! – пожал плечами Люська Рыжий. – Исключили из партии и уволили из армии. А дальше – кто его знает, что там с ним стало.

Другую историю примерно такого же рода рассказал мне мой дружок Глеб Селянин.

Как я уже упоминал, за то время, что мы с ним не виделись, он стал актером. Истинным своим призванием актерство он не считал: просто так вышло. Отец – довольно известный в Питере артист – устроил его в Театральный институт. А там уже он катился как по рельсам.

О своем студенчестве и о своем актерстве Глеб, как, впрочем, и обо всем на свете, говорил «в тоне юмора». Особенно он веселился, рассказывая, как привелось ему однажды играть – и не без успеха – юного Ленина в пьесе И. Попова «Семья Ульяновых». Об этой своей роли Глеб рассказывал уже не просто «в тоне юмора», а с какими-то особенно глумливыми усмешечками. Глумился он, впрочем, не над Лениным, а скорее над собой. Уж очень комичной представлялась ему сама эта ситуа-

ция: он, Глеб – в роли будущего вождя мирового пролетариата. (С его внешностью и богемным обаянием ему и в самом деле больше пристало бы играть не юного Ленина, а молодого Есенина.)

И вот в таком же «тоне юмора» Глеб рассказал мне про одного своего сокурсника.

На государственных экзаменах тот вдруг, ни с того ни с сего («Какая муха его укусила?» – недоумевал Глеб), на вопрос, можно ли построить социализм в одной отдельно взятой стране, ответил отрицательно. Нет, говорит, нельзя. И – все тут.

Кто-то из членов государственной комиссии, не желая губить парня, кинул ему спасательный круг:

– Это чья точка зрения?

Но парень этот спасательный круг ловить не стал, а упрямо ответил:

– Моя.

И твердо стоял на своем.

Тогда экзаменатор, продолжая свои усилия по спасению утопающего, спросил:

– Ну хорошо. А еще – чья?

На что упрямец безмятежно ответил:

– А еще – Троцкого.

Эту историю я выслушал уже не так потрясенно, как ту, что рассказывал мне Люська Рыжий. ГИТИС – не военно-политическая академия, да и тональность всего этого Глебова рассказа была, как я уже говорил, юмористическая.

И тем не менее я не удержался от того же вопроса:

– Ну? И чем все это кончилось? Что с ним стало?

И получил тот же ответ:

– Что, что... Сам знаешь, что! Исключили из комсомола. Из института тоже выгнали. А там – кто его знает, что с ним дальше стало!

О том, что стало с этим парнем после того, как его исключили из комсомола и не дали закончить институт, я предпочитал не задумываться. Но почти не сомневался, что так просто это ему с рук не сошло.

Дело было даже не в отрицательном его ответе на вопрос о возможности построения социализма в одной отдельно взятой

стране. Сказал бы, что это его точка зрения, что это он сам так считает, – может быть, еще как-нибудь и обошлось бы. Вправили бы мозги, объяснили, что ошибается.

Но он, оказывается, знал, что это ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТРОЦКОГО. И – солидаризировался с ней. По существу, он прямо, открыто объявил себя троцкистом. Хуже этого быть не могло ничего!

В судебной практике сталинских лет (если, конечно, эту практику можно назвать судебной) были две – самые ходовые – аббревиатуры: КРД и КРТД. КРД – это «контрреволюционная деятельность». А КРТД – «контрреволюционная троцкистская деятельность». И каждый, кому было ведомо, что стоит за этими зловещими буквами, знал, что КРТД – стократ страшнее, чем просто КРД.

Помню, уже в новые, хрущевские, «оттепельные» времена – где-то в начале 60-х – я беседовал с одним литератором старшего поколения. Он рассказывал о самых ярких событиях своей жизни, о том, кого из знаменитых людей минувшей эпохи ему довелось увидеть – или услышать.

– Один раз даже ЕГО видел, – сказал он.

Рассказ его не шибко меня интересовал, я слушал вполуха, и мне показалось, что я просто прослушал, о ком шла речь. Понимающе кивал. Но когда местоимение было повторено в третий или четвертый раз, все-таки не удержался, спросил:

– Кого – его?

Собеседник мой быстро огляделся по сторонам (не слушает ли нас кто-нибудь) и, понизив голос, сказал:

– Тр...

Уже лет десять, наверно (если не больше), прошло со дня смерти Сталина. Он был уже выброшен из мавзолея и гнил в своей новой могиле. Но человек, половина жизни которого была прожита при Сталине, все еще не осмеливался произнести вслух это жуткое, вгоняющее в дрожь и холодный пот имя главного сталинского врага.

Какой же потрясающей смелостью должен был обладать юнец, посмевавший вот так, прямо, открыто, в полный голос сказать экзаменующим его партийным бонзам, что разделяет точку зрения Троцкого о невозможности построения социализма в одной отдельно взятой стране!

А может быть, это была не смелость, а просто глупость?

Не знаю. Ничего не могу сказать. Ведь я даже не видал этого парня. Только слышал о нем от Глеба.

Но о себе (а со мной тоже однажды произошло нечто, отдаленно напоминающее этот случай) могу сказать точно, что мною двигала, во всяком случае, не смелость. В какой-то мере, конечно, и глупость тоже. Но – не только она.

Рассказ об этой моей «глупости» мне придется начать изда-лека. Но это, может, и к лучшему, поскольку не только исто-рия, но и предыстория тут тоже важна. Во всяком случае, как мне кажется, не лишена некоторого интереса.

* * *

В 1951 году я окончил Литературный институт. В дипломе моем – в той его графе, куда полагалось вписывать наименова-ние профессии, полученной окончившим высшее учебное за-ведение, значилось нечто в высшей степени неопределенное: «Литературный работник».

В другие времена я, может быть, и с такой странной квали-фикацией нашел бы какую-нибудь штатную работу. (Скажем, младшего редактора или литсотрудника в каком-нибудь изда-тельстве, журнале или, на худой конец, в многотиражке.) Но в 1951 году – с моим пятым пунктом – об этом не могло быть и речи.

Но в уже упоминавшейся мною литгазетной статье, где моя дипломная работа о публицистике Эренбурга была отмечена как заслуживающая внимания, вскользь говорилось, что со временем она может превратиться в книгу.

Вот я и подумал: а почему бы мне не превратить эту мою ра-боту в книгу уже сейчас? Тем более что, между нами говоря, быть штатным «литературным работником» мне не очень-то и хотелось, а попробовать написать книгу хотелось очень. Я только еще не решил для себя, о чем (вернее, о ком) должна быть эта будущая книга. Сперва думал, что о Маяковском. Но коротенькая реплика из литгазетной статьи решила дело.

Я сочинил ЗАЯВКУ и подал ее в редакцию критики и лите-ратуроведения издательства «Советский писатель».

Заявка моя была принята благосклонно, но дело тянулось.

Мне не говорили ни «да», ни «нет». Забегая вперед, – чтобы уж больше к этой теме не возвращаться, – скажу, что в конце концов, после того как Эренбург получил Сталинскую премию «За укрепление мира между народами» (премия эта котировалась гораздо выше других, обычных Сталинских премий, до Эренбурга ее присуждали только иностранцам), моя заявка была наконец принята: со мной даже собирались заключить договор. При одном только условии: книга должна называться «Эренбург – борец за мир». А это значило, что какое-то – и немалое – место в ней должно быть уделено не только публицистике Эренбурга, но и его романам («Падение Парижа», «Буря», чего доброго даже и «Девятый вал»).

Об эренбургских романах мне писать не больно хотелось. А тут – умер Сталин, и все перевернулось. Тема «Эренбург – борец за мир» утратила свою актуальность. В общем, никакой книги об Эренбурге я в конце концов так и не написал. Но затянувшийся и кончившийся пшиком мой роман с издательством «Советский писатель» тем не менее сыграл в моей жизни очень важную роль.

Когда роман этот был в самом разгаре, я догадался выпросить у издательства официальное ходатайство в Ленинскую библиотеку, чтобы мне разрешили работать в спецхране.

Выцыганить эту бумагу было непросто: там нужны были три подписи – директора, секретаря парткома и председателя профкома. Были и еще какие-то нудные формальности. Но добыть для меня такую бумагу благоволившим ко мне редакторам было все-таки легче, чем заключить со мной договор. К тому же – дело было чистое: добрая половина эренбургских книг была изъята из общего пользования. Их нельзя было получить даже в том научном зале, куда пускали одних докторов наук: только в спецхране.

В общем, доступ в это святилище я получил.

Правила пользования залом специального хранения были суровы.

Во-первых, там не было никакого каталога. Знать заранее, что именно там у них хранится, не полагалось. Заказать книгу, находящуюся в спецхране, можно было, только получив отказ на требование выдать ее в общем или научном зале. Отка-

зы там бывали самые разные. Иногда в бланке отказа значилось, что нужная мне книга «в переплете». Или в отделе редких книг. Или просто – на руках, то есть кто-то ее в данный момент читает. Но иногда в «отказе» стояло магическое слово – «Спецхран». Вот только в этом случае я и имел право заказать ее там, в спецхране.

Кроме этого, там не разрешалось делать никаких выписок из прочитанных книг.

Вернее, не разрешалось эти выписки уносить с собой. Все необходимые тебе для работы цитаты надлежало выписывать в специальную тетрадь, прошнурованную, с перенумерованными страницами. Тетрадь эту надо было отдавать кому-то там на просмотр, и только после полученного разрешения можно было вынести ее из библиотеки.

Все эти грозные правила я нарушил чуть ли не в первый же день.

Начал с того, что, воровато оглядываясь по сторонам, какие-то – самые крамольные – цитаты стал выписывать не в тетрадь с пронумерованными страницами, а на отдельные листки, которые, – так же воровато оглядевшись, – тут же рассовывал по карманам пиджака: пригодился многолетний школьный и студенческий опыт обращения со шпаргалками. (Впоследствии я убедился, что так делал не я один.)

А без каталога я научился обходиться довольно просто.

Читая выданные мне книги, журналы и альманахи, полученные законным образом (после отказа в общем зале со ссылкой на спецхран), я отмечал для себя мелькающие в тех книгах и журналах названия и имена, которым, по моему разумению, только в спецхране и могло быть место.

Так, помимо необходимых мне по теме изъятых из обращения книг Эренбурга («Стихи о канунах», «Хулио Хуренито», «Белый уголь, или Слезы Вертера», «Виза времени»), я заказал, получил и прочел «Мы» Замятина, «Роковые яйца» Булгакова, «Красное дерево» Пильняка, «Конь бледный» и «То, чего не было» Ропшина (Савинкова) и даже какую-то книгу, в которой рассказывалось о последнем аресте Савинкова и его гибели в тюрьме. (Согласно официальной версии, он бросился в пролет лестницы и разбился насмерть.)

Читал я там и книги расстрелянных, изъятых из жизни и из литературы критиков: Селивановского, Воронского, Авербаха, о котором раньше знал только, что он был «литературный гангстер» (так назвал его Асеев в своей поэме «Маяковский начинается»).

Не могу сказать, чтобы все прочитанное было мне интересно. Но, как известно, запретный плод, даже не самый съедобный, всегда сладок.

В иные, уже более поздние времена мой друг Эмка Мандель рассказал мне, что в его «деле», некоторые выдержки из которого ему на Лубянке дали прочесть, в каком-то из полученных на него доносов особенно восхитила его такая фраза: «Интересовался реакционным прошлым нашей Родины».

Вот и я тоже жадно интересовался «реакционным прошлым нашей родины», глотая без разбору все изъятое из обращения всесильным «Министерством Правды».

Десять, а может быть, даже и пятнадцать лет спустя, когда я познакомился с Шуриком Воронелем и мы с ним обсуждали некоторые проблемы, связанные с историей нашей революции, – в одном из самых первых наших таких разговоров, – я, помню, вскользь заметил, что по характеру своему эта революция вовсе не была пролетарской. Самой активной ее силой, ее бродильным началом, сказал я, были выходцы как раз из мещанской, мелкобуржуазной среды. И долго что-то такое говорил на эту тему.

– Ну да, – кивнул Шурик. – Я об этом читал у Федотова. Он называет это явление «новой демократией».

– У какого Федотова? – спросил я.

– Был такой русский философ, – пояснил он.

– Может быть, Федоров? – спросил я.

О Федорове я тогда уже что-то знал, а про Георгия Петровича Федотова даже и не слышал.

– Нет, никакой не Федоров, а именно Федотов, – настаивал Шурик.

И выразил даже некоторое удивление по поводу того, каким образом я, не читая Федотова и даже ничего не зная о нем, додумался до того, что «бродильным началом» в русской революции была вот эта самая «новая демократия».

А додумался я до этого потому, что читал «Ибикус» Алексея Николаевича Толстого и «Роковые яйца» Булгакова.

Герой этих самых «Роковых яиц» – Рокк (так что и яйца, может быть, по мысли Булгакова, были не роковые, а – «рокковые») произвел на меня тогда – при первом чтении – очень сильное впечатление именно вот этой своей бешеной активностью. Вот я и подумал, что именно такие люди, а отнюдь не «сознательные рабочие», на которых рассчитывал Ленин, стали чуть ли не главной движущей силой «Великой Октябрьской социалистической революции». (Роль самого Ленина, как мне тогда показалось, в той булгаковской фантастической повести досталась профессору Персикову, который, сам того не ожидая, вызвал к жизни всех этих выведенных Рокком гадов и чудовищ.)

Как видите, я продолжал оставаться самоучкой.

«Новый град» Федотова, «Истоки и смысл русского коммунизма» Бердяева, «Технологию власти» Авторханова и «Большой террор» Конквеста я прочел гораздо позже. Даже о существовании этих (и многих других) книг тогда не знал.

Но я жадно проглотил «Хулио Хуренито» Эренбурга и «Мы» Замятина. И это помогло мне понять ублюдочную природу ленинско-сталинского социализма.

Я прочел рассказ Ивана Катаева «Молоко» – и задумался о том, какой была бы моя страна, если бы Сталин не повернул вдруг так круто к насильственной коллективизации и «ликвидации кулачества».

И даже с детства любимый мною «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, прочитанный заново, открыл мне многое в ущербной природе нашего «общества распределения». Читая о мытарствах Остапа Бендера, ставшего обладателем миллиона, но вынужденного при этом выдавать себя то за знаменитого дирижера, то еще за какую-нибудь приезжую знаменитость, чтобы получить номер в гостинице, я вдруг открыл для себя ошеломительную истину: оказалось, что деньги – гораздо более демократичный способ распределения жизненных благ, чем утвердившаяся в нашей стране система ордеров, талонов и закрытых распределителей.

Всем этим моим открытиям, конечно, немало способствовали и кое-какие жизненные наблюдения. Но главным их источником была – советская литература. Зажатая в тиски, подцензурная, замордованная властью, но при всем при этом успевшая сказать о многом, сумевшая на многое открыть мне глаза.

Да, я оставался самоучкой. И по-прежнему пользовался все теми же «сподручными средствами». Но теперь, благодаря открывшимся предо мною дверям спецхрана, этих «сподручных средств» стало в моем распоряжении гораздо больше.

Ведь помимо изъятых из библиотек книг Замятина, Булгакова, Пильняка и Эренбурга, в том спецхране я читал то и дело мне попадавшиеся статьи Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова, Пятакова, других видных деятелей советского государства, объявленных врагами народа.

Началось с предисловия Бухарина к эренбургскому «Хулио Хуренито». Потом – в одном из журналов – мне попались знаменитые бухаринские «Злые заметки».

И тут я понял, что из журналов и альманахов, попавших в спецхран, статьи «врагов народа» не изымались. И стал – уже не прицельно, а подряд – заказывать журналы, ловя крамолу уже не на удочку, а, так сказать, широким бреднем. И с жадностью глотал все, что попадетя.

Несколько раз мне попались даже какие-то статейки самого Троцкого. (О футуризме – в сборнике «Маяковский – футуризм».)

А однажды, заказав – так, на всякий случай, не ожидая найти в ней ничего особо интересного – брошюрку с унылым, казенным названием «К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе», я обнаружил в ней прямо-таки золотые россыпи крамолы. К величайшему моему изумлению, оказалось, что на этом совещании в ЦК РКП(б), посвященном политике партии в художественной литературе (1924 год), главные вожди тогдашней РКП – Троцкий и Бухарин – со всей решительностью и даже не без некоторого изящества оборонялись от навязываемой им рапповцами идеи партийного руководства литературой.

Запомнилась блестящая реплика Бухарина:

– Какое дворянское Политбюро давало указания Пушкину? Троцкий тоже оказался на десять голов выше наседавших на него рапповцев.

Это, правда, меня не удивило. А удивило то, что длинная его речь была выдержана совсем не в партийно-держимордовском, а тоже, как и у Бухарина, вполне либеральном духе.

О том, что Троцкий был блестящим оратором и талантливым публицистом, я слышал от многих. Помню, тогдашний мой дружок Илья Зверев с восторгом пересказывал мне блестящее, как ему казалось, высказывание Троцкого о Бабеле. «Бабель глядел на революцию в упор, – сказал будто бы Лев Давыдович. – Но революция была так велика, а он так мал, что увидеть ему удалось только ее половые части».

– Сказано обидно. Пожалуй, даже несправедливо, – говорил Илья. – Но, согласись, блестяще.

Я соглашался. И готов был признать талантливость этого художественного образа.

Но менее всего я ожидал обнаружить в Троцком либерала. И вот – на тебе!

Немудрено, что в моем интересе к «реакционному прошлому нашей родины» интерес к личности Троцкого занимал тогда самое большое, можно даже сказать, главенствующее место.

И вот однажды – то ли в журнале, то ли в альманахе, то ли в сборнике – после выдержки из какой-то статьи Троцкого я обнаружил ссылку на его книгу «Литература и революция». И подумал: если тут, в спецхране, мне разрешено читать отдельные речи и статьи этого главного врага советской власти, значит, я имею право прочесть их и все подряд, коли уж выяснилось, что они были собраны в отдельную книгу.

И без долгих раздумий я эту книгу заказал.

Долгих раздумий действительно не было. Но не могу сказать, что, подавая бланк с этим своим заказом, я был так-таки уж совсем спокоен. Некоторую наглость этого моего эксперимента я все-таки сознавал.

Имя Троцкого даже тогда, в начале 50-х, произносилось (если произносилось) шепотом. Сосед мой, Иван Иванович, перечисляя вождей, которых доводилось ему видеть – кого вблизи («вот как тебя»), а кого издали, – называл всех. Но ког-

да случилось ему помянуть Льва Давыдовича, он пугливо оглядывался, словно хотел убедиться, не подслушивает ли нас часом кто-нибудь.

Сам удивляюсь, как, зная все это, я отважился протянуть строгой девушке с комсомольским значком на жакете бланк с заказом на книгу Троцкого «Литература и революция».

И вот подаю я ей этот свой бланк и вижу, что по мере того как она вчитывается в не шибко разборчивый текст моего заказа, миловидное ее лицо становится все более отчужденным, чуть ли даже не враждебным.

Внимательно на меня поглядев, она спросила:

– Какой Троцкий?

Не моргнув глазом, я ответил:

– Лев.

– Минуточку, – сказала она. И ушла с моим бланком в руках.

Ее не было долго. Минут, я думаю, семь или восемь. Но мне эти минуты показались часами.

Я мысленно уже проклинал тот злосчастный миг, когда мне попалась на глаза ссылка на эту крамольную книгу. Я уже не сомневался, что вся эта история в самом лучшем случае кончится для меня позорным изгнанием из спецхрана. И даже мечтал, чтобы она кончилась только этим, чтобы не случилось чего-нибудь похуже.

Наконец девица с комсомольским значком (как я теперь уже не сомневался – безусловная чекистка) вернулась и с каменным лицом сухо объявила мне:

– Нет, эту книгу заказать нельзя.

И тут, как после того – первого – комсомольского собрания, на котором меня НЕ ИСКЛЮЧИЛИ и Людка Шлейман сказала мне: «Ты даже не понял, от чего мы тебя спасли», я почувствовал, как обжигающее дыхание ГУЛАГа, только что обдавшее меня то ли холодом, то ли жаром, опять отступило.

Позже, вспоминая эту историю, я не раз задавался вопросом: что толкнуло меня на этот дурацкий поступок? Беспечность? Глупость?

Беспечным глупцом (после моей институтской комсомоль-

ской истории) я к тому времени уже давно не был. Безрассудной смелостью тоже вроде не отличался.

Что же это было?

Задаваясь этим вопросом, я нахожу только один ответ.

В одной случайно попавшейся мне на глаза научно-популярной книге я прочел однажды о таком эксперименте, который ученые-биологи вели с крысами.

Они помещали крысу в «дом», разделенный перегородками на несколько «комнат». В одной «комнате» крысу ждала еда, в другой – питье, в третьей – нечто особо вкусненькое, какая-то, скажем, сладость. А в четвертой, когда крыса совала туда свой нос, ее било током. Ощущение не из приятных. И все крысы довольно быстро ориентировались в этой необычной для них обстановке: с наибольшей охотой совали свой нос в «комнату» с лакомством, без страха и сомнений – в «комнаты» с едой и питьем. А в «комнату», где ожидал их электрический разряд, один раз сунувшись, больше уже не совались.

Но из сотни (а может быть, из нескольких сотен, сейчас уже не помню) крыс непременно находилась одна, которую, как магнитом, притягивала эта четвертая «комната».

Проводившие этот эксперимент биологи пришли к выводу, что влекло ее туда любопытство. Или, выражаясь более высоким слогом, инстинкт познания.

Вероятно, во мне в те годы, о которых я рассказываю (да и потом тоже), было что-то вот от такой крысы.

«Инстинкт познания» – это, может быть, слишком громко сказано. Слишком высокопарно, что ли.

Что ж, я согласен и на первое, более скромное определение: любопытство. Оно тоже тут многое объясняет.

О том, как я относился к Сталину в детстве и ранней юности, я уже рассказывал, и довольно подробно. Это была сложная смесь амбивалентных мыслей, чувств и ощущений.

Но в конце 52-го и начале 53-го я уже твердо знал, что от Сталина – прежде всего именно от него – исходит все самое темное и страшное в нашей жизни.

– Статью Бубеннова в сегодняшней «Правде» читал? – помню, спросил меня мой друг Гриша Бакланов.

Это было в феврале 53-го. Могу даже сказать более точно: статья Михаила Бубеннова о романе Гроссмана «За правое дело» появилась в «Правде» 13 февраля 1953 года, за три недели до смерти вождя.

Статья была разбойничья, доносительская, откровенно черносотенная. Но к этому мы тогда уже привыкли. А тут звучала какая-то новая нота. От всех предыдущих статей того же рода, которых к тому времени появилось уже немало, она отличалась какой-то особой зоологической злобой и ненавистью. Этой повышенной злобностью она была пронизана вся, от первой своей строки до последней точки.

Но дело было не только в этом.

Каждому прочитавшему ее сразу становилось ясно, что этой статьей власть сделала еще один, новый, следующий шаг по тому пути, о котором было объявлено 13 января сообщением о врачах-убийцах.

Казалось бы, куда уж дальше! Но статья Бубеннова словно двинула стрелку барометра еще на одно какое-то деление.

В ответ на Гришин вопрос я молча кивнул. Да, мол, конечно, читал.

– Ну? Что скажешь?

Я ответил одним словом:

– Жуть.

– Говорят, сам Хозяин приказал печатать, – сказал Гриша.

Больше мы не произнесли ни слова. Да и не нужны тут были никакие слова, и без слов все было ясно.

Не знаю, от кого Гриша слышал, что статья Бубеннова была опубликована по указанию самого Сталина. Может быть, был накануне в «Правде», и кто-то из сотрудников намекнул ему на это. Как бы то ни было, слух этот был верен: позже он полностью подтвердился.

Но самое интересное тут было то, что, услышав, по чьему указанию была напечатана эта ужаснувшая меня статья, я ничуть не удивился.

В сущности, Гриша не сообщил мне ничего нового.

Я и без того знал (чувствовал): все, что происходит, делается по его приказам. Не только по его воле, а вот именно по его личным указаниям.

Вернее, так: я знал (чувствовал), что осуществляется вполне определенный, уже давно написанный сценарий. Было совершенно очевидно, что события развиваются (нагнетаются) по заранее составленному плану.

* * *

Чтобы увидеть это, не надо было обладать какой-то особой проницательностью.

Вот лишь некоторые факты, выстроенные в хронологической последовательности. (Сейчас, выстраивая их, я опираюсь на документы, некоторые из которых были опубликованы в более поздние времена. Но что-то – и даже не что-то, а главное – обо всех этих событиях уже и тогда ни для кого не было тайной.)

13 марта 1952 года было принято секретное постановление начать следствие в отношении всех лиц еврейского происхождения, чьи имена назывались на допросах по делу Еврейского антифашистского комитета.

8 мая открылось закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР по делу Еврейского антифашистского комитета. Среди обвиняемых: еврейские писатели Пец Маркиш, Лев Квитко, Давид Бергельсон, актер Зускин, академик Лина Штерн.

18 июля всем подсудимым по делу Еврейского антифашистского комитета (кроме биолога Л.С. Штерн, о которой говорили, что Сталин сохранил ей жизнь, думая, что она владеет секретом долголетия) вынесен смертный приговор.

12 августа приговор приведен в исполнение.

13 января 1953 года объявлено об аресте врачей-убийц.

21 января, в день годовщины смерти Ленина, под ленинским портретом опубликован указ о награждении Орденом Ленина врача Лидии Тимашук – «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц».

27 января в Белом парадном зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения Сталинской премии «За укрепление мира между народами» Илье Эренбургу.

13 февраля того же года – в день появления в «Правде» ста-

ты Бубеннова – СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем. Поводом для этого стал взрыв бомбы во дворе советского посольства в Тель-Авиве (три человека были ранены). Это случилось 9 февраля.

Дальше – по слухам – события должны были развиваться так.

В ходе процесса над «убийцами в белых халатах» выяснится, что они действовали не только по заданию иностранных разведок. Что за их спиной стояли враги, пробравшиеся к высшему руководству страны, – Молотов, Каганович, Берия. (Так же как за спиной убийц Менжинского, Куйбышева и Горького стояли Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Ягода.)

Все это позволило бы Сталину устроить новую грандиозную чистку в высших эшелонах власти.

Но – не только.

Во всех сталинских планах всегда просматривалось решение сразу нескольких задач. Так и тут.

Осужденных врачей повесят на Красной площади, после чего по доведенной до истерии стране прокатится волна еврейских погромов. И тогда, спасая уцелевших евреев от справедливого гнева народного, их сошлют в места отдаленные, где уже загодя выстроены для них бараки. И даже точно просчитан процент тех, кто доедет до этих бараков, а кому суждено будет погибнуть в пути.

Ну а потом – откат. В дело вмешивается Вождь. И начинается волна новых посадок – теперь уже сажают погромщиков: ведь в гигантскую печь ГУЛАГа надо постоянно подбрасывать все новые и новые дрова.

Все это, конечно, было уже из области слухов. И, по правде говоря, я даже не могу сейчас точно сказать, какие из этих слухов доходили до меня уже тогда, а какие относятся к иным, более поздним временам.

Но ясная схема продуманного сценарного плана отчетливо просматривалась – даже если отвлечься от всех этих слухов – в выстроенной в одну линию цепочке всем нам известных фактов.

В этой цепи отдельных событий и фактов теперь уже хоро-

шо было видно развитие, движение давно спланированного сюжета. Каждому, кто видел, куда это движется (а только слепой теперь мог этого не увидеть), было ясно, что и кампания по борьбе с космополитами (1949-й год), и процесс Сланского (1951-й), освещавшийся в наших газетах в откровенно антисемитском духе (о Сланском и его поделниках в советских газетах писали, что они «мечтали превратить Чехословакию в космополитическую вотчину Уолл-стрита, где властвовали бы американские монополии, буржуазные националисты, сионисты»), были первыми звеньями этого далеко идущего плана, прологом и завязкой этого давно написанного сценария.

Нет, первым звеном – теперь в этом уже не могло быть сомнений – было убийство Михоэлса.

Что-то темное и страшное было уже в самых первых слухах о его гибели.

Потом стало известно, что делом этим поручено заниматься следователю по особо важным делам Льву Шейнину: тому самому, детективными рассказами которого зачитывалась вся Москва. Потом прошел слух, что Шейнин арестован. Почему? За что? Кто говорил – за то, что, будучи евреем, был слишком пристрастен и «копал» не там, где надо. А некоторые шептались, что, «копая», наткнулся на что-то такое, чего знать ему не полагалось.

Так или иначе, похоронен Михоэлс был со всеми подобающими ему почестями.

Но вскоре возглавляемый им театр был закрыт.

А потом стало известно, что арестован один из лучших актеров этого театра, ближайший друг Михоэлса – Вениамин Зускин.

И вот – последняя точка: фраза в сообщении о врачах-убийцах про «известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса», через которого таинственный «Джойнт» передавал убийцам свои злодейские приказы.

Несколько лет спустя, летом 60-го, я жил в Малеевке. Это был, кажется, первый мой приезд в этот знаменитый подмосковный Дом творчества, потом на многие годы ставший для

меня чуть ли не вторым моим домом. (Мы шутили, что приезжаем туда, как в свое имение.)

В то лето сразу сбилась у нас дружная компания. Душой компании был – Толя Аграновский: красавец, остроумец, весельчак. Вместе с женой Галей, которая была ему под стать, он дивно пел на сочиненные им самим мотивы любимые наши стихи: Пастернака, Цветаевой, Слуцкого, Самойлова, Тарковского, Кедрина... Слушать его было – наслаждение.

Познакомились мы с Толей раньше, но подружились именно в то лето.

Когда-нибудь я, может быть, расскажу о нем подробнее. Во всяком случае, он еще не раз – по разным поводам – будет появляться на этих страницах. Но сейчас поводом для этой – очередной моей – «верояции в сторону» стал Михоэлс.

В один из тех дней вышел я из главного малеевского корпуса и остановился, щурясь от бьющего в глаза яркого июльского солнца. На бетонной террасе, по-барски раскинувшись в соломенных креслах-качалках, сидели два известных московских стукача. И один из них ленивым барским голосом – под стать его позе – сказал:

– Вот Бен нам сейчас скажет... Скажи, Бен! Как ты думаешь: кто убил Михоэлса?

Придуриваться мне не хотелось. Но и раскрываться перед этими голубчиками тоже было боязно: со смерти Сталина прошло уже семь лет, но я еще не настолько «оттаял» от лютой сталинской зимы, чтобы вот так, впрямую, известным стукачам говорить все, что знаю и думаю.

Медленно, осторожно, взвешивая каждое слово, я ответил:

– Скорее всего, его убили сотрудники бывшего Министерства государственной безопасности.

Рождая и одновременно произнося этот свой ответ, я сделал особый упор на слово «бывшего» и – чуть слабее – но тоже все-таки выделил слово «Министерство». Тем самым я как бы давал понять, что нынешняя наша гэбуха (это давно уже было не Министерство, а Комитет) никакой ответственности за преступления того разоблаченного и разогнанного ведомства не несет.

Очень довольный этим своим ответом (и дураком не пока-

зался, и мудрую осторожность проявил) я двинулся дальше по аллейке, идущей от главного корпуса к пруду, и шагов двести спустя наткнулся на Толю.

Остановившись с ним на минутку, я – в упоении от своего лихого ответа – рассказал ему, каким молодцом только что себя проявил.

– Ну и дурак! – сказал Толя, выслушав мой самодовольный рассказ.

– А как, по-твоему, надо было ответить? – обиженно спросил я.

– А вот спроси меня... Спроси, спроси!

Сделав вид, что предыдущего разговора как бы не было, словно мы вот только что столкнулись на этой аллейке, я сказал:

– Толя! Давно хотел у тебя спросить. Как ты думаешь: кто убил Михоэлса?

– Михоэлса? – Толя с изумлением воззрился на меня. – А кто это – Михоэлс?

И тут же сбросив маску простодушного изумления, похлопал меня по плечу:

– Вот как надо отвечать на такие вопросы!

Весной 53-го я, конечно, ни с кем на эту тему разговаривать бы не стал, и уж тем более ни с кем не стал бы делиться никакими своими предположениями. Но наедине с собой уже и тогда точно знал, ни на секунду не сомневался, что Михоэлса убили «наши».

И то ли поэтому, то ли потому, что уже прозрачно ясен был тогда для меня весь сценарий, не сомневался, что и бомбу во дворе советского посольства в Тель-Авиве тоже, конечно, взорвали «наши». Ясно понимал, что это – новый виток, новое – быть может, самое важное – звено все того же сталинского плана.

3

Да, «куда влечет нас рок событий», я знал. Само собой, я не знал этого с той мерой точности, с какой знаю сегодня. Но я

чувствовал это кожей. И не только кожей, а – печенкой, селезенкой, спинным мозгом. И сейчас, когда я сравниваю это свое тогдашнее знание с сегодняшним, мне кажется, что за минувшие полвека я узнал не так уж много нового.

Оказалось, что моя печенка, селезенка, спинной мозг и прочие органы моего тела, не верившего в неумолимо приближающуюся трагическую развязку, уже тогда знали немногим меньше, чем это знает сегодня мой перегруженный информацией мозг. Я уж не говорю о мозгах историков и политологов, владеющих во много раз большим объемом информации, чем я, но – не живших в то время.

Это мое ощущение я не смогу выразить лучше, чем это сделал однажды – в одной из своих литературно-критических статей – Владислав Ходасевич:

Недавно мне довелось быть на лекции о поэзии Иннокентия Анненского. В первой части доклада лектор дал краткий обзор русского символизма. Я испытал неожиданное чувство. Все, сказанное лектором, было исторически верно, вполне добросовестно в смысле изложения литературных фактов. Многое в символизме лектору удалось наблюсти правильно, даже зорко. Словом – лектору все мои похвалы.

Но, слушая, мне все чувствовалось: да, верно, правдиво, – но кроме того, я знаю, что в действительности это происходило не так. Так, да не так.

Причина стала мне ясна сразу. Лектор знал символизм по книгам – я по воспоминаниям. Лектор изучил страну символизма, его пейзаж – я же успел еще вдохнуть его воздух, когда этот воздух еще не рассеялся и символизм еще не успел стать планетой без атмосферы. И вот, оказывается, – в той атмосфере лучи преломлялись как-то особенно, по-своему – и предметы являлись в иных очертаниях.

Это чувство очень хорошо мне знакомо. Я не раз испытывал его, читая книги историков и политологов, исследующих последние годы жизни Сталина.

Вот, например, совсем недавно купил и прочел толстенный том – 800 страниц: «Тайная политика Сталина. Власть и анти-

семитизм». На титуле гриф: «Российская академия наук. Институт российской истории». Автор (Геннадий Васильевич Костырченко) – серьезный, видать, ученый. Тьму документов раскопал, в секретных архивах работал. И намерения у него самые благородные. В том смысле, что всей душой ориентирован он на то, чтобы добраться до истины, все тайное сделать явным.

В этих своих благородных устремлениях он достиг многого. Но вот парадокс! Стремление к предельной исторической щепетильности и документальной точности в ряде случаев приводит его как раз к обратному, противоположному результату. Не к выявлению истины, а напротив, к сокрытию ее, к набрасыванию на эту самую истину нового покрывала тайны. («Опять эта проклятая неизвестность!»)

Так, например, версию о готовящейся высылке советских евреев в места отдаленные он называет **«депортационным мифом»**, сложившимся «под воздействием произведений в жанре эмоциональной исторической публицистики, которые в массовом порядке стали издаваться в канун падения советского коммунистического режима и первых лет после этого исторического события».

На последних страницах своей книги автор вновь возвращается к этой теме, посвятив ей специальную главу, которая так прямо и называется: «Миф о депортации».

Там его версия обрастает новыми, по видимости еще более убедительными аргументами:

Нельзя не учитывать и такой достаточно весомый антидепортационный аргумент, заключающийся в том, что, несмотря на тотальное предание гласности после августа 1991 года всех самых секретных политических архивных материалов сталинского режима, не было обнаружено не только официальной директивы, санкционирующей и иницилирующей депортацию, но даже какого-либо другого документа, где бы она упоминалась или хотя бы косвенно подтверждалась ее подготовка... Если бы нечто похожее существовало в действительности, то непременно бы обнаружилось, как это произошло со многими другими утаенными советским режимом секретами...

(Г.В. Костырченко. Тайная политика Сталина)

Что до сих пор не нашлось документов, подтверждающих «депортационные» планы Сталина, я верю. (Хотя, может статься, такие документы еще и отыщутся. Секретные протоколы, прилагавшиеся к пакту Риббентропа-Молотова, тоже долго не находились.)

Но мне и не надо никаких документов.

У меня есть свидетели.

В описываемое время моя жена работала на радио. Точнее – в КРВ, Комитете радиовещания. Этих Комитетов у нас тогда было два: КРВ (Комитет радиовещания) и КРИ (Комитет радиоинформации). КРИ вещал на Советский Союз, а КРВ – на границу. Жена работала в КРВ, в Корейской редакции.

Корейская редакция, еще недавно бывшая одной из самых зашудалых, в то время – нежданно-негаданно – вдруг вышла на передовую линию огня: в Корее началась война. Южную Корею поддерживали американцы, а на стороне Северной воевали так называемые китайские добровольцы. Мы в войну пока не втягивались, но от этой – очередной – сталинской авантюры не так уж далеко было до начала Третьей мировой, в вечном страхе перед которой все мы тогда жили.

Итак, жена работала в Корейской редакции. А заведовал редакцией человек по фамилии Сметанин.

Фамилия эта была хорошо мне знакома, и когда жена как-то обмолвилась, что непосредственного ее начальника зовут Николай Арсеньевич Сметанин, я удивленно переспросил:

– Сметанин? Неужели тот самый?

Обувщик Сметанин в 30-е годы был знаменит почти так же, как Стаханов или какой-нибудь там Кривонос. Это он кинул клич, поддержанный сперва массаами трудящихся, а потом уже партией и правительством: «Ударники – в дипломатию!» (Наподобие знаменитого горьковского лозунга: «Ударники – в литературу!»)

Самого Сметанина, в благодарность за почин, сразу назначили послом – то ли в Японию, то ли еще куда. Но ничего хорошего из этого его почина, кажется, не вышло. Во всяком случае, в мемуарах Риббентропа об одном таком «сметанинце», отправленном послом в Германию, я прочел: «Этот новый рус-

ский посол очень талантливо притворяется идиотом. Но нас он не проведет».

Выяснить, был ли заведующий Корейской редакции КРВ – «тот самый Сметанин», мне не удалось. Но это, в сущности, было не так уж и важно. Даже если это был всего лишь однофамилец того Сметанина, ясно было, что он, как было сказано в одном рассказе Зоценко, «кавалер и у власти», а стало быть, знает то, чего нам, простым смертным, знать не полагается.

И вот этот самый Сметанин однажды, уходя из редакции (перед отъездом то ли в отпуск, то ли в какую-то длительную командировку), буркнул моей жене (собственно, женой моей она тогда еще не была, мы только собирались пожениться):

– Проводите меня. Мне надо с вами поговорить.

Разговор у них был короткий. Собственно, это был даже не разговор, а одна-единственная фраза. Но сказана она была в самом категорическом тоне и – с большим нажимом.

– Можете спать со своим Сарновым сколько вам угодно, – грубо сказал он. – Только не вздумайте выходить за него замуж.

Кажется, этой директивой он не ограничился, а еще и поручил своему заместителю под каким-то предлогом отобрать у нее паспорт и спрятать его, чтобы, воспользовавшись его отсутствием, она не побежала со мною в ЗАГС.

Будущая моя жена истолковала этот разговор в том смысле, что наш брак, если он состоится, грозит ей какими-то служебными неприятностями – не более того. (В самом худшем случае – уволят.)

Но я почуял в этом предупреждении Сметанина нечто более серьезное, чем просто нежелание, чтобы его сотрудница испортила себе анкету.

Как бы то ни было, предупреждение не помогло. Спрятанный паспорт она у сметанинского заместителя выманила и в ЗАГС мы побежали. Единственная уступка, которую мы сделали обстоятельствам, состояла в том, что брак наш мы – до поры – решили держать в тайне (не от сотрудников жены по Корейской редакции, а главным образом от моих родителей). Чтобы тайна эта раньше времени не выплыла на свет, регистрируясь, жена сохранила свою фамилию, хотя сотрудница ЗАГСа предупреждала:

– Имейте в виду, с разными фамилиями у вас в жизни будет много неудобств. А если вы не возьмете фамилию мужа сейчас, потом это сделать будет гораздо труднее: вам придется тогда уже менять свою родовую фамилию, а это... вы даже представить себе не можете, какая это морока...

Но на все эти будущие трудности нам было наплевать, нам хватало и настоящих. (Жить не на что и, в сущности, негде. Как отнесутся к моей женитьбе родители – неизвестно, а ведь рано или поздно придется им признаться: не вечно же мы будем держать наш брак в тайне...)

При том, что я – как уже не раз было сказано – если и не понимал, то чувствовал, какое будущее готовит мне мое родное государство, реакция родителей на наш тайный брак (если тайна вдруг выйдет наружу) пугала меня гораздо больше. Этот мой страх разоблачения был так велик, что однажды, представив себе, как теща звонит родителям и радостно сообщает им, что «наши дети поженились», я, мало чего соображая, не нашел ничего лучшего, как перерезать телефонный провод в нашей коммунальной квартире.

Этот мой страх был куда сильнее, чем страх перед грозящей нам депортацией, о которой так много тогда говорили. В отличие от того, этот был ужасающе конкретен. При мысли, что родители узнают, меня кидало в холодный пот. А слухи о каких-то там строящихся бараках и запланированных процентах смертности были для меня совершенной абстракцией.

Ну а что касается жены, то она о таких глупостях вообще не задумывалась. В голове у нее звенело, и суровое предупреждение Сметанина на нее и вовсе никакого впечатления не произвело. В продолжение всего этого их короткого разговора она думала только об одном: как бы выманить «у них» свой паспорт и, воспользовавшись отсутствием шефа, успеть до его возвращения из отпуска зарегистрировать наш брак. А там – будь что будет!

Это «будь что будет», как я уже сказал, менее всего имело в виду слухи о строящихся в Биробиджане бараках. Дальше мыслей об увольнении по сокращению штатов (что в конце концов и произошло) опасения ее не шли.

Но это был еще только 1951 год.

А год спустя обстановка там у них, в Корейской редакции, была уже иная.

Уже несколько раз Зина, их редакционная секретарша, ни с того ни с сего вдруг подходила к ней и гладила ее вечно растрепанные волосы:

– Бедная вы наша. Нехитрая вы очень. Вам бы сейчас развестись! Ну были бы вы нехорошая... Замуж вас возьмут, не бойтесь!

– Зиночка, вы что? Почему это меня должны брать замуж при живом муже?

– Будто не понимаете? У нас в войну двух девушек выслали. А они только путались с немцами, не регистрировались даже!

– Бог с вами, Зина! При чем тут немцы? И при чем тут я?

– Не знаете, что ли? Всех евреев высылать будут. И вас с вашим, конечно, тоже прихватят.

Вот эту Зину я и беру в свидетели. И ее свидетельство для меня гораздо весомее любых документов – как найденных, так и тех, которые, возможно, еще найдутся. (Или так никогда и не отыщутся.)

* * *

Документ для историка – что говорить! – вещь первостепенной важности. Но, во-первых, как говорил Тынянов, не вся жизнь документирована. А во-вторых, документ, если не уметь его прочесть, может ввести в обман ничуть не хуже, чем самые недостоверные и ложные слухи.

Этого греха не избежали даже лучшие из лучших аналитиков сталинщины.

Даже самый умный, самый пронцательный, самый осведомленный из всех, кого я знаю, – незабвенный Абдурахман Авторханов.

Авторханов был номенклатурным работником ЦК ВКП(б). Всю «кухню» советской партийной верхушки знал изнутри. Оказавшись в эмиграции и став там профессором по истории России, получил доступ ко многим – не только официальным, но и неофициальным, а часто и секретным документам, к которым на родине у него доступа не было.

Его мощный аналитический ум, вооруженный этими новы-

ми открывшимися перед ним возможностями, казалось бы, должен был позволить ему проникнуть в самую суть механизма сталинской власти, увидеть и понять то, что раньше, когда он жил в Советском Союзе, было скрыто от него за семью замками и семью печатями.

В общем, так оно и произошло.

Но – странное дело!

Когда я читал книгу Авторханова «Технология власти», опирающуюся в основном на личные воспоминания автора, у меня было ощущение полной, абсолютной достоверности. Но когда я читал одну из последних его книг – «Загадка смерти Сталина», где предметом исследования историка стали события, разворачивавшиеся в то время, когда он уже жил и работал по ту сторону «железного занавеса», у меня то и дело возникало ощущение, что все это было не так, как видится ему. Так, да не так!

Казалось бы, кто я такой, чтобы не верить Авторханову, не соглашаться с ним!

Он гораздо старше, опытнее, да и намного умнее меня. Он освоил такой монблан неизвестных мне исторических документов, о котором я – даже если бы и попытался это сделать – не мог бы даже и мечтать. Наконец, он – как никто другой – умеет проникать в скрытый смысл доступных ему исторических документов, извлекать из них глубинную, самую потаенную их суть: умение, которым я не владею ни в малейшей степени!

Все так. Но у меня есть перед ним одно – только одно! – преимущество.

В отличие от него, я жил в описываемое им время в Москве. Дышал московским воздухом 53-го года, когда этот воздух еще не рассеялся. И кожей, печенькой, селезенкой, спинным мозгом чувал то, чего так и не смог постичь мудрый Абдурахман со всем своим монбланом тщательно изученных им исторических документов и со всем своим мощным аналитическим умом.

Вот он пишет:

Сталин был бог, пока партийно-полицейский аппарат был в его руках, а теперь члены ЦК видели, что бог де-факто низвергнут...

Произошло событие, точно зафиксированное в доступных нам документах, но оставшееся совершенно незамеченным в литературе о Сталине.

Сталин подал... пленуму ЦК заявление об освобождении его от должности Генерального секретаря ЦК: во-первых, будучи убежден, что оно не будет принято, а во-вторых, чтобы проверить отношение к этому своих ближайших соратников и учеников.

Но произошло невероятное: пленум принял отставку Сталина!..

Еще при первом послесталинском «коллективном руководстве» вышел «Энциклопедический словарь», где в биографии Сталина прямо и недвусмысленно написано следующее: «После XI съезда партии 3 апреля 1922 г. Пленум ЦК, по предложению В.И. Ленина, избрал Сталина Генеральным секретарем ЦК партии; на этом посту Сталин работал *до октября 1952 г.*, а затем до конца своей жизни был *секретарем ЦК*» («Энциклопедический словарь», изд. БСЭ. Т. 3. М., 1955. С. 310).

То же повторено в справочном аппарате Полного собрания сочинений Ленина, вышедшем при втором, брежневском «коллективном руководстве». Там сказано: «Сталин. С 1922 по 1952 год — Генеральный секретарь ЦК партии, затем секретарь ЦК» (Ленин, ПСС. Т. 44. С. 651).

Никакой случайной обмолвки тут нет. Эти документы не оставляют сомнения, что Сталин после Октябрьского пленума ЦК 1952 года перестал быть Генеральным секретарем, а был лишь одним из десяти его секретарей.

Кто же занял его место? Об этом нет никаких указаний ни в мемуарах современников, ни в официальных документах партии, однако секрета никакого не было — место Сталина в Секретариате ЦК занял, конечно, Маленков. Только теперь он назывался не «Генеральный секретарь», а «первый секретарь» ЦК. Власть Сталина перешла к его ученикам теперь и юридически.

(А. Авторханов. *Загадка смерти Сталина*)

Прочитав это (книга Авторханова попала мне в руки тогда же, когда была издана, в 70-х), я рассмеялся.

Этот вывод ученого профессора при всей его оснащенности документальными и мемуарными свидетельствами и при всем его аналитическом мастерстве в интерпретации и истолковании этих документов был в таком кричащем противоречии с тем, что я знал кожей, печенкой, селезенкой и спинным мозгом, что ничего, кроме смеха, он у меня вызвать не мог.

Я, конечно, мог бы найти и какие-то доказательства, подтверждавшие истинность этого моего знания. Но мне не надо было никаких доказательств. Я просто знал, что **этого не может быть, потому что не может быть никогда**. Знал – и все тут!

Впрочем, нет. Кое-что насчет этого моего тогдашнего знания я сейчас все-таки вспомнил.

Однажды (году в 48-м или в 49-м) в «Правде» появился какой-то очередной «основополагающий» партийный документ: он занял целую газетную полосу, и по всему было видно, что ему придается необыкновенно важное значение.

Обычно под такими документами стояли две подписи: «**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА**» – и «**СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА СССР**».

В некоторых случаях, когда документ был сугубо партийный, ограничивались только одной, первой подписью. Так, очевидно, дело обстояло и на этот раз.

Но на этот раз подпись была какая-то странная.

Под документом исключительной (а в этом не могло быть никаких сомнений) важности – в виде подписи – стояло одно короткое слова: «Цека».

Все думали и гадали, что бы это могло значить.

С чисто провокационными целями я задал этот вопрос нашей институтской преподавательнице марксизма-ленинизма Славе Владимировне Щириной. Она в ответ стала плести что-то невразумительное. Так, мол, иногда подписывались давние партийные документы. И вот теперь, наверное, хотят возродить эту старую партийную традицию.

На самом деле ни в каких объяснениях на этот счет я тогда не нуждался. Мне (и не мне одному, конечно) было совершен-

но ясно, что когда Сталину дали на подпись этот – составленный, разумеется, по его указанию – документ, он механически подписал его именно вот так: «Цека». И никто не решился спросить у него, следует ли эту подпись развернуть в полное, официальное наименование высшей партийной инстанции или ограничиться аббревиатурой. Трясаясь от страха и так и не решившись обратиться к богу за разъяснениями, воспроизвели в точности ту маловразумительную подпись, которую бог соизволил собственноручно начертать.

Это было, как я уже сказал, году в 48-м. Но и в 52-м всеми своими потрохами я ощущал, что НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Как бы ни именовали Сталина в партийных документах – генеральным секретарем или просто секретарем, он продолжал оставаться тем, кем был, – вот этим самым всесильным, полновластным «Цека». Он один – до последнего своего вздоха – олицетворял всю партийную иерархию, всю структуру высшей государственной власти.

Эта его власть могла принимать разные формы. На разных этапах истории нашего государства высшим органом государственной власти, вершиной государственной пирамиды могли быть самые разные институты – ЦК, Политбюро, Совмин, ГКО (Государственный Комитет Оборона) или просто вот этот самый загадочный «Цека». Но при всех обстоятельствах, всегда это неизменно был – Он, «лично товарищ Сталин».

Вот, например, до войны была у нас такая общепринятая, неизменяемая формула: «Партия и правительство». И никто не спрашивал, и никому не надо было объяснять, почему слово «партия» стоит на первом месте, а «правительство» – на втором.

Но 7 мая 1941 года в газетах появилось такое сообщение:

Ввиду неоднократного заявления тов. Молотова В.М. о том, что ему трудно исполнять обязанности Председателя Совнаркома СССР наряду с обязанностями Народного комиссара Иностранных дел, удовлетворена его просьба об освобождении от обязанностей Председателя Совнаркома. На эту должность назначен тов. Сталин И.В.

И формула перевернулась. Стали писать (и говорить) – «Правительство и партия». И опять никому ничего не надо было объяснять – все было понятно без всяких объяснений.

Советский человек и вообще-то был очень понятлив, а в таких делах – особенно. Если, например, в подписях под каким-нибудь некрологом фамилии отдельных членов Политбюро вдруг менялись местами, все сразу смекали, в чем тут дело. Понимали, что такая перемена ни в коем случае не могла быть случайной, потому что это вам не арифметика, тут от перемены мест слагаемых очень даже многое меняется.

Ну а кто определял эту самую переменную мест слагаемых – это, как сказал поэт, было ясно даже и ежу.

Когда я пришел работать в «Литературную газету», главным редактором ее был Сергей Сергеевич Смирнов. А Валерий Алексеевич Косолапов, имя которого уже не раз появлялось на этих страницах, был его замом.

Но Сергей Сергеевич довольно скоро покинул свой пост, и Косолапов занял его место.

Превратившись из зама в главного, Валерий Алексеевич не изменил своим привычкам. Он не только осуществлял, так сказать, общее руководство, но и по-прежнему тянул свой старый воз: вел – в очередь со своими замами – очередной номер, внимательно вчитывался в каждый материал, не пропуская ни одной, даже самой коротенькой информашки, тщательно, по-корректорски вычитывал гранки, неизменно вылавливая какую-нибудь – всеми, кроме него, пропущенную – ошибку и никогда не покидал своего рабочего места, не прочитав и не подписав последние контрольные полосы (так называемый «пресс»). А поскольку этот самый «пресс» частенько задерживался, Валерию Алексеевичу то и дело приходилось засиживаться в своем рабочем кабинете допоздна, до самой глубокой ночи. И вместе с ним в эти ночные часы сидел кто-нибудь из нас – рядовых сотрудников газеты, отвечавших за тот злополучный материал, который «держал» номер.

Ждать, как я уже сказал, приходилось долго, и, коротая ночь, Валерий Алексеевич обычно рассказывал нам разные

истории из своей многолетней практики на ниве советской печати.

И однажды рассказал такую.

Вскоре после войны, когда Сталин решил, что пришла пора уже до упора закрутить ослабленные войной идеологические гайки, появилась у нас в стране новая газета: «Культура и жизнь». (Первый ее номер вышел в 1946 году – том самом, который был ознаменован постановлениями ЦК «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «Об опере Мурадели «Великая дружба», «О кинофильме «Большая жизнь» и многими другими, не столь знаменитыми, но такими же зловещими.)

Казалось бы, особой нужды в такой газете не было: ведь на каждый такой случай у нас была «Правда». Но Хозяин, как видно, решил, что у «Правды» много и всяких других забот, а нужна газета, которая постоянно отслеживала бы крамолу только в области культуры. Вот такая газета и была создана.

В отличие от «Правды», которая, как известно, с незапамятных, еще ленинских времен была органом ЦК партии (что и определяло ее руководящую роль), новая газета была обозначена как «Орган Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)». То есть на партийной иерархической лестнице она стояла как бы на ступеньку ниже «Правды».

Так поначалу оно и было.

Но довольно скоро новая газета набрала силу, усвоила прежде принадлежавший только «Правде» тон грубых жандармских окриков, а со временем стала вступать и в пререкания с «Правдой» и даже – были и такие случаи – довольно грубо ее одергивать. И в какой-то момент рядовые работники идеологического фронта совсем было уже потеряли ориентацию. Воспитанные в уверенности, что сильнее «Правды» звяря нет, они вдруг оказались перед новой – совершенно непредсказуемой – ситуацией, которую лучше всего можно было охарактеризовать комической репликой маленького Оськи, героя «Кондуита и Швамбрании» Льва Кассиля.

– Если кит на слона влезет, – доискивался у взрослых этот любознательный ребенок, – кто кого соборет?

Именно так и обстояло дело с газетами «Правда» и «Культура и жизнь».

Ситуация до того запуталась, что никто уже с уверенностью не мог бы сказать, кто тут «кит», а кто – «слон», и кто кого «сборет», если вдруг «кит на слона влезет».

Странная эта неопределенность продолжалась до 1951 года, когда Г.Ф. Александров, возглавлявший «Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)» (к тому времени оно уже стало называться не «Управлением», а «Отделом»), решил наконец поставить все точки над і.

Было подготовлено РЕШЕНИЕ, согласно которому газета «Культура и жизнь» должна была уже и чисто формально получить новый, более высокий статус. Ну и, разумеется, не только статус, но и вытекающие из этого статуса материальные блага: новое штатное расписание, новые оклады жалованья. В общем, все, что полагается.

Практически вопрос был решен. Под соответствующей бумагой уже стояли подписи всех вышестоящих инстанций, вплоть, кажется, до секретарей ЦК и членов Политбюро. Дело было за малым: надо было только окончательно утвердить это – уже готовое – решение на Секретариате.

Никто не сомневался, что это всего лишь формальность. Но вышло иначе.

Нежданно-негаданно на том заседании Секретариата вдруг оказался Сталин. (Нежданно-негаданно, потому что в то время он уже не часто баловал эти заседания своим присутствием.) И когда все мнения (разумеется, положительные) по обсуждаемому вопросу были уже высказаны и оставалось только проголосовать, он вдруг произнес одну-единственную короткую фразу:

– Газета «Культура и жизнь» свою задачу уже выполнила.

И в тот же миг газета «Культура и жизнь» прекратила свое существование.

Валерий Алексеевич, рассказавший нам эту историю, сам на том Секретариате не присутствовал. Но информацию о том, как это все там происходило, он получил, что называется, из первых рук.

Наутро, придя на работу (а работал он в той самой «Культуре и жизни» в должности ответственного секретаря) и услышав, что вместо привычного исполнения ежедневных сво-

их обязанностей ему предстоит срочно сдавать дела, он решил, что коллеги его просто разыгрывают. И тут ему все и рассказали. И все недоумения, все вопросы, которые уже готовы были сорваться у него с языка, так и застряли у него в глотке.

Не могу удержаться еще от двух – уже тогда очевидных для меня – примеров безграничности сталинской власти.

С 49-го года во всех центральных газетах печатался «Поток приветствий» – поздравлений вождю по случаю его 70-летия. Сперва это были приветствия от разных солидных учреждений и именитых людей. Но с годами (а поток этот не иссякал чуть ли не до последнего для сталинской жизни) труба становилась все ниже, а дым – пожиже. Пошли в ход какие-то совсем мелкие предприятия, колхозы, детские сады, чуть ли даже не артели каких-то кустарей-инвалидов, и шутники поговаривали, что вот-вот в перечне поздравителей появится контора Остапа Бендера «Рога и копыта» и «Одесская бубличная артель – Московские баранки» Кислярского.

Газетная шапка эта, ставшая уже постоянной рубрикой, с каждым днем все отчетливее обретала характер затянувшегося анекдота. Не могло этого не видеть и не понимать и самое высокое начальство. Но не было в стране человека, который осмелился бы дать команду эту комическую рубрику прекратить. Вот она и тянулась до тех пор, пока однажды он вдруг САМ не командовал: «Хватит!»

Ну и, наконец, последний пример.

Одна – всеми нами замеченная тогда – стилистическая несообразность в той самой жуткой передовой статье «Правды» от 13 января 1953 года.

Как сейчас помню: читаю я эту передовую и вдруг замечаю, что после того как все проклятия по адресу «убийц в белых халатах» и их заокеанских хозяев уже сказаны и передовица, в сущности, уже закончена, к ней – довольно искусственно – прилеплен еще один абзац, начинающийся словами: «Все это правильно...»

И далее следует новый текст о зловердных явлениях, кото-

рым, в связи со всем случившимся, советские люди должны объявить самую беспощадную войну. Явления эти обозначались словами: «ротозейство» и – «идиотская болезнь беспечность».

Основные положения этой статьи, как я уже говорил, наверняка были набросаны (или продиктованы) Сталиным. Однако вряд ли он собственноручно написал ее всю, целиком, от начала до конца. Писал все-таки кто-то другой (или другие).

В общем, прочитав тот абзац, я (и – опять-таки – не я один, конечно) сразу сообразил, как было дело.

Уже написанную передовую дали на окончательное утверждение Сталину, и, прочитав ее, он начертил под ней нечто вроде резолюции, начинающейся вот этими самыми словами: «Все это правильно...» И ошалевшие от страха редакторы «Правды» пришпандорили эту сталинскую резолюцию к тексту передовой, не посмея вычеркнуть из нее ни одного словечка, ни единой запятой.

Эта моя догадка насчет того, кому принадлежали те слова, сразу же подтвердилась, поскольку на другой же день они обрели значение зловещего клейма, тягчайшего политического обвинения – такого же жуткого, каким в прежние времена были «троцкизм» или «правый уклон». И все авторы передовиц и иных редакционных статей во всех газетах страны, как попки, стали – к месту и не к месту – повторять: «ротозейство», «идиотская болезнь беспечность», подставляя под эти политические ярлыки имена и фамилии несчастных, якобы повинных в этих ужасных грехах.

Нет, мои потроха (печенка, селезенка и проч.) меня не обманули.

Я был прав, не сомневаясь, что все решает ОН. Что именно к НЕМУ сходятся все нити воплощения в жизнь задуманного и сочиненного ИМ сценария. И казалось бы, узнав, что ОН уже не в силах удержать все эти нити (в том числе и нить, на которой подвешена моя крохотная жизнь) в своих руках, я должен был испытать огромное облегчение. Вся тяжесть, которая меня пригнетала к земле, весь холод, который – при всем моем телесном оптимизме – леденил мою душу при мысли о том, ЧТО надвигается на меня, на всех нас, – все это

должно было испариться, исчезнуть, смениться если не ликованием (как у эзков, узнавших, что обозначают загадочные слова «дыхание Чейн-Стокса»), так по крайней мере тем чувством, которое должен испытать человек, узнавший, что смертельная опасность, нависшая над ним, миновала.

Но человек – странное существо.

Как я уже говорил, прочитав свалившееся вдруг на нас всех – как снег на голову – правительственное сообщение о болезни товарища Сталина, я испытал совсем другие чувства.

4

Добравшись в своих воспоминаниях до этого момента, я подумал, что не мешало бы мне, не доверяясь, как я обычно это делаю, только своей памяти, заглянуть в те старые газеты: может быть, какие-то новые мысли придут в голову, а может быть, ярче и подробнее всплывут в памяти и все тогдашние мои ощущения.

И вот – заглянул.

Оказалось, что память меня не подвела. Сообщение в самом деле называлось правительственным. Полный текст его заглавия выглядел так:

**ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР
и Секретаря Центрального Комитета КПСС
товарища Иосифа Виссарионовича Сталина**

А внизу, под текстом «Сообщения», стояли две подписи:

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА**

и:

**СОВЕТ МИНИСТРОВ
СОЮЗА ССР**

Но не одна под другой, как здесь у меня, а – на одной линии (так сказать, на равных), одна слева, другая – справа. И прочитав их, я, помню, подумал, что, кажется, впервые в жизни не знаю, кто у нас сейчас главнее: ЦК КПСС или Совет Министров. (Эта «проклятая неизвестность» длилась недолго: до тех пор, пока Хрущев, которому предписано было «сосредоточиться на работе в ЦК КПСС», не скинул с поста Предсовмина Маленкова, посадив на это место пустую фишку: Булганина.)

Сообщение о болезни Сталина, обрушившееся на нас как гром среди ясного неба, вызвало у меня ужас.

Сразу мелькнула мысль: это конец!

Это относилось, конечно, не только к Сталину. Но прежде всего – именно к нему. Прочитав сообщение, я был уверен, что Сталин, конечно, умрет. Если уже не умер.

В сообщении, правда, говорилось, что «тяжелая болезнь товарища Сталина повлечет за собой более или менее длительное неучастие его в руководящей деятельности». По идее, это должно было внушить нам некоторую надежду: может быть, еще выздоровеет. И в первый момент я ухватился за этот поданный мне – всем нам! – знак надежды, как утопающий хватается за соломинку. Но тут же отбросил эту спасительную мысль.

Нет, какое там!

Наверняка ОНИ морочат нам голову. Сталин, конечно, уже мертв. А нас готовят, чтобы известие о смерти «отца родного» не так сильно ударило по мозгам внезапно осиротевшего народонаселения. Хотят смягчить удар.

Тут надо сказать, что эта мысль пришла мне тогда в голову не потому, что сообщение показалось мне фальшивым, не вполне достоверным. Об этом я в первый момент даже и не подумал. (Эти мысли пришли потом.) Просто я ИМ не верил. Давно уже привык не верить ни единому ИХ слову. Все, что говорят ОНИ, привык понимать «с точностью до наоборот».

Помню, например, как раскрыл свежую газету с речью Сталина на XIX съезде, и прочел: «Твердым, уверенным шагом вождь идет к трибуне». (Эта фраза была повторена всеми газетами, в которых была напечатана речь вождя.) И сразу мельк-

нула мысль: «Э-э, дело плохо! Старик-то, видать, уже едва держится на ногах, еле-еле небось доковылял до трибуны». (В дневнике К. Симонова об этом сказано так: «Сталин встает из-за стола президиума, обходит этот стол и бодрой, чуть-чуть переваливающейся походкой не сходит, а почти сбегает к кафедре». Прочитав – четверть века спустя – эту запись, я с некоторым удивлением подумал: значит, они не ввали! Значит, он и в самом деле шел тогда к трибуне «твердым, уверенным шагом»!)

Итак, прочитав в «Правительственном сообщении», что за жизнь товарища Сталина сейчас борются лучшие врачи страны, я сразу твердо решил, что Сталина, конечно, уже нет в живых, а это все – болтовня, обычное ИХ вранье. Какие там лучшие врачи борются за его жизнь, если все лучшие врачи страны сейчас – в тюрьме!

Тут, правда, надо сказать, что на этот раз эту их ложь я целиком и полностью оправдывал. И даже был им за нее благодарен.

Перечитывая сейчас это давнее «Правительственное сообщение», я очень ясно вспомнил, о чем думал и что чувствовал тогда, читая его впервые. Особенно – вот этот абзац:

Для лечения товарища Сталина привлечены лучшие медицинские силы: профессор-терапевт П.Е. Лукомский; действительные члены Академии медицинских наук СССР: профессор-невропатолог Н.В. Коновалов, профессор-терапевт А.Л. Мясников, профессор-терапевт Е.М. Тареев; профессор-невропатолог Р.А. Ткачев; профессор-невропатолог И.С. Глазунов; доцент-терапевт В.И. Иванов-Незнамов. Лечение товарища Сталина ведется под руководством Министра здравоохранения СССР т. А.Ф. Третьякова и Начальника Лечебно-Санитарного Управления Кремля т. И.И. Куперина.

Лечение товарища Сталина проводится под постоянным наблюдением Центрального Комитета КПСС и Советского Правительства.

Перечитывая сейчас этот абзац, я ясно вижу, каким перепугом было продиктовано каждое его слово.

Какая была необходимость так подробно перечислять фамилии, ученые степени и должности врачей? Упомянуть, что руководит лечением лично министр здравоохранения и начальник Медсанупра Кремля, да еще подчеркивать, что лечение ведется под наблюдением Центрального Комитета партии и Советского Правительства? (В чем заключалось это «постоянное наблюдение», мы теперь уже хорошо знаем.)

Совершенно очевидно, что когда они сочиняли все это, ими двигал страх. Они смертельно боялись, что в накаленной обстановке тех дней сообщение о внезапной болезни вождя, который еще совсем недавно твердым, уверенным шагом шел к трибуне, может вызвать какие-то эксцессы, массовые беспорядки, еврейские погромы. (А ИМ только этого тогда не хватало.) Вот они и хотели, если у кого-нибудь вдруг возникнет мысль, что тут что-то не так, отвести подозрения от себя.

И тут этот подробный перечень врачей был очень важен. Надо было продемонстрировать, что помимо сидящих в тюрьме врачей-убийц у нас есть и другие, честные врачи. Посадив тех, товарищ Сталин не остался без медицинской помощи.

Все в порядке! – не просто говорило, а орало, криком кричало это сообщение. – Вождь умер (умирает!) собственной смертью. Никто не приблизил искусственно его смерть: просто годы, старость, природа берет свое.

Тем же страхом, тем же инстинктивным стремлением отвести от себя все подозрения было продиктовано и другое, казалось бы, совсем уж бессмысленное вранье, содержащееся в самых первых строках этого «Правительственного сообщения»:

В ночь на 2-е марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг.

Давно уже ни для кого не секрет, что Сталин умер не в московской своей квартире, а на так называемой «ближней даче», в Кунцеве.

Зачем им понадобилось еще и это вранье?

Смысла в нем было немного. Но ИМ, наверно, казалось, что какой-то смысл в этом был. А в основе – все тот же страх: как бы кто не подумал, что дело нечисто.

Но это все – сегодняшние мои мысли.

А тогда я думал совсем о другом.

Все тогдашние мои ощущения (я еще попытаюсь вспомнить и восстановить их во всех подробностях) были заслонены одной мыслью: вот сейчас на евреев-врачей (а значит, и на меня!) навесят еще и ЭТУ смерть. И уж тогда... Страшно было даже представить себе, что будет тогда.

И тут мой мозг сразу, автоматически отметил, что все фамилии врачей в этом их списке – коренные, русские: не волнуйтесь, мол, жизнь товарища Сталина в надежных руках. Этот список, сплошь состоящий из русских фамилий, плюс фраза о том, что за ходом лечения вождя неусыпно наблюдают Центральный Комитет КПСС и Советское правительство, слегка успокоили меня, довольно ясно дав понять, что – нет, ЭТУ смерть навешивать на врачей-убийц они не собираются.

Вот почему я так легко и радостно проглотил эту их ложь. Вот почему был им за нее даже благодарен.

Тем не менее ужас, охвативший меня при известии, что Сталин умирает (может быть, даже уже мертв), не покидал меня все эти долгие дни.

Кстати, о долгих днях. Сколько их было?

Заглянув в тогдашние газеты, я с изумлением обнаружил, что не так уж много: два или три.

Правительственное сообщение о болезни Сталина появилось в газетах в среду, 4 марта. Тогда же был напечатан и первый медицинский бюллетень.

В четверг, 5-го, на первой полосе «Правда» поместила второй «Бюллетень о состоянии здоровья И.В. Сталина на 2 часа 5-го марта 1953 года». (Тот самый, где упоминалось дыхание Чейн-Стокса.)

А на следующий день, 6-го, газеты вышли уже с траурными рамками и с обращением ЦК, Совмина и Президиума Верхов-

ного Совета СССР «Ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза», которое «с чувством великой скорби» известило нас, что «перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа – Иосифа Виссарионовича Сталина».

Подготовка, стало быть, продолжалась всего-навсего два дня. А тогда мне казалось, что дней этих – бесконечная вереница и длятся они целую вечность. Потому что каждый час, каждая минута этих бесконечно длящихся дней давила меня этим непрекращающимся ужасом, этой не уходящей, сверлящей мыслью: **ЧТО БУДЕТ? ЧТО ТЕПЕРЬ СО ВСЕМИ НАМИ БУДЕТ?**

В нашем подъезде – над нами, этажом выше – жила мамина приятельница Раиса Александровна. Приятельницей маминной она стала не сразу: сперва была просто соседкой. Но поскольку из всех наших соседей по подъезду она была единственной «интеллигенткой», они с мамой и стали приятельствовать, а потом даже и подружиться.

До войны у Раисы Александровны был муж: добродушный, лысоватый Осип Исаакович. От довоенных моих воспоминаний о нем в моей памяти осталось только смешное слово «Масюточка» – так называл он жену. Это неизменное ласковое обращение к длинной, сухопарой, некрасивой Раисе Александровне с ее ведьмовскими угольно-черными глазами веселило не только меня, но и моих родителей: потому, наверно, оно мне так хорошо и запомнилось.

Вернувшись из эвакуации домой, мы узнали, что Осип Исаакович свою «Масюточку» бросил ради какой-то другой, более молодой и красивой женщины. Это обстоятельство еще более сблизило Раису Александровну с моей мамой: теперь она чуть ли не каждый вечер приходила к нам, чтобы излить душу какими-нибудь новыми откровениями о подлости и коварстве своего «мерзавца».

«Мерзавец», однако, ее не забывал. Навещал. Видимо, считал своим долгом слегка о ней заботиться. А навещая свою бывшую «Масюточку», всякий раз заглядывал и к нам. И неиз-

менно заводил длинные политические разговоры: особенно охотно почему-то со мной.

По моему тогдашнему юношескому максимализму, он казался мне человеком недалеким, а политические его взгляды – предельно отсталыми и даже пошлыми. Рузвельта, например, он называл прекраснодушным болваном, а Трумена – великим президентом.

Главным виновником международной напряженности и нашего разрыва с недавними союзниками он считал не Черчилля, который своей знаменитой Фултонской речью положил начало холодной войне, а – Сталина.

Сталинскую внешнюю политику он именовал не иначе, как «красным империализмом».

Все это мне казалось пошлостью даже не потому, что меня эти его воззрения отвращали своей реакционностью. Мне тогда казалось, что у него по всем этим вопросам нет никакого своего мнения: просто он повторяет то, что услышал по своему трофейному немецкому приемнику от разных «вражеских голосов».

И вот этот Осип Исаакович появился у нас в один из тех – уж не помню сейчас, предтраурных или уже траурных – дней.

Он не испытывал ни малейшей скорби, скорее был даже весел, довольно потирал ручки. А когда я поделился с ним своими страхами, сказал:

– Запишите на бумажке то, что я вам сейчас скажу, а бумажку сложите вчетверо и положите под ножку стола... Через месяц выпустят врачей, а через полгода мы помиримся с Югославией.

Когда ровно месяц спустя первое его предсказание исполнилось, я, конечно, вспомнил об этом нашем разговоре. Но о том, чтобы на этом основании пересмотреть прежние свое отношение к его «пошлым» политическим взглядам, даже не подумал. Пересмотрел (и насчет Рузвельта, и насчет Трумена) существенно позже.

А в тот момент, когда это – вскоре сбывшееся – предсказание было сделано, просто не придал ему никакого значения: пропустил мимо ушей.

Думаю, что если бы даже я отнесся к этому предсказанию с

большим вниманием, успокоения оно мне все равно бы не принесло.

Все мои тогдашние чувства, весь мой страх перед надвигающейся на нас неизвестностью выразились в тогда же родившихся стихах моего друга Эмки:

Его хоронят громко и поспешно
Ораторы, на гроб кося глаза,
Как будто может он из тьмы кромешной
Вернуться, вся забрать и наказать.
Холодный траур, стиль речей – высокий.
Он всех давил и не имел друзей...
Я сам не знаю, злым иль добрым роком
Так много лет он был для наших дней.
И лишь народ, к нему не посторонний,
Что вместе с ним все время трудно жил,
Народ в нем революцию хоронит,
Хоть, может, он того не заслужил.
Моя страна! Неужто бестолково
Ушла, пропала вся твоя борьба?
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче вся твоя судьба?

Особенно точно выражало то, что я тогда чувствовал, последнее четверостишие.

Отвратная бабья морда Маленкова (соратники звали его «Маланья») внушала мне какой-то гадливый ужас. А ведь именно он был «дофином», который сядет в освободившееся сталинское кресло: в этом ни у кого не было ни малейших сомнений.

7 марта в «Правде» появилась фотография: «Руководители партии и правительства у гроба И.В. Сталина». Ближе всех к гробу – Маленков. За ним – Берия, потом – Ворошилов, Булганин, Каганович, Молотов. А Хрущев и Микоян где-то там на задворках, во втором ряду. В перечне «соратников», стоящих у гроба, порядок, правда, был другой: Хрущев шел перед Булганиным, Кагановичем и Микояном. Но на первом месте – все равно Маленков. А за ним – Берия.

А 10 марта в «Правде» появилась фотография, на которой

красовались трое: Сталин, Мао-Цзедун и Маленков. Подпись гласила: «Снимок сделан 14 февраля 1950 года во время подписания Советско-Китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи».

Сталин – не в мундире генералиссимуса, а в традиционном своем френче 30-х годов, «сталинке» – слева. Мао-Цзедун – в центре. А справа – Маленков, вполоборота, заложив руку за борт кителя.

Тут уж было ясно, что эта фотография вскорости станет чем-то вроде знаменитого фото «Ленин и Сталин в Горках», а Маленков, уже занявший к тому времени оба сталинских поста, вскорости будет объявлен еще и любимым учеником Сталина, самым верным продолжателем его дела и – чем черт не шутит – может быть, даже и новым корифеем науки наук, классиком марксизма-ленинизма.

Мне показалось, что на этой фотографии Маленков выглядит даже как-то внушительнее Сталина. Примерно так же, как в последние годы изображали у нас Сталина с Лениным: Сталин что-то такое там важно вещал, а суетливый Ленин («петушком, петушком») бегал вокруг него и почтительно, слегка даже заискивая, выслушивал его мудрые советы.

Маленков – сам не знаю, почему – внушал мне какое-то физическое отвращение. Но истоки моего страха гнездились глубже.

Природу этого страха я не смогу объяснить лучше, чем это сделал Эмка в том же своем стихотворении.

Прочел я его, наверно, уже в 54-м, когда мы с Эмкой встретились случайно на Тверском бульваре, намертво вцепились друг в друга и подружились – на всю жизнь.

Стихи (не бог весть какие, далеко не из лучших Эмкиных стихов того времени) поразили меня совпадением выраженных в нем смутных мыслей и противоречивых чувств с тем, что думал и чувствовал в те траурные дни и я.

Совпадало все, кроме, пожалуй, одной строки: «Его хоронят громко и поспешно...» Поспешность тех похорон я не ощутил. Но прочитав эту строчку, задним числом почувствовал абсолютную ее точность. Ну а «холодный траур» – это было прямо в яблочко.

Володя Лакшин, с которым я одно время приятельствовал, был близок с Твардовским. И Александр Трифонович рассказал ему.

Когда Сталин умер, всех, как тогда говорили, ведущих писателей собрали в Колонном зале, за сценой. Первым секретарем правления Союза писателей был тогда Алексей Сурков. Он то появлялся в этой комнате, то исчезал – уезжал в ЦК за руководящими указаниями. И вот, вернувшись в очередной раз, объявил:

– Внимание, товарищи! Я только что оттуда! – он показал пальцем в потолок.

Все, разумеется, сразу поняли, откуда – оттуда. И поняли, что на сей раз он наконец имеет сообщить нечто важное.

Так оно и было.

В мгновенно наступившей тишине Сурков объявил:

– Сказали: плакать, но не слишком.

Рассказал это Александр Трифонович Володе (а Володя – мне) что-нибудь в середине 60-х. В те траурные дни об этой «установке» (плакать, но не слишком) я, понятное дело, – ничего не знал.

Но это как-то ощущалось. Было растворено в воздухе.

Вопреки всему, что мне приходилось слышать и читать о тех траурных днях, вопреки даже известным трагическим событиям на Трубной («Тысячи раздавленных сограждан траурный составили венок», как выразился по этому поводу один мерзавец-рифмоплет), меня в те дни более всего поражала холодность сограждан, их равнодушие, их нечувствительность к должествующей быть всенародной – мало сказать всенародной, вселенской – скорбю.

Вот вышел из булочной парень, оторвал от батона горбушку, жует. А вот какая-то парочка: он что-то ей оживленно рассказывает, она – улыбается, кажется, даже смеется...

Все это, помню, меня поражало и даже как будто шокировало: случилось ТАКОЕ, а им это по фигу.

Хотя, наверное, больше, чем само равнодушие этих моих сограждан, меня поражало то, что они не боятся это свое равнодушие так открыто демонстрировать.

Да, пожалуй, и эти мои чувства были не чем иным, как все той же сублимацией страха.

Был, впрочем, один эпизод, который покорибил меня, кажется, независимо от этого подсознательного страха.

4-го или 5-го марта было у нас в Союзе писателей комсомольское собрание. Вообще-то это громко сказано – собрание: было нас там, престарелых комсомольцев, всего-навсего человек двенадцать.

Я был там, наверное, самым молодым. Хотя мне тоже уже стукнуло к тому времени 26 лет, и я вполне мог считаться автоматически выбывшим из комсомола – по возрасту. Но восстановление моего членства в этой организации было для меня таким праздником, что расставаться со своим комсомольством я не спешил (по закону имел право числиться комсомольцем до 28 лет).

Эти наши комсомольские собрания бывали, как правило, просто этакими междусобойчиками: быстро покончив с «повесткой дня», засиживались допоздна, травили анекдоты, сплетничали.

В этот раз нам было, конечно, не до анекдотов и не до сплетен. Все мы были пришиблены известием о болезни вождя. Но ни рыданий, ни всхлипываний, ни сморканий в платок тоже не было. Просто сидели пригорюнившись. И вдруг один из нас, только недавно зачисленный в штат в журнале «Октябрь» и еще не успевший – а может быть, и не захотевший покинуть нашу уютную организацию и встать там на комсомольский учет – брякнул:

– Да, кстати, ребята! Нет ли у кого-нибудь из вас стихов о Сталине? Мы готовим номер...

И вот этот холодный профессиональный цинизм меня, помню, действительно покорибил.

Сталин еще жив, мы еще живем надеждой – а вдруг все-таки случится чудо, и он не умрет! – а они там, в своем паршивом журнале, уже загодя, холодно, спокойно готовят траурный номер...

«Я сам не знаю, злым иль добрым роком...»

Эта строка Эмкиного стихотворения, казалось бы, должна была вызвать у меня еще большее несогласие, еще более резкий протест. Ведь я же знал, ни на секунду не сомневался, что злым – конечно же, злым роком ОН был и для страны, и для нас всех, ее жителей.

Но сейчас, когда он умирал (а может быть, уже и умер) и пришла пора подводить итоги всей его жизни, я с чистым сердцем мог бы сказать, что тоже «сам не знаю», злым иль добрым роком был он для нас, для моей страны, для ее истории.

«Народ в нем революцию хоронит...» Ну а уж это Эмка точно не выдумал. Во всяком случае, этой своей строкой он выразил то, что тогда чувствовали многие.

Быть может, это чувство, это настроение, эта мысль, не сформулированная, но безусловно владевшая тогда многими, была связана с одной странной приметой тех траурных дней. Из всех репродукторов тогда почему-то гремел «Интернационал». Не официальное, отталкивавшее казенной фальшью и стихотворной убогостью «Нас вырастил Сталин на верность народу» (что, казалось бы, более соответствовало моменту), а полузабытое, все еще волновавшее: «Вставай, проклятем заклеименный...»

Эту странность отметил и зафиксировал другой мой сверстник:

Торжественно всплывали к небесам
Над городом огромные портреты.
Всемирный гимн, с тридцатых лет не петый,
Восторгом скорби души сотрясал.

Это – Герман Плисецкий. (В моей компании его звали «Плиса». Тоже, между прочим, «в краю отцов не из последних удальцов».)

Сегодняшние читатели, может быть, даже и не поймут, о чем это я: какая разница, новый, сталинский гимн или старый, отмененный? Не все ли равно? Одна лабуда!

Но для нас эта разница была огромна.

Тому вовек рассудком не понять
Страну мою,
 как строилась, страдала,
Кого ни разу не смогли пронять
До слез
 слова «Интернационала».

Это тоже мой (почти) сверстник: Женя Винокуров.

Он был старше меня на два года. Герман Плисецкий – на четыре меня моложе.

Женя – хоть и недолго – успел повоевать. Мой год призывался в 45-м, когда война кончалась, и десятиклассников уже не брали. Ну а Плиса в войну и вовсе был пацаном, мальчишкой. Так что эта разница в два, три, четыре года тогда была очень даже существенна: это был рубеж, отделяющий одно поколение от другого.

Но в той власти, какою имел над нашими душами «Интернационал», мы были едины. Тут мы были детьми одного поколения, одной духовной генерации.

Я думаю, что именно под воздействием этих звуков, гремевших в те мартовские дни из всех репродукторов, и родились у Эмки так поразившие меня совпадением с моими собственными чувствами строки:

Народ в нем революцию хоронит,
Хоть, может, он того не заслужил.

В том, что не заслужил, у меня как раз не было, не могло быть ни малейших сомнений. Это ведь не кто иной, как он, прикончил революцию, придушил ее, вытравил даже самую память обо всем, что принесла она с собой: снес обелиск Свободы на Советской площади напротив Моссовета и поставил вместо него Юрия Долгорукого, надел на армию погоны, а советских мальчишек и девчонок нарядил в гимназическую форму, вернув отдельное обучение...

И тем не менее я, как это ни дико, тоже хоронил в нем революцию.

Да, конечно, если бы ОН оказался у власти еще при жизни Ленина, Ленин сидел бы в тюрьме и даже, наверное, был бы

расстрелян вместе с Каменевым, Зиновьевым, Бухариным и Рыковым. Но ведь Иуда, предавший Христа, был одним из апостолов. Вот так же и роль Сталина в русской революции не вычеркнешь из истории, какой бы она, эта роль, ни была.

Каков бы он ни был и что бы ни сделал потом с завоеваниями этой самой революции, он был ее кровным сыном. И не мог же он так просто взять и разорвать эту кровную связь со своим марксистским, революционным прошлым.

Вот совсем недавно – буквально только что! – вышел в свет 13-й том собрания его сочинений. И там – на самых первых его страницах – ответ на запрос Еврейского телеграфного агентства из Америки –

ОБ АНТИСЕМИТИЗМЕ

Отвечаю на Ваш вопрос.

Национальный и расовый шовинизм есть пережиток чело-веконенавистнических нравов, свойственных периоду канни-бализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового шови-низма, является наиболее опасным пережитком каннибализма.

Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисеми-тизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбиваю-щая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэто-му коммунисты как последовательные интернационалисты не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисе-митизма.

В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм как явление, глубоко враждебное советскому строю. Актив-ные антисемиты караются по законам СССР смертной каз-нью.

И. Сталин

Не могу сказать, чтобы этот сталинский текст, когда я его прочел, так уж мне понравился.

Вся стилистика его была какая-то странная: «канниба-лизм», «в джунгли». Какие джунгли? При чем тут джунгли!

Но разве в этом тут было дело?

Да, конечно, под этим ответом американскому телеграфно-

му агентству стояла дата: 12 января 1931 г. И тут же было сказано, что впервые он (этот ответ) был опубликован в «Правде» 30 ноября 1936-го. А на дворе у нас тогда был 1952-й.

Но только уж очень тупому человеку могло быть не ясно, что этот ответ Еврейскому телеграфному агентству в 13-й сталинский том попал не случайно. Что включен он был туда, конечно, с разрешения (а скорее всего даже и по личному указанию) самого автора.

И всем пикейным жилетам это обстоятельство показалось тогда радостным знамением.

Вы только подумайте! В стране бешеный разгул государственного антисемитизма. А тут сам вождь прямо говорит, что антисемитизм – величайшее зло, что в СССР он строжайше преследуется законом!

Не есть ли это – прямое указание прекратить наконец весь этот шабаш разгулявшихся черносотенцев?

Сейчас – задним числом – я тоже склонен считать, что публикация этого «Ответа» в сталинском томе, вышедшем в 1952 году, конечно, не была случайной.

Это была еще одна – и весьма важная – деталь дьявольского сталинского плана.

По этому плану, как я уже говорил, после того как по всей стране прокатилась бы волна еврейских погромов, в дело должен был вмешаться сам вождь. И тут развернулась бы новая мощная кампания, новая волна посадок – на этот раз уже сажали бы погромщиков. Кое-кого, может быть, в образцово-показательном порядке даже и расстреляли бы. (Процитировав к случаю фразу из этого давнего сталинского «Ответа»: «Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью».)

Это был его стиль, его почерк, его любимый прием.

Так было в разгул коллективизации, когда появилась его знаменитая статья «Головокружение от успехов». Так было и в разгар антикосмополитской кампании, когда он вдруг заявил, что раскрывать псевдонимы – это гнусность, недостойная коммунистов-интернационалистов.

Так, наверное, было бы и на этот раз, если бы был реализован задуманный и сочиненный им сценарий.

Все это я отчасти сознавал уже тогда. Далеко не в полной мере, конечно, и во всяком случае, не в таких прямых формулировках. Однако догадывался, что эта вдруг – так кстати – появившаяся в 13-м томе его сочинений резкая отповедь антисемитам – не что иное, как обычное сталинское лицемерие, всегдашнее сталинское иезуитство.

Но сейчас, когда он лежал в гробу, а у гроба стояли «соратники» – вся эта нечисть: Маленков со своей бабьей харей погромщика, Берия в этом своем жутком, холодно поблескивающим пенсне, – меня одолевали совсем другие мысли, совсем иные – кошмарные – предчувствия.

Что ни говори, а Сталин – как-никак – был революционер, марксист. Что бы он там ни творил, но он был последним хранителем и защитником революционных, марксистских традиций. Вот, например, он отстранил и понизил Жукова, отправил его, главного героя войны, принимавшего Парад Победы, на какую-то мелкую должность командующего то ли Одесским, то ли Уральским военным округом. И правильно сделал. Потому что Жуков – это возврат к традициям царской армии, к фельдфебельской муштре. Во время войны все это, может быть, и было необходимо, но сейчас нам надо снова вернуться к революционным традициям, к революционному укладу нашей родной рабоче-крестьянской Красной Армии.

Вернувшись из эвакуации в Москву, я стал усиленно наверстывать свою культурную отсталость. И как только представлялась малейшая возможность, считал неременной своей обязанностью посетить Большой театр.

Я побывал на всех тогдашних спектаклях Большого театра, на всех его операх и балетах.

Одет я был не по-театральному: помню, были у меня тогда стеганные ватные штаны – почему-то не защитного цвета, а синие. Вот в них я и ходил в Большой театр. Разумеется, на галерку.

И вот однажды – перед началом одного такого спектакля (как сейчас помню, это был «Щелкунчик») – в Царской ложе появился Молотов с какой-то иностранной делегацией.

Сыграли гимн. (Вернее, два гимна – сперва наш, а потом ихний. Или сперва ихний, а потом наш.) Все в зале встали. Потом сели. И начался спектакль.

Продолжалось это недолго и никакой особой зарубки в моей памяти не оставило бы, если б не другое событие, по яркому контрасту с которым я запомнил это.

Шел «Евгений Онегин». И в антракте, перед началом какого-то очередного действия (сейчас уже не помню, какого) я вдруг почувствовал: что-то произошло. И тут весь зал встал в едином порыве. Встал и я, еще не понимая, в чем дело. И слышал в гуле жужжащих вокруг голосов повторявшееся всеми одно слово: «Жуков-Жуков-Жуков!»

Все взгляды были устремлены к правительственной ложе. Не Царской, а – правой, боковой. (Справа она была от меня, от сцены – слева.)

В этой ложе и появился Жуков.

Весь зал стоял.

Оркестр не играл никаких гимнов, и никто не «организовал» этого «вставания». Но овация все длилась и длилась. Она продолжалось не меньше пятнадцати минут, не утихая, а напротив, вспыхивая все снова и снова. И не было никаких выкриков из зала. Только новые волны, новые взрывы аплодисментов: вот показалось, что овация пошла на убыль, стала утихать, но – нет: это лишь преддверие новой волны, нового прилива народных чувств.

Как вы понимаете, это была не первая овация в моей жизни. К этой форме изъясления народного энтузиазма мы все давным-давно привыкли.

Но такой овации я в своей жизни никогда – ни раньше, ни позже – не слышал.

В отличие от всех, какие я знал, она была искренна.

Конечно, когда Сталин отстранил и понизил Жукова, я прекрасно понимал, что сделал он это совсем не потому, что хотел восстановить революционные традиции рабоче-крестьянской Красной Армии, а просто потому, что в стране должен был быть один Верховный главнокомандующий, один генералиссимус, один человек, благодаря которому мы выиграли войну. И этим одним мог быть только он, Сталин.

И все-таки...

Все-таки с Жуковым ассоциировалась не революционная, а русская национальная идея, которая пугала меня тогда своей – вольной или невольной – близостью к идеям только что разгромленного нами гитлеровского национал-социализма. (Тогда, в Большом театре у меня промелькнула мысль: не с тем ли связана эта грандиозная, никем не организованная овация, что народ, как в той Отечественной войне 12-го года, хотел, чтобы спасителем России был не «немец-перец-колбаса» Барклай де Толли, а свой, родной Кутузов, так и сейчас предпочел бы, чтобы спасителем страны от немецкого нашествия считался не грузин Сталин с его неистребимым кавказским акцентом, а свой, родной, коренной русак – Жуков.)

Десять лет спустя, незадолго до того как новый партийный вождь – Хрущев – снова отстранил прославленного маршала от всех руководящих постов и отправил его в очередную, кажется, последнюю в его жизни опалу, один мой друг – довольно известный художник – уверенно предрекал, что в самом ближайшем будущем в нашей стране произойдет государственный переворот и Жуков станет диктатором.

– Откуда у тебя такая информация? – поинтересовался я.

– Никакой информации на этот счет, – ответил он, – у меня нет. А говорю я тебе об этом так уверенно – как художник. Ты только погляди на лица всех этих ничтожеств – Хрущева, Микояна, Кириченко, Подгорного... А потом взглядишь хорошенько в лицо маршала, в этот его мощный подбородок, в упрямо сжатую челюсть. И тебе сразу все станет ясно.

Этот прогноз моего друга художника, как известно, не оправдался, о чем я тогда, признаться, даже посожалел: в то время перспектива государственного переворота с Жуковым в роли диктатора представлялась мне куда более привлекательной, чем продолжающееся гниение под властью всех этих Кириченков, Подгорных и Брежневых.

Но это было – потом.

А в военные и первые послевоенные годы я думал иначе.

Помню, тогда все повторяли чью-то (уж не Эренбурга ли?) замечательную реплику. Когда кто-то при нем сказал, что

наш союз с Гитлером – это брак по расчету, он якобы ответил:

– Да, но от браков по расчету тоже бывают дети.

Вот этих самых детей от того брака я и боялся. И мне казалось, что одним из них вполне мог оказаться и Жуков.

Ну а уж насчет так называемого «Ленинградского дела», тут уж у меня не было никаких сомнений, что в этом случае Сталин учуял своим марксистско-ленинским чутьем и вовремя пресек националистический, фашистский заговор.

Тогда ходили слухи, что осужденные и расстрелянные по этому делу (Кузнецов, Попков, поддерживавший их или даже примыкавший к ним Вознесенский) собирались объявить Ленинград столицей (сперва – столицей РСФСР), а потом потихоньку реставрировать и все символы (не только символы, но и ценности) Российской империи, с которой у меня ассоциировалась кличка «тюрьма народов», Кишиневский погром и «дело Бейлиса».

Вот этот контрреволюционный фашистский заговор, – говорили тогда, – Сталин и пресек тем самым «Ленинградским делом».

Да, конечно, думал я, Сталин сам давным-давно предал марксизм и задушил революцию. Но он все-таки ПОВЯЗАН своим революционным, марксистским прошлым.

А «Маланью», Никиту, Лаврентия – всех этих, стоящих сейчас у его гроба, – их ведь уже ничто не связывает ни с революцией, ни с марксизмом. Что помешает им ступить на тропу уже самого откровенного фашизма?

Кстати, эта моя тогдашняя мысль насчет того, что Сталин был повязан своим прошлым, была не так уж и глупа.

Семен Израилевич Липкин рассказал мне однажды о том, как секретарь Дагестанского обкома Даниялов спас свой народ от судьбы, постигшей чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар...

Во время войны Берия был представителем Ставки Верховного главнокомандующего на Северо-Кавказском фронте и жил у Даниялова, который и тогда уже был секретарем Дагестанского обкома. Вряд ли можно сказать, что они подружи-

лись, но, во всяком случае, отношения были не только официальные. Поэтому, почуяв, что дело пахнет керосином, Даниялов сразу кинулся к Москве, к своему другу Лаврентию.

Тот не скрыл от него, как обстоит дело.

– Он все уже решил, – сказал Берия. – Вся территория до Дербента останется в РСФСР, а от Дербента – отойдет к Азербайджану. Народ будет выслан. Готовься.

– Неужели ничего нельзя сделать? – спросил Даниялов, прекрасно понимая, что если он уже решил, любые разговоры на эту тему бесполезны. Но Берия вдруг подал ему некоторую надежду.

– Один я ничего не могу, – сказал он. – Но я устрою тебе встречу с Георгием. (Имелся в виду Маленков.) Если Георгий согласится, вдвоем мы попробуем... Оставайся пока в Москве и жди.

И Даниялов стал ждать.

И вот в один прекрасный день ему объявили, что товарищ Маленков его примет. Встреча, которую он так долго ждал, к которой с трепетом готовился, наконец состоялась.

Восточный человек, он начал издаека. Рассказывал о трудовом подъеме, с которым народы Дагестана приступили к весеннему севу. О строительстве железной дороги, которая должна была пройти через Дагестан...

Маленков слушал его вполуха. Вопрос был решен и все, о чем говорил секретарь обкома обреченной республики, не имело никакого значения. Но тут – без нажима, тем же деловым, будничным тоном – Даниялов сказал:

– Собираемся отметить круглую дату выступления товарища Сталина, лично провозгласившего автономию Дагестана.

Маленков востепенно:

– Как это – лично?

– Лично. 13 ноября 1920 года выступал в Темир-Хан-Шуре, в местном театре.

– Речь опубликована?

Даниялов достал и положил на стол заранее припасенную книгу Отца Народов, где специальной закладкой была отмечена названная речь.

Быстро проглядев заложенную страницу, Маленков встал, протянул Даниялову руку для рукопожатия и сказал:

– Езжайте, товарищ Даниялов, домой и спокойно работайте.

Вопрос о высылке народов Дагестана в места не столь отдаленные больше не поднимался.

Да, конечно, его прошлое его связывало. Отчасти этим объяснялось и его иезуитство: ему приходилось быть иезуитом, потому что нельзя было совсем уж не считаться с мнением зарубежных коммунистов-марксистов.

Впрочем, все эти мои тогдашние мысли интересны лишь постольку, поскольку довольно правдиво показывают, какая каша царила тогда у меня в голове.

К счастью, недолго.

5

Когда правительство молодой советской республики собралось переезжать из Петрограда в Москву, отцу Юры Трифонова поручили приглядеть в Москве подходящее здание, в котором могла бы расположиться ЧК. И он приглядел – дом Страхового общества «Россия» на Лубянке. В этом доме он потом и сгинул.

Это – предыстория.

Впрочем, сама история, которую я сейчас расскажу, тоже будет лишь предварять главную тему.

Позвал как-то меня к себе Боря Слуцкий. Сказал, что будет еще Юра Трифонов. И он почитает мне с Юрой свои новые стихи.

По инерции я написал «к себе», – но это сказано не совсем точно, потому что никакого постоянного пристанища в Москве у Бориса тогда не было. Он скитался по разным углам. А в тот раз квартировал у своего приятеля Юры Тимофеева в старом деревянном доме на Большой Бронной. (Теперь от этой развалюхи, разумеется, не осталось и следа.)

Мы с Юрой явились почти одновременно. Борис усадил нас за стол, покрытый старенькой клеенкой. Сам сел напротив. Положил перед собой стопку бумажных листков – в половину машинописной страницы каждый. Сказал:

– Вы готовы?.. В таком случае, начнем работать...

Это был его стиль, унаследованный им от Маяковского. Не могу поручиться, что слово «работать» было действительно произнесено, но тон и смысл сказанного был именно такой: вы пришли сюда не развлекаться, не ласы точить, а работать.

Мы поняли и настроили себя на соответствующий лад.

Борис прочел первое стихотворение... Второе... Третье... Начал читать четвертое.

– «Лопаты», – объявил он. И стал читать, как всегда, медленно, буднично, без всякого актерства, ровным, «жестяным» голосом:

На рассвете с утра пораньше
По сигналу пустеют нары.
Потолкавшись возле парашаи,
На работу идут коммунары.

Основатели этой державы,
Революции слава и совесть –
На работу!
С лопатой ржавой.
Ничего! Им лопата не новость.

Землекопами некогда были.
А потом – комиссарами стали.
А потом их сюда посадили
И лопаты корявые дали...

Тут вдруг большой, грузный Юра как-то странно вскрикнул, встал и вышел из комнаты.

Мы с Борисом растерянно смотрели друг на друга. Молчали.

Слышно было, как где-то (в кухне? в ванной?) льется вода.

Потом Юра вернулся. Сел на свое место. Глаза у него были красные.

Никто из нас не произнес ни слова.

Последний законный наследник Маяковского продолжил свою работу. Прочел пятое стихотворение... шестое... седьмое... Наверно, это были хорошие стихи. Но я их уже не слы-

шал. В голове моей, заглушая ровный голос Бориса, звучали совсем другие стихотворные строчки:

Мальчишка плачет, если он побит.
Он маленький, он слез еще не прячет.
Большой мужчина плачет от обид.
Не дай вам Бог увидеть, как он плачет.

Да... Не дай вам Бог.

После этого инцидента дальнейшая наша «работа» как-то не задалась.

Юра вскоре ушел. А мне Борис взглядом дал понять, чтобы я остался. И я остался.

Мы попили чаю, поговорили немного о последних политических новостях, связанных с недавно отгремевшим XX съездом, и вернулись к прерванному занятию.

Стихи, которые потом читал мне в тот вечер Борис, почти сплошь были о Сталине.

Сперва он прочел известные мне (они уже довольно широко ходили тогда по Москве) «Бог» и «Хозяин».

Поскольку это было не просто чтение, а работа, после каждого прочитанного стихотворения мне полагалось высказываться.

О «Бог» я сказал, что это – гениально. Стихотворение и в самом деле – как и при первом чтении – поразило меня своей мощью:

Он жил не в небесной дали,
Его иногда видали
Живого. На Мавзолее.
Он был умнее и злее
Того – иного, другого,
По имени Иегова,
Которого он низринул,
Извел, пережег на уголь,
А после из бездны вынул
И дал ему стол и угол.
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.

Борис промолчал.

Но пока все шло более или менее гладко.

Неприятности начались, когда он прочел стихотворение, начинавшееся словами: «В то утро в Мавзолее был похоронен Сталин».

А кончалось оно так:

На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?
Я посмотрел кругом:
Москва была не грустная,
Москва была пустая.
Нельзя грустить без устали.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
Неистово мели,
Как будто рвали корни и
Скребли из-под земли,
Как будто выдирали из перезябшей почвы
Его приказов окрик, его декретов почерк:
Следы трехдневной смерти
И старые следы –
Тридцатилетней власти
Величья и беды.

Я шел все дальше, дальше,
И предо мной предстали
Его дворцы, заводы –
Все, что построил Сталин:
Высотных зданий башни,
Квадраты площадей...

Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.

Отдав должное смелости его главной мысли (заклучавшейся в том, что сталинский социализм – бесчеловечен, поселить в нем людей нам только предстоит), я сказал, что в основе своей стихотворение все-таки фальшиво. Что я, как Станислав-

ский, не верю ему, что он действительно в тот день думал и чувствовал все, о чем тут рассказывает. И вообще, полно врать, никакой социализм у нас не выстроен...

Он опять промолчал, и все опять шло довольно гладко, пока он не прочел такое – тоже только что тогда написанное – стихотворение:

Толпа на Театральной площади.
Вокруг столичный люд шумит.
Над ней четыре мощных лошади,
Пред ней экскурсовод стоит...

Я вижу пиджаки стандартные –
Фасон двуборт и одноборт,
Косоворотки аккуратные,
Косынки тоже первый сорт.
И старые и малолетние
Глядят на бронзу и гранит, –
То с горделивым удивлением
Россия на себя глядит.

Она копила, сэкономила,
Она вприглядку чай пила,
Чтоб выросли заводы новые,
Громады стали и стекла...

Здрав башку и тщетно сиясь
Запомнить каждый новый вид,
Стоит хозяин и кормилец,
На дело рук своих глядит.

Тут я снова ввязался в спор.

Хотя на самом деле никакого спора не было. Говорил один я, Борис молчал.

– Вы только подумайте, что вы написали! – горячился я. – Вот эти плохо одетые, замордованные, затраханые чудовищным нашим государством-Левиафаном люди – это они-то хозяева? А те, что разъезжают в казенных автомобилях, жируют в своих государственных кабинетах, – они, значит, слуги народа? Да? Вы это хотели сказать?

Когда я исчерпал все свои доводы и напоследок обвинил его

в том, что он повторяет зады самой подлой официальной пропагандистской лжи, он произнес в ответ одну только фразу:

– Ладно. Поглядим.

Тем самым он довольно ясно дал мне понять, что еще не вечер. Придет время, и истинный хозяин еще скажет свое слово.

Намек я понял. И хоть остался при своем, поверил, что он, во всяком случае, не врет, на самом деле верит, что сказанное им в этом стихотворении – правда.

Но главный скандал разразился после того, как он прочел мне – тоже только что написанное – стихотворение про Зою. Про то, как она крикнула с эшафота: «Сталин придет!»

Завершали стихотворение такие строки:

О Сталине я в жизни думал разное,
Еще не скоро подобью итог...

И далее следовало мутноватое рассуждение насчет того, что, как бы там ни было, а это тоже было, и эту страницу тоже, мол, не вычеркнуть из истории и из нашей жизни.

– Как вы могли! – опять кипятился я. – Да как у вас рука поднялась! Как язык повернулся!

– А вы что же, не верите, что так было? – кажется, с искренним интересом поинтересовался он. (Мне показалось, что он и сам не слишком в это верит.)

– Да хоть бы и было! – ответил я. – Если даже и было, ведь это же ужасно, что чистая, самоотверженная девочка умерла с именем палача и убийцы на устах!

Когда я открывался, он – довольно спокойно – разъяснил:

– У меня около сотни стихов о Сталине. Пусть среди них будет и такое...

Но самый большой скандал разразился по поводу таких его строк:

Художники рисуют Ленина,
Как раньше рисовали Сталина,
А Сталина теперь не велено:
На Сталина все беды свалены.

Их столько, бед, такое множество!
Такого качества, количества!
Он был не злобное ничтожество,
Скорей – жестокое величество.

Сейчас, когда я отыскал в его трехтомнике это стихотворение, запомнившееся мне только первым четверостишием да последними двумя строчками («Уволенная и отставленная, Лежит в подвале слава Сталина»), меня особенно покорило в нем слово «величество». (Не само слово даже, а интонация, с какой оно произнесено: что бы, мол, вы там ни говорили...)

Но тогда возмутило меня там совсем другое.

– Ах, вот как! – иронизировал я. – Свалены, значит? А сам он, бедный, выходит, ни в чем не виноват?

В этом слове («свалены», как это мне запомнилось, или «взвалены», как это теперь напечатано) мне тогда померещилось стремление Бориса выгородить Сталина, защитить его от «несправедливых» нападок.

Хотя тут, вероятно, скорее был прав он, а не я. В основе чувства, вызвавшего к жизни эти стихи, лежало более глубокое, чем мое, осознание той простой истины, что главной причиной наших бед был не Сталин, а порожденная не им (во всяком случае, не только им) система.

И еще один – тоже тогдашний – наш разговор на эту же тему.

Речь зашла о молодых тогда Евтушенко и Вознесенском. Я нападал на них, Боря их защищал. Как и всегда в этих наших разговорах, каждый остался при своем. Но в заключение Борис довольно жестко подвел итог:

– Все дело в том, что вам не нравится XX век. Вам не нравятся его вожди, вам не нравятся его поэты...

Я сказал, что с поэтами дело обстоит сложнее, но вожди действительно не нравятся.

Ему они, конечно, тогда тоже уже не нравились. И я это прекрасно понимал: ведь только что им были прочитаны «Бог» и «Хозяин». Но распаленный его невозмутимостью, я стал кидаться уже и на «Хозяина», и на «Бога». Сказал, что, в отличие от него, своим хозяином Сталина никогда не считал,

портретов его нигде не вешал, да и как бога тоже его никогда не воспринимал.

Он сказал:

– Я не хочу рисовать картину той нашей жизни извне, как бы со стороны. Я был внутри.

Я сказал, что тоже был внутри. И тоже о Сталине в жизни думал разное. Но, в отличие от него, уже «подбил итог».

И тут он – первый раз за весь этот вечер – тоже съехидничал:

– Ну да, когда прочли об этом в газетах.

– Да я, если хотите знать, – оскорбился я, – уже в 15 лет сочинял эпиграммы на Сталина!

Сам не знаю, как это вдруг из меня выскочило. За минуту до того, как у меня вырвалась эта надменная фраза, я и сам не догадывался, что помню об этом. Но это действительно было.

Во всяком случае, одну эпиграмму на Сталина я однажды действительно сочинил.

Вообще-то сочинил я ее не один, а вместе с Глебом. И сейчас, конечно, уже не вспомню, кто был заводилой и кому из нас принадлежала в этой эпиграмме какая строка или какое слово.

Было это в ту пору, когда мы создали наш клуб (или общество) «перфектуристов», о котором я уже вспоминал на этих страницах.

Затея эта, как я уже говорил, была совсем не безобидная: и по меньшим поводам такие же несмышлениши, как мы, получали немалые лагерные сроки. Вспоминаю (опять) Шурика Воронеля, который – вместе со своими поделщиками – стремился лишь к тому, чтобы слегка оживить комсомольскую работу, придать ей менее формальный характер. А у нас даже само название нашего сообщества таило в себе крамолу: перфектуристы, стало быть, зовут в прошлое...

По недомыслию мы всего этого не понимали и развелись напропалую. И вот так, резвясь, однажды позволили себе – даже и по нашим тогдашним понятиям – довольно опасную выходку.

Как раз в это самое время страна сменила гимн. И мы,

склонные глумиться над всем, что видели вокруг, не придумали ничего лучшего, как тут же сочинить наш собственный гимн – «Гимн перфектуристов».

Это бы еще ладно. Но сочиняя гимн нашего сообщества, мы, естественно, поддались легкому соблазну спародировать гимн государственный. Не мудрствуя, заменили Ленина и Сталина своими собственными фамилиями, и в результате на свет родился такой текст:

На бой вдохновил нас великий Селянин,
Сарнов гениальный нам путь указал.
Наш путь, хоть не нов и по-своему странен,
Но он открывает ослепшим глаза.

Вряд ли мы в полной мере понимали, с каким огнем играем.

Но этим дело не кончилось.

Ребята мы были политизированные, «резкий поворот всем вдруг», проделанный Сталиным в то время (ропуск Коминтерна, перемена гимна, введенные в армии погоны, а главное, смена государственных кумиров – Суворов и Кутузов, сменившие Спартака, Гарибальди, Костюшко и других пламенных революционеров) – все это было постоянной темой наших разговоров, шуток, острот. И вот, в результате многократного обсасывания этой волнующей темы, и явилась на свет эпиграмма, нацеленная уже прямо и непосредственно, так сказать, лично в товарища Сталина:

Мы били немцев и французов,
И в тех боях бывали метки.
Но и Суворов, и Кутузов
Ведь не твои, а наши предки.

Помимо главной причины, из-за которой эта эпиграмма за 60 лет не выветрилась из моей памяти, была еще одна – не главная, но, как оказалось, для меня довольно существенная. (Не будь это так, я бы вряд ли ее запомнил.)

По ходу дела у нас с Глебом возникли некоторые творческие разногласия.

Глебу нравился тот, сразу у нас родившийся вариант, который я только что процитировал. А я предлагал другой, как мне казалось, лучший:

Да, прогнали мы французов
И в боях бывали метки.
Но Суворов и Кутузов
Не твои, а наши предки.

Этот вариант был легче, изящнее. Но Глебу одних французов было мало, он требовал, чтобы обязательно упоминались и немцы. А в мой – укороченный – вариант немцы никак не влезали.

Принят в конце концов был первый, Глебов вариант.

Озаглавить наше детище мы сперва хотели просто и скромно: «Маршалу Сталину». Но для полной ясности, чтобы уж ни у кого не возникало никаких сомнений насчет того, куда направлено жало нашей художественной сатиры и в чем состоит ее сокровенный смысл, слегка изменили текст посвящения. Теперь оно стало выглядеть так: «Иосифу Виссарионовичу Джугашвили».

Очень собой довольные, мы, естественно, захотели немедленно с кем-нибудь поделиться этим нашим последним творческим достижением.

Пушкинский Гринев, как вы, конечно, помните, прочитав свои стихи Швабрину и не найдя в нем сочувствия, поклялся, что уж отроду не покажет ему своих сочинений. Но Швабрин посмеялся над этой его угрозой. «Посмотрим, – сказал он, – сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузьмичу графинчик водки перед обедом...»

Увы, негодяй Швабрин был прав.

Итак, мы сгорали от желания поделиться с кем-нибудь своей творческой удачей. И тут, надо сказать, Бог нас спас: на роль первого нашего читателя (слушателя), по счастливой случайности, мы выбрали моего отца.

Не могу сейчас с уверенностью сказать, было ли это чистой случайностью: может быть, все-таки сработала некоторая осторожность. Но так или иначе, с этим первым читателем нам

сильно повезло, поскольку он употребил все свои усилия на то, чтобы остаться не только первым, но и последним. Он напустил на нас такого холоду, что всякая охота прочесть (как нам этого ни хотелось!) наш шедевр кому-нибудь еще у нас сразу же пропала.

Прослушав нашу эпиграмму, отец, как я теперь понимаю, смертельно испугался. Но у него хватило ума дать нам понять, что затея наша нехороша не только потому, что опасна.

– Ну что вы прицепились к Сталину? – сказал он. – Что вам Сталин – в борщ насрал?

Обычно таких выражений – тем более, в разговоре с «детьми» – отец себе не позволял: понятия у него на этот счет были весьма строгие. И уже это – никогда мною прежде от него не слышанное словцо – сразу показало мне всю меру его взволнованности.

Но после этого он сделал следующий, совсем уже безошибочный ход.

– Не кажется ли тебе, – игнорируя меня, обратился он к Глебу, – что это не очень прилично – попрекать человека его национальностью.

И обернувшись ко мне:

– Ну а ты-то чего полез? Суворов и Кутузов тебе тоже никакие не предки!

Я обиженно сказал, что родился в Москве, мой родной язык русский, и вообще я считаю себя таким же русским, как Глеб.

– Вот и Сталин тоже считает себя русским, – отрубил отец. И закончил: – Ладно, пусть Глеб – как он там себе хочет, это в конце концов его дело. Но не тебе, еврею, тыкать Сталину в нос его нерусское происхождение.

Никогда – ни раньше, ни потом – отец так со мной не разговаривал. Я надулся и обиженно молчал. А Глеб – тот вообще сидел красный как рак.

Как я теперь понимаю, главная цель отца, наверное, как раз в том и состояла, чтобы не только запугать нас, но и как можно сильнее обидеть. Дать нам понять, что мы вляпались не только в смертельно опасное, но и в довольно-таки постыдное дело.

Не помню, как и чем тогда закончился этот наш разговор. Но лекарство подействовало. Нашу эпиграмму на Сталина мы никому больше не показывали и не читали.

Когда я сгоряча сказал Борису, что своим хозяином Сталина не считал и его портретов никогда и нигде не вешал, – это была чистая правда.

А вот насчет того, что он никогда не был для меня богом... Тут я, пожалуй, слегка покривил душой.

6

7 марта «Правда» сообщила, что похороны Сталина состоятся 9-го, в понедельник. Гроб с телом вождя установлен в Колонном заде Дома союзов, и доступ в Колонный зал открыт с 6 часов утра до 2 часов ночи.

Там, правда, говорилось, что сообщается все это «для сведения организаций», и будь я поумнее, это могло бы меня слегка отрезвить. Но – не отрезвило.

8-го я проснулся – ни свет ни заря. Наскоро перехватив, вышел на улицу с твердым намерением любым способом добраться до Колонного зала.

Я понимал, что это будет не просто. Но у меня был свой план.

Двор нашего гигантского – Бахрушинского – дома выходил одним своим концом в Козицкий, а другим – в Глинищевский переулок (одно время он назывался улицей Немировича-Данченко, а сейчас опять стал Глинищевским). Оба эти переулка выходили на Большую Дмитровку. Ну а уж там до Колонного зала было – рукой подать.

Разумеется, оба выхода из переулков на Дмитровку (и из Козицкого и из Глинищевского) были перекрыты: их загораживали стоящие впритык друг к другу грузовики. А за тем, чтобы никто не мог просочиться меж грузовиками или нырнув под их колеса, бдительно следили поставленные там специально на этот случай солдаты.

Но я недаром был – хоть и не уличным, а комнатным, домашним, – но все же московским мальчиком. К тому же это

ведь был мой район: сюда, на Дмитровку, я до войны бегал каждый день в свою 635-ю школу. И как правило – не переулками. Было множество всяких других способов: только нам, мальчишкам, известные ходы и переходы, проходные дворы. А на самый крайний случай – черный ход какого-нибудь из корпусов нашего дома, через который можно было протыриться в чью-нибудь квартиру – с тем, чтобы выйти из нее уже парадным ходом, прямо на Дмитровку.

Сейчас я уже не помню, каким из этих способов я тогда воспользовался. Вернее, какой из них привел к успеху. Помню только, что когда я наконец очутился на Дмитровке, первая моя мысль была, что главное – сделано, все трудности теперь уже позади.

Чувствовал я себя при этом большим молодцом, словно совершил настоящий подвиг, и это слегка примирило меня с великой утратой.

Во всю длину Дмитровки царил, как мне тогда показалось, идеальный порядок. Поток людей, устремившихся к Колонному залу, занимал лишь малую часть тротуара. Люди жались к домам. Вернее, их теснили к домам милиционеры и какие-то мускулистые ребята в штатском. Но никакой толкотни, а тем более свалки не было и в помине, и, увидав эту картину, я решил, что дело мое в шляпе. Как бы медленно ни двигалась очередь, через час-другой я наверняка уже буду в Колонном зале.

Но довольно скоро мне стало ясно, что я ошибся.

Прошло часов, наверное, пять, а то и шесть, а очередь моя за это время дошла только до прокуратуры. Здание это было хорошо мне знакомо: в детские годы мы, мальчишки, часами простаивали перед его воротами, с восторгом наблюдая, как створки этих ворот САМИ раздвигаются и сдвигаются. (До войны других таких автоматических ворот я в Москве не видел, и эти были для нас одной из важных достопримечательностей нашего родного города.)

Итак, за пять-шесть часов моя очередь дошла до здания Генеральной прокуратуры и там – намертво остановилась.

Проходил час за часом, а мы не двигались. И так и не сдвинулись больше ни на шаг.

Очевидно, с других концов Москвы шли к Колонному дру-

гие очереди – от тех самых организаций, про которые говорилось в сообщении «Правды», а не самостийные, как наша. И их пропускали вперед.

Тут я понял, что дело мое – безнадежное: в Колонный зал я, конечно, не попаду. С разных сторон туда будут подходить все новые и новые официальные делегации, а мы так и будем тут стоять, ни на шаг не приближаясь к цели.

Но я все стоял и стоял, еще продолжая на что-то – непонятно на что – надеяться.

О том, что происходило в эти часы в других районах Москвы (например, на Трубной, где было главное столпотворение, завершившееся кровавым кошмаром), я тогда, конечно, не знал. Но догадывался, что сотни тысяч людей, находящихся сейчас гораздо дальше, чем я, от Колонного зала, терпеливо ждут, не уходят. А я ведь – совсем рядом, ну просто в двух шагах! И вот так вот, просто – взять и уйти?

В то же время я ясно понимал, что продолжать это вечное стояние – бессмысленно. Ничего не поделаешь: надо уходить.

И тут я вдруг увидал, что впереди, в пяти шагах от меня – в той же очереди – стоит мой институтский товарищ Коля Войткевич.

С Колей мы учились на одном курсе. Не то чтобы дружили, но – симпатизировали друг другу. Разговаривали редко: Коля был немногословен. Однако из тех немногих наших разговоров я все-таки знал, что в войну ему крепко досталось: он был в плену и после многих сложных передрыг оказался в Нюрнберге. О том, что с ним было потом, после того как наши его освободили, он никогда не говорил, а я не спрашивал.

Увидав его, я кинулся к нему как к родному.

Коля, как и я, жил где-то здесь, в центре Москвы, в нашем районе – в Леонтьевском, что ли. И встречались мы с ним хоть и от случая к случаю, но все-таки довольно часто: и просто на улице, и в каких-то редакциях. Но сейчас, когда нас кинуло друг к другу в этой очереди, чувство у нас (во всяком случае, у меня) было такое, словно последний раз мы встречались тысячу лет назад, в какой-то другой жизни.

Так оно, в сущности, и было: смерть Сталина разрубила нашу жизнь пополам, как когда-то на такие же две половины раз-

рубило ее 22 июня 1941 года. И как тогда, когда вся наша жизнь поделилась на «до войны» и «после войны», так и сейчас – надолго, может быть, на весь ее остаток – она поделилась для нас на «при Сталине» и – «после Сталина».

Встреча с Колей решила дело: понимая всю бессмысленность дальнейшего стояния в этой неподвижной очереди, я никуда не ушел, остался. И так – уже вдвоем – мы простояли еще часа три, ни на шаг не приблизившись к цели.

Учитывая особенности Колиной биографии, я думаю, что он тоже о Сталине «в жизни думал разное». И вряд ли, конечно, – и в прежние годы, и потом – мы с ним думали о Нем одинаково.

Но на всем протяжении тех трех часов, что мы провели с ним вместе в той безнадежной очереди, мы твердили друг другу одно и то же: что раньше не понимали, какая это огромная фигура – Сталин, что только нам, жившим при нем и взрослыми людьми пережившим его смерть, дано это по-настоящему осознать и почувствовать. Что те, кто моложе нас, нынешние мальчишки и девчонки, никогда этого не поймут и не оценят...

Легко, конечно, заподозрить тут нас обоих в неполной искренности. Да и что говорить: обстоятельства места и времени к полной искренности тогда не больно располагали. Но тем не менее – ручаюсь (по крайней мере – за себя), что все это мы изливали друг другу искренне. Уж что там стояло за этой искренностью – это другой вопрос. Но мы были искренни. К тому же никто за язык нас не тянул: могли ведь и отделаться многозначительным молчанием. Но нас – как прорвало. И мы все продолжали и продолжали обрушивать друг на друга эти восторженные, коленопреклоненные словоизлияния.

В одной из глав этой книги я приводил небольшой отрывок из письма Татьяны Максимовны Литвиновой Эмме Григорьевне Герштейн.

Вспоминая о том, как она «единственный раз слышала и видела Сталина, выступавшего на съезде (1936?) по поводу конституции», Татьяна Максимовна пишет:

Я его обожала! Власть – всевластность – желание бросить-
ся под колесницу Джаггернауга. Отец, Бог – полюби меня!

Я при жизни Сталина ни разу ничего подобного не почувствовал. И дело, думаю, тут не только в том, что, в отличие от Татьяны Максимовны, ни разу не видел его живьем. (Хотя, наверно, и в этом тоже.)

А тут, в этой неподвижной молчаливой очереди, это рабское чувство меня вдруг настигло. словно уходя, он напоследок дал мне понять, что не остаться мне не затронутым этим массовым психозом, не уйти, никуда не деться от этой его безграничной власти над нашими душами.

Я уже рассказывал о том – к счастью, недолгом – периоде своей жизни, когда был влюблен в Сталина. Но даже в пике этой моей влюбленности Сталин оставался для меня человеком. Значительным, обаятельным, очаровательным даже, но – человеком. Я ясно видел все его слабости. Помню, в какой-то кинохронике Сталин на трибуне произносил свою знаменитую предвыборную речь и объяснял, каким должен быть кандидат в депутаты.

«Он должен быть...» – повторял он по всегдашней своей манере одну и ту же формулу несколько раз, нанизывая на нее, как на шампур, все новые и новые определения. И вот, повторив ее в третий или в четвертый раз, вдруг остановился, подыскивая нужные слова. Но так и не найдя, после маленькой заминки закончил: – «на высоте своих задач».

По лицу его было видно, что он и сам недоволен этим безликим и, по правде говоря, даже бессмысленным определением. Он вроде как-то даже поморщился. И это отразившееся на его лице недовольство собою меня умилило.

Над тем Сталиным, в которого я был влюблен, можно было добродушно подтрунивать, даже смеяться.

Помню рассказ нашего соседа Ивана Ивановича о том, как на каком-то съезде, когда Сталин, выступая с отчетным докладом, сказал, что собирается затронуть некоторые вопросы теории, из зала прозвучала насмешливая реплика старого большевика Давида Борисовича Рязанова:

– Коба! Вы – и теория? Не смешите нас!

Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что на самом деле Сталин никакой не теоретик и уж во всяком случае не классик марксистско-ленинского учения, каким его объявили. Пони-

мал, что его усатый профиль рядом с медальными профилями великих бородачей Маркса и Энгельса и даже более простецкого, свойского Ленина с его сократовским лбом выглядит, выражаясь известной репликой из анекдота, как «гвоздь не от той стенки». При всей моей влюбленности в Сталина, я не сомневался, что классиком марксизма-ленинизма и корифеем всех наук его назначили не за подлинные его заслуги, а, так сказать, по должности.

Все это, как я уже сказал, не мешало моей влюбленности в Сталина, не разрушало ее. Но при всей этой моей влюбленности Сталин оставался для меня человеком, а не богом.

А тут – в этом долгом нашем разговоре с Колей Войткевичем – Сталин уже всерьез представлялся нам и корифеем науки, и классиком марксизма, по праву ставшим вровень с Марксом, Энгельсом и Лениным. Все эти привычные слова и обороты («Корифей науки», «Гениальный полководец», «Величайший гений всех времен и народов»), над которыми еще недавно мы тайком хихикали, теперь воспринимались нами всерьез, без тени иронии. Какая ирония! Только священный трепет и благоговение.

Римский император, как известно, умирая, становился богом. Вот так же и Сталин, завершив свой земной путь и вот теперь на наших глазах уходя в Историю, стал для нас с Колей (для меня – ненадолго, да и для него, думаю, тоже не навсегда) тем богом, каким при жизни своей он никогда для нас не был.

А на следующий день мы всем семейством слушали по радио траурные речи, произносившиеся у Мавзолея соратниками вождя и наследниками его власти.

С нами сидела и слушала те речи и наша соседка Раиса Александровна (Масюточка).

Вроде бы ничемушное упоминание о ней тут не случайно, потому что именно с ее реакцией связано одно из самых ярких тогдашних моих впечатлений.

Когда после Маленкова, выступившего первым, слово было предоставлено Лаврентию Павловичу Берия и он произнес первые свои слова: «Дарагие товарищи! Друзья!» – Масюточка вдруг захлюпала носом.

– Что это вы? – удивился отец.

– Акцент! – прорыдала она. – ЕГО акцент!.. Не могу слышать... Сердце разрывается...

Спустя несколько минут она успокоилась, а к концу бериевской речи совсем приободрилась и даже сказала, что грузинский акцент Лаврентия Павловича внес в ее сердце надежду. По ее мнению, этот акцент как бы давал нам понять, что со смертью Сталина не все потеряно, что ЕГО дело – в надежных руках.

Что говорить, Масюточка была гораздо глупее своего бывшего мужа, и я, грешным делом, даже подумал тогда, что Осип Исаакович, видать, покинул ее не только потому, что его новая пассия была помоложе и попригляднее: кто знает, может быть, она была к тому же и не такая набитая дура, как эта его Масюточка.

Но тут надо сказать, что и сам я в тогдашних своих мыслях и ощущениях не так уж далеко ушел от этой нашей соседки.

Прочитав 7 марта о новом распределении ролей в руководстве страны и узнав, что Председателем Президиума Верховного Совета СССР стал Ворошилов, я почувствовал то же облегчение, какое нашей соседке Раисе Александровне внушил грузинский акцент Лаврентия Павловича.

Я, в общем-то, понимал, что все эти перестановки не очень существенны и, во всяком случае, далеко не окончательны. Позже возникла на этот счет замечательная формула:

А вы, друзья, как ни садитесь, только нас не сажайте!

До такой ясности я тогда, конечно, еще не дорос. Но что высокий пост председателя Президиума Верховного Совета у нас – еще со времен «всесоюзного старосты» дедушки Калинина – чисто декоративный, это-то уж, во всяком случае, не было для меня тайной.

И все-таки, когда я узнал, что нашим «президентом» отныне будет «первый красный офицер» Клим Ворошилов, у меня слегка отлегло от сердца.

Видимо, сработало выскочившее из подкорки старое, еще с детства запомнившееся всенародное присловье:

Все нормально, все в порядке,
Ворошилов на лошадке.

Этот пример с особенной наглядностью подтверждает, что в основе всех моих тогдашних ощущений (как некогда в основе моей влюбленности в Сталина) лежал все тот же страх.

Впрочем, не совсем тот же. Другой.

На сей раз это был страх не перед НИМ, а перед будущим. Каким оно окажется, это наше будущее без НЕГО?

Но это объяснение всего лишь дает представление о том, какая каша была тогда у меня в голове. Оно не помогает понять – не только понять, но даже передать – природу того ужаса, который накатил на меня и захватил все мое существо, который я ощутил всем телом, всеми своими потрохами – сердцем (оно побаливало), пищеводом (меня мутило, поташнивало), желудком, кишечником (да-да, желудок и кишечник тоже выдавали свою реакцию, это не метафора) при известии о смертельной болезни, а потом и смерти Сталина.

Никакие мои рассуждения не помогут понять природу этого ужаса, потому что этот мой ужас был иррационален.

7

Среди многочисленных сталинских высказываний, объявленных вершинами человеческой мудрости, одним из самых знаменитых было такое:

Эта штука посильнее «Фауста» Гёте. Любовь побеждает смерть.

Это Сталин сказал – даже не сказал, а собственноручно написал (11 октября 1931 года) – на титульном листе ранней и, по правде говоря, ничем не примечательной поэмы Горького «Девушка и смерть».

Поэма Горького немедленно была включена в школьные программы, и факсимильное воспроизведение сталинского отзыва красовалось в наших школьных учебниках. Слово «любовь» сталинской рукой было написано там без мягкого знака:

«любов». В школе, где я учился, ходили слухи, что кто-то из озорников-старшекласников нарочно сделал в этом слове такую же ошибку, а когда ему хотели снизить за это оценку, сослался на то, что «так у Сталина». И никто из учителей не посмел ему намекнуть, что, мол, квод лицет йови, нон лицет ко-рове. Хорошо еще, что не внесли соответствующее изменение в орфографию, объявив, что отныне слово это надлежит писать именно так, как начертал его Сталин.

Помню еще, что какой-то известный советский художник написал картину, на которой был изображен А.М. Горький, читающий эту свою «штуку» Сталину, Ворошилову, Молотову и кому-то еще из тогдашних наших «тонкошеих вождей», как назвал их Мандельштам в своем знаменитом антисталинском стихотворении, за которое он заплатил тюрьмой, ссылкой, а потом и гибелью.

Кстати, о Мандельштаме.

Надежда Яковлевна, вдова поэта, в первой книге своих воспоминаний рассказывает, что, прочитав этот отзыв Сталина на сказку Горького «Девушка и смерть», Осип Эмильевич сказал: «Мы погибли...»

Она замечает при этом, что слова эти он повторял потом часто, увидав, например, на обложке какого-то иллюстрированного журнала, как Сталин протягивает руку Ежову. Да и мало ли их было тогда, куда более зловещих и жутких сигналов, предвещающих неизбежную гибель, – не только его собственную, гибель всей русской интеллигенции, всей русской культуры, гибель самой России. Но впервые, – свидетельствует Надежда Яковлевна, – он произнес эти слова именно вот тогда, когда прочитал знаменитую реплику Сталина о горьковской сказке.

Странная вещь, непонятная вещь! Да что, в конце концов, такого уж страшного было в этом дурацком сталинском замечании? В особенности если сравнить его с другими – откровенно людоедскими – высказываниями, а тем более деяниями «отца народов»!

Но слова Сталина о горьковской сказке не зря наполнили душу Мандельштама таким леденящим ужасом. Черт с ним, пусть дружески протягивает руку Ежову. В конце концов, это

его дело. И ничего такого уж особенно нового нет в этом трогательном рукопожатии властителя и палача. Чего там! «Власть отвратительна, как руки брадобрея». Но тут эти «руки брадобрея» потянулись к Гёте, прикоснулись к «Фаусту»...

У меня и моих сверстников, конечно, ни таких тонких чувств, ни таких глубоких соображений это сталинское высказывание не вызвало. Но и никакого почтения, а тем более священного трепета оно в нас тоже не пробудило. Вызывало, как я помню, главным образом смех.

Смешным было само слово «штука». Смешной была ошибка (или описка) вождя и то, что никто не посмел эту грубую ошибку, за которую каждому из нас сразу вlepили бы «неуд», исправить.

В общем, над этим глубокомысленным изречением вождя мы, школьники, потихоньку хихикали.

И, как оказалось, зря. Потому что на этот раз вождь и в самом деле высказал довольно глубокую мысль.

Я имею в виду, конечно, не оценку горьковской «штуки» и не сравнение ее с «Фаустом», а вторую половину сталинской реплики. Это была не пустая фраза. Любовь действительно побеждает смерть. Это правда.

А узнал я, что это правда, как раз вот в те самые траурные дни.

Из всех моих впечатлений, оставшихся от тех дней в моей памяти, едва ли не самым ярким была такая, вставшая сейчас перед моими глазами, сцена.

Сидит мой отец, а напротив него Поженян.

Сидят, молчат.

Лицо отца растерянное, даже как будто подавленное.

Время от времени он произносит одну и ту же фразу:

– ТАКОЙ Сталин...

Поженян слегка усмехается, по обыкновению щуря свои лукавые карие глаза. Он редко удерживается от того, чтобы возразить собеседнику, поправить его, научить уму-разуму. Обычно каждая его реплика чуть ли не в каждом разговоре начинается словами:

– Сейчас я вам все объясню...

Или:

– Запомни, старик. Я тебе сейчас скажу три вещи...

На все случаи жизни у него всегда находились эти «три вещи», которые дадут ответ на все – самые сложные – вопросы и подскажут выход из любого, самого трудного положения.

Но сейчас даже он, всегда уверенный в себе Поженян, не находит никаких других слов, кроме тех, которые произнес отец. Он кивает, соглашается, повторяет вслед за ним:

– ТАКОЙ Сталин...

Совершенно очевидно при этом, что мысль не о величии Сталина, не о роли его в истории или даже в нашей жизни стоит за этой их репликой, а совершенно другая мысль, совсем иное чувство.

Это мысль – о Смерти (Смерти с большой буквы), перед всеилием которой оказался бессилён даже Сталин. ТАКОЙ Сталин, державший в своих руках судьбы мира, диктовавший свою волю всему человечеству и самой Истории... И вот, он, оказывается, тоже смертен.

Не о Нем они вздыхали, покачивая головами и повторяя «ТАКОЙ Сталин...», а – о себе. О своем смертном часе. О том, что неизбежно ждет каждого из нас.

Лев Николаевич Толстой говорил, что человек по-настоящему начинает думать лишь тогда, когда задумывается о смерти. Потому что если смерть конец всему – вся жизнь человеческая не имеет ни смысла, ни цены.

Сам он всю жизнь боялся смерти. Я думаю, что и так называемый «арзамасский ужас», в котором психиатры видят симптом какой-то необычной, скрытой, «латентной» формы эпилепсии, был не чем иным, как внезапно накатившей и до мозга костей пронзившей его мыслью о неизбежности смерти.

Собственно говоря, слова «я думаю» тут не больно уместны, поскольку Лев Николаевич и сам именно так объяснил свой «арзамасский ужас».

Сперва (в письме к Софье Андреевне) он рассказал о нем так:

Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное.

Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело, но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал и никому не дай Бог испытать.

Через много лет он осознал и описал это чувство иначе:

Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой — красной... Мне страшно было встать, разгулять сон и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать... Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю?... Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что за глупость, — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь». — «Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут». Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, вот она... Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, я видел, чувствовал, что смерть наступает... Я попытался стряхнуть этот ужас... Надо заснуть. Я лег было. Но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная...

Это толстовское чувство было мне хорошо знакомо.

Я никогда не мог понять ни философского, ни простонародного («Бог — дал, Бог — взял») спокойно-мудрого отношения к смерти. Мысль о смерти, о ее неизбежности всегда так ужасала меня, что едва только она приближалась ко мне (чьей-нибудь смертью или другим каким-нибудь напоминанием о себе), я тут же поспешно гнал ее от себя прочь.

Недавно я где-то прочел, что и Чайковский всю жизнь панически боялся смерти. Боялся всего, что намекает на смерть. Близкие ему люди знали, что при нем нельзя упоминать слов «гроб», «могила», «похороны».

Прочитав это, я и в Петре Ильиче почувствовал родную душу.

Я никогда не мог понять людей, думающих о завещании и оставляющих на случай смерти специальные распоряжения, где и как они хотят быть похороненными. Я не хочу глядеть в эту сторону, малодушно отмахиваюсь от этих мыслей, запрещаю себе об этом думать.

В дни смерти Сталина (именно в «дни», а не в «день», потому что смерть его длилась с момента первого сообщения о его болезни и едва ли закончилась в день его похорон) не то что отмахнуться, но даже просто увильнуть от мыслей о Смерти, уйти, убежать от них – было невозможно. Эти мысли заполнили весь мой мозг.

Смерть Сталина – это было какое-то вселенское *memento mori*.

В этой смерти было даже что-то мистическое.

Уходя, он унес с собою не только «тысячи раздавленных сограждан», которые, как выразился в своих лакейских стихах холуй-рифмоплет, «траурный составили венок». В те дни газеты вдруг запестрели траурными сообщениями: Ив Фарж, Клемент Готвальд, Сергей Прокофьев.

О Прокофьеве даже не могу с уверенностью сказать, появилось ли в газетах официальное сообщение о его смерти. Но даже если и появилось, мало кто обратил тогда на него внимание. Тут словно бы вдруг материализовались, превратившись в сбывшееся пророчество, давние строчки Маяковского:

Кто
сейчас
оплакал бы
мою смертишку
в трауре
вот этой
безграничной смерти!

Каков бы ни был официальный статус покойного композитора, на какой бы – пусть самой низкой – ступени ни стояло его имя в официальной советской табели о рангах, умри он в какой-нибудь другой день, несомненно получил бы причитаю-

щуюся ему толику официальной государственной скорби. Но ему выпало окончить свой земной путь в один день с вождем, и та, главная смерть вобрала, поглотила, втянула в свою воронку и эту, превратив ее в незаметную и мало кого тронувшую «смертишку».

А с Ивом Фаржем и Клементом Готвальдом вышло иначе. Эти удостоились официальных траурных сообщений.

Готвальд – по рангу: внезапная кончина главы одного из вассальных государств не могла быть отмечена как-нибудь вскользь, мимоходом: ей полагался свой, особый статус, который никак не мог быть нарушен.

Что же касается Фаржа, то это был случай особый.

Он был одним из видных деятелей движения так называемых «сторонников мира» и даже в прошлом году (как в этом – Эренбург) получил Международную Сталинскую премию мира.

Но, в общем, – невелика птица. В последнем советском энциклопедическом словаре его персоне отведены всего-навсего три строки, в то время как Сергею Прокофьеву – целых восемнадцать.

Но, в отличие от Прокофьева, Ив Фарж был иностранец. К тому же обстоятельства его смерти были не вполне обычны: он погиб в автомобильной катастрофе. И поговаривали, что дело это было нечистое.

В те дни ходила такая легенда.

Приехав в Москву, Фарж будто бы – от имени всей «прогрессивной» интеллигенции Запада – потребовал, чтобы ему дали свидание с кем-нибудь из арестованных врачей. Отказать ему в этом было трудно, и сверху было приказано такое свидание ему разрешить.

Кто-то из «убийц в белых халатах» был к этому свиданию соответствующим образом подготовлен. И свидание состоялось. И все вроде сошло – для устроителей этого спектакля – более или менее благополучно: «убийца» подтвердил, что он действительно убийца, подробно рассказал о своих шпионских связях с мировым сионизмом и американскими империалистами. Но при этом будто бы – взглядом – показал Фаржу на свои руки. Точнее – на пальцы, из которых были вырваны ногти. (Или какие-то другие там были – столь же очевидные – следы пыток.)

Многозначительный взгляд, которым заключенный обменялся с влиятельным заезжим иностранцем, был засечен. И после этого, естественно, у чекистов (я имею в виду, конечно, самое высокое чекистское начальство) оставался только один выход: автомобильная катастрофа.

Много лет спустя в разговоре с Любовью Михайловной Эренбург (это было уже после смерти Ильи Григорьевича) я сделал стойку на несколько раз промелькнувшее в ее речи имя Фаржетт. Сообразив, что Фаржетт – это вдова Ива Фаржа, я не постеснялся спросить у Любви Михайловны, что она думает про ту давнишнюю легенду, а главное – говорила ли она когда-нибудь с Фаржетт на эту тему.

Выяснилось, что да, конечно, говорила. И что Фаржетт версию насильственного устранения супруга решительно отвергает: по ее мнению, этого никак не могло быть, ведь в момент катастрофы она была с мужем в одной машине.

Выслушав эту версию я, признаться, не шибко в нее поверил.

Подумал, что случайно уцелевшую Фаржетт могли сильно припугнуть, чтобы она держала язык за зубами. А кроме того, – мелькнула мысль, – то, что она, сидя с мужем в одной машине, осталась цела и невредима, могло быть и специально запланировано: ведь там у них в МГБ есть такие асы, думал я, для которых не составило бы труда осуществить и такую виртуозную операцию.

Сейчас, задним числом, мне кажется, что я тогда сильно преувеличивал и виртуозность исполнителей, и самую тонкость операции, разрабатывавшейся их начальниками. Но что было, то было: тогда я думал так.

По правде говоря, сегодня я вообще уже не очень верю в достоверность той легенды: в конце концов, автомобильная катастрофа, в которой погиб Ив Фарж, могла ведь и в самом деле быть случайной. Этому предположению, правда, мешает прочно укоренившееся в моем сознании убеждение, что во всех таких случаях к нашим славным органам должна применяться ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ: в отличие от обычной нормальной юрисдикции, тут НЕ МЫ должны доказывать их причастность, а ОНИ должны исчерпывающе доказать нам, что они тут ни при чем.

Но это все – сегодняшние мои мысли, сегодняшнее мое отношение.

А тогда, в те траурные дни, я безусловно верил – и в то, что Ив Фарж действительно имел свидание с кем-то из арестованных врачей, и в то, что тот показал ему свои вырванные с мясом ногти, и в то, что гибель Фаржа в автомобильной катастрофе, конечно же, не была случайной.

И хоть Сталин был уже мертв, за всеми этими кровавыми делами все равно стоял Он. Наверняка, думал я, это Он успел распорядиться насчет Фаржа, как несколькими годами раньше вот так же распорядился насчет Михоэлса. А если даже и не успел, все равно – это Он. Даже лежа в гробу с этими своими мирно сложенными на груди, навеки успокоившимися руками, он продолжал собирать свою кровавую жатву.

Но – странное дело! Загадочная все-таки штука – человеческая душа!

Казалось бы, эти тогдашние мои ощущения должны были внушить мне если не радость, так по крайней мере облегчение при мысли, что главный палач уже мертв. На деле же эта – ни на минуту меня не отпускающая, постоянно сверлящая мой мозг мысль – не только не принесла никакого облегчения, а наоборот, легла на мою душу еще новой, дополнительной, совсем уже невыносимой тяжестью.

Помню, в один из этих дней мы шли с женой по Тверскому бульвару. Навстречу шла женщина, таща за руку мальчонку лет четырех-пяти. Он отставал, не поспевал за ней, и она, в сердцах, прикрикнула на него:

– Ну что ты как неживой!

И моя жена вздохнула:

– Вот и мой тоже – как неживой.

Так оно и было. Я действительно был как неживой все эти дни.

Какая-то странная тошнота поселилась у меня где-то в области сердца. Это была тошнота не физическая, а душевная. Поселилась и – не отпускала.

Мрачные мысли о будущем, страхи, связанные с мыслями о том, лучше или хуже Сталина окажутся его наследники, – все это куда-то ушло. Осталось только одно – страх смерти. Тот са-

мый толстовский «арзамасский ужас». Он, бывало, и раньше на меня накатывал – на секунду-другую, но тут же уходил: жить с ним дольше нескольких секунд было бы невозможно.

А тут он был не таким острым, не таким невыносимым, но – долгим. Не отступал, не уходил: был постоянно со мною.

Эта противная тошнота, эта «тоска, как перед рвотой», с особенной силой нахлынула на меня в ночь после похорон.

Мы лежали с женой за шкафом, прижавшись друг к другу, как дети, напуганные грозой. И говорили – шепотом, чтобы не мешать засыпающим родителям, – о том, чем жили все эти долгие дни. Жена – уже не в первый раз, снова и снова – пыталась рассказать мне, как она еле унесла ноги с Трубной: у кого-то из ее товарищей по работе, с которыми она там оказалась, хватило ума дать деру до того, как началась ходынка. До нее, по-моему, так и не дошло, что она тоже могла бы оказаться среди тех, раздавленных, что осталась жива лишь по чистой случайности. Я клял ее за неосторожность: «Где была твоя голова! Какая холера тебя туда погнала!» Но за всем этим и у меня, и у нее стоял – Он. Не отпускающая нас мысль о Его смерти даже и тут была главной. И до жены – я знал, чувствовал это! – мысль, что она была на волоске от гибели, не доходила не по легкомыслию (или недомыслию), и не по недостатку воображения, а потому что была заслонена неотвязной мыслью об этой главной, всех нас касающейся всеобщей смерти.

В этих наших перешептываньях жена все время повторяла почему-то особенно поразившую ее фразу из последнего (или предпоследнего?) медицинского бюллетеня: «Поражение стволовой части мозга». И от этой фразы на меня опять повеяло жутью. Тут был и ужас перед тем, что рано или поздно (этого ведь не избежать!) вот так же когда-нибудь будет поражена стволовая часть и моего мозга. И мысль о том, что вот так же, как мозг Сталина, быть может, распадается, разлагается сейчас и «стволовая часть мозга» всего нашего государства.

И вдруг все эти мои мысли вытеснила, заслонила другая: заснули уже или еще не спят там, за шкафом, мои родители?

Задержав дыхание, я прислушался: спят.

Я обнял жену. Она еще теснее прижалась ко мне. И в этот момент все ушло: Сталин, его гроб, который я так и не увидел, бабья рожа Маленкова, холодный блеск стекол бериевского пенсне и эта противная тошнота в сердце, эта «тоска как перед рвотой».

Все это можно было назвать одним словом: смерть. И вот эта смерть, ни на шаг не отступавшая от меня все эти дни, наконец ушла, отступила.

Март 1997 – сентябрь 2003

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От автора</i>	5
Начало было так далёко... ..	7
Магический кристалл	28
Как я учился музыке	48
Трудная весна	68
Угол отклонения	102
Ходит птичка веселó	176
Колесница Джаггернаута	256
Я был евреем	355
Припертые к стене	497
Дыхание Чейн-Стокса	601

Сарнов Бенедикт Михайлович

СКУКИ НЕ БЫЛО

ПЕРВАЯ КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

1937–1953

*В оформлении форзацев использованы
репродукции картин работы Бориса Биргера*

1. Портрет одиннадцати (памяти Б. Балтера), 1977

Сидят: Олег Чухонцев, Владимир Войнович,
Лев Копелев, Булат Окуджава, Юлий Даниэль,
Бенедикт Сарнов, Борис Биргер

Стоят: Фазиль Искандер, Валентин Непомнящий,
Эдисон Денисов, Алексей Биргер (сын художника)

2. Андрей Сахаров с женой Еленой Боннэр, 1974

Редактор *О. Булаева*
Компьютерная верстка и дизайн *Г. Егорова*

ИД № 03974 от 12.02.01 г.

Подписано в печать 21.07.04. Формат 60x84/16
Печать офсетная. Гарнитура «NewBaskervilleC»
Усл.-печ. л. 41,07. Тираж 1500 экз. Заказ № 3695.

Издательство «АГРАФ»
129344, Москва,
Енисейская ул., д. 2, стр. 2
e-mail: agraf.ltd@ru.net
<http://www.ru.net/~agraf.ltd>

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Дом печати – ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

ISBN 5-7784-0292-9



9 785778 402928 >



ИЗДАТЕЛЬСТВО

АГРАФ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ КНИГИ

Для тех, кто знает...

**Философия, литературоведение,
история, психология, культурология,
искусство, энциклопедии, словари,
справочники.**

Художественная литература

Книги издательства «АГРАФ» оптом и в розницу
можно приобрести в издательстве, а также
заказать наложенным платежом по адресу:

**129344, Москва,
Енисейская ул., д. 2, стр. 2**

**E-mail: agraf.ltd@ru.net
<http://www.ru.net/~agraf.ltd>**

**т./ф. 189-17-35
т. 189-17-22**

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА,
МЕМОАРЫ, ПРОЗА

ВЛЮБЛЕННЫЙ ПУТНИК: Западная поэзия
в переводах Алексея Парина

ДОН ЖУАН РУССКИЙ: Антология

ИВАН ГРОЗНЫЙ: Пьесы русских драматургов XIX – XX вв.

МАБИНОГИОН: Легенды средневекового Уэльса

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ:

Кн.1. Рождение поэта

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ:

Кн.2. Годы эмиграции

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ:

Кн.3. Возвращение на родину

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В КРИТИКЕ СОВРЕМЕННИКОВ:

Ч. I. 1910-1941 годы. Родство и чуждость

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В КРИТИКЕ СОВРЕМЕННИКОВ:

Ч. II. 1942-1987 годы. Обреченность на время

- | | |
|-------------------|---|
| Баранов В.И. | БЕЗЗАКОННАЯ КОМЕТА:
Роковая женщина Максима Горького |
| Бродская Г.Ю. | ВИШНЕВОСАДСКАЯ ЭПОПЕЯ
(в 2-х кн.) |
| Бурен Ж. | ПРЕМУДРАЯ ЭЛОИЗА: Роман |
| Вайкль Б. | О ПЕНИИ И ПРОЧЕМ УМЕНИИ |
| Габричевский А.Г. | МОРФОЛОГИЯ ИСКУССТВА |
| Грибанов Б.Т. | ЖЕНЩИНЫ ЛОРДА БАЙРОНА |
| Гримберг Ф.И. | ДРУГ ФИЛОСТРАТ, или История одного
рода русского (в 2-х кн.) |
| Гудава Т. | ЕГО ЗВАЛИ АНЖЕЛИКА: Роман |
| Ефимов Б.Е. | МОЙ ВЕК |

Кипнис С.Е.	ЗАПИСКИ НЕКРОПОЛИСТА: Прогулки по Новодевичьему
Кожевникова Н.В.	ГАРАНТИЯ УСПЕХА: Повести и рассказы
Коклюшкин В.М.	БЛЕСК
Кокто Ж. (в 2-х томах)	Т. 1. ПРОЗА. ПОЭЗИЯ. СЦЕНАРИИ Т. 2. ТЕАТР
Кортасар Х.	СЧАСТЛИВЧИКИ
Кузмин М.А.	ПРОЗА 1906–1912 гг.
Кузмин М.А.	ПРОЗА 1912–1915 гг.
Кузмин М.А.	ЭССЕИСТИКА. КРИТИКА
Курчаткин А.Н.	АМАЗОНКА: Роман
Липкин С.И.	КВАДРИГА
Маковский С.К.	ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ. НА ПАРНАСЕ «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА» Критика. Стихи.
Марков А.Ф.	МАГИЯ СТАРОЙ КНИГИ: Записки библиофила
Микаэлян М.А.	ГОЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА И...
Михайлова Т.А.	СУИБНЕ-ГЕЛЬТ ЗВЕРЬ ИЛИ ДЕМОН, БЕЗУМЕЦ ИЛИ ИЗГОЙ
Никитин А.Л.	ROSA MYSTICA
Ошеров С.А.	НАЙТИ ЯЗЫК ЭПОХ: От архаического Рима до русского Серебряного века
Паперный З.С.	НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО: От Чехова до наших дней
Пи Оливье	ЛИЦО ОРФЕЯ
Пильняк Б.А.	ДВОЙНИКИ: Одиннадцать глав классического повествования
Плант Д.	БЛАГОВЕЩЕНИЕ: Роман
Пухлий Ж.А.	ВКУС ЖИЗНИ: Рассказы
Робель Л.	АЙГИ
Саакянц А.А.	ТВОЙ МИГ, ТВОЙ ДЕНЬ, ТВОЙ ВЕК: Жизнь Марины Цветаевой

Сендерович С.Я.	ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ: Страницы истории
Синявский А.Д.	ИВАН-ДУРАК: Очерк русской народной веры
Синявский А.Д.	ОСНОВЫ СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Смирнов И.П.	МЕГАИСТОРИЯ: К исторической типологии культуры
Стремстедт М.	ВЕЛИКАЯ СКАЗОЧНИЦА: Жизнь Астрид Линдгрэн
Терц А. (Синявский А.Д.)	В ТЕНИ ГОГОЛЯ
Терц А. (Синявский А.Д.)	ПХЕНЦ И ДРУГИЕ
Файман Г.С.	УГОЛОВНАЯ ИСТОРИЯ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ТЕАТРА
Чемберджи В.Н.	О РИХТЕРЕ ЕГО СЛОВАМИ
Чертанов М.	РОМАН С КРОВЬЮ
Чертанов М.	ЦИРЦЕЯ: Роман
Шекспир У.	КОМЕДИИ И ТРАГЕДИИ
Эренбург И.Г.	Т. 1. «ДАЙ ОГЛЯНУТЬСЯ...» ПИСЬМА 1908–1930
Эренбург И.Г.	Т. 2. «НА ЦОКОЛЕ ИСТОРИЙ...» ПИСЬМА 1931–1967

*СЕРИЯ
«СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ»*

ДЕТИ ЭМИГРАЦИИ: Воспоминания

Аксаков А.Н.	АНИМИЗМ И СПИРИТИЗМ
Андгуладзе Л.Н.	БАЛЬМОНТ И ГРУЗИЯ
Андреева А.А.	ПЛАВАНЬЕ К НЕБЕСНОЙ РОССИИ
Баранов В.И.	ГОРЬКИЙ БЕЗ ГРИМА. ТАЙНА СМЕРТИ
Бодлер Ш. Готье Т.	ИСКУССТВЕННЫЙ РАЙ; КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГАШИША
Валуев П.А.	ЧЕРНЫЙ БОР

Волошин М.А.	ИСТОРИЯ МОЕЙ ДУШИ
Гагарин Г.П.	ЗАБАВЫ УЕДИНЕНИЯ МОЕГО В СЕЛЕ БОГОСЛОВСКОМ
Гершензон М.О.	КЛЮЧ ВЕРЫ. ГОЛЬФСТРЕМ. МУДРОСТЬ ПУШКИНА
Герцык А.К.	ИЗ КРУГА ЖЕНСКОГО: Стихотворения, эссе
Достоевский А.М.	ВОСПОМИНАНИЯ
Ермолинский С.А.	О ВРЕМЕНИ, О БУЛГАКОВЕ И О СЕБЕ
Залкинд А.Б.	ПЕДОЛОГИЯ: Утопия и реальность
Каневский З.М.	ЖИТЬ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ
Клех И.Ю.	КНИГА С МНОЖЕСТВОМ ОКОН И ДВЕРЕЙ
Кожевникова Н.В.	СОСЕД ПО ЛАВРУХЕ: Воспоминания
Конан Дойль А.	УРОКИ ЖИЗНИ
Короленко В.Г.	БЫЛА БЫ ЖИВА РОССИЯ!
Коцебу А.	ДОСТОПАМЯТНЫЙ ГОД МОЕЙ ЖИЗНИ
Крохин Ю.Ю.	ДУШИ ВЫСОКАЯ СВОБОДА: Вадим Делоне
Латур Анни	ДАМА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
Луговская Т.А.	КАК ЗНАЮ, КАК ПОМНЮ, КАК УМЕЮ: Воспоминания, письма, дневники
Мережковский Д.С.	БЫЛО И БУДЕТ. НЕВОЕННЫЙ ДНЕВНИК
Миллер Л.Е.	МОТИВ. К СЕБЕ, ОТ СЕБЯ
Новиков В.И.	РОМАН С ЯЗЫКОМ. ТРИ ЭССЕ
Перси У.	«НЕ ПОЙ, КРАСАВИЦА, ПРИ МНЕ...»: Культурная территория русского романтизма
Пильняк Б.А.	МНЕ ВЫПАЛА ГОРЬКАЯ СЛАВА... Письма 1915-1937
Пшибышевский С.	ЗАУПОКОЙНАЯ МЕССА
Раскин Д.И.	ONTOS. КНИГА СМЫСЛОВ. ТЕРРАРИУМ, ИЛИ В ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ (Метафизика пошлости): Стихи

Раушенбах Б.В.	ПОСТСКРИПТУМ: Воспоминания
Раушенбах Б.В.	ПРИСТРАСТИЕ
Рубен Б.С.	АЛИБИ МИХАИЛА ЗОЩЕНКО
Руднев П.А.	ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ ВАСИЛИЯ РОЗАНОВА
Саакянц А.А.	ТОЛЬКО ЛИ О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ? Воспоминания
Санников В.З.	ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО
Старикова Е.В.	В НАШИХ ПЕРЕУЛКАХ: Биографические записи
Уайльд О.	ПИСЬМА
Хечинов Ю.Е.	КРУТЫЕ ДОРОГИ АЛЕКСАНДРЫ ТОЛСТОЙ
Чегодаева М.А.	ДВА ЛИКА ВРЕМЕНИ (1939: Один год сталинской эпохи)
Чегодаева М.А.	ЗАПОВЕДНЫЙ МИР МИТУРИЧЕЙ- ХЛЕБНИКОВЫХ: Вера и Петр
Черубина де Габриак	ИСПОВЕДЬ
Эйхенбаум Б.М.	МОЙ ВРЕМЕННИК. МАРШРУТ В БЕССМЕРТИЕ

СЕРИЯ

«SPECULUM MUNDI – ЗЕРКАЛО МИРА»

Акройд П.	ЧАТТЕРТОН
Бахман И.	МАЛИНА
Вайнер Р.	БАНЩИК: Эссэ. Новеллы
Дадзай О.	ИСПОВЕДЬ «НЕПОЛНОЦЕННОГО» ЧЕЛОВЕКА
Ландольфи Т.	ЖЕНА ГОГОЛЯ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ: Сборник
Лиспектор К., Мигэйс Ж. Р.	ЧАС ЗВЕЗДЫ; НИКОЛАЙ! НИКОЛАЙ!
Лундквист А.	ВОЛЯ НЕБА: КАРТИНЫ ИЗ ЖИЗНИ ЧИНГИСХАНА

Макьюэн И.	ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ
Малепартэ К.	ТЕХНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА
Рубо Ж.	ПРЕКРАСНАЯ ГОРТЕНЗИЯ. ПОХИЩЕНИЕ ГОРТЕНЗИИ
Соколов Г.С.	ДЕЛО ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА: Роман
Хиггинс К.	ГАРОЛЬД И МОД
Энрайт Э.	ПАРИК МОЕГО ОТЦА

СЕРИЯ
«ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАНИФЕСТЫ: От символизма до «Октября»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ САЛОНЫ И КРУЖКИ:
Первая половина XIX века

Александров Н.Д.	СИЛУЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ
Антон Крайний (З. Гиппиус)	ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК (1899–1907)
Апостолов Н.Н.	ЖИВОЙ ТОЛСТОЙ
Аронсон М. Рейсер С.	ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРУЖКИ И САЛОНЫ
Гиппиус В.В.	ГОГОЛЬ: Воспоминания, письма, дневники
Гнедич П.П.	КНИГА ЖИЗНИ: Воспоминания
Гриц Т.С. и др.	СЛОВЕСНОСТЬ И КОММЕРЦИЯ (Книжная лавка А.Ф. Смирдина)
Громова Н.А.	ДОСТОЕВСКИЙ: Воспоминания, письма, дневники
Гроссман Л.П.	ЦЕХ ПЕРА: Эссеистика
Жуковская Е.И.	ЗАПИСКИ: Воспоминания
Майков Л.Н.	БАТЮШКОВ, ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ
Митфорд Нэнси	ВЛЮБЛЕННЫЙ ВОЛЬТЕР: Биографический роман
Немеровская О., Вольпе Ц.	СУДЬБА БЛОКА: Воспоминания, письма, дневники

Островский А.Г.	МОЛОДОЙ ТОЛСТОЙ: Воспоминания, письма, дневники
Островский А.Г.	ТУРГЕНЕВ: В записях современников
Розанов В.В.	ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗГНАННИКИ: Воспоминания, письма
Скабичевский А.М.	ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Тынянов Ю.Н.	ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ: Избранные труды
Утевский Л.С.	ЖИЗНЬ ГОНЧАРОВА

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ

О ВИНЕ И ПЬЯНСТВЕ: Русские пословицы и поговорки

Александрова Т.С.	ИЗ ГЕТЕ. КРЫЛАТЫЕ СЛОВА
Руднев В.П.	ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУЛЬТУРЫ XX ВЕКА
Санников В.З.	РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ШУТКА: От Пушкина до наших дней
Соловьев О.Ф.	МАСОНСТВО. Словарь-справочник

СЕРИЯ «XX ВЕК +»

Междисциплинарные исследования

ВИННИ ПУХ И ФИЛОСОФИЯ ОБЫДЕННОГО ЯЗЫКА

Данн Д.У.	ЭКСПЕРИМЕНТ СО ВРЕМЕНЕМ
Колотаев В.А.	ПОЭТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО ЭРОСА
Носов Н.А.	ВИРТУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Руднев В.П.	МЕТАФИЗИКА ФУТБОЛА: Исследования по философии текста
Руднев В.П.	ПРОЧЬ ОТ РЕАЛЬНОСТИ
Сливак М.Л.	ПОСМЕРТНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕНИАЛЬНОСТИ
Фрер Ж.-К.	СООБЩЕСТВА ЗЛА, ИЛИ ДЬЯВОЛ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ



**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
издательства "Аграф"**

**Адрес: Енисейская ул., д.2, строение 2, этаж 8
(17-этажное здание "Совинтервод")**

**проезд на автотранспорте
по ОСТАШКОВСКОМУ шоссе;**

тел. 189-17-22, 189-17-35





Бенедикт САРНОВ

Я долго не разрешал себе братья за эту книгу. Кто я такой, чтобы писать мемуары?

Рядом были судьбы друзей. Они восвали. Некоторые из них прошли через сталинские лагеря. Вот им – было что вспомнить! Но даже и они не спешили делиться с читателями воспоминаниями о прожитой жизни.

А потом я подумал: я жил в потрясающее время! Был современником событий, с которыми мало что могло сравниться в мировой истории. И я был не просто свидетелем. Это время мяло меня, ломало, формовало по образу и подобию своему.

Впечатленьями жизнь не бедна, как было сказано в одном стихотворении Ярослава Смелякова. И хотя мне не досталось пережить и сотой доли того, что пришлось испытать автору этого стихотворения, моя жизнь тоже была не бедна впечатлениями.

